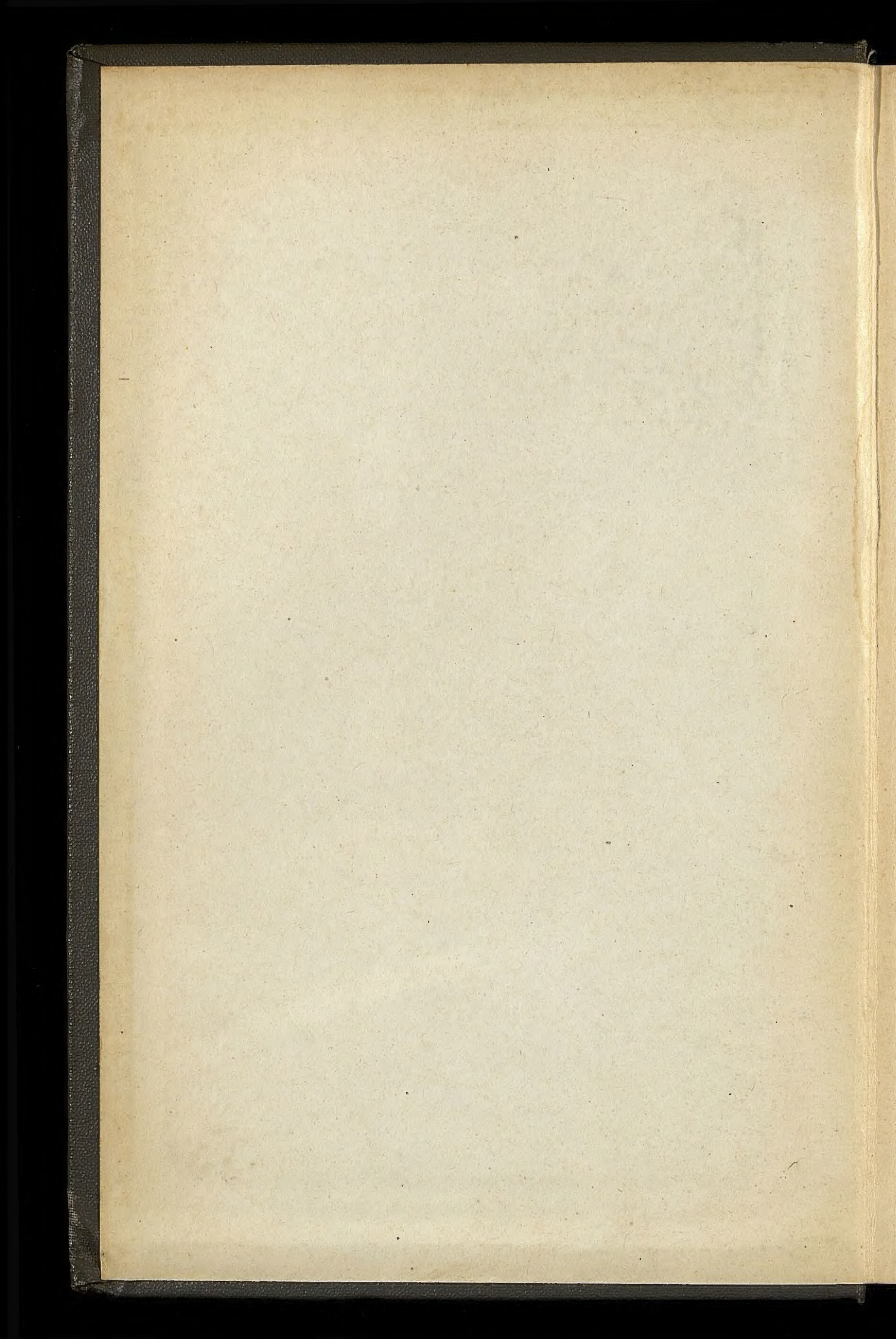
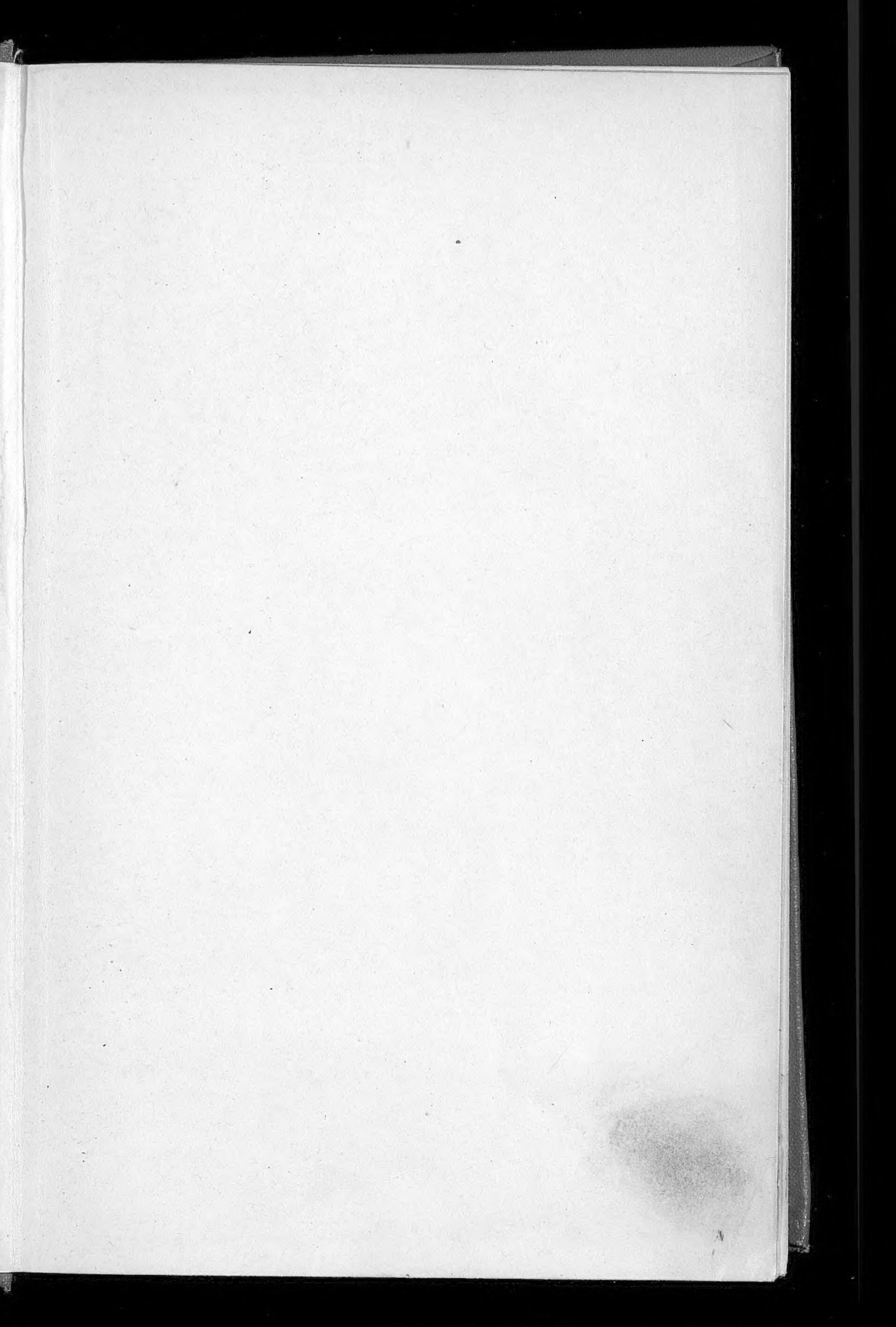
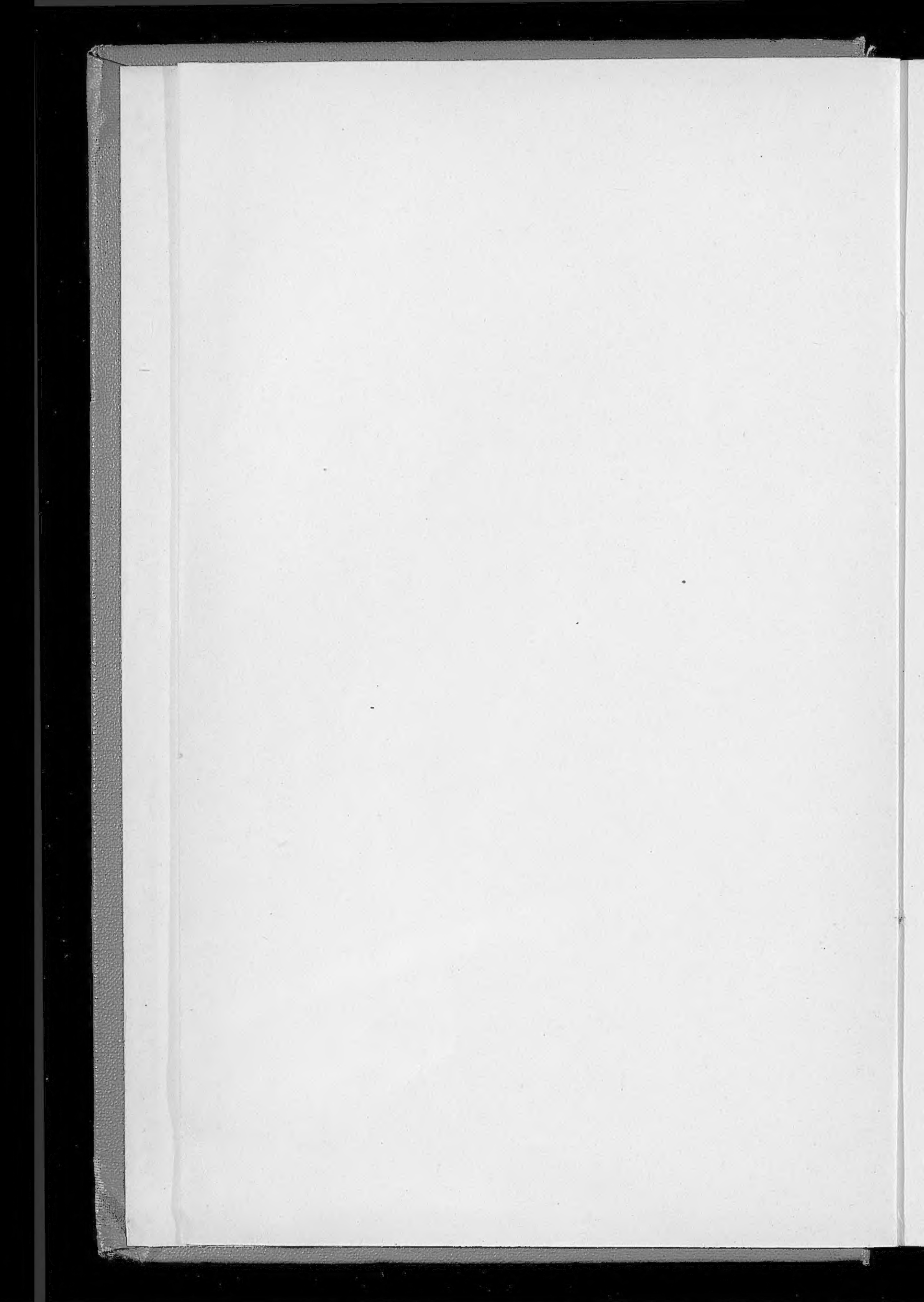
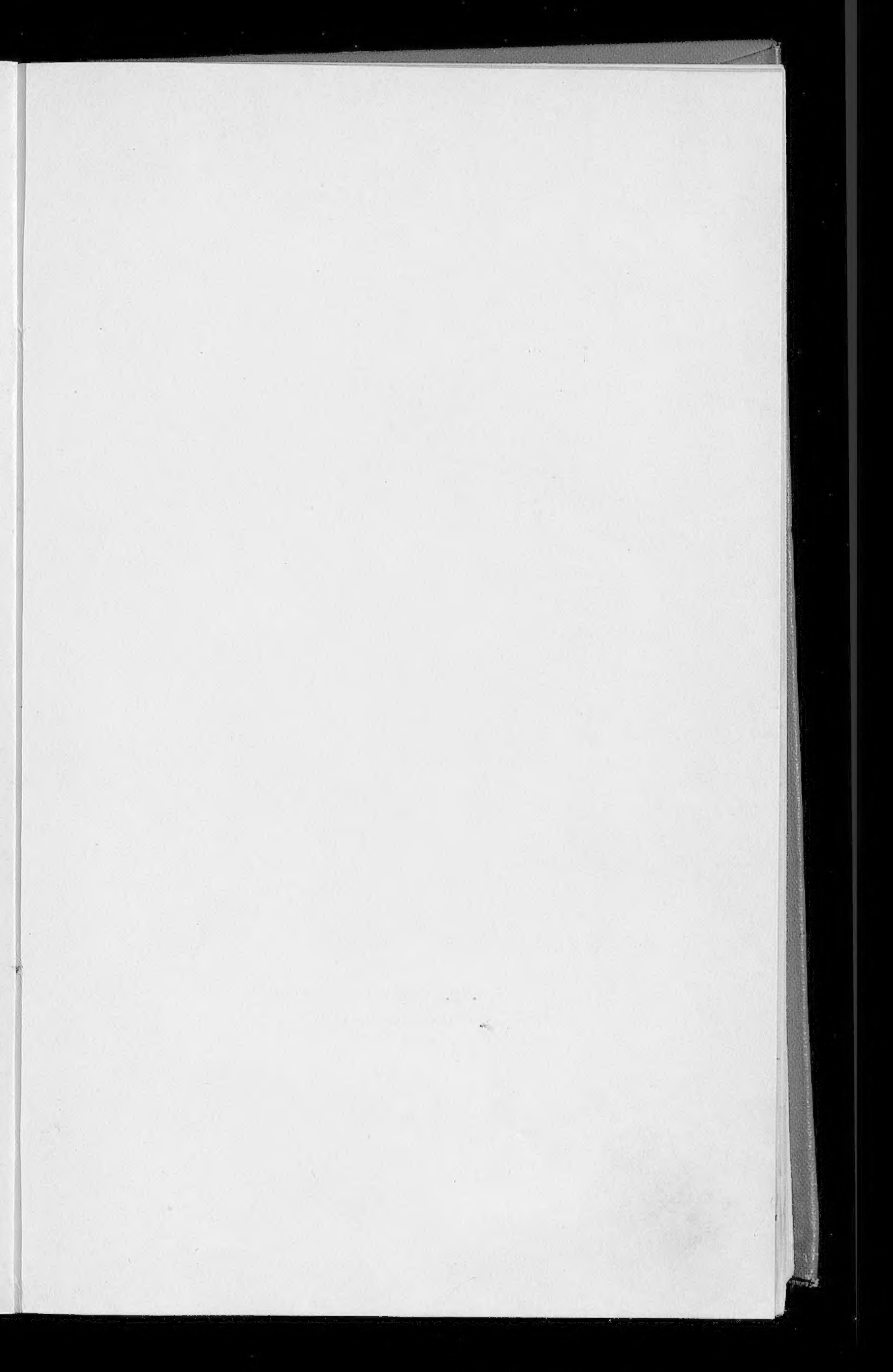
С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

Воспоминания и письма









С. В. КОВАЛЕВСКАЯ
(с фотографии 1887 г.)

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
МЕМУАРЫ

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

Воспоминания и письма

Издание исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
1951

Под общей редакцией Комиссии Академии Наук СССР
по изданию научно-популярной литературы
и серии „Итоги и проблемы современной науки"

Председатель комиссии
академик С. И. ВАВИЛОВ

Зам. председателя член-корреспондент Академии Наук СССР
П. Ф. ЮДИН

Ответственный редактор
профессор М. В. НЕЧКИНА

Редакция и комментарии
С. Я. ШТРАЙХА

ОТ РЕДАКЦИИ

Недавно наша страна отметила столетие со дня рождения знаменитой русской женщины-математика и талантливой писательницы Софьи Васильевны Ковалевской, прославившей русское имя во всем культурном мире. С. В. Ковалевская была первой женщиной, занявшей кафедру в высшей школе и получившей премии за научные исследования некоторых вопросов высшей математики, не решенных в трудах крупнейших мировых ученых.

С. В. Ковалевская родилась в Москве 15 (3) января 1850 г. (ум. 10 февраля 1891 г.). Ее жизнь и деятельность представляют интерес и в научном и в культурно-историческом отношениях. Только в наше время ее личность и труды получают полное разностороннее освещение.

В научно-исследовательской области выдающаяся деятельность С. В. Ковалевской отражена в двух изданиях Академии Наук СССР: в 1940 г. были выпущены в русском переводе члена-корреспондента АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной два главных научных труда Софьи Васильевны; в 1948 г. под редакцией члена-корреспондента АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной выпущено в серии «Классики науки» полное собрание научных трудов С. В. Ковалевской. Статьи о значении математических работ Софьи Васильевны для развития мировой науки и культуры печатаются в периодических изданиях, в обзорах по истории математики и техники. В общих и специальных собраниях Академии Наук СССР и ее отделений проводятся доклады о деятельности С. В. Ковалевской.

В области литературного и социально-политического движения деятельность Софьи Васильевны Ковалевской освещена в советское время в нескольких книгах художественно-повествовательного характера, а также в ряде отдельных статей и сборниках.

«Воспоминания детства» С. В. Ковалевской и некоторые другие ее произведения и документы были собраны в выпущенной Академией Наук СССР в 1945 г. книге. В настоящем издании все разделы книги значительно пополнены новыми материалами, бо́льшая часть которых появляется впервые в печати.

На первом месте в этом издании по своей художественной и автобиографической ценности стоят «Воспоминания детства». Кроме значения их как документа, рисующего эпоху так называемого «освобождения» крестьян, «Воспоминания детства» представляют большой интерес яркими характеристиками родных С. В. Ковалевской: ее сестры Анны Васильевны — русской писательницы и деятельницы Парижской Коммуны 1871 г., их отца — типичного представителя крупнопоместного дворянства, братьев ее отца и матери.

Издававшиеся много раз в переводе на все языки культурного мира «Воспоминания детства» С. В. Ковалевской широко знакомили зарубежных читателей с жизнью России середины XIX столетия.

В настоящем издании «Воспоминания детства» дополнены новой, седьмой главой, в которой дано художественное описание имения Палибино, где прошли детские и юные годы Софьи Васильевны. По яркости красок, которыми изображен помещичий быт дореформенной России, эта глава, вместе с четырьмя пер выми, может быть поставлена наряду с описаниями самых талантливых представителей русской литературы.

Широко представлена в книге переписка С. В. Ковалевской, в которой отражены ее научные идеи, социально-политические взгляды и личные переживания. Еще при первой публикации небольшой части писем Софьи Васильевны (в 1897 г.) в русской печати отмечалось: «Они раскрывают перед читателем всю душевную теплоту этой столь богато одаренной в умственном отношении женщины, дополняя новыми штрихами симпатичный образ нашей талантливой соотечественницы, совмещавшей глубину научной мысли с даром художественного творчества и с живой отзывчивостью на текущие вопросы общественной жизни».

Вместо 23 писем, включенных в издание 1945 г., здесь печатаются 88 писем Софьи Васильевны и 35 писем других лиц, среди них письма П. Л. Чебышева, А. М. Бутлерова, А. О. и В. О. Ковалевских.

Письма П. Л. Чебышева в Академию Наук и лично Софье Васильевне свидетельствуют о стремлении великого математика привлечь ее к участию в трудах высшего ученого учреждения нашей страны.

Письмо А. М. Бутлерова к Ю. В. Лермонтовой показывает, что передовые русские ученые, вопреки политике реакционного царского правительства, настойчиво добивались привлечения женщин к преподаванию в высшей школе.

Письмо В. О. Ковалевского к А. И. Герцену ярко освещает важный момент в биографии гениального русского ученого. В литературе были глухие указания на связи В. О. Ковалевского с участниками польского национально-освободительного движения начала 60-х годов. Публикуемое здесь письмо устанавливает причастность Владимира Онуфриевича к самому движению. Его письмо-воззвание 1876 г. о помощи братским славянским народам, сражавшимся за освобождение от турецкого ига,— яркий документ в биографии В. О. Ковалевского; он составлен, конечно, при участии Софьи Васильевны.

Письма А. В. Жаклар к сестре и ее мужу разъясняют беглое упоминание С. В. Ковалевской в письмах 1882 г. о своем пребывании в Париже в эпоху Парижской Коммуны 1871 г. Ценным дополнением к этим документам являются приведенные в Комментариях сообщения В. О. Ковалевского в письмах к брату о том же периоде жизни Софьи Васильевны. Сама она хотела написать воспоминания о Коммуне, в которой принимали деятельное участие ее сестра со своим мужем и другие русские женщины, но сделать этого не успела.

В настоящее издание включены воспоминания о С. В. Ковалевской ее дочери — Софьи Владимировны и друга ее студенческих лет и всей последующей жизни — Ю. В. Лермонтовой. К ним присоединены воспоминания брата Софьи Васильевны Ф. В. Корвин-Круковского, ее приятельниц периода профессорской деятельности — писательниц Эллен Кэй (появляются на русском языке впервые) и А. Ш. Леффлер-Эдгрен-Кайянелло.

Из-за невозможности включить в книгу все документы, относящиеся к жизни и деятельности С. В. Ковалевской, пришлось для пояснения основного текста расширить объем комментариев. В них приведено много выдержек из неизданных писем Софьи Васильевны и других лиц.

Для читателей, не имеющих возможности ознакомиться с научными трудами С. В. Ковалевской, дана в «Приложениях» сводка высказываний русских ученых, дореволюционных и советских, о значении ее специальных исследований. Кроме отзывов, приведенных в этой сводке, напомню здесь слова одного крупного ученого, писавшего после кончины Софьи Васильевны, что «память о ней сохранится благодаря ее ценным работам —

во всем математическом мире, а в сердцах тех, кто имел счастье знать ее,— она сохранится, как значительная и полная энергии личность». Добавлю еще краткую характеристику научного значения Софьи Васильевны, данную в беседе со мной знаменитым советским математиком, академиком А. Н. Крыловым: «Она — гениальна».

Книга показывает С. В. Ковалевскую в обстановке ее окружения, в условиях того времени, когда складывалось ее мировоззрение, когда она занималась своими научными исследованиями, читала лекции, писала романы и повести из русской помещичьей и революционной жизни. «Воспоминания детства» и другие произведения Софьи Васильевны, а также материалы для ее биографии, собранные в настоящем издании, представляют яркую, интересную главу из истории русской культуры второй половины XIX в., рисующую ее связь с развитием мировой культуры и показывающую влияние русского национального гения на развитие западноевропейской науки и литературы.

В документах, печатающихся здесь, сохранены особенности авторского стиля, но в общем они даются по современному правописанию.

В настоящем издании расширен список литературы: в него включены библиографические справки не только о Софье Васильевне, но и о других членах семьи Ковалевских, конечно, в плане содержания книги.

Приложенный в конце «Указатель имен» облегчит отыскание лиц, с которыми С. В. Ковалевская находилась в научном и политическом общении. В указателе дан перечень ученых и литературных трудов Софьи Васильевны, а также некоторые другие труды, имеющие отношение к ее биографии.

Отмечу с глубокой благодарностью постоянное содействие в моей работе Софьи Владимировны Ковалевской.

С. Штрайх.

Каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства.

С. В. Ковалевская[1]

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА[2]

1. ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я,— первый проблеск сознательной жизни. Я этого никак не могу. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла и то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановить на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я действительно помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что̀ еще хуже,— мне никогда не удается вызвать ни одного из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня»,— говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка:— меня-мол зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковский! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк,— говорит он,— когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского»,— сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы [1].

За этою первою, отчетливо сохранившеюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных, светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков из шоссе, ночлега на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты,— ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе [2].

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кроватки, огороженные решетками, стоят ря-

дом, так что по утрам мы можем перелезать друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Сто̀ит мне подумать о нашей детской, тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня тотчас пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка, француженка, не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку!— умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим, начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступления к нашему туалету лежит еще длинный промежуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесаных, начинает угощать нас кофе со сливками и сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворяется с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment vous êtes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon! * — восклицает она гневно.

— Так не можно долго спать! Я будет жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну, и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справлялся очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве, наденет на нас платьице, в котором нередко нехватает нескольких пуговиц,— вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметет пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кроватки одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики, и детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со мно-

---

* Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов! Вы снова опоздали к уроку!

жеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда выросту!— говорит она, нацепляя на себя мамины украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анюта и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось, именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей воспитанницей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анюта, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, бо́льшими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! барыня хотят его гостям показать! — говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть?— спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И, действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясынька!»

* * *

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване, перед круглым столом, и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает снять, а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку Спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое, носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной souffre-douleur *. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей,— слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне.— Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

* Козел отпущения.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше навострить уши.

— Не во-время она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полушопотом.— Барин-то наш, почитай, что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику — и крестик с распятием и чепчик с голубенькой ленточкой,— ан нет, вот поди! родилась опять девочка. Барыня так огорчились, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную,— я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленый зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она верно свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что, когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания. Вскоре у меня прошла даже и охота и уменье играть с другими детьми. Я помню, что, когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор, нет-нет, да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — angoisse. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полоску тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного, у меня вдруг так мучительно заноет сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например если я, во время прогулки, вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное уви-

жу этого урода во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить куклу, няня должна была подымать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анюта, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне в глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменилось, и всему предыдущему настал конец.

ВОРОВКА [1]

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино, в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эмансипации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведывал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то — то̀ вдруг исчезает, то другое. Сто̀ит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени,— когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибирала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик,— в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целость детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу — приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской и за все это время няня ни в чем подобном ее не

замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей,— рассуждала няня,— теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет, вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной, запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропавшие вещи не находились, а новые все пропадали. В один прекрасный день исчезла вдруг анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключавшая в себе рублей сорок, если не больше. Сведение об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозрения, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что и у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется, для няни делом одной секунды.

— А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье?— закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

— Няня, голубушка! Я не виновата, право! — взмолилась Феклуша.— Портниха, Марья Васильевна, вчерась вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

— Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица,— сказала она презрительно,— ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

— Няня, голубушка, не вру я! Ей, ей, это правда! Хоть

2*

сами у нее спросите. Я им вчерась утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую»,— продолжала утверждать Феклуша.

— Ну, ладно, завтра поутру разберем!— решила нянюшка и в ожидании утра заперла Феклушу в темный чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипывания.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная и пользовалась бо̀льшим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась. Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки», говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но я помню старшие всегда замечали, что у нее вид очень distingué *, «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегантность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков гераниума, стены были увешаны дешевенькими картинками, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы — лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий рассказ. В молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» — спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть. Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

---

* Благовоспитанной.

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей волей-неволей приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пение, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пение прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?» Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

— Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девчонку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! — сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

— Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы забыли? Да вчерась же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья,— говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

— Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша — ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

— Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься! — сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собою разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но

приходила к нам в дом помогать прачке стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

— Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, ужò доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала! — сказала она ей так строго и с таким многознаменательным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась во-свояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит, она и другие вещи воровала»,— говорили все. Общее негодование против Феклуши поэтому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз пошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

— Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девчонке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! — сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

— Что вы, сударыня? Такую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! — говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокойство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

— Призналась наша птичка! — сказала она радостно.

— Ну, а где же краденые вещи? — спросила мама очень естественно.

— Еще не признается, куда их дела, негодница! — ответила няня озабоченным голосом.— Мелет всякую чепуху. Говорит — «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок, другой — может и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное признание и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с

целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а наместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполнение; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель. Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня, уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра — феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и, все не унимаясь, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня, наконец, не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что все равно глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные, пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

— Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку,— сказала Александра таинственно и, оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

— Где же вы его нашли? — спросила она с любопытством.

— В том-то все и дело, где нашла,— отвечала Александра

протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно наслаждаясь смущением нянюшки.— Садовник наш Филипп Матвеевич дали мне свои старые брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек,— произнесла она, наконец, многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым, довольно противным немцем, с рыжими, типическими, четырехугольными баками, но между нашей женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

— Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? — спрашивала она растерянно.— Ведь он и в детскую, почитай, что, никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

— Те, те, те... Так вот оно как! — проговорила она, разводя руками.— Ах ты, смиренница! Ах, негодница! Ну, погоди, выведем же мы тебя на чистую воду! — воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уж давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником.

— Ну, а сами посудите,— говорила она няне,— стал ли бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает.

И действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматривания за ничего не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у ста-

рых женщин и побуждает их с азартом кидаться на расследование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подобраться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненнейшим образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

— Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! — говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако в виду того, что она была уже пожилая, болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать ее обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказалась какая-то кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

— Мне не долго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! — говорила она.

— Дело было совсем не в этом,— пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой. — Ей просто невмоготу было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но, как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

— Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! — умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

— Послушайте,— сказал он ей,— хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому позору — публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощенье и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну как ей, такой гордячке, повиниться публично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в

сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это произошло торжественно и публично. Народу собралось много, каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целования руки.

— Я ей и так простила,— говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на повышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы я перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша уже не смела больше возражать и, вся трясясь от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная, как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но лицо ее было такое решительное и злое, что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» — вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась всем телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же прислуги, которые проведали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумеется, поспешно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная пере-

мена, которая произошла после этого в настроении всей нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низким и черным, что каждому доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

— Конечно, она была виновата,— говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме. — Ну хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг, на поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми руку поцеловать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов один за другим. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось послать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно:

— Для кого вы это, няня?

— Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее, больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! — ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась к великой радости моих родителей и зажила у нас в доме попрежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и

старалась не глядеть на нее, мне все чудилось — вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена. Мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется Благовещения, я пробегала по коридору мимо комнаты Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

— Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко; вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

— Что, барышня, видно, совсем меня разлюбили, брезгаете мной! — проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное, ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за что. После вечернего чая, когда пришла мне пора итти спать, вместо того, чтобы от-

правиться прямо в спальню, я решилась забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны, так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному, пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и, совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою, чистою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного, страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла»,— говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла все предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.

По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.

МИСС СМИТ[1]

С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.

До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считал воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься на саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, приходили иногда с жалобой на нее к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.

Что касается нас, младших детей, то отношения отца к нам ограничивались тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облекался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.

Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, внезапно изменилось. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.

Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали

из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.

Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.

Что еще хуже — за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.

Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, последовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой, и всем достается — и правому, и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся и ждем, чем-то все это разрешится.

Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка и гувернантку англичанку.

Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния [1]. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент. Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery *, в которой она могла бы воспитать примерных английских мисс.

С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора-два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом

* Детская.

Е. Ф. КОРВИН-КРУКОВСКАЯ
(мать С. В. Ковалевской)

с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до анютиного поведения, что она умывает себе руки.

Но зато она еще с бóльшим ожесточением сосредоточила все свои заботы на мне, изолируя меня от всех домашних и ограждая меня, как от заразы, от влияния старшей сестры. Этому стремлению к сепаратизму с ее стороны благоприятствовали размеры и устройство нашего деревенского дома, в котором семьи три-четыре свободно могли бы проживать одновременно, вполне не зная друг друга.

Почти весь нижний этаж, за исключением нескольких комнат для прислуги и для случайных гостей, был отведен гувернантке и мне. Верхний этаж с парадными комнатами принадлежал маме и Анюте. Федя с гувернером помещались во флигеле, а папин кабинет составлял основание трехэтажной башни и лежал совсем в стороне от остального жилья. Таким образом, те различные элементы, из которых состояла наша семья, имели каждый свои самостоятельные владения и могли, не стесняясь друг друга, вести каждый свою особую линию, встречаясь только за обедом да за вечерним чаем.

ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

Стенные часы в классной пробили семь. Эти семь повторенных ударов доходят до моего сознания сквозь сон и порождают во мне печальную уверенность, что сейчас придет горничная Дуняша будить меня; но мне спится еще так сладко, что я стараюсь убедить себя, будто эти противные семь ударов только почудились мне. Повернувшись на другую сторону и плотнее натянув на себя одеяло, спешу воспользоваться сладким, кратковременным блаженством, доставляемым последними минуточками сна, которому, я знаю, сейчас наступит конец.

И, действительно, вот скрипит дверь, вот слышатся тяжелые шаги Дуняши, входящей в комнату с ношею дров. Затем ряд знакомых, каждое утро повторяющихся звуков: шум от грузно сбрасываемой на пол охапки, чирканье спичками, треск лучинок, шелест и шуршанье пламени. Все эти привычные звуки доходят до моего слуха сквозь сон и усиливают во мне ощущение приятной неги и нежелания расстаться с теплой постелькой. «Еще минуточку, только минуточку бы поспать!» Но вот шелест пламени в печке становится все громче и ровнее и переходит в мерное, правильное гудение.

— Барышня, вставать пора! — раздается над самым моим ухом, и Дуняша безжалостной рукой стягивает с меня одеяло.

На дворе только что начинает светать, и первые, бледные лучи холодного зимнего утра, смешиваясь с желтоватым светом стеариновой свечи, придают всему какой-то мертвенный, неестественный вид. Есть ли что-нибудь неприятнее на свете, как вставать при свечках! Я сажусь в постели на корточках и медленно, машинально начинаю одеваться, но глаза мои невольно опять слипаются и приподнятая с чулком рука так и застывает в этом положении.

За ширмами, за которыми спит гувернантка, уже слышится плескание водой, фырканье и энергичное обтирание.

— Don't dowdle, Sonja! If you are not ready in a quarter of an hour, you will bear the ticket «lazy» on your back during luncheon *,— раздается грозный голос гувернантки.

С этой угрозой шутить нельзя. Телесные наказания изгнаны из нашего воспитания, но гувернантка придумала заменить их другими мерами устрашения; если я в чем-нибудь провинюсь, она пришпиливает к моей спине бумажку, на которой крупными буквами значится моя вина, и с этим украшением я должна являться к столу. Я до смерти боюсь этого наказания; поэтому угроза гувернантки имеет способность мгновенно разогнать мой сон. Я моментально спрыгиваю с кровати. У умывальника уже ждет меня горничная с приподнятым кувшином в одной и с большим лохматым полотенцем в другой руке. По английской манере, меня каждое утро обливают холодной водой. Одна секунда резкого, дух захватывающего холода, потом точно кипяток прольется по жилам, и затем во всем теле остается удивительно приятное ощущение необыкновенной живучести и упругости.

Теперь уже совсем рассвело. Мы выходим в столовую. На столе пыхтит самовар, дрова в печке трещат, и яркое пламя отсвечивается и множится в больших замерзших окнах. Сонливости во мне не осталось более и следа. Напротив того, у меня теперь так хорошо, так беспричинно радостно на душе; так хотелось бы шуму, смеха, веселья! Ах, если бы у меня был товарищ, ребенок моих лет, с которым можно бы подурачиться, повозиться, в котором бы, так же как и во мне, ключом кипел избыток молодой, здоровой жизни! Но такого товарища нет у меня, я пью чай сам-друг с гувернанткой, так как другие члены семьи, не исключая и брата, и сестры, встают гораздо позднее. Мне так неудержимо хочется чему-нибудь радоваться и смеяться, что я делаю даже слабую попытку заигрывания с гувернанткой. На беду она сегодня не в духе, что часто случается с ней по утрам, так как она страдает болезнью печени; поэтому она считает своим долгом усмирить неуместный порыв моей веселости, заметив мне, что теперь время для учения, а не для смеха.

День начинается у меня всегда уроком музыки. В большой зале наверху, в которой стоит рояль, температура всегда прохладная, так что пальцы мои коченеют и пухнут, и ногти выступают на них синими пятнами.

Полтора часа гамм и экзерсисов, аккомпанируемых однообразными ударами палочки, которою гувернантка выстукивает

---

* Не мямли, Соня. Если ты не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине.

такт, охлаждают значительно то чувство жизнерадостности, с которою я начала мой день. За уроком музыки следуют другие уроки. Пока сестра училась тоже, я находила в уроках большое удовольствие; тогда, впрочем, я была еще такая маленькая, что серьезно меня почти не учили; но я выпрашивала позволение присутствовать на уроках сестры и прислушивалась к ним с таким вниманием, что на следующий раз случалось нередко, что она, большая 14-летняя девочка, не знает заданного урока, я же, семилетняя крошка, запомнила его и подсказываю его ей с торжеством. Это забавляло меня необычайно. Но теперь, когда сестра перестала учиться и перешла на права взрослой, уроки утратили для меня половину своей прелести. Я занимаюсь, правда довольно прилежно, но так ли бы я училась, если бы у меня был товарищ!

В 12 часов завтрак. Проглотив последний кусок, гувернантка отправляется к окну исследовать, какая погода. Я слежу за ней с трепещущим сердцем, так как это вопрос очень важный для меня. Если термометр показывает менее 10° мороза и притом нет большого ветра, мне предстоит скучнейшая, полуторачасовая прогулка вдвоем с гувернанткой, взад и вперед по расчищенной от снега аллее. Если же, на мое счастье, сильный мороз или ветряно, гувернантка отправляется на неизбежную, по ее понятиям, прогулку одна, меня же, ради моциона, посылает наверх, в залу, играть в мячик.

Игру в мяч я не особенно люблю; мне теперь уже двенадцать лет; я сама считаю себя уже совсем большой, и мне даже обидно, что гувернантка еще считает меня способной увлекаться такою детскою забавой, как игра в мяч; тем не менее я выслушиваю приказание с большим удовольствием, так как оно предвещает мне полтора часа свободы.

Верхний этаж принадлежит специально маме и Анюте, но теперь они обе сидят в своих комнатах; в большой зале никого нет.

Я несколько раз обегаю вокруг залы, погоняя перед собою мячик; мысли мои уносятся далеко. Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозревается взрослыми. Я страстно люблю поэзию: самая форма, самый размер стихов доставляют мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощаю все отрывки русских поэтов, какие только попадаются мне на глаза, и я должна сознаться — чем высокопарнее поэзия, тем она более приходится мне по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образ-

цами русской поэзии. В доме у нас никто особенно этой отраслью литературы не интересовался, и хотя у нас была довольно большая библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было. Я никак не могла дождаться того дня, когда в первый раз досталась мне в руки хрестоматия Филонова, купленная по настояниям нашего учителя. Это было настоящим откровением для меня. В течение нескольких дней я ходила, как сумасшедшая, повторяя вполголоса строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника», пока гувернантка не пригрозила, что отнимет у меня драгоценную книгу.

Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи [1]. Но гувернантка моя этого занятия не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет примерная английская мисс, и сочинение стихов с этим представлением никак не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки; если, на мою беду, ей попадется на глаза клочок бумажки, исписанный моими виршами, она тотчас же приколет его мне к плечу, и потом, в присутствии брата или сестры, декламирует мое несчастное произведение, разумеется жестоко его коверкая и искажая.

Однако гонение это на мои стихи не помогало. В двенадцать лет я была глубоко убеждена, что буду поэтессой. Из страха гувернантки я не решалась писать своих стихов, но сочиняла их в уме, как старинные барды, и поверяла их моему мячику. Погоняя его перед собой, я несусь бывало по зале и громко декламирую два моих поэтических произведения, которыми особенно горжусь: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». В голове у меня задумана длинная поэма «Струйка», нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри», но из нее готовы пока только первые десять строф. А их предполагается 120.

Но муза, как известно, капризна, и не всегда поэтическое вдохновение нисходит на меня как раз в то время, когда мне приказано играть в мяч. Если муза не является на зов, то положение мое становится опасным, так как искушения окружают меня со всех сторон. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня чтения. Детских книг

у меня не много, и я все их уже знаю почти наизусть; гувернантка никогда не позволяет мне прочесть какую-нибудь книгу, даже предназначенную для детей, не прочтя ее предварительно сама, а так как она читает довольно медленно и ей постоянно некогда, то и я нахожусь, так сказать, в хроническом состоянии голода насчет книг; а тут вдруг, под рукой у меня такое богатство! Ну как тут не соблазниться!

Я несколько минут борюсь сама с собой. Я подхожу к какой-нибудь книжке и сначала только заглядываю в нее; переверну несколько страничек, прочту несколько фраз, потом опять пробегусь с мячиком, как ни в чем не бывало. Но мало-помалу чтение завлекает меня. Видя, что первые попытки прошли благополучно, я забываю об опасности и начинаю жадно глотать одну страницу за другой. Нужды нет, что мне попался, может быть, не первый том романа; я с таким же интересом читаю с середины и в воображении восстановляю начало. Время от времени, впрочем, я имею предосторожность сделать несколько ударов мячиком, на тот случай, чтобы — если гувернантка вернется и придет подсмотреть, что я делаю,— она слышала, что я играю, как мне приказано.

Обыкновенно моя хитрость удается. Я во-время услышу шаги гувернантки, подымающейся по лестнице, и успею к ее приходу отложить книжку в сторону, так что гувернантка останется в убеждении, что я все время забавлялась игрою в мяч, как следует хорошему, добронравному ребенку. Раза два или три в детстве случилось мне так увлечься чтением, что я ничего не заметила, пока гувернантка как из-под земли не выросла передо мною и не накрыла меня на самом месте преступления.

В подобных случаях, как вообще после всякой особенно важной провинности с моей стороны, гувернантка прибегала к крайнему средству: она посылала меня к отцу с приказанием самой рассказать ему, как я провинилась. Этого я боялась больше всех других наказаний.

В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здо-

ровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.

Он любил быть один, и у него был свой собственный мир, в который никто из домашних не допускался. По утрам он уходил на хозяйственную прогулку, один или в обществе управляющего; почти всю остальную часть дня сидел в своем кабинете.

Кабинет этот, лежащий совершенно в стороне от других комнат, составлял как бы святую святых в доме; даже мать наша, и та никогда не входила в него, не постучавшись предварительно; детям и в голову бы не пришло явиться в него без приглашения.

Поэтому, когда скажет, бывало, гувернантка: «Ступай к отцу, похвастайся ему, как ты вела себя!» — я испытываю настоящее отчаяние. Я плачу, упираюсь, но гувернантка неумолима и, взяв меня за руку, подводит, или, вернее, протаскивает через длинный ряд комнат к двери в кабинет и тут предоставляет меня моей участи, а сама уходит.

Теперь плакать уже бесполезно; к тому же передняя рядом с кабинетом, и я уже вижу в ней фигуру какого-нибудь праздного, любопытного лакея, который с обидным интересом наблюдает за мной.

— Опять, видно, провинились, барышня! — слышу я за собой полусожалительный, полунасмешливый голос папашиного камердинера Ильи.

Я не удостаиваю его ответом и стараюсь придать себе вид как ни в чем не бывало, как будто я пришла к отцу по собственному желанию. Вернуться назад в классную, не выполнив приказания гувернантки, я не решалась. Это значило бы усугубить вину явным непослушанием; стоять тут у двери, мишенью для насмешек лакеев — невыносимо. Не остается ничего иного, как постучаться в дверь и храбро пойти навстречу моей участи.

Я стучусь, но очень тихо. Проходят опять несколько мгновений, которые кажутся мне вечными.

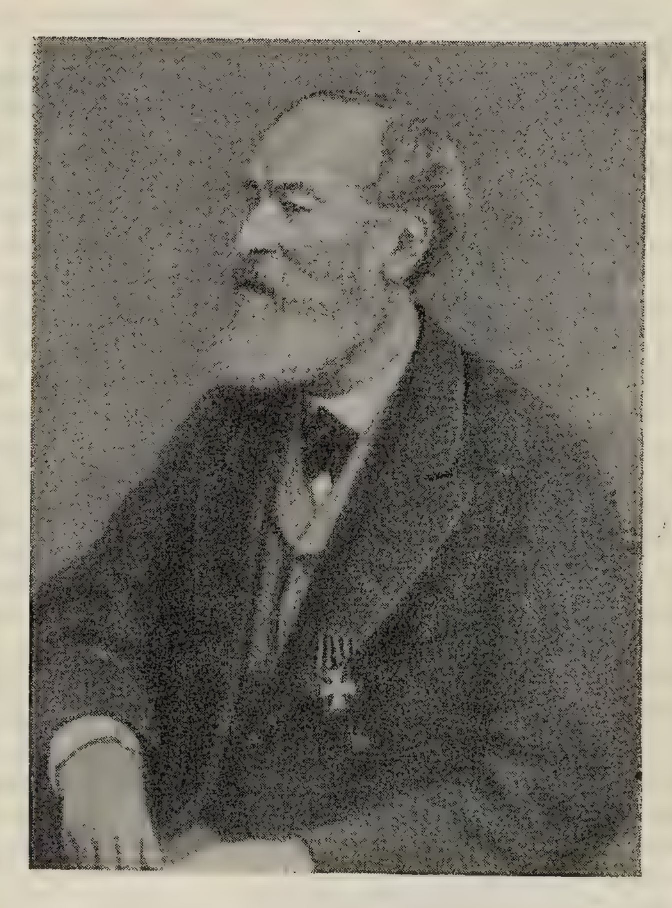
— Постучитесь громче, барышня! Папенька не слышат! — замечает снова несносный Илья, которого, очевидно, очень занимает вся эта история.

Нечего делать, я стучусь опять.

— Кто там? Войдите! — раздается, наконец, голос отца из кабинета.

Я вхожу, но останавливаюсь в полутемноте у порога. Отец сидит за своим письменным столом, спиною к двери и не видит меня.

— Да кто же там? Что надо? — окликает он нетерпеливо.



В. В. КОРВИН-КРУКОВСКИЙ

(отец С. В. Ковалевской)

— Это я, папа. Меня Маргарита Францевна прислала! — всхлипываю я в ответ.

Теперь отец уже догадывается, в чем дело.

— А-а! Ты, верно, опять провинилась! —говорит он, стараясь придать своему голосу как можно более суровое выражение.— Ну рассказывай! Что натворила?

И вот я, всхлипывая и запинаясь, начинаю мой донос на самое себя. Отец выслушивает мою исповедь рассеянно. Его понятия о воспитании весьма элементарны, и вся педагогика подводится им под рубрику женского, а не мужского дела. Он, разумеется, и не подозревает, какой сложный внутренний мир успел уже сложиться в голове той маленькой девочки, которая стоит теперь перед ним и ждет своего приговора. Занятый своими «мужскими» делами, он и не заметил, как я мало-помалу выросла из того пухленького ребенка, каким была лет пять назад. Его, видимо, затрудняет, что сказать мне и как поступить в данном случае. Мой проступок кажется ему маловажным, но он твердо верит в необходимость строгости при воспитании детей. Ему внутренно досадно на гувернантку, которая не умела уладить такого простого дела сама, а послала меня к нему; но раз уже прибегли к его вмешательству, он должен проявить свою власть. Поэтому, чтобы не ослабить авторитета, он старается придать себе вид строгий и негодующий.

— Какая ты скверная, нехорошая девочка! Я очень тобой недоволен,— говорит он и останавливается, потому что не знает, что сказать больше.— Поди, стань в угол! — решает он, наконец, так как из всей педагогической мудрости у него сохранилось в памяти только то, что провинившихся детей ставят в угол.

И вот, можете себе представить, мне, большой, двенадцатилетней девице, мне, которая за несколько минут перед тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, мне приходится пойти и стать в угол, как малому, неразумному ребенку.

Отец продолжает свои занятия у письменного стола. В комнате воцаряется глубокое молчание. Я стою, не шевелясь, но, боже мой! чего только не передумаю я и не перечувствую в эти несколько минут! Я так ясно понимаю и сознаю, до какой степени все это положение глупо и нелепо. Какое-то чувство внутренней стыдливости перед отцом заставляет меня повиноваться молча и не дает мне разреветься, сделать сцену. А между тем чувство горькой обиды, бессильного гнева подступает к горлу и душит меня. «Какие это пустяки! Что мне значит постоять в углу!» — внутренно утешаю я себя, но мне больно, что отец мо-

жет и хочет меня унизить, и это тот самый отец, которым я так горжусь, которого ставлю выше всех!

Хорошо еще, если мы остаемся одни. Но вот кто-то стучится в дверь, и в комнату, под тем или другим предлогом, является несносный Илья. Я отлично знаю, что предлог выдуманный, что он просто пришел из любопытства, посмотреть, как барышня наказана; но он и вида не подает, делает свое дело, не торопясь, как будто ничего не замечая, и только уходя бросает на меня насмешливый взгляд. О, как я ненавижу его в эту минуту!

Я стою так тихо, что, случается, отец и забудет обо мне и заставит простоять довольно долго, так как, разумеется, я из гордости ни за что не попрошу сама прощения. Наконец, отец вспомнит обо мне и отпустит со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Ему и в голову не приходит, какую нравственную пытку перенесла его бедная маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероятно, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в душу. Через несколько минут он, разумеется, совсем забудет об этом неприятном ребяческом эпизоде. А я между тем ухожу из его кабинета с чувством такой недетской тоски, такой незаслуженной обиды, как мне, может быть, раза два-три приходилось испытывать впоследствии, в самые тяжелые минуты моей жизни.

Я возвращаюсь в классную, притихшая и присмиревшая. Гувернантка довольна результатами своего педагогического приема, так как в течение многих дней после этого я так тиха и скромна, что она не может нахвалиться моим поведением; но она была бы менее довольна, если бы знала, какой след оставил у меня на душе этот акт моего усмирения.

Вообще во всех моих воспоминаниях детства черною нитью проходит убеждение, что я не была любима в семье. Кроме случайно подслушанных толков прислуги, развитию этого печального убеждения способствовала в значительной степени та жизнь особняком, которую я вела с моей гувернанткой.

Судьба гувернантки тоже была невеселая. Некрасивая, одинокая, уже немолодая, отставшая от английского общества, но никогда вполне не освоившаяся в России, она сосредоточила на мне весь тот запас привязчивости, всю ту потребность в нравственной собственности, на какую только была способна ее крутая, энергичная, неподатливая натура. Я действительно составляла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и придавала значение ее жизни; но любовь ее ко мне была тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности.

Мать моя и гувернантка были две натуры столь противоположные, что никакой симпатии между ними быть не могло. Мать

моя и по характеру, и по наружности принадлежала к числу тех женщин, которые никогда не старятся. Между нею и отцом была большая разница лет, и отец вплоть до старости продолжал относиться к ней, как к ребенку. Он называл ее Лиза и Лизок, тогда как она величала его всегда Васильем Васильевичем. Случалось ему даже в присутствии детей делать ей выговоры. «Опять ты говоришь вздор, Лизочка!» — слышали мы нередко. И мама нисколько не обижалась на это замечание [1], а если продолжала настаивать на своем, то только как избалованный ребенок, который вправе желать и неразумного.

Гувернантки нашей мама положительно побаивалась, так как англичанка нередко резала ее жестоким манером и в детских наших комнатах признавала себя одну полновластной хозяйкой, маму же принимала как гостью. Поэтому мама и заглядывала к нам не часто, и в воспитание мое совсем не вмешивалась.

Что до меня касается, то я в душе очень восхищалась своей мамой, которая казалась мне красивее и милее всех знакомых нам барынь; но в то же время я постоянно испытывала некоторую обиду: за что это она меня любит меньше других детей?

Сижу я, бывало, вечером в классной. Уроки мои к завтрашнему дню все уже готовы, но гувернантка все еще под разными предлогами не пускает меня наверх. Между тем сверху, из залы, которая расположена прямо над классной, доносятся звуки музыки. Мама имеет привычку играть по вечерам на фортепьяно. Она играет целыми часами, наизусть, сочиняя, импровизируя, переходя от одной темы к другой. У нее очень много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше, и я ужасно люблю слушать, как она играет. Под влиянием музыки и усталости от выученных уроков на меня находит наплыв нежности, желание к кому-нибудь прижаться, приголубиться. Остается уже всего несколько минут до вечернего чая, и гувернантка, наконец, отпускает меня. Я взбегаю наверх и застаю следующую сцену: мама уже перестала играть и сидит на диване, а по обеим ее сторонам, прижавшись к ней, Анюта и Федя.

Они смеются, болтают о чем-то так оживленно, что и не замечают моего прихода. Я стою несколько минут возле них, молча, в надежде, что они меня заметят. Но они продолжают говорить о своем. Этого достаточно, чтобы охладить весь мой пыл. «Им и без меня хорошо»,— проходит у меня по душе горькое, ревнивое чувство, и, вместо того, чтобы броситься к маме и начать целовать ее милые белые руки, как я представляла себе внизу, в классной, я забиваюсь куда-нибудь в угол поодаль от них и дуюсь, пока не позовут нас к чаю и вскоре затем пошлют меня спать.

МОЙ ДЯДЯ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более что потребность в сильной и исключительной привязанности развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что, лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-либо выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.

Я помню в детстве две особенно сильные привязанности — к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца Петр Васильевич Корвин-Круковский. Это был чрезвычайно живописный старик, высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми, взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу до верху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлендских собак да у малых детей.

Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семейства, но на самом деле каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись, таким образом, без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее и оживленнее, когда он бывал у нас.

Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue de deux Mondes», своего любимого журнала.

Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему немало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, «что Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 г., так и умер в этой уверенности.

Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми

Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» — кричал он и в пылу увлеченья крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние — это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.

Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние за отсутствием общих интересов не знали, о чем говорить друг с другом.

— А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? — скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери.— Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно [1]. А, каково? Понимаете ли вы, чем это пахнет?

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бес-

сознательно, украшая и пополняя ее и выводя из нее такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.

После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию. Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.

Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.

Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая, «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.

Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшею гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, повидимому, удаленных от жизни научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения анютиного поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.

Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.

Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue de deux Mondes». Одна — об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая — об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар [1] очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.

Но не одна политика и отчеты о новейших изобретениях имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже детские книги. Никогда, ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встречала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое ценил.

Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.

Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной, считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смирного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян. До всего, что он знал, он или додумался сам, или вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому — совсем ничтожные.

Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него, как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое, покорное, преданное ей существо,— бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.

Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили

растолковать ему, какое на его долю выпало счастье и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.

Но счастья из этого союза не вышло.

Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается, однако все мы, точно инстинктом, чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.

Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую, незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».

— Вот была аспид! Упаси боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить; куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе,— да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» — кричит. Случалось даже, сымет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам. Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.

— Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену? — восклицаем мы в негодовании.

— Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь, как перчатку! — отвечает тетушка Анна Васильевна.— Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.

— Неужели он ее любил? Злую такую!

— И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как по-

решили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.

— Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? — спрашиваем мы с любопытством.

Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет. Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.

— Тетенька, голубчик, расскажите! — пристаем мы к ней.

Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.

— Да так вот... собственные крепостные девки ее задушили! — отвечает она вдруг.

— Господи! Какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! — восклицаем мы.

— Да так, очень просто! — повествует Анна Васильевна.— Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная девка, Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как захлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились, всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег, и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопья подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие из них, почитай, что и по сию пору в Сибири гниют!

Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.

— Ну смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! — напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой, ни

с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.

Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.

Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной, шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!

Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что, если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг захлопает в ладоши и в комнату войдут Илья, и Степан, и Саша и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»

Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а, напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.

Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряду вон выходящее, трагическое, на своем веку.

Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него подолгу,

бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой, сильный, умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет и руки ее целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам.

Раз, только один раз в течение всего моего детства не удержалась я и дотронулась до больного места.

Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя по обыкновению сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предалась своим обычным размышлениям на его счет. Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:

— О чем ты это задумалась, деточка?

— Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой?— сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.

Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное, строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинами, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно. Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.

— Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила! — говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое раскрасневшееся от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.

С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною, как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или по крайней мере сделать вид, будто понимаю [1].

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он коекаких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах

подобного же рода, смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике, как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке. Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев нехватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга; это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стороны оклеенная простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого, ежедневного созерцания внешний вид многих из формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным [1].

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым [2].

ДЯДЯ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ШУБЕРТ

Моя привязанность к другому моему дядюшке, брату моей матери, Федору Федоровичу Шуберту, была совсем иного свойства.

Этот дядюшка, единственный сын покойного дедушки [1], был значительно моложе моей матери; он жил постоянно в Петербурге и в качестве единственного мужского представителя семьи Шубертов пользовался безграничным обожанием своих сестер и многочисленных тетушек и кузин, старых девиц.

Его приезд к нам в деревню считался настоящим событием. Мне было лет девять, когда он приехал к нам в первый раз. О дядином приезде толковали много недель наперед. Ему отвели лучшую комнату в доме, и мама сама присмотрела за тем, чтобы в нее поставили самую покойную мебель. Навстречу ему выслали в губернский город, лежащий в 150 верстах от нашего имения, карету, уложив в нее шубу, меховой коврик и плэд, чтобы дядя не простудился, так как это было уже поздно осенью.

Вдруг, накануне того дня, когда ожидали к нам дядю, смотрим мы — подъезжает к парадному крыльцу простая телега, запряженная тройкой почтовых кляч, и из нее выскакивает молодой человек, в легком городском пальто, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо.

— Боже мой! Да ведь это брат Федя! — вскрикнула мама, выглянув из окна.

— Дяденька, дяденька приехали! — разнеслось по всему дому, и все мы выбежали в переднюю встречать гостя.

— Федя, бедный! Как же ты это на перекладных приехал? Разве ты не встретил высланного за тобой экипажа? Тебя, должно быть, растрясло всего? — говорила соболезнующим голосом мама, обнимая брата.

Оказалось, что дядя выехал из Петербурга сутками раньше, чем предполагал.

— Христос с тобой, Лиза! — говорил он, смеясь и стирая

морозные капли с усов перед тем, чтобы поцеловать сестру:— я и не воображал себе, что ты столько возни поднимешь из-за моего приезда! Зачем было за мной высылать? Разве я старая баба, что не могу 150 верст в телеге проехать!

Дядя говорил грудным, очень приятным тенором, как-то особенно картавя. Он был на вид еще совсем молодым человеком. Каштановые, подстриженные под гребенку волосы стояли на его голове густым бархатистым бобром, румяные щеки лоснились от мороза, карие глаза глядели задорно и весело, а из-за пухлых яркокрасных, окаймленных красивыми усиками, губ поминутно выглядывал ряд крупных белых зубов. «Экий молодец этот дядя! Вот прелесть!»— думала я, оглядывая его с восхищением.

— Кто это? Анюта? — спросил дядя, указывая на меня.

— Что ты, Федя, Анюта уж совсем большая. Это только Соня! — обиженным голосом поправила его мама.

— Господи, вот выросли-то у тебя дочки! Смотри, Лиза, ты и опомниться не успеешь, как они тебя в старухи запишут! — сказал дядя, смеясь, и поцеловал меня. Я невольно застыдилась и вся раскраснелась от его поцелуя.

За обедом дядя занимает, разумеется, почетное место, возле мамы. Он кушает с большим аппетитом, что не мешает ему, однако, все время без умолку разговаривать. Он рассказывает разные петербургские новости и сплетни и часто смешит всех и сам закатывается веселым, звонким хохотом. Все слушают его очень внимательно; даже папа относится к нему с большим почтением, без тени той высокомерной, покровительственно-насмешливой манеры, которую он так часто принимает с приезжающими к нам молодыми родственниками и которую эти последние очень не любят.

Чем больше я смотрю на своего нового дядю, тем более он мне нравится. Он уже успел вымыться и переодеться, и по его свежему, здоровому виду никто бы не догадался, что он только что приехал с дороги. Пиджак из плотной английской материи с искрой сидит на нем как-то особенно легко, совсем не как на других. Но больше всего нравятся мне его руки, большие, белые, холеные, с блестящими ногтями, похожими на крупный розовый миндаль. Во все время обеда я не спускаю с него глаз и даже есть забываю — так я занята его разглядыванием.

После обеда дядя садится на маленький угловой диванчик в гостиной и сажает меня к себе на колени.

— Ну давай знакомиться, mademoiselle моя племянница!— говорит он.

Дядя начинает расспрашивать меня, чему я учусь, что читаю. Дети, обыкновенно, знают сами гораздо лучше, чем думают взрослые, какие их сильные, какие слабые коньки: так, например, я отлично знаю, что учусь хорошо и что все считают меня очень avancée * в науках для моих лет. Поэтому я очень довольна, что дядя вздумал меня об этом спрашивать, и отвечаю на все его вопросы очень охотно и свободно. И я вижу, что дядя очень доволен мной. «Вот какая умница! Уж все это она знает!» — повторяет он ежеминутно.

— Дядя, расскажите-ка и вы мне что-нибудь!— пристаю я к нему в свою очередь.

Ну изволь; только такой умной барышне, как ты, нельзя рассказывать сказки,— говорит он шутливо,— с тобой можно говорить только о серьезном.

И он начинает рассказывать мне про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам-то не так давно вышел из университета, так что все эти сведения свежи в его памяти, рассказывает он очень хорошо, и ему нравится, что я слушаю его с таким вниманием, широко раскрыв и уставив на него глаза.

После этого первого дня каждый вечер стало повторяться то же самое. После обеда и мама и папа отправляются вздремнуть с полчасика. Дяде нечего делать. Он садится на мой любимый диванчик, берет меня на колени и начинает рассказывать про всякую всячину. Он предлагал и другим детям послушать; но сестра моя, которая только что соскочила со школьной скамейки, побоялась, что уронит свое достоинство взрослой барышни, если станет слушать такие поучительные вещи, «интересные только для маленьких». Брат же постоял раз, послушал, нашел, что это невесело, и убежал играть в лошадки.

Что же до меня касается, то наши «научные беседы», как дядя в шутку прозвал их, стали для меня невыразимо дороги. Моим любимым временем изо всего дня были те полчаса после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, не поручусь я даже, что не примешивалось к этому чувству какой-то детской влюбленности, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить: «дома ли дядя?» Если за обедом кто-

---

* Успевающей.

нибудь, заметя что я не спускаю с него глаз, спросит бывало: «а что, Софа, видно, ты очень любишь твоего дядю?» — я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

В течение всего дня я почти не встречалась с ним, так как моя жизнь шла совсем отдельно от жизни взрослых. Но постоянно, и во время уроков и во время рекреаций, я только и думала: «Скоро ли наступит вечер! Скоро ли я останусь с дядей!»

Однажды, в то время когда он гостил у нас, к нам приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Эта Оля была единственная девочка моих лет, с которой мне случалось встречаться. Ее привозили к нам, впрочем, не очень часто, но зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас и ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, и хотя характеры наши и вкусы были очень несхожи, так что настоящей дружбы между нами не существовало, но я все же обыкновенно радовалась ее приезду, тем более что в честь его я освобождалась от уроков и мне давался праздник на целый день.

Но теперь, увидя Олю, первою моей мыслью было: «как же будет после обеда?» Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной, и я уже наперед чувствовала, что присутствие глупенькой Оли все испортит.

Поэтому я встретила мою приятельницу с гораздо меньшим удовольствием, чем обыкновенно: «Не увезут ли ее сегодня пораньше?» — думалось мне с тайной надеждой в течение всего утра. Но нет! Оказалось, что Оля уедет только поздно вечером. Что было делать? Скрепя сердце, я решилась открыться моей подруге и попросить ее не мешать мне.

— Слушай, Оля,— сказала я ей вкрадчивым голосом,— я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ты ни захочешь. Но зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась на мое предложение, и я в течение всего дня честно исполняла мою часть договора. Я играла с ней во все игры, какие она ни придумывала, брала на себя какие роли она мне ни назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню по первому ее слову. Наконец, позвали нас к обеду. За столом я сидела, как на иголках. «Сдержит ли Оля свое слово?» думалось мне, и я исподтишка с беспокойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор.

После обеда я по обыкновению подошла к папеньке и ма-

меньке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то он скажет.

— Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать?—спросил дядя, ласково ущипнув меня за подбородок. Я так и подпрыгнула от радости и, весело ухватившись за его руку, собиралась уже итти с ним в наш заветный уголок. Но вдруг я увидела что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами.

Оказалось, что мои уговоры только испортили дело. Очень может быть, что, если бы я ей ничего не говорила, она, увидя, что мы с дядей собирались беседовать о серьезном и питая спасительный страх ко всему, что напоминает ученье, сама поторопилась бы от нас убежать. Но, видя, что я так дорожу рассказами дяди и что я хочу во что бы то ни стало от нее отделаться, она вообразила себе, что мы верно говорим о чем-нибудь очень интересном, и ей захотелось тоже послушать.

— А можно и мне пойти с вами? — спросила она умоляющим голосом, подняв на дядю свои голубые, умильные глаза.

— Разумеется, можно, милочка, — ответил дядя и взглянул на нее очень ласково, очевидно любуясь ее хорошеньким розовым личиком.

Я бросила на Олю гневный, негодующий взгляд, который, однако, не сконфузил ее нимало.

— Да ведь Оля этих вещей не знает. Она, все равно, ничего не поймет, — попробовала я заметить сердитым голосом. Но и эта попытка отделаться от навязчивой подруги ни к чему не повела.

— Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно, — сказал дядя добродушно и, взяв нас обеих за руки, направился с нами к дивану.

Я шла в угрюмом молчании. Эта беседа втроем, причем дядя будет говорить для Оли, соображаясь с ее вкусами и ее пониманием, была вовсе не тем, чего мне хотелось. Мне казалось, что у меня отняли что-то, принадлежащее мне по праву, неприкосновенное и дорогое.

— Ну, Софа, полезай ко мне на колени! — сказал дядя, повидимому, и не замечая совсем моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

— Не хочу! — ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на

душе, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей:

— Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!

Оля не заставила повторить себе это приглашение дважды и, прежде чем я опомнилась, прежде чем я успела сообразить, что случилось, она уже оказалась на моем месте, у дяди на коленях. Этого уж я никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот, не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами.

Я была слишком поражена, чтобы выразить какой бы то ни было протест; я только молча, широко раскрытыми глазами глядела на мою счастливую подругу; а она, чуть-чуть сконфуженная, но все же очень довольная, восседала себе у дяди на коленях как ни в чем не бывало. Сложив свой маленький ротик в уморительную гримаску, она силилась придать своему круглому детскому личику выражение серьезности и внимания. Вся она раскраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

Глядела я на нее, глядела, и вдруг — клянусь, я теперь и сама не знаю, как это случилось — произошло нечто ужасное. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

Мое нападение было так внезапно, так неожиданно, что в первую секунду мы все трое остались ошеломленными и только молча глядели друг на друга. Но вдруг Оля пронзительно взвизгнула, и от визга ее все очнулись.

Стыд, горький, отчаянный стыд охватил меня. Я опрометью побежала вон и комнаты. «Гадкая, злая девчонка!» — напутствовал меня рассерженный голос дяди.

Моим обычным убежищем во всех важных бедах моей жизни была комната, принадлежавшая прежде Марье Васильевне, теперь отведенная нашей бывшей няне. Там и теперь искала я спасения. Спрятав голову в колени доброй старушки, я рыдала долго и продолжительно, и няня, видя меня в таком положении, не расспрашивала меня ни о чем, а только, гладя мои волосы, осыпала меня ласкательными именами. «Бог с тобою, моя ясонька! Успокойся, родная!» — говорила она, и мне в моем возбужденном состоянии духа так отрадно было выплакаться хорошенько у нее на коленях.

По счастью, в этот вечер гувернантки моей не было дома; она на несколько дней уехала к соседям. Поэтому никто не хватился меня. Я могла вволю наплакаться у няни. Когда я не-

сколько успокоилась, она напоила меня чайком и уложила в кроватку, где я в ту же секунду уснула крепким, свинцовым сном.

Но когда я проснулась на следующее утро и вдруг вспомнила, что́ было вчера, мне опять стало так стыдно, что я думала, что никогда больше не решусь глядеть в глаза людям. Однако все обошлось гораздо лучше, чем я ожидала. Олю увезли еще вчера вечером. Очевидно, она была так благородна, что не нажаловалась на меня. По лицам всех в доме было видно, что они ничего не знают. Никто не попрекал меня вчерашним, никто не дразнил меня. Дядя, и тот делал вид, будто ничего особенного не произошло.

Однако, странное дело, с этого дня чувства мои к дяде совсем изменили свой характер. Послеобеденные наши беседы не возобновлялись более. Вскоре после этого эпизода он уехал назад в Петербург, и хотя впоследствии мы часто встречались и он всегда был добр ко мне и я его очень любила, но прежнего обожания к нему я уже никогда больше не испытывала.

ПАЛИБИНО [1]

Местность, где находилось имение Корвин-Круковских, была очень дикой и гораздо более живописной, чем обычно в средних частях России. Витебская губерния известна своими огромными лесами и большим количеством крупных, красивых озер. Сюда еще достигают последние отроги Валдайской возвышенности, и вследствие этого здесь нет тех бесконечных равнин, как в середине России, а ландшафт, наоборот, холмист и разнообразен. Камней вообще немного, но кое-где среди равнины или болотистого луга вдруг встречается большая глыба гранита, так странно выделяющаяся среди окружающей сочной зелени и так мало соответствующая мягким контурам остального ландшафта, что невольно возникает вопрос, какая игра судьбы занесла его сюда. Невольно спрашиваешь себя, не есть ли это какой-нибудь памятник, воздвигнутый в прежние времена какими-то, быть может сверхъестественными, существами. И геологи, действительно, заверяют нас, что эта скалистая глыба занесена сюда издалека и является памятником, но не вымершего народа или одного из сказочных гномов, а большого ледникового периода. В то время огромные куски скал отрывались, как мелкие песчинки, с берегов Финляндии и уносились на далекие расстояния все сокрушающей силой наступающего ледника.

Усадьба Палибино примыкала с одной стороны почти к самому лесу, который сначала был редким и больше походил на парк, а затем постепенно становился все гуще и непроходимее и переходил в огромный государственный бор. Последний простирался на сотни верст кругом, и никогда в нем не слышалось звука топора, разве что в глухую ночную пору, когда какой-нибудь крестьянин оказывался достаточно смелым, чтобы решиться украсть немного дров из казенного леса.

В народе ходили удивительные сказания об этом лесе, сказания, в которых трудно было отличить, где кончалась правда

и начинался вымысел. Там жила, конечно, как и во всех русских лесах, масса леших и русалок, но хотя никто не сомневался в их существовании, никому не удавалось увидеть их, хотя бы издалека, за исключением старой дурочки Груни и «мудрого старика» Федота. Зато многие могли похвалиться своими встречами в лесу с одной или несколькими подозрительными личностями. По слухам, в глубине леса жили разбойники, конокрады и беглые солдаты, прятавшиеся в самых глубоких зарослях, и небезопасно было ни исправнику, ни становому отправиться туда на розыски в ночную пору. Что же касается волков, рысей и медведей, то мало было в округе крестьян, которые хотя бы один раз в жизни не убеждались в том, что таковых было достаточно.

Надо здесь, однако, заметить, что в те времена медведи жили довольно мирно с населением. Иногда, ранней весной или поздней осенью, ходили слухи, что медведь утащил лошадь или корову какого-нибудь крестьянина, но обычно мишки удовлетворялись несколькими снопами овса из закрома или разрушением пары ульев на пчельнике. Лишь очень редко узнавали, что какой-нибудь медведь вступил в борьбу с мужиком, но и то всегда оказывалось, что мужик сам был виноват и первым напал на бедного мишку.

Многие, однако, относились к лесу с неописуемым ужасом. Если в каком-нибудь из окружающих сел вечером у крестьянки пропадал ребенок, то первой ее мыслью было, что он заблудился в лесной чаще, и она начинала так вопить, как будто бы уже нашла его труп. Ни одна из молодых служанок Корвин-Круковских не осмелилась бы уйти в лес одна, но в сообществе с другими, а в особенности с молодыми лакеями, они охотно шли туда. Бесстрашная английская гувернантка, страстно любившая далекие прогулки, сначала с большим презрением относилась ко всем рассказам об опасностях леса, которыми ее старались напугать вскоре после приезда к Корвин-Круковским. Она объявила, что будет гулять там одна, несмотря на все глупые россказни. Но однажды, когда она ушла в лес одна со своими воспитанницами и находилась на расстоянии около часа ходьбы от дома, она вдруг услышала какой-то шорох в кустах и сразу после этого увидела огромную медведицу с двумя медвежатами, которая была на расстоянии не больше 15 шагов от нее и переходила дорогу. После этого она должна была согласиться, что не все рассказы были преувеличены, и с этого времени не решалась уходить в глубь леса, если ее не сопровождал кто-нибудь из слуг.

Но лес служил не только источником ужаса,— в нем скрывалось и бесчисленное количество прекрасных вещей. Там была масса дичи — зайцев, рябчиков, тетеревов и куропаток. Охотнику достаточно было отправиться в лес и немного пострелять, и даже совсем неопытный стрелок мог рассчитывать на богатую добычу. Были там всякие ягоды. Сначала появлялась земляника, поспевавшая в лесу, правда, несколько позднее, чем на лугах, но вознаграждавшая зато своим усиленным ароматом и сочностью. Не успевала еще закончиться замляника, как появлялась черника и малина, а затем и брусника. Не успеешь подумать, а уже созрели орехи, а после них начинается период грибов. Некоторые сорта растут и летом, но настоящее время для белых грибов наступает осенью. Всех старух, девушек и детей охватывает в это время нечто вроде безумия. Их не вытащишь из леса и силой. Как только взойдет солнце, они отправляются туда целыми толпами, вооруженные большими глиняными кувшинами и плетеными корзинами, и домой их не дождешься до позднего вечера. И какая у них появляется жадность! Сегодня они принесли домой столько грибов, что могли бы, кажется, вполне удовлетвориться, но завтра с самого рассвета опять устремляются в лес. Они не могут думать ни о чем, кроме грибов, и, для того чтобы собирать их, готовы убежать от любой работы, как домашней, так и на поле.

Корвин-Круковские тоже иногда предпринимали грандиозные экспедиции в лес — летом, когда созревала земляника, а осенью во время грибного периода. В них принимал участие весь дом, за исключением генерала и его жены, которых не особенно привлекали эти сельские удовольствия.

Уже накануне самой поездки к ней начинают готовиться, а с первыми лучами солнца к крыльцу подкатывает несколько телег. В доме начинается веселый шум. Горничные бегают взад и вперед, укладывая в телегу посуду, самовар, различную еду, чай, сахар и блюда с паштетами и свежим печеньем. Затем сверху бросают пустые кувшины и корзины для предстоящего сбора грибов. Дети, которым позволили встать в такое необычное время, бегают туда и сюда, еще в полусне, но с пылающими щеками. В своем возбуждении они не знают, за что приняться, за все хватаются, всем мешают и выслушивают постоянные замечания не соваться под ноги. Дворовые собаки также очень заинтересованы предстоящей прогулкой. С самого утра они чрезвычайно взволнованы и оглашают воздух громким, непрерывным лаем. Наконец, утомленные своим возбуждением, они растягиваются на дворе, под лестницей, но всем видом своим выражают

напряженное внимание и готовы вскочить при малейшем зове. Вся их натура сосредоточивается на единственной мысли: «Возможно ли, что они отправятся без нас?»

Наконец, все приготовления закончены. Господа садятся в экипажи и размещаются как попало. Здесь находятся гувернантка, учитель, трое детей, около десяти горничных, садовник, двое или трое мужских слуг и приблизительно пять девушек из дворовых людей. Все находятся в приятном возбуждении, каждому хочется участвовать в веселой прогулке. В последний момент, когда экипажи только что тронулись, бежит маленькая пятилетняя Аксюшка, дочь судомойки, оглашая воздух таким неистовым криком, видя, что мать собирается уехать без нее, что последняя вынуждена нагнуться и поднять ее в свою телегу.

Первый привал будет в жилище лесника, расположенном на расстоянии около 10 верст от усадьбы. Телеги медленно подвигаются вдоль болотистой лесной дороги. Лишь первой из них правит настоящий кучер, на остальных этим делом заняты любители, все время отнимающие друг у друга вожжи и заставляющие лошадей итти зигзагами. Внезапно сидящие в передней телеге испытывают неожиданный толчок — телега наехала на большой корень. Маленькую Аксюшу чуть не выбрасывает из экипажа, и ее еле успевают схватить за шиворот и удержать, как держат щенка. Со дна телеги слышится зловещий звон разбитой посуды.

Лес становится все гуще и непроходимее. Куда ни взглянешь, всюду видны только сосны, высокие, мрачные с темнокоричневыми стволами и прямые, как гигантские церковные свечи. Лишь по краям дороги тянется узкая полоска кустарников — орешника, бузины и особенно ветел. Кое-где видны красные дрожащие листья осины, уже окрашенные осенью, или живописная рябина, покрытая яркокрасными гроздьями ягод.

С одной из телег вдруг слышатся громкие возгласы и крики. Шапка одного из импровизированных кучеров застряла в ветке березы, далеко свисающей над дорогой. Ветка приходит в движение, задевает сидящих в телеге лиц и осыпает их мелкими, пахучими каплями росы. Начинаются смех, шутки и всякого рода остроты. Наконец, показывается жилище лесника. Изба покрыта досками и выглядит гораздо чище и удобнее большинства крестьянских изб в Белоруссии. Она расположена среди небольшого луга — необычайная роскошь для крестьян в этой местности,— и вокруг нее имеется небольшой сад-огород, где среди капустных голов видны также головки мака и несколько яркожелтых подсолнухов. Посреди сада возвышается несколько

яблонь, усыпанных краснеющими плодами и составляющих особую гордость их владетеля. Он сам посадил их в виде дичков, найденных в лесу, а затем привил их, и теперь яблоки могут соперничать с лучшими сортами из соседних усадеб. Леснику уже около 70 лет; его длинная борода совсем белая, но сам он еще выглядит здоровым и подвижным, со своим серьезным и выражающим достоинство лицом. Он более высокого роста и более крепкого сложения, чем большинство белоруссов, а в его лице как бы отражается величавое спокойствие окружающего леса. Всех своих детей он пристроил — дочери вышли замуж, а сыновья занимаются различными ремеслами в округе. Теперь он живет один со своей старухой и 15-летним приемышем, которого они взяли себе в помощники.

Как только старуха заметила приближение гостей, она сейчас же начинает ставить самовар, а когда экипажи подъезжают к воротам, оба они со стариком стоят там и с глубокими поклонами просят гостей не погнушаться ими и выкушать чашку чая. В избе все чисто, хотя воздух спертый и имеет неприятный запах ладана и деревянного масла. Из опасения зимних холодов окна сделаны очень маленькими и плотно закупорены. После свежего лесного воздуха сначала кажется, что здесь невозможно дышать, но в избушке столько интересных вещей, что дети скоро привыкают к тяжелому воздуху и с любопытством осматриваются. Глиняный пол покрыт еловыми ветками; вдоль стены идут скамьи и на них прыгает ручная галка с подрезанными крыльями, нисколько не гнушаясь присутствием большого черного кота, с которым они, повидимому, большие друзья. Кот сидит на задних лапках и умывается при помощи одной из передних лап, рассматривая в то же время через полузакрытые веки приезжих с деланным равнодушием. В переднем углу стоит большой деревянный стол, покрытый белой вышитой скатертью, а над ним висит киот с очень старинными и безобразными иконами. О леснике говорят, что он раскольник, и что именно поэтому у него так чисто в избе и имеются признаки некоторого благосостояния. Известно ведь, что сектанты никогда не ходят в кабак и что они заботятся о большой чистоте как своего жилища, так и своего образа жизни. Говорят также, что лесник ежегодно платит значительную сумму исправнику и священнику, чтобы они не вмешивались в его религиозные убеждения, не заставляли бы его посещать православную церковь и не мешали бы ему ходить на собрания сектантов. Далее утверждают, что он никогда не съест ни куска в доме у православного, и что у себя дома держит особую посуду для православных, считая их

нечистыми. Детям очень хотелось бы знать, правда ли, что дядя Яков, как они называют лесника, считает и их нечистыми, но не решаются спросить его об этом.

В общем они очень любят дядю Якова, и быть у него в гостях для них большое удовольствие. Когда он иногда приходит в гости в Палибино, у него всегда имеется для них какой-нибудь подарок, который приходится им больше по вкусу, чем самые дорогие игрушки. Так, например, он раз привел с собой молодого лосенка, который долго жил у них в парке, но никогда не стал вполне ручным.

Большой медный самовар кипит на столе, на котором поставлено также несколько необыкновенных кушаний: варенец, маковые пряники, огурцы с медом — все эти лакомства дети не получают нигде, кроме как у дяди Якова. Последний усердно угощает своих гостей, но сам ни до чего не дотрагивается; «он, наверное, действительно считает нас нечистыми»,— думают дети. В то же время он ведет чинный разговор с учителем, употребляя при этом некоторые местные выражения, которых дети не понимают. Но им очень нравится слушать дядю Якова, он столько знает о лесе и его обитателях и знает, о чем каждый зверь думает и чем занимается.

Сейчас всего 6 часов утра (как это странно, что обычно в это время лежишь в постели, а сегодня уже давно проснулся и столько времени был на ногах). Но больше нельзя задерживаться. Все общество углубляется в лес, и все расходятся, окликая иногда друг друга, чтобы не слишком удалиться от остальных и не заблудиться.

Кто же найдет больше всего грибов? Этот вопрос волнует всех, у каждого вспыхивает честолюбие. Соне сейчас кажется, что на свете нет ничего важнее, чем поскорее наполнить свою корзинку. «О, боже, дай мне найти много, много грибов»,— страстно молит она про себя, и, как только увидит издали коричневую или желтую шляпку, скорее бежит туда, чтобы никто не смог ее опередить и лишить ее добычи. Но у нее часто бывают неудачи: то она приняла коричневый лист за шапку гриба, то ей кажется, что из моха торчит ясная головка белого гриба, и она в восторге хватает ее, но вдруг видит, что снизу шапка совсем другая и что это только противная поганка, принявшая вид белого гриба. Но самое для нее досадное — и что тоже не раз с ней случается — это пройти мимо какого-нибудь места, ничего там не заметив, а потом увидеть, как остроглазая Феклуша почти под ногами у нее выкапывает чудесный белый гриб. Противная Феклуша! Она как будто чувствует, где находятся

лучшие грибы, или прямо-таки умеет колдовством вызвать их из земли. Ее корзинка уже наполнена до краев, причем там все больше белые и подберезовики, а сыроешки и тому подобные грибы она презирает и совсем не кладет их. И какие чистенькие у нее все грибы, кажется, что можно съесть их сырыми! Сонина корзинка наполнена лишь наполовину, причем там есть такие большие слизистые шляпки, что ей почти стыдно их показывать.

В 3 часа опять делается привал. На лугу, где пасутся выпряженные лошади, кучер развел костер. Один из слуг бежит к протекающему вблизи ручейку и наполняет кувшин водой. Девушки расстилают на траве скатерть и ставят на нее тарелки, стаканы и поднос с самоваром. Господа сидят отдельной кучкой, а на почтительном расстоянии от них все слуги. Но это расстояние соблюдается лишь первые четверть часа; сегодня такой чудесный и особенный день, что все сословные различия как бы стираются. Все полны одним и тем же всепоглощающим интересом, и скоро все общество перемешивается. Каждый хочет похвастаться своей добычей и посмотреть, сколько набрали остальные. Кроме того, каждому есть что рассказать: один спугнул зайца, другой видел логовище барсука, третий чуть не наступил на змею.

После того как все поели и немного отдохнули, опять начинается собирание грибов. Но прежнее усердие исчезло. Усталые ноги еле тащатся, и хотя в корзине теперь находится лишь несколько грибов, она кажется такой тяжелой, что прямо оттягивает руку. Воспаленные глаза отказываются служить, они видят грибы там, где их вовсе нет, и в упор смотрят на настоящие грибы, не замечая их.

Соне теперь совершенно безразлично, будет ли ее корзина наполнена, но зато она стала гораздо восприимчивее ко всем остальным впечатлениям от леса. Солнце теперь склоняется к закату, и его косые лучи проникают между стволами деревьев, окрашивая их в кирпичный цвет. Маленькое лесное озеро с его плоскими берегами лежит так неестественно тихо, как будто заколдованное. Вода стала совсем темной, почти черной, и лишь в одном месте блестит красное, почти пурпурное пятно.

Пора уже собираться домой. Все снова теснятся в экипажах. В течение дня все так были заняты собственными делами, что почти не обращали внимания на других, но теперь все замечают друг друга и начинают неудержимо смеяться. Все они имеют вид каких-то фантастических лесных существ. Благодаря этому одному дню, проведенному на свежем воздухе, лица их обветри-

лись и пылают, волосы спутались, и вся одежда их пришла в полнейший беспорядок. Они, правда, все надели для этой лесной прогулки свои худшие платья, которые уже не сто́ит беречь, но утром все еще было вполне прилично, сейчас же вид всех невольно возбуждает смех. Один потерял в лесу свои башмаки, у другой вместо юбки висят лишь одни лохмотья. Особенно интересны головные уборы. Одна из служанок воткнула большую красную гроздь рябины в свои черные растрепанные косы, другая соорудила себе нечто вроде каски из листьев папоротника, третья воткнула палку в огромный мухомор и держит его над собой в виде зонтика.

Соня обмотала вокруг головы длинную плеть лесного хмеля, желтозеленые гроздья которого смешиваются с ее темными, в беспорядке рассыпанными по плечам волосами и придают ей вид маленькой вакханки. Щеки ее пылают, глаза сверкают.

«Слава тебе, могучая королева цыган!»— восклицает ее брат Федя, шутя преклоняя перед ней колени.

Даже гувернантка, посмотрев на нее, со вздохом должна согласиться, что она действительно больше похожа на цыганку, чем на благовоспитанную барышню. Но если бы гувернантка только знала, как много дала бы сейчас Соня за то, чтобы быть настоящей цыганкой! Этот день, проведенный в лесу, пробудил в ней столько диких первобытных инстинктов! Она хотела бы никогда не возвращаться домой, а провести всю жизнь в этом чудесном лесу! Масса мечтаний и фантазий о далеких путешествиях наполняет ее голову.

Обратный путь совершается в глубоком молчании. Все устали и находятся в удивительном, почти торжественном настроении. Некоторые служанки затягивают такую грустную и жалобную песню, что Соня чувствует, как сердце ее сжимается той необъяснимой тоской, которая часто на нее нападает после сильной веселости. Но в этой тоске есть что-то такое приятное, что она не хотела бы променять ее на шумное веселье.

Когда Соня возвратилась домой и уже легла в постель, она, несмотря на свою усталость, долго не могла заснуть. В состоянии, близком к лихорадочному, она в полусне все еще видит перед собой весь лес. Она видит его с еще большей ясностью, чем днем, лучше воспринимает как общий вид его, так и отдельные детали. Некоторые впечатления, которые тогда были ею восприняты лишь на лету и не были вполне осознаны, теперь возвращаются с большой живостью. Вот из темноты возникает большой муравейник. Каждая мелкая веточка и иголка хвои вырисовываются так ясно, что Соне кажется, что она может их

схватить. Хлопотливые муравьи, таща большие белые яйца, бегают взад и вперед. Но вот все исчезает, и вместо этого появляется большой белый комок, похожий на снежный шар. Соня различает теперь, что он весь состоит из очень тонких паутинных нитей и что в середине виднеется маленькое темное пятнышко. Она хочет взять комок в руки, но едва она подумала об этом, как темное пятно в середине приходит в сильное движение и из него выскакивают, как из центра на периферию, масса мелких, черных паучков, которые усиленно двигаются. Соня действительно видела утром такой странный комок, но тогда она едва обратила на него внимание, и теперь он возник перед ней совершенно ясно.

Долго еще усталая Соня вертится в своей постели, не в силах прогнать назойливые видения, но, наконец, спокойно засыпает.

Этот лес, игравший такую роль во всех детских воспоминаниях Сони, граничил с одной стороны с усадьбой, с другой был сад, простиравшийся почти до озера, а по ту сторону озера шли поля и луга. Кое-где среди зелени виднелись маленькие невзрачные деревушки, дома которых больше напоминали жилища диких зверей, чем человеческие постройки. Почва в Витебской губернии далеко не так плодородна, как чернозем средней полосы России и Украины...

Посередине этого дикого, скудно населенного тракта, находясь в резком контрасте с ним, возвышалась палибинская усадьба со своими массивными каменными стенами, башнями и террасами, летом увитыми розами, и со своими оранжереями.

Летом в окружающем тракте было все-таки сколько-нибудь оживленно, но зимой он как бы совершенно вымирал. Снег засыпал все дорожки в саду и скапливался большими сугробами, доходящими до самого здания. Выглядывая из окон, видели вокруг лишь белую безжизненную равнину. Целыми часами никого не видно было на большой дороге; лишь изредка появлялись крестьянские сани, которые тащила худая кляча, вся белая от инея, а затем проходили долгие часы без всяких признаков жизни.

Волки подходили иногда по ночам совсем близко к усадьбе.

Зимний вечер. Все семейство Корвин-Круковских собралось вокруг чайного стола. Рядом, в большой гостиной, зажжена хрустальная люстра, и пламя свечей многократно отражается в высоких зеркалах на стенах. Вдоль стен расставлена дорогая, обитая шелком мебель, а на оконных стеклах отражаются фантастические образы больших зубчатых листьев пальмы и других

оранжерейных растений. На столах лежат книги и иностранные журналы.

Чаепитие уже закончено, но детей еще не посылают спать. Василий Васильевич курит и раскладывает пасьянс. Елизавета Федоровна сидит за роялью и играет несколько тактов из сонаты Бетховена или романса Шумана. Анюта ходит взад и вперед по комнате, переносясь в своем воображении далеко от действительности. Она представляет себя в блестящем обществе царицей бала...

В дверях вдруг появляется главный лакей Илья. Он ничего не говорит, а останавливается у порога, раскачиваясь то на одной ноге, то на другой, как всегда делает, когда у него есть какое-нибудь особенное сообщение.

— Что тебе, Илья?— спрашивает его, наконец, генерал.

— Да ничего особенного, ваше превосходительство,— говорит Илья, усмехаясь.— Я только пришел сказать, что внизу у озера собралась стая волков. Не угодно ли господам послушать, как они воют?

При этом известии дети приходят в сильное возбуждение и просят разрешения выйти на лестницу. После нескольких отказов, выражающих опасение, что они простудятся, отец, наконец, дает свое согласие. На детей надевают теплые шубы и шапки, и они выходят наружу в сопровождении Ильи.

На дворе прекрасная зимняя ночь. Мороз такой сильный, что дух захватывает. Несмотря на отсутствие луны, все же достаточно светло, благодаря снегу и мириадам звезд, усыпавшим подобно золотым украшениям весь небосвод. Соне кажется, что она никогда не видела таких ярких звезд, как в этот вечер. Их лучи как бы переходят друг в друга, и они то ярко вспыхивают, то на мгновение темнеют.

Куда ни посмотришь, везде снег и ничего, кроме него. Целые горы снега, который все покрывает и выравнивает. Ступенек на террасу совсем не видно, не заметно даже, насколько она возвышается над окружающим садом,— все превратилось в белую равнину, незаметно сливающуюся с замершим озером.

Но всего удивительнее окружающая тишина, глубокая тишина, которой, кажется, ничто не может помешать. Дети стоят несколько минут на лестнице, но ничего не слышно.

— Где же волки?— спрашивают они нетерпеливо.

— Как будто нарочно замолчали,— говорит Илья с досадой,— но подождите, они наверно скоро начнут.

И вот, действительно, в этот момент слышится протяжный прерывающийся вой, на который сейчас же отвечают другие,

и вокруг озера начинается хор, такой странный и тоскливый, что сердце невольно сжимается.

— Вот они, наши мальчики,— торжественно говорит Илья. — Теперь они уже принялись за пение. Непонятно, почему это они так любят наше озеро. По ночам они бродят там целыми дюжинами.

— Ну, а ты что скажешь, Полкан?— обращается он к большой ньюфаундлендской собаке, любимице всего дома, которая тоже последовала со всеми на лестницу.— Не желаешь ли ты присоединиться к ним и попробовать немного волчьих зубов?

Но на собаку этот волчий концерт производит, повидимому, страшное впечатление. Обычно такая бойкая и готовая всегда к драке, она теперь прижимается к детям с опущенным хвостом, и весь вид ее выражает непреодолимый страх.

Детей тоже начинает угнетать этот своеобразный дикий хор. Они чувствуют, как их пронизывает нервная дрожь, и торопятся вернуться в теплую, уютную комнату.

МОЯ СЕСТРА

Но несравненно сильнее всех других влияний, отразившихся на моем детстве, было влияние моей сестры Анюты.

Чувство, которое я питала к ней с самого моего детства, было очень сложное. Я восхищалась ею непомерно, подчинялась ей во всем беспрекословно и чувствовала себя очень польщенной всякий раз, когда она дозволяла мне принять участие в чем-нибудь, что занимало ее самое [1]. Для сестры моей я пошла бы в огонь и в воду, и в то же время, несмотря на горячую привязанность к ней, в глубине души гнездилась у меня и крупица зависти, той особого рода зависти, которую мы так часто, почти бессознательно испытываем к людям, нам очень близким, которыми мы очень восхищаемся и которым желали бы во всем подражать.

А между тем завидовать моей сестре грешно было, так как судьба ее была, собственно говоря, далеко не веселая.

Родители мои переехали на постоянное жительство в деревню именно к тому времени, когда она начала выходить из детского возраста.

Незадолго после нашего переезда вспыхнуло польское восстание, и так как имение наше лежало на самой границе Литвы и России, то отголосок этого восстания коснулся и нас. Большинство соседних помещиков, и преимущественно самые богатые и образованные, были поляки. Многие из них оказались более или менее серьезно скомпрометированными; у некоторых имения были конфискованы; почти все обложены контрибуциями. Многие добровольно побросали свои усадьбы и уехали за границу [2]. В годы, следовавшие за польским восстанием, молодежи как-то совсем и не видно было в наших краях; она вся куда-то улетучилась. Оставались только дети да старики, безобидные, напуганные, боявшиеся собственной тени, да разный пришлый люд чиновников, купцов и мелкопоместных дворян.

А. В. КОРВИН-КРУКОВСКАЯ (ЖАКЛАР)

(сестра С. В. Ковалевской)

Понятно, что при подобных условиях деревенская жизнь не была особенно весела для молоденькой девушки [1]. К тому же все предварительное воспитание Анюты было такого рода, что никаких деревенских вкусов у нее развиться не могло. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. К тому же зачинщицей всяких подобных удовольствий всегда являлась англичанка — гувернантка, а существовавший между нею и Анютою антагонизм был так велик, что стоило одной из них выступить с каким-нибудь предложением, чтобы другая тотчас же отнеслась к нему враждебно. Одно лето пристрастилась Анюта, правда, к верховой езде, но это было, кажется, больше из подражания героине какого-то занимавшего ее тогда романа. Так как подходящего спутника не находилось, то вскоре одинокие прогулки верхом в сопровождении одного скучающего кучера ей надоели, и ее верховая лошадь, окрещенная ею романическим именем «Фрида», скоро перешла к более скромной должности — развозить по полям управляющего и стала опять известна под своей первоначальной кличкой «Голубки».

О том, чтобы сестра занялась хозяйством, не могло быть и речи: до такой степени подобное предложение показалось бы нелепым и ей самой и всем ее окружающим. Все воспитание ее было направлено к тому, чтобы развить из нее блестящую светскую барышню. Чуть ли не с семилетнего возраста она привыкла быть царицей на всех детских балах, на которые ее часто возили, пока родители жили в больших городах. Папа очень гордился ее детскими успехами, о которых шло в нашей семье много преданий.

— Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези. Она всякого царевича с ума сведет, — говаривал, бывало, папа, разумеется, в виде шутки: но беда была в том, что не только мы, младшие дети, но и сама Анюта принимала эти слова всерьез.

В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высоконькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла назваться почти писаной красавицей, а кроме того у нее было много своеобразного charme *. Она сама отлично сознавала, что могла бы играть первую роль в любом обществе, а тут вдруг деревня, глушь, скука.

Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Отец сначала только отшучивался, но иногда он снисходил до объяснения и очень

---

* Очарование.

резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика — жить в своем поместье. Бросить теперь имение значило бы разорить всю семью. На эти доводы Анюта не знала, что возразить. Она только чувствовала, что ей-то от этого не легче, что ее-то молодость дважды не повторится. После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала [1].

Впрочем, раз в год, зимою, отец отправлял обыкновенно мать и сестру на месяц или недель на шесть в Петербург погостить у тетушек. Но поездки эти, стоившие массу денег, пользы собственно не приносили. Они только разжигали в Анюте вкус к удовольствиям, а удовлетворения не доставляли. Месяц в Петербурге пройдет всегда так быстро, что она и опомниться не успеет. Такого человека, который бы мог направить ее ум на серьезное, она в том обществе, куда ее возили, встретить не могла. Женихов подходящих тоже не представлялось. Нашьют ей, бывало, нарядов; свезут раза три-четыре в театр или на бал в дворянское собрание; кто-нибудь из родственников устроит вечер в ее честь, наговорят комплиментов ее красоте; потом, только что она начнет входить в настоящий вкус всего этого, опять увезут ее в Палибино, и опять начнется для нее безлюдье, безделье, скука, скитание целыми часами из угла в угол по огромным комнатам палибинского дома, переживание в мыслях недавних радостей и страстные, бесплодные мечты о новых успехах на том же поприще.

Чтобы хоть чем-нибудь наполнить пустоту своей жизни, сестра постоянно выдумывала себе какие-нибудь искусственные увлечения, и так как жизнь ее домашних тоже была очень бедна внутренним содержанием, то обыкновенно все в доме с жаром накидывались на всякую ее новую затею как на предлог для разговоров и для волнений. Одни порицали ее, другие сочувствовали ей, но для всех она доставляла приятный перерез в обычном однообразии жизни.

Когда Анюте было всего лет пятнадцать, она проявила первый свой акт самостоятельности тем, что набросилась на все романы, какие только находились в нашей деревенской библиотеке, и поглотила их неимоверное количество. По счастью, никаких «дурных» романов у нас в доме не имелось, хотя в плохих и в бездарных недостатка не было. Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением. Они ввели ее в неведо-

мый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии. С ней повторилось то же самое, что за много веков перед тем было с бедным Дон-Кихотом: она уверовала в рыцарей и самое себя вообразила средневековой барышней.

На беду еще наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его Château Palibino *. Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой, ведущей в нее лестницы заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутины, увесила ее старыми коврами и оружием, выкопанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное местопребывание. Как теперь вижу я ее гибкую, стройную фигуру, облеченную в плотно обтягивающее ее белое платье, с двумя тяжелыми белокурыми косами, свесившимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно, на большую дорогу, не едет ли рыцарь.

— Soeur Anne, soeur Anne! Ne vois tu rien venir?

— Je ne vois que la terre qui poudroit et l'herbe qui verdoit! **

На место рыцаря приезжал исправник, приезжали акцизные чиновники,... рыцаря все не было. Наскучило, наконец, сестре ждать его, и рыцарский период прошел у нее столь же быстро, как и начался.

В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд».

После Гастингского сражения Эдит «лебединая шея» нашла в числе убитых труп любимого ею короля Гаральда. Перед самою битвою он совершил клятвопреступление, смертный грех, и умер, не успев покаяться. Душа его обречена на вечные муки.

После этого дня исчезла и Эдит из родного края, и никто из ее близких не слыхал более о ней. С тех пор прошло много лет, и самая память об Эдит начала забываться.

Но на противоположном берегу Англии, среди диких скал и лесов, стоит монастырь, известный своим строгим уставом. Там

* Замок Палибино.

** Сестра Анна, сестра Анна! Не видишь ли ты — идет кто-нибудь? — Я вижу только пылящую землю и зеленеющую траву [1].

живет уже много лет одна монахиня, наложившая на себя обет вечного молчания и восхищающая всю обитель подвигами своего благочестия. Она не знает покоя ни днем, ни ночью; в ранние часы утра и в глухую полночь виднеется ее коленопреклоненная фигура перед распятием Христа в монастырской часовне. Всюду, где есть какой-нибудь долг совершить, помощь подать, чужое страдание утешить, — всюду является она первою. Ни один человек не умирает в околотке без того, чтобы над его смертным одром не склонилась высокая фигура бледной монахини, без того, чтобы чела его, уже покрытого холодным предсмертным потом, не коснулись ее бескровные уста, скованные страшным обетом вечного молчания.

Но никто не знает, кто она такая, откуда она пришла. Лет двадцать тому назад явилась к воротам монастыря закутанная черным покрывалом женщина и после долгого, таинственного разговора с игуменьей навсегда осталась тут.

Тогдашняя игуменья давно уже умерла. Бледная монахиня все расхаживает тут, как тень, но никто из ныне живущих в монастыре не слыхал звука ее голоса.

Молодые монахини и бедный люд во всей окрестности поклоняются ей, как святой. Матери приносят к ней больных детей, чтобы она коснулась их рукою, в надежде, что они исцелятся от одного ее прикосновения. Но есть также люди, которые поговаривают, что, верно, в молодости она была великой грешницей, если ей приходится путем такого самобичевания искупать прошлое.

Наконец, после многих, многих лет самоотверженной работы наступает ее смертный час. Все монахини, и молодые, и старые, столпились у ее смертного одра; сама мать-игуменья, уже давно лишившаяся употребления ног, велела перенести себя в ее келью.

Вот входит священник. Властью, данной ему господом нашим Иисусом Христом, он разрешает умирающую от наложенного ею на себя обета молчания и заклинает ее поведать им перед кончиной, кто она такая, какой грех, какое преступление тяготеет на ее совести.

Умирающая с усилием приподнимается на постели. Ее бескровные губы словно окаменели в их долгом молчании и отвыкли от людской речи; в течение нескольких секунд они шевелятся судорожно и машинально, прежде чем им удается издать какой-нибудь звук. Наконец, повинуясь приказанию своего духовного отца, монахиня начинает говорить, но голос ее, не раздававшийся в течение двадцати лет, звучит глухо и неестественно.

— Я — Эдит, — с трудом произносит она. — Я невеста погибшего короля Гаральда.

При звуке этого имени, проклинаемого всеми благочестивыми служителями церкви, робкие монахини в ужасе совершают крестное знамение. Но священник говорит:

— Дщерь моя, ты любила на земле великого грешника. Король Гаральд проклят нашей общей святой матерью — католической церковью, и не будет ему никогда прощения: вечно гореть ему в адском огне. Но бог видел твое многолетнее подвижничество. Он оценил твое раскаяние и слезы. Иди с миром. В райской обители ждет тебя другой, бессмертный жених.

Впалые, словно восковые щеки умирающей внезапно покрываются румянцем. В ее, казалось, давно поблекших глазах вспыхивает страстный лихорадочный огонь.

— Не надо мне рая без Гаральда!! — восклицает она к ужасу всех присутствующих монахинь. — Если Гаральд не прощен, пусть и меня не зовет бог в свою обитель!

Монахини стоят молча, оцепенелые от ужаса, а Эдит, с неестественным усилием приподнявшись со своего одра, повергается ниц перед распятием.

— Великий боже! — взывает она своим надломленным, уже почти нечеловеческим голосом. — За один миг страданий твоего сына ты снял со всего человечества печать прирожденного греха. А я в течение двадцати лет умираю каждый день, каждый час медленной мучительной смертью. Ты видел, ты знаешь мои страдания. Если я заслужила ими перед тобой, прости Гаральда! Яви мне перед смертью знамение; когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собою свеча перед распятием. Тогда я буду знать, что Гаральд прощен.

Священник читает «Отче наш». Торжественно, внятно произносит он каждое слово. Монахини, и молодые и старые, шопотом повторяют за ним святую молитву. Между ними нет ни одной, которая не проникнулась бы жалостью к несчастной Эдит, которая не отдала бы охотно собственной жизни за спасение души Гаральда.

Эдит лежит распростертая на земле. Ее тело уже сведено судорогой, и вся ее угасающая жизнь сосредоточилась только в ее глазах, устремленных на распятие.

Свеча все не загорается.

Священник прочел молитву. «Аминь», провозгласил он печальным голосом. Чуда не совершилось. Гаральд не прощен.

Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор ее погас навеки [*].

И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры. Ее воображению в первый раз в жизни ясно представились вопросы: есть ли будущая жизнь? все ли кончается смертью? встретятся ли два любящих существа на том свете и узнают ли друг друга?

С той необузданностью, которую она вносила во все, что делала, сестра вся прониклась этими вопросами, точно она первая на них натолкнулась, и ей преискренне стало казаться, что она не может жить, не получив на них ответа.

Как теперь помню, был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было удивительно стройно и хорошо. В открытые окна врывался запах роз и скошенного сена. С фермы доносились мычание коров, блеяние овец, голоса рабочих, — все разнообразные звуки деревенского летнего вечера, но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя.

У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване, с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у нее надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

— Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила ее в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

— Ты, все равно, не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудная, эта жестокая книга,— она указала на роман Бульвера,—заставила меня глубже взглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно! ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась головой в подушку дивана.

Это искреннее отчаяние 16-летней девушки, в первый раз наведенной на мысль о смерти чтением экзальтированного английского романа, эти патетические, книжные слова, обращен-

ные к десятилетней сестре, все это, вероятно, заставило бы улыбнуться взрослого. Но у меня сердце буквально замерло от ужаса, и я вся преисполнилась благоговением к важности и серьезности мыслей, занимающих Анюту. Вся краска летнего вечера внезапно померкла для меня, и я даже устыдилась той беспричинной радости, которая за минуту перед тем переполняла все мое существо.

— Но ведь мы же знаем, что есть бог и что после смерти мы пойдем к нему, — попробовала я, однако, возразить. Сестра посмотрела на меня кротко, как взрослый на ребенка.

— Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом, — сказала она голосом очень печальным, но вместе с тем преисполненным такого сознания превосходства надо мной, что я тотчас почему-то устыдилась ее слов.

После этого вечера с сестрой моей произошла большая перемена. Несколько дней после этого она ходила кротко-печальная, изображая всем своим видом отречение от благ земных. Все в ней говорило: memento mori *. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами были забыты. На что любить, на что желать, когда все кончается смертью!

Сестра не дотрагивается больше ни до единого английского романа: они ей все опротивели. Зато она жадно поглощает «Imitation de Jésus Christ» ** и решается, подобно Фоме Кемпийскому, путем самобичевания и самоотречения заглушить возникающие в душе сомнения [1].

С прислугой она небывалым образом кротка и снисходительна. Если я или младший брат о чем-нибудь просим ее, она не ворчит на нас, как бывало иногда прежде, а тотчас уступает нам, но с видом такой душу сокрушающей résignation ***, что у меня сжимается сердце и пропадает всякая охота к веселью.

Все в доме преисполнилось уважением к ее благочестивому настроению и обращаются с ней нежно и осторожно, как с больной или с человеком, потерпевшим тяжелое горе. Только гувернантка недоверчиво пожимает плечами, да папа подтрунивает за обедом над ее туманным видом, «son air ténébreux» ****. Но сестра покорно переносит насмешки отца, а с гувернанткой обращается с такой изысканной вежливостью, которая бесит последнюю, пожалуй, больше грубости. Видя сестру свою такою, и я ничему не могу радоваться; даже стыдно, что я еще не до-

* Помни о смерти.
** «Подражание Иисусу Христу».
*** Покорность судьбе.
**** Мрачный вид.

вольно сокрушаюсь, и втайне завидую силе и глубине чувств своей старшей сестры. Продолжалось это настроение, однако, недолго. Приближалось 5 сентября: это были именины моей матери, и день этот всегда праздновался у нас в семье с особенной торжественностью. Все соседи, верст на пятьдесят в окружности, съезжались к нам; набиралось человек до ста, и уже всегда к этому дню устраивалось у нас что-нибудь особенное: фейерверк, живые картины или домашний спектакль. Приготовления начинались, разумеется, задолго наперед.

Мать моя была большая любительница домашних спектаклей и сама играла хорошо и с большим увлечением. В нынешнем году у нас только что отстроили постоянную сцену, совсем как следует, с кулисами, занавесью и декорациями. В соседстве было несколько старых, записных театралов, которых всегда можно было завербовать в актеры. Матери очень хотелось домашнего спектакля, но теперь, когда у нее была взрослая дочь, ей как будто совестно было выказывать слишком много азарта к этому делу; ей бы хотелось, чтобы все это устроилось якобы для удовольствия Анюты. А Анюта тут-то, как нарочно, напустила на себя монашеское настроение духа!

Помню я, как осторожно, несмело подступила к ней мать, стараясь навести ее на мысль о домашнем спектакле. Анюта сдалась не тотчас же; сначала она обнаружила большое презрение ко всей этой затее; «как хлопотливо! и к чему!» Наконец, она согласилась, как бы уступая желаниям других.

Но вот съехались участвующие, приступили к выбору пьесы. Это, как известно, дело не легкое: надо, чтобы пьеса была и забавна, и не слишком вольна, и не требовала большой постановки. В этом году остановились на французском водевиле «Les oeufs de Perette»*. Анюте в первый раз приходилось участвовать в домашнем спектакле на правах взрослой барышни; ей досталась, разумеется, главная роль. Начались репетиции; у нее обнаружился удивительный сценический талант. И вот, боязнь смерти, борьба веры с сомнениями, страх таинственного au delà **, все улетучилось. С утра до вечера звучит по всему дому звонкий голос Анюты, распевающий французские куплеты.

После маминых именин она опять горько плакала, но уже по другой причине: потому что отец не хотел сдаться на ее убедительные просьбы поместить ее в театральную школу,— она чувствовала, что ее призвание в жизни — быть актрисой.

---

* «Яйца Перетты».

** потустороннего мира.

НИГИЛИЗМ АНЮТЫ [1]

В то время, когда Анюта мечтала о рыцарях и проливала горькие слезы о судьбе Гаральда и Эдит, большинство интеллигентной молодежи в остальной России было охвачено совсем другим течением, совсем другими идеалами. Поэтому увлечения Анюты могут показаться, пожалуй, странным анахронизмом. Но тот уголок, в котором лежало наше имение, был так удален от всяких центров, такие крепкие, высокие стены ограждали Палибино от внешнего мира, что волна новых веяний могла достигнуть в наш мирный заливчик лишь долгое время спустя после того, как она поднялась в открытом море. Зато, когда эти новые течения дошли, наконец, до берега, они сразу охватили Анюту и увлекли ее за собой.

Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи, сказать трудно. Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи — оставлять по себе мало следов. Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот перед ним совсем иная формация, совсем новые типы, а откуда они взялись, как развились они из прежних, — он сказать не может.

Окаменелые экземпляры вполне развитых типов всюду находятся во множестве, ими битком набиты все музеи, но радрадешенек бывает палеонтолог, если ему где-нибудь случайно удастся выкопать череп, несколько зубов, кусочек отдельной кости какого-нибудь переходного типа, по которым он может воссоздать в своей научной фантазии тот путь, каким совершалось развитие. Можно подумать, что природа сама ревниво стирает и сглаживает все следы своей работы; она как будто

щеголяет совершенными образцами своего творчества, в которых ей удалось воплотить какую-нибудь вполне развитую мысль, но она немилосердно уничтожает самую память о своих первых, неуверенных попытках [1].

Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность, она шла как будто разом, отовсюду.

Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей отречься от детей.

Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то — убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу — учиться, которая в Петербург — к «нигилистам» [2].

Главным пугалом всех родителей и наставников в палибинском околотке была какая-то мифическая коммуна, которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге. В нее — так, по крайней мере, уверяли — вербовали всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом. Молодые люди обоего пола жили в ней в полнейшем коммунизме. Прислуги в ней не полагалось, и благородные барышни-дворянки собственноручно мыли полы и чистили самовары. Само собою разумеется, что никто из лиц, распространявших эти слухи, сам в этой комму-

не не был. Где она находится и как она вообще может существовать в Петербурге, под самым носом у полиции, никто точно не знал, но тем не менее существование подобной коммуны никем не подвергалось сомнению [1].

Вскоре в непосредственной близости от нашего дома стали обнаруживаться признаки времени. У приходского священника, отца Филиппа был сын, всегда прежде радовавший сердца своих родителей добронравием и послушанием. И вдруг, кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша, ни с того, ни с сего, превратился в непокорного сына и наотрез отказался итти в священники, хотя ему стоило только руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство архиерей призвал его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта заманчивая перспектива не прельстила молодого поповича. Он предпочел уехать в Петербург, поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет учения на чай да на сухую булку.

Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его, вместо того, пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею, якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы, что бедный, огорошенный батюшка схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой.

В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.

Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на вопрос человека: «что ему угодно?» ответил, что просто пришел к генералу с визитом.

Отец мой уже наслышался немало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодовал, что молодой выскочка вздумал явиться к нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».

Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился нимало и уходя проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в его доме не будет». Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.

Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала в кабинет отца и с раскрасневшимися щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека».

Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, анютин внезапный припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.

Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придавать выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в присутствии Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступиться за конюха; разумеется, и царевна и ее protégé были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину сказку, не смущаясь нимало, а, напротив, с задорным и вызывающим видом.

Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.

Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами, как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зон-

тиком в ручках поигрывает. А он себе шагает с ней рядом, своими длинными ножищами — ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И все-то он что-то разглагольствует и руками размахивает. А то вдруг вытащит из кармана растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».

Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца или на того средневекового рыцаря, о которых когда-то мечтала Анюта. Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный, вульгарный выговор на ó, несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, все это не делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами. Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романтической подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.

И, действительно, главный prestige * молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только-что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало того, он имел даже счастье видеть собственными очами, правда только издали, многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные. «Revue de deux Mondes» и «Athenaeum» из иностранных, «Русский вестник» — из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого пошиба: «Современник», «Русское слово», каждая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже нумер запрещенного «Колокола» (Герцена) [1].

Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против них и спорила. Но во всяком случае под влиянием раз-

* Обаяние.

говоров с поповичем и чтения доставаемых им книг она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.

К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его уехать и не возвращаться на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты, продолжали расти и развиваться.

Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья, с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятишек, учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает.

Но всего замечательнее то, что у Анюты, ненавидевшей прежде учение, явилась теперь страсть учиться. На место того, чтобы, как прежде, тратить свои карманные деньги на наряды и тряпки, она выписывает теперь ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: «Физиология жизни», «История цивилизации» и т. д.

Однажды пришла Анюта к отцу и высказала вдруг совершенно неожиданное требование: чтобы он отпустил ее одну в Петербург учиться. Отец сначала хотел обратить ее просьбу в шутку, как он делывал и прежде, когда Анюта объявляла, что не хочет жить в деревне. Но на этот раз Анюта не унималась. Ни шутки, ни остроты отца на нее не действовали. Она горячо доказывала, что из того, что отцу ее надо жить в имении, не следует еще, чтобы и ей надо было запереться в деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья. Отец, наконец, рассердился и прикрикнул на нее, как на маленькую.

— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану,— сказал он.

Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали очень натянутыми; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась шпилька или язвительный намек [1].

Вообще в семье нашей стал происходить теперь небывалый разлад. Общих интересов и прежде было немного, но прежде все члены семьи жили каждый сам по себе, просто не обращая большого внимания друг на друга. Теперь же образовалось словно два враждебных лагеря.

Гувернантка с самого начала выступила ярой противницей всех новых идей. Анюту она окрестила нигилисткой и «передовой барышней». Это последнее название звучало как-то особенно ядовито в ее устах. Инстинктом чувствуя, что Анюта что-то такое затевает, она стала подозревать ее в самых преступных замыслах: убежать тайком из дома, обвенчаться с поповичем, поступить в пресловутую коммуну. Поэтому она стала бдительно и недоверчиво наблюдать за каждым ее шагом. А Анюта, чувствуя, что гувернантка за ней подсматривает, нарочно, чтобы подразнить ее, стала окружать себя раздражительною и обидною таинственностью.

То воинственное настроение, которое господствовало теперь в доме нашем, не замедлило отразиться и на мне. Гувернантка, и прежде не одобрявшая моего сближения с Анютой, теперь стала ограждать свою воспитанницу от «передовой барышни», словно от заразы. Насколько могла, она мешала мне с сестрой оставаться наедине и на каждую мою попытку убежать из классной наверх, в мир взрослых, стала смотреть как на преступление.

Этот бдительный надзор гувернантки страшно надоедал мне. Я тоже чутьем чувствовала, что у Анюты завелись какие-то новые, прежде небывалые интересы, и мне страстно хотелось понять, в чем именно дело. Всякий раз почти, когда мне случалось вбежать неожиданно в комнату Анюты, я заставала ее за письменным столом что-то пишущей; я пробовала несколько раз допытаться у нее, что такое она пишет, но так как Анюте уже не раз доставалось от гувернантки за то, что она не только сама с пути сбилась, но и сестру совратить хочет, то, боясь новых упреков, она всегда прогоняла меня от себя.

— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим! — говорила она нетерпеливо.

Я возвращалась в классную с чувством досады и раздражения на гувернантку, из-за которой и сестра мне ничего сказать не хочет.

Бедной англичанке все труднее и труднее становилось ладить со своей воспитанницей. Из разговоров, которые велись за обедом, я поняла главным образом то, что слушать старших не в моде. Вследствие этого чувство субординации во мне очень ослабело.

Ссоры мои с гувернанткой происходили теперь почти ежедневно, и после одной особенно бурной сцены эта последняя объявила, что не может более оставаться у нас.

Так как угроза уехать повторялась ею не раз и прежде, то вначале я не обратила на нее большого внимания. На этот раз, однако, дело оказалось серьезным. С одной стороны, гувернантка зашла уже слишком далеко и не могла с честью отказаться от своей угрозы; с другой стороны, постоянные сцены и истории так всем надоели, что родители мои не стали ее удерживать в надежде, что без нее, быть может, в доме станет тише. Но до самого конца мне не верилось, что гувернантка уедет, пока не наступил, наконец, самый день отъезда.

ОТЪЕЗД ГУВЕРНАНТКИ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ АНЮТЫ

Большой старомодный чемодан, аккуратно обтянутый холщевым чехлом и перевязанный веревками, с утра стоит в передней. Над ним высится целая батарея картоночек, корзиночек, мешочков и узелков, без которых ни одна старая дева не может пуститься в путь. Старенький тарантас, запряженный тройкой в самой простой, подержанной сбруе, которую кучер Яков всегда пускает в дело, когда предстоит дальняя дорога, уже ждет у подъезда. Горничные суетятся, вынося и прибирая разные мелочи и безделушки, но папашин камердинер Илья стоит неподвижно, лениво прислонившись к косяку двери и выражая всей своей пренебрежительной позой, что предстоящий отъезд уж не ахти какой важный и что из-за него подымать суматоху в доме не стоит. Семья наша вся собралась в столовой. Следуя обычному порядку, отец приглашает всех присесть перед дорогой; господа занимают передний угол, а несколько поодаль теснится вся собравшаяся дворня, почтительно присевшая на кончиках стульев. Несколько минут проходят в благоговейном молчании, во время которого невольно охватывает душу чувство нервной тоски, неизбежно вызываемое всяким отъездом и расставанием. Но вот отец подает знак встать, крестится на образа, остальные следуют его примеру и затем начинаются слезы и обнимания.

Я гляжу теперь на мою гувернантку, в ее темном дорожном платье, увязанную теплым пуховым платком, и она вдруг представляется мне совсем иною, чем я привыкла ее видеть. Она как будто внезапно постарела; ее полная энергичная фигура словно осунулась; глаза ее, «молниеносные», как мы тихонько, в насмешку, прозвали их, от которых не ускользал ни один из моих поступков, теперь красны, припухли и полны слез. Кончики губ ее нервно вздрагивают. В первый раз в жизни она кажется мне жалкою. Она обнимает меня долго, судорожно, с

такой порывистой нежностью, которой я никогда от нее не ожидала.

— Не забывай меня, пиши. Ведь шутка ли расставаться с ребенком, которого я вырастила с пятилетнего возраста! — говорит она, всхлипывая. Я тоже припадаю к ней и начинаю отчаянно рыдать. Мною овладевает жестокая тоска, чувство невозвратимой утраты, точно с ее отъездом вся наша семья распадается. И к этому примешивается еще сознание собственной виновности. Мне до боли стыдно вспомнить, что все последние дни, не далее как сегодня поутру, меня охватывало тайное ликование при мысли об ее отъезде и о предстоящей свободе.

«Так вот я и дождалась своего, вот она и взаправду уезжает, вот мы и без нее остаемся!» И в ту же минуту мне так ее жалко, что я бы, кажется, бог знает что дала, чтобы ее удержать. Я цепляюсь за нее, точно не могу от нее оторваться.

— Пора ехать, чтобы засветло поспеть в город,— говорит кто-то. Вещи уже все снесены в экипаж. Гувернантку тоже подсаживают. Еще одно долгое, нежное обнимание.

— Барышня, берегитесь, не попадите под лошадей!— кричит кто-то, и экипаж трогается.

Я взбегаю наверх, в угловую комнату, из окон которой видна вся длинная, с версту, березовая аллея, ведущая от дома на большую дорогу, и припадаю лицом к стеклу. Пока виден экипаж, я не могу оторваться от окна, и чувство моей собственной виновности все усиливается. Боже мой! Как мне жаль в эту минуту уехавшую гувернантку! Все мои столкновения с ней — а их было особенно много за это последнее время — кажутся мне теперь в совсем ином свете, чем прежде.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто, никто не любит!» — думается мне с поздним раскаянием, и всхлипывания мои становятся все громче и громче.

— Это ты о Маргарите так сокрушаешься? — спрашивает, пробегая мимо меня, брат Федя. В голосе его слышатся и удивление и насмешка.

— Оставь ее, Федя. Это делает ей честь, что она такая привязчивая,— слышу я за собой наставительный голос старой тетки, которую никто из детей не любит, почему-то считая ее фальшивой. Как насмешка брата, так и слащавая похвала тетки действуют на меня одинаково неприятным, отрезвляющим образом. Я с детства не могла выносить, чтобы люди, мне равнодушные, утешали меня в сердечном горе. Поэтому я с

гневом отталкиваю руку, которую тетка, в виде ласки, положила мне на плечо, и, пробормотав сердито: «я вовсе не сокрушаюсь и я вовсе не привязчивая», убегаю к себе в комнату.

Вид опустелой классной чуть было не пробудил во мне нового пароксизма отчаяния; только мысль, что никто не будет мешать мне теперь быть с моей сестрой сколько угодно, несколько утешила меня. Я решилась тотчас же побежать к ней и посмотреть, что она делает.

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы хотелось знать, о чем это думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю, наконец, терпение и делаю попытку заговорить.

— Анюта, мне очень скучно! дай мне одну из твоих книжек почитать!— прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит.

Опять несколько минут молчания.

— Анюта, о чем ты думаешь?— решаюсь я, наконец, спросить.

— Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты мала, чтобы я тебе все говорила,— получаю я презрительный ответ.

Теперь уж я в конец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала, я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать комунибудь о том, что ее так занимает, а так как ни с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

— Послушай,— говорит она:— если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я клянусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

— Пойдем в мою комнату,— говорит она торжественно.— Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю — хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящиков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на которой вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Круковской», и, наконец, подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что, я думаю, я почти слово в слово могу передать его [1].

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа.

Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам [на суждение] свои первые литературные опыты на оценку. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно [2]. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности [3] и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в вас [в вашем произведении], что я боюсь, не нахожусь ли я теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: «разовьется ли из вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же [4] № моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть [попадаются] даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить [побороть], общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе: сколько вам лет и в какой обстановке живете [1]. Мне важно все это знать для правильной оценки вашего таланта [2].

Преданный *Вам Федор Достоевский».*

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом, в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

— Понимаешь ли ты, понимаешь! — заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения.— Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! — почти прокричала она в порыве неудержимого восторга [3].

Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились, как к чему-то приходящему к нам издалека, из какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню,

с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то приезжий журналист из Петербурга [1].

И вдруг теперь сестра моя — писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решилась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой. И ему-то было суждено стать отцом писательницы [2].

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Ростопчину. Он видел ее в Москве, в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени — и отец мой в том числе — безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется в Баден-Бадене, в зале рулетки.

— Смотрю я, глазам не верю,— рассказывал часто отец:— идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею за панибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все, до последнего золотого, и кричит своим адъютантам: «Eh bien, messieurs, je suis vidée! Rien ne va plus *. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство! [3]

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность, которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О-ва (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как разумеется, под своим именем она печатать не могла).

---

* Ну вот, господа, я опустошена. Больше ничего не будет.

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновому. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною.

Содержание этого рассказа было следующее. Героиня Лиленька живет среди людей пожилых, потрепанных жизнью и запрятавшихся в тихий уголок, чтобы в нем искать покоя и забвения. Такой же страх к жизни и ее треволнениям стараются они внушить и Лиленьке. Но ее манит и влечет к себе эта неизвестная жизнь, от которой до нее доносятся лишь смутные отголоски, как отдаленный плеск волны скрытого за горами моря. Она верит, что есть места,

> Где люди живут веселее,
> Где жизнью живут, а не ткут паутин.

Но как попасть к таким людям? Незаметно для самой себя Лиленька заразилась предрассудками той среды, в которой живет. Почти бессознательно представляется ей на каждом шагу вопрос: прилично ли барышне так поступать или нет? Ей бы хотелось вырваться из того тесного мира, в котором она живет, но все некомильфотное! ** и вульгарное ее пугает.

Однажды на городском гулянье она знакомится с молодым студентом (разумеется, герой повести того времени должен был быть студентом). Этот молодой человек производит на нее глубокое впечатление, но она держит себя так, как прилично благовоспитанной барышне, и виду не показывает, что он ей нравится, и знакомство их так на этой встрече и обрывается.

Поскучала после этого Лиленька на первых порах, потом успокоилась, и лишь когда случайно среди различных сувенирчиков ее бесцветной жизни, которыми, как у большинства барышень, набиты ящики ее комода, ей попадалась какая-нибудь безделушка, напоминающая этот незабвенный вечер, она торопилась захлопнуть ящик и потом весь день ходила недовольная и угрюмая.

Но вот однажды приснился ей сон: пришел к ней студент и стал ее упрекать, зачем не пошла она за ним. Перед Лиленькой во сне проходит ряд картин жизни честной, трудовой, с милым ей человеком, в среде умных товарищей, жизни, полной теплого, ясного счастья в настоящем и необъятного запаса надежд на будущее. «Смотри и кайся! Такая была бы наша жизнь с тобой!» — говорит ей студент и исчезает.

** Comme il faut — прилично

Проснулась Лиленька и, под влиянием своего сна, решилась пренебречь заботой о том, что́ прилично для молодой девушки. Она, никогда до сих пор не выходившая из дому иначе, как в сопровождении горничной или лакея, уходит теперь тайком, берет первого попавшегося ваньку [1] и едет в ту дальнюю, бедную улицу, где — она знает — живет ее милый студент. После многих поисков и приключений, обусловленных ее неопытностью и бестолковостью, она находит, наконец, его квартиру, но там от жившего с ним вместе товарища узнает, что бедняга уже несколько дней назад умер от тифа. Товарищ рассказывает, как тяжела была его жизнь, какую нужду он терпел и как в бреду несколько раз поминал какую-то барышню. В утешение или в укор плачущей Лиленьке он говорит ей стихи Добролюбова:

> Боюсь, чтобы и смерть не разыграла
> Обидной шутки надо мной.
> Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно
> И так напрасно я живой,
> Не улыбнулось мне отрадно
> Над гробовой моей доской [2].

Вернулась Лиленька домой; никто из ее домашних никогда не узнал, где она пропадала этот день. Но у нее самой навсегда сохранилось убеждение, что она прогуляла свое счастье. Она прожила недолго и умерла, сокрушаясь о даром потраченной молодости, которую и помянуть было нечем [3].

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек, Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зрелее [4]. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман, по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто [5].

— А ведь это, пожалуй, и правда!— сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу,— но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился,— прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печаль-

ная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история.

Произошло это опять 5 сентября, достопамятный день в летописях нашего семейства. Собралось у нас по обыкновению множество гостей. В этот самый день ожидали почту, приходившую к нам в имение всего раз в неделю. Обыкновенно экономка, на имя которой Анюта переписывалась с Федором Михайловичем, выходила встречать почтальона и отбирала от него свои письма, прежде чем он относил почту к барину. Но на этот раз она захлопоталась с гостями; на беду, тот почтальон, который обыкновенно привозил почту, выпил маленько по случаю барыниных именин, т. е. оказался мертвецки пьяным, и на место его послали мальчика, не знавшего заведенных порядков. Таким образом, сумка с почтою попала в кабинет папаши, не подвергшись предварительному осмотру и очищению.

Отцу тотчас бросилось в глаза страховое письмо на имя нашей экономки со штемпелем журнала «Эпоха». Что за притча такая? Он велел позвать к себе экономку и заставил ее открыть письмо в своем присутствии. Можно, или, лучше сказать, невозможно, представить себе, что за сцена воспоследовала. На беду еще в этом именно письме Достоевский посылал сестре гонорар за ее повести, помнится, триста с чем-то рублей. Это обстоятельство, т. е. что сестра, тайком ото всех, получает деньги от незнакомого мужчины, показалось отцу таким позорным и обидным, что с ним сделалось дурно. У него была болезнь сердца да еще желчные камни в печени; доктора говорили, что всякое волнение для него опасно, может повести к внезапной смерти, и возможность подобной катастрофы была общим пугалом всех членов семейства. При всякой неприятности, которую дети ему причиняли, у него чернело лицо, и нами тотчас овладевал страх, что мы убьем его. А тут вдруг такой удар! И как нарочно, весь дом полон гостями!

В этом году в нашем уездном городе квартировал какой-то полк; по случаю маминых именин все офицеры и с ними полковник съехались у нас и в виде сюрприза привезли полковых музыкантов [1].

Именинный обед уже часа три как кончился. В большой зале наверху были зажжены все люстры и канделябры, и гости, успевшие отдохнуть после обеда и переодеться к балу, начали сходиться. Офицерики, пыхтя и тужась, натягивали белые перчатки; воздушные барышни, в тарлатановых платьях и огромных кринолинах, бывших тогда в моде, вертелись перед зеркалами. Моя Анюта в обычное время относилась свысока ко всему

этому обществу, но теперь нарядная обстановка, бальная музыка, пропасть света, сознание, что она на балу самая красивая и нарядная, все это опьяняло ее. Забыв свое новое достоинство русской писательницы, забыв, как мало походят эти красные, потные офицерики на тех идеальных людей, о которых она мечтала, она кружилась между ними, улыбалась всем и каждому и наслаждалась сознанием, что всем им кружит головы.

Ждали только отца, чтобы начать танцы. Вдруг в комнату вошел человек и, подойдя к маме, сказал ей: «Их превосходительство нездоровы. Просят вас пожаловать к себе в кабинет».

Всем сделалось жутко. Мама поспешно встала и, подбирая рукой шлейф своего тяжелого шелкового платья, вышла из залы. Музыкантам, ожидавшим в соседней комнате условного знака, чтобы заиграть кадриль, приказали подождать.

Прошло полчаса. Гости начали беспокоиться. Наконец, вернулась мама. Лицо ее было красно и взволнованно, но она старалась казаться покойной и улыбалась принужденно, натянуто. На заботливые вопросы гостей: «что такое с генералом?» она отвечала уклончиво:

— Василий Васильевич почувствовал себя не совсем хорошо, просит вас извинить его и начать танцы без него.

Все заметили, что происходит что-то неладное, но из приличия никто не настаивал; к тому же всем хотелось поскорее танцовать, раз уже собрались и нарядились для этого. И вот танцы начались.

Проходя мимо матери в фигуре кадрили, Анюта заботливо заглянула ей в глаза и прочла в них, что произошло что-то недоброе. Улучив минутку в антракте между двумя танцами, она отвела мать в сторону и пристала к ней с расспросами.

— Чтó ты наделала! Все открыто! Папа прочел письмо Достоевского к тебе и чуть не умер на месте со стыда и отчаяния, — сказала бедная мама, с трудом сдерживая слезы.

Анюта страшно побледнела, но мама продолжала:

— Пожалуйста, хоть теперь сдержи себя. Вспомни, что у нас гости, которые все рады про нас посплетничать. Поди и танцуй, как будто ничего не случилось.

Итак, мать и сестра продолжали танцовать почти вплоть до утра, обе вне себя от страха при мысли о той грозе, которой предстояло разразиться над их головами, лишь только разъедутся гости.

И действительно, гроза разразилась ужасная.

Пока все не разъехались, отец никого не пускал к себе на глаза и сидел, запершись, у себя в кабинете. В антрактах между

танцами мать и сестра убегали из залы и прислушивались у его дверей, но войти не смели, а возвращались к гостям, терзаясь мыслью, что́ с ним теперь, не худо ли ему.

Когда все в доме утихло, он потребовал Анюту к себе и чего-чего только не наговорил он ей! Одна его фраза особенно врезалась ей в памяти:

— От девушки, которая способна, тайком от отца и матери, вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать! Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время и себя будешь продавать!

Бедная Анюта так и похолодела, услышав эти ужасные слова. Положим, она в душе сознавала, что это вздор; но отец говорил так уверенно, тоном такого глубокого убеждения; его лицо было такое убитое, сокрушенное, притом его авторитет в ее глазах все еще был так силен, что у нее невольно, хоть на минуту, явилось мучительное сомнение: не ошиблась ли она? не совершила ли, сама не сознавая, чего-нибудь ужасного и непристойного?

Несколько дней после этого, как всегда бывало после всякой домашней истории, все в доме ходили как в воду опущенные. Прислуга сейчас обо всем проведала. Папашин камердинер Илья по своей похвальной привычке подслушал весь разговор отца с сестрой и объяснил его по своему. Весть о случившемся, разумеется в преувеличенном и искаженном виде, разнеслась по всему околотку, и долгое время спустя между соседями только и было толков, что об «ужасном» поступке палибинской барышни.

Мало-помалу буря улеглась, однако. У нас в семье произошел феномен, часто повторяющийся в русских семьях: дети перевоспитали родителей. Начался этот процесс перевоспитания с матери. В первую минуту, как всегда бывало при столкновениях детей с отцом, она всецело взяла его сторону. Ей стало страшно, что он захворает, и она вознегодовала, как это может Анюта так огорчать отца! Видя, однако, что уговоры не помогают, а что Анюта ходит печальная и обиженная, ей стало жаль и ее. Скоро у нее явилось любопытство прочесть Анютину повесть, а потом тайная гордость, что ее дочь — писательница. Таким образом, ее сочувствие перешло на сторону Анюты, и отец почувствовал себя совсем одним.

В первую минуту, сгоряча, он потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговари-

вали целыми днями и сестра не являлась даже к обеду. Мать бегала от одного к другой, уламывая и уговаривая. Наконец, отец сдался. Первым шагом его на пути уступок было то, что он согласился прослушать Анютину повесть.

Чтение происходило очень торжественно. Вся семья была в сборе. Вполне сознавая важность этой минуты, Анюта читала голосом, дрожащим от волнения. Положение героини, ее порывание вон из семьи, ее страдания под гнетом налагаемых на нее стеснений — все это так походило на собственное положение автора, что это каждому невольно бросалось в глаза. Отец слушал молча, не проронив ни слова во все время чтения. Но когда Анюта дошла до последних страниц и, сама едва сдерживая рыдания, стала читать, как Лиленька, умирая, сокрушалась о даром потраченной молодости, на глазах у него вдруг выступили крупные слезы. Он встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни в следующие дни он не говорил с Анютой о ее повести; он только обращался с ней удивительно мягко и нежно, и все в семье понимали, que sa cause était gagnée *.

Действительно, с этого дня в нашем доме началась эра мягкости и уступок. Первым проявлением этой новой эры было то, что экономка, которой отец сгоряча отказал от места, получила свое милостивое прощение и осталась при должности.

Вторая мера кротости была еще поразительнее: отец разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей лично с ним познакомиться [1].

Как уже было сказано, мать и сестра почти каждую зиму ездили в Петербург, где у них была целая колония тетушек, старых дев. Они занимали целый дом на Васильевском острове и, при приезде матери и сестры, отводили им у себя комнаты две-три. Отец оставался обыкновенно в деревне; меня тоже оставляли дома, на попечениях гувернантки. Но в нынешнем году, так как англичанка уехала, а новоприбывшая швейцарка еще не пользовалась достаточным доверием, то мать, к моей неописанной радости, решила и меня взять с собой.

Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и

---

* Что ее дело выиграно.

я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

Сколько приготовлений было к этой дороге! На кухне стряпали, жарили столько вкусных вещей, что их хватило бы, кажется, на целую экспедицию. Повар наш славился во всем околотке своей слойкой, и никогда не прилагал он столько старания к этому делу, как когда готовил сдобные пирожки на дорогу господам.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше. Забудешься на минутку, вдруг проснешься от толчка и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая,— все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг, ярким лучом, выступит в уме сознание: где мы, куда едем, и как много хорошего, нового предстоит впереди, — и вся душа переполнится таким ярким, захватывающим счастьем!

Да, чудесная была эта дорога! и осталась она чуть ли не самым светлым воспоминанием моего детства [1].

ЗНАКОМСТВО С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ [1]

По приезде в Петербург Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас [2]. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уж сказала, относился с большим недоверием ко всему, что происходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

— Помни, Лиза, что на тебе будет лежать ответственность, — напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. — Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь и злился. Он казался в этот день старым и больным,

как всегда впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своей самою светскою, любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, à bout de ses ressources *, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

— Всегда-то, всегда-то все испортят! — повторяла она, судорожно рыдая.

Бедная мама чувствовала себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

— Вот ты всегда такая: ничем не довольна. Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты нас же винишь! — упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так наперед готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако дней пять спустя Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старых, давнишних приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной, никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивали друг друга, шутили и смеялись.

Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже 43 года! — думала я, — неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да

---

* Исчерпав свои возможности.

притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

— Какая у вас славная сестренка! — сказал вдруг Достоевский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила Достоевскому, что я пишу стихи: «право, право, совсем недурные для ее лет!» И несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей.

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» — было ее первой мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала [1].

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: «стреляй!», когда вдруг, на место того, забил барабан и пришла весть о помиловании.

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим[1] ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении[2]. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг совсем неожиданно приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже,— о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал,— рассказывал Федор Михайлович,—

что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог!— закричал я,— и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди,— продолжал он,— и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он, действительно, был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я [1]. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шопотом. Мы все сидели, как замагнитизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся:

— Не бойтесь,— сказал он,— я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним, действительно, был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывал, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа. Герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии, в мюнхенской галлерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки «О мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута: за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана, и ноет, и ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать; что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг, действительно, вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку [1]. Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

— Федор Михайлович! Помилосердствуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать очень его полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развесть в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер, из старой памяти «pour cette pauvre chère Lise» *.

Общество собралось у нас довольно большое, но очень разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на минутку под конец вечера, однако слова не сдержал) [1]. Был также какой-то очень старый, лысый и очень важный сановник немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

— Она был очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не короша!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных, девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренно робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляли неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим и фи-

---

* Ради этой милой бедняжки Лизы.

гурою он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренно бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и, чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что́ всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху: Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение нехорошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

— Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

— Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей,— сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забравшись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов; это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков [1]. Он считался очень блестящим молодым человеком; был красив и умен, и образован, и принят в лучшем обществе — все это как следует, в меру и не чересчур. И карьеру он делал тоже как следует, не нахально быструю, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства [2]. На правах родственника он [3] ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной возможности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую, рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир, живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные, стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклонясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною, салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», этого «самодовольного нахала», а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен!

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником,— параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет, для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают евангелие.

— Да разве евангелие написано для светских дам [1],— выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский.— Там вон стоит: «Вначале сотворил бог мужа и жену» или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак! А чтó скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек?

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза [2]. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость сказанного и все заговорили разом, желая заглушить ее.

Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам [1], мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но, при ее удивительной доброте и мягкости, она ни на кого не могла долго сердиться, а всего менее на такого человека, как Федор Михайлович; поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось, если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась [2].

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый. Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить [3].

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

— Да бросьте же шить!— скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье [4].

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

— Где вы вчера были?— спрашивает Федор Михайлович сердито.

— На балу,— равнодушно отвечает моя сестра.

— И танцовали?

— Разумеется.

— С троюродным братцем?

— И с ним и с другими.

— И вас это забавляет?— продолжает свой допрос Достоевский [1].

Анюта пожимает плечами:

— За неимением лучшего и это забавляет,— отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

— Пустая вы, вздорная девчонка, вот что!— решает он наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и, чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды более крайние, чем каких действительно придерживались.

— Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита!— кричал иногда Достоевский.— Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!

— Пушкин действительно устарел для нашего времени,— спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский вне себя от гнева брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того как отношения между Достоевским и моей сестрой, повидимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью, сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга, она же нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

— У вас дрянная, ничтожная душонка!— горячился тогда Федор Михайлович,— то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоев-

ский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде измене против сестры, и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликование каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

— Вы воображаете себе, что очень хороши,— говорил он сестре.— А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.

— А ведь, может быть, это и правда,— говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что́ сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы. Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их на ночь в две косы. Это дело требует времени: волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович!— начинаю я, наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое?— спрашивает сестра рассеянно, очевидно, совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой,— говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые, смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную, маленькую, смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаться.

— Бывают разные вкусы! — говорю я сердито.

— Да, бывают странные вкусы! — замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры», — думается мне и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: «Господи, боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищаются Анютой, — сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех talents d'agrément *, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех пор я училась игре на фортепиано, как учится большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и уменье скоро читать по нотам.

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась; вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у

* Изящные, приятные таланты.

них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез.

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу, и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепиано, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathétique * Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно, положив на нее пропасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится, — все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что́ делается вокруг меня. Но вот я конч-

---

* Патетическую сонату.

ла с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто. Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.

Но, боже мой, что́ я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диванчике. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром, тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица, но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шопотом, который я так знала и так любила.

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.

— Это ты, Соня? — окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и еще полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.

Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.

Хотя мне и было всего 13 лет [1], я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет итти так, как шло эти месяцы.

«И вдруг, разом, все, все кончено!» — твердила я с отчаянием и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!

Что́ такое кончилось, что́ изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!

«И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?» — упрекала я их с несправедливым озлоблением.

«Ну, и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!» — говорила я себе несколько секунд спустя, но слезы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль.

Время шло. Теперь мне бы хотелось, чтобы Анюта пришла за мной. Я негодовала на нее, зачем она не приходит. «Им дела нет до меня, хоть бы я умерла! Господи! Если бы мне в самом деле умереть!» И мне вдруг стало невообразимо жалко самое себя, и слезы потекли сильнее.

«Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!» — подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась в кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества.

Первые слезы, когда организм не привык к страданию, утомляют скоро. Пароксизм острого отчаяния сменился тупым оцепенением.

Из парадных комнат не доносилось до нашей спальни ни единого звука, но в соседней кухне слышно было, как прислуга собиралась ужинать. Стучали ножи и тарелки; горничные смеялись и разговаривали. «Всем весело, всем хорошо, только мне одной...»

Наконец, по прошествии, как мне казалось, нескольких вечностей, раздался громкий звонок. Это вернулись с обеда мама

и тетушки. Послышались торопливые шаги лакея, идущего отворять; затем в передней раздались громкие, веселые голоса, как всегда, когда возвращаются из гостей.

«Достоевский, верно, не ушел еще. Скажет ли Анюта сегодня маме, что случилось, или завтра?» — подумалось мне. А вот я и его голос различила в числе других. Он прощается, торопится уйти. Напряженным слухом я могу даже расслышать, как он надевает галоши. Вот опять захлопнулась парадная дверь, и вскоре после этого по коридору раздались звонкие шаги Анюты. Она отворила дверь спальни, и яркая полоса света упала мне прямо на лицо.

Моим заплаканным глазам этот свет показался обидно, нестерпимо ярким, и чувство физической неприязни к сестре внезапно подступило к горлу.

«Противная! радуется!» подумалось мне с горечью. Я быстро повернулась к стене и притворилась спящею.

Анюта, не торопясь, поставила свечу на комод, потом подошла к моей кровати и простояла несколько минут молча.

Я лежала, не шевелясь, притаив дыхание.

— Ведь я вижу, что ты не спишь! — проговорила, наконец, Анюта.

Я все молчала.

— Ну, хочешь дуться, так дуйся! Тебе же хуже, ничего не узнаешь! — решила, наконец, сестра и стала раздеваться как ни в чем не бывало.

Помнится, мне снился в эту ночь чудесный сон. Вообще это очень странно: когда бы в жизни ни обрушивалось на меня большое, тяжелое горе, всегда потом, в следующую за тем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны. Но как тяжела зато бывает минута пробуждения! Грезы еще не совсем рассеялись; во всем теле, уставшем от вчерашних слез, чувствуется после нескольких часов живительного сна приятная истома, физическое довольство от восстановившейся гармонии. Вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что совершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться.

Много есть в жизни скверного! Все виды страдания отвратительны! Тяжел пароксизм первого, острого отчаяния, когда все существо возмущается и не хочет покориться и постигнуть не может всей тяжести утраты. Едва ли не хуже еще следующие за тем долгие, долгие дни, когда слезы уже все выплаканы и возмущение улеглось и человек не бьется головой

о стену, а сознает только, как под гнетом обрушившегося горя у него на душе совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления.

Все это очень скверно и мучительно, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности — чуть ли не самые тяжелые из всех.

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее.

Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее, с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его не было.

Вот мы уже и за обед сели, а он не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того, как время шло, а он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала и, не глядя на нее, спросила:

— Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться.

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая», — подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая! — повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом. — Ведь вздумала же влюбиться, и в когс — в человека, который в три с половиной раза ее старше, — сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудили в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила я шопотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

— Вот видишь ли, — начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: — я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! — она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце,— но как бы тебе это объяснить, я люблю его не так, как он..., ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! — решила она вдруг.

Боже! Как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою [1].

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!» Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз, проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил.

Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» — наивно замечал Достоевский в конце своего письма [1].

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного.

Но дорога стерла с души моей последние следы только что пережитой бури.

Уехали мы в апреле. В Петербурге стояла еще зима; было холодно и скверно. Но в Витебске нас встретила уже настоящая весна, совсем неожиданно, в каких-нибудь два дня вступившая во все свои права. Все ручьи и реки выступили из берегов и разлились, образуя целые моря. Земля таяла. Грязь была невообразимая.

По шоссе все шло еще кое-как, но, доехав до нашего уездного города, нам пришлось оставить на постоялом дворе нашу дорожную карету и нанять два плохих тарантасика. Мама и кучер ехали и беспокоились: как-то мы доберемся! Мама главным образом боялась, что отец будет упрекать ее, зачем она так долго засиделась в Петербурге. Однако, несмотря на все аханья и стоны, ехать было отлично.

Помню я, как мы уже поздно вечером проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не прикрикивал на лошадей; слышалось только шлепание их подков по грязи да слабое, порывистое бряцание бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый.

Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебристым светом, да так ярко и так неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего последнего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между

нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы, как бы по обоюдному соглашению, прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки попрежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!

К РАССКАЗУ О ДОСТОЕВСКОМ [1]

Достоевский часто рассказывал нам планы задуманных им романов, а иногда сцены и эпизоды из своего прошлого [2].

— Да, поломала-таки меня жизнь порядком, — говаривал он бывало, — но зато вдруг найдет на нее [3] добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает.

Одним из самых светлых воспоминаний Достоевского были, по его словам, воспоминания, связанные с появлением в свет его первого романа «Бедные люди». Начал он его писать очень молодым, еще будучи учеником в инженерном училище, но кончил в 1845 г., года два после выхода в офицеры.

В это время в русской литературе господствовало направление, совершенно противоположное тому, которое за границей привыкли связывать с представлением [4] о русских романистах. Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии (в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и в знаменитой драме Грибоедова «Горе от ума») и затем достигший такого [5] блестящего расцвета в сочинениях Гоголя, был на время забыт; вскоре после Пушкина в 1837 г. [6] в литературе проявились совершенно обратные течения. Сам Гоголь впал в мистицизм, граничивший с умопомешательством, отрекся от всех своих прежних убеждений и в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ». В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки и затормозить дело своих великих предшественников. Культ Гения и презрение к толпе было лозунгом этого кружка.

«Все человечество, взятое как целое, глупо и ничтожно, — проповедывали они. — Роль толпы — служить лишь удобрением, на котором [7] могут вырасти несколько отдельных, выдающихся личностей. Таких избранников судьбы, «гениев», ради которых

существует все человечество, является, быть может, два-три в течение целого столетия; но они составляют «соль земли». Подобно тому, как агава растет сто лет в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распускается пышным цветком, так и миллионы людей должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем им из среды себя удается выдвинуть гения. Гений носит в груди своей божественную искру и в делах своих отдает отчет одному богу. Законы обыкновенной нравственности, обязательные для простых смертных, про него не писаны. Толпа должна бежать за колесницей гения, как послушный раб или как влюбленная женщина, и не беда, если колесница эта, в своем торжественном шествии, придавит сотни маленьких, темных людей».

Великий — расти и возвышайся.
А низкий — терпи и умаляйся.

Вот последнее слово, конечный результат этого культа гения.

Понятно, что подобное аристократическое учение было как нельзя более с руки [1] «рыцарю самодержавия», как звали иногда императора Николая. Оно освещало и объясняло ему самому смысл его царствования. Поэтому при дворе новый литературный кружок тотчас удостоился благосклонного одобрения, тогда как такие писатели, как Пушкин и Гоголь, только были терпимы.

Душою этого кружка были Сенковский и Кукольник — два «гения», творения которых, увы, составляют уже теперь не более как библиографическую редкость, хотя в течение целых десяти лет они пользовались такою популярностью, какой достигали лишь немногие из русских писателей [2].

Кукольник писал высокопарными стихами душупотрясающие драмы, в которых выводил на сцену титанов в человеческом образе. Сенковский же, под псевдонимом барона Брамбеуса, издал в свет томов двадцать романов, которым никак нельзя отказать в остроумии и богатстве колорита, но которые не затрагивают ни одного простого человеческого чувства. Художническая фантазия была в нем развита до такой степени, что он оставил уже немало описаний путешествий по Центральной Азии, по Африке, по Южной Америке, хотя сам, кажется, всю жизнь не выезжал из Петербурга [3].

Впрочем, оба «гениальных» друга привлекали на себя внимание публики не только своими литературными произведениями, но и всевозможными эксцентричностями своей частной

жизни. Весь Петербург интересовался их многочисленными любовными похождениями и теми роскошными пирами, которые они задавали время от времени в редакции издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения» [1].

Этот журнал служил могущественным орудием для распространения взглядов кружка. Были годы, когда он имел до 50 000 подписчиков, цифра, которой никогда ни прежде, ни после не достигал ни один из толстых журналов в России. Его влияние было громадно [2] в провинции, пожалуй, даже больше, чем в самом Петербурге. Он решал судьбу каждого начинающего писателя и либо сразу выводил человека из ничтожества на путь славы, либо бесповоротно, одним махом пера клеймил его печатью бездарности.

В Москве существовала, однако, маленькая горсточка литераторов, сохранивших некоторую самостоятельность. «Последним из могиканов» старых традиций, завещанных Пушкиным и Гоголем, был гениальный критик Белинский, сочинения которого и теперь поражают глубиною анализа и верностью взгляда. Но голос его долго был гласом вопиющего в пустыне.

Наконец, около 1845 г., в среде молодежи все более и более стал назревать протест против господствующего в Петербурге аристократического направления литературы. Поверхностность и неудовлетворительность теорий, проповедуемых партией «Библиотеки для чтения», стала сказываться все яснее, а осязательность и законность присвоенного ей себе патента на гениальность стала казаться все более и более сомнительной.

В воздухе чувствовались уже предвестники близкой перемены. Все жаждали нового слова, новых пророков. В это время к Белинскому явился однажды еще молодой человек Некрасов, которому предстояло сделаться в будущем одним из величайших русских поэтов [3].

Однако он сам еще не отдавал себе сознательного отчета в том громадном даре, которым наделила его природа и который не нашел еще своего направления. Он явился к Белинскому не с тетрадью стихов, а с кипою ассигнаций, полученных им от отца, богатого помещика. На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник», главная задача которого будет состоять в том, чтобы бороться против «Библиотеки для чтения» [4].

Белинский согласился с радостью, но теперь представился вопрос, где подобрать подходящих сотрудников, откуда взять свежие, молодые силы. После блестящего периода Пушкина, Лермонтова и Гоголя в литературе произошел застой, продол-

жавшийся притом около 10 лет. Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный, писал повести [1]. Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский — все кончили свои годы учения, ни один из них еще не выступил на литературное поприще, поэтому вопрос о сотрудниках сильно затруднял новых издателей [2].

Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник» [3]. Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеёт Белинский моих «Бедных людей», — почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь, — рассказывал Достоевский своим приятелям, — провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знакóм-то по-настоящему не был, знал их только в лицо.

Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочте-

но все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов [1] стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его: это выше сна».

— Поймите вы, поймите, что́ для меня такой их порыв значил,— говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании. — У иного успех, ну хвалят его, встречают, поздравляют. А ведь они прибежали со слезами, в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!

Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически [2]. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут», — с неудовольствием заметил Белинский.

Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда, он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.

«Шел я к нему с трепетанием сердца,— рассказывал мне [3] Достоевский,— и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»

И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не знал, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: «Господи, да неужели же я и в самом деле так велик?» [4]

Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен [5]. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым, правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.

В публике проявился теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились.

Идеи свободы [1], равенства, братства народов носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.

В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро характер политический.

Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общею организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой.

Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замышляли.

Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь [2].

Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой таинственностью, но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный, например: можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или — идет ли православная религия с идеями Фурье?

Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и кроме того знал о предположении завести тайную типографию.

И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы [3].

23 апреля 1849 г. был роковой день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы [4].

— В эту самую минуту,— рассказывал Достоевский,— проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мною товарищу [1]. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей [2].

Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят...

Я помню, что я очень испугался, но в то же время решился не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу [3] о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого; зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.

На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного [4], но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.

Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».

Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы думать про себя. Мне все хотелось представить себе, как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже нечто, кто-то или что-то совсем другое.

С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню — я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти — моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними [5]. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.

Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.

Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможно ли было... [6].

ЛЮБОВЬ ПОДРОСТКА [1]

...пополняла и развивала в фантазии многие из тех эпизодов его жизни теми, о которых он только вскользь упоминал, и сама переживала с ним мысленно [2]. Но о будущем она никогда не думала. Настоящее было так прекрасно, богато и полно. Нет сомнения, что если бы Достоевский мог заглянуть ей в душу и прочитать ее мысли, догадаться хоть наполовину, как глубоко ее чувство к нему, он был бы тронут тем безграничным восторгом, который она к нему испытывала. Но в том-то и беда, что увидеть это было нелегко. На вид Таня была совсем еще ребенком.

Если бы Достоевский мог заглянуть в танину душу, он бы наверное был глубоко тронут тем, что там бы увидел; но в том-то и заключается главное несчастие того переходного возраста, которое переживала Таня: чувствуешь в это время глубоко, почти как взрослый, а выражается всякое чувство смешно, по-детски, и трудно догадаться взрослому о том, что происходит в душе иной 14-летней девочки. Таня понимала Достоевского. Чутьем догадывалась она, сколько в душе его заложено чудных, нежных порывов. Она благоговела не только перед его гениальностью, но и перед теми страданиями, которые он вынес. Ее собственное одинокое детство, постоянное сознание, что она в семье менее любима, чем другие, развили ее внутренний мир гораздо сильнее, чем это обыкновенно бывает у девочки ее лет. С самого раннего возраста сказывалась в ней потребность к сильной, исключительной, всепоглощающей привязанности, и теперь с той интенсивностью, которая составляла сущность ее характера, она сосредоточила все свои мысли, все силы своей души на восторженном поклонении первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути. Она постоянно думала о Достоевском. Оставаясь одна, она повторяла мысленно все сказанное им в течение их последнего [3], придавала глубокий смысл каждому его слову, старалась понять, развить каждую наудачу брошенную им мысль. Именно своеобразность этих мыслей, богатство и новизна вызванных ими в ее воображении картин и представлений пленяли ее более всего. Случалось ей тоже предаваться по поводу Достоевского самым фантастическим мечтаниям, но странное дело — мечтания эти всегда касались прошедшего, а не будущего. Так, например, она целыми часами сидела, бывало, и представляла себя самое на каторге вместе с Достоевским. Она переживала мыс... [4]

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ОТРЫВКИ

*

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

1. CURRICULUM VITAE *[1]

София Корвин-Круковская родилась в 1851 г.[2] в Москве от отца Василия, генерал-лейтенанта русской армии, и матери Елизаветы из семьи Шуберт; оба еще живы к моей душевной радости. Свое родовое имя я сменила на имя доктора философии Владимира Ковалевского, став его женой в 1868 г. Воспитана в православной вере. Раннее детство я проводила то в Петербурге, то в Палибине — деревне отца, и потому не была отдана в школу, но начальное образование получила у домашних учителей.

Затем, пятнадцати лет отроду, я особенно пристрастилась к математике — началам геометрии и аналитической арифметике. Изучала также начала дифференциального и интегрального исчисления. Чтобы полностью отдаться изучению этих излюбленных мною наук, я поехала в 1868 г. в сопровождении мужа в Гейдельберг. Здесь с любезного дозволения тогдашнего проректора университета Коппа мне было разрешено принимать участие в математических занятиях, и в продолжение трех семестров я слушала лекции по математике и физике у Дю-Буа-Реймона, Гельмгольца, Кирхгофа и Кенигсбергера. Кроме того, Кирхгоф и Кенигсбергер разрешили мне посещать их семинары по физике и математике...[3]

Оттуда я в октябре 1870 г. перебралась в Берлин, и так как там по университетскому уставу мне не было позволено присутствовать на лекциях, то я встретилась с необыкновенной отзывчивостью Вейерштрасса, который помогал мне в течение четырех лет своими советами и влиянием, причем не только сообщал мне те знания, которые он обычно передает всем слушателям,

---

* Жизненный путь.

но также щедро делился со мною многим из того, что им еще не опубликовано...

Намереваясь возвратиться в отечество, осмеливаюсь по совету моего... учителя [1] представить славному философскому факультету Геттингенского университета первые плоды моих занятий — два исследования, из которых одно относится к теории дифференциального уравнения с частным производным, другое касается некоторой физико-математической проблемы. По оценке их прошу присудить мне высшую научную степень.

[Июнь 1874 г.]

2. ПИСЬМО ДЕКАНУ ФАКУЛЬТЕТА [2]

Берлин, июль 1874.

Милостивый государь!

Позвольте мне прибавить еще несколько слов к присланному мною в ваш факультет прошению о присуждении мне звания доктора философии.

Мне было не легко решиться на шаг, который должен был вывести меня из состояния неизвестности, в котором я до сих пор находилась. Только одно желание доставить удовольствие близким мне людям, желание дать им настоящее понятие о себе, убедить их в том, что я действительно серьезным образом и небезуспешно занималась математикою, которую изучала исключительно по любви, без всяких посторонних целей, заставило меня отбросить в сторону все колебания [3]. Этому способствовало и полученное мною сведение, что я, как иностранка, могу быть признана вашим факультетом в звании доктора и in absentio *, если только представленные мною работы будут сочтены удовлетворительными и если я вместе с тем представляю и свидетельства о своих занятиях от компетентных лиц.

В сущности — надеюсь, что вы не перетолкуете в дурную сторону мое откровенное признание — я и сама не знаю, хватит ли у меня уверенности и самообладания, необходимых для examen rigorosum **, я боюсь, что необычайность обстановки, среди которой мне придется отвечать на вопросы совершенно незнакомых мне лиц, напротив того, приведет меня в страшное смущение, несмотря на мое убеждение в любезной снисходи-

* В отсутствии.
** Строгого экзамена.

тельности гг. экзаминаторов. К этому нужно еще прибавить, что я не вполне свободно владею немецким языком, когда дело идет об устном выражении своих мыслей, хотя, с другой стороны, я привыкла употреблять его при моих математических занятиях и пишу на нем удовлетворительно, когда у меня есть достаточно времени для обдумывания своих фраз. Это мое неумение говорить по-немецки происходит от того, что я всего пять лет тому назад принялась за изучение этого языка, из которых четыре прожила в Берлине в полном уединении, так что только в часы, уделяемые мне моим многоуважаемым учителем, имела случай слышать немецкую речь и говорить по-немецки.

На основании всего этого я осмеливаюсь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою оказать мне свое любезное содействие в деле освобождения меня от examen rigorosum.

3. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ [1]

Многоуважаемый Михаил Иванович! Ваше посещение сегодня так живо вызвало в моей памяти образы прошлого, что не взыщите на меня, если я ни о чем ином не могу написать на страницах вашего альбома, как о нашем первом знакомстве с вами. Когда это было? В каком году? Теперь я с точностью и припомнить не могу.

Во всяком случае много, много лет прошло с тех пор. Но стоит мне закрыть глаза и подумать об этом времени,— целая картина так и рисуется в моем воображении.

Старый помещичий дом в таком медвежьем уголке, что надо чуть ли не двое суток скакать на почтовых, прежде чем доберешься до ближайшей станции железной дороги.

Патриархальная генеральская семья. Отец, в сущности добрый и любящий, но из принципа окружающий себя в глазах домашних ореолом строгости и неприступности. Англичанка-гувернантка, тщетно силящаяся превратить двух простых русских девочек в чопорных, благовоспитанных мисс.

Одна из этих девочек еще подросток, другая уже взрослая барышня, впечатлительная, талантливая, с жадностью прислушивающаяся к каждому отголоску внешнего мира, какой ни залетит в их медвежий — генеральский уголок. Окружающая ее жизнь бледна и однообразна. Нет в ней ни интересов, ни волнений, кроме тех, которые она почерпает из книг. Герои и героини ее любимых романов ближе, реальнее для нее всех окружающих ее будничных людей.

Но кто пишет эти чудные книги? Мир писателей кажется ей чем-то таким прекрасным, но далеким, что, думая о нем, она испытывает то же чувство, какое испытывал серый утенок в сказке Андерсена, когда видел белых лебедей, парящих высоко над ним в воздухе...

И вдруг разносится известие, что в их захолустье, к ним в гости, приедет писатель, настоящий известный писатель. Об этом писателе ходит много толков. Старшие, т. е. отец и гувернантка, уже наперед относятся к нему несколько недоброжелательно, с безотчетным страхом, как к представителю чуждой среды, к носителю каких-то новых идей. Зато старый учитель уже успел порассказать о нем много интересного и симпатичного.

В глазах молоденькой деревенской барышни приезд писателя принимает размеры чуть ли не мирового события. Поверенницею всех своих мечтаний по этому поводу она выбирает маленькую сестру-подростка, и вы не поверите, сколько было разговоров об этом писателе между сестрами, украдкой от строгой гувернантки.

Много, много прошло с тех пор лет. Для старшей сестры жизнь оказалась злою мачехою. Ее блестящие дарования никогда не достигли полного развития. После многих лет скучной деревенской жизни вырвалась она, наконец, на волю, но действительность мало походила на ее ожидания.

Ряд разочарований, долгая, мучительная болезнь и в конце концов для нее...

> ...О жизни покончен вопрос.
> Больше не нужно ни песен, ни слез... [1]

Младшая сестра-подросток теперь уже тоже пожилая женщина. И для нее жизнь пошла не обычной колеей. Много в ней было и хорошего, и худого; но сто́ит ей вспомнить то старое, доброе время — и кажется — все это лишь вчера было...

9 мая 1890 г. СПб.

Софья Ковалевская

4. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ [2]

Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь припомнить, следующим образом. У меня был дядя, брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский, живший в 20 верстах от нашего имения, в своем селе Рыжаково. Человек уже пожилой, он все свое хозяйство передал своему единственному сыну и, имея много свободного времени, часто приезжал к нам и живал у нас по целым месяцам.

Дядя был в полном смысле слова идеалист и во многих отношениях человек, что называется, не от мира сего [1]. Образование он получил домашнее, но тем не менее обладал очень обширными и разнообразными, хотя, как и большинство самоучек, недостаточно солидными познаниями, которые приобрел исключительно благодаря своей любознательности, без всякой посторонней помощи и с самой неосновательной элементарной подготовкой.

Любимым его занятием и единственным наслаждением, которое ему осталось от жизни, было чтение. В этом отношении его привлекала наша деревенская библиотека.

Он читал без разбора и с одинаковым удовольствием все, что попадалось под руку,— и романы, и исторические очерки, и научно-популярные статьи, и ученые трактаты.

От природы чрезвычайно доброго и мягкого характера, он до безумия любил детей. При этом, хотя в то время и 60-летний старик, он сам обладал душою ребенка.

Таким образом, несмотря на разницу наших лет, у меня завязалась с дядею самая тесная, почти товарищеская дружба. Меня тянули к нему его рассказы; он же, витая всегда в области фантазии, зачастую забывал, что перед ним ребенок, и, чувствуя необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, изливал передо мною свою душу. Как теперь помню многие и долгие часы, которые мы проводили вместе в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и библиотека.

Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать.

И вот, в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление.

Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.

Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения.

Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев нехватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности... все откладывали в долгий ящик. А время, между тем, шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочно за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в Палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления.

Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записки лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской.

В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное, — я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное.

Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А. Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: «Вы так поняли, как

будто знали это наперед». И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.

Первоначальным систематическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. Это было так давно, что я теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием. Но несомненно, что они произвели на меня большое влияние и имели важное значение в моем развитии [1].

В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что в первое время, когда я начинала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. По всей вероятности, благодаря влиянию дяди Петра Васильевича, меня более занимали разные отвлеченные рассуждения, например о бесконечности. Да и вообще, в течение всей моей жизни, математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда представлялась мне наукою, открывающею совершенно новые горизонты.

Кроме арифметики, Малевич преподавал мне также элементарную геометрию и алгебру. Только ознакомившись несколько с этою последнею, я почувствовала настолько сильно влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами.

Увидя во мне такое направление, отец мой, имевший вообще сильное предубеждение против ученых женщин, решил, что надо прекратить мои уроки математики у Малевича. Однако мне удалось кое-как выпросить у Иосифа Игнатьевича книгу «Курс алгебры Бурдона», который и стала прилежно изучать.

Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу под подушку и затем, когда все засыпали, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась по целым ночам.

При таком положении вещей я, разумеется, не смела мечтать о продолжении правильных занятий моим любимым предметом, и моим математическим познаниям, вероятно, надолго пришлось бы остановиться в пределах алгебры Бурдона, если бы мне не помог следующий случай, побудивший моего отца несколько изменить свой взгляд на мое образование.

Наш сосед по имению, профессор Тыртов, привез нам как-то свой элементарный учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему огорчению, в отделе об оптике встретила тригонометрические формулы, синусы, косинусы, тангенсы.

Что такое синус? Перед этим вопросом я становилась втупик и для разрешения загадки попробовала обратиться к Малевичу. Но так как это не входило в его программу, то он

ответил мне, что не знает, что такое синус [1]. Тогда, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить сама. При этом, по странному совпадению, я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадут друг с другом. А так как у Тыртова во все формулы входили только бесконечно малые углы, то, при взятом мною основном определении, эти формулы отлично сходились. На этом я и успокоилась.

Затем, через несколько времени, когда у меня зашла речь с Тыртовым по поводу его книги, то он сперва усомнился в том, чтоб я могла ее понимать, и на мое заявление, что я прочла ее с большим интересом, сказал: «Ну, вот и хвастаетесь». Но когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем [2]. Тогда, после некоторого колебания, отец мой согласился взять мне в учителя А. Н. Страннолюбского, с которым мы вслед за тем принялись успешно за работу и в течение зимы прошли аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления.

В следующем году я вышла замуж за В. О. Ковалевского и вскоре после этого мы уехали за границу, но там снова разъехались в разные стороны. Я отправилась в Гейдельберг, чтобы продолжать занятия математикою, а он поехал в другой университет учиться своей специальности — геологии...

Из Гейдельберга я поехала в Берлин, но тут на первых порах меня встретило разочарование... Столица Пруссии оказалась... отсталою. Несмотря на все просьбы и старания, мне не удалось получить в Берлине разрешение посещать университет.

Тогда... во мне принял участие... профессор Вейерштрасс. Благодаря отзыву обо мне гейдельбергских профессоров, а также видя, что я имею хорошую подготовку и серьезно желаю учиться, а не просто из пустой моды, он предложил мне заниматься со мною частным образом. Занятия эти имели в высшей степени важное влияние на всю мою математическую карьеру. Они окончательно и бесповоротно определили то направление, которому я следовала в дальнейшей научной деятельности, и все мои работы сделаны именно в духе вейерштрассовских идей.

Самого Вейерштрасса я считаю одним из величайших математиков всех времен и бесспорно самым замечательным из ныне живущих. Он дал всей математике совершенно новое направление

и создал не только в Германии, но и в других странах целую школу молодых ученых, которые идут по намеченному им пути и развивают его идеи.

Слушая лекции Вейерштрасса, я в то же время стала готовиться к достижению докторской степени. Но так как двери Берлинского университета были для меня, как для женщины, закрыты, то я решила обратиться в Геттинген.

По правилам немецких университетов для получения степени доктора требуется, кроме экзамена, еще представление научной работы, так называемой «Inaugurale dissertation» *.

Вейерштрасс предложил мне для разработки несколько тем, и я за два года своего пребывания в Берлине, вместо одной, требуемой по правилам работы, сделала целых три, а именно: по чистой математике — «О дифференциальных уравнениях с частными производными», «О приведении некоторого класса Абелевских функций к функциям эллиптическим» и третью астрономическую — «О форме колец Сатурна».

Все эти работы я и представила в Геттингенский университет. Они были признаны настолько удовлетворительными, что университет, вопреки установившимся правилам, нашел возможным освободить меня от экзамена и публичной защиты диссертации, что в сущности составляет только одну формальность, и прямо присудил мне степень доктора философии — «Summa cum laude» **.

В то же время первая из упомянутых моих работ, под заглавием «Zur Theorie der partiellen Differenzialgleichungen *** была напечатана в журнале Крелля (Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik ****). Это честь, которой удостаиваются далеко не многие математики и которая для начинающего ученого очень велика, так как этот журнал в то время считался самым серьезным математическим изданием в Германии. В нем тогда принимали участие лучшие научные силы, а в прежние времена в нем помещали свои труды такие ученые, как, например, Абель и Якоби [1]. Моя астрономическая работа «О форме колец Сатурна» была напечатана лишь много лет спустя, а именно в 1885 г., в журнале «Astronomische Nachrichten» *****

В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с

---

* Вступительная диссертация.

** С высшей похвалой.

*** К теории дифференциальных уравнений.

**** Журнал Крелля для чистой и прикладной математики.

***** Астрономическое обозрение.

большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что меня еще научно несколько поддерживало,— это переписка и обмен мыслей с моим милым учителем Вейерштрассом [1].

В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое [2]. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Вскоре после моего возвращения в России возникла газета «Новое время». Мой муж был хорошо знаком с издателем газеты, и мы, таким образом, попали в кружок «Нового времени». Я пробовала в этой газете свои литературные силы в качестве театрального рецензента.

В 1882 г. я опять уехала за границу и с тех пор живу там почти постоянно, только изредка, на короткий срок, приезжаю по делам в Россию.

За свою жизнь я перебывала во многих городах и странах, так что могу сказать, что, за исключением Италии и Испании, с Европой знакома хорошо. Всего же лучше, кроме Швеции, я знаю Париж. Там я была много раз, да и теперь большею частью провожу свои каникулы во Франции.

Вернувшись за границу, я снова энергично принялась за науку, от которой отдыхала столько лет в России. Прежде всего я поехала в Париж, где познакомилась с тамошними выдающимися математиками, между прочим с знаменитым Hermite'ом, а также из молодых с Poincaré и Picard'ом. Эти два последние, по моему мнению, самые талантливые из нового поколения математиков во всей Европе.

Тогда же я принялась за новую большую работу «О преломлении света в кристаллах». Вообще в математике на самостоятельные исследования в большинстве случаев приходится наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых. Так и я была наведена на эту тему изучением работ французского физика Lamé.

Моя работа была доведена до конца в 1883 г. и произвела некоторое впечатление в математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще не достаточно разъяснен; я же рассмотрела его с другой, совершенно новой точки зрения.

Этот свой мемуар я поместила в 1884 г. в молодом, начавшем только с 1882 г. свое существование журнале «Acta Mathematica». Хотя «Acta» и издаются в Швеции, но тем не менее это издание вполне международное, так как оно получает субсидию не только от шведского короля, но и от иностранных государств, в том числе от французского правительства, а также от Германии, Дании и Финляндии. В настоящее время [1890 г.] по ученому значению это один из самых крупных математических журналов. В нем состоят сотрудниками самые выдающиеся ученые всех стран и затрагиваются самые, так сказать, жгучие вопросы, которые всего более привлекают внимание современных математиков. При этом часто бывает, что одним и тем же вопросом занимаются несколько человек зараз. Вообще условия издания серьезного математического журнала совсем иные, чем других периодических изданий. Поэтому и «Acta Mathematica» выходят в свет не в заранее определенные сроки, а по мере того, как накопляется материал, назревают новые вопросы и являются их решения. Обыкновенно в год выходит два тома.

Кроме моей работы «О преломлении света в кристаллах», в «Acta Mathematica» помещены и некоторые другие мои статьи, в том числе в 1883 г. там напечатана вторая из представленных мною еще в 1874 г. в Геттингенский университет диссертация «О приведении некоторого класса абелевых функций к функциям эллиптическим».

Все мои ученые труды написаны на немецком или на французском языках [1]. Я владею ими наравне с родным русским. Но в математических работах язык играет весьма несущественную роль. Тут главное — содержание, идеи, понятия, а затем для выражения их у математиков существует свой язык — это формулы.

В начале 1880-х годов в Швеции стал развиваться недавно основанный там Стокгольмский университет. В эту пору я была уже достаточно известна в математическом мире как своими работами, так и через личное знакомство почти со всеми выдающимися европейскими математиками. Особенно часто приходилось мне встречаться и в Берлине и в Париже с главным математиком и нынешним ректором Стокгольмского университета, профессором Миттаг-Леффлером, одним из лучших учеников нашего общего учителя Вейерштрасса.

И вот в 1883 г. меня пригласили в Стокгольм читать лекции математики. По поводу этого я хочу сказать несколько слов об истории возникновения молодого Стокгольмского университета.

До тех пор в Швеции был древний университет в Упсале, существующий уже несколько сот лет. Он страдает теми же

недостатками, которые замечаются почти во всех старых университетах в маленьких городах. В них жизнь как будто застыла, и все осталось в том же виде, как было несколько столетий тому назад. Профессора живут там совершенно замкнутою, почти средневековою жизнью, которая мало способствует развитию новых плодотворных идей. При этом неизбежным образом является, как и в русских провинциальных университетах, некоторое кумовство, и профессора тянут друг друга за руку.

Во избежание всего этого стала ощущаться потребность в призыве новых сил, и общественное мнение, которое в Швеции имеет весьма большое значение, стало требовать основания университета в столице. Хотя в Швеции жизнь вообще чрезвычайно проста, но там есть много богатых людей, которые охотно жертвуют крупные суммы на общественные дела. Лишь бы было сочувствие в обществе, а средства найти легко. Этот факт невольно поражает всякого иностранца, приезжающего в Швецию. Почти о всяком тамошнем учреждении приходится слышать, что оно возникло на частные пожертвования.

То же было и с Стокгольмским университетом. В числе причин, заставлявших желать учреждения нового университета, немаловажное место занимало также и неудобство для многих семейств, живущих в Стокгольме, посылать молодых людей сравнительно довольно далеко от себя, в Упсалу.

Таким образом, сперва дело имело чисто индивидуальный характер. Несколько лиц соединились и общими силами стали собирать необходимые средства. Но затем, когда общественное мнение стало высказываться сильнее, то и правительство, а главным образом городская дума, решили принять участие в общем деле и постановили принять на себя половину всех необходимых расходов. При этом, однако, правительство не взяло на себя роли распорядителя судьбою будущего университета, и вопрос о том, как ему следует развиваться, был предоставлен самому обществу.

С самого начала за основную идею было принято, что университет должен быть свободен. За образец были взяты немецкие университеты, в которых преподавание ведется совершенно свободно. Там, например, для слушания лекций совсем не требуется представления документов. Впоследствии, для получения степени доктора, надо представить различные документы, но слушать лекции может беспрепятственно всякий, внеся за это известную установленную плату. При этом к слушанию лекций допускаются и женщины на совершенно одинаковых правах с мужчинами.

Экзамены, имеющие повсеместно такое важное значение, здесь не обязательны. К тому же в настоящее время сам университет не достиг еще полного своего состава (пока открыты только два факультета) и до этого не имеет права выдавать ученых степеней.

Преподавание не делится, подобно тому как в России, на курсы с определенною программою, а дело ведется применительно к контингенту слушателей.

Часто к нам приезжают, чтобы слушать лекции и пользоваться советами профессоров — и такими слушателями мы всего более дорожим — лица, бывшие уже в других высших учебных заведениях и даже получившие ученые степени, например в Упсале, Лунде. Много молодых людей приезжает также из Финляндии: из них некоторые — кандидаты Гельсингфорсского университета, и даже некоторые из лучших наших учеников были финляндцы.

Учебный год распадается на два семестра, разделенных друг от друга каникулами.

За несколько времени до начала каждого семестра мы, профессора, собираемся и обсуждаем, какие лекции назначить на предстоящий семестр.

В настоящее время в Стокгольмском университете насчитывается свыше 200 слушателей, мужчин и женщин. Из этого числа в прошлом году около одной трети принадлежали к лучшим шведским фамилиям. Вообще наша университетская молодежь великолепная, и отношения студентов между собою и к профессорам самые задушевные.

Многие из наших бывших учеников уже принялись за самостоятельную деятельность. Так, двое состоят доцентами в Гельсингфорсском университете, а один читает лекции в Высшем техническом училище. Также одна наша ученица получила место преподавателя в старших классах мужской гимназии и теперь дает уроки 15—16-летним юношам.

В первое время после моего приезда в Швецию я предложила на выбор читать лекции по-немецки или по-французски. Большинство слушателей пожелало, чтобы я читала по-немецки. Но через год я уже была в состоянии читать лекции по-шведски. Это не представило для меня особенных трудностей, так как по приезде я сразу попала в шведское общество и стала брать уроки шведского языка.

На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем через год меня назначили ординарным профессором, которым я и состою с 1884 г.

Кроме чтения лекций, на мне лежит также обязанность участвовать в заседаниях совета, и я имею право голоса наравне с

прочими профессорами. Жалованье ординарному профессору у нас полагается 6000 крон в год (крона на немного больше германской марки: 700 крон — 1000 франков). Я читаю четыре лекции в неделю, т. е. два дня по два часа подряд. Так как я излагаю очень специальные вопросы, то слушателей у меня не особенно много: человек 17—18.

За год моего пребывания в Швеции я много и серьезно работала. Между прочим, там я написала самую важную из моих математических работ, за которую получила премию от Парижской академии наук. В этой работе я исследовала вопрос «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести». Он имеет весьма большое значение и между прочим обнимает собою теорию маятника. В то же время это один из самых, так сказать, классических вопросов в математике. К его решению прилагали усилия величайшие умы, в том числе Эйлер, Лагранж и Пуассон [1].

Но, несмотря на это, он еще далеко не решен вполне, и мы знаем только немного случаев, для которых найдено вполне строгое его математическое решение.

Вообще в истории математики можно указать на немного вопросов, которые, подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего решения и к которым было бы приложено столько же лучших сил и упорного труда, не приводивших в большинстве случаев к существенным результатам. Недаром среди немецких математиков он носит название «Die mathematische Nixe» *.

Эта задача всегда сильно меня интересовала, и я уже с давних пор, чуть ли не со времен студенчества, стала пробовать над нею свои силы. Но долгое время все мои труды оставались бесплодными, и только в 1888 г. усилия мои увенчались успехом.

Поэтому можно себе представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед.

В том же 1888 г. Парижская академия наук назначила конкурс на соискание премии, которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела». При этом было поставлено непременным условием, чтобы в сочинении были усовершенствованы или дополнены в каком-либо существенном отношении добытые до настоящего времени знания в этой области механики.

* Математическая русалка.

В то время я уже достигла главных результатов моей работы. Но пока они были еще только у меня в голове. А так как вопрос, который я решила, вполне подходит к заданной Парижскою академиею теме, то я еще с бо́льшим усердием принялась за работу, чтобы успеть к назначенному сроку привести в порядок весь материал, разработать детали и написать это сочинение.

Когда все это было благополучно окончено, я послала свою рукопись в Париж. При этом, по условиям конкурса, она должна была быть послана анонимно, т. е. я написала на ней девиз и затем приложила к ней запечатанный конверт, внутри которого было мое имя, а сверху надписала тот же девиз. Таким образом, при оценке представленных работ авторы их оставались неизвестными.

Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15, но достойною премии была признана моя. Но этого мало. Ввиду того, что та же тема задавалась уже три раза подряд и каждый раз оставалась без ответа, а также вследствие важности достигнутых мною результатов, Академия постановила назначенную первоначальную премию в размере 3000 франков увеличить до 5000 франков.

После этого был вскрыт конверт, и все узнали, что я автор этого труда. Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по этому поводу заседании Академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями. [...] [1].

29 мая 1890 г. СПб.

С. В. Ковалевская
рожден. Корвин-Круковская.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖОРЖЕ ЭЛЛИОТЕ[1]

Изданная в прошлом году «Жизнь Джоржа Эллиота по ее письмам и отрывкам из ее дневника»[2] живо заинтересовала всех почитателей этой замечательной писательницы; и первое английское издание этой книги, несмотря на весьма высокую цену, разошлось в Англии в несколько недель. Столь ненавистная английским издателям фирма Tauchnitz[3] тоже не замедлила воспользоваться своим правом безвозмездно перепечатывать все замечательные произведения английской литературы, и в этом издании переписка Джоржа Эллиота уже проникла, вероятно, в круги русских читателей. Для многих, впрочем, книга эта была до некоторой степени разочарованием. Частная жизнь великих людей всегда возбуждает в публике значительное любопытство, которое еще усиливается, разумеется, когда дело касается частной жизни «знаменитой» женщины.

Кроме того, в жизни Джоржа Эллиота, как известно по ее многочисленным, уже опубликованным биографиям, были некоторые факты, довольно странные и любопытные с психологической точки зрения и не нашедшие себе отголоска и истолкования ни в одном из ее романов. Многие приветствовали поэтому издание ее переписки с друзьями в надежде, что если письма ее и не откроют каких-нибудь новых, еще не известных большинству публики событий ее жизни, то во всяком случае прольют некоторый свет на ее внутренний мир, на ее отношения к этим событиям и на сокровенные мотивы, руководившие ее действиями. Но в этом отношении ожидания совершенно не оправдались, да и не могли оправдаться. Переписка эта, изданная вторым мужем Джоржа Эллиота, м-ром Кросс, всего пять лет после ее смерти, содержит лишь избранные и тщательно просмотренные ее письма, из которых исключено, повидимому,

все, имеющее слишком личный, интимный характер. Иначе, разумеется, ввиду данных обстоятельств и быть не могло.

Во всей этой довольно многочисленной и объемистой переписке Джорж Эллиот говорит обо всем, только не о самой себе. Поэтому материалом для биографии Джоржа Эллиота эта переписка вряд ли может служить; в своих письмах, по крайней мере в тех, которые опубликованы теперь так же как и в своих романах, она никогда не показывает нам и не объясняет самое себя; если читатель все же хочет узнать ее, то он должен, так сказать, сам отыскивать ее, угадывать ее по легким намекам, ловить каждое мимолетное замечание, да и то, я думаю, ему лишь в том случае удастся вызвать ясный образ ее, если у него у самого в душе есть отзывные, симпатичные ей струны; в противном случае она сама и многое в ее действиях и решениях останется для него неясным и загадочным.

Наибольше всего интереса представит, я думаю, эта переписка для тех, кто лично знал эту замечательную женщину. К числу этих счастливцев принадлежала и я, и мне, читая ее письма, так живо вспоминались некоторые из наших разговоров с нею и она сама с ее тихим, плавным, симпатичным голосом, с ее несколько вычурною, немножко «книжною» манерой выражаться и с ее очень своеобразной привычкой вся как бы уходить в предмет разговора, так живо воскресла перед моими глазами, что мне пришло невольное желание поговорить о ней и рассказать о моем с нею знакомстве.

Я познакомилась с нею в начале семидесятых годов. В это время я сама только что начала заниматься математикою под руководством известного берлинского профессора Вейерштрассе и, пользуясь одними из осенних каникул в немецких университетах, приехала на несколько недель в Лондон. Знакомств и связей в литературном мире у меня в то время еще почти совсем не было. Был у меня, правда, один общий знакомый с семьею Люисов — м-р Ральстон, один из директоров Британского музея и один из немногих англичан, знающих русский язык и русскую литературу [1]. Его рассказы о Джорже Эллиоте и о разных подробностях ее частной жизни еще усилили то восторженное поклонение, которое я в то время питала к ее сочинениям, и еще увеличили мое желание познакомиться с нею лично. На беду, моего знакомого именно не было в Лондоне ко времени моего приезда. После многих колебаний я решилась, наконец, написать Джоржу Эллиоту и высказать ей мое желание познакомиться с нею. Она ответила мне тотчас же очень любезным письмом, в котором сообщала мне, что слышала уже обо мне от одного

английского математика, встретившего меня случайно на лекциях в Гейдельбергском университете, и, с своей стороны, тоже очень желает познакомиться со мною. Она назначила мне время, когда я могу наверное застать ее дома и побеседовать несколько часов с нею и ее мужем, м-ром Люисом, наедине[1].

Само собою разумеется, что в назначенный день я не преминула явиться по ее приглашению[2]. М-р Люис и Джорж Эллиот занимали в это время небольшой домик на John Wood's road, очень хорошенькой части Лондона, богатой частными садами. Молоденькая горничная, чистая и чопорная, как все английские горничные, ввела меня в довольно просторную гостиную, меблированную довольно нарядно, но без всякой претензии на оригинальность, по шаблону типической гостиной в «порядочном» английском доме.

Мистер Люис и Джорж Эллиот уже ждали меня и любезно вышли мне навстречу. Я должна сознаться, что при первом взгляде на Джоржа Эллиота во мне возникла смутная, отчаянная надежда, что я ошибаюсь, что это не она, а другая: до такой степени показалась она мне стара, дурна, а главное, так не похожа на тот образ, который я в воображении составила себе о ней.

Я никогда перед тем не видела ее портрета; м-р Ральстон, говоря о ней, отзывался о ней так, что она, разумеется, вовсе не красива, но что у ней очень хорошие глаза и волосы и что она вообще необыкновенно симпатична.

В моем воображении, как-то незаметно для меня самой, сложился очень определенный рельефный образ идеальной Джорж Эллиот. Но, увы, теперь вдруг оказалось, что образ этот нисколько не походил на действительность. Небольшая, худощавая фигурка с непропорционально большою, тяжелою головой, рот с огромными, выдающимися вперед «английскими» зубами, нос хотя и правильного, красивого очертания, но слишком массивный для женского лица, какая-то старомодная, странная прическа, черное платье из легкой, полупрозрачной ткани, выдающее худобу и костлявость шеи и резче выставляющее на вид болезненную желтизну лица, — вот что, к ужасу моему, представилось мне в первую минуту. Я еще не успела опомниться от моего замешательства, когда Джорж Эллиот подошла ко мне и заговорила своим мягким, чудным бархатным голосом. Первые звуки этого голоса вдруг примирили меня с действительностью и возвратили мне м о ю Джорж Эллиот, ту, которая жила в моем воображении. Никогда в жизни не слыхала я более мягкого, вкрадчивого, «чарующего» голоса.

Когда я читаю известные слова Отелло о голосе Дездемоны, мне всегда невольно вспоминается голос Джоржа Эллиота.

Она усадила меня на маленьком диване рядом с собою и между нами вдруг, совершенно естественно, завязался такой искренний, простой разговор, как будто бы мы уже были давнишними знакомыми. В настоящую минуту я не могу даже припомнить, о чем именно мы говорили при этой первой нашей встрече; я не могу сказать, было ли что-либо очень умное или оригинальное в том, что она говорила, но я знаю, что не прошло и получаса, как я уже совершенно поддалась ее обаянию, как я уже чувствовала, что ужасно люблю ее и что настоящая Джорж Эллиот в десять раз лучше и прекраснее моей воображаемой.

Я решительно не в состоянии описать и объяснить, в чем именно заключалось то своеобразное, бесспорное обаяние, которому невольно подчинялся каждый, кто только ни приближался к ней. Я думаю, было бы совершенно невозможно объяснить это человеку, самому не испытавшему чего-либо подобного; но, наверное, каждый, сколько-нибудь близко знавший Джоржа Эллиота, подтвердит мои слова.

Тургенев, который, как известно, был большой поклонник и ценитель женской красоты, говоря со мною раз о Джорже Эллиоте, выразился о ней так: «Я знаю, что она дурна собою, но когда я с ней, я не вижу этого». Он говорил также, что Джорж Эллиот первая заставила его понять, что можно без ума влюбиться в женщину безусловно, бесспорно некрасивую.

Что касается меня, то каждый раз впоследствии, когда я после некоторого отсутствия опять встречалась с нею, я неизменно поражалась ее наружностью и говорила себе: «нет, она действительно очень дурна», но не проходило и получаса, как я уже сама удивлялась, как это я когда-либо могла находить ее безобразной.

Все знавшие Джоржа Эллиота всегда вспоминают ту особую прелесть, то особое наслаждение, которое испытывали при разговоре с нею. Между тем мне очень редко приходилось слышать, чтобы кто-нибудь припоминал что-либо особенно глубокое, оригинальное или остроумное из всего сказанного ею. Так называемых bons mots * она никогда не говорила, рассказчица была плохая и в общем разговоре тоже мало выделялась, даже редко принимала в нем участие. Зато она в высшей степени владела искусством, так сказать, втягивать человека в разговор; она не только на лету ловила и угадывала мысли того лица,

* Острые словца.

с которым говорила, но словно подсказывала их ему, как бы бессознательно руководила ходом его мысли. «Я никогда не чувствую себя таким умным и глубоким, как во время разговора с Джорджем Эллиотом», — сказал мне однажды один наш общий приятель, и я должна признаться, что сама не раз испытала то же самое. Может быть, именно в этом-то ощущении легкости мысли и довольства собою, которые она бессознательно заставляла возникать в душе своего собеседника, и заключался главный секрет ее обаятельности.

Что касается мистера Люиса, то это был живой, сухощавый подвижной человек, принадлежащий к тому типу людей, возраст которых очень трудно определить, которые старообразны в двадцать и моложавы в пятьдесят лет. Пресловутой английской степенности и замкнутости мало было в этом живом человеке, который, казалось, минуты не мог посидеть на месте спокойно, у которого во время разговора так и прыгали в дополнение к словам и глаза, и руки, и словно передергивалась каждая жилка на его некрасивом, сморщенном лице.

Люис был тоже очень дурен собою, но у него было именно так называемое умное безобразие, с которым легко свыкнуться и примириться. Он говорил охотно и много; любил рассказывать и при случае поострить; разговор его вообще был интересен и оригинален и обличал в нем большую начитанность. Он с каким-то детским любопытством расспрашивал меня о том, ценят ли в России произведения его жены и его собственные. Он решительно пришел в восторг, когда я сообщила ему, какой успех имела у нас «Физиология обыденной жизни» [1], пользовавшаяся в то время особенною популярностью, и рассказала ему шутя, что сто́ит у нас барышне прочесть эту книгу или даже попросту украсить ею свой письменный стол, чтобы тотчас же прослыть современной и развитой.

Услышав это, он так и залился самым искренним, веселым и простодушным смехом; но зато его, повидимому, очень опечалило, когда на его вопрос, читала ли я его роман «Ракторп», я принуждена была ответить отрицательно.

Трудно представить себе больший контраст, чем тот, который представляли собою Люис и Джорж Эллиот. Она — натура замкнутая, чуткая до болезненности ко всякому диссонансу, всегда живущая в каком-то собственном, ею созданном мире и способная впадать в грубейшие промахи и ошибки при всяком столкновении с действительностью; он же, наоборот, весь отдающийся впечатлению данной минуты, с настойчивою потребностью немедленной, кипучей деятельности, с удивительнейшею

способностью охватывать умом вещи наиболее разнородные и без всякого, повидимому, усилия перескакивать с одного предмета на другой и тотчас же популяризировать и облекать в вещественную, осязательную форму понятия наиболее отвлеченные [1],— трудно и представить себе две натуры, обе самобытные и даровитые, но более противоположные друг другу, чем они. В данном случае не может быть и сомнения, что именно эти-то противоположности подействовали крайне благотворно на развитие таланта обоих.

Люис с каким-то даже наивным преувеличением любил выставлять на вид превосходство Джоржа Эллиота и ее безусловное влияние на него. С другой же стороны, не может быть сомнения, что именно эти-то не свойственные ей самой качества или недостатки Люиса послужили, так сказать, первым толчком для развития таланта Джоржа Эллиота. Она принадлежала именно к тем натурам, у которых чуткость и критика способны развиться до болезненности, до загубления всякого творчества. Сойдись она в молодости с человеком, более похожим на нее самое, обоим угрожала бы опасность замкнуться в себе, не высказаться вовсе из боязни высказаться не вполне, опошлить свою задушевную мысль.

Но для психолога интересно было бы знать, как сказывалась эта противоположность натуры на частной, личной жизни обоих? Страстная, не вполне свободная даже от склонности к сантиментальности и расплывчатости, Джорж Эллиот не могла не страдать от легкости, подвижности, иногда поверхностности натуры Люиса; он же, с своей стороны, уж наверное возмущался не раз против того нравственного гнета, который она бессознательно налагала на него.

Вообще вся история Люиса и Джоржа Эллиота представляет чрезвычайно интересный психологический этюд.

Джорж Эллиот — мисс Иванс — происходила, как известно, из небогатого, но очень почтенного семейства мелкой английской буржуазии, принадлежала, следовательно, к наиболее консервативной, узко мещански моральной среде, какая, может быть, существует во всем мире. В этой среде она взросла, воспиталась и прожила в ней, разумеется, не без внутреннего протеста, но во всяком случае без всякой решительной попытки вырваться из нее до тридцати двух лет, т. е. до возраста, когда по старым понятиям жизнь женщины уже почти кончена. Быть может, она и теперь не вырвалась бы из этой среды, если бы внешние обстоятельства (смерть отца, распадение семьи и необходимость зарабатывать себе собственный кусок хлеба) не вытеснили ее

оттуда почти насильственно. И вот, после такого воспитания, после таким образом проведенной молодости мисс Иванс, начав свою литературную карьеру писанием критических статей в «Westminster Review», сходится с Люисом, человеком женатым, но разошедшимся с женою, сначала дружится с ним, как с добрым приятелем, товарищем по ремеслу, с которым можно весело и без стеснения пошутить и посмеяться, пойти вместе в театр, убить свободный от работы вечер. Он представляет из себя даже в известной степени род chaperon * в ее одинокой лондонской жизни; так и все окружающие смотрят на их отношения, никому и в голову не входит, что тут может быть что-либо другое. Но вдруг отношения меняются.

Ко всеобщему ужасу и удивлению, она уезжает с Люисом за границу, начинает жить с ним открыто и публично объявляет себя его женою, несмотря на существование другой, законной, хотя и покинувшей семью, мистрис Люис, т. е. решается на шаг, который сразу и безвозвратно ставит ее в разрез со всем ее прошлым и навсегда исключает ее из ряда «порядочных» женщин. Факт этот сам по себе у нас в России и в наше время, разумеется, не представлял бы из себя ровно ничего необычайного и любопытного, но, чтобы оценить весь его психологический интерес, не надо забывать, что он происходил 35 лет тому назад в Англии, в стране, где общественное мнение действительно представляет из себя всесильного божка, строго и беспощадно карающего каждого, кто дерзнет пойти наперекор его безапелляционным постановлениям.

И вот что всего страннее: чем ближе изучаешь характер Джоржа Эллиота по ее сочинениям, тем труднее становится понять и уяснить себе психологическую подкладку этого факта. Первое, что приходит на ум при подобных обстоятельствах, это, разумеется, сослаться на страсть. Когда в дело замешается страсть, то всякое противоречие становится естественным, всякая непоследовательность логичною; всеподавляющая и всепоглощающая важность и значительность данной минуты в глазах действующего лица вполне затемняет и заслоняет для него как прошедшее, так и будущее, поэтому всякие дальнейшие объяснения становятся излишними.

Вот вследствие этого, когда читаешь, например, романы Жорж Занд и вдумываешься в ее биографию, то после первого невольного изумления, которое испытываешь перед некоторыми

---

* Спутник, сопровождающий женщину для предохранения ее от неприятностей.

фактами в ее жизни, потом уже ровно ничему не удивляешься; все начинает казаться вполне понятным и естественным, лишь только проникнешься тою интенсивностью жизни, тою необузданностью желания, которые должны были переполнять все ее существо в иные минуты ее жизни и перед которыми бледнели все обычные соображения.

Но совершенно иное дело относительно Джоржа Эллиота. Именно страсть, не рассуждающая, нелогичная страсть чужда, повидимому, ее натуре, по крайней мере если судить по ее сочинениям. Их основная нота, их вечно возвращающийся мотив состоит в глубоком, прочувствованном признании единства всей цели человечества, ничтожества всякой отдельной личности, лишь только она пытается вырваться из этой цепи, и ее важности и значения, когда она подчиняет свои действия, желания общей воле, живет общею жизнью. Читая романы Джоржа Эллиота, очень трудно представить себе, чтобы она сама когда-либо испытала минуту той одуряющей страсти, под влиянием которой вся жизнь может вдруг, неожиданно для самого человека, сложиться наперекор всем преднамеренным его действиям, в разрез со всем его прошлым. Сознание, что собственная жизнь сложилась под влиянием такой минуты, не могло бы пройти бесследно для такого правдивого наблюдателя, строго и беспощадно анализирующего жизнь и самого себя, каким она постоянно является нам. Это сознание нарушило бы ту строго продуманную, цельную, несколько суровую гармонию, которая составляет сущность всего ее миросозерцания и весь жизненный смысл ее произведений.

Еще одно обстоятельство может служить почти несомненным признаком того, что Джорж Эллиот решилась обдуманно связать свою жизнь с жизнью Люиса и что для нее самой все было ясно в ее поступках: это обстоятельство именно то, что этот ее шаг нисколько не отразился на ее литературных произведениях, что ни в одном из ее романов нельзя найти положения, сколько-нибудь похожего на ее собственное. В первую минуту такое суждение может показаться, пожалуй, странным и парадоксальным, но я думаю, что оно несомненно верно. Никогда не испытывает человек такой потребности рассказать свои поступки, объяснить их другим, как именно тогда, когда они для него самого являются странною неожиданностью. А если это так для обыкновенного человека, то уже несомненно должно быть еще более верно для писателя, которого уже по самому ремеслу его должно раздражать все необъясненное, противоречивое в человеческой природе.

Возьмите, например, Жорж Занд и Альфреда Мюссе. Их роман действительно можно назвать цепью противоречий, а главное, рядом неожиданностей для них же самих. Да и самая завязка романа произошла как бы наперекор всякой логике. Он всю свою жизнь смеялся над женщинами-писательницами, боялся их хуже огня и воспевал воздушную блондинку, живущую данною минутой и не признающую других законов, кроме законов собственной фантазии. Она глубоко презирала нервных, слабохарактерных кутил; ее идеал был человек с непреклонным характером, с титаническими, но подавленными железною волей страстями; и вот судьба свела их и как бы в насмешку заставила их влюбиться друг в друга. Оба несомненно были люди с душой благородной, с чуткими, тонкими чувствами, тем не менее вся кратковременная история их любви полна таких странных несообразностей, перед которыми остановились бы даже люди очень грубые и развращенные. И вот, несмотря на то, а может быть именно вследствие того, что история их такая нелепая, так мало делает чести и тому и другому, оба внезапно охватываются каким-то зудом поскорее рассказать, оповестить эту историю всему миру. И уж, конечно, ими руководило при этом не одно только желание восстановить свою репутацию, очистить себя в глазах других. Самое простое соображение показало бы им, что таким путем они уж наверное не достигнут цели и никого не обманут; что самое выгодное для каждого из них — это молчание, хотя бы уже из-за одного того, чтобы не вызывать другого на разоблачения. Но именно молчать-то они и не могли в ту минуту. Самое важное для них было разъяснить самим себе свои «неожиданные» поступки; а, главное, они и не могли писать ни о чем другом, так как все остальное в мире внезапно утратило всякий интерес и только и было для них важного и значительного, что та горячка, которая внезапно охватила их, перевернув вверх дном все установившееся их миросозерцание.

Совсем другое дело Джорж Эллиот. Ни в одном из ее романов не находим мы ни одного положения, сколько-нибудь напоминающего ее собственное. А между тем, никак нельзя согласиться, чтоб она принадлежала к числу писателей, черпающих свое вдохновение только из наблюдений над другими. Можно даже сказать наоборот, что хотя ни одна из ее героинь не срисована с нее самой, но в каждой из них можно, при внимательном изучении, найти следы ее, ею продуманного и прочувствованного. Ее детство подробно рассказано в «Мельнице на Флосе»; ее собственная порывистость, недоверие к себе,

постоянное разочарование при столкновении с действительностью нашли себе отголосок в Доротее в «Миддельмарче». Даже и те мелкие уколы, которые наносились в молодости ее тщеславию вследствие ее некрасивой наружности, и те нетрудно угадать по ее романам; только этот самый важный шаг ее жизни прошел, повидимому, совершенно бесследно для ее литературных произведений. Я думаю, это можно объяснить только тем, что в этом своем поступке она не испытывала ни малейшей потребности ни оправдаться, ни объясниться: таким простым, неизбежным казался он ей. И действительно, часто так бывает в жизни: иной поступок, иное решение представляется посторонним ужасно сложным; кажется, что нужно было иметь нивесть сколько мужества и решимости, чтобы пойти на него. Для самого же действующего лица все произошло так просто и естественно, что и рассказывать об этом нечего.

Все английское общество было, разумеется, крайне возмущено поступком Джоржа Эллиота и вначале решилось вполне игнорировать ее. Впоследствии ей удалось, однако, до известной степени пересилить даже английские предрассудки и завоевать себе очень видное место в лондонском обществе. До самого конца ее жизни находились, однако, люди, не прощавшие ее исключительного положения, и ее самолюбию наносились иногда очень чувствительные уколы. Если бы уколы эти были направлены только со стороны так называемого лондонского hige life'a * то они были бы вполне понятны, и, я думаю, она сама могла бы вполне примириться с ними; но она не могла оставаться столь же равнодушною, когда даже со стороны ученых, со стороны представителей свободной мысли в Англии встречала относительно себя такие же проявления лицемерия и непоследовательности; так, например, многие из выдающихся ученых и литераторов, встречаясь с Люисами где-нибудь на континенте, очень ухаживали за ними, дорожили их обществом, но по возвращении в Лондон прерывали с ними всякое знакомство; другие сами охотно посещали дом Люисов, но не решались ввести в него своих жен и дочерей. Всякий подобный факт, а их встречалось не мало в ее жизни, глубоко печалил бедную Джорж Эллиот. Но все эти мелкие уколы самолюбия обильно вознаграждались для нее тою безграничною преданностью, тем восторженным почитанием, которое она умела внушить довольно многочисленному кругу своих близких друзей. Действительно, мало женщин

---

* высшего света.

имели счастье встретить в жизни столько глубокой, исключительной и постоянной привязанности, как она.

Люисы вели вообще жизнь довольно уединенную; только по воскресеньям, от двух до пяти, принимали они всех своих знакомых, и эти воскресные приемы становились, разумеется, все известнее и многолюднее по мере того, как росла литературная слава хозяйки дома. Однакоже до самого конца они не утратили своего характера интимности и непринужденности, и хотя в гостиной Люисов можно было под конец их жизни встретить цвет всего английского ученого и литературного общества, так сказать, букет знаменитостей, но каждый, даже самый темный посетитель чувствовал себя в ней совсем на своем месте, не испытывая ни малейшего стеснения. Каждый, кто имел случай присутствовать на одном из этих приемов, наверное сохранил о нем приятное воспоминание.

Противоположность характеров Люиса и Джоржа Эллиота никогда не сказывалась так ярко, как в то время, когда они принимали гостей. Люис все время расхаживал по комнате, переходя от одного посетителя к другому, жестикулировал, каждому находил что-нибудь сказать особенно для него приятное и интересное и все лицо его сияло милым, нескрываемым удовольствием, когда он видел, что разговор идет живо и гостям весело. Джорж Эллиот, наоборот, никогда не нарушала своего обычного спокойствия. На своем неизменном месте, словно затерянная в большом вольтеровском кресле, защищенном от лампы темным абажуром, она обыкновенно вся посвящала себя какому-нибудь одному избраннику, как бы забывая, что она хозяйка этой гостиной. Если разговор становился для нее интересным, ей случалось так увлекаться им, что и не замечать входа новых гостей, и потом вдруг удивляться, когда взгляд ее случайно падал на какое-нибудь новое лицо, которое, может быть, уже с полчаса как раскланялось с нею.

Одним из самых верных посетителей этих воскресных приемов и одним из самых преданных друзей Джоржа Эллиота был Герберт Спенсер. Здесь имела и я случай познакомиться с ним, и я должна сознаться, что наше знакомство состоялось довольно оригинальным образом.

Это было в одно из следующих воскресений после моего первого визита у Джоржа Эллиота. В гостиной ее уже было собрано человек 12 гостей. Общество было довольно смешанное; был, помнится, какой-то молоденький лорд, только что вернувшийся из дальнего путешествия в какую-то малоизвестную страну, несколько музыкантов и живописцев, еще две или три

личности, не имевшие, как кажется, определенной специальности; из дам, кроме меня, находилась всего только одна, очень молоденькая жена одного из присутствовавших живописцев. Как я уже сказала, из числа дам «порядочного» английского общества немногие решались показываться в гостиной Джоржа Эллиота. Мистер Люис представлял мне каждого нового посетителя и обыкновенно сообщал мне даже все те стороны, которыми новое лицо могло заинтересовать меня.

Я находилась уже некоторое время в гостиной, когда в комнату вошел старичок с седыми баками и типическим английским лицом. На этот раз никто не назвал мне фамилию вошедшего, но Джорж Эллиот тотчас же обратилась к нему: «Как я рада, что вы пришли сегодня, — сказала она. — Я могу вам представить живое опровержение вашей теории — женщину-математика. Позвольте вам представить моего друга, — продолжала она, обращаясь ко мне, но все же не называя его по имени. — Надо вас только предупредить, что он отрицает самую возможность существования женщины-математика. Он согласен допустить, в крайнем случае, что могут время от времени появляться женщины, которые по своим умственным способностям возвышаются над средним уровнем мужчин, но он утверждает, что подобная женщина всегда направит свой ум и свою проницательность на анализ жизни своих друзей и никогда не даст приковать себя к области чистой абстракции. Постарайтесь-ка переубедить его».

Старичок уселся рядом со мною и посмотрел на меня с некоторым любопытством. Я совсем не подозревала, кто он такой, тем более что во всей его манере ровно ничего не было «внушительного». Разговор перешел на вечную, нескончаемую тему о правах и о способностях женщин и о том, будет ли вред или польза для всего человечества вообще, если большое число женщин посвятит себя изучению наук. Мой собеседник сделал несколько полуиронических замечаний, которые, как я теперь могу судить, были главным образом рассчитаны на то, чтобы вызвать меня на возражения. Я должна сказать, что мне в то время еще не было двадцати лет; те немногие годы, которые отделяли меня от детства, я провела в постоянной домашней борьбе, отстаивая свое право предаться любимым занятиям; немудрено поэтому, что я испытывала в ту пору к так называемому «женскому вопросу» весь восторженный пыл неофитки и что всякая застенчивость пропадала, когда мне приходилось ломать копье за правое дело. К тому же, как я уже заметила, мне и в ум не приходило, с каким противником мне приходится

состязаться, да и Джорж Эллиот, со своей стороны, делала все от себя зависящее, чтобы подзадорить меня на спор. Это было делом далеко не трудным. Увлеченная спором, я вскоре забыла все окружающее и в ту минуту даже и не заметила, как все остальные гости смолкли мало-помалу, прислушиваясь с любопытством к нашему разговору, который становился все оживленнее.

Добрых три четверти часа длился наш поединок, прежде чем Джорж Эллиот решилась прекратить его. «Вы хорошо и мужественно защищали наше общее дело,— сказала она мне, наконец, с улыбкой,— и если мой друг Герберт Спенсер все еще не дал переубедить себя, то я боюсь, что его придется признать неисправимым». Тут только узнала я, кто был мой противник, и можно представить себе, как я сама изумилась собственной храбрости.

По окончании моих каникул я вернулась в Берлин и в течение нескольких последующих лет мне не приходилось лично встречаться с Джоржем Эллиотом. Все наши сношения ограничивались тем, что мы обменивались поклонами и приветствиями через посредство общих знакомых; но в ноябре 1880 г. мне снова представился случай побывать в Лондоне. Однако на этот раз я не торопилась возобновить мое знакомство с знаменитою писательницей, а, напротив, откладывала посещение ее со дня на день, пока мне не сказали, наконец, что она знает о моем приезде от общих знакомых и обидится, если я не навещу ее.

Причина того нежелания и страха, которые овладевали мною при мысли увидеть снова Джоржа Эллиота, заключалась в следующем. Большие перемены произошли за это время в ее жизни. Люис скончался, и не прошло и года после его смерти, как все друзья и почитатели Эллиота были поражены известием о ее вторичном браке с тридцатилетним мистером Кроссом, тогда как ей самой было уже шестьдесят.

Я должна признаться, что на меня лично это известие произвело крайне тяжелое впечатление. Джорж Эллиот была окружена в моих глазах таким ореолом величия и поэзии, что я решительно не могла примириться с мыслью о необходимости если не вполне развенчать мой идеал, то уж во всяком случае на несколько ступеней опустить его пьедестал. Вот почему я так боялась увидеть Джоржа Эллиота в ее новом положении и так откладывала наше свидание. Шестидесятилетняя старуха, выходящая замуж за человека вдвое ее моложе, — действительно, не легко принять подобный факт и примириться с ним.

Я вовсе не намерена подыскивать здесь какое-нибудь объяснение этому странному событию, еще менее входит в мои намерения оправдывать подобные браки вообще, но правдивость заставляет меня сознаться, что, несмотря на то предубеждение, с которым я шла к Джоржу Эллиоту, лишь только я увидела ее вместе с ее вторым мужем, их союз внезапно показался мне совершенно в ином свете, и я перестала находить в нем что-либо ужасное и возмутительное. Я поняла, почему и другие друзья Джоржа Эллиота так скоро и так вполне примирились с этим фактом в ее жизни.

Объяснить это, вероятно, можно тем, что оба, и он, и она, казалось, и не замечали вовсе, что в их взаимном положении есть что-то неестественное; и оба были так искренне, так просто, так хорошо счастливы. Когда человек действительно счастлив, другие угадывают это чутьем. Подделаться под счастье, разыграть роль счастливого очень трудно. Истинное счастье, такое счастье, которое убивает всякое тщеславие, которое удовлетворяется самим собою, не заботясь о том, чтобы заставить других признать себя, и не смущаясь насмешками посторонних,— это вещь такая редкая и такая завидная, что невольно преклоняешься перед ним, в какой бы странной, необыденной и непривычной форме ни встретилось оно в жизни.

И Джорж Эллиот со своим вторым мужем именно были счастливы таким образом. Я знаю, многие приезжали к ним в первый раз в полной уверенности, что увидят что-то странное, ненормальное, уродливое, смешное, но затем, проведя несколько часов в обществе этих двух милых людей, за серьезною, задушевною беседой в атмосфере тихого, ровного довольства и обоюдной искренности, уезжали совсем с иным чувством и даже, наоборот, не без затаенной зависти говорили себе: «Что за славные, счастливые люди и как им хорошо живется».

Джорж Эллиот очень мало изменилась, за те семь лет [1], которые прошли с первой нашей встречи. Это была все та же худощавая некрасивая женщина с болезненным, добрым, серьезным лицом, вдумчивыми, лучистыми глазами и удивительно приятным голосом, как и прежде. Она показалась мне даже моложавее, чем в первый раз.

Главное, в ней незаметно было ни малейшего желания молодиться, ни тени беспокойства или заботы о своей наружности, и она уже вовсе не походила на ту «влюбленную старуху», которая невольно рисуется в воображении, когда идет речь о таких неровных браках, как ее.

Что касается мистера Кросса, то это был в то время очень красивый молодой человек, лет тридцати с небольшим и с наружностью чистейшего англо-саксонского типа: высокая, стройная, хотя и мускулистая фигура, светлокаштановые, слегка вьющиеся волосы, правильные тонкие черты и чудеснейший, чисто английский цвет лица. Больше всего поражали в нем, однако, карие глаза, удивительно добрые, простодушные и преданные, как у большой ньюфаундлендской собаки, и рот, который по своему тонкому очертанию и нервному подергиванию губ скорее шел бы к женскому лицу и как-то даже противоречил вполне здоровому, откровенному выражению всей остальной фигуры.

На меня мистер Кросс произвел впечатление натуры очень искренней, очень чуткой ко всему прекрасному, но лишенной способности самому воплотить свой идеал, выразить его словами или вообще придать ему какую бы то ни было осязательную форму, зато тотчас же подмечающий и ценящий эту способность у других. Я прибавлю еще, что мистер Кросс принадлежит к очень хорошему семейству и сам обладает вполне независимым состоянием, вследствие чего Джорж Эллиот завещала свое состояние, все без раздела, детям Люиса от его первой жены. Мать и сестры Кросса не только не противились его браку с Джорж Эллиотом, но, напротив, с распростертыми объятиями приняли ее в свою семью. Мне рассказывали тоже люди, близко знающие их, что Кросс еще совсем молоденьким мальчиком познакомился с Джоржем Эллиотом, полюбил ее с первого раза и в течение целых десяти лет был верен своему идеалу.

Джорж Эллиот после своей свадьбы переехала в другое помещение. Та комната, в которой она теперь приняла меня, была замечательно уютная, как бы располагающая к тихим, задушевным разговорам. Полукабинет, полубиблиотека, с несколькими мягкими, очень спокойными креслами и с массою книг и эстампов на столе, на полках, на висячих этажерках, занимающих всякий свободный простенок, — эта комната представляла несравненно более подходящую рамку для всей ее фигуры, нежели тот нарядный, банальный салон, в котором я увидела ее в первый раз. Она сказала мне, что эта комната их любимая в доме и что здесь она с мужем проводят весь день, читая, работая или разговаривая. Действительно, она с своим мужем производили впечатление двух добрых товарищей, у которых общие вкусы, общие привычки, общие занятия и из которых младший беспредельно восхищается старшим.

Разговор наш сначала касался литературы вообще, затем перешел на роман Джорж Эллиот. Она рассказала мне, что каждый раз, когда она начинает печатать новый роман, ее осаждают массами писем от совершенно незнакомых ей лиц; иные из неизвестных ей корреспондентов подают ей советы, как дальше вести интригу, выражают свои желания насчет того, как должно развязаться то или другое усложнение; другие же объявляют ей, что узнали самих себя или своих знакомых в ее героях или героинях. «Так, например, когда я печатала „Мидельмарч“,— сказала она,— три молодых дамы сделали лестное для меня признание, что я угадала их самые сокровенные мысли и вложила их в уста моей Доротеи. Я попросила каждую из этих интересных дам прислать мне свою фотографию; увы, как мало походили они, по крайней мере по наружности, на мою героиню, какою я сама воображала ее себе. Нашелся тоже один счастливый папаша, который написал мне, что я верно где-нибудь встречала его двух дочек, иначе не могла бы так верно и метко обрисовать эгоистичную Розамунду».

Я позволила себе заметить Джоржу Эллиоту, что меня всегда поражает одна черта в ее романах: все ее герои и героини умирают слишком кстати, именно в тот момент, когда психологическая завязка усложняется до крайнего напряжения, когда читатель хочет знать, каким образом распутает жизнь последствия того или другого поступка; вдруг является смерть, и узел развязывается сам собою.

Возьмем, например, «Мельницу на Флоссе». Очень легко можно понять, что Магги в момент восторга, в момент бессознательного влечения к самопожертвованию могла отказаться от собственного счастья, от собственной любви, чтобы спасти счастье и любовь своей кузины. Никогда так не легко жертвовать собою, как именно в те минуты, когда человек подавлен, ошеломлен огромным, неожиданным счастьем. В такие минуты страдание представляется столь отдаленным, столь призрачным, в форме так мало похожей на действительность, что жертва вполне возможна. Но останется ли Магги верна своему самобичеванию, когда за моментом экстаза последует неизбежный период реакции и ослабления? Устоит ли она в течение долгого ряда недель, месяцев, лет одинокого, всеми покинутого существования, однообразию которого ниоткуда не предвидится конца? Когда ее жертва действительно примет осязательную форму, когда она увидит, что ей на самом деле удалось оттолкнуть от себя своего любовника, и когда ей в свою оче-

редь придется испытывать муки ревности, — не овладеет ли ею тогда безумное, неудержимое желание счастья, не раскается ли она в своей жертве и не захочет ли во что бы то ни стало вернуть прошлое?

А если она устоит, несмотря ни на что, и останется до конца верна своему самопожертвованию, какою сделается она сама после такого страшного, превышающего человеческие силы испытания? Я хочу видеть Магги после борьбы, я хочу знать, облагораживает ли действительно самопожертвование или же человек не может убить страсть в своем сердце иначе, как загубив в то же время все, что было живого, человеческого в его природе, так что из борьбы выходит победителем уже не живой человек, а какой-то фанатик, столь же бесчувственный к собственному страданию, как и к радости и к страданию других людей. Вот что интересует меня в этом романе, вот на какие вопросы хочу я ответа. Но взамен этого является наводнение, и громадная черная волна, уносящая с собою и Магги, и ее брата, разрешает в один миг все их сомнения, кладет конец их борьбе и дает им окончательное примирение.

В других романах Джоржа Эллиота повторяется приблизительно то же самое. В «Мидельмарче» несносный мистер Казабон умирает как раз в пору, когда бедная, восторженная Доротея еще не успела утратить ни молодости, ни свежести, ни красоты за служением тому бесплодному, никому не нужному делу, к которому она в порыве необдуманного самопожертвования приковала себя. А что было бы, если бы он прожил еще лет двадцать, например, и умер как раз тогда, когда у Доротеи не остается уже ни сил, ни возможности быть счастливою самой и сделать другого счастливым, а остается только еще достаточно жизненности, чтобы оплакивать свое даром загубленное существование?

В «Даниель Деронда» опять та же история: муж Гвендолины пользуется простою прогулкою в лодке, чтобы утонуть как раз в тот момент, когда их супружеская жизнь сделалась уже совершенно невозможною и когда читатель с любопытством и интересом ожидает, на что решится Джорж Эллиот, чтобы выпутать свою бедную героиню из того тяжелого положения, в которое завлекло ее малодушие и тщеславие. Всюду одно и то же. Смерть всегда является общею примирительницей и разрешительницей всех узлов, затянутых человеческими страстями.

Все это высказала я Джоржу Эллиоту; она выслушала меня очень серьезно и затем возразила мне следующее: «В том, что

вы говорите, есть доля правды; но я спрошу вас только об одном: неужели вы не замечали, что в жизни действительно так бывает? Я лично не могу отказаться от убеждения, что смерть более логична, чем обыкновенно думают. Когда в жизни положение становится уж чересчур натянуто, когда нигде не видать исхода, когда обязанности самые священные взаимно противоречат одна другой, тогда является смерть, внезапно открывает новые пути, о которых никто и не думал прежде, и примиряет то, что казалось непримиримым. Сколько раз случалось уже, что доверие к смерти придавало мне мужество жить».

Впоследствии мне часто вспоминался этот разговор с Джоржем Эллиотом. Ему суждено было быть одним из последних, так как две недели спустя она скончалась совершенно неожиданно, после нескольких часов болезни. Смерть действительно оправдала ее доверие. Она пришла для нее столь же неожиданно, как и для ее героинь, и притом в тот самый момент, когда ей предстояло, повидимому, разрешение трудной, быть может, неразрешимой, задачи. У нее достало мужества стать самой в положение, более трудное, более необычное, нежели то, в котором находилась какая-либо из ее героинь. Соединяя свою судьбу с судьбою человека вдвое ее моложе, она решилась на очень рискованный опыт. В данную минуту оба были счастливы, но могло ли это счастье продолжаться долго? Оказался ли бы талант в силах навсегда заставить забыть о разнице лет? Может ли поклонение таланту женщины наполнить жизнь мужчины и заменить для него другую, более обыденную привязанность? Вот какие дерзновенные вопросы задала Джорж Эллиот судьбе. Кто решится сказать теперь, какой бы ответ дала на них жизнь? Но смерть пришла во-время; она обошлась нежно и милосердно с бедною женщиной; она унесла ее вдруг, почти не заставив ее страдать, в момент самой полноты ее нежданного, запоздалого счастья.

Часто потом вспоминались мне ее слова: «доверие к смерти придает мне мужество жить».

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА, ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РИВЬЕРЕ[1]

С резким и пронзительным свистом курьерский поезд вылетел из туннеля возле Генуи и помчался вдоль берега Средиземного моря по направлению к Вентимилье. Был конец января; утро было чудное и теплое. По синему фону неба бродили белые барашки, и вся окрестность постоянно меняла характер и колорит; когда солнце заходило за тучку, море вдруг становилось однообразно-стальным и окрестные горы темнели и задергивались серой дымкой; но через минуту все снова искрилось и сияло; скалы принимали розовый оттенок. Сероватая зелень отливала серебром. Море окрашивалось внезапно бесчисленным множеством различных цветов. Вдоль берега, там, где грунт песчаный, шла бледноголубоватая полоса; немножко подалее она переходила в изумрудно-зеленую. Еще далее присутствие подводной скалы обнаруживалось целым рядом мелких белых гребешков, а за большим парусным судном тянулась длинная, сверкающая, золотистая рябь.

У открытого окна купе первого класса сидела молодая девушка и не спускала глаз с той чудной картины, которая в первый раз развертывалась перед ее глазами. На ней была мерлушковая шубка и такая же шапочка на ее каштановых, слегка вьющихся спереди и на висках волосах. Через плечо ее была перекинута кожаная, дорожная сумочка; черное дорожное платье было несколько помято. Марья Николаевна Павлищева приехала издалека. Всего пять суток тому назад проводили ее многочисленные друзья и знакомые в Петербурге на Варшавский вокзал при 25-градусном морозе. Так как она в первый раз пускалась в длинное путешествие одна и торопилась скорей доехать до Ниццы, где ее ждали родственники, то она всю дорогу совершила одним махом, почти нигде не останавливаясь.

В Берлине она только переехала с одного железнодорожного вокзала на другой. Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг, Базель промелькнули мимо нее, не оставив по себе почти никакого определенного образа. Зато весь вчерашний день был для нее днем одного беспрерывного восхищения.

В первый раз в жизни увидела она высокие горы. Громадные, покрытые теперь до самого своего подножия снегом силуэты Пилата и Риги пронеслись перед нею, как в панораме. Ей казалось, что она попала внезапно в какое-то заколдованное царство камня и льда. Мелькавшие перед ее глазами картины были так необычайны, что почти подавляли ее своей величавостью. Весь день простояла она у железнодорожного окошка, с замиранием сердца следя за той крутой спиралью, которой поезд подымался в гору. Одну минуту ее разобрала жалость проезжать так быстро мимо таких красивых местностей, которые, может быть, ей никогда больше в жизни не удастся посетить; у ней явилось желание воспользоваться тем, что билет ее годен в течение 10 дней, и остановиться в Люцерне; но при мысли, что она останется одна среди этого льда и снега, среди этих громадных каменных глыб, теснящих ее со всех сторон, ей стало страшно, и она решилась продолжать путешествие, не останавливаясь.

К вечеру все эти разнообразные, быстро сменяющиеся весь день впечатления так утомили ее глазные нервы, что у нее страшно разболелась голова и притупилась способность чему-либо удивляться. Поэтому самый переезд через Сен-Готардский туннель произвел на нее мало впечатления. Въезд в Италию тоже был разочарованием. Лугано, Комо — эти имена невольно вызывали в ее воображении картины жаркого лета, роскошной растительности; теперь же она увидела перед собой бурливое, свинцовое озеро, голые деревья, равнины, занесенные снегом, и горы, подернутые серым, холодным туманом. Холод продолжался вплоть до Генуи.

Было уже около полуночи, когда Марья Николаевна приехала в этот город; дальше поезд не шел, и ей волей-неволей пришлось переночевать здесь. Тотчас по выходе из купе ее обступила толпа черноволосых, черномазых носильщиков, каждый из которых старался завладеть ее багажом и кричал ей что-то для нее непонятное. Хотя Марья Николаевна и читала немного по-итальянски, но понять того, что́ эти люди кричали ей, она была не в состоянии. Лица их показались ей лицами настоящих разбойников. Она столько наслышалась рассказов о всех тех опасностях, которым может подвергнуться женщина,

путешествующая одна по Италии, что ею овладел внезапный страх. Она решилась провести всю ночь здесь, в железнодорожной зале; услав носильщиков, она закуталась в плед и расположилась в уголке дивана пустой, полутемной залы. Не прошло, однако, и получаса, как сторож подошел к ней и на плохом французском языке доложил, что вокзал на ночь запирают; поэтому волей-неволей пришлось ей отдать себя и свой мелкий багаж в распоряжение какого-то незнакомого человека с страшным лицом и отправиться вслед за ним в какой-то незнакомый ей отель. Извощиков на вокзале не стояло, омнибусы все отъехали, и пришлось, несмотря на мелкий дождь, итти пешком.

«Куда это он меня ведет»,— думала Марья Николаевна с отчаянием человека, решившегося на смерть; но, к удивлению ее, после нескольких минут ходьбы он действительно привел ее в отель. Марье Николаевне отвели огромную комнату с мраморным полом, с потолком и со стенами, расписанными масляными красками, но такую холодную, что пар от дыхания ходил по ней волнами. Марья Николаевна попробовала затопить камин, но сырые дрова не хотели загораться и только без пользы дымили. К тому же у прислуживающего гарсона итальянца было такое свирепое, разбойничье лицо, что Марья Николаевна поспешила отослать его и, заперев дверь на задвижку, полураздевшись, бросилась в холодную постель. Простыни и подушки были сырые. У Марьи Николаевны стучали зубы; ей казалось, что никогда в жизни она не испытала такого холода, как сегодня. В голову входили ей рассказы об обилии насекомых в итальянских отелях. Долго пролежала она с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шуму в коридоре. У ней сильно заболела грудь, начался опять короткий кашель, из-за которого доктора услали ее на зиму из Петербурга. Усталость, нервное возбуждение не давали ей уснуть и вызывали в ней страх смерти и горькое чувство одиночества. «Так вот она благодатная Италия! Стоило так далеко ехать!» — думала она с тоской. Таким образом пролежала она долго.

Ей казалось, что она только что успела забыться, как в дверь ее постучались и гарсон пришел доложить, что уже шесть часов, пора спешить к поезду. Дрожа от холода, стала она одеваться. Вода в рукомойнике была ледяная. Вещи ее отсырели; волосы были сегодня особенно непокорны, рассыпались во все стороны и ни за что не хотели укладываться на голове узлом, как следует. Справившись, наконец, со своим туалетом, Марья Николаевна наскоро проглотила чашку отвратительного кофе и поплелась на вокзал вслед за портье, несшим ее вещи, с тем

холодным безнадежным равнодушием ко всему на свете, которое всегда испытывает усталый человек, когда его поднимут не во-время. Но лишь только она уселась в купе, поезд тронулся, и перед глазами ее вдруг предстало чудное Средиземное море с его удивительной игрой цветов и переливом красок, настроение духа ее внезапно изменилось.

По сторонам дороги мелькали рощи оливок, красивые виллы, обнесенные садами лимонных и апельсиновых деревьев; невысокие пальмы расстилали веером свои причудливые листья на синем фоне неба. Местами на прибрежной скале из кучки серых, жестких, похожих на громадный артишок листьев круто подымался вверх огромный цветок агавы.

Ривьера, встретившая Марью Николаевну так хмуро и неприветливо вчера, сегодня расстилалась перед ней во всей своей своеобразной, пленительной красоте. В открытое окно купе врывался теплый, мягкий, словно нагретый воздух, такой душистый, что у Марьи Николаевны даже голова закружилась и она впала как бы в легкое опьянение. Усталости ее как не бывало. Легкая желтизна на висках, краснота век и некоторая помятость туалета — вот все следы, которые оставила на ней долгая дорога. Зато яркий румянец на щеках и лихорадочный блеск глаз придавали теперь ее лицу особенную моложавость и оживление. Что-то беззаботное, праздничное носилось в воздухе. Старые думы, старые счеты с жизнью все остались где-то далеко позади, словно новая полоса существования внезапно открывалась перед Марьей Николаевной.

За созерцанием видов, раскрывавшихся перед ней, она и не заметила, как прошло время. Вот и Сен-Ремо с его песчаными, отлогими берегами, Сен-Ремо, неразрывно связанное с именем покойного героя-императора. Вот пронеслась Бордигера с ее зубчатою цепью гор.

Вот, наконец, и Вентимилья. Остановка на полчаса. Возня на таможне, ворчливые итальянские возгласы, смешанные с ломаным французским жаргоном, перемена вагонов и кондукторов, торопливо проглоченная чашка кофе в буфете, и снова несется поезд по берегу Средиземного моря. Виды становятся красивее и красивее. Остановки каждые десять минут. На всех станциях наплыв веселой, нарядной, праздничной публики. Множество англичан с пледами и бедекерами [1] в руках. Дамы, молодые, красивые, в легких эксцентричных туалетах. Марья Николаевна невольно окинула взглядом свою собственную шубку и помятое платье: ей досадно стало, что она не принарядилась. Марье Николаевне кажется, что у всех на лицах она читает

одно выражение: жизнью надо пользоваться, страдать глупо и смешно.

«Монте-Карло»,— провозглашает кондуктор. Здесь движение между публикой становится особенно сильно. Масса народа выходит; другие садятся. На лицах первых написана надежда, у последних выступает досада и будто даже какое-то недоумение. Купе, в котором сидела Марья Николаевна, скоро наполнилось. Оставалось всего одно пустое место.

В самую последнюю секунду, когда поезд уже собирался тронуться, дверца внезапно распахнулась и в нее протиснулся рослый, грузный, запыхавшийся человек, который, входя, первым делом поторопился наступить на ноги двух или трех дам и тем вызвал во всех некоторую сенсацию. Все обернулись в его сторону. «Боже мой, Званцев!» — невольно вырвалось у Марьи Николаевны [1]. Она видела его всего один раз на одном вечере в Петербурге, года три тому назад, но фигура его была не из таких, которые забываются. Поэтому даже случайные знакомые всегда узнавали его после многих лет разлуки.

Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального и превосходно годилась бы для преспапье. Всего красивее были глаза, очень большие даже для его большого лица, и голубые при черных ресницах и черных бровях. Лоб, несмотря на все увеличивающиеся с каждым годом виски, тоже был красив, а нос — для русского носа был замечательно правильного и благородного очертания. Книзу дело шло хуже. Щеки были слишком велики и нижняя челюсть непомерно развита. Недостаток этот скрывался, впрочем, в значительной степени небольшой французской бородкой, черной с проседью, и только в минуты гнева нижняя губа, да и вся нижняя челюсть, вдруг выдвигалась вперед и сообщала лицу что-то свирепое; в обыкновенное же время все друзья Званцева соглашались, что преобладающим выражением лица его было добродушие.

Несмотря на слишком расширяющиеся книзу щеки, лицо Званцева было еще очень моложаво и свежо; судя по одной голове, ему можно было дать лет 35, не больше, но этому впечатлению моложавости сильно противоречила излишняя тучность. Вся фигура его была фигурой старого казака, победившего турок, но побежденного жиром [2]. Про Званцева нельзя было сказать, что он одет худо; он заказывал себе платье всегда у хорошего портного из хорошей английской материи, но после первой же недели оно всегда начинало сидеть на нем нескладно и морщиться некрасивыми складками.

Несколько лет тому назад имя Михаила Михайловича Званцева было очень популярно в России. В последние годы царствования Александра II он быстро пошел вперед; все ожидали, что он скоро будет министром, и в тех реформах, к которым, казалось, так несомненно стремилась Россия, ему всеобщей молвой приписывалась очень выдающаяся роль [1]. Произошла перемена в направлении и положила конец этим надеждам. Для нового пути, по которому пошла русская внутренняя политика, Званцев оказался неподходящим человеком. Ему не оставалось другого исхода, как подать в отставку и убраться. В высших сферах о нем, повидимому, забыли [2].

Попав внезапно в заштатные, Званцев не пожелал оставаться в России, а уехал за границу. К большому негодованию многих из своих друзей, требовавших от него протеста и активного отпора, он купил себе виллу в окрестностях Ниццы и занялся писанием исторического сочинения «История Регресса» [3].

Сконфуженный эффектом, произведенным им при входе, Званцев сидел, отпыхиваясь, на своем месте и, сняв широкополую фетровую шляпу, отирал платком лоб. На восклицание Марьи Николаевны он обернулся в ее сторону и вежливо поклонился, но на лице его ясно выразилось, что с своей стороны он не признает ее. «Недурненькая, и все же по неряшливости костюма видно, что соотечественница»,— было его первым впечатлением. Небрежный к собственному костюму, Званцев от женщин требовал, чтоб все на них было с иголочки. Марья Николаевна напомнила ему, что встретилась с ним три года назад на вечере у ее дядюшки [4] профессора Л. «Как же, как же, отлично помню»,— соврал Званцев, и заговорил с ней особенно любезно, чтоб загладить невольную невежливость.

Марья Николаевна была очень рада этой встрече. В тот единственный раз, когда она его видела, Званцев произвел на нее сильное впечатление. Вечер этот был очень замечательный, на нем собрались многие из наиболее выдающихся представителей русского либерализма. Званцев был в ударе и после ужина произнес целый спич. Сверх того имя его было очень популярно между русской молодежью, особенно после выхода его в отставку. От него ждали многого. Марья Николаевна читала тоже некоторые из его журнальных статей, которыми от души восхищалась. Поэтому она была очень благодарна судьбе, пославшей ей эту встречу.

— А давно вы у нас на Ривьере?— спросил Званцев.

Марья Николаевна пояснила, что едет прямо из Петербурга. Она прибавила тоже, что недавно кончила Бестужевские курсы,

что здоровье ее пострадало от занятий, что доктора приказали ей провести несколько месяцев на юге и что поэтому кузина ее, Яновская, пригласила ее к себе в Ниццу погостить.

— Какая Яновская? [1] Жена живописца? — спросил Званцев.

— Она самая. А вы ее знаете?

— Как же. Часто у них бываю. Кузина ваша просто красавица; только очень больна, бедняжка! — ответил Званцев.

Открыв общих знакомых, он становился любезнее.

— Ах, какая здесь прелесть! — с восхищением воскликнула Марья Николаевна. Глаза ее горели.

Званцев сам очень любил эту местность и чувствовал себя здесь как бы хозяином, с тех пор как купил виллу; его всегда радовало, когда другие тоже восхищаются Ривьерой. Он с оживлением стал указывать Марье Николаевне на красивые виды, заставляя ее любоваться то тем, то другим.

— Ах, как здесь хорошо! Что за дивное место! — постоянно восклицала Марья Николаевна.— Знаете ли, мне даже страшно становится, что я здесь избалуюсь? А ведь мне после этого придется ехать в глушь, в Саратовскую губернию, на место сельской учительницы! — вдруг проговорила она.

— Да, Саратов, разумеется, не то, что Ривьера. Только что ж вы это так далеко забираетесь! Неужели в Петербурге не нашли места? — спросил Званцев наивно, желая выказать свое участие.

Марья Николаевна взглянула на него и вся покраснела.

— Я не потому, не по необходимости,— заговорила она, торопясь и конфузясь.— Я кончила первой на курсах и, разумеется, могла бы остаться в Петербурге. Да к тому же мне в сущности и необходимости не было бы в месте. Но я потому еду, что мне кажется, что всякий интеллигентный человек больше может принести пользы в провинции. Вот я с моей приятельницей Юлией Ивановной Румянцевой, вот мы и решили открыть сельскую школу в Саратовской губернии [2]. А в Петербурге и без нас интеллигентных людей довольно.

Званцев слушал ее с сочувственным видом. Про себя он думал: «Господи, боже мой, как благородно. Так мне и сдается, что вчера я все это в последней книжке „Северного вестника“ прочитал». Но этих мыслей он ей не высказал, а проговорил только:

— Значит, вы это подвиг совершать будете?

— Ах, я вовсе не смотрю на это как на подвиг,— опять заторопилась Марья Николаевна, не заметив иронии его голо-

са.— Мне только кажется, что я больше всякой другой обязана потрудиться для народа.

— Почему же именно вы больше другой?— сочувственно и, повидимому, совершенно серьезно спросил Званцев.

Марья Николаевна опять покраснела и заговорила очень быстро:

— Вот видите ли, я недавно получила премию за лучшую книжку для народного чтения. Вы знаете, в Москве общество такое основалось для распространения знаний в народе, и оно назначило приз в 500 рублей тому, кто напишет лучшую сказку на тему «Знание — свет, а незнание — тьма. И представьте себе, приз этот присудили мне. Я совсем не рассчитывала. Так, наобум послала. Да вы разве не читали? Ведь во всех журналах об этом стояло?— спросила она вдруг, в упор глядя на Званцева.

«Ну, попался я! авторское самолюбие задел. Никогда мне барышня не простит, что я об ее сказке не читал. В невежу меня прямо запишет»,— думал про себя Званцев.

— Ах, помилуйте, как же! Разумеется, читал. Я только имени вашего не запомнил, не догадался сразу, что это вы,— заговорил он очень быстро.— Меня этот вопрос даже очень интересует, и я чрезвычайно рад, что с вами встретился; у меня у самого есть в деревне школа, и я надеюсь, что вы поможете мне советом. Я надеюсь многому у вас научиться!

«Однако уж не хватил ли я через край. Барышня поймет, что я над ней смеюсь»,—подумал он с беспокойством.

Но Марье Николаевне и в голову это не входило. Она жила постоянно в таком кругу, где к известным вопросам всегда относятся серьезно и шуток не допускают. К тому же имя Званцева было окружено в ее глазах ореолом. Она сразу вся ушла в интересный для нее разговор и стала расспрашивать Званцева о его школе. Разговаривая таким образом, они доехали до Ниццы.

На вокзале в Ницце Марью Николаевну встретил муж ее кузины Яновский. Это был человек лет 45, еще моложавый, полный, но все еще довольно статный. Широкополая, серая фетровая шляпа, белокурые волосы и бородка à la Rubens стремились придать его широкому, румяному, чисто российскому лицу с расплывчатыми чертами какой-то лже-испанский вид.

— Ба-ба-ба, Званцев! Какими судьбами!— удивился он, увидев Михаила Михайловича вместе с своей кузиной.

Званцев объяснил, что попал совершенно случайно в одно купе с Марьей Николаевной.

— Ну-да, рассказывайте! Знаем мы вас! На хорошенькую женщину вас всегда случай нанесет!— иронически заметил Яновский.

— А что, кузина, признавайтесь! Уж он, я думаю, начал за вами ухаживать,— обратился он к девушке.

Марья Николаевна совсем сконфузилась и растерялась. Михаил Михайлович, привыкший к бесцеремонной, пересыпанной крупной солью речи приятеля, принимал насмешки совершенно спокойно.

— Да вы спросите Марью Николаевну, как я за ней ухаживал. Особенно вход мой на сцену был удачен!— и он с юмором принялся описывать, как он чуть не повалился, входя в вагон, и передавил ноги всем сидящим в нем дамам. Когда Званцев трунил над самим собою, лицо его всегда принимало особенно добродушную складку. Марье Николаевне он очень понравился в эту минуту.

— Ну, что ж, уж раз мы вас случайно заполучили в Ниццу, поедемте-ка с нами завтракать. Ведь у жены сегодня приемный день,— любезно пригласил Яновский.

Званцев отговорился от завтрака делами, необходимостью заехать в Crédit lyonnais и еще в два, три места, но обещал, что часам к пяти завернет.

Окончив все хлопоты с багажом, Яновский и Марья Николаевна сели на извозчика и поехали вдоль Avenue de la gare*.

Марья Николаевна любовалась рядом высоких платанов и пальм; усталость от дороги сказывалась в ней только шумом в ушах и чувством какого-то особенного, лихорадочного возбуждения. Она весело болтала с Яновским, который оглядывал ее с той ласковой бесцеремонностью, с какой он привык глядеть на всякую молодую женщину, попадавшуюся ему на пути. Несмотря на крайнюю простоту и даже некоторую неряшливость ее костюма, его опытный взгляд художника и страстного любителя женщин угадывал в ней красивую девушку. Марья Николаевна инстинктивно чувствовала, что нравится ему, и это сознание увеличивало ее хорошее настроение духа.

— Как это вы отлично сделали, голубушка, что приехали к нам. Полине с вами веселей будет...

* Привокзальная аллея.

ИЗ ДНЕВНИКОВ[1]

1881

30 января. Писала процесс для адвоката весь день. В 7 пошла обедать, усну[ла] 1 час до 9, а вечер[ом] пишу письма Л. И. и Мариону и собираюсь укладываться[2].

31 января. Приехала в Берлин.

2 марта. В 1880 г. выдано 70 патентов женщинам[3].

1884

3 января. Провела вечер у Амалии Викстром с Бендиксонами.

4 января. Получила сегодня в подарок эту книжку и долго ломала себе голову, от кого она. Наверное от Янковской. Другие друзья все меня забыли. А я было думала...

5 января. Получила книжку от Юли. Письма от А. О. и от Мольке. От проф. Гюльдена — корзину с конфетами. От тех, от кого ждала, ничего. Сама отправила письмо Вейерштр[ассу], Вольмару, Юле и тетушкам. Целый день смотрела квартиры с m-lle Викстром.

6 января. Встала поздно. Еще не была одета, когда пришел с визитом Эннестром. Пробаклушничала весь день. Пошла с визитом к Гюльден[ам] и тоже опоздала; застала их чуть ли не за обедом. Вечером начала читать тезу Poincaré.

8 января. Опять одно из тех странных совпадений, которые не знаешь, как и объяснить себе. Именно сегодня увидела я его статью в Cr[elles] J[ournal]. Возвращаюсь домой — первое, что мне попадается,— его прошлогоднее письмо, в котором он пишет, что уже два раза 8-е января было таким anniversaire * для него.

* Годовщина.

9 января. Получила письмо от Кронекера.

10 января. Получила письмо от Ермита и от Липмана. Ермит предлагает напечатать мою заметку в «Comptes rendus» [1]. Ужасно бы хотелось принять его предложение, но боюсь Вейерштр[асса] огорчить, если я напечатаю что без его ведома, потому решилась лучше написать ему.

Вечером был у меня Миттаг-Леффлер.

13 января. Все эти дни была не совсем здорова; ленилась безбожно. Никак не могу приняться за работу.

18 января. Каталась в санках с Ам[елией] Викстром. Много визитов.

19 января. Получила сегодня письмо от Янковской. До известной степени обманутая надежда, так как я ожидала, что в нем может быть будет какое-нибудь известие о...

Потом получила письмо от Вейерштрасса, кот[орый] разрешает мне принять предложение Ермита. Написала тотчас же последнему. Что-то будет?

30 января. Прочитала сегодня первую лекцию. Не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было грустно возвращаться домой и чувствовать себя такою одинокою на белом свете.

В такие минуты это так особенно сильно чувствуется. Encore une étape de la vie derrière moi *.

1 февраля. Целый день готовилась к лекции.

2 февраля. Прочитала лекцию. Вернулась домой ужасно печальная, сидела погруженная в созерцание своего одиночества, когда мне принесли письмо из Берлина.

3 февраля. Провела весь день у Амелии Викстром [2].

4 февраля. Каталась в санках с Леф[флерами], Гюльденами и Линд-оф-Гаген[ами]. Вечер провела в обсерватории. Отправила письмо Рунге.

5 февраля. Готовилась к лекции. Отправилась с Леффлером с визитом к Линдгагену, который, однако, не удостоил принять нас. Его супруга сообщила нам, что если мы и в другой раз придем, то нас, вероятно, постигнет та же участь.

6 февраля. Прочитала 3 лекцию.

9 февраля. 4-я лекция.

10 февраля. Обедала у стариков Леффлеров. M-me Эдгрен читала нам свою драму [3]. Очень эффект[на] и вероятно будет иметь большой успех.

Письмо от Вольмара.

Получила месячны[е] 100 рублей [4].

---

* Еще один жизненный этап остался позади.

13 февраля. Прочитала 5-ю лекцию. Поутру получила письмо от Д. Ф. Селиванова.

Леффлер сообщил мою статью штокгольмской академии.

52 FÉVRIER 315
21. JEUDI. Saint Félix.

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА С. В. КОВАЛЕВСКОЙ (21 февраля 1884 г.

Вечером просидели у меня А. Викстром и Вальфрид Бендиксон.

14-го февраля. Получила от Рунге доказательство существования интеграла в том случае, когда коэф[фициент] д[анного] ур[авнения] *не* аналитические функции.

Видела ужасные сны.

16 февраля. Письма не было. Лекция. Разговор с Леффлером.

Вечером — в театре. Новая пьеса г-жи Агрель.

17 февраля. Завтракала у г-жи Ретиус. Обедала у Леффлера. Получила письмо от тетушки и от Марьи Ал[ександровны].

Тоска ужасная.

19 февраля. Провела вечер у Бенд[иксон].

21 февраля. Четверг. Ну уж денек! С утра всякие неудачи! Одни за другими. Такая находит иногда усталость, что бросила бы все и бежала [1].

Тяжело жить одной на белом свете.

24 февраля. Провела день у Викст[ром]. Скука.

25 февраля. Вечером была в театре с m-me Ретиус. Играли Шейлока — гадко.

26 февраля. Была вечером у Пальме.

27 февраля. Получила поутру письмо от бестолкового Леффлера, чтобы я прочитала лекцию, когда я совсем была неприготовившись к этому. Разумеется, не читала.

Потом письмо от Юли с известием о самоубийстве Лели Рагозина [2]. Вечером письмо от Анюты с деньгами [3].

16 апреля. Прочитала лекцию. Весь день размышляла о том мудром правиле Талейрана: «Il ne faut jamais suivre son premier mouvement car il est toujours bon» *.

1885

1 сентября. Вернулась сегодня в Стокгольм. Нашла Анну очень de mauvais humeur **.

Нашла на столе карточку о свадьбе Георга фон Фольмара с Юлией фон Фоль[мар]-Кьелберг.

Вечером пришла Эннестрем; я узнала о смерти Голмгрена. Весь остальной вечер просидела одна, приготовл[яла] Брэма для печати [4].

2 сентября. Была у Варминга, не застала дома.

3 сентября. Была у Бреггера. Узнала все для себя печальные вещи. Место в тех[нической] шк[оле] замещено; мне вряд ли дадут читать мех[анику]. Вечером был у меня Эннестрем. Фрекен *** Викстром вернулась.

---

* Никогда не надо следовать своему первому побуждению, потому что оно всегда хорошее.

** Плохом настроении.

*** Девица.

Написала Леф[флеру].

4 сентября. Обедала у Амелии. Занималась Брэмом.

5 сентября. У меня был Варминг. Я поняла из его слов, что все проф[ессора], осо[бенно] Лекке, против того, чтобы я читала механику.

9 сентября. Один мальчик украл однажды лисицу и скрыл ее под платьем. Его добрый, почтенный друг, догадавшись, что что-то неладно, предложил такой выход, что можно было, напр., подумать, что лисица сама забралась под платье. Мальчику было стыдно, он предпочел от всего отречься. Лисица съела его внутренности. Всего хуже то, что когда он умер, то все обнаружилось, что он украл. Мне сдается, что я этот мальчик.

11 сентября. Отправила письмо М[иттаг]-Л[еффлеру].

13 сентября. Провела день с Гюльденами у Линд[гаген]ов. Получила письмо М.-Л., узнала о проекте назначить проф[ессором] молодого Линдгагена.

14 сентября. Поутру был у меня Эдгрен. Размышляли с поздним раскаянием о неудобствах вранья. Вот уж действительно правда: «Du bist ja immer was Du bist» *.

1890

17 мая. Приехала в Петербург. Никто не встретил на жел[езной] дороге. Вечером пришел Ламанский и выложил мне все сплетни, ходящие на мой счет.

Письмо от Елизав[еты] Конст[антиновны].

18 мая. Была у Имшенецкого [1]. Узнала следующую историю. Марков публично заявил, что мой мемуар полон ошибок, но что он покажет их лишь тогда, когда господа академики, представившие меня членом, потрудятся прочесть мой мемуар [2]. Им[шенецкий] считает себя великим героем, потому что решил возразить Маркову, что если даже в моем мем[уаре] есть ошибки, то есть и достоинства!!! После того как М[аркова] сделали экст[раординарным] акад[емиком], он был так милостив, что заявил в частном разговоре, что мемуар мой не так плох, как ему сначала показалось. На этом частном разговоре все и ограничилось.

Была у Пыпина [3].

19 мая. Поутру на экзамене в ж[енских] кур[сах]. Затем у Чебышева. Я спросила, могу ли присутствовать на ак[адемиче-

---

* Ты всегда всё тот же.

ских] сеансах * в качестве de membre-cour **. Чебышев заявил, что это не в обычаях Академии! [1].

Тетя Адель уже переехала на дачу.

Обедала у тети Софии вместе с Баклундом.

Отослала письма М[иттаг]-Леф[флеру], Вей[ерштрассу] и Ганземану.

21 июня. Приехала в Амстердам. Встретились. Довольно холодно [2].

---

* Заседаниях.

** Члена-корреспондента.

ВСТРЕЧИ С В. С. ГОНЧАРОВОЙ[1]

Мне было двадцать два года, когда я поселилась в Петербурге. Месяца три перед тем я окончила курс в одном из заграничных университетов и с докторским дипломом в кармане вернулась в Россию. После пятилетней уединенной, почти затворнической жизни в маленьком университетском городке, петербургская жизнь сразу охватила и как будто опьянила меня. Забыв на время те соображения об аналитических функциях, о пространстве, о четырех измерениях, которые еще так недавно наполняли весь мой внутренний мир, я теперь всей душой уходила в новые интересы, знакомилась направо и налево, старалась проникнуть в самые разнообразные кружки и с жадным любопытством присматривалась ко всем проявлениям этой сложной, столь пустой по существу и столь завлекательной на первый взгляд сутолоки, которая называется петербургской жизнью.

Все меня теперь интересовало и радовало. Забавляли меня и театры[2], и благотворительные вечера, и литературные кружки с их бесконечными, ни к чему не ведущими спорами о всевозможных абстрактных темах. Обычным посетителям этих кружков споры эти уже успели приесться, но для меня они имели еще всю прелесть новизны. Я отдавалась им со всем увлечением, на которое способен болтливый по природе русский человек, проживший пять лет в Неметчине, в исключительном обществе двух-трех специалистов, занятых каждый своим узким, поглощающим его делом и не понимающих, как можно тратить драгоценное время на праздное чесание языка. То удовольствие, которое я сама испытывала от общения с другими людьми, распространялось и на окружающих. Увлекаясь сама, я вносила новое оживление и жизнь в тот кружок, где вращалась.

Репутация ученой женщины окружала меня известным образом; знакомые все чего-то от меня ждали, обо мне успели уже прокричать два-три журнала; и эта еще совсем новая для меня роль знаменитой женщины хотя и смущала меня немного, но

все же очень тешила на первых порах. Ну, словом, я находилась в самом благодушном настроении духа, так сказать, переживала свой «медовый месяц» известности и в эту эпоху своей жизни, пожалуй, готова была бы воскликнуть: «Все устроено наилучшим образом в наилучшем из миров».

Сегодня я находилась в особенно благодушном настроении. Вчера была на вечере в редакции одного нового, только что открывшегося журнала, где и мне было предложено сотрудничать. Это новое дело живо увлекало всех участников, и редакторские субботы отличались необычайным оживлением. Я вернулась домой в третьем часу ночи, встала сегодня поздно, долго провозилась за своим утренним чаем и с интересом пробежала несколько газет. Увидав объявление, что продается по случаю резной книжный шкаф, я съездила его посмотреть; по дороге встретилась на конке с одной знакомой дамой, состоявшей, подобно мне, членом комитета только что открывшихся высших женских курсов, потолковала с ней «о делах», побывала еще у двух-трех знакомых и, часам к четырем вернувшись домой, сидела теперь в покойном кресле перед затопленным камином и с удовольствием оглядывала свой нарядный кабинет. После пятилетнего мытарства по различным меблированным комнатам у немецких хозяек я была теперь довольно чувствительна к новому для меня удовольствию своего уютного уголка. В передней позвонили.

«Кто бы это был?» — подумала я, перебирая в голове имена своих разнообразных знакомых, и с некоторым беспокойством кинула взгляд в зеркало, чтобы убедиться, в порядке ли мой туалет.

В комнату вошла высокая молодая женщина в простой суконной шубке. По близорукости я не сразу могла решить, знаю ли эту особу или нет, тем более что черный головной платок почти совсем скрывал ее лицо, оставляя открытым лишь маленький, правильный, слегка подрумяненный морозом носик. Любезно, хотя и с некоторым недоумением во взгляде, поднялась я навстречу гостье.

— Извините меня, что я решилась вас обеспокоить, хотя я не знаю вас лично,— заговорила вошедшая.— Я Вера Баранцева. Впрочем, вы вряд ли помните мое имя, хотя родители наши и были соседями по именью. Недавно я прочла о вас в газете. Я знаю, что вы долго учились за границей и о вас повсюду идет молва, что вы хороший и серьезный человек. Вот мне и пришло в голову, что вы можете помочь мне советом.

Все это пришедшая проговорила торопясь и залпом, но чрезвычайно приятным, грудным голосом. Я была и смущена и поль-

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ
(с фотографии середины 1870-х годов)

щена этим доказательством собственной известности. В первый раз незнакомый человек обращался ко мне за советом.

— Ах, я очень рада! Пожалуйста, садитесь. Да снимите же вашу шубку,— забормотала я приветливо, тоже сильно конфузясь.

Вера сбросила с головы черный платок. Я была поражена, увидав такую красавицу.

— Я совсем одна на свете и ни от кого не завишу. Моя личная жизнь кончена. Для себя я ничего не жду и не хочу. Но мое страстное, мое пламенное желание, это — быть полезной «делу». Скажите, научите меня, что мне делать? — проговорила Вера вдруг, без предисловия, сразу приступая к цели своего визита.

От всякой другой это странное, неожиданное начало могло бы поразить неприятно, показаться битьем на эффект, но Вера говорила так просто, в голосе ее слышалась такая искренняя, взволнованная, умоляющая нотка, что я и не подумала удивляться.

Эта высокая, стройная девушка с матово-бледным лицом и с задумчивыми синими глазами стала мне вдруг необыкновенно близка и симпатична. Один только был у меня страх, что я не оправдаю ее доверия, не сумею ответить, как следует, на ее обращение, не смогу дать ей никакого полезного совета. И собственная жизнь последних трех-четырех месяцев вдруг показалась мне пустой и мелочной; все наполнявшие меня интересы утратили смысл и значение; внезапный упрек совести кольнул меня в сердце. Что я ей скажу? Чем я помогу ей?

Не зная, с чего начать, я пригласила Веру присесть и приказала подать чай. В России ни один разговор по душе не обходится без самовара. Что поразило меня в Вере с первого часа нашего знакомства, это — полнейшее равнодушие ко всему внешнему. Она походила на тех ясновидящих, зрение которых так поражено присутствием видимого им одним предмета, что не способно к восприятию других впечатлений. Я спросила ее, давно ли она в Петербурге, хорошо ли устроилась в отеле. Но на все эти банальные вопросы Вера отвечала рассеянно и с некоторым недовольством. Мелочи жизни, видимо, нимало не занимали ее. Хотя ей ни разу не приходилось еще жить в Петербурге, но столичная жизнь не удивляла и не интересовала ее. Она всецело была занята одной мыслью — найти назначение, цель в жизни. Меня сильно влекло к этой молодой девушке, столь непохожей на тех, каких я знала прежде. Я постаралась поэтому заслужить ее доверие, проникнуть в сокровеннейшие ее мысли. На ее во-

прос я ответила, что не могу дать ей совета, пока не узнаю ее ближе. Я попросила Веру бывать у меня возможно чаще и рассказать мне все ее прошлое. Вера сама только и думала о том, как бы высказаться, и на все мои вопросы отвечала с резкой откровенностью. Не прошло многих недель, и я проникла в ее сердце и стала читать в нем настолько ясно, насколько одной женщине возможно читать в сердце другой.

Первое время своего пребывания в Петербурге Вера не испытывала ничего, кроме разочарования. Она убедилась, что гораздо труднее быть полезной, чем она думала. В ее глазах быть полезной значило или работать лично над разрушением деспотизма и тирании, или поддерживать тех, кто работает в этом направлении. Она не понимала, что можно быть полезной и другими простейшими способами. Но к кому обратиться за работой, которая бы подошла к ней? Ее разговоры с Васильцевым [1] мало подготовили ее к какой бы то ни было деятельности. Они неизменно носили характер чего-то абстрактного, идеального. Благодаря Васильцеву, Вера прочла ряд революционных изданий.

Сам Васильцев в своих разговорах представил ей поразительную картину всех бедствий, от которых страдает человечество, и указал ей источник этих бедствий в том факте, что современная жизнь построена на угнетении и конкуренции, а не так, как следовало бы,— на свободе и единении. Не раз заводил он с нею речь о мучениках, о всех современных героях свободы, пожертвовавших жизнью и счастьем ради торжества святого дела. И она страстно полюбила этих героев и пролила не одну слезу над их судьбой. Но ни в одном разговоре Веры с Васильцевым не было и речи о том, что ей самой нужно делать для того, чтобы уподобиться этим героям. И в годы, последовавшие за арестом Васильцева, в годы одиноких размышлений, она ни разу не останавливалась над этим вопросом. Ее всегда поглощала мысль о ближайшей задаче, о разрыве всяких связей с семьей, об оставлении того тесного круга, в котором проходила ее жизнь. Ее незнание действительных условий жизни было так велико, что в ее воображении нигилисты являлись чем-то вроде правильно организованного тайного общества, работавшего по определенному плану и стремящегося к достижению ясно обозначенных целей.

Поэтому она не сомневалась в том, что, раз попавши в Петербург — в этот очаг нигилистической агитации,— она немедленно будет завербована в великую подземную армию и займет в ней определенный пост, как бы скромен он ни был.

Таковы были ее мечты за все эти годы [1].

Но вот она в Петербурге, полная госпожа собственной жизни, свободная делать, что ей вздумается. И что же? Цель так же неясна пред нею, как и прежде. Она не знает, к кому прибегнуть, как найти даже этих настоящих нигилистов. Великим разочарованием для нее было узнать, что мне лично ни один из этих нигилистов не был знаком и что я даже не верила в существование обширной революционной организации в России. Это нимало не входило в ее расчеты. Она ждала от меня лучшего.

Я, тем не менее, позволила себе дать ей совет в ожидании лучшего заняться посещением лекций по естественным наукам.

Женские курсы только что были открыты в Петербурге.

Она послушалась меня и стала ходить на лекции, но ум ее не был направлен в эту сторону. Ей не удавалось стать на один уровень со своими товарками, войти в их научные интересы. Большинство этих товарок были молодые девушки; они работали усердно, имея в виду определенную цель. Они стремились поскорей и лучше выдержать экзамен, чтобы сделаться учительницами и жить собственным трудом.

Все их интересы сосредоточивались пока на учении, и в их разговорах профессора, курсы, практические занятия составляли единственное содержание. Мировой скорбью они нимало не страдали. В свободную минуту они непрочь были собраться и при случае, т. е. каждый раз, когда к их обществу присоединялись студенты, они не могли устоять от желания потанцовать и пококетничать. Все это, очевидно, нимало не отвечало меланхолической экзальтации такой мечтательницы, как Вера. Неудивительно поэтому, если, помогая им своим кошельком, она в то же время относилась к ним, как к детям, и держала себя несколько вдалеке от них.

Учение также не удовлетворяло ее. «Будет еще время заниматься науками,— думала она,— надо прежде добиться того, чтобы главная часть задачи была исполнена». В этом же смысле отвечала она на все мои убеждения более серьезно отнестись к своим занятиям.

— Я не понимаю,— говорила она мне,— как среди окружающих нас со всех сторон бедствий и под впечатлением тех страданий, на которые жалуется человечество, можно находить удовольствие в том, чтобы рассматривать под микроскопом глаз мухи; а между тем этим возвышенным предметом и занимал нас целый час наш добрый профессор В.

Убедившись в том, что Вера имеет мало вкуса к естественным наукам, я посоветовала ей заниматься политической эконо-

мией. В результате оказалось то же. Чтение ходячих трактатов по политической экономии только вызывало в ней усталость, не оставляя в то же время никакого следа в ее голове. Принимаясь за них, она наперед уже была убеждена в том, что интересующая их авторов задача — устроить человеческое благополучие — будет достигнута только тогда, когда люди разделят все между собой, и не будет более ни угнетения, ни собственности.

Она считала это неоспоримой истиной, не допускавшей сомнения, не требовавшей доказательств. К чему в таком случае ломать себе вечно голову над всеми этими вопросами о заработной плате, о процентах, о кредите и о целом ряде столь же скучных и запутанных вещей, единственное назначение которых производить путаницу в уме и отклонять людей от их настоящей цели! В наше время всякий порядочный человек не вправе спрашивать себя: «Какую цель я поставлю для своей личной жизни?» Он может только интересоваться выбором кратчайшего пути, ведущего к достижению общей цели. Для русского такой целью может быть только социальная и политическая революция. А на эти вопросы никакие учебники политической экономии ответа не дают; следовательно, нечего их и читать. Вот как рассуждала со мною Вера.

И все же, как ни покажется это странным, мы сделались друзьями. Наши свидания стали часты и в разговорах не раз проглядывала личная симпатия. Объясняю я это той странной прелестью, какою отличалась вся личность Веры.

Черты ее лица были так благородны, каждое ее движение так грациозно и гармонично и, что всего важнее, столько было искреннего и наивного во всей ее манере держать себя, что я чувствовала себя нравственно удовлетворенною. Но спорить с нею не было возможности, и мне оставалось только жалеть о том, что ум ее мало развит и что она поэтому равнодушна ко всяким великим благам современной цивилизации.

Что касается до Веры, то она предпочитала меня всем своим знакомым, но в то же время не могла понять, как я всецело отдаюсь занятиям математикой.

Ей казалось, что математик — своего рода чудак, занимающийся решением выраженных в цифрах шарад. Можно простить ему его манию, так как она весьма невинного свойства, но трудно отказаться от некоторого презрения к его слабости.

Таким образом, каждая из нас смотрела на другую свысока, с некоторым снисхождением. Но это не мешало нашей приязни.

А между тем время шло, и Вера, чувствуя, что не сделала еще ни одного шага к достижению намеченной ею цели, стано-

вилась все раздражительнее и нетерпеливее. Ее здоровье начало страдать от неудовлетворенности этого странного желания «посвятить себя делу». Яркий румянец стал сходить с ее щек и выражение ее больших темноголубых глаз становилось с каждым днем более задумчивым и печальным.

Вспоминается мне, как однажды веселым зимним утром мы прогуливались по Невскому. Небо было ясно, и солнце разливало повсюду свои яркие резкие лучи. Можно было думать, что какое-то чудо перенесло нас в то светящееся царство, о котором говорят наши народные сказки. Серебром отливало от окон магазинов. Серебро блестело под ногами и разлеталось вокруг нас мелкими блестками. Столько освежающего заключал в себе чистый зимний воздух, что становилось веселее жить. Несмотря на широту тротуаров, мы с трудом могли двигаться, так как со всех сторон нас теснили прохожие. Мужчины, женщины, дети, с ярким румянцем на щеках, с уходившим в мех подбородком, дышали здоровьем и весельем.

— И сказать,— внезапно обратилась ко мне Вера,— что среди этих людей, быть может, находятся те самые, которых я так давно ищу. Не один, пожалуй, мог бы сказать мне все то, что я тщетно хочу узнать. Знаешь ли, каждый раз, когда мне приходится встретить симпатичного человека, я готова остановить его, посмотреть ему прямо в глаза и спросить, не из них ли он.

— Что же, ради меня, пожалуйста, не стесняйся,— отвечала я самым спокойным тоном.— Посмотри, например, на этого офицера с блестящими золотом эполетами или на этого франтоватого адвоката, который так самодовольно рассматривает тебя в свой монокль. Не начнешь ли с них свои расспросы? Их внешность многое обещает.

Вера пожала плечами и тяжко вздохнула.

К концу зимы произошло нечто, сразу положившее конец терзаниям Веры и давшее ей возможность открыть то, чего она искала.

Еще с начала января распространился слух, что значительные аресты были произведены в различных местах России и что правительству удалось раскрыть хитро задуманный социалистический заговор. Слухи эти вскоре подтвердились: в «Правительственном вестнике» напечатан был официальный отчет, которым оповещалось верноподданным, что правосудию удалось наложить руку на целое сообщество политических преступников в числе семидесяти пяти человек [1].

После подавления польского восстания, неудачного покушения Каракозова и ссылки в Сибирь Чернышевского [2] настал в

России период относительного политического затишья. Правда, и в это время было немало заподозренных. Частые аресты и ссылки продолжались своим порядком. Но нельзя указать за это время ни одного общего движения. Период систематических покушений еще не наступил. Самый характер революционной пропаганды значительно изменился, не без влияния иноземных воздействий. Прежде заняты были мыслью о политических реформах и низвержении самодержавия; теперь выступили на очередь социалистические задачи. Революционная интеллигенция постепенно проникалась тем убеждением, что, пока простой народ останется в невежестве и бедности, трудно ждать каких бы то ни было существенных результатов.

Чтобы добиться чего-нибудь, надо работать среди народа, искать с ним сближения, «опроститься». Людей этого поколения как нельзя лучше изобразил Тургенев в романе «Новь». К их числу, к числу наивных и далеко не преступных пропагандистов принадлежали и те семьдесят пять обвиняемых, о которых я только что упомянула. Они не орудовали ни бомбами, ни динамитом; большинство их вышло из хороших семей и не знало за собой другой вины, кроме «хождения в народ». С этой целью они одевались в крестьянские платья и шли работать на фабрики, с тайною мыслью о пропаганде в среде трудящегося люда.

Все чаще, однако, дело ограничивалось посещением кабаков и базаров, произнесением революционных речей и раздачей брошюр крестьянам. Не знакомые с нравами народа и с самым его говором, пропагандисты осуществляли свою миссию так непрактично и неловко, что после первых же попыток «произвести брожение» между рабочими хозяева фабрик и кабатчики, нередко также сами крестьяне, выдавали их с головой полиции.

Как ни малы были достигнутые революционерами практические результаты, правительство тем не менее сочло нужным отнестись к ним с большой суровостью, в надежде положить сразу конец всякой дальнейшей пропаганде. Дан был приказ задерживать всех, кто только попадется в руки. Чтобы попасть в число заподозренных и подвергнуться аресту, достаточно было нарядиться в крестьянское платье. Схваченные препровождались в Петербург для следствия и суда. Хотя большинство их не знало друг друга, их объявляли тем не менее участниками общего дела. Так было и на этот раз. Начальство хотело одновременно поразить умы силою возмездия и строгостью правосудия. Правда, дело передано было на разбирательство не присяжным, а специальной судебной комиссии по назначению от правитель-

ства, но каждому из подсудимых предоставлено было право иметь своего адвоката, и процесс должен был разбираться при открытых дверях.

Правительство, повидимому, не сумело дать себе отчета в том, что в такой стране, как Россия, при громадности расстояния и отсутствии свободы печати политические процессы являются лучшим орудием пропаганды. Много молодых людей, разделявших одни убеждения с Верой, не нашли бы в течение ряда лет возможности «служить делу», если бы политические процессы по временам не указывали им на то, где искать «настоящих» нигилистов. Как общее правило, подсудимые вызывают живую симпатию в самых разнообразных кружках. Если непосредственно с ними нельзя иметь сношений, так как в большинстве случаев они сидят за запорами и решетками, то с их друзьями и родственниками сношения вполне свободны; им-то и спешат показать свои симпатии. Взаимное доверие устанавливается между сочувствующими и теми, в пользу кого высказывается сочувствие; один поддерживает и возбуждает другого. Неудивительно поэтому, что после каждого политического процесса повторяется то, о чем говорится в русских былинах: на смену одного богатыря выходят десять.

И Вера испытала на себе это влияние политических процессов. При первом известии о предстоящем суде она перестала думать обо всем другом. Каждый номер «Правительственного вестника» сделался для нее предметом внимательного изучения. Она знала наизусть не только имена подсудимых, но и их адвокатов и поспешила воспользоваться первым попавшимся случаем, чтобы завязать знакомство с семьями обвиняемых.

Таким образом открылось перед нею то широкое поле деятельности, о котором она мечтала. Семьдесят пять семейств, повергнутых в нищету и отчаяние арестом близких им людей, нуждались в ее участии. Она могла оказать им деятельную помощь, она могла «послужить делу»; и это же давало ей возможность сразу окунуться в среду людей, близких ей по чувству и убеждениям. Нечего и говорить, что всецело занятая своими новыми друзьями, она сразу оборвала и посещение курсов и свидания со мной. Если иногда она и забегала ко мне на минуту, то только чтобы воспользоваться моим содействием и оказать услугу дорогим для нее людям. То приходилось мне устраивать подписку в пользу той или другой из потерпевших семей, то пристроить оставшегося без призора ребенка, то убедить когонибудь из выдающихся адвокатов взять чью-либо защиту. Словом, Вера не жалела ни собственных, ни чужих трудов.

К концу апреля следствие было кончено и начались судебные заседания.

С шести часов плотная толпа теснилась у входа в суд. Только лица, снабженные билетами, могли проникнуть в зал заседания; остальные устраивались у входа в надежде поскорее узнать о результате. В половине девятого стали впускать публику, и мы внезапно очутились в обширном зале между двух шпалер жандармов, которые внимательно заглядывали нам в лицо, как бы желая проверить наше право иметь входные билеты.

Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться в том, что публика состоит из лиц двоякого рода. Одни пришли из любопытства, как на редкое зрелище. Это были большею частью люди хорошего общества, которым нетрудно было заручиться входными билетами. В их числе можно было видеть дам далеко не первой молодости, одетых в черное, как этого требует хороший тон. Многие держали в руках бинокли. Видимо, они боялись упустить малейшую подробность той драмы, которая должна была развернуться на их глазах. Их любопытство было так возбуждено, что в жертву ему они согласились принести и привычку позднего вставания и естественную боязнь всякого соприкосновения с толпой. Мужчины этой группы почти все имели вид сановный, кто в мундире, а кто только при звезде.

В первые минуты все как бы замерли в ожидании, но вскоре торжественная тишина была нарушена. Нашлись знакомые. Стали обмениваться поклонами. Любезность мужчин сказалась в желании уступить дамам лучшие места. Мало-помалу завязались разговоры, сперва шопотом, потом все громче и громче. Не происходи все это ранним утром среди голых стен и окон, на простых деревянных скамейках, можно было бы подумать, что находишься на светском собрании.

Наряду с этой группой зрителей была и другая. Ее составляли родственники и ближайшие друзья обвиняемых. Печальные похудевшие лица, старенькое платье, мрачное, тяжелое молчание, взоры, устремленные со страхом на дверь, из которой должны были показаться обвиняемые,— все в них говорит о горестной действительности, о близости жестокой развязки.

Ровно в десять часов раздается обычный возглас: «Суд идет!» В зал входят двенадцать сенаторов, все люди преклонного возраста, у которых на груди больше орденов, чем волос на голове. И все же можно приметить в их среде все категории русского сановничества. Рядом с надутым, самоуверенным, еще не закончившим своей карьеры государственным мужем бросается в глаза и одряхлевший старец с повисшей губой и полу-

потухшим взглядом. Не спеша, с некоторой торжественностью опускаются они в кресла.

И вот открывается вторая боковая дверь, и на этот раз в зал суда входят в сопровождении жандармов семьдесят пять обвиняемых. Странный вид имеют эти преступники. Изможденность их лиц стоит в резком противоречии с их молодостью. Старшему нет еще и тридцати лет, младшему едва минуло восемнадцать. Все они принарядились, у всех своего рода праздничный вид. Есть между ними и хорошенькие молодые девушки. Охватившее их волнение придает глазам лихорадочный блеск и покрывает болезненной краской щеки. Долгие месяцы провели эти молодые люди в полной разобщенности с остальным миром. И вот им суждено внезапно встретиться с близкими, узнать своих в пестрой толпе присутствующих. Неудержимая, почти детская радость рисуется на их лицах. Они, повидимому, забывают об ужасающей серьезности наступившей минуты, о близости приговора, приговора, который на многие, многие годы лишит их всякой житейской радости. Они в эту минуту не помнят ничего; они только смотрят друг на друга с радостью и умилением. Несмотря на сопротивление жандармов, многим удается пожать протянутые навстречу руки и переброситься парою слов. При виде их родственники и друзья не в силах овладеть собою: они бросаются к перегородке с радостными приветствиями. Я уверена, что никто из бывших в зале суда никогда не в состоянии будет забыть этой минуты.

Даже господа из высшего круга, давно потерявшие способность к сильным ощущениям, поддаются общему настроению. Их симпатии на минуту переносятся на подсудимых. Позже, когда они вернутся домой и время принесет успокоение их нервам, они не раз покраснеют при мысли о своем невольном увлечении, но в данную минуту они не владеют собою, и многие из этих почтенных дам машут платками при виде этих ужасных нигилистов. Но все это длится только минуту, и жандармам вскоре удается восстановить порядок и вернуть подсудимых на их места.

Разбирательство в полном ходу. Прокурор произносит обвинительную речь. Несмотря на важность выдвигаемых в ней фактов, подсудимые пропускают мимо ушей его красноречие. Они глядят друг на друга и пытаются передать каждый свои впечатления если не словами, то знаками. И как ни велико пережитое ими горе, как ни страшна ожидающая их участь, они в данную минуту вполне счастливы, точно победа осталась за ними.

Прокурор — человек молодой, желающий сделать быструю карьеру. Красноречие его поэтому оглушительно. Более двух часов рисует он перед судьями мрачную картину революционного движения в России. Он сортирует обвиняемых по группам и в каждом видит возможность установить новые подразделения, и все это он делает с такою же смелостью и быстротою, с какою ботаник классифицирует растения своего гербария по родам и видам. Против каждой категории он выдвигает особые обвинения, но ядовитейшие стрелы его красноречия направлены почти исключительно против пяти подсудимых. Из этих пяти двое — женщины: одна совсем молодая девушка с бледным продолговатым лицом, с мечтательными серо-голубыми глазами. Это дочь высокопоставленного чиновника. Товарищи называют ее «святой». Другая старше по возрасту, крепкого телосложения, повидимому, более грубой породы; ее широкое плоское лицо совсем некрасиво и носит отпечаток фанатизма и упрямства [1].

Из мужчин — один работник с интеллигентной наружностью, другой — школьный учитель со всеми признаками скоротечной чахотки, третий — студент-медик Павленков, родом еврей. Он особенно вызывает ненависть и негодование прокурора [2].

Раз заходит речь о Павленкове, прокурор не может сдержать своей ярости: он рисует его настоящим Мефистофелем. Прочие подсудимые, несомненно, все — народ очень вредный, утверждает он. Общество обязано устранить их в интересах собственной безопасности, но за ними все же надо признать смягчающие обстоятельства. Как бы нелепы ни были проповедуемые ими теории, они все же верят в них сами; но о Павленкове этого сказать нельзя. Для него революционная пропаганда только средство возвыситься самому и потопить других в грязи. Природа наделила его разумом свыше обыкновенного, но этим драгоценным даром он воспользовался только для того, чтобы повергнуть в бездну себя и других.

Следуя примеру своих французских собратий, прокурор описывает жизнь Павленкова, начиная с его ранней молодости. Он рисует его нам самолюбивым мальчишкой, растущим в среде бедных, не заслуживающих уважения, родителей. Им чужды были, утверждает он, всякие нравственные принципы. И, не имея их сами, они не в состоянии были привить детям то, без чего немыслима борьба с порочными инстинктами. Богатый еврей-негоциант, пораженный умом молодого Самуила, отдает его в школу; Самуил учится прилежно и с успехом, но учение не развивает в нем нравственных чувств. Получивши аттестат зре-

лости, он поступает в Медицинскую академию. Это был, очевидно, неожиданный успех для бедного еврейского мальчишки, братья и сестры которого, в рубище и о босу ногу, продолжают бегать по улице. Но вместо того, чтобы благодарить бога и благодетеля, Павленков поддерживает и развивает в себе то злобное чувство, которое вызвали в нем бедность и унижения детства. Им постепенно овладевает неукротимая ненависть ко всему и всем, кто стоит выше его; свой ум, свои способности он направляет на то, чтобы приобрести влияние на товарищей, вышедших из лучших, нежели он, семей. В душе своей он лелеет мысль, как бы приобщить их к своим преступным замыслам [1].

И в этом духе прокурор говорит безостановочно. Речь свою он заканчивает просьбой, чтобы суд покарал Павленкова со всею строгостью закона. К таким преступникам, как он, жалости быть не может.

Пока прокурор громил Павленкова, я внимательно следила за лицом обвиняемого. В известном смысле наружность его была интереснее всех остальных. Он казался старше и годами и опытом. В нем нельзя было найти и следа той детской наивности, какой дышали лица прочих обвиняемых. Это был брюнет с резкими еврейскими чертами. Глаза его поражали умом и красотою, но горькая саркастическая и вместе чувственная улыбка искажала его рот. Его красные толстые губы неприятно поражали своим контрастом с верхней частью лица, производившей тонкое впечатление. Подергивания лицевых мускулов и резкие движения рук обнаруживали его нервность. Один из всех подсудимых, он не обнаруживал ни малейшей радости при виде товарищей, и никакие влажные от слез взоры не встретили его при входе. Павленков внимательно следил за каждым словом прокурора и по временам делал заметки на бумаге, но никакое самое гневное обращение не выводило его из себя. И не будь нервных подергиваний на его лице, легко было бы принять его за равнодушного, хотя и внимательного зрителя, лично не заинтересованного в исходе дела.

После речи прокурора последовал перерыв в полтора часа. И зрители и обвиняемые оставили зал суда. Сенаторы и адвокаты поспешили заняться завтраком, а публика разбрелась по соседним ресторанам.

Но вот заседание вновь открыто, и на очередь выступают адвокаты. Не легкое дело быть защитником в политическом процессе. Правда, такой процесс отличное средство выдвинуться вперед, сделать себе имя. Но зато стоит только адвокату обнаружить в своей речи некоторый огонь и убеждение, и он сразу

попадает в категорию людей подозрительных. Еще многие помнят, как за красноречивой защитой следовала административная ссылка. Но к чести адвокатского сословия надо сказать, что в его среде всегда находились люди, достаточно великодушные, чтобы отдать себя в распоряжение обвиняемых без всякой даже надежды на вознаграждение. Так было и в данном случае. И на этот раз нашлись люди, охотно принявшие на себя неблагодарную ответственную роль защитников. Они и не думали о том, чтобы выгородить своих клиентов, отрицая всякое их участие в революционном движении. Они довольствовались тем, что рисовали в самом выгодном свете мотивы их действий; развивали смелые теории и нередко позволяли себе выражения, которые были бы немыслимы во всяком ином процессе, кроме политического.

Председатель суда не раз пробовал прерывать их. Но все усилия его были тщетны; минуту спустя они возвращались к прежнему и высказывали мысли еще более смелые и решительные.

Публика все более и более проникалась симпатией к обвиняемым. Люди светского круга, попавшие сюда из любопытства, с изумлением прислушивались к вещам, о которых дотоле им ни разу не приходилось и думать: их умственные силы были так же мало изощрены в этом направлении, как способности Веры в направлении противоположном. Подобно тому как Вера находила социализм единственным средством к решению всех вопросов, так точно эти люди принимали на веру, что все идеи нигилистов были своего рода сумасшествием.

Неудивительно поэтому, что, знакомясь с красноречивым изложением этих идей и видя, что эти страшные нигилисты далеко не те чудовища, каких рисовало их воображение, а несчастная, полная самоотвержения молодежь, новый мир предстал перед их глазами, и они не знали более, с каким чувством отнестись к обвиняемым. О прежнем презрительном и саркастическом отношении не было и помину. Постепенно накопившиеся в них симпатии грозили перейти в энтузиазм. Одни судьи продолжали обнаруживать обычную невозмутимость. Красноречие адвокатов мало их трогало. Им наперед даны были инструкции, и приговор их можно было предсказать. По временам только заметны были в них признаки усталости и апатии.

«Когда же настанет конец всему этому?» — как бы бормотали их уста.

Наступает вечер. Председатель закрывает заседание. В ближайшее утро возобновляются дебаты, и снова до ночи.

По окончании прений судьи удалились для постановки решения, но публика оставалась в зале. Часа два спустя они вернулись к своим местам, и председатель тихо и торжественно приступил к чтению приговора. Оно длилось около часу. Большинству подсудимых назначена была ссылка на поселение в Сибирь или в отдаленные губернии.

Одни упомянутые пять преступников присуждены были к каторге сроком от пяти до двадцати лет. Павленкову, как и можно было ожидать, назначена была высшая мера наказания [1].

В правительственных сферах приговор этот единогласно был признан снисходительным. Все ожидали более сурового решения.

Но не так думала собравшаяся в зале публика. Он пал на нее, как грубый, ошеломляющий удар. В течение недели она жила одною жизнью с обвиняемыми, она узнала каждого из них лично, проникла в сокровеннейшие стороны его прошлого. Трудно было ей поэтому отнестись равнодушно к их судьбе. Трудно было ей стать на ту точку зрения, на какую так часто становится читатель, узнающий, что какая-то неотвратимая беда обрушилась на плечи неизвестного ему лица.

Едва кончено было чтение, в зале воцарилась мертвая тишина, изредка прерываемая рыданиями.

Взгляды мои невольно устремились на Веру. Она стояла, держась за перила, бледная, как полотно, с широко раскрытыми глазами, с тем недоумевающим, почти экстатическим выражением, какое встречаешь на лицах мучеников.

Толпа стала расходиться медленно и безмолвно.

На дворе играла весна; вода стекала по крышам и спускалась вдоль тротуаров быстрыми ручейками. На смену миазмам врывался в грудь чистый свежий воздух. Все пережитое за эти дни казалось не более как кошмаром. Трудно было верить в действительность всего случившегося. Как в тумане рисовались облики этих двенадцати бессильных старцев, давно испытавших все радости жизни, теперь с спокойствием и довольством произнесших приговор, которым подкошено было в корне счастье и радость семидесяти пяти молодых существ. Это не могло не показаться всякому горькой иронией.

Прошло несколько недель. Вера не показывалась и ничем не напоминала о себе. Я с своей стороны собиралась навестить ее, но как-то все было недосуг.

Однажды в конце мая — были у меня в этот день гости за обедом, и мы только что встали из-за стола — вдруг открывается дверь гостиной и входит Вера. Только, боже мой! Как она изменилась! Я так и ахнула. Всю зиму проходила она в ка-

ком-то черном бесформенном балахоне, в монашеском подряснике, как в шутку называла я ее костюм, а сегодня внезапно явилась она в светлоголубом летнем платье, сшитом по моде и подпоясанном серебряным кавказским кушаком. Платье это удивительно шло к ней, и она казалась в нем помолодевшей лет на шесть. Но не в платье было все дело. Вид у Веры был сияющий, победоносный; на щеках играл румянец, темносиние глаза так и искрились, так и метали огоньки. Знала я, что Вера хороша собой, но что она красавица, не подозревала я доселе.

Большинство моих гостей видело ее впервые. Вход Веры в гостиную вызвал настоящую сенсацию. Не одни мужчины, но и дамы были поражены ее красотой и не успела она присесть, как ее окружили со всех сторон.

Прежде, когда Вере случалось зайти ко мне невзначай и встретить у меня кого-нибудь постороннего, она тотчас пряталась в угол и слова от нее нельзя было добиться. Дикарка по природе, она инстинктивно сторонилась всякого нового человека, особенно если подозревала, что не встретит в нем сочувствия к своим идеям. Но сегодня было совсем не то. Вера находилась в каком-то милостивом, любовном настроении; ко всем относилась приветливо и благосклонно. Казалось, что великая радость ключом кипит в ней и так переполняет ее существо, что изливается сама собою на все окружающее.

Прежде для Веры не было ничего неприятнее комплиментов, но сегодня она и их выслушивала спокойно, с несколько высокомерной грацией, отшучиваясь от них весело, бойко и так метко, что я только дивилась, смотря на нее. Откуда берется у нее все это? И светскость, и остроумие, и кокетство! Вот оно, что значит кровь! Думаешь, нигилистка, нигилистка, а тут глянь — светская барышня!

Это необычайное зрелище продолжалось, однако, недолго. Оживление Веры вдруг словно оборвалось. Говорливость ее исчезла, в глазах появилось скучающее, презрительное выражение.

— Скоро ли уйдут твои гости? Мне надо поговорить с тобой о серьезном,— шепнула она мне на ухо.

Гости, по счастью, стали расходиться.

— Что с тобой, Вера? Я не узнаю тебя,— спросила я ее, едва мы остались одни.

Вместо ответа Вера указала мне на четвертый палец своей левой руки, на котором я теперь только, к крайнему изумлению, приметила гладкое золотое кольцо.

— Вера, ты выходишь замуж? — воскликнула я с изумлением.

— Уже вышла! Сегодня в час пополудни была моя свадьба.

— Вера, да как же это? Где же твой муж? — спросила я растерянно.

Лицо Веры внезапно озарилось. Блаженная, восторженная улыбка заиграла на губах.

— Мой муж в крепости. Я вышла замуж за Павленкова.

— Что ты? Ведь ты же прежде не знала его! Где же вы успели познакомиться?

— Мы и не знакомились вовсе. Я видела его издали на процессе, а сегодня за четверть часа до свадьбы мы в первый раз обменялись несколькими словами.

— Так как же это, Вера? Что же это значит? — спросила я не понимая.— Влюбилась ты в него, что ли, с первого взгляда, как Юлия в Ромео; уж не в то ли время, когда прокурор разносил его на суде!

— Не говори пустяков,— строго перебила меня Вера,— о каком-нибудь влюблении нет тут и речи ни с той стороны, ни с другой. Я просто вышла за него замуж, потому что должна была выйти, потому что это было единственным средством спасти его.

Я молча вопросительно глядела на Веру.

Она уселась в углу дивана и стала рассказывать, не торопясь, и не волнуясь, словно речь шла о вещах совершенно простых и обыденных.

— Вот видишь ли, после суда я имела долгий разговор с адвокатами. Они все были того мнения, что дела остальных подсудимых, кроме Павленкова, далеко не плохи. Школьный учитель, конечно, умрет месяца через два или три, но ведь он во всяком случае не протянул бы долго, так как у него злая чахотка. Других же всех пошлют в Сибирь. Можно надеяться, что каждый, отбывший срок ссылки, вернется в Россию и опять примется за дело. Не то ожидало Павленкова. Ему действительно приходилось плохо, так плохо, что почти лучше было бы, если бы его приговорили к расстрелянию или виселице. По крайней мере разом был бы всему конец. А то мучайся целых двадцать лет в каторге!

— Ну что ж, Вера, мало ли кого приговаривают к каторге,— заметила я несмело.

— Да, но видишь ли, каторга-то бывает разная. Был бы он простым преступником, не политическим, не постарайся прокурор расписать его на славу, ну тогда другое дело! Послали бы его в Сибирь, и было бы в этом лишь полбеды. В Сибири тоже ведь люди живут. Да и «политических» теперь там так много,

что они — в своем роде сила; с ними и начальство принуждено бывает считаться. Теперь, если кого в Сибирь пошлют,— он почти и не горюет, знает, хоть и тяжко там будет, все когда-когда приведется и со своим братом единомышленником встретиться. Все не совсем еще отрезанный ломоть; надежда не покидает. Ну если кто очень в Сибири стоскуется, при счастьи ведь и бежать можно; немало ведь бегало из Сибири. У правительства есть острастка похуже ссылки.

Для политических преступников, преступников высшего разряда, для самых опасных существует Алексеевский равелин в Петропавловке. С кем правительство хочет вконец порешить, того оно посылает отбывать каторгу не в Сибирь, а в эту дьявольскую яму. Лежит она в самом Петербурге, на виду, так сказать, у высшего начальства. О попущениях, послаблениях и речи там быть не может. Одиночная система во всей ее строгости... Кто раз попал туда, все равно что заживо похоронен. Ни с другими заключенными видеться, ни писем от друзей получать, ни самому им вестей давать о себе не позволено. Исключен человек из списка живых, и все тут. Наше правительство, конечно, не очень церемонится, ну а все же больно уж часто смертные приговоры подписывать и ему зазорно; что за границей скажут? Ну вот и придумали этот Алексеевский равелин. Звучит оно лучше виселицы, а в результате то же. Сколько политических уже туда засадили, а и до сих пор не слыхать, чтоб хоть один оттуда вышел. Обыкновенно проходит несколько месяцев, много год-два, и извещают родных, что такой-то или такая-то благополучно преставились, сошли с ума или порешили с собой. Больше трех лет заключения в Алексеевском равелине, говорят, еще никто не вынес. И в эту-то яму проклятую предстояло попасть Павленкову.

Вера остановилась вся бледная от волнения. Голос ее дрожал и на длинных ресницах нависли слезы.

— Но как же ты-то могла спасти его?— спросила я с нетерпением.

— Погоди, узнаешь сейчас,— продолжала Вера, успокоившись несколько.— Как услышала я, какая судьба предстоит Павленкову, так мне его жаль стало, что и сказать нельзя. Днем ли, ночью из мыслей он у меня не выходит. Пошла я к его адвокату, спрашиваю: «Неужто уж так ничего и придумать нельзя?» — «Ничего,— говорит адвокат.— Будь он еще женат, тогда другое дело, была бы еще надежда! Ведь у нас по закону жена, если захочет, имеет право следовать за мужем на каторгу. Ну вот, будь у Павленкова жена, она могла бы подать прошение

государю, заявляя о своем желании следовать за ним в Сибирь, и государь, может быть, смилостивился бы, не захотел бы лишить ее законного права, но на беду Павленков холост...»

— Ты понимаешь,— продолжала Вера, опять впадая в деловой спокойный тон,— как услышала я эти слова, тотчас же мне стало ясно, чтó теперь надо делать. Надо просить государя о позволении повенчаться с Павленковым.

— Но Вера! — воскликнула я,— неужели ты не подумала о том, чтó для тебя самой будет значить такой шаг! Ты ведь не знаешь, что за человек Павленков, и стóит ли он такой жертвы.

Вера взглянула на меня строгим, изумленным взглядом.

— И ты это серьезно говоришь? — спросила она.— Неужели ты сама не понимаешь, что если бы я не сделала всего, решительно всего, что было в моей власти, я бы тоже стала участницей его гибели. Скажи мне по совести, если бы ты не была еще замужем, неужели ты не сделала бы того же?

— Нет, Вера, право не думаю, чтобы решилась,— ответила я чистосердечно.

Вера поглядела на меня пристально.

— Жаль мне тебя! — проговорила она в ответ и продолжала: — Во всяком случае мне было ясно, что мой долг — выйти за него замуж. Но как получить на это разрешение? Вот в чем была загвоздка [1].

ПИСЬМА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ

*

ПИСЬМА[1]

1. СОФИИ АДЕЛУНГ[2]

Вернэ-Монтрэ, 2/14 марта 1867 г.

Поздравляю тебя, дорогая Соня, с днем твоего рождения и желаю тебе много, много счастья. Я надеюсь, что посланные нами тебе мелочи понравятся тебе. Мама купила точно такую же пряжку для пояса Анюте и полагала, что тебе будет приятно носить то же, что и она, ты ведь так любишь мою сестру.

Я рада, что мы с тобой, дорогая Соня, скоро вновь увидимся и с нетерпением жду весны. Я надеюсь, что мы будем вместе много гулять; я теперь совсем не так ленива, как это было осенью; наоборот, я очень полюбила длительные прогулки. Как было бы весело, если бы вы могли одновременно с нами приехать в Баден!..

С тех пор как папа с Федей приехали сюда, прошло немногим больше трех недель, и они уже начинают скучать. Федя утверждает, что в Палибино гораздо веселее, чем здесь, и высказывает сильное желание, чтобы мы как можно скорее вернулись в Россию. Хотя я не могу сказать, что мне здесь скучно, тем не менее и я буду рада вновь увидеть родину.

Всю зиму я очень усердно изучала естественную историю; и теперь я продолжаю много заниматься, хотя много также гуляю. Недавно купила себе маленький микроскоп; он очень недурно увеличивает, так что вполне можно различить клетки цветов и кровяные тельца и т. д. Заниматься исследованием всех этих предметов очень интересно, в особенности в светлую погоду, когда видишь все гораздо яснее и ярче...

2. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

25 июля, Палибино [1868]

Надеюсь, что вы уже теперь в Петербурге, хороший Владимир Онуфриевич! [2] Без вас очень скучно в Палибине, но я много занимаюсь и надеюсь, что шесть недель пройдут себе как-нибудь. Мы с Анютой целый день сидим в своей комнате; я почти уже кончила первый лист переводов и повторила довольно много из химии, но больше всего занимаюсь математикой. Следовательно, не беспокойтесь, чтобы я обогнала вас в других предметах.

После вашего отъезда мы уже получили одно, сверхсчетное письмо от Жанны [3]; узнав о благополучном окончании сватовства, она тотчас же написала нам; но нового у нее ничего не случилось и о хороших людях [4] она не имела известий.

Вы можете себе представить, с каким нетерпением мы ожидаем теперь писем от вас, хороший брат [5]. Если в субботу или воскресенье вы поедете к Жанне, как собирались, то в будущую субботу мы уже узнаем об этом.

Как ваши дела? Воображаю себе, как вы, бедный, суетитесь теперь, чтобы наверстать потерянное время. Не забудьте написать, пришло ли ваше письмо во-время и вообще не случилось ли каких неприятностей. Без вас пришло два письма на ваше имя, которые мама отправит к вам сегодня. Уж не от Марьи ли Александровны [6] заграничное?

Не ленитесь писать нам. Мне позволили писать вам даже без цензуры [7]. Каково? Но я не знаю, будут ли читать ваши письма; во всяком случае я сама буду открывать их, поэтому приложите P. S.

С отцом мы видимся только за обедом и ужином, и эти краткие свидания проходят в том, что отпускаем друг другу колкости; впрочем я больше отмалчиваюсь.

Отъезд мамы и Анюты в Петербург решен на 11-е. До тех пор Жанна уж верно устроит у вас хоть одно свиданье с П. Тк., так что и вам придется с ним познакомиться. Я бы ужасно хотела знать, как вы его найдете [8].

Нового у нас не случилось ничего; впрочем, случилось большое горе, а именно наш прелестный, огромный красный червяк погрыз картонную коробку, в которую мы его посадили, и скрылся; эта потеря тем еще чувствительнее, что в коробке мы нашли много желтой паутины, так что, вероятно, он уже собирался превращаться в куколку. Аквариум наш в жалком состоя-

нии; особенно много развелось этих белых, гадких червяков; почти только они одни еще и остались в живых. Друзья благоденствуют. Единственный друг здоров. В болоте за садом кричит болотная курица; вот вам все наши новости.

Крепко, крепко жму вашу руку, хороший, дорогой брат! Анюта хочет приписать вам несколько слов; она читает теперь «Little Dorrit» [1] и жалеет, что мы лучше это не выбрали, чтобы читать с вами; я теперь не читаю романы, а оставляю их для дней моего уединения, т. е. когда Анюта будет в Петербурге.

Не забывайте и пишите.

Сестра ваша Софья Крюковская.

Принялись ли вы уже за изучение баденских и штутгардтских окрестностей? [2]. Не теряйте времени. Мне сегодня надо писать еще послание тетушке и дяде Феде.

Знаете ли, какая интересная личность живет в Невеле и ужасно жалела, что вас не видела? Как бы думали? — ваша кормилица, и рассказывала, что никогда ей не приходилось видеть такого плаксивого ребенка, как вы. Она, верно, захочет поглядеть на вас в сентябре. Вы непременно должны узнать ее и тем поддержать втентичность * ваших ранних воспоминаний.

Прощайте.

Мама ужасно беспокоилась о какой-то банке варенья, которую Степан из excès de zêle ** сунул вам в мешок, и поручила мне спросить вас, не случилось ли у вас в мешке плачевной каши.

Вот я и всю страницу исписала, Анюте и места не осталось; впрочем интересного и не было ничего писать. Поэтому кланяюсь вам от ее имени и уж окончательно и в последний раз прощаюсь сама.

3. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [3]

[Палибино] 1 августа. Четверг [1868]

Ваше письмо, хороший брат, очень нас обрадовало, тем более, что мы его совсем не ожидали. В тот же день мы, само собой разумеется, получили также письмо от Жанны, но о нем я не стану писать вам, так как до сих пор вы уже, верно, виделись с ней и хорошенько переговорили. Я вам сказать не могу,

* Втентичность, аутентичность — подлинность, достоверность.
** Избыток усердия.

с каким нетерпением ждем теперешней субботы; я только боюсь, что вы не могли быть в Петергофе раньше вторника или среды, поэтому письмо ваше отправили только в четверг, и мы, таким образом, совсем не получим его эту неделю.

Я думаю, что Марья Александровна, если не приехала, то верно на-днях приедет в Петербург. А что ваш брат? Вам никак не удастся уговорить его остаться до нашей свадьбы? [1] Пишите обо всем этом подробно, но главный интерес теперь для нас, разумеется, в хороших людях или, как вы их называете, консервах. Это слово напоминает мне, что письма ваши попадают теперь прямо в мои руки, и отец даже не просит показать их ему, а мать ограничилась тем, что я прочла ей его вслух, выпуская двусмысленные места. Покуда я писала это, я вспомнила еще что-то, но так как это глупость и касается чего-то совсем другого, то не напишу теперь, а скажу при случае.

У нас с вашего отъезда ровно ничего не случилось. Анюта и мама выезжают через десять дней, т. е. как и было решено 11-го. Мама останется в Петербурге немного дольше двух недель, но Анюту, по всей вероятности, оставят в Павловске до самой свадьбы. В это время почти что необходимо подыскать годный консерв для нее, потому что, вероятно, отъездом в Петербург родные торопиться не будут и протянут до самой зимы; и было бы очень желательно, чтобы она могла рассчитывать уж на что-либо верное.

Впрочем, я напрасно пишу все это. Через десять дней вы сами гораздо лучше переговорите об этом. Я учусь довольно много; особенно занимаюсь математикой и хотя мне приходится иногда жалеть, что некому объяснить мне темные места, но все-таки я кое-как подвигаюсь.

Я перевожу теперь второй лист Дарвина [2], и надеюсь прислать вам с Анютой три первых листа. Недавно нашла я у себя в кармане письмо вашего английского корреспондента об издании библии. Я боюсь, не нужно ли оно вам; если так, то напишите и я перешлю его. Жаль, что я не знаю, что надо ответить на него, а то написала бы за вас. Что ваши дела? Я надеюсь, что приезд Марьи Александровны, вашего брата, Ивана Михайловича и т. д., развлечет вас немножко от них и не допустит вас до «мрачного отчаяния» [3].

Не знаю, что еще писать вам. С родными мы находимся в полном ладу, т. е. совсем не разговариваем и по возможности меньше видимся; это у нас род обоюдного соглашения, и я убеждена, что отцу оно столько же нравится, сколько и нам.

С. В. КОРВИН-КРУКОВСКАЯ
(с фотографии 1867 г.)

Вообще за занятиями время проходит довольно скоро; через десять дней мне будет, разумеется, гораздо скучнее, но я боюсь только одного, а именно (ваше любимое слово в переводах), чтобы на отца со скуки не нашел нежный стих; остальное же все будет отлично, т. е. я так буду учиться, что перегоню одну известную мне особу.

Я непременно рассчитываю застать еще Марью Александровну. Не забудьте при случае замолвить несколько словечек за Гейдельберг. Я рассчитываю на ваше красноречие так же, как на зиму в Цюрихе. Нет ли известий о Сусловой? [1]

Как вы нашли Жанну и что ее здоровье? Когда произойдет свидание с интересными личностями, т. е. когда вы увидитесь с ними? Вот вам сколько вопросов, славный, хороший брат наш.

Пожалуйста, пишите скорее, поменьше волнуйтесь делами и кончайте их скорее. Я бы ужасно хотела видеться с вами поскорее, и мне иногда очень скучно без вас. Я ужасно много думаю о зиме и буду не менее вас счастлива, когда вы бросите все эти дела, и мы вместе возьмемся за хорошее ученье.

Прощайте. Анюта и я крепко жмем вашу руку. Ваша сестра С. Крюковская.

Если в эту субботу не будет письма, то мы до следующей будем злиться и непременно вообразим себе, что вы сбежали.

4. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

Палибино, 8 августа [1868]

Из вашего письма я вижу, хороший брат, что время вы не теряете и много успели сделать в эти три недели. Я очень рада, что вы уже взяли квартиру [3]; вообще меня очень радует все, что сколько-нибудь относится к нашему будущему житью. Я вам сказать не могу, с каким нетерпением ожидаю сентября месяца; впрочем, я надеюсь, что и август не пройдет даром; я бы так хотела, чтобы поскорее решилась судьба сестер [4], это будет ужасно досадно, если теперь, т. е. до сентября, еще ровно ничего для них не устроится.

У нас все по-старому. Мы считаем дни от субботы до субботы, так что с вашего отъезда для нас прошло два дня, третий кончается.

В воскресенье выезжают Анюта и мама; я буду очень рада, когда уж они выедут; не говоря о том, что я буду рада, что Анюта в Петербурге, но мне самой будет приятно думать, что первая часть моего последнего заточения, как мы в шутку называем это с Анютой, прошла, и можно прямо считать дни до

освобождения. Я собираюсь завести себе паука, как один итальянский физик, о котором я читала вчера трогательную историю в «All the year round» *; или же буду изливать мою нежность на щуку в нашем аквариуме, которая, между прочим, жива и здорова.

Я пишу вам все эти глупости, потому что о серьезном вы переговорите с Анютой во вторник; к тому же я в настоящую минуту очень устала, потому что весь день училась, а письмо должно быть готово сегодня же. Помните, как мы бывало торопились по четвергам? Я всегда, когда получаю ваше письмо, жалею, что некому писать для вас адрес. Чтобы поправить ваш почерк, советую вам писать — побольше и почаще, разумеется, ко мне.

Я перешлю вам с Анютой первые два листа переводов; я боюсь, что вы будете поражены, как мало я делаю успехов; впрочем, я и сама их много перечеркала.

Прощайте, милый, хороший брат. Пишите обо всем подробно.

Крепко жму вашу руку. Софья Крюковская[1].

8 августа

Если только ничто непредвиденное не задержит нас дома или на дороге, то мы выедем, как уже и было решено, 11-го, т. е. в воскресенье утром рано, чтобы поспеть к 5-часовому поезду в Витебск и таким образом будем в Петербурге во вторник в 12 часов пополудни или около того. Мы остановимся, как вам также известно, на пустой квартире тетушек на Васильевском острове в 1-й линии. Неправда ли, вы постараетесь тотчас же притти? Я пишу то же самое Жанне, чтобы она также приехала в город во вторник, так что мы проведем вместе первый день. На следующий же мы отправляемся в Павловск, где какое-то семейное празднество.

Я теперь не пишу вам ничего больше, переговорим при свидании, которого теперь не долго ждать.

Итак, до свидания, добрый наш друг. Преданная вам Анна Круковская[2].

5. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ[3]

Палибино. Четверг [Август 1868]

Милая моя, дорогая, бесценная, лучшая Анюта! Вчера (середу) имела я неожиданное счастье получить твое письмо; зна-

* Круглый год.

ешь ли, что оно целый переворот во мне совершило! Странное дело! Мы в самом деле живем как будто одною жизнью с тобой. Я здесь в Палибине решительно ощущаю как бы отголосок каждого твоего чувства. Вчера, читая твое письмо, на меня находило ужасно странное чувство, как будто я просто делаюсь одним человеком с тобою и понимаю каждое твое ощущение гораздо больше, чем было в письме; никогда еще не сознавала я в такой степени, как нужны мы друг для друга и какая неразрывная связь между нами.

Милая бесценная сестра; что бы ни было с нами, как бы ни опошлялась и ни подшучивала судьба, но, покуда мы вдвоем, мы сильнее и крепче всего на свете — в этом я твердо убеждена.

Для меня это время было не очень веселое, само собой разумеется, но знаешь ли, я право рада, что не поехала в Петербург. Я очень много, и главное, регулярно занимаюсь и не скучала ни одной минуты. По вечерам, когда, уставши учиться, я начала расхаживать по комнате, на меня даже находили минуты восторга. Странное дело, хотя для меня лично все кажется хорошо и верно устраивается, но никогда еще не чувствовала я так сильно нашего зловещего фатума и необходимости *аскетизма*. Не знаю, от страха ли за тебя или от усиленных занятий и одиночества, но страхи мои и мрачные предчувствия так сильны, что мне по временам трудно убедить себя, что это один вздор.

Милая, милая, бесценная Анюта, ты положительно необходима для меня. Наша дружба с тобой может и *должна* доставить нам довольно счастья для всей нашей жизни; и это даже не аскетизм — не желать и не искать другого счастья. Это напоминает мне стих из Гейне.

> Исходил я все страны земные,
> Чтобы дома найти, что так жадно искал.

Сегодня для меня грустный и тревожный день, и только письмо твое поддерживает меня. Вот видишь, я *убеждена*, что известие о карете задержит маму и брата в Петербурге [1]; я приготовилась, или, лучше сказать, старалась, насколько могла, приготовить себя еще к целой неделе уединения, но все-таки ты знаешь сама, как обманываешь себя в подобных случаях; и чем больше я убеждаю себя, что брат не может приехать завтра, что и ожидать его нелепо, тем больше вздрагиваю от каждого шороха и тем трудней мне находить какой-нибудь интерес в обычных занятиях.

Согласись, не обидную ли штуку сыграла со мной судьба; если бы не эти последние, такие положительные известия, что мама приедет завтра в пятницу, я бы и не ждала ее, и терпенья у меня хватило бы еще пожалуй на месяц; теперь же, хотя я и знаю, что все эти новости ровно ничего не значат, так как вы еще не знали тогда про карету, но все таки... Словом, мне очень сдается, что завтра, да и после завтра, да и вплоть до вашего приезда исследование кривых будет казаться мне без всякого интереса, а связь между синусами, логарифмами и воображаемыми количествами совершенно нелепою.

Милая, милая Анютка, я знаю, что все это очень, очень малодушно, и, право, я стараюсь убедить себя в этом, но меня очень облегчает поделиться с тобой моим горем; а ты, когда получишь это письмо, то знай, что я уже облагоразумилась; к тому же тогда уж и не до того будет. О, как досадно мне, что вы не отложили вашей поездки до после моей свадьбы, тогда все было бы иначе! Но ведь, оставляя в стороне у ж а с н у ю скуку, которую тебе придется вынести в Палибино и которой я вполне знаю цену, право, право я убеждена, что мне удастся устроить для тебя что-нибудь верное и положительное. Как раскаиваюсь я теперь, что мы прежде упускали это из виду, и главное, не довольно принимали в соображение, что даже на время не следует нам отделяться друг от друга.

Бесценная моя, вчера я так намечталась об аскетизме, что мне казалось, да и теперь кажется, верхом нелепости, нелогичности и трусости для нас с тобой бояться чего-нибудь на свете, пока мы с тобой так уверены друг в друге; сегодня же я волнуюсь и бешусь и злюсь, думая о завтрашнем дне. Строгий, суровый, полный аскетизм — это совсем другое дело, чем мелкие, бесцельные неприятности и разочарования. Меня же судьба как нарочно поддразнивает и подзадоривает; я уверяю тебя, что находила даже некоторую прелесть в моем полном уединении и день всегда проходил незаметно — от математики к физиологии, от физиологии к химии, от химии к переводам, и все это аккуратно, по часам; в награду же и в развлечение — час в день «Litlle Dorrit».

Но когда я бывала поутру тупа, ленива или непонятлива, то оставляла себя без этого последнего блюда. Словом, я вела себя так, как будто надо мною постоянно бдительный взор Маргариты Франц[евны]. Теперь же конец этим невинным удовольствиям!

Когда я думаю об аскетизме, мне всегда представляется маленькая, очень бедная комнатка в Гейдельберге, очень трудная

серьезная работа, общества никакого, я живу одна, с братом уж это не аскетизм, а счастье. Аскетизм весь в том, что я о д н а; два раза в неделю получаю письма от Анюты, которая с своей стороны о ч е н ь занята, но на будущую зиму собирается перебраться также в Гейдельберг, т[ак] к[ак] ей необходимо быть в России только летом. Она привезет с собой несколько других барышень, которых развила и освободила, но которые все далеко не подходят к нам и для нас л и ч н о не могут быть ничем.

Я готовлюсь к экзамену, пишу диссертацию. Анюта приводит в порядок свои путевые заметки; потом я занимаюсь самостоятельно, еще позднее мы вместе устраиваем колонию, я еду в Сибирь. Нахожу там пропасть трудностей, разочарований, но п о л ь з у н е п р е м е н н о могу принести. Анюта пишет замечательное сочинение; мне удается сделать открытие; мы устраиваем женскую, мужскую гимназию; у меня свой физический кабинет. Медициной я теперь перестаю заниматься, занимаюсь физикой или приложением математики к политической экономии и статистике (это ad libitum *). Возле нас целая семья наших protégés.

У нас всех троих [1] седые волосы, но по старой памяти меня сестры величают ребенком, и Анюта бранится за калоши (я н и р а з у не вышла в сад без них, даже на террасу без них не спустилась). Когда я делаю открытия, а Анюта пишет свои прекрасные сочинения, мы действительно моложе самых юных из наших воспитанниц. Ну чем эта жизнь не блаженство, а ведь это с а м а я аскетическая жизнь, которую я могла придумать, и она зависит только и исключительно от нас д в о и х; я нарочно отстраняю в мечтах даже Жанну и милого, хорошего, славного брата; присоедини же их, и что это выйдет за жизнь! Для меня т о л ь к о трудно жить одной; мне н е п р е м е н н о надо иметь кого-нибудь, чтобы каждый день любить, ведь ты знаешь, какая я собачонка.

Моя милая, милая дорогая; я так увлеклась, писавши тебе, что и забыла о своей тоске, которая сильно обуревала меня, когда я начала писать. Вчера тоже нашло на меня мрачное расположение духа, п р е д ч у в с т в и я, но я развеселилась, вспомнив о «время, бремя».

Я думаю, мои предчувствия не умнее этого, а ты как полагаешь?

Ну, недельку потерплю и все-таки, может быть, корень квадратный из — 1 пересилит даже и разочарование.

---

* По *желанию.*

Прощай, чтобы показать, что совсем не жду завтра брата, прилагаю письмо к маме. Очень поклонись от меня брату, если он в Петербурге. Твоя на веки Софа.

6. Е. Ф. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ [1]

[Палибино]. Воскресенье [Август 1868]

Милая мама!

Пишу тебе на скорую руку, чтобы сказать, что вчера получила все ваши письма. Сегодня папа уже писал тебе, что, к несчастью, наша карета, по всей вероятности, сгорела, но мы надеемся, что это не задержит вас; папа говорит, что по приезде в Витебск вы почти наверное достанете на прокат экипаж в гостинице Гинсбурга или Шмеллинга как для себя, так и для последующей компании. Нечего говорить, с каким нетерпением жду вас. Благодарю тебя, моя дорогая мама, за все твои хлопоты. Крепко целую тебя. Приезжай скорей. Твоя покорная дочь Софа.

В случае, если бы не было удобных экипажей, то папа уже просил помощника почтмейстера Врублевского дать вам дилижанс.

7. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

Четверг [Палибино, 15 августа 1868]

Дорогой мой брат! В настоящую минуту я, кажется, вижу вас мысленно в Павловске, окруженного вереницей тетушек, бабушек etc., но так как с вами Анюта, которая уже верно спасает вас по мере сил, то вовсе вас не жалею, а скорее желала бы быть на месте, хоть, напр., tante Amélie *. Вчера я, разумеется, также была с вами целый день; но все же попрошу вас описать мне его подробно; вообще, пожалуйста, не ленитесь и пишите; ваши письма дойдут до меня всего безопаснее. Я сейчас опять перечитала ваше последнее письмо.

Меня ужасно злит недоверчивость Сеченова к нашим проектам [3]; что за нелепый человек! Но мы докажем этим практичным людям, насколько мы действительно практичнее их и как много хорошего они теряют по своей трусости и резонерству.

Но хорошие известия о двух докторах [4] помирили меня со всем. Пожалуйста, мой милый, хороший, славный брат, познакомьтесь с ними поскорее. Видите ли, оно очень необходимо,

* Тетушки Амелии.

чтобы Анюта виделась с ними официально теперь, до сентября, и я сейчас объясню вам почему: если она увидит их теперь раза два, три, то тотчас же начнет восхвалять их матери, а мать сейчас обрадуется, что и с этой стороны романтизмом веет, и в октябре отпустит ее гораздо охотнее к нам.

Вообще пожалуйста, дорогой мой брат, поговорите с Анютой серьезно (я не пишу ей об этом, боясь, что письмо попадется

ИЗ ПИСЬМА С. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ

маме) и решите, как лучше — торопить ли свадьбой или подождать, пока что-нибудь успеет здесь, т. е. у вас, устроиться.

Что значит ваше: «я теперь не могу очень много заниматься»? Совсем не могу было бы я думаю, более у места, да?

Ваше известие об открытии Германа совсем меня не огорчает, а напротив. Пускай плачут те, знаменитость которых была построена на мышечном токе, а нам какое дело? Теперь нам и время учиться и придумать что-либо взамен мышечного тока. Знаете, в мутной воде рыбу удить.

Но скажите, пожалуйста, что это за грустное опасение, что нас не пустят в Гейдельберг? Ведь это будет очень гадко! Я так привыкла к мысли о Гейдельберге, что для меня это будет настоящим ударом. Но мы все-таки попытаемся, неправда ли?

Мне кажется, что Сеченов каркает, как ворона, и только предсказывает нам всякие гадости просто из зависти.

Пожалуйста, не верьте ему, мой хороший брат. Вы увидите, как хорошо это у нас все пойдет, и Марью Александровну еще к нам перетащим, а Сеченова женим на Анюте или на Лермонтовой или на другой, но от судьбы ему не уйти.

Я опять начинаю писать глупости, а собираюсь настрочить вам очень дельное и разумное послание. Но я целый день занимаюсь так серьезно, что рада поболтать и глупости. Вы не беспокойтесь, что я очень обгоню вас; я бо́льшую часть дня занимаюсь математикой; во-первых, потому что потом не могу буду ею так много заниматься, а во-вторых, потому, что в настоящую минуту она одна в состоянии отвести на время мои мысли от Петербурга и заставить забыть о существовании всяких консервов, планов, свадеб etc.

Что ваш брат? Неужели и сидит так в этом городишке? Разве вы не могли [1] au hasard * послать ему телеграмму, прося его повторить адрес? Удержите его до свадьбы, пожалуйста. Мне очень хотелось бы его видеть. О шаферах не беспокойтесь [2]. Мы уж отыщем здесь каких-нибудь молодцов.

Сегодня я сижу и злюсь; впрочем, по правде сказать, злюсь несправедливо. Вот видите, у нас сегодня случай из Невеля, и мне ужасно досадно, что я не могу иметь надежду получить письма. Я ужасно боюсь, что вы теперь все начнете надеяться один на другого; вы на Анюту, Анюта на Жанну, Жанна на вас, и я останусь без писем. А теперь у нас будет гораздо чаще случай из города, так как сам отец начнет заботиться об этом. Он очень скучает без матери и, разумеется, j'en paye les pots cassés **.

Отдала ли вам Анюта мои переводы? Напишите, если найдете какие-нибудь особенно conspicuous *** ошибки!

Прощайте, мой хороший, славный брат. Крепко жму вашу руку.

Пожалуйста, употребляйте время с возможно наибольшею пользою. У меня терпения хватит до 10-го августа включительно; при сильной необходимости дотяну до 15-го, а если очень нужно до 17-го; затем начну торговаться за каждый день, как кощей, ожидающий братьев; вы знаете эту сказку?

Прощайте. Не забывайте и пишите.

Преданная вам Софья Крюковская.

---

* Наудачу.

** Я расплачиваюсь за это.

*** Заметные.

Вы можете писать все совершенно безопасно. Если уж очень хотите быть осторожным, то только на место имен Анюты и Жанны, описывая их проделки, ставьте какие-нибудь другие имена.

8. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ [1]

Палибино [*Август 1868*]

Моя милая, бесценная Анюта!

Вчера зараз получила я четыре письма от вас, мои неоценимые, чудные, хорошие, дорогие. Я не могу сказать тебе, как я была счастлива и как совестно было мне читать твои письма, моя лучшая, на которые я, разумеется, сперва набросилась. Я бы ужасно много хотела сказать тебе, но имею время лишь для двух строк. Благодарю тебя за твой дневник. Моя голубка дорогая, мысль о тебе и о твоем будущем одиночестве не оставляет меня ни на минуту. Как мне совестно, что я встревожила тебя моей скукой, но я, право, была нездорова тогда; теперь же совершенно здорова, очень благоразумна, не чересчур занимаюсь и постоянно думаю о тебе и о твоих наставлениях.

Пожалуйста, не отчаивайся, моя чудная сестренка. Если бы даже и ничего ты не сделала в это время, то я убеждена, что буду счастливее тебя, когда приеду в Петербург. Крепись, моя чудная девочка. Не имею времени больше ни одной минутки. Поцелуй Жанну, я и перед ней виновата, потому что, не получив от нее письма в прошлую субботу, очень на нее озлилась.

Твоя преданная всей душой сестра Софа.

Воскресенье.

Хотя карета и сгорела, но все-таки уговори маму и брата ехать скорее. Они наверное найдут экипаж в Витебске.

9. Е. Ф. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ [2]

[*Палибино, август 1868*]

Милая мамочка!

Мне очень, очень жаль, что вы опоздали. Я ужасно прождала вас весь день, и ты можешь себе представить, какое это было для меня разочарование. Это тем более досадно, что, по

новейшим известиям, карета, может быть, и цела, так как все экипажи Дуве спасены. Пожалуйста, приезжай поскорее.

Не забудь, сделай одолжение, то, что я просила тебя в последнем письме на счет подарков для всех людей; привези также, сделай милость, что-нибудь для Наташи Николаевской и безделушки для детей того и этого двора. Полуцкой до сих пор еще опасно болен; другие больные поправились.

Прощай. Твоя покорная дочь Софа.

10. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ[1]

Палибино. Четверг [Август 1868]

Мой хороший, славный брат. Мне кажется, что уже бог весть как долго я не видела вас и не получала ни от кого из вас известий; время идет довольно тихо; хотя и не даю себе скучать и хотя мысль о развязке и о будущем нашем хорошем житье и о всех наших планах совершенно была бы достаточна, чтобы подкрепить меня на много, много недель. Из вашего последнего письма я вижу, что вы решительно собираетесь меня избаловать и хотя, по правде, это должно было бы встревожить меня, но я утешаю себя тем, что вам же первому будет хуже, если я стану дрянной, избалованной, никуда не годной девчонкой.

Это ужасно гадко, что вы не прислали мне Гофмана; мысль о двухобъемности газов не дает мне покоя; зато я превосходно поняла, как измеряют газы (помните ту главу в Roscoe, которую мы никак не могли одолеть с вами). Я также поняла устройство офтальмоскопа и к вашему приезду буду хорошо знать глаз; но, право, право, я не много занимаюсь химией и физиологией — всего два несчастных часа в день. Вообще, каждый час отдельно проходит очень скоро, и только в общей сложности время кажется долгим.

Я целый день сижу одна; отец, кажется, убедился, что от меня развлечения мало, и теперь оставляет в покое. Когда я буду наверное знать время вашего приезда, то буду ждать еще гораздо терпеливее; впрочем, я уже заранее стараюсь приготовить себя к самому позднейшему сроку, который только возможно благоразумно допустить.

Вот будет счастливый день, когда я сяду писать вам последнее письмо из Палибина! Вообще я ужасно счастлива, когда думаю о зиме и о том, как хорошо мы устроимся.

Мой хороший, славный, милый брат, я, право, не думала, что когда-либо подружусь с кем-либо так хорошо и крепко, как с вами! Одно только немного беспокоит меня, это то, что Анюте придется прожить здесь еще целый месяц после того, как я уеду. Я наверное знаю, что она будет очень скучать и ей будет очень тяжело. Поговорите с ней, пожалуйста, об этом серьезно и если увидите, что это очень страшит ее, то не торопите развязкой, чтобы она осталась подольше в Петербурге. Видите ли, я очень хорошо знаю, что месяц проходит очень скоро и поскучать немного не важность, но все-таки. Словом, пожалуйста, мой милый, славный брат, устройте все с Анютой к лучшему.

У меня это время разболелись глаза, я прикладываю компрессы из холодного чая и жалела, что некому впустить за меня лимонного сока в глаз. У нас в окрестностях ужасно много больных, как всегда бывает осенью; каждый день ко мне приходят иногда до десяти человек за лекарствами; я читаю лечебник и злюсь, что еще не доктор. Вообще я думаю, что у меня может со временем развиться страсть лечить.

Моя утешительница щука скончалась и, увы, самым плачевным и непочетным образом; у меня живет теперь м е д в е д к а, но от нее радости не много.

Я усердно перевожу Дарвина; не знаю, почему я себе вбила в голову, что вы приедете именно в то время, как я буду кончать последнюю страницу; но, кажется, я приложила к этому un excès de zêle * и кончу гораздо раньше. Перевод мой немецких стихов я нашла, но те две строки никак не могу разобрать; пожалуйста, одолеемте их уж общими силами.

Что ваш брат? Я ужасно буду рада, если мне удастся познакомиться с ним.

Не знаете ли, вернулся ли Страннолюбский? Вы и не воображайте себе, что вам удастся избежать математики; если вы и льстили себя этой надеждой, то бросьте ее. Вообще, мой бедный, бедный Владимир Онуфриевич, вам придется вести тяжелую жизнь, и я вас от души жалею.

Прощайте, или, лучше, до свиданья, мой дорогой, славный и хороший друг. Не забывайте вашу маленькую сестру; пишите почаще, поподробнее и приезжайте как только можно скорее. Крепко жму вашу славную руку.

Ваша сестра С о ф ь я Крюковская.

---

* Избыток усердия.

В. О. КОВАЛЕВСКИЙ
(с фотографии конца 1860-х годов)

11. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ [1]

[Палибино. Начало сентября 1868]

Милая бесценная Анюта моя!

Вчера имела я радость получить твое последнее письмо из Петербурга и сегодня хочу написать тебе несколько строк, так как они все-таки дойдут до тебя [за] день до нашего свиданья, которого я жду с самым невыразимым нетерпением. Вчера, получив твое письмо и хорошенько потолковав с милым братом, мы решили отложить нашу свадьбу до 15-го. Сама посуди, 4 дня не составляют ни малейшей разницы для моего ученья, но мне очень важно провести четыре лишних дня с тобою и нашею бесценною Жанною. Я тотчас же хотела сказать это маме, но брат советует не говорить до твоего приезда, так как иначе будет казаться, что мы поссорились с ним; когда же ты приедешь, то будет очень естественно, что я расчувствовалась, увидав тебя. Я согласилась на это, так как в мамином желанье удержать меня подольше и сомневаться нельзя.

Хотя ты и запретила мне читать письмо брата, да я и без того не прочитала бы его, но я не утерпела и рассказала ему разговор твой с Марьей Александровной. Сделай одолжение, не воображай себе, что брат обиделся тем, что ты пишешь о Боковой; он любит тебя гораздо больше ее и говорит, что придет в положительное негодование, если она не согласится; при ее же согласии дело с Сеченовым непременно устроится [2].

Мы вчера весь вечер толковали о тебе, моя чудная сестра. Нас обоих очень огорчило твое письмо, уж про меня, конечно, и говорить нечего, но и брат очень был тронут им. Чудная, милая, лучшая и единственная Анюта, ради Христа не грусти, подумай сама, нам достанется быть в разлуке только один месяц, от 15 сентября до 15 октября, и бóльшую часть этого месяца ты проведешь с бесценною Жанною. 15 же октября брат непременно приедет за тобой, это так же верно, как что он увезет меня 15 сент[ября].

Родные д о л ж н ы отпустить тебя; если ты не уломаешь их на это, то вина будет твоя; в крайнем случае брат увезет тебя просто силой. В это же время мы непременно устроим что-нибудь в Петербурге.

[...] Сеченов [...] должен представить своих докторов, а, пожалуй, с ними и лучше еще будет; подумай сама, Сеченов и Марья Александровна хоть и не герои, но все-таки очень хоро-

шие люди, и нельзя представить себе, чтобы они решительно не приняли участия в нас, особенно когда мы, так сказать, будем их людьми; хотя брат вовсе не их человек[1], а несравненно больше наш.

А что брат употребит все усилия, чтобы пристроить тебя, то в этом, Анюта, я думаю, ты сама уверена. Чудная, дорогая, хорошая Анюта. Как я жажду видеть тебя. Я много бы много хотела сказать тебе, но в письме все не так выходит. Ты мне положительно необходима, без тебя я в постоянном страхе, что испорчусь или вообще совращусь с нашего тесного, аскетического, единственного верного пути. Ты понимаешь, что я хочу сказать, и не читай этого Жанне, она не так поймет. Я с истинным сумасшествием жду тебя; очень вероятно, что ты увидишь во мне много несовершенства и слабостей, которых я сама, как ни стараюсь, но не умею замечать в себе.

Духовная моя мама, помни, что ты же избаловала меня и что твоя вина, если я теперь уж не могу обойтись без тебя. Я запаслась в этот месяц духом кротости, терпения и смиренномудрия и, как это ни стыдно, готова to kiss the rod that governs me *.

Я себя не помню от радости, когда думаю, что через трое суток увижу тебя! Не читай этой последней страницы Жанне, я лучше сама напишу ей несколько строк.

Прощай, моя лучшая, чудная Анюта; брат крепко жмет тебе руку; он теперь fait sa sieste ** и почивает. Мы читаем с ним физику и мечтаем, как будем учиться зимой и устроим также лекции для всех юных неофиток.

До свидания. Люби меня крепке, крепче, и помни, что другой Софы у тебя никогда не будет. А Софа навсегда останется твоей нераздельною собственностью.

12. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ[2]

[Петербург] Вторник, 17 сентября [1868]

Милые, дорогие и неоценимые мои сестры!

Сегодня приехали мы в Петербург в 12 часов; мне нечего говорить тебе, как счастлива я была въезжать туда; это совершенно новое чувство въезжать в Петербург свободно, не в гости, а домой, для начала хорошей труженической жизни, о кото-

* Целовать палку, которою учат меня.
** Отдыхает.

рой мы мечтали все эти годы; это чувство ты очень легко поймешь, и я сознаюсь, что в первую минуту оно совершенно охватило меня.

Но затем мне стало очень горько, когда я подумала, что вы, мои милые, славные сестры, и особенно ты, чудная Анюта, с которой мы всегда мечтали вместе обо всем этом, теперь в Палибине, одни, в одиночестве, в скуке,— а я, которая до сих пор разделяла с вами все, и скуки и радости, одна на свободе и счастлива тем счастьем, которое до сих пор возможно было только в мечтах.

Квартира наша такая прелесть, что я просто была поражена; Марья Александровна (о ней подробно расскажу в своем месте) убрала ее еще больше, и я ужаснулась, увидев мою спальню. Где моя темная, маленькая гейдельбергская келья? — но все это не ушло. В марте все это перейдет к Сусловой, а моя крепкая, навеки нерушимая, ничем незаменимая привязанность к вам и усидчивая работа помогут мне не избаловаться.

Милая Анюта, теперь ты мне нужна больше, чем когда-либо; пиши мне, дорогая моя, больше, больше; мысль о тебе не должна оставлять меня ни на минуту; я знаю, что тебе очень, очень тяжело, но ради Христа люби меня крепче, крепче; ведь не моя вина, что я счастлива и неравнодушна к этому счастью. Все это так ново, так соблазнительно хорошо для меня, что я могу только удерживать себя, вспоминая о тебе и о нашем последнем прощанье в маминой комнате за ширмами; одна моя молитва, чтобы идеал мой сохранился так же чист и неприкосновенен, как во время нашего горя и одиночества.

Прежде всего брат показал мне ту немецкую книгу, которую ты, Анюта, хочешь переводить. На твою долю осталось 80 страниц. Завтра брат вышлет их тебе в письме вместе с некоторыми, уже подобранными листами, так что ты получишь их уже в субботу. Я совсем не успела просмотреть ее, но прочитаю всю, так как у брата два их экземпляра.

На квартире мы уже нашли записку от Боковой, которая заходила поутру и пригласила нас к обеду; это изменило наши планы на день, и в четыре часа мы отправились к ней, так как я решительно не устала с дороги; я думаю, что это самостоятельность так поддерживала меня.

Я решительно не знаю что сказать вам об этом вечере, мои чудные, милые сестры. Я должна сознаться, что этот вечер был очень весел, но все-таки то чувство одиночества, о котором ты говорила, Анюта, теперь совершенно понятно для меня, и мне было бы очень грустно, если б было возможно быть грустной,

начиная завтра новую жизнь и имея надежду, что через месяц наверное увижусь с вами, и вы будете так же счастливы, как я.

Но расскажу все подробно. За обедом сидели Марья Александровна, Сеченов, Петр Иванович, который положительно мне очень нравится, и, как вы бы думали, кто? Белоголовый, который очень удивился, увидев меня. Я сначала была очень сконфужена в этом августейшем обществе и скромно молчала. Все, разумеется, были очень милы и приветливы со мной, но я не знаю, почему эта приветливость заставила меня еще более дичиться и скалить скулы; впрочем, это совершенно понятно. Петр Иванович рассказал мне о Страннолюбском, который в Петербурге и в отчаянии, что я не послушалась его советов, но говорит, что с наслаждением станет давать мне уроки.

В присутствии Белоголового мы не разговаривали ни о будущих занятиях, ни о чем порядочном. Я тем более конфузилась, что нам, по каким-то соображениям, показалось приличнее сказать ему, что наша свадьба была 11-го, и эта ложь заставляла нас путаться во всех наших рассказах и постоянно приводила нас в замешательство [1]. После обеда Марья Александровна повела нас к себе, а Петр Иванович ушел к своим больным.

Сеченовские лекции начинаются завтра; итак, завтра, в 9 часов утра, начинается моя настоящая жизнь. Ты можешь себе представить, с каким трепетом и в каком волнении я ожидаю этой важной для меня минуты. Поэтому я пишу тебе сегодня вечером, а завтра успею приписать только две строки, возвращаясь с лекции, на которую меня поведут торжественно брат, Петр Ив. и д я д е н ь к а (т. е. знаменитый Петинька) через заднюю лестницу, так что есть надежда укрыться от начальства и любопытных взглядов.

Затем мы распорядимся о будущих занятиях таким образом: мы будем заниматься в физиологической лаборатории Сеченова, анатомией у Грубера, математикой у Страннолюбского и физикой еще не решено у кого.

Сначала и Сеченов и Марья Александровна очень восставали против моей идеи ехать в Гейдельберг, но мы с братом, разумеется, стоим на своем. Сеченов очень дельно советует выдержать экзамен гимназический здесь в Петербурге; это тем необходимее для нового университета, где и без того будут придираться. Итак, сделай одолжение, вышли мне при первой возможности все книги по истории и географии, которые найдешь в Палибине.

О тебе и Жанне разговаривали много, но, разумеется, толку из этого не вышло. Я спрашивала у брата, что он думает;

вообще мы много говорили с ним и рассуждали о вас и о способе освобождения. Теперь скоро должно уясниться, решится ли Сеченов или совсем напрасна эта надежда. Боже мой, что́ бы я дала, чтобы будущую среду написать вам что-нибудь утешительное.

Вот что мы решили с братом: прямо предложить или даже намекнуть об деле Марье Александровне и Сеченову невозможно. Мы наверное сблизимся с Сеченовым и тогда спросим его об докторах [1]. Это не только вернее, но по-моему, да, конечно, и по-твоему, и желательнее Сеченова. Тяжело принимать услуги от людей, с которыми никогда не сойдешься вполне.

Мы все горюем с братом, что он не магометанин. Вот было бы чудно [2]. 15 октября он приедет за тобой наверное; он уже уговорился с содержателем гостиницы о карете, которую ему дадут за десять рублей.

Тебя д о л ж н ы отпустить. Брат очень верно говорит, что мы избаловались; действительно, мы, считавшие некогда бегство единственным исходом, теперь вдруг не выдержим сцены с родными, когда брат и экипаж у крыльца, а п р а в о бесспорно на нашей стороне. К этому времени у нас должно быть приготовлено что-нибудь для тебя и Жанны, а в это время ты займешься усердно переводом и писаньями.

О чудная, чудная Анюта! Будь добра и верь в судьбу и в ее справедливость, хоть для тебя кажется покуда, что она была жестока и несправедлива.

Кажется, я все подробно описала тебе. Завтра припишу слова два; брат также будет писать. Теперь уже 11 часов, а завтра я должна встать в 7. Следовательно, прощайте, мои чудные, милые, несравненные сестры.

Вся ваша С о ф ь я К р ю к о в с к а я.

Середа, 11 часов утра

Сейчас вернулись с лекции. Все произошло благополучно. Студенты вели себя превосходно и не глазели; была еще одна незнакомая нам дама. Завтра и послезавтра также лекции. Обнимаю вас. Нельзя писать больше. В пятницу опишу все подробно.

Ваша С о ф а.

Запишу лекцию, покуда свежо в памяти. Сеченов читал о крови. Не забудь прислать книги по истории и географии [3].

Приписываю несколько строк, потому что нужно ехать в почтамт, а теперь уже 11 часов. Как видите, дело началось; не

тоскуйте и будьте уверены, что и с вами все устроится. Присылаю сегодня же перевод и посылаю часть переведенную, чтобы вы знали, о чем идет речь. Надо перевести от страницы 212 до конца; остальное уже переведено. Всю остальную книгу, а также несколько других пошлю посылкою.

Прощайте, жму Вашу руку. Поцелуйте от меня руки maman и поклонитесь Вас[илию] Вас[ильевичу].

Ваш брат Вл. Ковалевский.

(Яун был министром, выгнавшим Фогта из Гессена и университета) [1].

13. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ [2]

[Петербург 19—20 сентября 1868 г.]

Дорогие и неоценимые мои сестры! Мне кажется, уже бог весть как долго мы не виделись с вами; это время было так полно и переполнено для меня всевозможными ощущениями, что мне кажется все прошедшее каким-то сном, а настоящее только что начинается. Дорогие мои, чудные! Я не знаю, с чего начать писать вам; сегодня мне очень тяжело писать вам, я так рассчитывала и надеялась, что с этой почтой могу буду сообщить вам что-нибудь утешительное о том, что в настоящую минуту больше всего интересует нас, а между тем полнейшее status quo *.

С Марией Александровной и Сеченовым виделись мы еще раз, но, разумеется, ровно ничего из этого не вышло. Мария Александровна провела у нас целый вечер, толковали мы с ней много, но она решительно не хочет понимать и так толкует, как будто ей и на мысль не приходила возможность деятельного участия с ее стороны [3].

Милая моя, если бы ты знала, как это грустно для меня и мучит меня; мы много, много толковали об этом с милым братом; он также будет подробно писать тебе сегодня. Видишь ли, чудная моя, пожалуйста напиши нам, возможно ли брату приехать за тобой раньше 15-го. Я думаю, что и 15-го добром не отпустят, следовательно, почему не приехать ему за тобою 10-го или около того. Раз что он приедет, и с экипажем, то нет возможности удержать тебя насильно.

Здесь в Петербурге жить тебе будет хорошо, а если к весне не устроится у нас лучшего, то ведь все же у нас остается Петров.

* Без изменений.

Ведь это вовсе не такой дурной исход; вчера после нелепого свидания с Марьею Александровною я просто пришла в отчаяние, и мы много толковали с милым братом. За Петрова, разумеется, не отдадут добром, но ведь и с Ковалевским мы вначале только и думали как бежать, и напиши отец грубое письмо, не было [бы] блестящего торжества в Палибине. Тебя наверное отдадут легче, чем меня; а через год простят уже без всякого сомнения; один же год, работая вдвоем, мы можем прожить безбедно.

Сегодня рассчитывала я непременно увидаться и познакомиться с Брандт, но и тут неудача. Брат сам поехал за нею, чтобы заручить ее к нам, но она, бедная, так занята эти дни, что ни принимать, ни ездить ни к кому не может, и свиданье наше отложено до понедельника; представь себе, эта несчастная женщина, кроме своих ночных работ, еще днем дает уроки и ездит для этого в Коломну; вот работящая жизнь!

Сегодня вечером я получила твое письмо и мамино. Оно очень, очень обрадовало меня; милая моя, какая ты чудная, хорошая и добрая. Хотя я и не верю, чтобы ты не скучала и все, что ты пишешь мне, не убеждает меня, но все-таки я как будто несколько утешилась этим письмом. Милая моя, для меня теперешнее житье действительно так хорошо, так привольно и разумно, что я только могу удивляться, за что именно мне такое счастье, которого я даже не особенно желала и на которое положительно не надеялась.

Опишу тебе все мое житье подробно. Последние строки писала я вам после моей п е р в о й лекции. Вы уже знаете, что она обошлась благополучно и совершенно удовлетворительно. Я, разумеется, сильно трусила; опишу тебе залу, так как и это, должно быть, тебе не известно. Зала невелика, принимая в соображение, что в ней собирается ежедневно более двухсот человек. Посредине огороженное место со столом и стулом и аспидной доской — это место профессора. Остальные стулья амфитеатром и полукругом; мы помещаемся на самой задней скамье, откуда хоть и не так хорошо видно, но зато и сами не бросаемся в глаза. Студенты вели себя отлично, не только не пялили глаза, но ближайшие соседи мои даже нарочно смотрели в сторону. Была еще какая-то дама старая, в желтых лентах, которая сегодня уже не возвращалась.

Лекция продолжалась час. Сеченов говорил очень ясно, и я не проронила ни слова. Вернувшись домой, я занялась еще физиологией, потом пришел Федя[1] и налезли кузины Ланндорф, к счастью, оставались недолго.

Затем к обеду пришел Мечников. Сначала он мне очень не понравился, но я скоро к нему привыкла, надежд на него никаких не может быть; все время толковал о семейном счастье etc., следовательно, я и не много внимания на него обращала [1].

Вечером, когда ушел Мечников, пришла Мария Александровна, толковали с ней; она до крайности милая, но толку решительно нет в нашем знакомстве; вечером зашел на минуту Сеченов [2].

Я забыла сказать тебе, что Мечников обещался пускать на свои лекции и выхлопотать позволение нам слушать лекции физики в университете. Я пишу так нескладно потому, что брат сидит рядом и все торопит ложиться спать, так как больше 12 часов, а поутру решительно мне некогда. Несмотря на его ворчание, я все-таки хочу приписать несколько слов.

Сегодня опять были на лекции; народу было так много, что пришлось всю лекцию простоять; начальство, кажется, заметило; не знаю, что будет завтра.

Вернувшись домой и записав лекцию, написала письмо Стр[аннолюбскому]; прошу его притти завтра. Занимаюсь физиологиею и отчасти анатомиею; от Петра Ивановича достали мы скелет, и брат в настоящую минуту тыкается с ним. Вечером получили твое письмо, которое до крайности обрадовало. Не выходила сегодня никуда, да, правда, мне и некогда за занятиями.

Сделай одолжение, как можно скорей перешли мне две книги, которые я забыла: аналитическая геометрия Брио (на французском языке), она лежит у тебя в комнате на комоде, и немецкий учебник физиологии Германа, в классной на зеленом столе у окна. Я второпях забыла их, а они мне очень нужны. Книг тут такая пропасть, и все таких прелестных, что я в первое время, вероятно, не прочту ни строки, все стою и глазею на них; как-то жаль приняться за одну книгу, когда так много прелестных книг везде. Ты знаешь это? Вот, кажется, все самое интересное.

Чудная моя, прости меня, что не пишу больше; может быть, напишу опять в понедельник, если будет что писать. Завтра опять лекции и надо вставать в 7 часов.

Прощайте, милые, дорогие сестры. Не забывайте и пишите. Мне иногда ужасно тяжело без вас. Странное дело, я как закрою глаза, сейчас вижу тебя, Анюта, и именно такою, какой ты была в день свадьбы, нарядною, и никак не могу припомнить твоего обычного вида.

Твоя на век Софа Крюковская.

Завтра пошлю записку Мане Касиной; попрошу ее зайти ко мне, если она может, или написать что-либо о деле.

Пожалуйста, не верь постскрипту брата [1], я ужасно жалею, что не имею времени, а то написала бы тебе про него хорошие вещи; да, Анюта, пожалей твою бедную сестру; ей же достается, да на нее же и вплетают разные небылицы. Вот мое житье! Он сегодня до такой степени был тупоумен и зол, что привел меня решительно в отчаяние, которое превзошло только мое изумление при виде подобной неразвитости. Виной всему тригонометрия и яблочный пирог.

Брат врет. Теперь еще [2] прошло 12 ч.

Пятница 11 ч. утра

Сейчас вернулась с лекции. Все еще не прогнали; лекция была очень хорошая, мы пришли до начала, имели порядочные места. Начальство не заметило, кажется. Остальной день проведу дома. Сейчас сяду записывать лекцию, потом займусь математикой или анатомиею. Сегодня убьем курицу и будем рассматривать ее кровь. Вечером, может быть, придет Страннолюбский.

Теперь до середы не будет лекций Сеч[енова]. На будущей неделе начнем и другие.

Прощай. Крепко, крепко целую тебя. Не забывай меня и не грусти. Я считаю дни до 10-го, теперь осталось 20 дней. Как твои переводы? Пиши, пожалуйста, чем ты самостоятельно занимаешься, только, пожалуйста, пиши подробно.

Софа.

К Юле Брюловой зайду, когда буду в Павловске [3].

Софья Васильевна напрасно говорит Вам, что я будто бы напишу подробно: во-первых, времени нет, так как уже 1-й час ночи, а мы сидим рядом, и я тороплю мою супругу итти поскорей спать; она вот только что выхватила у меня бумагу, чтобы прочесть написанное и следствием этого выходит это смазыванье строк. Исход в том виде, как мы все привыкли на него смотреть в последнее время, представляется в самом деле довольно затруднительным, конечно, в том отношении только, что нет средств подыскать в короткое время такое лицо, которое бы и согласилось на это предложение и понравилось бы вашим; сделать так, чтоб и овцы были целы и волки сыты, очень трудно. Мы еще не говорили об эскулапах, но у меня на них не очень много надежды.

Помните, Анна Васильевна, как в нашем положении, весною, мы только и ждали решительного отказа, чтобы решить дело самостоятельно; помните, что трудность происходила от того, что отказа не было, и вы согласитесь, что и вам надо быть готовым к такому же самостоятельному шагу, и следовательно думать о том, что есть, именно о П — е [Петрове].

Конечно, вы можете возлагать надежды на людей, о которых говорил П. Н. Т.[1], но ведь он предлагал, чтобы об них не делали особых справок, иначе не позволят, а следовательно и его люди не имеют никакого преимущества перед П—м [Петровым].

Писать в этом отношении многого нельзя, это надо исписать огромные листы и все-таки не скажешь всего; поэтому отлагаю все это до вашего личного приезда сюда; я надеюсь, что мне придется скоро ехать выручать вас.

Прощайте. Ваш брат В. Ков[алевский].

20 сентября.

Запретите С. В., когда у ней болят глаза, и она встала в 7 часов, а легла во 2-м, а завтра встает тоже в 7 утра,— сидеть при лампе заполночь и строчить такие бесконечные послания.

P. S. Вы выиграли ваше пари; моя супруга сегодня так расходилась, что почти поколотила меня, я теперь живу постоянно в страхе подобного пассажа.

14. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ[2]

[Петербург, 24 сентября, 1868].

Милая, дорогая и бесценная моя Анютка и хорошая моя Жанна!

Вчера получила я бесценное письмо от тебя, Анюта, и я сказать не могу тебе, сколько счастья оно доставило мне. Меня радует ужасно, что ты не скучаешь и не мучишься в Палибине. Я знаю вполне, какая ты чудная, твердая, хорошая девочка, но для меня, Анюта, ты необходима, поверь мне, больше необходима, чем была когда-либо в жизни, и поэтому ты должна приехать 10-го. Ты пишешь, что эта разлука наша совсем другая, чем все прежние, а мне она кажется вдвое, в тысячу раз безобразнее и нелогичнее, чем все другие; я не должна быть счастлива без тебя; по временам на меня находит странная тоска, и мне совестно, что я так счастлива в сравнении с тобой и что для меня все дается так легко и без всякой борьбы.

Представь себе, какой странный сон был у меня в самую первую ночь, как мы сюда приехали; я видела Суслову, и она рассказывала мне, как тяжело ей было в Цюрихе и как до последнего года она вела тяжелую, одинокую жизнь, как все признали и преследовали ее и она не имела ни минуты счастья; потом она очень презрительно посмотрела на меня и сказала: «ну, где тебе» — не правда ли, какой странный сон? Пожалуйста, дорогая Жанна, не очень скандализируйся тем, что я пишу такие вещи, я в самом деле лучше примусь рассказывать факты, а ты, Анюта, и так поймешь все, что я могла бы написать и сказать тебе, и я убеждена, что тебе хорошо известно именно то, что я чувствую теперь.

Я прежде не верила, что буду так одинока и так буду чувствовать это. Впрочем, теперь я сижу одна, вечер; день был очень шумный, я просто устала, т. е. устала именно от всех этих впечатлений; меня собственно и злит то, что я так предалась пустой и легкомысленной части моего счастья; ну да обо всем этом поговорим с тобой лично, и я убеждена, что долго так продолжаться не будет.

В понедельник, отправив тебе письмо, я села заниматься математикой и занималась весь день, до трех часов, математикой и анатомией, которая, между прочим, ужаснейшая скука и зубрить ее надо беспощадно. От Петра Ивановича [Бокова] мы достали скелет, и теперь я изучаю череп. Кто бы подумал, что такая у нас чепуха в голове.

В три пришла Надежда Петровна Брандт. Она встретила меня как старую знакомую и нашла, что я на тебя похожа, чем очень меня обрадовала. Брат оставил нас с нею вдвоем, и мы тотчас же разговорились с нею; о тебе, Анюта, она говорит с нежностью, а о Жанне с восторгом; говорит, что была как сумасшедшая после разговора с Жанной; очень счастлива, что она и П[етров] могут быть средством вашего освобождения. Она очень милая, только до смешного восхищается братом, может, впрочем, это было, чтобы мне польстить. У ней окончательный довод: Вл. Ануфр. [В. О. Ковалевский] так находит.

Вечером, простившись с Брандт, мы отправились к Марье Александровне, чтобы поговорить с Сеченовым и с Петром Ивановичем [Боковым] о том, как мне устроиться с свидетельством акушерства; я, кажется, уже писала вам, что оно необходимо для меня, чтобы слушать лекции анатомии. Сеченов уже говорил Груберу, что в случае нужды сам возьмет на себя дать мне требуемое свидетельство; впрочем этого не понадобится. Боков взялся поговорить с Шмитом, и я думаю, затруднений не бу-

дет; слушать же лекции я ни за что не хочу, так как лишнего времени у меня нет, а я намерена серьезно заняться моею дорогой физикою и математикою. Все они были так милы и обворожительны, что в то время я решительно не могла видеть в них ни малейшего пятнышка.

Все посылают свой сердечный поклон моей сестре и разбойнику [1]. Действительно, в них много хорошего, и, принимая в соображение, что счастье всегда баловало их, я не могу судить их.

Сегодня поутру, когда брата не было дома, заходил к нам Шведов, будущий профессор физики, который не особенно обворожил меня, но, говорят, очень порядочный физик [2]. Занималась весь день до обеда, но решительно ничего путного не сделала, странно, как быстро летит время; я с нетерпением ожидаю практических занятий физиологиею и анатомиею, лекций физики и уроков дорогого [3] Страннолюбского.

К обеду пришел Мечников, мы очень много толковали с ним, он рассказывал мне про свои работы и развивал свои научные планы, которые очень мне понравились; вообще мне было очень весело; ты не можешь себе представить, как это смешно, что все смотрят, на меня как на барыню и обращаются со мной с некоторым почтением.

Вечером, совершенно неожиданно приехал брат брата, т. е. Александр Онуфриевич Ковалевский. Он вошел лишь на три минуты и тотчас же увел настоящего нашего брата, чтобы показывать ему жену и дочку [4]. Потом они снова вернулись вечером, и мы толковали о пустяках часов до 11-ти. Я сама не знаю, как он мне понравился и как я ему понравилась. Он совсем не такой, как я его воображала себе, ужасно микроскопический и по-моему не похож на нашего брата; он красивее, но у него далеко не такое [5] милое, славное лицо, и я думаю, что сойтись бы я с ним не могла. Впрочем, это ужасно странно, никто мне теперь очень не нравится и я ко всем своим новым знакомым начинаю относиться скептически, когда вижу их в первый раз,

Впрочем, вообще, я думаю, что Александр Онуфриевич очень милый человек; толковал он нам с братом о необходимости тесной связи и любви между детьми и родителями, но это [6] прощается в отце семейства. В остальном же нигилист сильный и советовал мне непременно переодеться мальчиком, если меня выгонят с лекций Ивана Михайловича [Сеченова]. Завтра, в четверг и пятницу, опять будут его лекции; я ужасно этому рада, ты не поверишь, как скоро проходят дни; я н и к у д а не выхожу, к нам приходят только вечером, и все же я не успеваю сделать и половину того, что делала в Палибине.

Завтра после лекции необходимо нам с братом зайти к Александру Онуфриевичу и его жене. К обеду они и Мечников придут к нам,— вот и опять полупропавший день; но скоро все это угомонится; действительно, всего только неделя, как мы приехали в Петербург, но мне это время кажется чрезвычайно долгим; я успела пережить весьма много и раз десять переменялась в это время. Ты, верно, понимаешь все это, моя милая, чудная Анюта.

Ради Христа, пиши мне побольше и почаще, ругай и брани меня, сколько душе твоей угодно; читай мне до бесконечности мораль; я очень нуждаюсь в распеканции и приму ее с повинной головой.

Милые, милые, чудные, хорошие и дорогие Анюта и Жанна, крепко, крепко обнимаю вас обеих. Больше писать не могу, так как завтра надо вставать в семь. Я очень здорова, еще здоровее, чем в Палибине; пополнела еще и чувствую себя отлично. Только вы не расхворайтесь там, бесценные сестры.

Наш милый, дорогой брат также хотел писать тебе, Анюта, но, судя по долетающим до меня звукам, он кажется вздремнул над корректурами. Ты не поверишь, какой он милый и славный брат. Мне кажется, что он всегда был моим братом. Крепко обнимаю вас.

Вся ваша Софья Крюковская.

Среда, 11 ч. утра

Сейчас вернулись с лекции. Представь себе, туда уже налезли три каких-то бурых[1], теперь, говорят, наверное выгонят нас. Я в ужасном отчаянии. У меня есть план; не знаю, насколько он удобоисполним. Брат припишет несколько слов, а я припишу записочку маме. Твоя Софа[2].

Жизнь наша еще не совсем устроилась, т. е. не успели мы еще войти в колею учебную, но подробности вам до того известны из летописей Софы, что и прибавлять к ним нечего. План, о котором говорит Софа, совсем неудобоисполним и кроме шума ничего из него не выйдет[3].

Прощайте, жму вашу руку и кланяюсь всем. Ваш брат

В. Ковал[евский][4].

15. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ[5]

[Петербург] Воскресенье 19 января [1869]

Все это время я надеялась получить хоть несколько строк от вас, милая Юлия Всеволодовна. Но вы, кажется, совершенно

меня забыли и потому я хочу напомнить о себе, так как короткое знакомство с вами произвело на меня слишком сильное и приятное впечатление для того, чтобы я не постаралась продолжить и скрепить его. Общность наших занятий, вкусов и возрастов — все это заставляет меня думать, что между нами может быть крепкая и прочная дружба, и я надеюсь, что мы виделись с вами в Петербурге далеко не в последний раз.

От времени до времени я получаю известия о вас от кузины вашей Оленьки; я слышала от нее, что последнее время вы сильно хлопотали об устройстве подготовительных курсов в Москве; здесь в Петербурге также устраиваются везде курсы и лекции. Говорят, хотя это еще не верно, что в одной из мужских гимназий устраивается параллельный курс и для девочек.

Это, конечно, будет чрезвычайно полезная мера; в ожидании же будущих благ большинство подготовленных женщин бегут за границу, и в Цюрихе учатся уже восемь женщин.

Я сама жду, не дождусь, когда могу буду ехать за границу; и как бы я хотела, Юлия, учиться там вместе с вами; я не могу себе представить более счастливой жизни, как тихой, скромной жизни в каком-нибудь забытом уголке Германии или Швейцарии между книг и занятий. Я думаю, что и для вас такая жизнь представляется верхом благополучия.

Но, прощайте, милая Юлия Всеволодовна. Пишите мне, прошу вас, и не забывайте совершенно.

Муж мой шлет вам низкий поклон.

Ваша Софья Ковалевская.

16. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [1]

[Петербург] Вторник 18 марта [1869]

I

Это последнее письмо, которое я пишу вам из Петербурга, милая Юлия; через несколько дней я буду в Москве, хотя совсем не утешаю себя мыслью, что вас так и отпустят со мною за границу после этого. Поэтому не мучайтесь и не воображайте себе, что сделались моею неоплатною должницею за эту незначительную услугу. Вот как я думаю сделать: выеду я из Петербурга в пятницу 21 марта; где остановлюсь, не знаю еще наверное: в гостинице или у одних знакомых в Москве. Подумайте, как нам устроить, чтобы всего полезнее употребить те двое суток, которые я проведу в Москве.

Я думаю, что было бы отлично, если бы вы могли встретить меня у железной дороги (я выеду из Петербурга в пятницу с утренним поездом и потому приеду в Москву в субботу в 9 часов утра). Подумайте, как бы устроить это; мне бы очень приятно переговорить с вами одной, прежде чем явиться к вам в дом. При этом надо бы было только опасаться, что мы по близорукости проглядим друг друга. Итак, устройте это, если возможно, а о дальнейших планах мы условимся лично. Сегодня же я отправлю вам официальное письмо; теперь это необходимо.

У нас в Петербурге ужасно скверно. Студенты Медицинской академии затеяли бунт, и результатом было, конечно, то, что Медицинскую академию заперли, на место доброго Нарановича начальником назначили мерзавца Козлова, 60 студентов арестовано, некоторые из них уже высланы в дальние губернии; но что для нас всего печальнее — это то, что женщин, которых было уже совсем пустили в академию, теперь, конечно, снова выгонят. Это все ужасно грустно и тем грустнее, что причина всей истории самая ничтожная [1].

Не буду больше писать вам сегодня, так как скоро обо всем переговорим лично.

Ваша С. К.

P. S. Для того чтобы вы легче могли заметить меня в толпе, если придете на железную дорогу, то я скажу вам, как буду одета: я буду в черном шелковом салопе, белом башлыке и серой шапке. Я забочусь об этих мелочах, зная, что как вы, так и я очень близоруки, и я, по крайней мере, трудно запоминаю лица.

II

18 марта, вторник

Перед отъездом за границу мне представляется случай провести несколько дней в Москве, милая Юлия Всеволодовна, и я очень радуюсь этому, так как это даст мне возможность повидаться с вами. Я выеду из Петербурга, по всем вероятиям, в четверг поутру и пробуду в Москве дня два; я надеюсь, что в это время как можно больше буду видеться с вами и буду иметь удовольствие познакомиться с вашим семейством.

Итак, до свидания. Не пишу больше, так как надеюсь вскоре хорошенько наговориться с Вами лично.

Софья Ковалевская.

17. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [1]

[Гейдельберг] 28—16 апреля [1869]

Милая Юленька!

Пишу вам, вернувшись с первой лекции в Гейдельберге. Я думаю, вы начинали уже приходить в нетерпение, не получая от меня так долго писем; но я не могла писать вам раньше, потому что только вчера решилась моя судьба.

Из Петербурга мы поехали на Вену, где я тотчас же отправилась к профессору физики Ланге, прося его пустить на свои лекции. Он позволил это довольно охотно; вероятно, и другие профессора сделали бы то же, но, несмотря на это, я все-таки не решилась остаться в Вене, потому что для меня это было бы неудобно во многих отношениях; во-первых, математики там очень плохи; во-вторых, жить там очень дорого; поэтому, прежде чем решиться на Вену, я захотела попробовать счастье в Гейдельберге...

Я отправилась туда одна с сестрой, а Владимир Онуфриевич остался в Вене, так как мне все-таки пришлось бы вернуться туда в случае неудачи. В первый день я почти пришла в отчаяние, так худо повернулись мои дела. Профессора Фридрейха, с которым я несколько была знакома лично, не было в это время в Гейдельберге. Я пошла к Кирхгофу (физику); это маленький старик, ходит на костылях; изумился такому необыкновенному желанию женщины и объявил, что от него нисколько не зависит допустить меня, а что я должна спросить позволения у проректора университета Коппа.

К этому времени возвратился из путешествия профессор Фридрейх; это было большое для меня счастье; он отнесся к моей просьбе с сочувствием и дал от себя карточку к проректору. Этот последний в свою очередь объявил, что не берет на себя дать такое неслыханное позволение, а что предоставит это на волю профессоров.

Я снова поплелась к Кирхгофу; он сказал, что со своей стороны будет рад иметь меня в числе своих слушателей, но что надо еще переговорить с Коппом. Вы можете себе представить, как мучительны такие проволочки и полуответы. На следующий день Копп объявил мне новое решение: он представит мое дело на обсуждение особой комиссии. Опять пришлось ждать сложа руки.

Я узнала, что про меня в Гейдельберге собирают сведения; одна барыня, которую я в глаза никогда не видала, рассказала про меня профессору, что я вдова. Его, конечно, поразило такое

разноречие с моими собственными словами; пришлось посылать к нему Владимира Онуфриевича, который в это время успел приехать в Гейдельберг, чтобы убедить их, что у меня действительно есть муж, что для них казалось очень важным. Наконец, комиссия решила допустить меня к слушанию некоторых лекций, а именно математики и физики. Это было все, чего мне только надо было, и сегодня я начала мои занятия [1].

Теперь у меня 18 лекций в неделю, и этого вполне достаточно, так как бо́льшая часть моих занятий все-таки дома. Одно досадно, что позволение дано мне только в виде исключения, так что осенью, когда вы приедете, надо будет начинать ту же историю; конечно, второй раз уже будет легче первого.

Воображаю себе, с каким нетерпением ждете вы осени, милая Юленька. Только, чтобы не раздумали ваши родные. Впрочем, теперь мне, право, кажется, что отступление от их слова будет для них довольно трудно. Пишите мне скорее и опишите подробно, чем теперь занимаетесь. По горькому опыту я советую вам побольше обратить внимания на немецкий язык; я теперь испытываю неудобства не довольно хорошо знать его: лекции слушать мне совершенно легко, потому что научный немецкий язык мне хорошо знаком, но когда приходится разговаривать с профессорами, то я всегда чувствую себя очень стесненною.

20 апреля — 2 мая.

Это письмо я уже начала несколько дней тому назад, но не успела послать его в тот самый день, а потом все не находила времени кончить его. Я очень занята, хожу на лекции, студенты ведут себя отлично и не показывают и вида, что их изумляет присутствие женщины [2].

Я также с нетерпением жду осени. Как нам отлично будет здесь с вами. Вам здесь заниматься будет очень хорошо; физиологию вы будете слушать у Г е л ь м г о л ь ц а, а химиею заниматься у Б у н з е н а; у этого последнего особенно хорошо вам будет; мне говорили, что он целый день возится со студентами, работающими в его лаборатории, и только по вечерам находит время для собственных работ [3]. Вообще, по всему, что я слышала о Бунзене, это, кажется, просто удивительный человек.

Прощайте. Обнимаю вас крепко и жду с нетерпением. Засвидетельствуйте мое почтение вашим родным. Я забыла сказать вам, что сестра моя теперь со мною в Гейдельберге, но завтра уезжает в Париж, где верно пробудет до начала июля.

Ваша С о ф ь я К о в а л е в с к а я.

18. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[Гейдельберг. Середина декабря 1869]

Только вчера отправила письмо тебе, дорогой друг мой, а сегодня опять сажусь писать тебе, потому что сейчас получили отличные новости от жанниных родных. Вот уже действительно рассчитывали мы много, но этого никак не ожидали; представь себе: сегодня будят нас страховым письмом — открываем, в нем деньги, 70 гульденов, и заграничный паспорт Анне Михайловне Евреиновой с приложением длинного и нежного письма от жанниных сестер; они, конечно, слегка упрекают ее за необдуманный поступок [2], но говорят, что не только проклинать ее, но даже и сердиться на нее ни они, ни родные не имеют намерения, что мать сначала очень грустила, но после телеграммы жанниной успокоилась и теперь огорчается главное тем, что Жанна ничего с собой не взяла и, пожалуй, нуждается. Что пусть поэтому Жанна тотчас напишет, что желает иметь из своего белья и вещей, и они тотчас вышлют ей; что пускай скажет тоже, сколько ей нужно денег, чтобы прожить за границей, и родные станут присылать ей деньги. Просят только Жанну почаще писать, делиться с ними и горем, и радостью, и обращаться к ним в каждой нужде.

Как тебе это нравится! Вот поди разбери их потом! Жила бы у них Жанна еще десять лет, и они все бы продолжали мучить ее и ни за что не отпустили бы ее добровольно; а вот убежала, они и смягчились. Можешь представить себе, в каком мы восторге! Теперь Жанна тотчас может приняться за ученье. До весны ей еще нечего хлопотать о поступлении в университет, так как покуда ей будет довольно работы долбить свою поганую латынь; весной же она начнет хлопотать, чтобы ее приняли в Гейдельберг [3].

Я уже писала тебе, что мне это совсем не кажется невероятным. Мне бы так хотелось, чтобы ее пустили; тогда, если даже Юлю не пустят в Берлин, то ей будет с кем оставаться в Гейдельберге [4].

Вообще этот благоприятный оборот дел так подзадорил нас, что сегодня сажусь писать Оленьке Лермонтовой, чтобы, если возможно, притянуть и ее к нам. Из всего того, что рассказывала мне о ней Юленька, я начинаю чувствовать к ней превеликую симпатию; даже и ее сдержанность и необщительность, которые так бесили меня в Петербурге, начинают представляться мне в другом свете. По всему видно, что у нее очень сильный, но очень озлобленный характер, а озлобиться ей было из-за

чего; жизнь ее самая невеселая с самого детства, а это последнее время к другим огорчениям присоединились еще страданья более нежного свойства; хотя к подобным страданьям я не чувствую особого сочувствия, но я отлично понимаю, что когда в жизни вообще не встречаешь никакой другой удачи и не имеешь никакого другого интереса, то и они могут еще подбавить значительную долю горечи.

По тому, что я слышу об Оленьке, мне кажется, что из нее может выйти очень хорошая женщина, потому нужно действительно употребить все усилия, чтобы притянуть ее к нам. Вот какие у нас теперь планы на ее счет: весной Сонечка Ушакова едет в Россию; если Оленька уйдет от отца в это время, то первое время может прожить у нее и при ее же помощи перебраться через границу. Тогда Юленька может будет брать у родных больше денег, а на 1000 рублей в год они, с грехом пополам, могут прожить вместе.

Мы эти последние дни все занимались разными экономическими соображениями, и действительно приходим к тому убеждению, что могли бы устроиться дешевле. Но что же делать, опытность даром не дается [1].

Сегодня очень насмешил нас маленький клочок какой-то русской газеты, присланный Федоровыми из Цюриха. Там говорится, что в Гейдельберге учатся две русские девушки, но немецкие профессора относятся к ним несочувственно, а Бунзен, знаменитый Бунзен, даже не пустил их на свои лекции. Удивляюсь, от кого истекает весь этот вздор!

До свиданья, милый. Приеду к тебе, только что начнутся праздники, значит через полторы недели. С нетерпением жду этого времени. Так хочется потолковать и помечтать с тобой, особенно, когда почему-нибудь весело на душе, то как хочется поскорее поделиться с тобою. Как я буду рада, если на лето пустят меня в Берлин. Пиши почаще и люби твою Софу.

Н а д е ю с ь, что превосходное сочетание цветов в моем письме приведет тебя в восторг. Я уже было написала адрес на зеленом конверте, но, увидев желтый, не могла удержаться: потому зеленый припрятала до будущего времени.

19. Е. А. ЛЕРМОНТОВОЙ [2]

[Петербург, октябрь 1874]

Многоуважаемая Елизавета Андреевна!

От души поздравляю вас с успехом нашей милой Юленьки. Я легко могу представить себе как вам теперь хочется поскорей

увидеть и обнять ее после всех пережитых ею волнений, которые и вы вероятно разделяли вместе с нею; но я надеюсь, что вы все-таки позволите ей остаться со мной несколько дней, хоть до субботы, так как ведь и мы с ней уж давно не видались, и мне очень было бы грустно отпустить ее так скоро.

Сегодня поутру мы были с ней вместе у профессора Менделеева, который так искренне сочувствует занятиям и успехам Юленьки. В пятницу он устраивает у себя вечер, на который пригласит всех здешних химиков, чтобы познакомить с ними Юленьку. Ей это, конечно, очень интересно, но она тоже так нетерпелива увидеть вас, что все еще не может решиться остаться здесь до субботы. Я думаю, однако, что вы сами посоветовали бы ей сделать это, так как я уже по опыту знаю, что вы всегда удовольствия ваших детей цените более собственных.

Погода все это время великолепная, и мы пользуемся ею, чтобы показать Юленьке Петербург с хорошей стороны и повеселиться немножко, побывать в театре и т. д.

Прошу вас передать мой искренний привет Сонечке.

С совершенным уважением и преданностью остаюсь готовая к услугам Софья Ковалевская[1].

20. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ[2]

Палибино, 18 июля [1875]

Мой друг! Вот целых две недели ежечасно
Тебя я жду и мучаюсь,— но все напрасно!
Зову, пишу фольянты, злюсь, но мне в ответ
Ни самого тебя, ни писем твоих нет.
5. Наскучило мне ждать и злобствовать часами
И вот решилась я попробовать стихами
Тебя, злодей, усовестить и устыдить.
И чувства верности супружеской внушить.
Как видишь, бес мой или муза из когтей
10. Не хочет выпустить совсем души моей.
Забыв поваренную книгу, интегралы,
Магистерство и Коркина дифференцьялы,
Я рифмоплетствую, бешусь и каждый час
Душою уношусь раз десять на Парнас.
15. Из пыли, где они покоились годами,
Тетрадки старые с забытыми стихами
Достала Юля раз; их вид напомнил вновь

Старинные мечты, забытую любовь.
И вот моей я музе поклонилась снова
20. И на нее Минерву променять готова.
Права пословица, как видно, хоть стара,
Которая гласит: qui a rimé — rimera *.
Но это предисловие. Я начала писать,
Чтобы сказать тебе: мне очень скучно ждать.
25. У нас покойно все, не ссоримся; друг другом
Довольны все пока. Полковница с супругом
Твердит весь день вокабулы, но ах! пока
Ему, как кажется, наука не легка [1].
Папашу Юрик обогнал, хоть это худо;
30. Но про него согласны все: он просто чудо!
Маркиза наша, tante Фифи,
Два раза в день свои меняет кушаки;
А математик юный [2] все мечтает
Об Эрбере — и вишни славно пожирает.
35. За карты мы и Юлю нашу засадили
И всем премудростям молчанки научили.
Но к картам у нее, увы, талант плохой
И от Анюты достается ей порой.
Твоей смуглянке скучно, мужа ожидает,
40. Раз десять в сутки на дорогу выбегает.
Собаки лай, бубенцев звонких дребезжанье
В ней возбуждают трепет ожиданья,
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,
44. Клянет мужей неверных и любовь.

С. Ковалевская [3].

21. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [4]

[Петербург] Суббота, 14 ноября 1875 г.

Милый Александр Онуфриевичь!

Вчера получили мы ваше длинное письмо и так как, во-первых, Володя вряд ли успеет ответить вам сегодня, а во-вторых, так как в вашем письме многое относится лично до меня, то я хочу сама написать вам и представить наше положение так, как оно представляется мне самой. Вы очень удивляетесь тому, как вы говорите, спекулятивному направлению, которое овладело

* Кто подбирал рифмы, будет рифмовать.

нами обоими, но оно развилось у нас по необходимости. Вот как стоят наши дела: я получаю теперь в год немного более 900 руб., Володя же, не обижая вас, что он и без того слишком долго делал, может рассчитывать максимум на 600 р. с имения, что вместе с 600 р. приват-доцента составляет 2100 р. в год, и в ближайшем будущем не предвидится ничего большего.

Пока мы жили за границею, нам этих средств было достаточно, но, вернувшись в Россию, мы серьезно занялись вопросом: каким образом следует нам поступать далее, для того чтобы устроить нашу общую жизнь как можно полнее и счастливее. В математике мы поставили бы этот вопрос таким образом: имеется известная функция (в данном случае — наше счастье), которая зависит от очень многих переменных, а именно и от средств, и от возможности заниматься научною работою, и от возможности житья в приятном месте и в приятном обществе и т. д. Каким образом определить отношение между этими переменными так, чтобы данная функция, т. е. счастье, достигла своего максимума?

Нечего и говорить, что решить этот вопрос математически мы не могли, но простыми рассуждениями мы пришли к следующему результату: во-первых, мы решили без крайней нужды не брать для Володи места в провинции, так как то, что мы бы выиграли там в обеспечении и во времени для научных работ, не окупало бы для нас лишения всякого приятного общества и для меня лично отчуждение от всех моих родных и близких друзей. Затем представлялась возможность, оставаясь в Петербурге, предаться исключительно научным занятиям, ограничиваясь нашими небольшими средствами и могущими встретиться случайными заработками на переводах и т. п. Этот план имел, правда, те неудобства, что, во-первых, мелкие лишения, проистекающие от чересчур ограниченных средств, становятся тем несноснее, чем дольше продолжаются, а во-вторых, что зарабатывание денег переводами, уроками и т. п. берет и много времени и à longue * с ума может свести человека от скуки. Все же мы бы, вероятно, решились на этот способ действия, если бы нам не представлялось ничего другого.

Но в данном случае дело стоит вот как. Володя потратил лучшие годы своей молодости на издания и, как говорят здесь единогласно все Fachkenner **, вел дело очень недурно и, вероятно, достиг бы прекрасных результатов, если бы, по недостатку

* При длительности.
** Знатоки дела.

выдержки и потому, что я в то время была неразумным, ничего не смыслящим в житейских делах птенцом, не бросил дела в самую горячую минуту на произвол судьбы. Это была, конечно, большая ошибка, но, рассмотрев по возвращении все дела, Володя пришел к убеждению, что положение все-таки не отчаянное и что, посвятив года два на приведение дел в порядок, он с большою вероятностью может рассчитывать выручить из них, за уплатою всех долгов, тысяч 10 по крайней мере. Ввиду этого, ну как же было ему не приняться серьезно за эти дела?

Я знаю, что вы смотрите на издательство вообще весьма мрачно, но мне кажется, что вы в этом немного предубеждены и что относительно володиных изданий цифры говорят довольно ясно, надо только иметь терпение. Вы также совсем несправедливо обвиняете его, что он и теперь бросается в разные стороны; это не так; кроме Брэма (народного издания и 5 и 6 тома большого), Володя издал только маленькую книжку Кунце, которая идет хорошо и уже доставила Володе возможность уплатить некоторые издержки по народному Брэму.

В том скверном переводе, над поправкою которого мы теперь трудимся общими силами, Володя не виноват: он был сделан под присмотром Евдокимова еще в то время, когда мы были за границей.

Я с моей стороны имею большое доверие к умению Володи вести дела, если только он действительно предастся им, и очень бы охотно дала бы ему на них мои деньги, но только ни мама, ни сам Володя не согласны на это. Мне крайне досадно, и самому Володе очень тяжело, что ему пришлось просить у вас часть залоговой суммы; он клянется всеми святыми, что к тому времени, когда они вам понадобятся, вернет их вам, заложив Брэма.

Теперь мы хотим просить вас, не согласитесь ли вы на следующее. У меня, собственно говоря, моих денег нет, но мама согласна дать мне тысяч до 15 на покупку дома, так как все говорят, что во всяком случае выгоднее иметь дом, чем 5% бумаги. Не будете ли вы согласны, если вам представится выгодный дом близ университета, за который сверх долга надо приплатить тыс. 15—17, купить его вместе со мной. Что дома́ теперь выгодно покупать в Одессе, это кажется несомненным, а для нас, в числе других удобств, в этом устройстве было бы и следующее: вы бы тогда из моих денег вернули себе те $2^1/_2$ тыс., которые взял у вас Володя, а я бы уж рассчиталась потом с ним. Пожалуйста, напишите поскорее, согласны ли вы на это предложение и имеется ли в виду подобный дом.

Вот какое я вам деловое письмо написала, Александр Онуфриевич.

Здоровы ли вы все и как поживают ваши детки? Я вам очень завидую, что у вас есть такая славная, большая Верочка. Марья Александровна много нам о ней рассказывала и говорила между прочим, что она просто красавица; но это, впрочем, и по карточке видно.

Мы читали недавно в газетах, что у вас теперь в Одессе омерзительная погода и свирепствует тиф и дифтерит; впрочем и у нас не лучше, и мы все или больны, или переболели. Моя мать и сестра обе в сильном гриппе, Володя кашляет и по вечерам хрипит, но тем не менее продолжает разъезжать целые дни, несмотря на все мои уговоры. Я тоже проболела все первое время и между прочим очень страдала зубами.

Теперь прощайте, милый Александр Онуфриевич, и отвечайте нам поскорее.

Кланяйтесь от меня Тане и поцелуйте деток.

Искренно Вам преданная С о ф а.

АВТОГРАФ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ

Мой дорогой дружок, ты не поверишь, как я благодарен тебе за твою заботливость обо мне; даже не получив моей формальной просьбы, ты уже выслал мне деньги, которые я получил и, в случае сильной нужды для покупки дома, достану, обратно заложив народного Брэма. В новые издания я не лезу и Бургера оставил, так что кончаю V и VI томы Брэма, что необходимо сделать и что своим 2-м изданием (а ведь первых четырех томов разошлось более 6000, то надо надеяться, что имеющие уже 4 тома дополнят его V и VI-м) даст мне хлеб.

Я советую тебе избегать покупки земли, это может быть убитыми деньгами, и если возможно купить дом недалеко от университета, то, я думаю, с устройством Медицинского факультета

цены возрастут. Не говорю тебе об осторожности, ты в письмах показал ее достаточно.

Ты говоришь: не трать эти деньги на жизнь,— за это нечего бояться. Даже прошлый год, когда нам надо было вести все свое хозяйство, я послал ровно 700 р. своих, т. е. все полученное от Гизберта, за рисунки Брэма; в нынешнем же году мы платим 300 р. за квартиру и на хозяйство вдвоем даем 25 р. в месяц; все получаемое пойдет на Брэма, который, конечно, вернет затраченное. Я послал телеграмму и в тот же день получил письмо.

Прощай, Саша, обнимаю тебя.

Твой Владимир.

Прошу Головкинского сейчас выслать перевод [1]; когда будет окончено издание, я готов выдать ему экземплярами немедленно всю сумму гонорара; они разойдутся в Киеве, Харькове и Одессе.

22. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

[*Москва 24*] *февраля* [*1876*]

Милый дружок!

Сейчас получила твою телеграмму и мамино письмо. Я уже вчера писала тебе, что не желаю, чтобы ты приезжал сюда; твой приезд ко всем моим тревогам присоединил бы еще страх, что ты тоже заразишься тифом совсем ненужным образом. Пока я сама в порядке, я останусь с Юлей, если же почувствую себя нездоровой или чересчур энервированной, то вечером сяду в вагон и на другое утро буду у вас.

Юле сегодня, повидимому, хуже, чем вчера. У нее опять было удушье и ражи. Самое ужасное это то, что мы никак не можем найти хорошую сиделку; хотя мы обращаемся во все больницы и предлагаем большие цены по 2, по 3 рубля в сутки, но вот уже четвертая сиделка, посидев сутки, отказывается, говоря, что много видела больных, но такой, как Юля, никогда не видала.

Представь себе, кроткая, тихая Юля бьет их чем попало по лицу и голове; одной хотела выцарапать глаза, другой вцепилась в волосы. Ей ненавистен самый вид их. Впрочем сегодня она отколотила тоже сестру Сонечку и ударила по щеке Шишкову, жену химика, я же не смею показываться и в дверях, так как Юля постоянно кричит: «подайте сюда это чудовище Ковалевскую!» Единственная особа, которая имеет на нее непостижимое влияние, это Языкова, которую она в здоровом виде совсем не

жаловала. При ней Юля гораздо тише и не бешенствует, а только потихоньку жалуется или просто смолкает. Когда она здесь, то все идет сравнительно хорошо, но так как она, несмотря на действительно удивительное самоотвержение, с которым ухаживает за Юлей, не может же постоянно быть здесь (у нее собственных двое детей), то те минуты, когда мы остаемся одни с Сонечкой, просто ужасны.

Я в прошлых письмах забыла тебе сказать, что тут в доме еще горе. Сам Лермонтов тоже болен; у него каменная болезнь и, вероятно, дня через два ему придется делать операцию. Он иногда целые часы сряду кричит от боли.

Квартира у них прескверная; кроме большой залы, все остальные комнаты маленькие, тесные, душные, и дом точно карточный [1].

23. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ [2]

[Петербург] Четверг вечером [1876]

Не сердитесь, друг мой Федор Михайлович, за то, что не написала вам сегодня вечером, как обещалась; я вернулась домой слишком поздно, чтоб иметь возможность послать к вам.

Имя девицы, о которой вы обещались похлопотать, Вера Сергеевна Гончарова (она племянница жены Пушкина [3]). Просьба ее в том, чтоб ей дозволили свидание и переписку с ее женихом Павловичем. Прошу вас еще заметить, что упомянутая особа не предполагает, чтоб ее сестра, о которой я вам говорила, могла находиться теперь в Петербурге. Итак, надеюсь на вас, что вы будете так добры и передадите эту просьбу Кони [4].

Благодарю вас заранее. От души вам преданная Софья Ковалевская.

Передайте мой поклон Анне Григорьевне [5]. Каждый раз, как я поговорю с ней, начинаю все больше и больше ее любить.

24. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

[Петербург, 1876—1877]

Милый Федор Михайлович.

Как это меня огорчает, что вы все хвораете. Я по вас очень соскучилась и несколько раз уже собиралась заехать к вам; только меня удерживала мысль, что вы, вероятно, теперь очень заняты, и я, пожалуй попаду некстати. Это же соображение удерживает меня и теперь; поэтому буду ждать, когда вы выберете свободный вечерок и придете ко мне.

Главное, поправляйтесь поскорее и воздерживайтесь от излишней, особенно ночной работы. Я пишу это вам, хотя сама отлично знаю, что это совсем бесполезно.

Жму вашу руку и жду с нетерпением.

Преданная вам Софья Ковалевская.

Мой поклон Анне Григорьевне.

У меня как-то на-днях тоже была лихорадка; я долго не могла успокоиться, и мне все вспоминался один ваш рассказ из вашего будущего романа о «Мечтателе» [1]. Я даже мысленно все развивала вашу идею, и мне бы ужасно хотелось, чтоб вы написали что-нибудь в этом роде. Я представляю себе так: человека бедного, живущего очень уединенно, сосредоточенною жизнью и состарившегося на какой-нибудь машинально умственной работе (например, хоть счетчика при обсерватории). Вследствие каких-нибудь внешних обстоятельств в нем развивается непреодолимое желание разбогатеть во что бы то ни стало. Он начинает выслеживать способ для этого с тою же терпеливою одностороннею последовательностью, с которою всю жизнь вычислял пути планет. И вот ему на ум приходит что-нибудь в роде «адских часов» Томаса [2]. Целые годы придумывает он и усовершенствует детали своей машины; наконец она готова, и он пускает ее в дело. При этом мысль о его жертвах, о тех людях, которые должны погибнуть от его машины, совсем ему как-то в голову не приходит. Даже мысль о богатстве отступает на второй план. Он просто влюблен в свою машину, его математическую, помешанную голову пленяет именно та точность, с которою она действует; ему нравится, что он может вычислить минута в минуту, когда корабль пойдет ко дну. Корабль с машиною отплывает, старик как-то совершенно успокаивается. В самый вечер катастрофы он даже ни разу не вспоминает о машине; вдруг он чувствует внутреннее сотрясение; смотрит на часы — настала минута. И вот тут ему вдруг отвратительно ясно становится, что он сделал. Старик, конечно, сходит с ума. Но дальше фантазия моя уже нейдет.

Еще раз прощайте.

Преданная С. Ковалевская.

25. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

[Петербург] Пятница [1876—1877]

Милый Федор Михайлович!

Так как Вы собирались побывать у меня в последних числах этого месяца, то я хочу предупредить вас, что сегодня (пят-

ница) я не буду дома. Завтра же (суббота) и, вероятно, все первые дни будущей недели буду проводить вечера дома.

До свидания. Жму вашу руку.

Преданная Вам Софья Ковалевская.

26. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

[Петербург, февраль 1876—1877]

Милый Федор Михайлович!

К сожалению, я не буду сегодня дома. У меня вчера умерла старая тетушка [1], и мне необходимо быть сегодня при выносе ее тела.

Как ужасно жаль, что в тот вечер, когда заходила ко мне Анна Григорьевна, я тоже не была дома.

Завтра, в часу четвертом, я собираюсь зайти к вам; авось хоть кого-нибудь из вас застану; но если у вас будет дело, то не стесняйтесь и не ждите меня.

Преданная вам Софья Ковалевская.

27. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

[Петербург, Апрель — Май 1877]

Милый Александр Онуфриевичь.

Как редко вы теперь стали писать Володе, а он между тем, зная, что вы были нездоровы, с двойным нетерпением ожидает ваших писем. Отчасти из желания сколько-нибудь развлечь вас нашими письмами, отчасти в надежде, что хороший пример подействует и на вас, мы решили писать вам очень часто и даже чередоваться с ним, так как ведь сам Володя, как вам вероятно известно, такой рассеянный, что 20 раз скажет, что надо написать, прежде чем сядет и действительно напишет.

Мы все поговариваем и мечтаем будущее лето прожить где-нибудь вместе с вами на юге России; это было бы и приятно и полезно, так как Володя мог бы, конечно, соединить это с какими-нибудь геологическими изысканиями; на нынешнее лето мы, к сожалению, решительно привязаны к Петербургу, но зато нынешнею осенью кончается период практической деятельности Володи, и снова настанет эпоха научных занятий; а когда конец

уже так близок, то было бы смешно роптать и жаловаться на судьбу.

В доме нашем кипит работа, штукатурят стены, стелят полы, вставляют рамы и т. под. Лишь только будет готова лестница, т. е. к концу этой недели, мы пустим объявление о квартирах и будем показывать их публике, ищущей квартир на осень. Несколько жильцов у нас уже имеется в виду; надеемся, что явится еще много других. Место у нас очень хорошее, и пустых квартир здесь очень мало, даже в нынешнем, очень неблагоприятном году. Так что мы с большими шансами можем рассчитывать на удачу.

На лето мы наняли дачу, по петербургским условиям очень удобную — посреди огромного парка и притом очень близко от города, что для нас чрезвычайно важно.

Погода до сих пор была прескверная и холодная, но сегодня истинно майский день, и если весна теперь действительно установится, то мы недели через две переберемся на нашу летнюю квартиру. Лето мы проведем в довольно большом одиночестве, так как наша постоянная сожительница Юля Лермонтова уезжает к себе в деревню под Москвою, да и большая часть хороших знакомых тоже разъезжается.

Сеченовы уезжают, вероятно, около десятого мая; долго не решались они, где провести лето, опасаясь войны и неудобств жизни в Крыму в военное время; но брат Марьи Александровны [1] убедил их, что опасности нет, и они бы уехали и раньше, если бы Ивана Михайловича не задерживала здесь его работа, которая идет кажется очень успешно. В последнее время он нашел еще несколько фактов относительно белка и особого фермента в желтке, чрезвычайно интересных, как уверяет нас Юля, в химическом отношении.

Поклонитесь от нас Тане и поцелуйте ваших деток. Будьте здоровы и пишите почаще.

Искренне вам преданная С о ф ь я К.

28. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

[*Петербург, май 1877*]

Посылаю вам, любезный Федор Михайлович, некоторые издания Владимира Онуфриевича, которые, может быть, представят для вас некоторый интерес [2]. Посылаю также книжку «Русского вестника», но так как она не моя, а Суворина [3], то потру-

дитесь вернуть ее дня через два, если к тому времени успеете прочесть «Анну Каренину» [1].

Я вырезала для вас фельетон, подписанный IV, но, кажется, он не особенно интересен [2].

Жду вас как можно скорее.

Преданная вам Софья Ковалевская.

29. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [3]

[Петербург] 16 января 1880 г., пятница.

Мы с нетерпением ждем от вас известий, дорогой Александр Онуфриевич, и, не получая писем из Одессы, начинаем уже сильно опасаться, что конец вашего путешествия был менее благополучен, чем начало [4].

Вы, вероятно, тоже желаете поскорее узнать что-нибудь о наших делах, но они, увы, все еще так непригожи, что мы все откладывали со дня на день писать вам. Закладной у нас все еще нет, хотя комиссионеры бегают каждый день и постоянно оживляют наши надежды, которые иногда совсем уже близки к потуханию. Средства наши тоже быстро истощаются, и, если до 20-го не произойдет какой-нибудь решительной перемены к лучшему, придется созвать кредиторов и отдаться на их милость.

Вы сами можете представить себе, как невесела эта перспектива, тем более что, как на грех, и бани наши шли эту неделю очень туго; уверяют, что это по случаю очень сильных морозов, доходящих до 20°; но тем не менее все это еще способствует к увеличению нашего уныния.

Нашелся один господин, предлагающий взять наши бани в аренду; это купец Гандарин, он уже 15 лет держит в аренде какие-то бани на той стороне и дает нам очень хорошую цену — 40 000 в год за дом и бани вместе, причем все расходы по содержанию бань, ремонту, чистке улиц и т. д. (исключая только страховки и городских повинностей) ложатся на него, а мы имеем только право присматривать, при посредстве нашего архитектора, чтобы он не запускал бани, а ремонтировал их как следует. Все эти условия прелестные; контракт на 10 лет.

Но вот беда, он дает нам лишь самый пустяшный залог — 2000 и аренду платит за месяц вперед. Правда, что он предлагает неустойку в 10 000 на случай какого-нибудь нарушения контракта с его стороны, но ведь, поди потом, ищи с него эту неустойку, если он чего доброго бани попортит, а сам сбежит. Говорят,

что он человек состоятельный, но ведь кто же знает, что в чужом кармане делается. Недвижимого же имущества у него только именье в Московской губернии, но каково оно, бог ведает.

Ивашинцев не советует нам заключать с ним контракт при подобных условиях, уверяя, что и закладную мы найдем тогда труднее и кредиторов своих обозлим. Гьесс уверяет совершенно противное, а кто из них прав, мы сами не знаем, и потому находимся в величайшей и томительнейшей нерешительности. Если Гьесс представит нам действительно какую-нибудь закладную, согласную на этих условиях, то мы решимся сдать бани в аренду, в противном же случае созовем кредиторов и предоставим все на их волю.

Володя в начале этой недели как будто приободрился немножко; виделся раза два с Сеченовыми и произвел на обоих отличное впечатление; теперь же он опять сильно упал духом, что впрочем довольно понятно при теперешнем положении вещей. Я потому и пишу вам сама, что он вряд ли и скоро на это соберется, а все будет откладывать.

В воскресенье под утро я собираюсь поехать к доктору Сикорскому (по нервным болезням), которого рекомендовал мне Сеченов; говорят, это молодой и умный человек, а ввиду тех тяжелых минут, которые нам может быть предстоят в очень недалеком будущем, чрезвычайно важно укрепить какими-нибудь средствами нервы Володи.

Перед Вами, дорогой Александр Онуфриевич, мы тоже очень виноваты; все еще не написали того векселя, о котором сговорились; но каждый день приносит столько настоятельнейших работ, что это просто из головы вышло; в воскресенье увижу также Ивашинцева и обстоятельно порешу с ним это дело.

Пишите нам скорее, Александр Онуфриевич. Жму вашу руку.

Преданная Вам С. К о в а л е в с к а я.

P. S. 200 000 тысяч [1] мы, увы, не выиграли.

Прости, дружок, что только приписываю к письму Софы; хлопот, и хлопот бесполезных, очень много, и трудно урвать свободный час. Дела идут к дурному исходу, и я нимало не обольщаю себя относительно этого.

Благодарю, милый мой, за ободрительные слова твоего письма, но ладья наша так свихнулась, что направить ее на хорошую дорогу, я полагаю, уже невозможно. Стотысячная закладная Федорова, о которой толковали при тебе, оказалась,

конечно, пуфом, как я и предсказывал, и я не имею надежды получить даже и 50 тысяч, так как никто не хочет итти поверх Тульского банка.

Креплюсь, надеюсь выдержать и, имея твою милую и дорогую личность на конечном горизонте, буду терпеть, пока можно будет приехать и обнять тебя и делить вместе горе, а может, и радости, если судьба улыбнется даже после этих ударов.

Поклон Тане и поцелуй детям.

Сеченовы оказались такие милые и симпатичные, что и выразить нельзя.

Твой Владимир.

Береги себя, не волнуйся, помни как ты дорог всем; поспрошай о возможных местах в Обществе пароходства или где-нибудь для меня.

Крепко целую тебя.

30. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[*Москва, начало октября 1880*]

Что это значит, дорогой Александр Онуфриевич, что от вас так давно нет писем? Вы нас последнее время избаловали частыми письмами, а потом вдруг перестали писать, и мы невольно беспокоимся, все ли у вас благополучно. У нас это последнее время было весьма оживленное, и мы оба, в особенности Володя, входим в прежнее состояние усиленного Proektenmachen * [2].

Володя уже, конечно, писал вам, что его избрание в штатные доценты [3] при здешнем университете становится довольно вероятным и что он этого весьма сильно желает, так как надеется комбинировать служение маммоне со служением геологии.

Что до меня касается, то я было подала прошение о допущении меня к магистерскому экзамену, но Бабухин и Снегирев [4], услышав об этом, пристали к Володе с тем, чтобы я взяла прошение обратно, ибо в университете существует весьма сильная партия ненавистников женского вопроса, которых рассуждения обо мне могут восстановить и против Володи, что значительно повредит вопросу о его избрании. Хотя Бугаев [5] и утверждает, что это все вздор, но я все-таки не желаю итти на риск и решилась магистерство отложить.

Но так как без магистерства мое пребывание в Москве в отсутствие Володи становится совершенным абсурдом, то я ре-

---

* Прожектерство.

шилась пойти на некоторую издержку, но зато уже употребить это время с большей пользой для себя и для моих занятий, т. е. поехать на два-три месяца в Берлин, к Вейерштрассу. Фуфу и Марью Дмитриевну [1] я, конечно, возьму с собой.

Само собою разумеется, что поездка эта будет сопряжена со значительными расходами, но если бы вы знали, дорогой Александр Онуфриевич, как трудно удержаться на стезе благоразумной экономии, когда вращаешься постоянно в какой-то атмосфере миллионов! Впрочем, я право считаю, что не грех мне пожертвовать несколькими сотнями рублей, когда из этой поездки может выйти для меня очень значительная польза. Володя тоже совершенно такого же мнения и вероятно через неделю мы оба пустимся в путь.

Я, правда, опасаюсь несколько длинного путешествия для Фуфы, но она так хорошо выдержала прежние путешествия, что надеюсь и это сойдет ей даром. В Берлине же ей будет не хуже, чем в Москве.

31. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

[Москва, октябрь 1880]

Дорогой Александр Онуфриевич!

Третьего дня Володя утром уехал за границу и сегодня поутру уже вероятно в Берлине. Он, конечно, писал вам, что его избрание в университет становится чрезвычайно вероятным и что он сам этому чрезвычайно доволен, так как надеется комбинировать служение геологии со служением маммоне.

Что до меня касается, то мои дела идут далеко не столь блестящим образом; несмотря на то, что и профессор Давидов и ректор Тихонравов [3] лично обращались к министру с просьбою допустить меня к магистерскому экзамену, но министр решительно отказал и даже одному моему знакомому, д-ру Покровскому, тоже имевшему случай говорить с министром, выразился так, что и я и дочка моя успеем состариться, прежде чем женщины будут допущены к университету. Каково? Кто бы мог ожидать подобного от столь либерального молодого человека, как наш Сабуров! [4]

Для меня это вдвойне досадно, потому что никогда мне не было бы так удобно держать экзамен, как именно теперь. За лето я успела подготовиться так, что могла бы приступить к экзамену хоть сейчас, тем более что здешние математики все относятся ко мне очень сочувственно, требования ставят самые законные, да и мою (ненапечатанную еще) работу, извлечение из

которой я сообщила нынешнею зимою на съезде, признают совершенно годною для магистерской диссертации [1].

Ну что же делать! Ввиду того, что мне теперь особенно важно наготовить как можно больше математических работ, чтобы хоть этим поддержать нашу женскую репутацию, я решаюсь на довольно тяжелый для меня риск, а именно: собираюсь уехать на месяц или полтора в Берлин, а дочку мою оставить здесь на попечение Юли Лермонтовой и Марьи Дмитриевны. Мне бы, конечно, гораздо и приятнее и спокойнее было взять ее с собою, но здесь все пугают меня опасностями зимнего путешествия для маленького ребенка, и я думаю действительно для Фуфы полезнее оставаться в Москве, чем тащиться со мною в Берлин, где она, конечно, будет лишена многих удобств, которыми пользуется здесь. Здоровье ее довольно удовлетворительно в том смысле, что она не хворает, но развивается она, на мой взгляд, очень медленно, и в особенности мало говорит, но это, может быть, зависит и от того, что мы слишком торопимся удовлетворить все ее потребности, так что ей и надобности нет изощрять свои разговорные способности.

Прощайте, дорогой Александр Онуфриевич.

Помните ли вы, что почти обещали мне, если только будет малейшая возможность, навестить нас зимою в Москве. То-то было бы хорошо, если бы вы приехали к нам после праздников, когда мы все опять соберемся после наших различных ausschweifungen*.

Мы с Володей все думаем о том, как бы так устроить, чтобы жизнь наша шла теснее с вашей. Помогите и вы нам в этом. Ведь и для нас и для наших детей, конечно, очень важно держаться все дружнее и ближе друг к другу.

Передайте мой поклон Татьяне Кирилловне и поцелуйте за меня всех деток. Как идут занятия Веры? Не трудно ли ей в гимназии с девочками, которые все старше ее? а как вы устроились с Володей и Лидой? У вас ли еще m-lle Hübsch? Делают ли дети успехи в музыке? Как здоровье попугайчиков и обжился ли у вас новый пришелец? Как ужасно ваше происшествие с паровиком! Дома ли были в эту минуту дети и какое на них это произвело впечатление? Я думаю, такая неожиданная и внезапная опасность должна была сильно повлиять на их нервы и усилить те страхи, которым все они, особенно Володя, были подвержены по вечерам.

Прощайте, жму вашу руку.

Преданная вам Софья Ковалевская.

---

* Излишеств, беспутств.

Если вы ответите мне скоро, то письмо ваше еще застанет меня в Москве.

Из Берлина я опять напишу вам.

32. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ[1]

[3 февраля 1881] Москва, Петровские линии, № 9

Многоуважаемая, дорогая Анна Григорьевна!

С каким чувством глубокой, невыразимой скорби прочла я в газетах известие о смерти Федора Михайловича, я и высказать вам не могу. Хоть я убеждена, что вам теперь не до писем и не до соболезнований, но вы, верно, не рассердитесь на меня, что я не могу утерпеть и сказать вам, что та глубокая и искренняя привязанность, которую я с самого детства питала к вашему мужу и которую я теперь невольно переношу на всех близких и дорогих ему, делает меня вполне участницею в вашем горе.

Дорогая, голубушка, Анна Григорьевна, поверьте, что вы имеете во мне очень преданного друга и если когда-нибудь вам встретится надобность в таком, то я буду очень счастлива, если вы вспомните обо мне. Я не пишу вам больше сегодня, так как боюсь надоесть вам длинным письмом в такую минуту, но я надеюсь, что вы найдете как-нибудь свободную минутку написать мне о себе самой и о ваших детях.

Память о дорогом покойнике никогда, никогда не изгладится из моего сердца, и хотя в последние годы мы, повидимому, и не были так близки с ним, как прежде, но я никогда не переставала чувствовать к нему самой живой привязанности и самого глубокого благоговения. И вы и дети ваши кажутся мне теперь очень близкими существами и я надеюсь, что, в память о нем, не будете смотреть на меня, как на чужую.

Я живу теперь в Москве, и как я скорбела, что не могла взглянуть в последний раз на его милое лицо, я и сказать вам не могу.

Простите, голубушка, за это письмо и дайте знать о себе и о детях вполне преданной вам С о ф ь е К о в а л е в с к о й[2].

33. СОФИИ АДЕЛУНГ[3]

[Москва, март 1881].

Дорогая Соня!

Согласно моему обещанию, посылаю тебе автографы всех наших «знаменитых» знакомых, которые мне удалось раздобыть; письмо Джорж Эллиот (уже подписанное М. Кросс), Миттаг-

Леффлера, известного шведского математика, Крукса, английского физика, а также рукописи Лэббока, Флауера, Годвин Аустина, Брэди и Циттеля, все известных естествоиспытателей, последний из них — профессор палеонтологии в Мюнхене[1]. Я просила Федю передать тебе записку, полученную мною в Петербурге от Софьи Ивановны Сазоновой, урожденной Смирновой; под этой фамилией она написала много хороших романов, так что она занимает довольно видное место среди русских писательниц.

В настоящее время моя подруга Юлия Лермонтова занята серьезной работой по химии, она ее уже почти закончила, и результаты ее должны найти себе весьма важное техническое применение; быть может, благодаря этому станет настолько «известной», что я должна буду послать тебе и ее автограф, но пока «je me retiens» *.

Когда вы думаете оставить Петербург? Что касается меня, то я твердо решила выехать во вторник на страстной неделе, но я до сих пор не уверена, следует ли мне ехать через Варшаву или через Петербург; я была бы тебе очень обязана, если бы ты мне написала (но немедленно же по получении этого письма), как у вас прошла дорога из Берлина в Петербург, удобны ли вагоны, нужно ли вам было пересаживаться в Эйдкунене? Я страшно боюсь путешествовать с ребенком и буду очень рада, когда прибуду в Берлин. Я надеюсь, что вы, проездом в Берлине, не забудете навестить меня. Кажется, Вейерштрассы сняли для меня квартиру на Потсдаммерштрассе, 134а; однако это еще не достоверно; возможно, что со времени его последнего письма коечто и изменилось, но у них, в их квартире на Линкштрассе 33, вы всегда узнаете мой адрес.

От души целую тебя и прошу передать мой поклон тете С. и Ольге.

Твоя любящая тебя кузина Софа.

В. О. шлет вам привет и очень сожалеет, что не мог навестить вас в Петербурге. Накануне моего отъезда из Петербурга я обедала с одним из директоров технической школы рисования на Малой Морской; на следующее утро он водил меня по своей школе и по находящемуся при ней музею. Знаешь ли ты это учреждение? Я думаю, что ты нашла бы там многое, что тебя заинтересовало бы, в особенности понедельничные классы живописи маслом с натуры.

Твоя С.

---

* Я воздерживаюсь

34. Г. МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРУ [1]

Берлин, 7 июня 1881 г.

Что касается ваших прекрасных планов относительно Гельсингфорса, касающихся лично меня, то я должна признаться, милостивый государь, что я никогда в них серьезно не верила, несмотря на то, что очень желала их осуществить. Я не намерена также возлагать слишком большие надежды на Стокгольм; однако признаюсь, что я была бы в восторге, если бы мне представился случай приложить свои математические знания к преподаванию в высшей школе,— функции профессора заключают в самих себе нечто благородное, что всегда сильно привлекало меня. Не говоря уже о том большом значении, какое обязанности доцента имели бы в моей жизни, я была бы в восторге открыть новую карьеру женщинам... Но, повторяю, я не хочу слишком предаваться этим прекрасным проектам, которые, вероятно, будут иметь такую же судьбу, как большинство прекрасных проектов на земле.

35. Г. МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРУ [2]

Берлин, 8 июля 1881

Приношу вам живейшую благодарность за все ваши хлопоты о моем назначении в Стокгольмский университет. Что касается меня, я всегда с радостью приму место доцента университета. Я никогда не рассчитывала ни на какое другое положение и, признаюсь вам в этом откровенно, буду чувствовать себя менее смущенной, занимая скромное место; я стремлюсь применить свои познания и преподавать в высшем учебном заведении, чтобы навсегда открыть женщинам доступ в университет; теперь, как бы то ни было, этот доступ есть исключение или особая милость, которой всегда можно лишить, что́ и произошло в большинстве германских университетов.

Хотя я и не богата, но располагаю средствами для того, чтобы жить вполне независимо; поэтому вопрос о жалованье не может оказать никакого влияния на мое решение. Я желаю главным образом одного — служить всеми силами дорогому мне делу и в то же время доставить себе возможность работать в среде лиц, занимающихся тем же делом; это счастье никогда не выпадало мне на долю в России...

Все это мои личные желания и чувства. Но я считаю себя обязанной сообщить вам также следующее.

Профессор Вейерштрасс, основываясь на существующем в Швеции положении дел, считает невозможным, чтобы Стокгольмский университет согласился принять женщину в число своих профессоров, и, что еще важнее, он боится, чтобы вы не повредили сильно сами себе, настаивая на том нововведении. Было бы слишком эгоистично с моей стороны не сообщить вам этих опасений нашего уважаемого учителя, и вы, конечно, поймете, что я пришла бы в отчаяние, если бы узнала, что вы за меня поплатились какой-нибудь неприятностью.

Я полагаю поэтому, что теперь, быть может, было бы неблагоразумно и несвоевременно начинать хлопотать о моем назначении: лучше подождать до окончания начатых мною работ. Если мне удастся выполнить их так хорошо, как я рассчитываю, то они послужат к достижению намеченной цели [1].

36. В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

Marienbad. Rudolfshof. [*Август 1881*].

Дорогой мой дружок!

Не получая так долго ответа на мои письма и депешу и не зная, что ты на заводе (так как не предупредил меня), я поняла собственно, что ты не особенно желаешь нашего приезда, и поэтому решились поехать в Мариенбад, где, как тебе известно, и нахожусь в настоящую минуту. Но из сегодняшнего твоего письма (адресованного еще в Берлин) вижу, что ты, наоборот, очень рассчитываешь на наш приезд; и действительно, если ты считаешь разумнее не делать даже попыток урваться за границу в августе, то я, с моей стороны, считаю совершенно необходимым нам приехать к тебе хотя на время, и, скрепя сердце, готова пожертвовать моею надеждою посмотреть на Парижскую выставку.

Я знаю, что ты человек такой милый и внимательный к чужим интересам, что верно опять найдешь возможность отпустить меня за границу, когда работа моя подойдет к концу. Поэтому, получив это письмо, телеграфируй мне приехать, и мы немедленно выедем. Только в таком случае непременно найми нам помещение у Якунчикова. Прошлогоднее пребывание в Семенкове [3] оставило и во мне и в Марье Дмитриевне такое отвратительное воспоминание, что я не желала бы опять там жить, и, по моему

мнению, у Якунчикова в десять раз удобнее. Поэтому, дружок, если желаешь заполучить нас обратно, то найми комнаты четыре с кухней у Якунчикова и телеграфируй нам. Сохранил ли ты прежнюю кухарку? И где теперь Дуняша?

Я не жалею, что поехала в Мариенбад, потому что здесь так мило и, я надеюсь, так полезно для Фуфы. Мы решительно живем в лесу: проснувшись и одевшись, тотчас отправляемся все вместе в лес, пьем кофе в каком-нибудь кафе, потом идем дальше или располагаемся где-нибудь в тени до часу; обедаем в первом попавшемся ресторане, потом опять гуляем до вечера, а домой возвращаемся только спать.

Фуфа так отлично лазит по горам, что могла бы пристыдить и старше детей. Она почти всюду сопутствует нам и на усталость едва жалуется даже в таких случаях, когда Марья Дмитриевна едва волочит ноги. Право, я чувствую, что из нее выйдет Ида Пфейфер.

Представь себе, какую странную мы недавно сделали встречу. Мы шли вдвоем с Кларою Вейерштрассе и заблудились; вдруг видим какую-то даму в очень поэтической позе и углубленную в чтение газет. Клара подошла к ней, чтобы справиться о дороге, та отвечала по-немецки; вдруг, увидя меня, обращается ко мне по-русски: «Вас ли я вижу, г-жа Ковалевская!» Я, конечно, не узнала ее; но оказывается, что это не кто иной, как знаменитая женщина О. К. [1] В Мариенбаде она, кажется, немного à sec * поклонниками: они все еще только должны прибыть сюда наднях, как она сообщила мне; о теперешнем же оскудении я сужу по той стремительности, с которой она присоединилась к нам и тотчас отправилась с нами обедать.

Но вот что всего смешнее: я еще в Берлине в веселую минуту рассказывала Вейерштрассам несколько анекдотов о нашей московской знаменитости, так что О. К. была уже у них давно популярною личностью. При встрече с ней я не назвала ее по имени и старалась даже вести с ней разговор все более по-русски; но не прошло и полчаса, как все они догадались, кого они перед собою видят, и без всякой рекомендации с моей стороны, немедленно признали именитую приятельницу Гладстона [2].

Впрочем, бедный Гладстон теперь, вероятно, повесится от ревности; увы, он замещен и кем же? Все тем же, всюду поспевающим, на все готовым, ни с кем не сравнимым Кони. О. К. путешествовала с ним в одном купе из Петербурга (он обре-

---

* Оставлена без...

тается теперь в Киссингене), и одна из ее первых фраз была: «О m-me Ковалевская, я должна показать вам, какое очаровательное письмо я получила сегодня от нашего милейшего Кони» [1]. И я не расхохоталась, а сделала самое сочувственное лицо и стала расспрашивать.

Прощай, дружок мой милый. Буду ждать в Мариенбаде телеграммы от тебя.

Твоя Софа.

37. НЕИЗВЕСТНОМУ [2]

[Берлин] 21 ноября 1881 г.

Прошлой осенью я начала работу об интегрировании дифференциальных уравнений в частных производных, которые встречаются в оптике в вопросе о преломлении света в кристаллической среде. Это исследование уже достаточно продвинулось вперед, когда я возымела слабость отвлечься работой над другим вопросом, который вертелся у меня в голове почти с самого начала моих математических занятий и о котором я одно время думала, что другие исследователи опередили меня.

Он касается решения общего случая вращения тяжелого тела вокруг неподвижной точки при помощи абелевых функций... [3] [Впоследствии исследования относительно условий устойчивости и аналогия с другими динамическими задачами] снова оживили мой пыл и возбудили во мне надежду решить эту задачу при помощи абелевых функций, аргументы которых не являются линейными функциями времени. Эти исследования показались мне настолько интересными и прекрасными, что я на время забыла всё остальное и предалась им со всей горячностью, на какую я только способна... Вычисления, к которым я пришла, пользуясь этим способом, настолько трудны и сложны, что пока я еще не могу сказать, достигну ли я желанной цели. Во всяком случае, в течение двух-трех недель, не более, я надеюсь узнать, чего мне держаться, и г. Вейерштрасс утешает меня, что даже в худшем случае я могу всегда обратить задачу и постараться определить, под влиянием каких сил получается вращение, переменные которого могут быть выражены в абелевых функциях,— задача, правда, довольно тощая и далеко не представляющая такого же интереса, как та, которую я себе поставила. Однако, в случае неудачи я должна удовлетвориться ею...» [4].

38. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ[1]

[Париж, февраль 1882]

Дорогой Александр Онуфриевичь!

Эти два дня Фуфа продержала нас между страхом и надеждою — корь у нее или не корь. Доктор, приходивший каждый день, все утверждал, что очень часто корь именно так начинается, и так как теперь мы окружены эпидемиею кори у Monod (Герценовых) все четверо детей его больны[2], то все вероятия были за корь. Но вот сегодня у нее совершился заметный поворот к лучшему, лихорадка спала, явился аппетит, кашель ослаб, а сыпи все нет; даже те красные точки на щеках и на груди, на которые указывал доктор, и те почти исчезли. Можно, следовательно, надеяться, что это был у нее просто бронхит и что вся история окончится поэтому гораздо скорее, чем можно было опасаться.

Я так напугана этой историей, что с величайшей радостью привезу ее к вам, лишь только это будет возможно; раньше недели, конечно, нечего и думать о выезде (так как она сегодня еще в постели), но через неделю, если только это будет возможно, необходимо выехать, иначе придется заплатить лишние 100 франков за квартиру.

Напишите мне, пожалуйста, тотчас по получении этого письма, точно ли это, что Фуфа с Марьей Дм. не стесняет вас и могу ли я оставить их у вас до конца мая.

Чем больше я думаю, тем яснее вижу необходимость создать себе какое-нибудь положение, а для этого мне необходим покой; кончать работу с этой вечной заботой и о ее здоровье и о деньгах я решительно не могу, а с окончанием моей работы связаны все мои будущие планы. Поэтому, приютивши ее, вы действительно окажете мне очень большую услугу.

39. Г. ФОЛЬМАРУ[3]

[Париж] 2 апреля 1882 г.

Не думаете ли вы, что настала пора, когда надо вновь вызвать к жизни подобное учреждение[4] только с более строгой организацией и с более определенными целями. Я особенно утверждаюсь в этой мысли при наблюдении нашей русской эмиграции, погибающей от недостатка деятельности. И все-таки, не думаете ли вы, что эта эмиграция, бесспорно проявляя энергию,

и здесь, в Западной Европе, могла бы сослужить хорошую службу при хорошем руководстве. В последнее время я много фантазировала на эту тему. Однако я боюсь, что вам, увлеченному действенной борьбой, мои фантазии покажутся крайне непрактичными [1].

40. Г. ФОЛЬМАРУ

[Париж] 4 мая 1882

Если бы вы только знали, мой дорогой друг, как завидую я вам, по крайней мере в этот миг, за возможность принимать участие в политической борьбе и содействовать успешному достижению столь святой и столь желанной цели.

Я, право, думаю, что при современных условиях спокойное буржуазное существование для честного и мыслящего человека возможно только в том случае, если намеренно закрыть на все глаза, отказаться от всякого общения с другими людьми и отдаться исключительно абстрактным, чисто научным интересам. Но тогда следует самым тщательным образом избегать всякого соприкосновения с действительной жизнью; иначе возмущение несправедливостью, которую видишь всюду вокруг себя, станет так велико, что все интересы побледнеют перед интересами великой экономической борьбы, развертывающейся перед нашими глазами, а искушение самому вступить в ряды борцов станет слишком сильно.

До сих пор я сама всегда придерживалась первого. В эпоху французской Коммуны [2] я была еще слишком молода и слишком сильно влюблена в мою науку, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит вокруг меня. С того времени я не выходила из тесного круга моих товарищей по науке и некоторых семейных друзей. Я сама, правда, считала себя за социалистку (в принципе и с некоторыми оговорками), но должна вам признаться, что решение социального вопроса казалось мне столь далеким и темным, что захватывающе отдаваться этому делу мне казалось не стоющим для серьезного ученого, способного сделать нечто лучшее.

Но теперь, после того как я прожила пять месяцев в Париже и вошла в тесное общение с социалистами разных национальностей, даже нашла среди них одного очень дорогого мне друга [3], для меня все совершенно переменилось. Задачи теоретического социализма и размышления о способах практической борьбы теснятся передо мною столь неотразимо, так занимают меня постоянно, что я действительно с трудом только могу принудить

себя сосредоточить мои мысли на моей собственной работе, так далеко стоящей от жизни.

Нередко даже мною овладевает мучительное чувство, что то, чему я отдаю все мои помыслы и мои способности, может представлять некоторый интерес только для очень небольшого числа людей, тогда как теперь каждый обязан посвятить свои лучшие силы делу большинства. Когда мною овладевают подобные мысли и сомнения, я весьма склонна завидовать тем, кто уже так захвачен практической деятельностью, что им не остается больше никакого выбора и никакой возможности самостоятельного решения, ибо вся их деятельность строго предписывается обстоятельствами и требованиями их партии.

И каким облегчением было бы для меня в такие минуты поверять все эти мучающие меня думы и сомнения моему другу и предоставить ему хотя бы кое в чем наставлять и поучать меня. Да, верьте мне, друг мой, ваша дружба мне очень дорога и, может быть, никогда еще в моей жизни, как теперь, я так не нуждалась в друге и не сумела бы понять счастья иметь такого друга и оценить его.

С дружеским приветом ваш искренний друг С. К.

41. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[Париж] 24 июля [1882]
St. Mandé. Grande Rue, 7 (Près de Paris)

Дорогой Александр Онуфриевич!

Сейчас принесли мне конверт, надписанный вашею рукою, на мое имя. Открываю — послание к какому-то «дорогому» Михаилу Александровичу. А мое письмо пошло, следовательно, к нему. Ужасно как это досадно; надеюсь, по крайней мере, что вы не чересчур ругали меня в этом письме.

Фуфа здорова, очень, весела, бегает в саду, но сегодня объявила, что ей скучно без ваших детей, особенно без Веры, хотя здесь у нее тоже есть товарищи — Юрик и одна очень миленькая французская девочка ее лет.

Напишите мне совершенно откровенно, дорогой Александр Онуфриевич, действительно ли вы согласны взять Фуфу на зиму? Я просто не вижу возможности, как мне иначе устроиться с нею, особенно в виду необходимости поехать в Штокгольм в начале [2] ноября. Я не решаюсь взять предлагаемое мне там место privat docent'а иначе, как побывав там наперед и самой

убедившись в тамошних Verhältnissen *. Говорят, там жизнь гораздо дороже, чем в Петербурге.

Сегодня меня выбрали членом здешнего математического общества и в будущий сеанс я буду читать там небольшое сообщение об одном вопросе, которым занималась между прочим. Главную работу я приберегаю для Штокгольма.

Напишите мне, пожалуйста, поскорее и пообстоятельнее.

Кланяюсь Татьяне Кирилловне и целую ваших деток. Преданная вам Софья Ковалевская.

Сделайте милость, напишите мне, согласились ли бы вы удержать М. Д. при Фуфе, если я найду возможность уделять [1] фр. 100—150 в месяц на ее жалованье и содержание. Чем больше я ее вижу, тем жальче мне становится терять такого все-таки преданного человека и лишать Фуфу все же очень сильной и давней привязанности, когда ей, бедняжке, и без того приходится жить далеко от родителей. Я думаю [2], книги и бани обеспечат мне рублей 200 в месяц. Я вполне согласна брать из них только 150, а 50 уделять Фуфе и ее няне. Конечно, это немного, но ведь есть теперь надежда, если Феде и Колюбакину удастся продать бани и книги, что у меня, а следовательно, и у Фуфы будет и больше.

Уверяю вас, что и Фуфа очень любит М. Д. и также réciproquement **. Я убеждена тоже, что другая няня никогда не будет посвящать себя ребенку с таким самопожертвованием, как М. Д. Довольно я насмотрелась на наших нянь.

42. Г. ФОЛЬМАРУ [3]

[Париж, начало 1883]

Я со своей стороны говорила с ним [4] достаточно откровенно и обратила его внимание на особенности моих личных обстоятельств, которые могли бы сделать неприятным мое положение в подлинно-буржуазном обществе. Так, например, во-первых, я русская и тем самым подозрительная по нигилизму (что в данном случае недалеко от действительности); во-вторых, я не живу со своим мужем, а каждая женщина, по каким бы то ни было причинам разошедшаяся со своим мужем, в глазах каждой доброй и благомыслящей матроны является лицом двусмысленным и подозрительным. А в таких случаях об ученых женщинах судят хуже, чем о других.

---

* Обстоятельства

** Взаимно.

Что я в этом отношении не преувеличиваю, вижу я совершенно ясно по здешним математикам, с которыми я за последнее время познакомилась. Они усердно посещают меня, осыпают меня любезностями и комплиментами, но никто из них не познакомил меня со своей женой, и, когда я шутя обратила на это внимание одной знакомой дамы из этого круга, она смеясь ответила мне: «Госпожа Гермит (жена виднейшего здешнего математика) никогда бы не приняла в своей гостиной молодую женщину, которая одна, без своего мужа, проживает в меблированных комнатах».

Вы можете себе представить, что подобные глупости здесь, в Париже, трогают меня очень мало. В Стокгольме это могло бы быть совершенно иначе. Все это я тоже сказала Миттаг-Леффлеру [1].

43. А. В. ЖАКЛАР [2]

[*Париж. Июнь 1883*]

Милая Анюта!

Извини меня пожалуйста, что я так долго не отвечала на твои добрые и милые письма. Я все это время, как ты легко можешь представить себе, была далеко не в таком настроении духа, чтобы говорить о себе. Завтра я уезжаю в Берлин, чтобы повидаться с Вейерштрассом насчет моей работы и решить что-нибудь окончательное относительно моих планов на зиму. По всей вероятности, я пробуду там около месяца.

Если только это окажется возможным, я очень желала бы поехать на зиму в Штокгольм из-за моей профессуры; только в таком случае мне много придется работать над моим курсом.

Так как все вероятия, что тебе зиму тоже придется провести в Петербурге, то это служит для меня, разумеется, большим attrait *, что зимою все же раза два можно будет увидеться, так как Штокгольм в сущности очень близко от Петербурга.

А Париж как-то совершенно переменился с прошлого года; такой стал противный; я его решительно не узнаю. Я начинаю подозревать, что у меня есть какой-то злой бес, attaché à mes trousses **; когда я переехала в Париж, он было потерял мои следы, но тут вдруг снова отыскал меня and has regained his own with a vengence ***.

---

* Влечением.
** Гонится за мной по пятам.
*** И снова мстительно возвращается.

Ал[ександр] Онуфр[иевич] согласен покаместь удержать у себя Фуфу. Осенью, какие бы ни были мои планы, я все же непременно съезжу в Одессу и тогда решим окончательно, как с нею быть.

Вчера я была в S-t Mandé [1] у твоего мужа; застала и его и Юрика в добром здоровье. Юрик так вырос и возмужал, что просто чудо. Виктор очень доволен его поведением и даже от своего скверного недостатка он почти совсем отучился.

Как я рада, милая Анюта, что ты опять принялась за литературу. Вот странно устраивает судьба: опять вы живете вместе с Жанною. Если бы не так дорого стоили путешествия, как бы хорошо было съездить к вам и прожить с вами месяца два; я в сущности ужасно устала, так что иногда голова решительно отказывается думать; но делать нечего; работать надо еще очень много. Может быть, самое путешествие в Берлин уже несколько рассеет меня. До августа еще и думать нельзя об отдыхе.

Прощай, дорогая моя; пожалуйста напиши мне в Берлин по следующему адресу: Herrn Professor Weierstrass. Linksstrasse 33, pour remettre * à m-me Sophie Kowalewsky.

Если Танечка Шестакова достала рецепт помады, то, пожалуйста, пришли мне его; у меня от огорчения [2] и работы так стали падать волосы, что я совершенно прихожу в ужас.

Твоя сестра Софа.

44. Г. МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРУ [3]

[*Одесса, 28 августа 1883*]

Мне, наконец, удалось окончить одну из двух работ, которыми я занимаюсь в последние два года. Как только я достигла удовлетворительных результатов, первою моею мыслью было переслать мой труд немедленно вам для оценки, но профессор Вейерштрасс с обычной ему добротою принял на себя труд уведомить вас о результатах моих исследований. Я получила письмо, где он сообщает мне, что уже написал вам об этом и что вы ему ответили и просили торопить меня поскорее отправляться в Стокгольм, чтобы начать чтение приватного курса.

Я не нахожу выражений, чтобы достаточно сильно высказать, как я благодарна вам за вашу всегдашнюю доброту ко мне и как

* Для передачи.

счастлива, получив возможность выступить на ту дорогу, которая всегда составляла мою излюбленную мечту. В то же время я не считаю себя вправе скрывать от вас, что я во многих отношениях признаю себя весьма мало подготовленною для исполнения обязанностей доцента. Я до такой степени сомневаюсь в самой себе, что боюсь, как бы вы, всегда относившийся ко мне с такою благосклонностью, не разочаровались, увидя, что я мало гожусь для избранной мною деятельности.

Я глубоко благодарна Стокгольмскому университету за то, что он так любезно открыл передо мною свои двери, и готова всею душою полюбить Стокгольм и Швецию, как родную страну. Я надеюсь долгие годы прожить в Швеции и найти в ней новую родину [1]. Но именно поэтому мне хотелось бы не приезжать к вам, пока я не буду считать себя вполне заслуживающею хорошего мнения, которое вы обо мне составили [2].

Я сегодня написала Вейерштрассу, спрашивая его, не найдет ли он с моей стороны благоразумнее провести еще два-три месяца с ним, чтобы лучше проникнуться его идеями и пополнить некоторые пробелы в моих математических познаниях.

Эти два месяца, проведенные в Берлине, были бы в высшей степени полезны мне и в том отношении, что я имела бы случай видеться с молодыми математиками [3], которые или заканчивают в Берлине свои занятия, или начинают свою преподавательскую деятельность в качестве доцентов университета. Со многими из них я знакома еще со времени моего последнего пребывания в этом городе. Я могла бы сговориться с некоторыми из них, чтобы обоюдно сообщать друг другу результаты наших математических исследований, могла бы, например, изложить им теорию превращения абелевских функций, которою я теперь специально занимаюсь и с которой они совершенно незнакомы. Я могла бы воспользоваться этим, чтобы прочесть реферат, к чему у меня нет совершенно навыка, и тогда я приехала бы в Стокгольм в январе гораздо более уверенною в себе, чем теперь.

45. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [4]

[Москва. Октябрь 1883]

Дорогой Александр Онуфриевичь!

Я ужасно виновата перед вами, что так долго не писала вам, тем более что материалу для письма накопилось много. Но

я так страшно засуетилась и замучилась это время, что решительно не находила минутки свободной написать вам.

Начну теперь с самого важного. Вчера мне удалось после многих усилий достать у судебного следователя все частные бумаги Владимира Онуфриевича. Оказывается, что Владимир Онуфриевич уже 1 февраля сделал, вероятно, первую попытку лишить себя жизни, так как у него в бумагах нашлось несколько прощальных писем, помеченных этим числом. Одно из этих писем, самое длинное, вам, которое и пересылаю вам [1]; другое, в одну строку, Юле: «Простите, не мог иначе»; и, наконец, еще короткое письмо М. А. Боковой, в котором он прощается с нею и Сеченовым и спрашивает, не желала ли бы она взять Фуфу на воспитание.

Письмо к Ал. Языкову от 15 апреля мне не выдали, но только дали прочитать. Вот приблизительно его содержание: «Дорогой друг и товарищ, Алекс. Ив., я прошу тебя хоть несколько очистить мою честь обнародованием этой записки. Главною причиною моего конца — расстроенные дела, особенно дело Рагозина; но я перед смертью заявляю, что в течение всего моего директорства не сделал ничего сознательно недобросовестного; моя вина состояла лишь в том, что я, полагаясь на успех дела, неосторожно покупал паи, занимая деньги на это у родных и знакомых, а частью в кассе самого товарищества». Вот, приблизительно, содержание этой записки. Она обрывается на полуслове и не подписана. Мне обещали выдать точную копию с нее [2].

Когда же я пришла к следователю, его уже, очевидно, успели настроить против В. О. Следователь Вознесенский прямо объявил мне, что, по его мнению, В. О., зная о злоупотреблениях Рагозина, поддался на подкуп и умышленно скрывал их в течение года, подписывая в это время заведомо фальшивые балансы. Я постаралась изложить следователю все, что знала об этом деле, собрала все бумаги и записки, которые могла найти, и мне кажется, что мне удалось несколько изменить его воззрение. По крайней мере, он сам сказал мне, что теперь считает В. О. увлекавшимся, но честным человеком. Мне кажется, что следователь этот хороший и добросовестный. Он сказал мне тоже, что относительно ваших пяти паев у него нет ни малейшего сомнения, что правление возвратит их вам. Поэтому напишите ему прямо: «Судебному следователю Вознесенскому, в Окружной суд».

Все здесь говорят, что дело Рагозиных поднимется и что в недолгом времени за паи можно будет получить рубль за рубль. Вот будет счастье, если вы вернете ваши деньги!

Если вы вспомните что-нибудь, что может служить к очищению памяти В. О., или найдете в оставленных им бумагах какую-нибудь записку компрометирующего свойства для Виктора и Леонида Рагозиных, то пожалуйста, сообщите ему. Вы не можете вообразить себе, что это за тонкие, за ядовитые злодеи эти два брата. И вообразите себе, есть основание думать, что они уйдут безнаказанными, хотя нравственных доказательств их виновности несть конца. Они теперь только о том и стараются, как бы очернить память бедного В. О. Я вам сказать не могу, до какой степени я ненавижу этих двух злодеев!

Как я вам уже писала, книги и платье В. О. проданы с аукциона по распоряжению частного пристава. Что касается коллекции, то главная часть уже передана мне, хотя осталась пока в университете. Университет предложил мне купить гипсовые снимки и несколько находившихся у В. О. черепов ныне живущих животных за 400 рублей; на это я согласилась, так как это ценность коллекции почти не уменьшит; деньги будут мне выданы, вероятно, в декабре; за остальную коллекцию (за исключением пресноводных моллюсков и дубликатов, которые остаются мне) университет согласен заплатить 1000 рублей. Я просила подумать до будущего августа, когда приеду снова в Москву, составлю с помощью Павлова [1] каталог и подумаю, как лучше распорядиться ею.

Дела по всему этому у меня было такая пропасть, что я последнее время ни один день не ложилась ранее 2 и 3 часов ночи, вставала в 8 и весь день была впопыхах.

Я хотела во что бы то ни стало написать во время пребывания моего здесь статью в «Русскую мысль». Третьего дня я ее кончила и снесла в редакцию, а вчера Юрьев был у меня, статью мою очень похвалил и обещал напечатать в январской книжке «Русской мысли». Для декабрьской — материалов припасено уже давно. Сколько он заплатит за нее, он мне не сказал, но я намекнула ему, что смотрю на писание статей как на средства к жизни. Увидим, что бог даст. Статья моя — весьма туманно-философского содержания, озаглавлена «На рубеже знания», вам, вероятно, не понравится, если только вы дадите себе труд ее прочесть. Но Юрьев именно такого рода статьи любит [2].

Теперь я начала писать другую статью, гораздо короче и легче: биографию Джоржа Эллиот для журнала «Друг женщин», предложившего мне сотрудничать в нем. Но кончу я ее уже в Петербурге, так как уезжаю отсюда завтра с почтовым поездом.

В Петербурге мне придется пробыть еще недели две, а там и в Стокгольм. Mittag-Leffler предложил мне начать чтение

«о дифференциальных уравнениях с частными производными», по которым я именно работала главным образом и которые хорошо знаю. Я очень этому рада, и мне кажется, что будет большой шик, если женщина, начиная читать лекции, может будет говорить и о собственных исследованиях по этому предмету.

Фуфа значительно похудела и побледнела в Москве; на нее, очевидно, действует погода, которая здесь отвратительна. Мы с завистью читаем в газетах, что у вас цветут розы в городском саду.

Школа Сони Лермонтовой идет пока очень плохо, так как соучастница ее, г-жа Неведомская, довольно-таки бестолковая барыня. Между живущими у Неведомской детьми есть один очень скверный мальчик, так что Фуфе никак нельзя позволять оставаться с ними. Поэтому, так как сами Соня и Юля заняты почти целый день, то для Фуфы пришлось нанять специальную барышню, которая приходит к ней в 9 утра, а уходит в 9 вечера и получает за это 12 рублей в месяц. Та немочка, на которую мы рассчитывали, не может приехать ранее рождества, поэтому мы взяли другую барышню, очень молоденькую и не знающую никаких языков.

Вот, дорогой Александр Онуфриевич, все, что могу сообщить вам пока. Напишите мне, сделайте милость, в Петербург, Васильевский остров, 6-я линия, д. 15, на мое имя.

Крепко жму вашу руку и целую Татьяну Кирилловну и всех деток, в особенности Веру, которой очень благодарна за то, что она не забывает Фуфу.

Преданная вам С. К.

46. С. А. ЮРЬЕВУ [1]

[Стокгольм. Декабрь 1883?]

Многоуважаемый Сергей Алексеевич [2].

Я произвела в моей статье те поправки, на которые вы указали мне, и прибавила небольшое введение. Не знаю, останетесь ли вы теперь довольны мною; я старалась писать по возможности понятнее но, ведь это так трудно, когда речь идет о таких абстрактных вопросах [3].

В статье этой я привожу одно место из Фауста. Я думаю, необходимо приложить и русский перевод его; но так как у меня под руками русского перевода не имеется, то не потрудитесь ли вы сделать это? Извините, пожалуйста, что статья моя вышла такая беспорядочная по отношению к своему внешнему виду, но у меня решительно нехватает времени переписать ее.

Я нахожусь теперь в Штокгольме и недели через две [1], после нового года, начнутся мои лекции при университете. Все здешнее интеллигентное [2], общество, и профессора и студенты, приняли меня очень хорошо и относятся ко мне крайне сочувственно. Но между профессорами в Упсале у меня, говорят, есть много недоброжелателей. Надо вам сказать, что эти два университета, Штокгольмский и Упсальский [3], отстоят всего на полчаса езды по ж. д. друг от друга; но университет [4] в Упсале один из самых древних в Европе и [5] в настоящее время служит представителем самого ортодоксального традиционального и нетерпимого направления в науке; между тем как Шт[окгольмский] университет сосредоточивает в себе все молодые, свежие и преобразовательные силы Швеции.

Вы можете себе представить, какой между этими двумя университетами существует антагонизм! Вообще во всем шведском обществе идет теперь оживленная борьба между новым и старым, за которою я слежу с большим интересом. По внешним формам правления Швеция одна из самых свободных стран Европы; здесь можно говорить и писать решительно все, что угодно. Но за то здесь, так же как отчасти и в Англии, очень сильно влияние старых традиций в обществе и гнет общественного мнения давит здесь очень тяжело. Только в последние годы ворвались сюда всякие современные идеи об экономической несправедливости существующего строя общества, о равноправности [6] женщин с мужчинами, о несостоятельности положений принятой теологии и т. под. И как всегда бывает, когда эти идеи только что проникнут, словно откровения, в какое-нибудь общество, они были приняты крайне страстно и в некоторых частях общества привились крайне быстро.

Особенно сказалось это разумение на литературе. В самые последние годы здесь развилась целая школа молодых писателей [7], напоминающая мне несколько по своему страстному и живому отношению к вопросам то, что было у нас в России лет 15 тому назад, по крайней мере как оно представляется мне теперь из моих тогда еще детских воспоминаний.

Я уже настолько научилась шведскому языку, что читаю совершенно свободно и успела уже познакомиться довольно порядочно с литературой. Между молод[ыми] [8] писателями есть [9] несколько очень многообещающих: в главе их стоит бесспорно Стриндберг, человек чрезвычайно талантливый, но приверженец самого крайнего направления и в литературе и в жизни, и потому сделавшийся страшилищем и «козлищем искупления» всей «благомыслящей» части общества. Некоторые драмы Ипсона [10],

молодого норвежского представителя реалистического направления в литературе, тоже очень хороши. Наконец, есть здесь одна очень талантливая писательница г-жа Едгрен, тоже почитаемая здесь большою революционеркою.

Не было ли бы и для читателей вашего журнала интересно узнать нечто о здешней жизни и литературе? Я думаю, что я в течение зимы нашла бы возможность написать обзор того, что происходит в этом направлении в Швеции за последние годы, по крайней мере поскольку оно выражается в литературе; о явлениях здешней жизни я еще не считаю себя компетентною говорить, так как знаю их слишком мало, хотя мне и много приходится бывать в обществе, да притом и в очень разнородном.

Дела у меня, разумеется, ужасно много, а когда начнутся лекции, то будет, разумеется, еще больше, но я надеюсь, что время [1] хватит на все.

Прощайте, многоуважаемый [2] Сергей Алексеевич! Кланяйтесь, пожалуйста, от меня нашим общим знакомым Бугаеву и Ма. Мак. Ковалевскому. Я очень жалею, что так и не удалось нам встретиться с ним в Москве.

Преданная вам Софья Ковалевская.

Мой адрес: Stockholm, Kommandörsgatan 10, Hos Fru Vidmark, мое имя; или просто в Университет.

Я послала мою статью просто в редакцию вашего журнала, так как не помнила наверное вашего адреса. У меня такая ужасная память на имена и адреса [3].

47. М. В. МЕНДЕЛЬСОН [4]

Stockholm, Kommandörsgatan 10, Hos Fru Vidmark
26 декабря 1883 г. [5]

Дорогая моя!

Я не получала от вас никаких известий целую вечность, а последние вести, полученные мною через нашего приятеля Фольмара, не благоприятны [6]. Очевидно, дорогая, вы все еще болеете, а дела, которые ближе всего вашему сердцу, приняли печальный оборот.

«Рассвет» уже не выходит, а вашему другу Мендельсону грозит опасность быть выданным России, когда он отбудет заключение в Германии [7]. Если бы вы знали, как это огорчает меня. Хотя я не писала вам, но очень часто думала о вас, и так хотелось бы видеть вас и поговорить свободно, как это бывало часто

в это лето. Помните? Но — кто знает — встретятся ли опять наши пути?

Итак, я в Стокгольме. Мои лекции по математике в университете начнутся через каких-нибудь две недели, и я думаю со страхом о той минуте, когда в первый раз предстану перед моими слушателями.

Стокгольм — довольно красивый город. Что касается общества, то оно представляет такую смесь новых и свободных взглядов на патриархальном и чисто немецком фоне, что мне не удалось еще ориентироваться в этой обстановке.

У меня нашлось много друзей, но и много врагов; последние сосредоточены в Упсальском университете. Вы знаете, вероятно, что университет в Упсале (маленький городок на расстоянии одного часа езды от Стокгольма) существует несколько веков. В настоящее время эти два университета представляют собой два противоположных течения: Упсала является консервативным центром ортодоксальной науки и старых традиций; к Стокгольму уже стремится вся молодежь, люди свободомыслящие и все, кто только «rührig» * в Швеции.

Можете себе легко представить, что эти два университета очень соперничают между собой. Слушатели большею частью на стороне Стокгольма и наполняют его массами, несмотря на то, что Упсала обеспечивает им большие материальные выгоды. Этот факт служит большим поводом к озлоблению наших милых соседей по отношению к нам.

Когда в Стокгольме было официально объявлено о моих лекциях, упсальские студенты-математики немедленно вывесили эти объявления в своем ферейне, а это вызвало целый взрыв негодования среди упсальских профессоров. Одно заседание, продолжавшееся весь вечер, было посвящено очернению меня; они отрицали у меня всякие научные заслуги, намекали на самые чудовищные и вместе с тем смешные причины моего приезда в Стокгольм и т. п.

Одним словом, я не предполагала столько огня у этих честных и миролюбивых шведов. К несчастью, среди профессоров в Упсале имеются личности, пользующиеся большим влиянием в Швеции. Король, покровительствовавший сначала Стокгольмскому университету, убедился теперь, что это учебное заведение может стать центром вольнодумства и радикальных стремлений, и поэтому отвернулся от него...

---

* Подвижной, живой.

Вот как обстоят дела.
До свидания, дорогая. Жду от вас известий.

Софья Ковалевская.

48. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[Стокгольм. Декабрь 1883]

Дорогой Александр Онуфриевич!

Я ужасно виновата перед вами, что так давно не писала вам; но, право, время так горит у меня в руках, что не успеваешь сделать и половины того, что следовало бы сделать. Вот уже три недели как я приехала в Штокгольм, но лекции мои начнутся только после нового года, так как здесь уже начались рождественские каникулы.

Все газеты уже прокричали о моем приезде; профессора и та публика, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, относятся ко мне крайне дружелюбно; многие, в особенности барыни, даже восторженно.

С моими будущими слушателями я еще не познакомилась, но по отзывам о них это кажется все очень порядочный народ. О моих лекциях уже объявлено в университете и до сих пор на них записалось 12 человек, т. е. все, кто только занимается высшей математикой. Число их ведь вообще невелико.

Я, разумеется, трушу несколько этой страшной минуты, когда мне придется встать на кафедру и читать. Так много зависит от того, пойдут ли мои лекции на лад и получу ли я здесь штатное место.

Штокгольм довольно красивый город; много воды и довольно много зелени. Погода все это время стоит мягкая, но хмурая; впрочем, говорят, что нынешний год исключение и что обыкновенно бывает холоднее.

Одно ужасно досадно, это то, что я вздумала последние дни расхвораться. У меня было несколько довольно сильных лихорадочных приступов, после которых осталась полная потеря сна и аппетита, а через это и значительный упадок сил. Это тем досаднее, что у меня так много работы на руках.

Жизнь в Штокгольме очень патриархальная, но вовсе не дешевая. По-моему, здесь все гораздо дороже, чем в Петербурге. Квартира, стол и отопление обходятся мне 150 крон в месяц, около 85 рублей на наши деньги. Все туалетные вещи, которые

иногда приходится покупать, стоят ужасно дорого. Впрочем, может быть, когда я научусь языку, я сумею устроиться дешевле.

Шведский язык довольно трудный. Я уже понимаю хорошо не только то, что читаю, но и то, что говорят возле меня, но сама еще коверкаю язык страшно.

Для смеха переведу вам то, что написала обо мне одна демократическая газета на другой день после моего приезда в Штокгольм. «Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значущего лица. Нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом женщиной во всей Швеции».

Видите, вот я и в принцессы произведена! Лучше бы они мне жалованье назначили. Ну да, может быть, они и сделают это.

Прощайте, дорогой Александр Онуфриевич. Целую всех ваших деток и Татьяну Кирилловну от всей души.

Ужасно скучаю без Фуфы, да и известия доходят сюда из Москвы так долго.

Преданная вам Софья Ковалевская.

49. П. Л. ЛАВРОВУ[1]

Штокгольм [*декабрь 1883 г.*]
Kommandörsgatan 10, Hos Fru Vidmark

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Вы, верно, в большой претензии на меня за то, что я не ответила на ваше милое письмо; но я получила его незадолго до моего отъезда из Берлина и была в это время так по уши погружена в математику, что никак не собралась ответить. Ну а потом из России уж неудобно было отвечать, не сердитесь на меня и простите великодушно.

Ну вот я, наконец, в Штокгольме. После нового года начну читать лекции в университете о дифференциальных уравнениях; на них записалось уже довольно много слушателей. Вообще и профессора и публика (по крайней мере та часть ее, с которою мне приходится встречаться) относятся ко мне не только дружелюбно, но даже иногда и восторженно.

Для смеха переведу вам, что написала обо мне одна очень распространенная здесь демократическая газета на другой день

после моего приезда сюда: «Сегодня нам предстоит сообщить нашим читателям не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или т. п. высокого лица; нет, дело идет о совершенно другом и несравненно важнейшем: принцесса науки, г-жа Ковалевская, прибыла в наш город и будет читать лекции в нашем университете и т. п.».

Все шведы, с которыми мне приходится встречаться здесь, народ довольно либеральный. Вопрос о равноправности женщин ужасно живо интересует шведское общество в данную минуту. Социальный вопрос тоже стоит на очереди. До сих пор мне не удалось еще узнать, какое действительное положение социализма в Швеции; по крайней мере, в обществе к социализму в теории относятся с большим сочувственным интересом. Даже люди, занимающие здесь очень высокое положение в обществе, дерзают открыто признаться в сочувствии к социализму.

Говорят, что и сам король не относится к нему с ужасом. Впрочем, я не берусь еще сказать утвердительно, насколько этот интерес и сочувствие искренни и насколько тут играет роль в разговорах со мною желание сказать что-нибудь подходящее к тем убеждениям, которые мои собеседники предполагают во мне.

Норденшильд — известный путешественник, один из тех, которые всего живее относятся к этому вопросу, а в особенности желал бы знать положение социализма и нигилизма в России [1]. Я была бы вам очень благодарна, многоуважаемый Петр Лаврович, если бы вы нашли возможным указать мне на те издания русской революционной партии, которые появились за это последнее время и по которым иностранец мог бы составить себе понятие о целях и положении русской революционной партии в настоящее время.

Я думаю, что это очень полезно распространять здесь всеми способами сочувствие к нигилизму [2], тем более что Швеция такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно.

О том, что делается у нас на родине, могу вам сообщить мало интересного; я была там короткое время и совершенно была поглощена устройством личных дел и приготовлением к моему отъезду. Общее впечатление родины на меня было далеко не отрадное — апатия, общее недоверие и у всех одно откровенное желание, чтобы их оставили в покое.

Я не могла даже разузнать в России, точно ли Чернышевского вернули и в каком он находится положении [3]. Никому и в голову не приходит серьезно интересоваться этим. «Вернули — ну пусть вернули; здоров он или с ума сошел,— это не наше

дело!» Да, впрочем, пожалуй, если бы общество отнеслось иначе, то его бы, беднягу, и еще подальше услали.

Прощайте, многоуважаемый Петр Лаврович; пожалуйста, не поленитесь и сообщите о всех наших общих знакомых в Париже. Как поживает Никитина, где теперь Луцкий? Пожалуйста, сообщите его адрес: я как-нибудь соберусь и напишу ему [1].

Преданная Вам Софья Ковалевская.

50. М. В. МЕНДЕЛЬСОН [2]

Stockholm 14 Ostra Hummlegärdgatan
19 января 1884 г.

Моя дорогая!

Я очень тронута, что вы вспомнили о моем суеверии и прислали мне календарик на Новый год [3]. Я верю, что он принесет мне счастье, а пока я думаю о вас, дорогая, всякий раз, когда открываю его для того, чтобы записать в нем что-нибудь; а мысль о вас мне всегда приятна. Как грустно, что дела не идут удачно.

Меня глубоко тронула весть о бегстве рыжеволосого приятеля [4]. То, что он анархист, вполне согласно с его индивидуальностью и характером. Но, даже признавая анархизм как форму крайнюю и идеальную, долженствующую обеспечить мирную жизнь человеческому роду, нельзя не принять переходную форму правления как непременное следствие современного положения вещей. И как он может не понимать этого?

Каждая борьба требует организации со строгой дисциплиной, а для нас главный вопрос в борьбе. Будущие поколения, более просвещенные и освобожденные от устаревших уз, вероятно, скорее, чем мы, смогут избрать окончательную форму правления. Я не могу себе представить Дикштейна без вас. Кто же составляет теперь редакцию «Рассвета»? Скажите мне также, осуществилась ли предполагаемая коалиция русских и поляков [5].

Я писала недавно Лаврову, прося его написать, какие новые издания «Народной воли» вышли в свет и где я могу их найти, но не получила от него ответа. Если вы увидите его, дорогая, будьте добры спросить его, получил ли он мое письмо и может ли сообщить мне то, о чем я просила.

Я встретила здесь много людей, живо интересующихся социализмом, а главное, в таких кругах, где менее всего можно было ожидать этого. И мне кажется, что в Швеции есть доста-

точно людей, из которых можно было бы составить очень солидную социалистическую партию. Но этим должны были бы заняться главным образом немцы, потому что, на мой взгляд, здешние отношения во многом сходны с немецкими, с тою только разницею, что здесь гораздо больше свободы и что шведы, а в особенности норвежцы, ревностнее и более доступны для благородных идей, чем немцы.

Насколько последняя катастрофа, поразившая вашего друга (Варынского), вполне согласуется с тем представлением, которое я составила себе о нем на основании ваших рассказов! Но я не верю, чтобы таков был конец его пути. Человек энергичный, ловкий и предприимчивый, как он, найдет возможность вырваться из ловушки [1].

Прошу вас также написать мне о Мендельсоне, лишь только узнаете о его судьбе — меня его судьба очень интересует.

Мне не было известно, что польские газеты писали обо мне. Меня очень радует, что поляки относятся ко мне, как к своей. Что касается меня, то я не чувствую ни к одному народу такой симпатии, как к полякам. В детстве я не мечтала так горячо ни о чем, как только о том, чтобы принять участие в каком-нибудь польском восстании, и — верите ли? — чем дольше живу, я убеждаюсь с возрастающим удивлением, что в ранней молодости у меня было как бы предчувствие того, что должно было меня встретить позже. И кто знает, быть может, мои детские мечты и осуществятся когда-нибудь!

В настоящее время я очень занята и совершенно поглощена заботой об упрочении моего положения в университете, чтобы открыть, таким образом, этот путь для женщин. Новый математический труд, недавно начатый мною, живо интересует меня теперь, и я не хотела бы умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, которою я занимаюсь теперь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков. По моему расчету, мне нужно еще пять лет для того, чтобы достигнуть хороших результатов [2].

Но я надеюсь, что через пять лет не одна женщина будет в состоянии заменить меня здесь, я же отдамся тогда иным стремлениям моей цыганской натуры. А тогда, дорогая, мы съедемся где-нибудь. Во всяком случае, вы обещали навестить меня вскоре в Стокгольме, я считаю это обещание непреложным и обязательным.

Что касается моей частной жизни, то вы не можете себе представить, до какой степени она вяла и неинтересна. Что же касается птиц, то самое большее, чем я могу похвалиться, это —

кое-какое знакомство с совой. В сущности, сова также хорошее и благородное создание и не следует пренебрегать ею. Правда, она не обладает перьями голубой птицы [1], но, по крайней мере, известно, с кем имеешь дело, и человек не подвергается опасности неожиданно увидеть после дождя перья вылинявшими, как это случилось с бедным белым дроздом Альфреда Мюссе...

Представьте себе машину, рассуждающую, считающую и выжидающую, и у вас будет мой верный портрет в настоящую минуту. Впрочем, я провела значительную часть моей жизни в подобном настроении и привыкла к нему. Несмотря на все, я верю в прекрасный сверкающий закат солнца в будущем, а разве есть в божьем мире что-либо красивее чудного заката солнца? Заметили ли вы в Париже, какие в этом году необычайные закаты? Здесь они просто великолепны.

Вероятно, вы слышали и о том, что путь земли скрещивается с течением большой звезды. Странно представить себе, что мы находимся так близко от тела, которое вскоре снова исчезнет среди бесконечного пространства, не правда ли?

Когда я пишу вам, мне почти кажется, что мы снова вместе и болтаем, перескакивая с одного предмета на другой и понимая друг друга на полуслове. Тем более, что теперь второй час ночи — небывалый час в Стокгольме, где ложатся и, увы, встают... с петухами. И я вынуждена расстаться с вами. Надеюсь, что вы не заставите меня долго ждать известий о вас.

Шлю искренние приветы Сутерланду и Дикштейну, а К. скажите, что очень скверно с его стороны не исполнять данного обещания и не написать. Пусть он скорее напишет, и ему будет прощено. Очень прошу вас также написать мне обо всех наших парижских знакомых, которых вы увидите или о которых услышите. Вы не можете себе представить, какие приятные воспоминания я сохранила о тех временах и как для меня дорого все, что напоминает мне о них.

Всем сердцем преданная Софья Ковалевская [2].

51. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[*Стокгольм, начало мая 1884*]

Дорогой Александр Онуфриевичь!

Не сердитесь на меня за то, что так давно не отвечала вам, но я хотела написать тогда, когда у меня здесь все решится, и вот сегодня могу сообщить вам радостную весть, которую однако до августа вы должны держать в секрете: сегодня было окончательное заседание университетского совета, на котором я выбрана ординарным профессором с жалованьем в 4 000 крон (2 400 рублей) в год. Это уже теперь вещь совершенно решенная: и ректор и надзиратель пришли поздравить меня, но публике это объявят только в августе; поэтому было бы страшною неделикатностью, если бы по моей или моих друзей неосторожности это известие попало в газеты до тех пор, пока его объявят здесь официально. Я надеюсь, что вы никому, кроме Татьяны Кирилловны и Веры, об этом не сообщите. Вы можете себе представить, как я довольна.

Ужасно только горько думать, что Владимир Онуфриевич никогда этого не узнает!

Третьего дня я прочитала последнюю лекцию в нынешнее полугодие, и мои слушатели поднесли мне на память о моих первых лекциях свою фотографическую группу в великолепной рамке и сказали мне восторженную речь. Я была ужасно довольна и тронута [2].

Вообще вы не поверите, сколько доброты и сочувствия я здесь встретила! Но врагов у меня тоже оказалось порядочное число, и в университете против меня составилась довольно таки солидная партия, так что мои выборы прошли не без сопротивления. Моим друзьям пришлось даже купить меня весьма дорогою ценою, а именно; здесь есть две большие ничтожности — химик Петерсон и зоолог Лекке (не слышали ли вы когда-нибудь о сем господине). Они довольно давно уже обретаются здесь в виде доцентов и сумели сыскать расположение разных университетских властей, но наша партия, М.-Леффлер, Норденшильд, Гюльден, всегда против их выбора в профессора (хотя кафедры их свободные). Теперь противная партия объявила, что ни под каким видом не пропустит меня, если их не назначат одновременно со мною ординарными. Нечего было делать, пришлось уступить, и сегодня мы выбраны все трое. Видите ли, как я дорого стою: за двух ординарных пошла!

Теперь мне необходимо пробыть лето в Берлине, чтобы работать. Но так не терпится повидать хоть на несколько дней Фуфу и Юлю, что я решилась, хотя это и значительно дороже, проехать в Берлин через Москву. Во вторник я выезжаю отсюда, дня на два остановлюсь в Петербурге, а затем в матушку Москву, куда и прошу вас адресовать ваше будущее письмо. Вы ужасно несправедливо судите о Юле. Она питает к вам ужасно большое уважение и уж, конечно, если не отвечала, то позабывает, а не иначе.

Пожалуйста, напишите мне поскорее.

Сердечно вам преданная С. Ковалевская.

Адрес мой: Москва, Мясницкая, д. Куманина, кв. Лермонтовых.

Можете себе представить, что я вдруг забыла ваш адрес и в данную минуту никоим образом его вспомнить не могу; поэтому адресую в университет.

52. ТЕРЕЗЕ ГЮЛЬДЕН[1]

Москва, 21 мая 1884 г.

Милая, дорогая Тереза!

Вчера я получила твое письмо и сердечно благодарю тебя за то дружеское участие ко мне и моей маленькой Соне, которое ясно видно в нем и которое мне невыразимо дорого. Я должна, однако, сознаться тебе, что твое письмо еще более увеличило нерешительность, в которой я теперь нахожусь. Когда я изложу тебе все мотивы, склоняющие меня к оставлению Фуфы на следующую зиму у Лермонтовых, ты, вероятно, согласишься, что эти мотивы весьма существенны. Главной причиной является то, что она как физически, так и умственно прекрасно здесь развивается. Правда, здесь не может быть и речи о русском «великолепии». Благосостояние, которым она здесь пользуется, не находится в резком противоречии с тем, которое она впоследствии найдет у меня в Стокгольме.

Не забывай и того, что обе сестры Лермонтовы в высшей степени умные и хорошие девушки и равных им трудно сыскать. Моя подруга Юлия Лермонтова — очень известный химик (она защищала свою диссертацию в Геттингене почти одновременно со мной). По всем своим природным данным она как бы создана для семейной жизни и сосредоточила всю любовь своего сердца на моей маленькой Соне. Сестра ее, Соня Лермонтова,

с ранней юности чувствовала особую склонность к педагогике. Она много путешествовала за границей для изучения школьного дела; здесь она также принимает деятельное участие в одной школе. По странности судьбы обе эти девушки не вышли замуж, а среди ближайших их родственников также нет детей. Ты можешь себе представить, что для моей маленькой Сони неплохо быть на попечении этих двух девушек.

Ты должна также подумать о том, насколько мы одиноки в мире, моя маленькая Соня и я. Рождение ее приветствовалось целой счастливой семьей; прошло только пять лет и теперь у нее нет ни отца, ни бабушки с дедушкой, нет никакой естественной опоры, кроме меня. При таких обстоятельствах вполне понятно, что мне вдвойне дорога связь, соединяющая ее с семьей Лермонтовых, и что я не поступлю легкомысленно, не решаясь не только порвать, но даже ослабить эту связь.

Юлия Лермонтова очень желает удержать Фуфу еще на этот год. Она обещает лично привезти ее осенью 1885 г. в Стокгольм, провести с нами по крайней мере часть зимы. Предшествующее этому лето я буду иметь возможность провести вместе с Фуфой в имении Лермонтовой и смогу несколько научить ее шведскому языку, так чтоб она не приехала в Швецию совсем неподготовленной. Подумай только, как ужасно она должна была бы чувствовать себя, по крайней мере в первые два-три месяца, если бы приехала со мной в Стокгольм уже в этом году!

С другой стороны, для меня крайне необходимо без всяких помех посвятить себя эту зиму своим лекциям и математическим работам. Если бы я взяла с собой Фуфу, то я должна была бы большую часть дня оставлять ее на попечение бонны, тогда как здесь она почти постоянно находится в обществе одной из Лермонтовых. Кроме того, возникает вопрос о ведении хозяйства, которое для такой мало опытной хозяйки, как я, и притом в чуждых мне условиях, представляет большие трудности. Все эти обстоятельства, важное значение которых ты, вероятно, признаешь, заставляют меня решиться на разлуку с моей маленькой девочкой еще на одну зиму. Ведь разлука эта не будет очень продолжительной, так как в декабре я буду иметь возможность снова навестить ее в Москве.

Что же касается того, «что об этом будут говорить», то я должна сознаться, что при решении столь важного вопроса я совершенно с этим не считаюсь. Я вполне согласна подчиниться во всех мелочах жизни мнению стокгольмского общества, и как относительно своего костюма, так и в своем образе жизни и в

выборе своих знакомств и т. д. тщательно избегать всего, что могло бы оскорбить самого строгого судью — скорее судью женского пола. Но когда дело идет о столь важном для меня вопросе, как благо моей дочери, то я должна поступать вполне по своему разумению. С моей стороны было бы непростительной слабостью, если бы я примешивала сюда другие соображения.

Я убеждена, дорогая Тереза, что ты, которая, вероятно, при воспитании своих детей тоже должна бороться со многими предрассудками, сочтешь меня поступающей правильно в этом деле. Я сообщила своей подруге Юлии содержание твоего письма, и мы обе долго и серьезно обсуждали, что будет лучше всего для девочки. Сопоставляя все з а и п р о т и в, я думаю, что наилучшим решением будет следующее: девочка останется у Юлии еще на один год; декабрь и январь я проведу в Москве. Лето 1885 г. я употреблю на то, чтобы обучить маленькую Соню шведскому языку. Осенью 1885 г. она приедет в Стокгольм в сопровождении Юлии, которая останется у нас бо́льшую часть зимы. (В этом году ей по разным семейным обстоятельствам было бы невозможно надолго уехать из Москвы). Что касается меня, то я найму в этом году маленькую квартирку (в 3 комнаты) и возьму кухарку, чтобы освоиться с хозяйством и не чувствовать себя совершенно во власти прислуги, когда я окончательно оснуюсь в Стокгольме вместе с моей дочерью.

Ты оказала бы мне большую услугу, дорогая Тереза, если бы захотела взять на себя труд приискать для меня такую квартиру, где-нибудь между твоим жилищем и Леффлерами. Точнее я не могу обозначить место, так как вы оба являетесь для меня притягательными пунктами в Стокгольме. Хорошо, если бы одна комната была большой, обе другие могут быть и поменьше. Если кухня мала, то придется иметь и комнату для прислуги. Этаж мне совершенно безразличен, но весьма желательна солнечная сторона. Что касается цены, то я хотела бы — около 700—800 крон. Если ты найдешь что-нибудь подходящее, то, пожалуйста, найми для меня. Я вполне полагаюсь на твой выбор. Я несколько затрудняюсь насчет меблировки. Я не имею никакого понятия, сколько может стоить простая, но приличная мебель и оборудование кухни и где лучше всего это достать.

Ты не можешь себе представить, дорогая Тереза, насколько я неопытна в этих вещах! До 1882 г. все такие заботы меня не касались, и я не имела никакого понятия, сколько что̀ стоит. С 1882 г. я, правда, жила самостоятельно и при гораздо более

скромных условиях, но всегда жила в отелях или меблированных комнатах, так что совсем не имела дела с хозяйством. Не очень ли нескромно с моей стороны попросить тебя собрать сведения по этому вопросу и затем написать мне. Леффлеры, быть может, уже рассказали тебе, что мои финансы в настоящее время настолько неопределенны, что я сама не знаю, обладаю ли я еще каким-нибудь состоянием и каким именно. То есть у меня есть в общем владении с братом большой дом в Петербурге, но последние годы им управляли настолько хорошо, что я рискую еще много лет не получать с него дохода. Теперь один мой знакомый в Петербурге взялся несколько ближе ознакомиться с делом; не знаю, однако, удастся ли ему исправить допущенные ошибки. Во всяком случае я сейчас должна жить довольно экономно и не производить никаких лишних расходов.

Извини, дорогая Тереза, что письмо мое так плохо написано. Маленькая Соня сидит рядом со мной, пока я пишу, и я должна все время отрываться от письма, чтобы отвечать на ее вопросы.

Через несколько дней я оставляю Москву и отправляюсь в Берлин. Прошу тебя адресовать следующее письмо Linkstrasse, 36, профессору Вейерштрассу для г-жи С. Ковалевской.

В Берлине я сделаю все от меня зависящее, чтобы ближе узнать об обстоятельствах в Геттингене.

Будь добра передать мой сердечный привет твоему мужу. Я нашла здесь свою рукопись о кольце Сатурна и буду очень благодарна профессору Гюльден, если он перелистает ее. Передай также мой привет г-же Линд и ее мужу. Моя подруга, Юлия Лермонтова, просит меня передать тебе привет и от нее. Я столько о тебе рассказывала, что ей кажется, что она тебя знает лично. А главное, сохрани мне свою дружбу, которой я бесконечно дорожу.

Совершенно преданная тебе С о н я К о в а л е в с к а я.

53. МАТЕМАТИКУ X. [1]

[Берлин] 11 июля 1884

Дорогой господин X!

Нужно, действительно, обладать большой силой воли, чтобы отказаться от вашего любезного предложения, но мне крайне необходимо поработать над тем, что я хочу в воскресенье представить Вейерштрассу. Во всяком случае я вам горячо благо-

дарна и утешаю себя надеждой, что нам в течение зимы удастся с вами посмотреть «Нищего студента».

С сердечным приветом ваша Софья Ковалевская

54. А. О. КОВАЛЕВСКОМУ [1]

[14 июля 1884]
Berlin. 1. Askanischer Platz III (S. W.)

Дорогой Александр Онуфриевичь!

Мне в настоящую минуту приходится вести такую обширную переписку, и особенно последнее время пришлось писать такую массу писем, что я решительно не могу припомнить, известила ли я вас уже о том, что мое назначение ординарным профессором Штокгольмского университета утверждено теперь официально и обнародовано уже во всех шведских газетах. Поэтому теперь уже это вещь совершившаяся, и вы можете говорить об этом всем.

Мне тоже очень интересно знать, что скажет об этом Мечников. Я, разумеется, чрезвычайно довольна. Мое материальное положение все же теперь вполне обеспеченное, хотя бы дела в России [2] и пошли совсем худо.

В немецкой «Ill. Zeitung» появилась недавно моя биография, с портретом (ужасно, впрочем, скверным). Леффлер пишет мне, что масса журналов («London Ill. News», Graphic», «Венская иллюстрация», шведский «Illustrierte Welt» и т. д.) обратились к нему (за неимением моего адреса) с просьбою сообщить мою биографию и разрешить напечатать мой портрет. Как видите, я стала совсем знаменитою женщиною.

Здесь меня тоже трактуют в этом духе. Здешний министр просвещения v. Gossler пожелал со мною познакомиться и мне, единственной из женщин, будет разрешен доступ на лекции во всех прусских университетах, на случай я пожелаю посещать их. Все это очень забавно.

Я печатаю теперь две математические работы, которые появятся в течение месяца.

Недавно я была здесь на годичном заседании Академии. На следующий день во всех газетах «National Zeitung», «Börsenzeitung» стояло: в числе публики находилась г-жа Ковалевская, профессор математики в Штокгольме. Это ли еще не знаменитость?

Прощайте, голубчик Александр Онуфриевич. Поклонитесь от меня всем вашим.

Преданная Вам С. К. [3]

55. А. В. ЖАКЛАР [1]

Söder-Telje, 17. VIII 1884

Милая Анюта!

Что же ты мне не пишешь? Я бы очень желала почаще иметь от тебя известия, так как очень о тебе беспокоюсь. Если бы я была на твоем месте, то, право, кажется, решилась бы приехать на осень в Штокгольм. До сих пор погода стоит прекрасная, хотя вечера уже порядочно холодные и сырые (в роде наших петербургских), так что без теплого пальто нельзя выходить на воздух. Но утро и день прекрасные, так что я каждый день купаюсь в озере. Удивительно, как здесь температура внезапно падает после захода солнца.

Я живу покамест в большом одиночестве, так как часть моих друзей еще не вернулась из путешествия; других же я сама еще не известила о своем возвращении, чтобы не быть принужденною сейчас начать делать визиты. Я очень довольна моею жизнью здесь: много гуляю, а остальное время работаю и думаю. Местность здесь мне ужасно нравится, превосходный сосновый и еловый лес всюду кругом и пропасть озер. Если хочешь, немного похоже на нашу Витебскую губернию, только местность гораздо гористее и попадаются даже порядочные скалы.

Впрочем, у меня было большое огорчение по приезде в Штокгольм: моя лучшая здесь приятельница m-me Гюльден внезапно и очень серьезно захворала несколько дней до моего приезда: доктора опасаются даже, что это скоротечная чахотка [2]. Я еще не видала ее, так как ей совсем запрещено говорить. Для грудных болезней здешний климат, кажется, неблагоприятный, так как постоянно слышишь о чахоточных. Но у нас в семействе к чахотке совсем нет расположения, так что для нас это не беда. Вот за Фуфу я очень опасаюсь, когда придется ее сюда перевезти.

Здесь у меня тоже была одна новая приятельница, которая очень заботилась о материальных удобствах моей жизни [3]; но, представь себе, сегодня меня пришли известить, что она заболела, кажется дифтеритом, так что наши сношения совсем прекратились. Ужасная гадость эти болезни, хотя все же это не самое худшее на свете.

Прощай, мой дорогой дружок. Пожалуйста, пиши мне почаще, хотя по немногу, чтобы не утомлять себя.

Твоя С о ф а.

Поклонись от меня Ламанскому [4].

56. С. И. ЛАМАНСКОМУ [1]

10. X. 84. Stockholm, Villagatan, 18.

Дорогой Сергей Иванович!

Не сердитесь, голубчик, что так долго вам не писала, право, минутки свободной не было. Я решительно замучилась за это последнее время. До третьего дня я жила с Леффлерами на даче, в окрестностях Штокгольма, так как моя квартира была еще не готова. Три раза в неделю приходилось вставать в 6 часов утра и ездить в город для лекций. Это было страшно утомительно. Приготовление к лекциям брало тоже много времени; кроме того, приходилось готовить к печати мою большую работу, последние листы которой отослала сегодня в типографию. А кроме всего этого, общее житье с Леффлерами и постоянные визиты наших общих знакомых производили решительно сумбур в голове; я решительно никому не писала за этот последний месяц. Теперь я переехала в город и поселилась на маленькой квартире с моей «нянею», которую здесь приставили ко мне, чтобы обо мне заботиться. Теперь моя жизнь пойдет опять обычным порядком, и я буду писать аккуратно.

Ужасная это беда с долгом Феди. Разумеется, откуда-нибудь необходимо достать денег и не доводить до суда. Я думаю, надо сделать таким образом: когда Федя вернется, пусть он съездит сам к Погожевой и постарается уговорить ее уплатить этот долг из банных денег; сумма такая все же небольшая, что, может быть, она и согласится. В крайнем же случае придется употребить на это деньги, посылаемые мне ежемесячно Карбасниковым [2]. Я стараюсь из всех сил жить только на мое жалованье и этих денег не трогать; но положение мое очень трудное. Жизнь в Штокгольме очень дорога, мне приходится поневоле вертеться в кругу министров, посланников и милльонеров. Прибыли от них мало и невольно входишь в разные ненужные издержки.

Я не знаю, как быть с гравюрами [3]. Я думаю выписать их в Штокгольм и здесь стараться продать их. Отец жены Леффлера обещался доставить их из Петербурга в Штокгольм, так что надо только переслать их из Москвы в Петербург. Не знаю, на чье имя это лучше сделать. Относительно ящиков с книгами, пересла[нных] Юлею, то их тоже надо послать в Штокгольм, так как мне бы очень хотелось иметь всю мою библиотеку здесь. Я думаю пароходом это обойдется недорого. Пожалуйста, узнайте. Какая беда, что счеты Карбас[никова] не находятся! Еще одна есть надежда — это шкатулка В. О. Но от нее затерян ключь (секретный) и придется разломать ее.

Сделайте милость, поговорите с Сувориным о моих изданиях. Может быть, вы нашли бы возможность поговорить и с Пантелеевым, не посоветует ли он чего [1].

Прощайте, дорогой Сергей Ивановичь. Пишите пожалуйста и не падайте духом [2].

Преданная вам С. К.

57. М. В. МЕНДЕЛЬСОН

Дюфед [*Конец июля 1885*]

Дражайшая Мария!

Только со вчерашнего дня я нахожусь снова в цивилизованных краях и имею возможность написать тебе. Путешествие в норвежские горы продолжалось гораздо дольше, чем я предполагала.

Прибыв в Дюфед, я, к большой радости, нашла здесь два письма от тебя, одно, адресованное в Христианию, другое — в Dufed. Благодарю тебя, дорогая, что ты не забыла обо мне. Что касается меня, то я очень часто думаю о тебе, и как мне хотелось бы в эту минуту быть в твоей гостиной, или, вернее, в твоей комнате, усесться на голубом диванчике и болтать с тобой! Какая это была бы милая, интимная беседа! С какою радостью я рассказала бы тебе о моих столь разнообразных дорожных впечатлениях. Писать это совсем не то, хотя мои впечатления, в сущности, почти не носят личного характера [3].

Я провела больше недели в сельской школе в Норвегии у известного норвежского социалиста [4]. Это были, можно сказать, самые интересные дни моего путешествия. Меня очень интересовало все, что я видела и слышала. Опишу тебе все это подробнее, лишь только найдется у меня свободное время. Сегодня я еле уловила четверть часа перед отходом почты, а мне нужно еще сказать тебе так много.

Я читала в газетах, что в Варшаве открыт кружок социалистов, находящийся в тесном общении с парижскими эмигрантами, и что арестован глава движения. Разве это правда, милая? Сердце сжалось у меня при мысли, что твоих друзей постигла новая беда. Что делает Янович? Когда я подумаю, какой опасности он подвергается, он мне кажется гораздо более интересным и я чувствую укоры совести за то, что не выказала ему в Париже больше дружбы [5].

Как это страшно, что Фольмара и других социалистов осудили в Германии! Какие отвратительные времена! Шведские

газеты заняты исключительно сближением России и Германии; если это правда, то перед нами открывается чудная перспектива!

Мои путешествия еще не окончились.

Дней через десять я уезжаю в Россию за моей дочуркой. Моя приятельница (Юлия Лермонтова), на которую я рассчитывала, не может ее привезти, и я вынуждена ехать сама. Но я вернусь в первых числах сентября. Какая была бы радость, если бы ты могла тогда приехать. Очень прошу тебя, напиши мне сейчас и адресуй в Стокгольм, Engelbrecktsgatan, 4.

Целую тебя сердечно.

Дружеский привет пану Генриху и Мендельсону. Вручи, пожалуйста, 125 франков пану Генриху. Я заняла их у него перед отъездом, и мне очень стыдно, что я до сих пор не отослала ему. Я распорядилась об этом в Стокгольме, но меня не поняли.

До скорого свидания. Всем сердцем твоя Соня.

58. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ[1]

[Стокгольм, сентябрь 1885]

Дорогая Юля!

Сейчас получила твое письмо и так обрадовалась, что все у вас обстоит благополучно и что и ты и Фуфа, слава богу, здоровы, что у меня нехватает даже духу упрекать тебя за твое долгое молчание.

Ты, может быть, права, что нам не[2] следует строить планы на общее житье всем вместе; мне самой стало жутко, читая твое письмо. Ты, очевидно, относишься ко мне «столь строго и справедливо» (как говаривала нам в детстве Марг. Францевна) и так отлично изучила все мои слабые стороны и недостатки, что иллюзии никакой быть не может, а «без иллюзии жить немыслимо», говорит норвежский поэт Ибсен. Поэтому я действительно перестану настаивать на твоем переезде ко мне в Стокгольм; по крайней мере хоть так, может быть, какой-нибудь толк выйдет.

Что касается Фуфы, то, само собою разумеется, приехать ко мне и, чем скорее, тем лучше. Но на лето я всегда буду присылать ее к тебе, если ты сама захочешь иметь ее, в чем я, разумеется, не сомневаюсь. Ты же будешь приезжать к нам, когда тебе вздумается, ничем не связываясь и не обязываясь.

Мне теперь ужасно досадно, что вы не приехали, именно потому, что я все так хорошо приготовила к вашему приезду и

что в полной уверенности, что вы приедете, я после многих трудов и усилий так уютно и комфортабельно устроилась. Мне даже как-то странно одной пользоваться таким комфортом. В прошлом году я нанимала, как ты знаешь, квартирку в две комнатки с мебелью и кухаркою. Для меня это было и дешево и отлично. В нынешнем же году, ожидая вас, я взяла квартиру в шесть комнат, обзавелась собственною мебелью и держу двух людей — fröken * и кухарку.

В начале все у меня не клеилось, а я, не желая перед вами ударить в грязь лицом, просто с каким-то азартом принялась за устройство своего домашнего быта. И вот теперь все у меня приходит мало-помалу в необычайнейший порядок. Я отыскала дешевого и хорошего столяра, который за 15 рублей привел твою злополучную мебель в такое цветущее состояние, что теперь даже и враг не осмелится назвать ее старым хламом. Относительно обивки моя Fröken выказала бездну гениальности; кое-где, с задков, мы содрали обивку и употребили ее на поправку сидений; самые же попорченные кресла и диван покрыли очень красивыми антимакассарами (цветы из кретона, нашитые на тюль-крэм); так что теперь мебель вышла просто шик; беда только в том, что она стоит теперь без всякого употребления, так как предназначалась собственно для твоей комнаты.

Для моего рабочего кабинета, в котором я провожу целый день, я здесь заказала себе мебель и, по общему решению, выбрала ее очень своеобразно, но с удивительным вкусом. По случаю приобрела тоже ковер во всю комнату под цвет мебели.

Кроме того, комната украшается большим письменным столом, полками книг и большою финиковою пальмою, подарком астронома Гюльдена. Во всех комнатах есть теперь шторы и занавески. Так что вообще я очень довольна моим помещением.

Жизнь наша тоже устроилась очень комфортабельно. Квартира оказалась замечательно теплая, так что, несмотря на то, что две комнаты (предназначаемые собственно для вас) стоят теперь пустыми и не топятся, но все же в жилых комнатах очень тепло. Моя fröken оказалась отличною и чрезвычайно ловкою и практичною девушкой. Она большая мастерица, умеет отлично шить, выдумывает разные хитроумные ухищрения для украшения нашего жилья и моего туалета. Она вообще, кажется, очень хорошая.

Это отличная мысль учить Фуфу по-шведски в Москве. Разумеется, если она будет хоть мало-мальски понимать по-шведски,

* Барышню.

это сделает ее приезд сюда гораздо легче. Мне так досадно теперь, что все у меня так хорошо, а Фуфки нет со мной. Пока все у меня было в беспорядке, я нисколько о ней не скучала. Теперь же так и не терпится перетащить ее сюда.

Прощай, милая Юленька. Пожалуйста, пиши аккуратно.

Твоя Софа.

P. S. Пожалуйста, напиши мне о моей статье. Если они еще не напечатали, то возьми ее от них и я постараюсь напечатать ее в «Новостях» [1].

59. МАТЕМАТИКУ X [2]

[Стокгольм, сентябрь 1885]

Все эти глупые, но неотложные практические дела являются серьезной пыткой для моего терпения; я начинаю понимать, почему мужчины так высоко ценят хороших практичных хозяек. Будь я мужчиной, я выбрала бы себе маленькую красивую хозяюшку, которая избавила бы меня от всех этих скучных дел. При теперешнем положении вещей стоит мне на минуту заняться абелевскими функциями и, как только мне удается углубиться в них, уйти далеко-далеко от всяких практических забот, — меня немедленно возвращает на поверхность какой-нибудь ничтожный хозяйственный вопрос, где мое решение является необходимым... Пишите скорее, об этом вас просит

ваш друг Соня.

60. МАТЕМАТИКУ X.

Стокгольм, 9 ноября 1885

Исходя из того соображения, что раз ты стал профессором, то можно с таким же успехом быть им вдвойне или в квадрате, я приобрела себе, кроме прежней, еще новую профессуру. Не думайте, что это шутка; дело, действительно, до некоторой степени обстоит так, как я вам пишу. Мой формуляр сейчас гласит: Frau Соня (профессор)... Профессор Леффлер спросил меня, не соглашусь ли я на время читать также и механику; я ответила согласием и теперь я назначена и профессором механики. Само собой разумеется, что я останусь им не более двух лет, а затем передам это место одному из моих учеников. Но вы, дорогой

мой друг, можете себе представить, что не так легко быть дважды профессором... Мне, конечно, очень хочется хорошо читать механику. Пока мне это удается, удается заинтересовать своих слушателей, и они, как будто, очень довольны моими лекциями [1].

61. М. В. МЕНДЕЛЬСОН

Stockholm. 18 Villagatan.
25 января 1886 г.

Дорогая!

От нашего приятеля Ф. я узнала с истинным огорчением о твоем непоколебимом решении [2]. Вероятно, Фольмар уведомил тебя, что других преград для выполнения этого прекрасного намерения не будет, так как Юлия Кельберг дает тебе свой паспорт. После всего этого тебе покажется ребячеством (чтобы не сказать больше), когда я спрошу тебя: дорогая Мария, хорошо ли ты обдумала это предприятие? И я не могу удержаться и не сказать тебе, что снова твоя дорогая, истинно польская, горячая, шальная и такая очаровательная голова толкает тебя настойчиво в водоворот опасностей. Я спрашивала совершенно серьезно Ф.: «скажите мне правду, думаете ли вы, что эта поездка Марии необходима или, хотя бы, полезна для дела?» Он ответил мне отрицательно.

Он убежден, что ты нужнее в настоящее время здесь, на месте; но тягость кажущегося безделья, потребность самозабвения и неукротимое влечение к опасностям неудержимо толкают тебя на эту поездку и что ни мне, ни ему не удастся отклонить тебя от этого намерения. И в моих жилах течет польско-цыганская кровь, оттого-то я вполне понимаю тебя, дорогая Мария. Ты не отдаешь себе отчета, какую большую роль играет в твоем решении потребность самопожертвования, красота мученичества и те неизгладимые следы религиозной экзальтации, внушенной с детства, следы, которых не могут совершенно изгладить ни ум, ни рассудительность, ни самый здоровый реализм.

Дорогая Мария, я не могу хладнокровно представить себе тебя, такую нервную, нежную, полную жизни, где-нибудь в глубине русской тюрьмы, осужденной на много лет изгнания в Сибирь — одним словом, подверженной мучениям медленной и неизбежной смерти, ожидающей политических преступников в России. Эта смерть хуже смерти на виселице, так как она гораздо мучительнее, а надежда на бегство, в сущности, мини-

мальна. К тому же, горсточка возвращающихся из Сибири физически и нравственно разбита, в роде, напр., бедной Бардиной [1].

Я чувствую истинную «Sehnsucht»* по тебе, дорогая Мария! Я долго не могла решиться написать тебе, потому что все мысли, вылившиеся на бумагу, кажутся мне такими поблекшими и малозначащими в сравнении с тем, что хотелось бы сказать тебе. Единственной хорошей стороной твоего плана будет то, что ты приедешь в Стокгольм, и я получу возможность обнять тебя и говорить с тобой о твоих намерениях. Напиши мне скорее, дорогая, милая. Жду с нетерпением известий.

Всем сердцем твоя С. К.

62. А. Ш. ЛЕФФЛЕР [2]

[*Стокгольм. Весна 1886*]

Дорогая Анна-Шарлотта!

Утром я проснулась с большим желанием повеселиться сегодня, как вдруг предо мною очутился мой дед с материнской стороны, толстый педант (т. е. астроном) [3] и грозно указал на все те ученые сочинения, которые я предполагала изучить во время пасхальных вакаций, осыпая меня самыми серьезными упреками по поводу того, что я таким недостойным образом трачу свое драгоценное время. Его строгие речи обратили в бегство мою бедную бабушку-цыганку (с отцовской стороны). Теперь я сижу за письменным столом в капоте и туфлях, глубоко погруженная в математические размышления, и не чувствую ни малейшего желания принять участие в вашей поездке. Вас так много, что вам наверное будет весело и без меня; поэтому надеюсь, что вы великодушно простите мне мой отказ [4].

Преданная тебе С о н я.

63. МАТЕМАТИКУ X.

Стокгольм, 8 мая 1886

...Вы бы наверно смеялись, если бы видели меня за письмом; дело в том, что я сижу в белом пеньюаре, с цветами и золотой бабочкой в волосах — через час я должна ехать на большой бал к норвежскому министру, там будет и король и все принцы...

* Страстное желание, тоска.

За последнее время мы, т. е. профессор Леффлер, госпожа Эдгрен (Леффлер) и я, положительно охвачены страстью к верховой езде; почти ежедневно мы предпринимаем большие прогулки верхом в окрестности Стокгольма. Верховая езда, пожалуй, еще лучше, чем катание на коньках.

Из области серьезной жизни могу вам сообщить, что скоро появится моя математическая работа на тему, которой я занималась уже несколько лет и которая только недавно приобрела для меня ясность [1].

А теперь прощайте, мой дорогой друг. Нужно кончать, так как пора одеваться на бал.

Ваш откровенный друг Соня.

64. М. В. МЕНДЕЛЬСОН

[Стокгольм, середина 1886]

Дорогая, милая Мария!

Благодарю за милое письмо. Оно подействовало на меня благотворно. Благодарю тебя главным образом за дружбу, которой я должна верить, судя по чувствам, какие сама питаю к тебе. В этом именно мое несчастье! Не можешь себе представить, до какой степени я подозрительна и недоверчива, когда дело касается отношения ко мне моих друзей! Я требую, чтобы мне постоянно повторяли, если хотят, чтобы я верила любви ко мне. Стóит только один раз забыть об этом, как мне сейчас же кажется, что обо мне и не думают.

В сущности, верь мне, никто еще не полюбил меня сразу. По отношению даже к самым сердечным друзьям у меня осталось впечатление, что я должна была приложить много стараний, чтобы приобрести их дружбу. Но — что грустнее всего — я вынуждена была всегда играть маленькую комедию, т. е. представлять себя в несколько ином свете. Уверена ли даже ты, милая Мария, что полюбила бы меня, если бы узнала меня вполне? Знаешь ли, какая между нами разница? Ты натура импульсивная, подчиняющаяся первому порыву. Твою натуру чувствуешь, не анализируешь ее и любишь тебя такою, какова ты есть, со всеми твоими недостатками и слабостями. Да, милая, со всеми недостатками и прибавлю еще, что, по-моему, у тебя их бесконечно много. Я убеждена, что ты совершила в своей жизни много безумных поступков и грешила главным образом бестолковостью. Если бы мне рассказали о тебе самые

невозможные вещи, я поверила бы, но любила бы тебя за это еще больше.

Со мной — увы! — бывает совсем обратное. Много раз в жизни я собиралась совершить какое-нибудь безумство, но это не удавалось мне никогда. Я так страшно, так неисправимо рассудительна. В минуты, когда я именно хотела, собиралась совершить безумную выходку, я сама замечала, что хотела только сыграть роль сумасброда и ничего больше. Я чувствую себя сама собой только в роли рассудительной и прозаической мещанки — скажи же, кто может любить такое создание? Мои предки со стороны матери — немецкие филистеры — очевидно, взяли верх над казаками и цыганами, кровь которых течет в моих жилах по отцу. Дорогая Мария, можешь ли ты хоть немного любить такую мало интересную особу, как я?

Не могу тебе сказать, как я радуюсь при мысли, что увижу тебя осенью в Стокгольме. Но, быть может, мы увидимся раньше в Париже. Если я поеду в конце августа в Англию на съезд «British Association», то поеду, вероятно, через Париж и, может быть, мы вместе совершим путь от Парижа до Стокгольма.

Удалось ли тебе действительно, отыскать мой календарик, настоящий, тот, который ты послала мне на Новый год и которому превратности судьбы не позволили попасть в мои руки. Если это так, то я очень рада и жду его с большим нетерпением. Может быть, с его помощью мне удастся разогнать туман рассудочности и неизлечимого мещанства, туман, окутавший меня и придавивший, как никогда до сих пор. Будь добра и пришли его как можно скорее.

Целую тебя сердечно, дорогая Мария, сердечный поклон П. Л. [Лаврову], скажи ему, что я напишу ему скоро письмо со всеми подробностями, о которых он просит.

Сердцем твоя Соня.

65. ТЕРЕЗЕ ГЮЛЬДЕН [1]

[Москва, декабрь 1886 г.]

Моя милая, дорогая Тереза!

Сердечно благодарю тебя за подробные сообщения, которые ты посылаешь о моей Соне, и за твои заботы о ней.

Моя сестра, к сожалению, в очень плачевном состоянии. Нет, действительно, ничего столь ужасного, как эти тихо подкрадывающиеся болезни. Она сильно страдает; все главные органы ее

разрушены, и сама она ничем уж не может интересоваться, кроме своей болезни. Врачи сочли бы ее выздоровление чудом. И, вероятно, она еще в течение неопределенного времени будет непрерывно мучиться — может быть, месяцы, может быть, годы.

Прости, что я сегодня не могу больше писать. Я сама в очень подавленном состоянии; я только что вернулась от нее; у нее был очень тяжелый приступ одышки и она желала смерти. Ужасно видеть, как человек мучится, и совершенно не быть в состоянии ему сколько-нибудь помочь.

Еще раз благодарю тебя за все, моя дорогая Тереза. Желаю вам всем весело и приятно провести рождественский праздник.

Преданная тебе Соня.

66. ДОЧЕРИ [1]

[*Москва. Декабрь 1886*].

Дорогая моя Фуфа.

Благодарю тебя за твое письмецо, хотя оно было очень коротенькое и написанное видно без всякого старанья. Ты ничего не пишешь, веселилась ли ты на елке и какие получила подарки? Понравились ли тебе салазки, коньки и шведские книжки, которые я просила нашу фрокен передать тебе? Если ты будешь вести себя хорошо, я привезу тебе несколько новых русских книжек, когда вернусь. Напиши мне подробно, как ты проводишь день. Не пиши так разгонисто, тогда ты больше уместишь в твоем письме. Напиши тоже Юрику; он с нетерпением ожидает ответа на свои письма.

Твоя няня Маня находится теперь при тете Ани [2] и также хорошо ухаживает теперь за нею, как прежде ухаживала за тобою. Она очень целует тебя.

Прощай, мой милый, дорогой дружок. Обнимаю тебя от всего сердца.

Любящая тебя мама.

67. С. АДЕЛУНГ [3]

Стокгольм, Штурегатан 56, 11 декабря 1887 г.

Дорогая Соня!

Прости меня, пожалуйста, что я так долго затянула ответ на твое милое письмо: оно прибыло как раз к концу нашего осеннего семестра, т. е. во время самой горячей работы; поэтому я

до сих пор не могла найти свободной минуты, чтобы написать тебе подробное письмо. Теперь я пользуюсь первыми днями наших рождественских каникул для того, чтобы поболтать с тобой. Твои литературные занятия меня очень интересуют; сообщи мне, пожалуйста, заглавия обеих твоих детских книг, а также, где их можно достать. Для какого возраста они предназначены, для больших детей или для маленьких, как моя Соня?

Ты наверно очень удивишься, услышав от меня, что и я во время каникул, чтобы отдохнуть от математики, занимаюсь писательством, а в последний год даже очень прилежно, так как я здесь очень подружилась с г-жой Эдгрен, которая в настоящее время слывет лучшей шведской писательницей. На этих днях появится написанная нами обеими драма; т. е. тему предложила я, развитие действия и последовательность сцен придумывали мы вместе, а она написала на шведском языке [1]. Впрочем, говоря «драма», я выражаюсь неправильно, так как это собственно не драма — и это самое оригинальное в нашей работе,— а две параллельные драмы, которые объединены одним общим заглавием «Борьба за счастье» (по-шведски «Kampen för lyckan»). Действующие лица в обеих частях одни и те же, и обе части имеют один и тот же пролог. Первая драма изображает то, что на самом деле произошло, а вторая то, что могло произойти. Завтра или послезавтра наша драма появится в печати (листы уже готовы и только не сброшированы), и я надеюсь, что в течение зимы будет поставлена на здешней сцене.

Одна из наших знакомых в Германии просила у нас разрешения перевести нашу драму на немецкий язык, так что ты в Германии, может быть, когда-нибудь о ней услышишь. Здесь она появится под псевдонимом Корвин-Леффлер (Корвин — моя, а Леффлер — ее девичья фамилия [2].

Сегодня высылаю тебе бандеролью маленькую статью, которую я два года тому назад направила в московский журнал «Русская мысль» [3]. Однако эти занятия представляют собою, конечно, только каникулярное времяпрепровождение; математика — главное. Я занята сейчас большой математической работой, которую надеюсь закончить к весне.

Моя маленькая Соня теперь уже большая восьмилетняя девочка; она ежедневно ходит в школу и говорит хорошо по-шведски. Представь себе, что она уже начинает забывать русский язык, несмотря на то, что она все лето провела в России и что я с ней говорю по-русски, когда мы одни. У нее уже замечается то своеобразное произношение, которое я наблюдаю у всех растущих за границей детей.

Сердечно обнимаю тебя, дорогая Соня, и прошу тебя поцеловать тетю Сашу и Ольгу, а также поклониться твоему брату. Напиши мне подробно, что вы все поделываете.

Твоя любящая тебя Софа.

Шлю наилучшие пожелания к Рождеству.

68. А.-Ш. ЛЕФФЛЕР [1]

[*Стокгольм. Январь 1888 г.*].

Я нахожусь в настоящую минуту под влиянием самого увлекательного и возбуждающего чтения, какое мне когда-либо случалось встречать. А именно я получила сегодня от Н. небольшую статью его с изложением плана предполагаемой поездки по льдам Гренландии [2]. Прочитав ее, я совершенно упала духом. Теперь он получил от датского коммерсанта Гамеля 5000 крон на это путешествие и, конечно, ничто на свете не в состоянии будет заставить его отказаться от этой поездки [3]. Статья, впрочем, так интересна и так хорошо написана, что я ее пришлю тебе (конечно, под условием, что ты ее поскорее вернешь мне), как только узнаю твой точный адрес. Только прочитав эту статью, можно получить полное понятие о человеке. Сегодня я разговаривала о нем с Б., который находит также, что работа Н. просто гениальна, и уверяет, что Н. слишком хорош, чтобы рисковать своею жизнью в Гренландии.

69. М. М. КОВАЛЕВСКОМУ [4]

[*Стокгольм. Февраль 1888*]

Многоуважаемый Максим Максимовичь.

Жаль, что у нас нет на русском языке слова *Völkommen* *, которое мне так хочется сказать вам.

Я очень рада вашему приезду и надеюсь, что вы посетите меня немедленно. До 3-х часов я буду дома. Вечером у меня сегодня именно соберутся несколько человек знакомых и надеюсь, что вы придете тоже.

Искренне вас уважающая

Софья Ковалевская.

* Совершенный.

70. А.-Ш. ЛЕФФЛЕР[1]

[Стокгольм, март 1888]

Дорогая Анна-Шарлотта!

Souvent femme varie;
Bien fol est qui s'y fie *.

Если бы твое письмо с тем же содержанием и с тем же ужасным сообщением было получено мною несколько недель тому назад, оно, конечно, сокрушило бы совершенно мое сердце[2]. Но теперь, к собственному стыду, должна признаться, что, прочитав вчера твои глубоко сочувственные строки, я разразилась громким хохотом.

Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М.[3]. Надеюсь, что кто-нибудь из семьи успел уже сообщить тебе о перемене в наших планах, так что мне незачем распространяться больше на этот счет[4]. В целом перемена очень счастлива для меня, потому что если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось ли бы мне окончить свою работу. Он такой большой, такой grossgeschlagen **, согласно удачному выражению К. в его речи, и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такою искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему. Я ничем не могу так хорошо выразить произведенного им на меня впечатления, как следующими превосходными стихами Мюссе:

Il est très joyeux — et pourtant très maussade,
Détestable voisin — excellent camarade,
Extrêmement futile — et pourtant très posé,
Indignement naïf — et pourtant très blasé,
Horriblement sincère — et pourtant très rusé ***.

---

* Женщина часто изменчива; безумец тот, кто ей доверяет.

** Крепко сбитый.

*** Он очень весел и, однако, очень угрюм; непригодный сосед и великолепный товарищ; чрезмерно ничтожен и очень важен; возмутительно наивен и весьма пресыщен; страшно искренен и, однако, весьма хитер.

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ
(с фотографии середины 1880-х годов)

К довершению всего — настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем сколько можно было бы выжать из обоих супругов X. вместе, даже если бы положить их под гидравлический пресс...

Я вряд ли поеду в Болонью, потому что такого рода путешествие стоило бы слишком дорого: туалеты и т. д., а отчасти потому, что все эти торжественные собрания слишком скучны и совершенно не в моем вкусе [1]. Кроме того, для меня очень важно побывать теперь в Париже, хотя бы на самое короткое время.

Поэтому я с 15 мая по 15 июня намереваюсь прожить в Париже, а затем уехать с М. в Италию, чтобы встретиться там с тобою, потому что это уже решено: мы должны провести лето вместе, втроем — это самое важное, но где же именно — это уже вопрос второстепенный, которым я собственно меньше всего интересуюсь. Мне лично приятнее всего было бы поселиться у итальянского озера или в Тироле. М. соглашается на все эти планы, но ему собственно хотелось бы убедить нас отправиться с ним на Кавказ, через Константинополь.

Не могу не сознаться, что его план кажется мне чрезвычайно соблазнительным, в особенности если взять во внимание его уверения, что это путешествие не будет стоить нам особенно дорого. Но относительно этого пункта у меня существуют сомнения, и я думаю, что мы поступим благоразумнее, если будем держаться цивилизованных стран.

Есть еще одно обстоятельство, которое с моей точки зрения говорит в пользу первого плана: мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове. Ты также должна была бы начать серьезно работать после продолжительного отдыха, которым пользовалась в течение всех этих месяцев. А это все возможно только в том случае, если мы поселимся в каком-нибудь тихом, красивом месте и начнем вести спокойную, идиллическую жизнь.

Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра божья.

71. П. Л. ЧЕБЫШЕВУ[1]

Париж, 16 (28) марта 1889 г.

Многоуважаемый Пафнутий Львович!

Нынешнюю зиму я пользуюсь отпуском от Стокгольмского университета и провожу его в Париже, куда мне и было переслано ваше письмо. Вследствие того, что письмо пропутешествовало из Стокгольма в Париж, произошла маленькая задержка, и я поэтому не могла ответить вам так скоро, как ответила бы иначе.

Позвольте мне и от себя лично, и от имени Миттаг-Леффлера, принести вам благодарность за то, что вы нас вспомнили и прислали нам вашу статью. Само собой разумеется, что она будет напечатана в следующем же номере «Acta mathematica»[2]. С нетерпением ожидаю обещанной вами статьи — приложения эллиптических функций,— о которой вы сообщаете мне такие интересные подробности.

Позвольте мне тоже прислать вам мою работу, за которую я получила в декабре месяце le prix Bordin * от французской академии. Академия, не зная, разумеется, что я автор этой работы, увеличила даже премию с ее обычного размера в 3000 фр. на 5000 франков. Вы можете себе представить, как я была счастлива от этой, выпавшей мне на долю чести[3].

Я получила разрешение от здешней академии напечатать свою работу предварительно в «Acta mathematica», но в скором времени она появится также в «Savants étrangers» **.

Не приедете ли вы весной в Париж на выставку? Известите, пожалуйста, когда именно приедете. Я думаю остаться здесь до половины июня, а потом вернусь в Швецию.

Примите, многоуважаемый Пафнутий Львович, уверение в моем искреннем и глубочайшем почтении.

Софья Ковалевская.

P. S. Hermite'a и Бертрана я вижу здесь очень часто. Они отличные друзья и делают друг другу всевозможные любезности. Оба очень довольны тем, что французы, в лице Пуанкаре (Poincaré) и Аппелля (Appelle), так отличились по случаю премии короля Оскара.

---

* Премию Бордена.

** «Иностранные ученые»[4]

72. МАТЕМАТИКУ X.

Париж, 20 марта 1889.

Вы, конечно, знаете, что я получила от французской Академии премию в 5000 франков за свою работу по поводу вращения твердого тела вокруг неподвижной точки. Можете себе представить, как меня это обрадовало! Тем не менее, я в течение последних лет так много работала, что внезапно почувствовала себя au bout de mes forces * и была вынуждена просить у Стокгольмского университета отпуск; он очень охотно был мне предоставлен [1]. Первое, на что я его использовала, была поездка на юг, именно в Ниццу, чтобы отдохнуть там несколько недель. В течение этого времени я совершенно не занималась математикой, а очень много шаталась по красивым окрестностям. Это дало такие хорошие результаты, что я чувствую себя сейчас совершенно здоровой и работоспособной. Так как отпуск мой продлится еще несколько месяцев, то я сейчас приехала в Париж, чтобы заняться здесь исследованиями в области механики.

Вот, дорогой господин X., теперь вы знаете, как я живу. Теперь вы должны скоро написать мне и порассказать мне о себе; кланяйтесь сердечно от меня вашим детям и не забывайте вашего старого друга Соню...

Моя маленькая Соня осталась в Стокгольме у Миттаг-Лефлер. Она посещает школу, и я не хотела прерывать ее занятий и брать с собою во Францию...

73. М. М. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

[Париж, май 1889 г.]

Дорогой Максим Максимовичь! Вчера вечером пришла, наконец, корректура первого листа ваших лекций. Я ее просмотрела и отошлю к Иогану Леффлеру, который, сравнив ее с той, которую получит от вас, отдаст ее в печать, Леффлер пишет, что печатание не окончится раньше, как к осени [3].

Вы ругаете шведов, а я в настоящую минуту преисполнена негодования на русских и на их безграничное холопство. Третьего дни Де-Роберти и наш старый друг [4] пришли ко мне и на основании того, что я якобы пользуюсь большою популярностью в русской колонии, стали просить меня, чтобы я взяла на себя инициативу устроить подписку-венок Щедрину и послать сочув-

---

* Совершенно обессиленной.

ственную телеграмму его вдове от имени различных русских кружков в Париже.

По легкомыслию, свойственному не одной только юности, я охотно взяла на себя это поручение. Мне казалось, чего проще и невиннее, как изъявить, что мы все жалеем о смерти великого и вполне легального писателя. Ан оказывается-то, что это не так просто, что и в этом можно усмотреть потрясение основ.

Какую массу пошлости я насмотрелась в эти два дня, вы представить себе не можете! В результате почти полная неудача, усталость, неимоверная досада на самое себя, зачем я связалась с этими пошляками, и почти физическое ощущение, что я эти два дня провозилась с чем-то очень неопрятным. В будущую субботу (на 12-й день по смерти Щедрина, не слишком ли рано?) соберется комитет, в котором будет участвовать Боголюбов и Котцебу [1], чтобы обсудить, имеем ли мы право жалеть о его смерти!..

Я хотела послать телеграмму от частных лиц, но нас не набралось и 10. Ваш милый друг Вырубов не считает себя вправе выразить свое сожаление о смерти Щедрина, ибо он теперь француз [2].

Преданная вам С. К. [3]

74. А. И. КОСИЧУ [4]

[*Стокгольм, октябрь 1889*]

Большое, большое вам спасибо за ваши письма и за ваши хлопоты по столь горячо интересующему меня делу [5]. Получив сегодня ваше письмо, я решилась сама написать Чебышеву (с которым впрочем мы и вообще довольно часто переписывались этот последний год по разным научным вопросам). Я написала ему, что слышала от вас, что В. недоумевает, вернулась ли бы я на родину, если бы мне и представилась на это возможность, и что поэтому я и пишу ему, как моему старому другу, чтобы сказать ему, как меня, несмотря на долгое житье за границей, все же тянет в Россию. Мне приходит в голову еще следующее обстоятельство: вероятно, при обсуждении этого дела очень важную роль будет играть вопрос, благонадежна ли я в политическом отношении или нет, так как у нас ведь кажется, уже принято каждую ученую женщину подозревать в неблагонадежности. Поэтому мне приходит в голову, не могу ли я извлечь некоторую пользу из того обстоятельства, что шведский король очень благоволит ко мне.

75. А. И. КОСИЧУ

[Стокгольм, ноябрь 1889]

Вы можете себе представить, как я была обрадована этой телеграммой. Итак, ваши хлопоты не прошли даром и повели к результату. Большое и сердечное вам за них спасибо. Конечно, член-корреспондент не более как почетный титул и не дает мне возможности вернуться в Россию, но я все же очень рада, что они решились сделать меня и этим, так как теперь, если откроется вакансия на место действительного академика, у них уже не будет предлога не выбрать меня только на том основании, что я женщина [1].

76. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [2]

[Стокгольм, 20 ноября 1889]

Дорогая Юлюша!

Сейчас я получила от Чебышева телеграмму, что меня выбрали membre correspondent * пет[ербургской] Академии наук Хотя это не более как пустой титул, но я и ему рада, так как при будущей вакансии на место действ[ительного] академ[ика] у них уже не будет предлога не выбрать меня потому, что я женщина [3].

Я все эти дни думаю о тебе, и так мне это жаль, что ты так недовольна твоей жизнью в Москве! Как бы так устроить, чтобы тебе было лучше и веселее? Разве тебе необходимо было уезжать так скоро из Стокгольма? Я не удерживала тебя, потому, что мне казалось, что тебе здесь очень скучно, а у меня было столько работы!

Но вот теперь мне приходит в голову: если тебе так нравится Швеция, то почему бы тебе не научиться хорошенько шведскому языку? Переводами со шведского ты могла бы, может быть, увеличить твои доходы рублей на 600 в год и это давало бы тебе возможность каждую зиму приезжать в Швецию, которая в таком случае, при знании языка, стала бы интересовать тебя гораздо больше, чем теперь. Здесь бы ты жила ежегодно месяцев 6, а остальные 6 месяцев в Семенкове. Мне кажется, что при некоторой энергии с твоей стороны, этот проект был бы весьма возможен.

---

* Член-корреспондент.

Вообще мне кажется, что не следовало бы тебе пренебрегать занятием переводами. Подумай-ка о том, чтобы перев[ести] те интересные фр[анцузские] сочинения о сельском хоз[яйстве], о кот[орых] ты мне говорила. Сходи к Мамонтову и спроси, не захочет ли он издать; в противном же случае я напишу, если ты хочешь, Пантелееву.

Целую тебя крепко, крепко.

Твоя Софа.

Фуфе гораздо лучше. В школу я ее еще не пускала; но гулять она ходит.

77. К. С. ВЕСЕЛОВСКОМУ [1]

Стокгольм, 11 (23) февраля 1890 г.

Милостивый государь Константин Степанович!

По причине моего отсутствия из Стокгольма, диплом на звание члена-корреспондента С.-Петербургской Академии Наук, посланный мне 12 января нынешнего года, лишь сегодня мог быть доставлен мне. Позвольте, милостивый государь, попросить вас взять на себя труд выразить Академии мою глубокую и сердечную признательность за ту высокую честь, которой она удостоила меня, избрав меня своим членом-корреспондентом. Этот привет из дорогого мне отечества глубоко тронул и осчастливил меня.

Примите, милостивый государь, уверение в моем полном уважении и преданности.

Софья Ковалевская.

78. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [2]

[Стокгольм, март 1890]

Дорогая Юлюша!

Давно уже не было от тебя писем, и я начинаю опасаться, не больна ли ты. Пожалуйста, напиши скорей.

Про себя могу рассказать тебе вот что: я собираюсь приехать на две недели в Петербург, пользуясь нашими вакациями на святой. Я выеду из Стокгольма 2 апреля/20 марта [3] и пробуду в Петербурге ровно две недели. Вот было бы хорошо, если бы и ты могла приехать на это время в Петербург.

Я получила недавно письмо от Пыпина, что Стасюлевичу мои «Воспоминания» понравились. Поэтому я надеюсь, что они скоро появятся в «Вестнике Европы» [1].

Фуфа здорова, слава богу. Очень занята своей школой.

Нового ничего нет.

Анна-Шарлотта в Италии — блаженствует.

Решительно нет времени писать больше. Обнимаю тебя крепко.

Твоя Софа.

79. Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [2]

Бонн, вторник 24 июня 1890 г.

Дорогая Юлюша!

Благодарю тебя за твое письмо, полученное мною в Берлине. В настоящую минуту я нахожусь в Бонне вместе с другим представителем семьи Ковалевских [3]. Выехала я из Берлина прошлую пятницу и встретилась с ним в Амстердаме, город, где я до сих пор не была и который положительно стоит посмотреть. Мы прожили там два дня и вчера поехали дальше: часа три пробыли в Кельне, выкупались в Рейне и затем переночевали в Бонне. Он отправился теперь в университет на лекцию философии освежить память студенческих лет, я же села писать тебе.

Планы наши теперь следующие. Сегодня же мы отправляемся на пароходе вверх по Рейну до Майнса. Только, вероятно, где-нибудь на пути остановимся. Дня через два-три будем в Гейдельберге, где проживем дольше или более короткое время, смотря по тому, как он нам понравится. Если у тебя будет что-либо необходимое и спешное сообщить мне, напр., если, не дай бог, Фуфа опасно заболела, то телеграфируй мне в Гейдельберг poste restante M-me Kovalevsky. Иначе, если все обстоит благополучно, пиши в Швейцарию, Tarasp, M-me Kov. Мы во всяком случае должны там быть уже в начале заграничного июля.

В настоящую минуту, как ты можешь представить себе, мне очень весело. Что будет дальше, господь ведает; я со свойственным мне легкомыслием о будущем и не думаю. Очень было бы желательно по возможности избежать сплетень. До сих пор, слава богу, никаких русских по пути не попадалось. Я буду стараться по возможности сохранять свое incognito.

Я скоро напишу тебе опять. Пока же целую тебя крепко, крепко, а также и Фуфу.

Твоя Софа [4].

80. ДОЧЕРИ [1]

[*Тарасп, июль 1890*]

Дорогая Фуфуля.

Я начала тебе писать на том листе, но в это время Максим Максимович вернулся с прогулки и принес мне почтовую бумагу с видом Тараспа, того местечка, где мы теперь живем, и я думаю, тебе будет приятнее получить письмо на ней. Здесь очень красиво. Кругом все горы, которые наверху покрыты снегом, а внизу кажутся совсем розовыми от того, что так густо усеяны маленькими розовыми цветочками. Большая часть цветов здесь такие же, как и у нас на лугах; только значительно больше и красивее. Попадаются, однако, и такие, которых я в России не видала, например альпийские розы, т. е. дикий рододендрон. Я постараюсь высушить несколько таких цветков для тебя.

Вчера мы проездили весь день в экипаже по очень красивым местам. Я ужасно жалела, что тебя с нами не было. Более часу мы не видали вокруг себя ничего кроме снежных гор; мы уже были так высоко, что и ель и береза не могли там рости, и были только голые скалы, покрытые снегом. Вот, когда ты вырастешь, мы с тобой и с мамой Юлей поедем все вместе в Швейцарию.

Я очень рада, что ты принялась за уроки. И мне пора начать заниматься, но я оказываюсь гораздо ленивее тебя: все только говорю о том, что надо же, наконец, начать заниматься, но каждый день находится какой-нибудь предлог еще полениться. Пиши мне, моя милая Фуфа, почаще. Посылаю тебе в этом письме 10 рублей, на которые я бы желала, чтобы ты сняла свою карточку в Москве и прислала мне одну. Впрочем, если у тебя есть какое-нибудь другое большее желание, то ты можешь эти деньги употребить на него. Целую тебя крепко.

Твоя мама.

81. С. И. ЛАМАНСКОМУ [2]

Italia, Bellagio, Hotel Genazzini. [*Июль 1890*]

Дорогой Сергей Иванович.

Благодарю Вас за письмо и за присылку «Русской мысли». Получила и то и другое в Bellagio, где нахожусь в данную минуту. Из Тараспа мы отправились в Pont Resino и в Сен-Мориц. Собрались пробыть там с неделю, но погода была такая отвратительная, что нам удалось подняться только на глетчер Розечь, о других восхождениях и речи не могло быть. Промерзнув дня три в двух отвратительных конурках (все отели

переполнены англичанами), мы двинулись на юг через Малóю и Киавенну в Bellagio, где так очаровательно, что я собираюсь пробыть здесь до конца моих праздников, увы, уже недалекого. Отсюда будем делать маленькие экскурсии, но главная квартира все же останется Bellagio.

Будьте добры, пришлите сюда следующую книжку «Вестн[ика] Европы» и тоже, если увидите какую рецензию моих «Воспоминаний» в газетах или журналах, то пришлите.

Я так ленива, что за все лето написала только маленькую статейку о нар[одном] университете в Швеции для «С. В.» да и ту еще не окончательно отделала.

До свидания, милый Сергей Иванович.

Преданная вам С. К.

82. А. Н. ПЫПИНУ[1]

Стокгольм, 29/17. IX 1890

Многоуважаемый Александр Николаевичь!

Спасибо за ваше последнее письмо и извините, что наделала вам столько хлопот.

Теперь я опять в Стокгольме, по уши в занятиях. Работаю я теперь много и с удовольствием, так как летом поленилась и отдохнула вдоволь. Была я и в Швейцарии и в Италии (в первый раз в жизни) и от последней осталась просто в восторге.

По приезде в Стокгольм меня очень приятно поразило найти здесь письма от нескольких совершенно незнакомых мне русских женщин, которые все выражают мне свое сочувствие по поводу моих воспоминаний и все настоятельно требуют их продолжения. Эти письма меня очень порадовали и действительно убедили меня приняться за продолжение: хочу описать еще по крайней мере годы ученья. Всякую свободную от математики минутку я посвящаю теперь этому делу и если «В[естник] Е[вропы]» пожелает поместить у себя и продолжение моих мемуаров, то я, вероятно, смогу доставить их к январю.

Очень бы мне хотелось самой приехать в Петербург на рождественские каникулы, но не знаю, удастся ли это. Я принадлежу к тем людям, кот[орые] никогда не могут с точностью распределить своих планов за два месяца наперед: в последнюю минуту всегда явится что-нибудь неожиданное и все переменит.

Во всяком случае говорю вам теперь до свидания и прошу вас передать мой искренний привет всей вашей милой семье.

Искренне вам преданная

Софья Ковалевская[2]

83. М. В. МЕНДЕЛЬСОН

[Стокгольм] 56 Sturegatan, 7 октября 1890 г.

Дорогая, милая Мария!

Благодарю тебя за хорошее письмо. Отвечаю сейчас же, а это свидетельствует о том, что оно меня очень обрадовало. Благодарю тебя еще за милое предложение быть крестной матерью моего детища. Мое первородное дитя имеет уже крестную, ты же будешь крестить мое второе дитя, которое должно скоро появиться на свет, которому я посвящаю все мои мысли и которое владеет всеми моими материнскими чувствами [1].

Приступаю к объяснению. Мои «Воспоминания», которые ты так хвалишь, и несколько новых глав, не изданных на русском языке вследствие различных причин и отчасти из-за цензуры, перевела на французский язык одна из здешних девиц. Французский посол в Стокгольме, г. Милле — отличный стилист, просмотрел перевод. Быть может, ты читала его статьи: «От Дуная до Адриатики» в «Revue de deux Mondes» — настоящие шедевры в смысле языка. Итак, г. Милле, племянник Гастона Пари, имеет большие связи в литературном мире и обещал заняться изданием моей книжки. Теперь он во Франции; я получила от него письмо, где он сообщает, что надеется на напечатание моих «Воспоминаний» в «Nouvelle Revue».

Но после «Воспоминаний» я написала еще две вещи. «Нигилистку», о которой я тебе говорила в свое время и даже раз перевела тебе ее ex abrupto *, так как написала ее сначала по-шведски. Теперь я написала ее на русском языке и изменила по многим причинам. Эта повесть также переведена уже на французский язык. Перевод сделан особой, оставляющей желать многого в качестве переводчицы, но имеющей большие литературные связи в Париже, и благодаря ей я или найду наверняка издателя или моя повесть будет напечатана в «Revue de deux Mondes».

Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводною нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней, и если ты пожелаешь перевести ее на французский язык, то я пришлю тебе рукопись [2]. Если мне удастся где-нибудь поместить мои два первородных произведения, то

---

* Вдруг, без подготовки

помещение третьего не встретит затруднений. Со всеми прочими переводчиками я условилась так, что мы делим гонорар пополам, если я получу его. Согласна ли ты на такие условия, дорогая Мария?

У Жаклара также имеется теперь одна моя небольшая новелла. Я сделала глупость и написала ее прямо по-французски. Признаюсь, что это большая глупость; не говоря о стиле, мысль, выраженная не на родном языке, не может иметь размаха. Он обещал ее просмотреть и напечатать, но не слишком торопится.

Но довольно болтать о моей литературе, перехожу к другим делам. Твое письмо, в общем очень милое, имеет тот большой недостаток, что ты ничего не пишешь о себе. А сколько ты пережила больших волнений! Как часто я думала о тебе во время процесса! [1] С удовольствием я читала в различных газетах, что «г-жа Мендельсон — очень красивая женщина, блестящая и интеллигентная, а одета с таким изяществом, что было бы неудивительно, если бы она давала тон парижской моде». Как часто мне хотелось писать тебе. Главной причиной моего молчания было то, что я не знала твоего адреса. Вот почему я послала мои «Воспоминания» через Лаврова [2].

С Жакларом мои отношения самые поверхностные. Я пишу ему изредка, чтобы получить сведения об Юрике. Иногда он соизволит ответить, иногда же — нет. О тебе я, конечно, никогда не вспоминаю в моих письмах из боязни обжечься. Весть о нем, сообщенная мне тобою, удивила меня и вместе с тем я рада за него. Кто же эта счастливая особа, оценившая очаровательность Виктора? Из какого она общества? Мое единственное желание, чтобы она не была очень злой по отношению к Юрику. Жаклар писал мне, что намерен выслать Юрика из Парижа и определить его в агрономическую школу. Это намерение хорошее; жаль только, что Юрик никогда не пишет мне! [3]

А бедный пан Генрих! Одним доказательством больше, подтверждающим старую истину, что никто не уйдет от своей судьбы. Это можно было ясно вычитать по звездам, что он окончит не иначе как женитьбой на старой, некрасивой вдове!

У меня нет больше бумаги, и я кончаю письмо. Сердечный привет пану Станиславу и напиши скорее. Где ты была летом? Я провела лето чудесно, сначала в России, а потом в Швейцарии и Италии. В Петербурге я вынуждена была сказать речь в присутствии 5000 человек в ответ на приветствие, сказанное в честь меня председателем [4].

Всем сердцем преданная тебе С о ф ь я

84. Б. Б. ГЛИНСКОМУ [1]

[Стокгольм] Sturegatan 56,
24/12 окт[ября] 1890

Многоуважаемый Борис Борисович.

Очень рада, что моя статья о крестьян[ских] университетах вам понравилась. Относительно шведской литературы могу вам сказать, что теперь самые [2] выдающиеся писатели в ней: г-жа Эдгрен-Леффлер, Стриндберг и г-жа Бендиксон (более известная под псевдонимом Эрнст Альгрен). Все трое, по странной случайности, родились в том же году и теперь им всем по 40 лет. Стриндберг считается родоначальником новой лит[ературной] школы в Швеции; некоторые из его писаний весьма «нигилистичны» и в России, вероятно, встретили бы препятствие со стороны цензуры. Но некоторые из его рассказов, особенно рассказы из народного быта, чрезвычайно удачные, с удобством годились бы для перевода. У Эрнста Альгрен есть несколько больших романов, одна очень хорошая и эффектная драма «Den bergtagna» («Похищенная духом»), которая, я думаю, отлично годилась бы и для русской сцены, если бы нашелся охотник ее переделать, а также прехорошенькие мелкие рассказы. Если вы пожелаете, я могла бы сказать одному из здешних книгопродавцев выслать вам какое-нибудь сочинение Стриндберга и Эрнст Альгрена, годящееся, по моему мнению, для перевода.

Я была бы очень рада, если бы в ближайших книжках вашего журнала появилось бы что-нибудь этих двух писателей, потому что в таком случае, вместо простой биографии г-жи Эдгрен, я прислала бы вам в начале будущего года маленький обзор шведской соврем[енной] литературы, с характеристикой этих трех писателей, которые все трое представляют много любопытного и характерного для Швеции даже [3] и в частной их жизни.

В норвежской литературе что-нибудь очень крупного за самые последние годы не появлялось. Романы Alexander Kieland'a выговар[ивается] Челланда, очень хороши и все уже переведены на немецкий язык, но все они написаны уже 6—7 лет тому назад.

С датской литературой, я, правда, менее хорошо знакома, но тоже не слыхала, чтоб в ней за самое последнее время появилось что-либо крупное.

Вот все, что могу пока сообщить вам о сканд[инавской] литературе.

Что касается г-жи Эдгрен, то она ничего и не просила, кроме одного оттиска своего романа (или, все равно, одного экз[емпляра] тех номеров журнала, в которых он печатался); я верно, дурно выразилась в моем последнем письме. Относительно моей статьи я была бы очень рада, если бы получила 25 оттисков, столько же, сколько и от В. Е. [«Вестника Европы»].

Вот, кажется, ответила на все ваши вопросы.

Вы мне ничего не написали, где Евреинова. Из забывчивости или от того, что сами не имеете о ней известий?

Мой искренний поклон вашей жене и Флексеру [1].

Преданная вам Софья Ковалевская.

85. А. С. ШАБЕЛЬСКОЙ [2]

[Стокгольм, осень 1890]

Я понимаю, что вас так удивляет, что я могу заниматься зараз и литературой и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикою и считают ее наукой сухой и aride *. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен что-то сочинять несуществующее, что фантазия и вымысел — это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

Что до меня касается, то я всю мою жизнь не могла решить: к чему у меня больше склонности — к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и, наоборот, в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно.

---

* Бесплодной

86. Б. Б. ГЛИНСКОМУ[1]

[Стокгольм] 56, Sturegatan,
20/8 ноября [1890]

Многоуважаемый Борис Борисович.

Сейчас получила я оттиски моей статьи[2] и гонорар за нее. Позвольте вас очень поблагодарить за то, что так скоро ее напечатали, а также и за вашу любезность: присылать мне ваш журнал. Я читаю его с большим интересом и нахожу, что последние книжки в особенности были очень содержательны. От всей души желаю вам такого же успеха и в будущем.

Первая часть повести Альбова показалась мне немножко жиденькой, но вторая очень хороша. А что делает Чехов? Вернулся ли он из своего путешествия на Сахалин и приготовляет ли что-нибудь крупное?

Передайте, пожалуйста, Флексеру, что мне было очень приятно прочесть его лестный отзыв о моих «Воспоминаниях»[3]. Шлю ему и вашей жене дружеский привет.

Искренне вас уважающая Софья Ковалевская.

P. S. Я заметила, что в моей статье урезано несколько фраз, в особенности заключительная[4]. Я сознаю, что она была безграмотна, но так как она была освящена высоким авторитетом нашего бывшего министра просвещения, то я надеюсь, что она сойдет с рук. [Неужто это цензура усмотрела в них что-либо предосудительное?][5]. Неужто в России нет уж и уважения к авторитетам?

87. МАТЕМАТИКУ X.[6]

Больe, декабрь 1890

Если бы вы только видели, как страшно я была обрадована вчера, когда мне передали ваше письмо! Как это хорошо с вашей стороны, что вы любите меня, несмотря на мои недостатки; я очень счастлива, что обладаю таким другом... Главной причиной моего молчания являлось то, что я со дня на день откладывала письмо, чтобы иметь возможность точно указать вам время моего прибытия в Берлин. Увижу я вас очень скоро... Прошу вас, напишите мне, дорогой мой друг, устроит ли вас принять меня в конце января?[7]

88. Г. МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРУ [1]

Стокгольм, 7 февраля 1891 г.

Дорогой Гёста!

Сегодня мне очень плохо. Я была уже простужена, но пошла все же вечером к Гюльденам. Там, однако, у меня сделался такой сильный приступ озноба, что мне пришлось почти тотчас же вернуться домой. Позднее, вечером, у меня началась сильная рвота и всю ночь был сильный жар. Сейчас у меня сильные боли в спине слева, и вообще мне так плохо, что я очень хотела бы позвать врача. Будьте так добры, напишите несколько строчек вашему врачу, чтобы он посетил меня сегодня, и пошлите с посыльным. Я не знаю никакого врача.

ПРИШЛОСЬ ЛИ... [1]

Пришлось ли раз вам безучастно [2],
Бесцельно средь толпы гулять
И вдруг какой-то песни страстной
Случайно звуки услыхать?

На вас нежданною волною
Пахнула память прежних лет,
И что-то милое, родное
В душе откликнулось в ответ.

Казалось вам, что эти звуки
Вы в детстве слышали не раз,
Так много счастья, неги, муки
В них вспоминалося для вас.

Спешили вы привычным слухом
Напев знакомый уловить,
Хотелось вам за каждым звуком,
За каждым словом уследить

Внезапно песня замолчала
И голос замер без следа,
И без конца и без начала
Осталась песня навсегда [3].

Как ненавистна показалась
В тот миг кругом вас тишина,
Как будто с болью оборвалась
В душе отзывная струна!

И как назойливо, докучно
Вас всё напев тот провожал;
Как слух ваш, воле непослушный,
Его вам вечно повторял! [4]

АВТОГРАФ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ

(Черновой)

Пришлось ли разъ вамъ безучастно
Безцѣльно средь толпы гулять
И вдругъ какой то пѣсни страстной
Случайно звуки услыхать
На васъ нежданною волною
Пахнула память прежнихъ лѣтъ
И что то милое, родное
Въ душѣ откликнулось въ отвѣтъ.

Казалось вамъ что эти звуки
Вы въ дѣтствѣ слышали не разъ
Такъ много счастья, нѣги, муки
Въ нихъ вспоминалось для васъ.

Спѣшили Вы привычнымъ слухомъ
Напѣвъ знакомый уловить.
Хотѣлось вамъ за каждымъ звукомъ
За каждымъ словомъ услѣдить

АВТОГРАФ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ
(Беловой)

Вот выступали из забвенья
Размер, слова, обрывки фраз,
И вам казалась на мгновенье
Вся песнь понятною для вас.

Но вдруг опять все уносилось,
И так осталось навсегда
Загадкой то, что̀ говорилось
В той песне, смолкшей без следа...

Ужель и наша встреча с вами
Бесследно также промелькнет?
Блеснула миг перед глазами
И вновь во мраке пропадет.

Нас случай свел, и может снова
Нас тот же случай развести,
И равнодушно, и сурово [1]
Друг другу скажем мы: прости! [2]

Что что̀-то в нас звучит [3] родного,
Нам вдруг почудилось на миг;
Но не сказали мы ни слова,
Как будто скован был язык.

И так без слез, без сожаленья
Разлуку можем мы принять,
И лишь порою из забвенья
Ваш образ будет восставать.

Как будто в дымку облеченный,
Ко мне он будет приходить
И все загадкой нерешенной
Меня тревожить и дразнить [4].

Пока из памяти не сгладит время
Когда-то милые черты,
И сердце вновь покорно примет бремя
Холодной вечной пустоты [5].

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ... [6]

Неизвестный певец внезапно умолк, и этот отрывок песни без начала остался и без конца. О, какой невыносимой показалась мне в этот момент внезапно наступившая вокруг меня ти-

шина. Мне казалось, что какие-то струны моей души, звучавшие в унисон с музыкой, внезапно порвались. Я помню, как еще много дней спустя, эта едва уловленная мелодия непрестанно меня преследовала; независимо от моей воли она ежеминутно звучала в моих ушах.

Иногда мне удавалось восстановить отдельные слова, отрывки фраз, концы мелодии. Казалось — еще одно усилие, и вся песнь восстановится в моей памяти.

Но в следующее мгновение все снова спутывалось, и тайный смысл этой позабытой песни навсегда останется для меня загадкой, ключ к которой мной утерян.

Не такова ли будет судьба и нашей встречи, о мой мимолетный друг? Не будет ли эта встреча подобна вспышке молнии, которая блеснула мне на мгновенье, чтобы сейчас же снова погаснуть и оставить меня в темнице?

Ведь простой случай нас свел, и случай нас снова разлучил. Наше прощанье было таким холодным, таким церемонным.

Был, несомненно, момент, когда мы оба почувствовали себя такими близкими, такими схожими, так необходимыми друг для друга. Но ни слова не было произнесено, мы оба в этот момент как будто онемели.

И вот, хотя ни одно слово не было произнесено, хотя ни одна слеза не пролилась, хотя никакой видимой и матерьяльной связи не существует между нами, почему же мне все-таки кажется таким противоестественным, что мы сейчас разлучены?

Я, вероятно, привыкну к вашему отсутствию. Вначале ваш образ часто будет меня преследовать и мучить как нерешенная проблема.

Но постепенно он будет становиться все более неясным; наконец, он совершенно изгладится, и мое сердце покорно смирится под игом холодного и полного равнодушия, к которому оно уже так приучило себя.

ЕСЛИ ТЫ В ЖИЗНИ...[1]

Если ты в жизни хотя на мгновенье
Истину в сердце твоем ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Что бы, в решенье своем неизменном,
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновенье священном,
Вечно храни, как святыню, в груди

Тучи сберутся громадой нестройной,
Небо покроется черною мглой.
С ясной решимостью, с верой спокойной
Бурю ты встреть и померься с грозой.
Лживые призраки, злые виденья
Сбить тебя будут пытаться с пути:
Против всех вражеских козней спасенье
В собственном сердце ты сможешь найти:
Если хранится в нем искра святая,
Ты всемогущ и всесилен, но знай,
Горе тебе, коль врагам уступая,
Дашь ты похитить ее невзначай!
Лучше бы было тебе не родиться,
Лучше бы истины вовсе не знать,
Нежели, зная, от ней отступиться [1],
Чем первенство за похлебку продать [2],
Ведь грозные боги ревнивы и строги,
Их приговор ясен, решенье одно:
С того человека и взыщется много,
Кому было много талантов дано.
Ты знаешь в писанье суровое слово:
Прощенье замолит за все человек,
Но только за грех против духа святого
Прощения нет и не будет во век.

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ [3]

Я видела сон: я была на берегу моря, в незнакомом обществе. Я разговаривала с каждым, смеялась и говорила разный вздор, так что все думали: «Какое веселое, радостное, беззаботное существо». Потом все разошлись, и я осталась одна на опустелом берегу.

Солнце уже село и начинало смеркаться; воздух был такой душный, что казалось, что вот-вот силы нехватит для дыхания.

Какие-то белые облака, как снежные хлопья, заволакивали небо.

Der Himmel war so trübe,
So schwille war die Nacht,
So ganz wie unsere Liebe
Zu Thränen nur gemacht *.

---

* Небо было так пасмурно.
Так душна была ночь,
Совсем как наша любовь,
Возникшая только для слез

Издали все ближе и ближе доносился рев моря. Я все шла вперед. Сначала мне попадались запоздалые пешеходы, но мало-помалу берег все больше и больше пустел. Проходящий мимо рыбак сказал мне: «Возвращайтесь скорее, сударыня, прилив приближается». Но я ответила, весело смеясь: «Еще успею».

Я все шла вперед. Все громче и громче доносился рев воды. Море расстилалось предо мной, как темностальная масса, по которой только то там, то сям пробегали белые гребни волн.

Уже настолько стемнело, что нельзя было ясно отличить, где кончается берег, где начинается море. Мои ноги вязли в мокром песке, но я все шла вперед.

Ветер дул мне в лицо, вспоминались мелодии, которые в детстве наигрывала моя мать, мои любимые стихи мне приходили на память, математические теоремы с поразительной ясностью выступали в моем уме — мне становилось все веселее и веселее.

Я совершенно забыла, где я нахожусь и зачем сюда пришла.

Вдруг громадная волна разбилась у самых моих ног, обрызгав меня с ног до головы. Меня внезапно охватил испуг, чудовищный, непреодолимый.

Я вдруг внезапно постигла весь ужас насильственной смерти.

Мне мучительно страстно захотелось жить, хотя бы в несчастье, в унижении, в презрении у всех, но только бы жить.

Я побежала и стала кричать, звать на помощь — было уже слишком поздно.

Тяжелая волна догнала меня и сбила с ног. Я продолжала биться, бороться против неизбежности, все еще безумно надеясь, веря в возможность спасения, пока громадный вал не перекатил мне через голову, тихо шепнув мне на ухо:

Полно, о жизни покончен вопрос,
Больше не нужно ни песен, ни слез. [1]

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ[1]

Какому человеку не случалось иногда задумываться над вопросом, насколько иначе сложилась бы его жизнь, если бы он в том или ином случае поступил не так, как он поступил в действительности, а иначе.

Когда мы вспоминаем об обыденных явлениях нашей жизни, мы всегда представляемся себе рабами внешних обстоятельств. Обыденный ход нашего будничного существования держит нас связанными тысячью невидимых нитей. Мы занимаем в жизни известное определенное место, на нас лежат известные, определенные обязанности, которые мы исполняем, точно автоматы, не напрягая своих сил до последней крайности, и если бы мы проснулись поутру и почувствовали себя внезапно немного лучше или хуже, чем прежде, немного крепче или слабее, немного более или менее способными, то в целом это представило бы весьма мало значения.

Я не могла бы заставить течение своей жизни переменить направление, не сделавшись совершенно иною, чем какая я в действительности, не будучи одаренною совершенно иными качествами, которые я даже во сне не могу приписать себе, не потеряв сознания своей индивидуальности. Но совсем иным представляется мне все это, как только на ум приходят некоторые обстоятельства моей жизни. Тогда присущее мне убеждение в существовании свободной воли заговаривает во мне с неудержимою силою. Мне кажется, что стоило мне в ту или иную прошлую минуту напрячь несколько больше свои силы, больше вдуматься в положение дела, действовать более энергически, быть в ином расположении духа, и я сама направила бы свою судьбу по совершенно иному пути.

Здесь происходит то же, что с верою в чудеса. Вряд ли найдется человек, который, не будучи сумасшедшим, стал бы молить создателя нарушить ради него явным образом незыбле-

мые законы природы, заставить, например, мертвого вернуться к жизни. Но я позволю себе спросить всех верующих людей, кто из них не молил несколько раз господа сделать ради него маленькое изменение в своих постановлениях, заставить, например, больного выздороветь. Маленькое чудо кажется нам несравненно более легким для выполнения, чем большое, и нужно действительно некоторое умственное усилие, чтобы признать обе эти просьбы совершенно однородными. То же происходит и с нашими мыслями о самих себе. Для меня почти невозможно представить себе, как я могу проснуться неожиданно утром с голосом Дженни Линд, с телом, таким же гибким и сильным, как у ...с. Но мне не было бы нисколько трудно представить себе, что цвет моего лица...

Такую именно решительную минуту и желали изобразить авторы в своих двух параллельных драмах. Они вообразили, что Карл в первой драме и Карл во второй — одно и то же лицо, но что между ними существуют небольшие различия, из тех, которые так легко приписать себе, не утрачивая сознания собственной индивидуальности. В обыденной жизни мы почти не заметили бы, что такого рода различия существуют, и в большинстве случаев они не оказали бы никакого влияния на то или иное действие Карла. Стоит нам представить, что все пошло хорошо, что отец героя прожил еще года два, и Карл, нарисованный в первой драме, и Карл, как он изображен во второй драме, испытали бы приблизительно одинаковую судьбу, и все мелкие пертурбации в их жизни, которые могли быть вызваны этими небольшими, изобретенными нами различиями в их характерах, скоро бы прекратились под давлением внешних обстоятельств.

Но тут наступает такой решительный момент в их жизни, когда совершенно одинаковые обязанности толкают их в совсем противоположные стороны, и тогда предположенных нами небольших различий в их характерах совершенно достаточно, чтобы заставить одного из них избрать один путь, а другого — другой, а раз выбор сделан, каждый из них начинает жить совершенно особенною жизнью, и пути их никогда уже больше не встречаются.

Возьмем другой пример из области механики.

Представим себе обыкновенные часы или, если хотите, небольшую тяжелую пулю, висящую на очень легкой, но трудно сгибаемой нити, прикрепленной к гвоздю. Стоит дать пуле небольшой толчок, и она сейчас двинется в правую или левую сторону, смотря по направлению удара, опишет известный

круг, достигнет известной высоты, упадет назад, но не остановится на том месте, откуда ей дан был первоначальный толчок, а двинется дальше в противоположном направлении, поднимаясь приблизительно на ту же высоту, на какую она поднялась на противоположной стороне, будет в течение известного времени качаться таким образом взад и вперед.

Если бы мой первый удар был несколько сильнее, пуля поднялась бы несколько выше, но затем продолжала бы двигаться вышеописанным образом. Но если бы мой первый удар был настолько силен, чтобы пуля могла достигнуть наибольшей высоты поднятия нити, она не упала бы назад, а продолжала бы двигаться вперед в сторону, противоположную первоначальному направлению, описывая полный круг, вследствие чего движение изменило бы совсем свой первоначальный характер: таким образом два удара, совершенно подобные друг другу, из которых один не доходит до известной черты, а другой переходит за нее, привели к совершенно различным результатам.

В механике мы привыкли изучать такого рода границы движений или критические моменты, и иногда для того, чтобы составить себе ясное понятие об известном явлении, бывает необходимо исследовать его в связи с этими моментами.

Авторы настоящей драмы задались мыслью исследовать влияние такого рода критического момента на двух людей, очень похожих друг на друга, но не вполне тождественных. Чтобы понять, что́ хотели сказать при этом авторы, нужно помнить, что Карл одной и Карл другой пьесы не одно и то же лицо: один из них более идеалистичен, лучше умеет отличать существенное в жизни от несущественного. Но эти различия так незначительны, что в обыкновенной жизни мы вряд ли бы отличили одного Карла от другого.

Если бы все пошло хорошо, если бы отец прожил еще несколько лет, так чтобы сын получил возможность упрочить свое положение после его смерти, судьба обоих Карлов сложилась бы, повидимому, одним и тем же образом. По всей вероятности, оба они сделались бы мирными научными деятелями, может быть профессорами университета или высшей технической школы, женились бы приблизительно в одном и том же возрасте и сделали бы один и тот же выбор. Но внезапно наступает критический момент в их жизни, и маленького, еле заметного различия между ними совершенно достаточно, чтобы заставить одного смело переступить через критический пункт, а другого упасть под его бременем [1].

ПРИЛОЖЕНИЯ

*

ПИСЬМА РАЗНЫХ ЛИЦ

1. В. О. КОВАЛЕВСКИЙ — А. И. ГЕРЦЕНУ [1]

Краков, 22 октября [1863 г.]

Попавши опять на некоторое время за границу после пятимесячного житья в Петербурге, мне пришлось написать к вам несколько слов, именно основываясь на том, что вы несколько знаете меня. Приехал я в Варшаву и Краков всего дней на 10 и после опять уеду домой в Петербург.

Приезд же мой сюда вызван кой-какими делами и желанием увидеть моего приятеля Якоби, о котором и вместе с которым я уже писал вам еще в апреле [2]. Присутствие его здесь оказалось в высшей степени полезным, да и вообще все самые дельные люди в восстании оказались из русских офицеров. Он счастливо участвовал в нескольких драках, получил было предложение сделаться военным распорядителем при центр[альном] комитете, но отказался и, наконец, был у Тачаловского; под Крушиной 30 авг[уста] их разбили и он с 12 другими был отрезан гродненскими гусарами в числе 60 человек; под ним убита лошадь и сам он пробит тремя ударами пики, так что остался на поле [...]

Однако крестьяне через несколько времени после ухода отряда подобрали живых, свели в лазарет, откуда он перешел в другой и, наконец, его перевезли в Краков, куда я, узнавши об этом, и приехал сейчас. Раны его едва ли позволят ему скоро опять итти в отряд, но так как Националь[ное] Правительство обратило сильное внимание на него, к тому же рапорт, посланный им в Варшаву о положении дел, так обратил на себя общее внимание, что ему предлагали очень изрядные должности, но так [как] раны болят при здешней сырой погоде, то решено, что он поедет осматривать и заказывать оружие и с другими поручениями в Вену, Париж, Лондон и Бельгию; так как в Лондоне он останется всего

несколько дней, а ему бы хотелось видеть вас одного и без всяких собраний воскресных, то он просил известить вас, и я надеюсь, что вы примете его наедине [1]; моя рекомендация конечно тут ни причем и превращается в простое извещение. Как скоро это будет, я не знаю, но извещаю вас на всякий случай. Раны его заживают; кроме огнестрельной, уже закрылись совершенно и при новом устройстве всех отношений в лицах, распоряжающихся восстанием, что, по всей вероятности, уже известно вам [2], он теперь назначен начальником штаба отрядов, формирующихся в Галиции, т. е. ему поручено сформирование, обучение, переход и стратегическая комбинация выходящих из Галиции сил; дела пропасть, и я, живя вместе с ним, как-то поражен даже всем business like * видом этого устройства; совершенный департамент Военного Министерства, только участниками его не генеральство а наша братья. Главный недостаток здесь не в chaire à canon **, его довольно, а в людях, которые сумели хорошенько повести отряд, и если повстанцы часто бегают, так именно потому, что тупоумные или не имеющие понятия о военном деле начальники ведут их как баранов на бойню.

Мне случалось и провожать ночью отряды до границы и встречать разбитые, и всегда прямо виноваты предводители. Из последних номеров «Колокола» можно заключить о впечатлении, произведенном на вас тем, что делается в продажном и подлом о б р а з о в а н н о м [3] круге русском, но видеть все это на деле, жить между негодяями, видеть ваших прежних друзей и ездивших к вам еще очень недавно, посылающих депеши с патриотических обедов одновременно Каткову и Муравьеву [4],— это право чего-нибудь да стоит и способно привести человека и в свирепость и в отчаяние.

Я сам живу кое-как, работаю, как вол, занимаюсь в Медицинской а[ка]демии и через год отправляюсь опять за границу, чтобы, поработавши в каком-нибудь университете, держать экзамен на доктора медицины; одним словом, совершенно изменю свои занятия. А в крепости у нас сидят да сидят, а двух ссыльных Гена и Михаэллса выслали по ложному доносу губернат[ора] Арсеньева из Петрозаводска — первого в Царевосанчурск — Вятской, а другого в Тару Тобольской губернии [5].

Вообще не очень утешительно; цензура свирепствует, III отделение — еще хуже, литература предлагает свои услуги тому министерству, которое заплатит подороже, все благомыслящие люди

---

* Деловой, практичный.
** В пушечном мясе.

молятся на Каткова, все молодое поперло в чиновники; даже та несчастная адвокатская деятельность, которая представляется теперь, совершенно отбрасывается молодежью в сторону, всякий хочет захватить казенное местечко при новом порядке.

Что делают ваши, как здоровье и живописные успехи Натальи Александровны, что делает моя дорогая ученица Ольга; мой низкий искренний поклон и рукопожатие Николаю Платоновичу и Надежде Александровне [1].

Вам искренне преданный В. Ковалевский.

Краков, 22 октября.

2. А. В. КОРВИН-КРУКОВСКАЯ — Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ [2]

28-го февр[аля]. Воскресенье [1865 г.]. Петербург.

Милостивый государь Федор Михайлович!

Я приехала на несколько дней с моей матерью в Петербург и, пользуясь вашим позволением, спешу дать вам знать, что была бы чрезвычайно рада повидаться с вами и познакомиться лично. Может быть, вы не откажетесь зайти к нам на-днях, и в таком случае чрезвычайно обяжете, если дадите знать, — если возможно, с этим посланным, — в какой день и когда вы соберетесь, чтобы я могла вас ожидать. Чем раньше назначите день, тем приятнее будет для меня.

Примите уверение в моем уважении. Анна Круковская.

Наш адрес: На Васильевском Острову, в 1-й линии, дом Шуберта, квартира Фед. Фед. Шуберта.

3. В. В. КОРВИН-КРУКОВСКИЙ — Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ [3]

[Палибино] 14 января 1866 г.

Милостивый государь, Федор Михайлович!

Давно собирался я писать вам, чтобы благодарить за живое участие, принятое вами в литературных занятиях моей дочери, а вместе с тем уяснить несколько оригинальную сторону отношений, начатых моею дочерью под влиянием молодого восторженного авторского увлечения, доставившего впрочем как ей, так, надеюсь, и мне приятного в вас знакомого.

По возвращении жены моей с дочерьми из Петербурга, они сказали мне, что вы располагали приехать летом отдохнуть у нас в деревне. Конечно, мы все были очень этому рады, я же надеялся личным свиданием с вами упростить в нашем знакомстве все, что, по сложившимся обстоятельствам, было фантастического, тем более что письмо моей дочери с посылкой повести было во время моего отсутствия и оттого дало вид какой-то таинственности [1]. Но когда за статью моей дочери были высланы деньги при одобрительном вашем отзыве об ее молодом таланте, то это поставило дело, начавшееся [2] в двоякий вид: во-первых, дочь моя была озадачена высылкой денег, потому что ни обстоятельства, ни положение не влекли ее авторской фантазии к такому практическому результату, и обстоятельство это она уладила по влечению своего сердца; с другой же стороны лестный ваш отзыв об ее попытке служит ручательством, что она имеет задаток к развитию своего таланта, а так как между тем знакомство моей жены и дочери с вами отчасти перешло уже с Парнаса в Витебскую губернию, то и все прежнее должно было вступить в область приятных отношений между людьми, взаимно друг друга уважающими.

Я надеюсь, что вы разделяете мой взгляд, тем более что мы с вами, переживая жизнь [3] знаем из опыта, что многое кажется молодому воображению сквозь розовую призму. Надеюсь также, что мое искреннее письмо разъяснит те недоразумения, которые просвечиваются в ваших письмах к моей дочери. Впрочем, оно иначе и быть не может: вы ее совсем не знаете, вам она должна была показаться в неестественном виде, и потому я полагаю, что лестную, впрочем, для нее иронию в письмах ваших об ее предназначении и чувствах, словом, как говорится, в заоблачных краях.

Итак, позвольте мне, оставя все недоразумения, просить вас о продолжении знакомства вашего; о чем сознаюсь, что при теперешней поездке моего семейства в Петербург я лишен буду удовольствия личного с вами свидания, но прошу вас доставить это удовольствие моим [4]. Со своей же стороны буду весьма вам обязан, если откровенно напишете ваше мнение насчет литературных занятий моей дочери и, главное, ваш совет в отношении направления слишком пылкой фантазии под влиянием не совсем разборчивого чтения.

Вот я уже обращаюсь к вам, как к старому знакомому, в надежде взаимности и потому прошу вас верить истинному моему почтению.

Ваш покорный слуга В. Корвин-Круковский.

4. А. В. ЖАКЛАР — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ[1]

[Женева, начало августа 1870 г.]

Дорогие мои Софа и Жанна!

Решительно не могу понять, отчего от вас все еще нет писем. Каждый день хожу на почту. и каждый день возвращаюсь с пустыми руками. А между тем вы могли бы понять, как интересно мне знать, что у вас происходит, на что вы решаетесь, что намерены делать. Ты, Софа, например, верно в большом недоумении касательно твоего путешествия в Париж. Все пути пресечены, все дороги заняты перемещением и перевозкою труп[2] и к тому же французская граница вся занята армиею — всякое сообщение прервано.

Мне пришло в голову сначала, что ты поедешь прямо в Лондон, но и бельгийская граница представляет те же затруднения. Скажи, пожалуйста, что ты намерена делать.

А ты, Жанна? Эта война не расстроит ли планы твоего отца и наместо того, чтобы приехать самому, не выпишет ли он вас[3] к себе в Петергоф? Вот-то будет обидно, я уже так радовалась твоему приезду и так твердо рассчитывала на него!

Пожалуйства, напишите же хоть словечко. Скажите также, что история карточек? Гадко же ты поступила, Софа, что сразу брякнула все, несмотря на наше условие. К тому же вспомни, что Жаннину карточку ты же сама своровала, чтобы заменить ту, которую я стащила у тебя и обещала взять всю ответственность на себя. Не хорошо, право не хорошо! Я уже писала вам, что как ни горько будет расстаться с ними, я решусь, пожалуй, выслать их вам, чтобы вы подложили тихонько между тетрадями Юлии; но чтобы решиться на такое самопожертвование, нужно, чтобы вы написали мне, что это необходимо. Уже верно, что я дорожу ими больше, чем Юлия.

Сегодня ко мне приходила Ольга[4] и поверяла свое горе; она собирается ехать в Россию и боится пуститься в путь, потому что ее уверяют, что сообщения прерваны для пассажиров. Она хочет ехать на Мюнхен и просила меня написать туда, если у меня есть там знакомые; не можете ли вы справиться, насколько эти слухи основательны, и есть ли опасность пуститься в путь с пятерью ребятишками? Я очень жалею, что она уезжает, она мне очень симпатична.

Утина теперь в Женеве, и между нами прежние, дружеские отношения. До какой степени, право, женщины выше мужчин[5].

Я на-днях имела известия о Малоне. Он был выпущен на поруки и кто-то внес за него 500 фр. Вследствие этого обстоятель-

ства он и не воспользовался свободою, чтобы бежать, от постигшего его осуждения на год тюремного заключения. Тогда здешняя русская партия, в лице Ольги, написала ему, что они внесут эти деньги и чтобы он бежал; но он отказался, говоря, что l'International a besoin victimes * и что в тюрьме он больше подвигает нравственно sa cause **, нежели в изгнании. Но на-днях пришло другое письмо, где он пишет очень смутно и экзальтированно и говорит, что что-то готовится и затевается в Париже [1].

Жак[лар] также ждет с нетерпением точных известий от своих друзей о настроении умов [2]. Желательно было бы предпринять что-нибудь в случае поражения,— но ведь чем чорт не шутит, может быть, они будут победителями, тогда прощай на несколько лет революция, доверие восстановится, коммерсанты, буржуа и chauvins *** все будут на стороне Бонопарта, и придется, пожалуй, раскаяться, что упустили такой случай, когда Париж был свободен от войск. Все это очень сложно и трудно решиться, как лучше поступить.

Что касается до нашего житья, то в материальном отношении все обстоит благополучно. Жак[лар] нашел очень выгодный урок, кроме того, принят в ту школу, о которой я тебе говорила; все это вместе дает ему до 300 фр. в месяц; только выгодный урок не навсегда, а только до конца октября; все же покуда это отлично. Только le revers de la medaille **** — в том, что ему приходится работать и бегать, как каторжный. Уроки начинаются с 7 часов утра, он должен итти далеко за Женеву, возвращаться к часу в другой конец, в другую деревню, и свободен только в шесть часов вечера, а до тех пор буквально не вздыхает ни минутки. Хоть бы поскорее прислали мои бумаги и я могла бы обвенчаться [3].

Leygue очень влиятелен здесь; кроме того, этот благодетельный раббин, нашедший ему все эти уроки, также распространит свою благосклонность и на меня и все ручается, что я найду занятие.

Пожалуйста, не медлите пересылкою писем от родных, какого бы содержания они ни были [4]. Вот покуда и все, что у нас новенького. Женева отвратительна; я пишу весь день и читаю Прудона. Выхожу только вечером подышать. Обнимаю вас.

Преданная на всю жизнь Анюта.

---

* Интернационалу нужны жертвы.

** Свое дело.

*** Шовинисты.

**** Оборотная сторона медали.

5. А. В. ЖАКЛАР — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [1]

Женева, 12 августа [*1870*]

Дорогая моя Софа.

Я все эти дни раздумывала, писать ли тебе или нет, так как я живу среди такого хаоса, что не могу сказать ничего положительного про себя. Вот уже неделя, что известия поражения французов и беспокойств в Париже держат нас, что называется «sur le qui-vive» *. Мы решились ехать туда, несмотря на опасности, окружающие Ж[аклара], опасности, еще увеличивающиеся вследствие военного положения и его осуждения к déportation **.

Все это ты уже, вероятно, знаешь по газетам.

Но перед настоящими обстоятельствами нельзя оставаться в бездействии, и недостаток в людях с головою и решимостью слишком ощутителен, чтобы думать о спасении своей кожи. Нас удерживают покуда только хлопоты о пачпорте или виде на чужое имя, без которого невозможен въезд в Париж. Все это найдется, мы надеемся, завтра или послезавтра. Кроме того, он простудился, и было бы безрассудно ехать, не поправившись, для того чтобы слечь там в постель.

Все ли вы думаете и рассчитываете ехать в Париж? Для людей «науки» Париж не представляет теперь больших удобств и sécurité ***; если вы не раздумали, то мы, может быть, увидимся вскоре, только бог весть при каких условиях.

Я вовсе не делаю себе иллюзий относительно всех трудностей. Условия для хорошего и прочного водворения республики очень плохи.

Безденежье, поражение и неприятель на границе и, может быть, и под самым Парижем — все это не очень благоприятствует «социальному» движению, без которого республика та же тирания.

Кроме того все шансы на стороне орлеанистов [2], и междоусобные распри неизбежны.

Но тем необходимее для республиканцев не быть в разборе и в одиночку, и каждый порядочный человек может быть теперь полезен...

Палата ничего толкового не сделает, да от нее, кроме движения в пользу орлеанов, и ожидать нечего; народ же только бунтуется без пути [3].

---

* Настороже.
** Ссылка.
*** Безопасность

Ежели я приеду в Париж, то тотчас же напишу тебе оттуда; не знаю только, дойдет ли письмо. Ежели же что-нибудь помешает нашему скорому отъезду, то также извещу тебя отсюда, чтобы не оставлять в беспокойстве и неизвестности на мой счет.

Ж[аклар] покидает здесь отличное положение; за последнее время нашлось так много уроков, что он принужден был даже отказывать, так как буквально от шести часов утра до 7 вечера не может вздохнуть ни минутки. К несчастью, все это так еще недолговременно, что большой выгоды он от этого не извлек; хорошо и то, что путешествие возможно и ему не препятствует полное безденежье.

Наш проект замужества так и не состоялся; видно, уже фатум такой; видно, мне на веку написано остаться старой девой. Это ужасно обидно. Но в Париже венчаться уже невозможно. Кстати, ты ничего не пишешь, какие предосторожности ты предприняла относительно писем родителей и высылки моих бумаг. Ежели они придут, то самое лучшее оставить их до моего следующего письма при тебе; ежели же я останусь непредвиденно в Женеве, то прислать мне их по следующему адресу: M-r Leygue, Chemin du Vieux Billard, 9. Plain Palais, Genève, на передачу J. [Жаклару].

Я воображаю, в каком они беспокойстве теперь. Удивляюсь, право, и не могу себе объяснить их молчания. Писала ли ты им, и в этом случае что сказала обо мне; где предполагается, что я нахожусь? Ежели бы я оставалась в Женеве, то непременно написала бы им отсюда, известив, что, напрасно прождав мои бумаги, решилась переехать к J. [Жаклару], надеясь повенчаться с моим пачпортом, и что опять настоятельно прошу их поторопиться высылкой моих бумаг. Теперь же это бесполезно.

От Жанны [Евреиновой] я получила вчера записочку из Лейпцига; она писала мне длинное письмо, которое никогда не дошло до меня, теперь же она дает мне свой адрес в Петергоф. В Лейпциге она, кажется, очень много «изучала» женский вопрос и познакомилась с Луизою Отто.

Пиши мне, пожалуйста, дорогая Софа; правда, что в настоящую минуту трудно дать тебе адрес. Но так как я через несколько дней извещу тебя, где я нахожусь, то ты уже не поленись подробно написать мне о своих планах. Вдруг придется нам встретиться в республике. Вот было бы хорошо!

Обнимаю тебя тысячу, тысячу раз. Как хотелось бы поговорить с тобой по душе. В письме об этом и думать нечего! Кланяйся брату.

Вся твоя А н ю т а.

6. А. В. ЖАКЛАР — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ[1]

[Женева, начало сентября 1870]

Дорогая моя Софочка.

Пишу тебе только несколько слов, чтобы известить о новой перемене в наших планах. Последние известия о взятии Наполеона опять взбудоражили нас пуще прежнего и мы решились ехать в Париж. Мы выезжаем завтра, в понедельник. Разумеется, это решение представляет много опасности. Республика так еще далека, что новое правительство, какого бы свойства оно ни было, все же отнесется с одинаковым недоброжелательством к революционерам. К тому же амнистии быть не может так скоро, и Жаклар рискует многим.

Но делать нечего; когда человек хочет, чтобы его убеждения и поступки были приняты за известное дело, он должен рисковать собою. И если бы я имела влияние удержать Жаклара, то ни за что не решилась бы употребить его.

Самое же меня лично страшно как интересует то, что происходит в настоящую минуту, и, не будь этого опасения за свободу Жаклара, я с величайшим бы удовольствием готовилась к отъезду.

Едва ли при настоящих событиях возможна осада Парижа. Вернее всего, что пруссаки поспешат заключить мир. Следовательно, с этой стороны я не думаю, чтобы нам грозила опасность в Париже. Может быть, вся эта перемена декорации повлияет и на ваше решение. Я не теряю надежды увидаться с вами в Париже.

Только до этого дождитесь, чтобы быть уверены, что не будет осады. В противном случае было бы безрассудно вам ехать. Не говоря про опасность, которую кое-как возможно избежать, так как не весь же город может подвергнуться бомбардированию и в центре всегда останутся спокойные уголки, но вообще все условия жизни далеко не привлекательны.

Во-первых, главная цель вашей поездки никак не достигается, так как библиотека будет закрыта, и, как говорят, даже все книги будут или спрятаны в подвалах или вывезены; во-вторых, дороговизна будет страшная как квартир, так и съестных припасов. Я понимаю, что в Париж можно ехать во время революции, но смотреть из любви к искусству на бомбардированье пруссаков, совсем нелепо и несвоеобразно.

Обнимаю тебя, дорогая моя, бесценная Софа. Как хотелось бы получить еще письмо от тебя до отъезда. Кстати, я в про-

шлом письме забыла сказать вам, чтобы ты и Вл. Онуфр. выслали на имя m-r Leygue доверенность (в форме письма) для получения писем на ваше имя, иначе ответ родных никогда не дойдет до нас, да и бумаги могут пропасть. Пришлите немедленно. Он же перешлет нам в Париж, если мы не вернемся. Еще раз обнимаю тебя [1].

7. А. В. ЖАКЛАР — В. О. КОВАЛЕВСКОМУ [2]

[Берн. Конец 1871].

Милый Владимир Онуфриевичь,

Вы, вероятно, в большой претензии на нас, что до сих пор не получили вашего пачпорта, но вина была не наша, так как письмо ваше пролежало все время в Берне, покуда мы гуляли в Женеве среди коммунаров Batignoles и Monmartre [3]. Только по возвращении нашем, т. е. вчера, нашли мы ваше письмо. К тому же мы никак не были приготовлены к вашим быстрым перемещениям и вообразили, что вы преспокойно остались в Париже.

Признаюсь, ваши быстрые voltes echevelées * даже несколько смутили нас по следующей причине: мы ожидали, или, вернее, Виктор ожидал, что вы пришлете ему, во-первых, книги, которые остались у одного его приятеля и которые очень необходимы ему, так как и без того приходится покупать одних учебников на несколько сот франков; а во-вторых, что особенно важно,— его пальто или pardessus.

Вы знаете, что он уехал в чужом, который должен был отослать обратно, и теперь, когда холода в Берне уже очень ощутительны, ему приходится ходить в одном сюртуке. Это очень обидно, тем более что, признайтесь, неприятно делать этот расход, при всех других необходимых, тогда, когда возлагалась такая твердая надежда на получение этого пальто от вас. Напишите, пожалуйста, существует ли еще надежда, или приходится отложить ее, и в этом случае примите в расчет время вашего ответа, потому что боюсь, что зима не будет справляться с этим немаловажным фактом и застанет нас совсем врасплох.

Ваш быстрый отъезд из Гейдельберга очень изумил нас. Мы надеялись совершить часть пути вместе и переговорить об этих предметах [4].

Мы поселились в Берне; Виктор уже принялся за занятия; я нашла здесь библиотеку и театр, довольно посредственный;

* Неистовые скачки.

этого на первое время достаточно, а там, что бог даст. К сожалению, жизнь в Берне по дороговизне далеко не соответствует недостатку других ресурсов.

Придется искать уроков, но в Берне немного иностранцев, и не так скоро отыскать требуваемого.

Прощайте. Жмем вашу руку.

Наш адрес: Markgasse 47, Pension Blatter-Sied. M-me Jaclard-Corvin.

8. В. О. КОВАЛЕВСКИЙ — О ПОМОЩИ СЛАВЯНАМ [1]

[Петербург] 21 июля 1876 г.

М. Г. В виду крайней нужды, царствующей в настоящее время в славянских землях, многие и хотели бы помочь посильно своим страждущим братьям, но не имеют случая передавать в общую кассу незначительных сумм, которые, скопляясь, могли бы составить значительные куши. Мне кажется, что возможно организовать весьма успешно сбор следующим образом.

Пусть славянский комитет разместит в самом скором времени кружки по всем книжным магазинам и по всем другим, которые изъявят свое согласие на это, и пусть при всякой купле и продаже как покупатель, так и продавец опустят в эту кружку известный процент с переходящей из рук в руки суммы. Многое, что выторговано покупателем, поступит таким образом в эти кружки в пользу славян.

Имея в своем распоряжении значительное количество изданий, я обязуюсь на все время продолжающейся борьбы на Балканском полуострове вносить по 3% со всех проданных книг моего издания или находящихся у меня в складе. Можно ожидать, что много других издателей и книгопродавцев готовы также уделять известный процент с покупаемых ими у издателей книг, а со своей стороны и из публики, вероятно, многие, купив на 10 рублей книг, не откажутся опустить 50 коп. в кружку для славян. Если бы возможно было распространить ту же систему сбора на приемные известных врачей, адвокатов, нотариусов и на магазины, где торгуют предметами роскоши, на магазины дамских нарядов, фруктовые лавки и в особенности на табачные магазины, то при обоюдном пожертвовании самого незначительного процента покупателем и продавцом мы уверены, что ежедневно могут собраться значительные деньги. Надо делать это быстро и, заказав кружки с замками славянского комитета, распределить их повсюду.

В. Ковалевский [2].

9. А. В. ЖАКЛАР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ[1]

[Петербург]. 29 IX 1878.

Дорогая моя Анна Григорьевна!

Я очень запоздала с ответом на ваше доброе, прекрасное письмо и теперь очень боюсь, что оно уже не застанет вас в Старой Руссе. Но дело в том, что письмо ваше пропутешествовало напрасно в деревню, где уже не нашло нас и было нам отправлено в Петербург, куда мы вернулись ранее назначенного срока. Французская хрестоматия, которую мы издали и корректуру которой хотели держать в деревне, потребовала нашего немедленного возвращения, и уже в первых числах августа мы снова водворились в нашем прежнем местожительстве на Васильевском острову. С тех пор, покончив с сильно приевшейся хрестоматиею[2], я отдалась своим литературным занятиям, как говорят французы: «J'ai mis en train différentes choses» *, и это даже, говоря откровенно, было, как вам и ни покажется странным, одною из причин моего молчания. Во-первых, я очень сильно сожалела об отсутствии Федора Михайловича, к которому так всегда и тянет обратиться за советом, прежде нежели предпринять что-нибудь, а во-вторых, уже раз решившись попытаться на свою ответственность, хотелось бы уже выйти из нерешительности прежде, нежели писать таким друзьям, как вы, от которых не хотелось бы утаивать о близко касающихся предметах. А все же, как видите, не утерпела — и написала или, вернее, пишу.

Не знаю, поймете ли вы это сбивчивое и неясное разъяснение, но во всяком случае надеюсь, поймете одно, что, несмотря на молчание, помнила, думала, любила вас беспрерывно и неизменно и глубоко, была тронута вашим дорогим письмом.

Вот уже и приближается время вашего возвращения. Вы, пожалуйста, известите меня о вашем новом адресе. Да, кстати, неужели вы опять думаете забираться так далеко? Неужели не переселитесь поближе? Вы видите, как я бесцеремонно ставлю наш Васильевский остров в центр, употребляя выражение «поближе», но мне нет дела до топографической верности в этом случае, я только желаю достигнуть одной цели — уговорить вас поселиться поближе от нас[3].

Анна Григорьевна! Подумайте, как бы это было прекрасно! Ведь мы с вами занятые люди; сколько раз и хотелось бы, и

---

* Я пустила в ход разные дела.

порываешься съездить навестить, поговорить по душе, а подумаешь об расстоянии, о времени, которое на это потребуется, и отложишь до более свободного времени. А кроме того, с петербургским климатом, с нашим неважным здоровьем, сколько раз нездоровье, усталость могут служить помехою видеться. А тут, если б жить поближе, как хорошо можно было бы устроиться! И детки бы наши виделись, и мы бы могли бы покрепче, поближе сойтись не только «душевно», как теперь, но и всем обменом общих впечатлений и житейских забот и мелочей, которые наполняют жизнь и ближе скрепляют дружбу. Подумайте об этом, дорогая моя, и постарайтесь устроить как можно лучше. А главное, не забудьте известить меня, как только приедете, чтоб я могла навестить вас.

Не пишу много, надеюсь теперь не долго дожидаться вашего приезда. Ведь вы знаете, что со мною церемониться — грех, не дожидайтесь, чтоб у вас все было у с т р о е н о, чтоб дать мне знать, только назначьте время, когда менее обеспокою.

Обнимаю вас, дорогая моя, хорошая, милая Анна Григорьевна. Кланяйтесь и крепко пожмите руку дорогому Федору Михайловичу. Передайте ему, как я сильно желаю его видеть, послушать, что он расскажет про свое путешествие [1]. Мне также хочется многое передать ему. Деток ваших дорогих обнимаю от души.

Преданная вам А н н а Ж а к л а р - К о р в и н.

29 сентября 1878 г.
Васильевский остров, 6-я линия, № 15 [2].

10. А. В. ЖАКЛАР — Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ [3]

[*Петербург. Осень 1879 г.*]

Многоуважаемый мой друг Федор Михайлович.

Я очень запоздала с обещанным ответом,— но причиною тому моя неожиданная болезнь — острый припадок невралгии, которая схватила меня в четверг вечером, после заседания у Философовой [4] и продержала меня в сильном страдании трое суток.— Писать было невозможно, так как боль была особенно в груди и боку. Это очень неопасно, но мучительно, теперь все почти прошло и пожалуйста не примите это за предлог отложить Ваш п о ч т и о б е щ а н н ы й визит.

Не знаю как я п о т р а ф и л а с ответом. Боюсь, не забыла ли я чего-нибудь. Жалею, что не записала тогда вечером с Ва-

ших слов по пунктам. Впрочем, кажется, ясно выразила Вашу мысль, т. е. желание участвовать в конгрессе [1] и между тем еще неопределенность планов. Я полагаю, что после этого сочувственного ответа самая простая вежливость заставит их прислать carte de delégué [2].

До свидания, дорогой мой друг, Федор Михайлович,— буду Вас ждать теперь, и добрейшую Анну Григорьевну, с нетерпением.

Крепко жму Вашу руку

Ваша Анна Жаклар-Корвин.

Я пересылаю бумаги в двух конвертах для бóльшей верности.— Вероятно получите одновременно.

11. А. М. БУТЛЕРОВ — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [3]

С.-Петербург, 5 октября 1880 г.

Многоуважаемая Юлия Всеволодовна,

Вчера приехал в Петербург, а сегодня уже был в заседании Педагогич[еского] совета Женских курсов и спешу * поделиться с вами теми результатами, которые вынес и которые, быть может, изменят ваши намерения. Оказывается, что все наши молодые люди, годные в руководители, уже при деле, и лишь с большой натяжкой и неудобствами можно приобрести их труд и время для замены того, что так хорошо могли бы вы делать и что мы от вас ожидали. Да и вообще в женской лаборатории руководитель мущина не заменит надежную руководительницу-женщину. Словом, ваш отказ ставит нас в порядочное затруднение, и несомненно, компрометирует чувствительно успех дела. Конечно, в необходимости и крайности оно устроится, но... в необходимости — и как?..

Вы писали, что готовы взять на себя обязанности на время. Это было бы хорошо, но под условием, чтобы время это продолжалось до весны, весь учебный год. Не устроится ли это? Ответьте мне, пожалуйста, немедленно. Утвердительный ответ ваш очень порадовал бы и меня и всех, желающих серьезного успеха делу.

Притом ведь одна из существующих причин, вас задерживавших, устранена или будет устранена скоро: я думал, что

---

* из лаборатории (*А. Б.*)

сестра ваша уехала за границу на долго; здесь же узнал, что она поехала с августа на два месяца. Значит, хозяйство вас не задержит, так как при том его главная часть падает на лето, когда вы будете свободны [1].

Не могу не повторить, что ваш отказ я очень склонен считать способным превратиться в полную и совершенную разлуку с химией навсегда. Неужели оно так и будет?

Итак, жду скорого ответа и с наилучшими пожеланиями остаюсь всегда вам преданный и готовый к услугам.

А. Бутлеров [2].

12. В. О. КОВАЛЕВСКИЙ — Е. С. НЕКРАСОВОЙ [3]

Москва. 28 февраля 1882 г.

Милостивая государыня Екатерина Степановна.

Вы были так любезны обещать мне на вечер 12 февраля оттиски статей А. И. Герцена для его дочери Натальи Александровны Герцен; будьте так добры передать их посланному для отсылки в Париж, за что дети Александра Ивановича будут Вам очень благодарны.

Ваш покорный слуга В. Ковалевский.

13. К. ВЕЙЕРШТРАСС — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [4]

[Берлин. 11 апреля 1882]

Мой дорогой друг, прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как ты уехала из Берлина, и я еще ни разу тебе не писал. Ты имела бы таким образом полное основание быть недовольной мною, если бы сама не знала по опыту, что можно вполне сознавать свой долг и все-таки откладывать исполнение его со дня на день и что все же в основе этого не лежат ни леность, ни небрежность.

Твое первое письмо из Парижа также заставило себя долго ждать, и должен откровенно сознаться, что мне трудно было бы сразу ответить на него. Из каждой строки его, а еще более из того, что можно прочитать между строк, вполне ясно, что обстоятельства, о которых ты не вполне можешь и хочешь говорить точнее, доставляют тебе заботы и огорчения, которые мо-

гут отодвинуть на долгое время исполнение твоего желания без помехи посвятить себя работе.

Ты в таких случаях не привыкла высказываться без утайки даже перед близкими друзьями и находишь, что каждый должен сам постараться преодолеть свои затруднения. Я вполне в этом тебе сочувствую и не мог бы поэтому просить у тебя разъяснений и подробностей, и все же в качестве твоего друга и «духовника» я не мог бы молча пройти мимо того, что ты мне сообщаешь намеками или что я сам соображаю. Вот истинная причина, почему мне было так трудно решиться написать тебе.

14. К. ВЕЙЕРШТРАСС — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [1]

[*Берлин, 14 июня 1882*]

Мой дорогой друг. То, что ты мне сообщаешь в первой части своего долгожданного письма, очень меня огорчило, хотя это и не было неожиданным. В самом деле я уже давно подозревал, что́ служит причиной твоего длительного пребывания в Париже и твоего полного молчания по отношению ко мне.

Немногих часов, в которые я имел возможность изучить Ковалевского, было достаточно, чтобы убедить меня, что в основе вашего брака есть трещина, грозящая совсем разрушить его. Он не интересуется твоими идеями и стремлениями и не понимает их, а ты не можешь свыкнуться с его беспокойной жизнью. Ваши характеры слишком различны, чтобы ты могла надеяться найти в нем опору и крепость, необходимые для полного счастья, а он в тебе также не находит необходимого ему дополнения. Если бы дело обстояло иначе, то я думаю, что даже временные заблуждения с его стороны не помешали бы вашему искреннему примирению.

Если я отговаривал тебя от твоего плана выступить в Стокгольме в качестве приват-доцента, тогда как он продолжал бы служить в Москве, то это вытекало из моего убеждения, что такие отношения неестественны для супругов. Я вполне убежден, что тебе никогда не пришло бы это в голову, если бы ты чувствовала себя внутренно связанной с твоим мужем и любила бы его так, как мужчина хочет быть любимым. Что́ он был против этого плана, я ему не ставлю в вину, и, может быть, это и заставляет его быть против твоих математических стремлений вообще.

При настоящем положении вещей ваши отношения, повидимому, стали непрочными. Желательно только, чтобы ты могла получить необходимую для твоего существования свободу от беспокойства и забот. Ты должна также как можно скорее выйти из своего теперешнего одиночества и взять к себе свою дочь. Заботы о ней и наблюдения за ее развитием займут тебя благодетельным образом и порадуют.

Я высказал тебе все, что думаю, без всяких околичностей. Благодарю тебя за высказанное тобою доверие ко мне. Я, однако, слишком хорошо тебя знаю, чтобы навязать тебе какой-нибудь совет, и знаю, что ты достаточно сильна и сама справишься со своей участью. Но если ты полагаешь, что мой совет и мое содействие могут быть тебе полезны, то ведь ты знаешь, что без всякого колебания можешь ко мне обращаться.

15. Ю. В. ЛЕРМОНТОВА — НЕИЗВЕСТНОМУ [1]

[Москва] 17 апреля 1883 г.

Милостивый государь.

На основании слухов о ваших дружеских отношениях к Александру Онуфриевичу обращаюсь к вам с просьбою взять на себя тяжелую обязанность передать Татьяне Кирилловне Ковалевской, что в ночь с 15-го на 16-ое апреля Владимир Онуфриевич Ковалевский покончил с собою, вдыхая, как кажется по всему, хлороформ. Я хотела писать об этом самой Татьяне Кирилловне, но боюсь, как бы письмо не попало в руки Александра Онуфриевича. Обдумайте пожалуйста, как лучше приготовить его к мысли о кончине брата. Я боюсь, что это известие потрясет его так сильно, что он не вынесет этого удара. Страшно подумать о последствиях.

На основании моих личных наблюдений Владимир Онуфриевич дошел до такого нравственного состояния и пребывал в нем так долго, что смерть, по-моему, для него явилась спасительным исходом. Продолжать жить в таких тревожных муках дольше было невозможно. Страшно, конечно, выговорить, но для него лично, право, лучше; но, конечно, горячо любящий брат на эту точку зрения стать не может, а потому страшно за Александра Онуфриевича. Ради бога, употребите все меры осторожности, хотя я понимаю, как это трудно, почти невозможно. Надо отстранить от него газеты, газетные известия для близких всегда самое ужасное.

Из близких родственников В. О. в Москве сейчас никого нет, так что его из номера вынесли в частный дом [1], до вскрытия и похорон. Я хотела его взять к себе, но говорят — это невозможно, так как я родственных прав никаких не имею. Обратилась к некоторым знакомым профессорам и я надеюсь, что так как он принадлежал к ученой корпорации университета, то позаботится университет, чтобы ему был отдан последний долг в приличной форме.

Пожалуй, Александр Онуфриевич никогда не простит нам, что мы лишили его утешения отдать последний долг покойному. Не знаю, право, как лучше поступить; я думаю все-таки нельзя ему говорить; посоветуйтесь об этом с Татьяной Кирилловной.

Ожидая от вас известия, как вы намерены поступить, остаюсь с совершенным уважением

Ю. Лермонтова.

Сегодня же мною уже послана вам телеграмма.

Адрес мой: Москва, Малая Дмитровка, дом Шиловского, кв. № 10. Юлия Всеволодовна Лермонтова.

16. А. О. КОВАЛЕВСКИЙ — И. И. МЕЧНИКОВУ [2].

[Одесса] 29 мая [18]83

Дорогой Илья Ильич. Я до сих пор не оправился от постигшего меня горя, и в первое время чувствовал себя плохо, так что опять сделал попытку застраховать себя, но снова с такой же удачей.

Он умер почти что накануне отъезда в Одессу. Уже корреспонденция его была адресована в Одессу; он вел переговоры о своей докторской диссертации; но перед самым отъездом, не желая бросить свое дело и Рагозиных на произвол судьбы, по совету А. И. Языкова, начал составлять письменное изложение своих отношений к товариществу.

Это возобновление в памяти всех фактов показалось ему столь мрачным, что его больная голова (в смысле намученной и натревоженной жизнью последнего года) не выдержала, и он решил покончить сразу [3].

17. Ю. В. ЛЕРМОНТОВА — А. О. КОВАЛЕВСКОМУ[1]

Семенково, 6 июня 1883

Многоуважаемый и дорогой Александр Онуфриевич!

Надеюсь, что вы получили мою записку с приложением денег, оставленных мне Владимиром Онуфриевичем. Я ужасно сожалею, что не сделала этого ранее и письмо причинило вам страдание. Но я так была убеждена, что в этом пакете никакой объяснительной записки быть не могло, что не особенно торопилась ехать в Москву с целью вскрыть пакет.

Я впрочем вполне понимаю ваше волнение и сочувствую ему. Вам хотелось бы знать, какие были последние желания В. О. относительно Фуфочки. Я сама долго и много думала об этом — это вопрос, который сильно тревожит меня. Как устроится ближайшее будущее Фуфы. Где и как ей лучше получить первоначальное свое воспитание и образование. Конечно, в этом вопросе следовало бы руководствоваться желаниями В. О., но кроме того и вашим собственным мнением, как для девочки лучше и полезнее.

Я от Софы уж давно не получаю писем; со времени кончины В. О. получила лишь несколько отчаянных строк. На основании же вашего письма и писем, полученных от Жаклара из Парижа, я вообразила, что Софа уж у вас и что вопрос о будущности Фуфы решится вашим общим советом. Но, очевидно, я ошиблась. Софа еще в Париже, а не едет она, быть может, по недостатку денег. Хочу сегодня ей написать письмо и спросить обстоятельного ответа касательно ее намерений.

Мне кажется, что как для Софы, так и для Фуфочки самое желательное, как самое нормальное, было бы, чтобы они жили вместе и чтобы Софа пеклась о воспитании своей девочки. Я себе не могу представить, чтобы дело было иначе; мне кажется, что Софа никогда не помирится с тем, чтобы ее дитя выросло на чужом попечении (на настоящую разлуку она смотрит как на дело временное и очень страдает от нее); с другой стороны, Фуфа никогда в чужом доме не может иметь той нормальной, правильной нравственной обстановки, как при родной матери. Как ни берегли бы ее в чужом доме, как бы ни любили ее, все-таки развитие ее по самому существу пойдет неправильно и отразится впоследствии пагубно на всей ее жизни. По-моему, необходимо, чтоб Фуфа росла при матери. Я писала Софе об этом неоднократно, и она вполне согласилась со мною.

Жаклар писал мне, что Софа теперь только и твердит о том, как бы ехать в Одессу к Фуфочке. Отчего ее до сих пор нет, не понимаю. Надо ей послать гравюры, чтобы она могла их продать там и приехать. Не постигаю, почему от нее нет писем.

Вам или Софе следовало бы также непременно свидеться или написать судебному следователю, у которого собственно находятся все бумаги, оставленные Владимиром Онуфриевичем; какие там бумаги, я не знаю; легко могли бы быть и важные бумаги. Кроме близких родственников никто не может предъявить право на них. Может быть, остались и деловые бумаги, да и вещи, которые как память для вас имели бы ценность.

Ваше письмо к Языкову я переправила на его московскую квартиру, но по всей вероятности он теперь у себя в деревне. Последнее время он все был в Петербурге, защищал дела, очень был занят, так это, вероятно, причина его молчания.

В университете у В. О. тоже остались книги, вещи и в его письменном столе тоже, быть может, бумаги, имеющие значение. Если по истечении известного срока никто не предъявит права на эти вещи, то их уже нельзя будет и получить.

Если я могу чем-нибудь помочь вам в этом деле, то, пожалуйста, располагайте мною.

В. О. тоже, насколько я понимаю, желал, чтобы Фуфочка воспитывалась при Софе; он очень горячо к ней относился последнее время и сознавал, что это самое нормальное, хотя часто говорил мне, что и на меня рассчитывает, что я буду иметь попечение о девочке, потому что очень люблю ее. Да я с радостью остаюсь в запасе, если б Софа не нашла возможным взять Фуфу, чего я себе не представляю.

Крепко жму вашу руку.

Ю. Лермонтова[1].

18. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ[2]

С.-Петербург, 20 сентября (2 октября) 1886 г.

Я весьма обрадован честью, которую вы мне оказали, пожелав перевести мою заметку о предельных величинах интегралов. Интерес, с которым вы отнеслись к моим исследованиям по этому предмету, побуждает меня сообщить вам один результат, который я только что извлек из них, относительно определения пределов, между которыми остается сумма какого-нибудь числа первых коэффициентов ряда...[3].

19. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [1]

[Петербург] 8 октября 1886.

Многоуважаемая Софья Васильевна!

Сердечно благодарю вас за присланную фотографию. На ней впервые я увидел Софью Васильевну II-ую, которою я уже семь лет (со времени С.-Петербургского съезда естествоиспытателей) [2] сильно заинтересован был рассказами ее маменьки, как-то: об усилии ее, увенчавшемся успехом, произнести м а м а; о беспокойно проведенной ночи, помешавшей ее маменьке быть в одном из заседаний Математической секции и т. п. Я очень рад, что вы находите возможным напечатать мое письмо в вашем журнале. Теперь я занят работою, где первая из сообщенных мною формул оказывается крайне необходимою.

Вчера в заседании Академии Наук сделаны представления о трех новых членах: Маркова, Бейльштейна и Бекетова. Буду ждать с нетерпением праздников в надежде, что вы доставите мне честь вас видеть и поговорить с вами о математике и механике.

Примите уверенье в истинном моем почтении, с которым пребыть честь [имею] ваш, милостивая государыня, всепокорнейший слуга.

П. Чебышев.

Потрудитесь передать мое почтение Г. Миттаг-Леффлеру.

22. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [2]

[Петербург]. 14 (26) октября, 1886 г.

Многоуважаемая Софья Васильевна!

На корректуре статьи, составленной из письма моего к вам, я, по просьбе г. Енестрема, изменил заглавие в такое: Sur les sommes composés coéfficients des séries à termes positifs [4].

Если вы находите это заглавие достаточно хорошо определяющим характер той задачи о рядах, решение которой собственно имелось в виду при рассмотрении интеграла

$$\int_0^\infty e^{-tz} F(z)\, dz$$

и которая имеет особенный интерес, пусть так и печатают. Если же вы предпочитаете иначе озаглавить, я вперед даю свое согласие и считаю излишним присылать ко мне вновь корректуру с измененным вами заглавием. Других изменений и поправок я не имею никаких предложить, кроме нескольких опечаток, указанных мной на корректуре.

Еще раз приношу вам глубочайшую благодарность и за сделанный вами перевод и за присланную вами фотографию[1], и всепокорнейше прошу передать мое почтение Г. Миттаг-Леффлеру и мою искреннюю благодарность г. Енестрему за труд по пересылке корректуры и оттисков, о которых он меня уведомляет в последнем письме.

Примите уверение в истинном моем почтении и глубочайшем уважении.

Ваш покорнейший слуга П. Чебышев.

21. А. В. ЖАКЛАР — С. И. ЛАМАНСКОМУ[2]

Париж, 1 июля 1887 г.

Милый Сергей Иванович.

Я все собираюсь вам писать и не могла потому, что опять сделалось хуже. Здесь в больницах видно уж такая судьба, что вас все режут; меня уже два раза резали; первый раз вырезали нарыв под мышкой, а во второй выпустили воду из ног. Лечение не очень изменили и придерживаются главного средства — морфия, от которого уменьшаются спазмы и ночное волнение. Я принуждена была взять отдельную сиделку; мне, к счастью, попалась хорошая женщина, которая куда за пояс заткнет всех наших и которая вот уже две недели отдает мне 20 часов в сутки. Вообще я очень довольна и уходом и пищею и обстановкою.

Меня каждый день навещают, и я даже не воображала, что у меня столько доброрасположенных людей в Париже. Многие живущие вне города зовут нас к себе, и мы уже присматриваемся к одной дачке, которая помещается бок о бок с дачею Дезескель.

Очень вам благодарна за присылку денег[3]; надеюсь, что возобновите и на следующий месяц. Квартиры сдавайте, ради бога, скорей и по возможности на годовых условиях. За Машей присматривайте. Больше всего мучает меня процесс по асфальту. Если, боже упаси, мы проиграем, нам никогда не управиться с уплатой и придется итти с ним на мировую по рассрочке.

Представьте себе, что об Софе ни слуху ни духу, и никто здесь ничего не знает. Я в страшном беспокойствс и боюсь, не случилось ли чего с Фуфой.

Прощайте, милый Сергей Иванович. Будьте спокойны, бумага торжественно сожжена [1].

Преданная вам А. Жаклар-Корвин.

22. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ[3]

Петербург] 20 октября [1888 г.]

Многоуважаемая Софья Васильевна!

Лестное внимание, которым вы удостоили мою первую работу о предельных величинах интегралов [3], подает мне надежду, что вы окажете свое содействие для появления в свет на французском языке второй моей работы по тому же предмету, представляющей продолжение первой. Перевод ее, при сем прилагаемый, сделан молодым математиком, получившим высшее математическое образование в Париже, и сделан отлично [4].

Из различных заграничных журналов, где этот перевод мог бы быть напечатан, я предпочитаю «Acta Mathematica» и это не потому только, что там напечатан перевод первой статьи и письмо мое к вам касательно того же предмета.

Потрудитесь передать мое глубочайшее почтение Миттагу-Леффлеру вместе с желанием видеть перевод моей статьи в его журнале.

Новостей математических у нас никаких нет; сам я сижу за мемуаром *о простейших суставчатых системах*, который надеюсь скоро кончить и передать в Академию Наук.

Прошу принять уверение в глубочайшем уважении.

Ваш покорный слуга П. Чебышев.

23. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ[5]

[Петербург, 11 (23) октября 1889 г.]

Многоуважаемая Софья Васильевна!

Никто не сомневается, что вы всем сердцем преданы отечеству и что вы с радостью перешли бы из шведского университета в русский [6]. В этом не может быть никакого сомнения;

можно только сомневаться, что вы согласитесь променять университетскую кафедру в Швеции на место преподавателя математики высших женских курсов у нас. Я полагаю, что такая перемена была бы большою жертвою с вашей стороны и жертвою в ущерб развития высшей математики. При ныне действующих у нас уставах мужских учебных заведений, безусловно не допускающих женщин ни на какие кафедры, нам остается только радоваться и гордиться, что наша соотечественница с таким успехом занимает кафедру в заграничном университете, где национальное чувство далеко не в пользу ее. Я слышал, что ответ уже послан [1] на письмо Г. Косича, которым был возбужден вопрос о доставлении вам места в России взамен того, которое вы имеете в Стокгольме. Я имел случай читать это письмо и, признаюсь, был крайне удивлен, как мало знаком ваш родственник с тем, что общеизвестно о вашей ученой карьере [2].

Потрудитесь передать мое почтение Г. Миттагу-Леффлеру и мою искреннюю благодарность как за напечатание в его журнале перевода моего мемуара об *интегральных вычетах*, так и за присылку оттисков.

Прошу принять уверение в глубочайшем уважении и искренней преданности.

Ваш покорнейший слуга П. Чебышев.

11/23 октября 1889 г.

24. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — О СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ [3]

[*Петербург, октябрь 1889*]

Я полагаю, что письмо генерал-лейтенанта Косича касательно Софьи Васильевны Ковалевской написано без ее ведома. Только этим можно объяснить ошибочность сведений о г-же Ковалевской, сообщаемых в письме, и несогласованность с тем, что мне и всем многим хорошо известно. Более 20 лет тому назад обращалась ко мне Софья Васильевна (не бывши еще в замужестве) за советом о занятиях математикою [4], и все случившееся с нею после того мне хорошо известно.

До какой степени сведения о ней, заключающиеся в письме генерала Косича [5], далеки от истины, можно видеть, между прочим, из сличения их с подробною биографиею г-жи Ковалевской, напечатанною в *Шведской иллюстрации (Illustrerad Tidning, 9 авг.* 1884) [6], стокгольмской газете, по случаю ее назначения профессором Стокгольмского [7] университета. Русский перевод этой статьи был напечатан в сборнике г. Сенигова, издававшемся под заглавием «Школа математики» [8].

Также нельзя признать согласным с истиною то, что говорится о почете [1], оказанном г-же Ковалевской Парижскою Академиею наук, а именно, что *в 1885 г. для нее было назначено особенное торжественное заседание Академии, где она была посажена рядом с де-Шеврелем* [2]. Сколько мне известно и как было публиковано в газетах, г-жа Ковалевская была допущена в залу заседания в обыкновенное собрание Академии, и это было сделано в противность устава Академии единственно ввиду ее ученых заслуг. При этом она была введена в залу заседания непременным секретарем, известным математиком Бертраном.

В настоящее время г. Ковалевская занимает и очень важное и очень почетное место в Стокгольме, состоя профессором тамошнего университета. Такое место едва ли она согласится переменить на место профессора математики Высших курсов [3], единственное, которое для нее доступно по ныне действующим уставам учебных заведений и где есть кафедра высшей математики [4].

25. К. С. ВЕСЕЛОВСКИЙ — А. И. КОСИЧУ [5]

Петербург 11 [23] октября 1889

Его императорское высочество, августейший президент императорской Академии Наук изволил приказать мне сообщить вам, что Софья Васильевна Ковалевская, приобревшая за границею громкую известность своими научными работами, пользуется не меньшею известностью и между нашими математиками. Блестящие успехи нашей соотечественницы за границею тем более лестны для нас, что они всецело должны быть приписаны ее высоким достоинствам, так как там национальные чувства не могли служить для усиления энтузиазма в пользу ее [6].

Особенно лестно для нас то, что г-жа Ковалевская получила место профессора математики в Стокгольмском университете. Предоставление университетской кафедры женщине могло состояться только при особо высоком и совершенно исключительном мнении об ее способностях и знаниях, а г-жа Ковалевская вполне оправдала такое мнение своими поистине замечательными лекциями.

Так как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места, столь же почетного и хорошо оплачиваемого, как то, которое она занимает в Стокгольме. Место преподавателя математики на

Высших женских курсах гораздо ниже университетской кафедры; в других же наших учебных заведениях, где женщины могут быть учителями, преподавание математики ограничивается одними элементарными частями.

26. АКАДЕМИКИ О СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ [1]

[Петербург, октябрь 1889 г.]

В Физико-математическое отделение Академии Наук

Нижеподписавшиеся имеют честь предложить к избранию членом-корреспондентом Академии, в разряд математических наук, доктора математики, профессора Стокгольмского университета Софью Васильевну Ковалевскую.

П. Чебышев, В. Имшенецкий, В. Буняковский.

27. П. Л. ЧЕБЫШЕВ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [2]

Петербург, 8 [20] ноября 1889

Наша Академия Наук только что избрала вас членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента. Я очень счастлив видеть исполненным одно из моих самых пламенных и справедливых желаний.

Чебышев.

28. А. О. КОВАЛЕВСКИЙ — С. В. КОВАЛЕВСКОЙ [3]

27. XII 89, Неаполь
Statione Zoologica *

Дорогая Софья Васильевна, мы вчера все очень обрадовались, получив ваше письмо; поздравляем вас от души с новой премией [4], которая доказывает весьма важное обстоятельство, именно, что энергия ваша не ослабевает. В газетах было также известие об избрании вас в члены-корреспонденты нашей немецкой академии в Петербурге. Этим мы стали с вами товарищами, что меня весьма радует [5].

Сегодня ровно неделя как Вера у нас; она приехала провести с нами рождественские каникулы, так что мы теперь все

* Зоологическая станция.

вместе; но Володя уезжает сегодня вечером в Одессу; он теперь в 7-м классе и боится остаться с нами, чтобы не засесть в классе. Если этого не случится, то через $1^1/_2$ года он окончит гимназию и поступит в университет. То же и в тот же срок должно совершиться с Лидой; теперь она помогает мне в работах по станции и имеет склонность к зоологическим занятиям [1].

Вера почти не кашляет и лицом скорее поправилась и потолстела, так что вести, сообщаемые вам Мечниковым, во всяком случае сильно преувеличены. Климат Берна действительно оказался очень суров, мороз доходит до 20° по R, и, кроме того, она поселилась у некоей барышни m-lle Бруа ужасно далеко от У[ниверсите]та, так что ей minimum два раза в день приходилось ходить почти $1^1/_2$ версты туда и обратно, т[ак] к[ак] идет она от 15 до 25 минут; тем не менее мы здесь побываем у доктора, некоего Кантани, которого все очень хвалят. Прерывать теперь опять ее занятия, которые, наконец, вошли в правильную колею, конечно, следует только в случае необходимости; я хочу ее подольше продержать в Неаполе, а весна и лето прекрасны в Швейцарии.

Нам бы ужасно хотелось видеть вас и Фуфу, но живем мы все в таких противуположных полюсах, что трудно встретиться. Не можете ли вы прислать нам вашу карточку и карточку Фуфы. Мечников нам про нее рассказывал летом и нам бы очень хотелось ее видеть.

Планы наши на будущее таковы: проживем до 10 мая в Неаполе, затем я возвращаюсь в Одессу, а жену и Лиду оставляю в Берне с Верой. Беда в том, что вследствие филлоксерных работ я должен проводить лето в России [2].

Мне после возвращения придется прослужить $3^1/_2$ года до полной пенсии в 3000 р., а тогда я непременно выйду и поселюсь где-нибудь на юге [3].

Будьте добры, напишите нам еще из Парижа; все мои вам низко кланяются. Искренно преданный вам

А. Ковалевский.

29. К. ЭРМИТ — П. Л. ЧЕБЫШЕВУ [4]

Париж, 21 мая 1890 г.

Пользуюсь вашей добротой и выражаю пожелание, чтобы вы смогли вызвать к себе в С.-Петербургскую Академию Наук г-жу Ковалевскую, талант которой вызывает восхищение всех математиков и которая в своем стокгольмском изгнании хранит в

своем сердце сожаление и любовь к своей родине России. Я узнал от нее о том участии, которое вы приняли в ее избрании в качестве члена-корреспондента Академии, в то же самое время она сообщила мне о своем тяжелом душевном состоянии в связи с ее пребыванием за границей, и я решаюсь просить вас, по мере возможности, оказать ей нужную поддержку.

Прошу вас извинить мое ходатайство, если оно нескромно.

30. М. А. СЕЧЕНОВА — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ[1]

Париж, 6 февраля 1891

Дорогая Юлия Всеволодовна!

Мы ужасно поражены смертью Софьи Васильевны. Можно легко представить, каково ваше горе. Мысль непосредственно переносится к Фуфочке. Где она теперь, у кого будет, кому поручила ее Софья Васильевна, если успела сделать какие-нибудь распоряжения на ее счет.

Вы знаете, что мы оба, т. е. я и Иван Михайлович, очень склонны любить эту милую девочку. Нам хотелось бы принять возможно близкое участие в ее судьбе, на что имя крестного отца дает И. М. полное право.

Пожалуйста, напишите нам тотчас по получении этого письма. Это вопрос для нас обоих очень важный. Не забудьте приложить ваш адрес; если в вашем письме будет что-либо, требующее немедленного ответа, мы будем телеграфировать.

В Париже мы останемся до 12—14 (здешнего) марта. Так как письмо может застрять по дороге, то не откладывайте ответа. Может быть, нам нужно будет повидаться с вами. Назначьте время и место.

Жму вашу руку.

Ваша М. Сеченова.

31. А. И. КОСИЧ — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ[2]

26 февраля 1891 г., Саратов

Милостивая государыня Юлия Всеволодовна.

Вчера я получил ваш адрес от С. И. Ламанского. Спешу написать вам несколько слов. Если бы я раньше знал, куда писать, я бы написал вам давно.

Я подавлен несчастием общей нашей невознаградимой потери. Я телеграфировал по получении депеши о смерти Софы: Leffler, Феде и С. Ф. Шуберт и даже вам в Стокгольм. На-днях получил, кроме телеграммы, подробное письмо от Leffler. Вы, вероятно, уже знаете что М. М. Ковалевский подал на высочайшее имя прошение об усыновлении Фуфы (которой я писал недели две назад).

Leffler пишет, что Фуфа останется для воспитания у Гюльден, а на лето будет приезжать в Россию.

Надеюсь получить от Вас еще более подробные сведения. Полагаю быть в начале марта в П[етер]бурге; проездом через Москву постараюсь повидаться с вами.

Как грустно, что Софа похоронена в Стокгольме; хотя бы это утешение не было от нас отнято, чтобы ее прах покоился в России, которая не успела пригреть ее у себя. Извините за спешность письма. Я тороплюсь, чтобы до отъезда получить от вас известие.

Я писал Фуфе, чтобы она рассчитывала на наш дом, как на самый близкий, родной.

С совершенным уважением ваш А. Косич.

32. А. О. КОВАЛЕВСКИЙ — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ[1]

Соборная пл., д. Папудовой [Одесса]
4 марта 91

Многоуважаемая Юлия Всеволодовна.

Сегодня получил ваше письмо от 1-го/III и, согласно вашему желанию, я и телеграфировал. Надеюсь, что вы успокоились. Дело удочерения, очевидно, невозможно, но я думаю и думал, что было бы совершенно несправедливо обидеть Мак[сима] Макс[имовича] резким отказом, имея в виду все, что он уже сделал и намеревался сделать для Фуфы. И из Стокгольма и из Парижа (Жаклары) пишут, что С. В. была, как говорят, обручена с Мак[симом] Макс[имовичем] и свадьба была отложена до весны. Сие намерение Софьи Вас[ильевны] на полное соединение своей, а отчасти и Фуфиной судьбы с Макс[имом] Макс[имовичем] было очень определенное. Кроме того, мысль об удочерении, как пишет m-me Gylden, принадлежит ей, а не ему, и он только принял казавшийся ему наиболее простым этот способ обеспечения; вероятно, он согласится и на другой путь помощи Фуфе, как вы справедливо пишете, «более действительный и менее громогласный».

Ал. Ковалевский[2].

33. М. М. КОВАЛЕВСКИЙ — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [1]

Venice, Hôtel d'Angleterre.
[Венеция], 4 окт[ября] 91 г.

Многоуважаемая Юлия Всеволодовна!

Я дал вам время кончить переписку бумаг Софьи Васильевны, так как все это время был в разъездах и постоянного адреса дать не мог. Теперь я снова в Венеции и, вероятно, пробуду здесь целый месяц. Что́ бы вам прислать мне сюда рукописи Софии Васильевны и, буде возможно, вашу копию с них. Неудобно отдавать в печать самый текст. Желательно было бы сохранить его для Фуфы.

Прошу вас также высказать ваше мнение на счет следующего проекта. Не издать ли нам вместе с статьями и отрывками, оставленными покойной, и материалы для ее биографии? Сюда могли бы войти воспоминания ее брата о ее детстве, речь Миттаг-Леффлера, помещенная мною в «Русских вед[омостях»], мои воспоминания о последних годах ее жизни. Быть может, вы сами согласились бы написать что-нибудь о годах, прожитых совместно в Гейдельберге. Может быть и Александр Онуфриевич не отказался бы сделать что-нибудь подобное [2].

Признаюсь, меня очень затрудняет писать о С. В. В наших отношениях было много такого, что трудно понять людям посторонним. Говорить и недоговаривать — задача нелегкая. Не лучше ли бы поэтому заменить мои воспоминания, далеко еще не написанные, воспоминаниями другого очевидца ее жизни в Стокгольме, m-me Edgren duchesse di Gaianello *. Я рассчитываю увидеть ее в Неаполе и сговориться с нею. Но скажите мне прежде, что вы думаете об этом проекте [3].

Пишу Александру Онуфриевичу, чтобы поблагодарить его за готовность, с которой он берется помочь мне в издании сочинений С. В

Примите уверение в глубоком уважении

М. Ковалевский.

34. М. М. КОВАЛЕВСКИЙ — Ю. В. ЛЕРМОНТОВОЙ [4]

[1891 г.]

Многоуважаемая Юлия Всеволодовна.

Я сегодня же исправил перевод Воспоминаний [5] и отослал Ал[ександру] Онуфриевичу, который занят печатаньем. Я чрез

* Госпожа Эдгрен — герцогиня Кайянелло.

него переслал экземпляр «Нигилистки», но дошел ли он до вас? [1]. Если прикажете, вышлю сколько угодно экземпляров. Все остальное кажется мне недостаточно отделанным. Если этим и можно воспользоваться, то как материалом для биографии.

Глубоко уважающий вас М. Ковалевский.

Я не советую печатать стихов [2]. Они не назначались для печати. О статье пусть выскажется Ал. Онуф. Я судить о ней не компетентен. Все рукописи пересланы А. О. в Петербург. Сборник выйдет, слышу, к генварю. В него войдут: «Воспоминания», «Vae victis», «Знакомство с Элиот», присланный вами отрывок «Семья Воронцовых» с пропусками, «Письмо в редакцию», Отрывок из романа, происходящего на Ривьере» [3].

35. М. М. КОВАЛЕВСКИЙ — С. Вл. КОВАЛЕВСКОЙ [4]

Beaulieu [*Больe*] *23 янв*[*аря*] *900 г.*

Дорогая Софья Владимировна.

Очень обрадовало меня получение известий о вас. Их так давно не было. Известия прекрасные. Вы выбираете дорогу, которой нельзя не одобрить, и мы наперед радуемся тому, что нашего полка прибудет [5].

Теперь просьба к вам. Ваш прежний учитель Гревс остался без места [6]. Его хотели бы пригласить в Новый университет в Брюсселе с вознаграждением и правом читать свои лекции по-русски. Ректор унив[ерситета] де-Греф говорил мне о возможности дать ему при поселении в Бельгии до 5000 фр. ежегодно. Я не знаю адреса Гревса и не могу выполнить возложенного на меня поручения. Не замените ли вы меня в данном случае и не покажете ли ему этого письма с просьбой о скором ответе?

Не имея адреса г-жи Лермонтовой (зовут ее Юлия Всеволодовна? не правда ли), не могу поблагодарить ее за поздравления. Сделайте это за меня.

Преданный вам М. Ковалевский [7].

P. S. Поклон Александру Онуфриевичу и всей его семье.

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ
(младшая)

ВОСПОМИНАНИЯ О МАТЕРИ

Трудно делиться воспоминаниями о своей матери, а особенно это трудно в тех случаях, когда, как это было со мной, взаимное общение было таким непродолжительным и прервалось так рано. В раннем детстве я всегда была с ней, но не сохранила об этом воспоминаний.

Мне было семь лет, когда началась моя совместная сознательная жизнь с матерью и двенадцать с половиной лет, когда она ушла навсегда, после бурной, длившейся всего несколько дней болезни.

До семилетнего возраста я видела ее большей частью только урывками, когда она приезжала провести один месяц, или еще меньше, из своих летних каникул у своей приятельницы Юлии Всеволодовны Лермонтовой — в Москве или в подмосковном маленьком имении Лермонтовой в Звенигородском уезде. Моя мать не хотела брать меня к себе в Швецию, пока еще была слишком поглощена своими новыми обязанностями профессора математики и домашней жизни могла посвятить лишь самое минимальное время.

Из писем ее шведских знакомых мы узнаем, что ей делались даже упреки за то, что она якобы пренебрегает своими непосредственными материнскими обязанностями и оставляет свою дочь на попечение чужих людей. Однако моя мать знала, как много забот и времени они посвящают ее ребенку, знала, что она пока не сможет создать ему тех же условий; кроме того она находилась в чуждой среде, к которой сама еще должна была привыкнуть. Она писала своему другу, профессору Миттаг-Леффлеру, что охотно подчинится всем требованиям шведских дам в мелких вещах, но не уступит в том, что ей кажется существенным. Он

был с ней совершенно согласен и ответил, что ей вовсе нет надобности прислушиваться к мнению этого «шведского курятника».

Она приехала за мной лишь после того, как создала себе прочное положение в университете и обставила удовлетворительно свою домашнюю жизнь. Шведские дамы и даже ее ближайшая приятельница, сестра профессора Миттаг-Леффлер, передовая по тому времени писательница Анна-Шарлотта Эдгрен-Леффлер, не находили, правда, эту жизнь достаточно комфортабельной, о чем Анна-Шарлотта пишет в своих воспоминаниях.

Не обладая достаточными средствами, чтобы купить новую обстановку для целой квартиры, а иметь таковую считалось для семейного профессора обязательным, моя мать выписала из Петербурга часть мебели, привезенной из бывшего имения ее родителей. Мебель эта, когда-то стоявшая в гостиной дворянского помещичьего дома, была черного дерева и обита красным атласом. Но, увы, атлас частью потерся и пришлось покрывать рваные места различными салфеточками; пружины тоже пострадали от времени. Средств на устройство квартиры ушло так много, что о новых затратах на смену обивки не приходилось думать; мебель оставлена была «пока» в прежнем виде и колола глаза «аккуратным» шведским дамам. В этой же гостиной стояла качалка, на которой в один из своих периодов увлечения рукоделием, после окончания напряженной умственной работы, моя мать собственноручно вышила красивое покрывало, окаймленное красным бархатом; оно сохранилось и поныне. Там же стоял небольшой настольный шкафчик-ларец, тоже из черного дерева, со вставленными в дверцы портретами генерала Шуберта и его жены — предков по материнской линии. Портреты были писаны красками по фарфору; генерал был в парадной форме, а жена ео в бальном платье, с высокой и замысловатой прической.

Стены гостиной тоже не были голыми: на одной висела довольно большая картина в золоченой рамке, копия какого-то фламандского художника, на другой большое зеркало в золоченой рамке. Ее кабинет и третья комната, столовая, она же детская, были обставлены новой мебелью, купленной в Швеции. На стенах висели картины (олеографии) из жизни детей и путешественников. Была еще и четвертая комнатка, небольшая спальня, но о ней я не сохранила воспоминания.

Я хорошо помню свой первый приезд в эту новую для меня страну, Швецию, в конце лета 1886 г. Моя мать приехала за мною к Лермонтовой на дачу. Первоначально предполагалось, что Лермонтова тоже поедет в Стокгольм и проведет с нами зиму.

По каким-то обстоятельствам этот план, однако, не осуществился, и мать взяла меня одну. Я очень отвыкла от нее за последние два года, в течение которых она приезжала к нам лишь на короткое время. Ей пришлось потратить немало усилий, чтобы снова приучить меня к себе. Меня страшила мысль, что я теперь должна уехать с ней в совершенно неизвестную страну, где кругом будут говорить даже не на немецком, все же мне несколько знакомом языке, а на каком-то странном «свинском», как тотчас же переименовали название «свенска» (так шведы называют свой язык) мои насмешливые сверстники.

Первые впечатления от поездки через Балтийское море были у меня не слишком приятными, так как оказалось, что меня сильно укачивает даже в сравнительно тихую погоду. Я доставляла своей матери ряд непредвиденных хлопот, но она терпеливо снесла их, и я помню ее всегда ровной и ласковой.

В конце августа после двух с половиной суток езды по морю мы приехали в Стокгольм перед самым закатом солнца. Вид красивого стокгольмского рейда поразил даже меня, еще не умевшую ценить картины природы. На пристани, насколько я помню, нас никто не встретил. Было еще летнее время, и все мамины знакомые были, вероятно, на даче. Она наняла ручную тележку для поклажи, дав возчику адрес квартиры, а сама отправилась со мной пешком кратчайшим путем через большой сад, где в то время цвели странные кустарники с колючками и большими красными цветами. Впоследствии я узнала, что это были агавы.

На квартире я встретила теплый прием со стороны нашей шведской прислуги. Она умела очень хорошо обращаться с детьми и быстро научила меня самым необходимым шведским словам. Через некоторое время мать стала брать меня с собой на рынок, где путем наглядного обучения значительно обогатила мой лексикон шведского языка.

Постепенно наладилась наша совместная жизнь в чужой стране. Первое время она много мной занималась: читала мне вслух русские книги, привезенные из России, ходила со мной на уроки гимнастики и на прогулки. Через некоторое время стали съезжаться знакомые, и у меня появились сверстники, с которыми я уже могла несколько объясняться. Каникулы матери к этому времени кончились, и она должна была чаще отлучаться. Но я уже настолько освоилась, что спокойно оставалась без нее как дома, так и в гостях. У нее был уже в это время порядочный круг знакомых, из которых главными были семейства Леффлеров и Гюльден. У Леффлеров не было детей, но они были очень ласковы ко мне; у них были собаки, а также интересные книги. Я с

удовольствием стала ходить к ним. С Гюльденами я вполне сдружилась. Там был один мальчик моего возраста и еще трое детей старше. Профессор Гюльден был астрономом, и они жили на окраине города, в доме с башней, окруженном большим садом. В этом семействе я потом стала жить вполне как член семьи во время частых каникулярных отлучек матери.

Кроме этих ближайших друзей, из тогдашних знакомых, навещавших мою мать в первый и последующие годы ее пребывания в Швеции, я помню профессора Норденшильда — знаменитого полярного путешественника, зоолога Лекке, редактора социал-демократической газеты Брантинга, нередко сиживавшего в тюрьме за слишком резкие статьи о шведском правительстве, и особенно о короле. Помню также молодого тогда Нансена, собиравшегося в свое большое путешествие по Гренландии.

В Швеции зарождалась в конце 80-х годов молодая интеллигенция, значительно более демократичная, чем предшествующее ей поколение, и боровшаяся со многими старыми предрассудками. Во вновь основанном Стокгольмском университете, или Высшей школе, как он тогда еще назывался, тоже шла борьба старого и нового направлений. Профессор Миттаг-Леффлер был знаком с моей матерью по ее работам и по отзывам о ней профессора Вейерштрасса. Поэтому он пригласил ее прочесть факультативный курс уравнений с частными производными, носивший лишь полуофициальный характер, в весеннем семестре 1884 г. Этот курс имел успех. И все же официальное приглашение ее на университетскую кафедру встретило большое сопротивление. Реакционная партия видела в Софье Васильевне не только совершенно новое явление — женщину-профессора, но и русскую женщину, «вероятную нигилистку», которая одним своим появлением может потревожить мирную жизнь шведов и заразить общество вредными мыслями. Леффлеру все же удалось одержать верх в Стокгольмском университетском правлении, но консерваторы как в Стокгольме, так и в Упсальском университете очень не одобряли это новшество.

Писатель Стриндберг, уже после того как моя мать начала читать официальные лекции и стала пользоваться значительным успехом, написал против нее статью, в которой доказывал, «что женщина — профессор математики является вредным и неприятным явлением, даже, можно сказать, чудовищем, и что только галантностью шведов к женскому полу объясняется приглашение ее в страну, где есть столько мужчин-математиков, значительно превосходящих ее своими познаниями».

Над этой статьей Софья Васильевна много смеялась и нахо-

дила, что она может согласиться с тем, что она чудовище, но не с тем, что в Швеции так уж много мужчин-математиков, значительно ее превосходящих.

Ко времени моего приезда в Швецию значительная часть враждебных ей настроений уже сменилась полным признанием ее и как профессора и как члена общества. Так называемое интеллигентное общество Стокгольма сменило в это время мрачную религиозную направленность предыдущего поколения на жизнерадостное настроение молодых свободомыслящих адептов науки, не пренебрегающих всеми благами жизни. Профессора и их семейства устраивали совместные ужины, прогулки и выступления, организовывали клубы, куда приглашали известных артистов и художников и где читались также доклады на научные темы. Моя мать всегда любила общество. Но после мрачных лет, проведенных ею в России во время постепенного разорения, а затем смерти своего мужа, она отошла от него. Теперь она охотно стала участвовать в общественной жизни. Прежде всего она научилась кататься на коньках и с увлечением предавалась этому спорту совместно с профессором Леффлером и его сестрой. Я помню, как мои школьные товарищи, когда я уже ходила в школу, иногда указывали на этих известных им людей, если они приходили на тот каток, где отдельное место было отведено школьникам, и добродушно трунили над увлечением этой неразлучной троицы, над их дискуссиями и несколько неловкими их движениями [1]. Но чаще моя мать и Леффлеры ходили на так называемый «королевский каток», куда доступ школьникам был запрещен.

Любила моя мать также совершать длинные прогулки по окружавшему часть Стокгольма большому лесу — парку. Здесь ее спутниками иногда была я и некоторые из детей Гюльден; она проделывала с нами большие путешествия, заканчивавшиеся обедом на нашей квартире. Во время этих прогулок она была весела и много шутила с нами. Мы, дети, могли, конечно, сопровождать ее только по праздникам. По будням же она уходила гулять после лекций с Леффлером и его сестрой.

Однако не всегда моя мать, помнится мне, была в веселом настроении. Иногда после поездок в Петербург, где жила тяжело заболевшая единственная и горячо любимая ее сестра Анюта, она была мрачна, худела, лишалась аппетита и почти не разговаривала за обедом. В это время мне бывало дома тяжело, и я стремилась подольше оставаться у Гюльденов.

На летние и рождественские каникулы моя мать всегда уезжала во Францию или Германию, я же оставалась в Швеции или у Лермонтовой. Только одно лето мы провели с матерью пол-

ностью вместе. Это было в 1889 г., после полученной ею премии Бордена. Она всю эту зиму, начиная с рождественских каникул, оставалась в Париже, получив отпуск по болезни на весенний семестр, я же жила у Леффлеров в Стокгольме. Весной Леффлеры тоже собирались в Париж на Всемирную выставку; по просьбе матери они взяли меня с собой в Париж. Она встретила нас на вокзале и привезла меня в занимаемые ею две комнаты, недалеко от Пастеровского института. Она часто виделась в это время с русскими эмигрантами, между прочим с русским психиатром Павлом Ивановичем Якоби, братом художника, который работал в одной психиатрической больнице Парижа. Вскоре она вместе с Якоби и еще несколькими русскими сняла на паях дачу в Севре, и мы зажили общей жизнью. Обедали и пили чай все вместе, а по утрам каждый занимался своим делом. Я перед этим долго была лишена общения с русскими, так как предыдущее лето провела не у Лермонтовой, а вместе с Гюльденами в шведских шхерах, и уже стала забывать русский язык. Сын Якоби, Ваня, моих лет, тоже не блистал хорошим знанием русского языка, родившись уже во Франции и учась в Парижском лицее, и наши родители ужасались нашему международному волапюку.

Тем временем к нам в Севр приехала также Лермонтова, привезшая с собой детские книги на русском языке, и мы с сыном Якоби и еще с какими-то русскими детьми стали с ней читать, несколько восстановив свою русскую речь.

Моя мать была очень утомлена работой для Борденовской премии; ей приходилось даже лечиться от нервного расстройства. Она с удовольствием отдыхала в кругу соотечественников, хотя и оторванных, подобно ей, от России.

В это время она поддерживала знакомство с Петром Лавровичем Лавровым и польской революционеркой Марией Викентьевной Мендельсон-Залесской, издавшей затем свои воспоминания о моей матери и часть переписки с ней. Приезжал к ней также изредка профессор Максим Максимович Ковалевский, которого я уже видела в Стокгольме в предыдущий (1888) год, когда он там читал лекции по социологии.

Один раз приезжал Сергей Петрович Боткин с женой и дочкой Катей. У меня, конечно, больше осталось впечатления от Кати, чем от ее отца, хотя мать усиленно старалась мне внушить, что это очень знаменитый русский врач и что я еще буду много о нем слышать, когда вырасту. Между прочим я и Ваня Якоби доставили Боткину и его жене много хлопот тем, что втайне от родителей мы свели Катю на одну только нам известную дачу, где рос дикий виноград, который мы ели. Ночью она

заболела расстройством желудка, упорно не желая рассказать родителям, где она с нами гуляла и что съела во время прогулки. Утром нам самим пришлось открыть секрет, и я помню, Сергей Петрович очень над нами смеялся. Здоровье Кати тогда уже восстановилось.

В это же лето приезжал к нам иногда мой двоюродный брат Юрий, старше меня на четыре года. Это был сын Анны Васильевны, сестры моей матери и Виктора Жаклара (бывшего коммунара). Юрий хорошо помнил свою мать и жизнь с ней в России, но русский язык начал забывать и охотнее говорил с нами по-французски. На вид ему нельзя было дать его возраста, ему было уже почти 15 лет, а он был немного выше меня и походил на заморыша. Часто на нем было грязное белье, и видно было, что о нем мало заботятся. Свою школу он не любил и однажды бежал из нее, но не вернулся к отцу, а поступил в общество омнибусов, где служил некоторое время мальчиком, выкрикивающим с задней площадки название остановок. Здесь его увидел кто-то из знакомых и вернул к отцу. Не знаю, какие у него были отношения с отцом, но моя мать очень о нем сокрушалась и просила Жаклара отдать его ей на воспитание, тем более что были слухи о том, что сам Жаклар собирается вступить в новый брак. Это действительно и произошло, но уже после смерти моей матери.

Жаклар, однако, не согласился на предложение моей матери. Сам Юрий очень любил мою мать и, вероятно, охотно бы переехал к ней, так как Россия ему нравилась больше, чем Франция. В следующую зиму он писал нам довольно часто, а моя переписка с ним продолжалась еще несколько лет после смерти моей матери. Он присылал мне иногда и написанные им стихи на французском языке. О его дальнейшей жизни я знаю лишь, что отец отдал его в сельскохозяйственную школу где-то на юге Франции, которую он затем кончил и поступил куда-то на практику. В Россию он уже ни разу не приезжал. Затем наша переписка оборвалась, а когда я через много лет стала наводить справки о нем, то никаких сведений уже не могла получить.

Из следующей зимы 1889/90 года наиболее памятной осталась для меня работа матери над своими воспоминаниями детства. Как происходил самый процесс писания, я не знаю, но присутствовала при многих ее разговорах с Анной-Шарлоттой Леффлер и с Эллен Кэй, связанных с этой работой. Кэй была еще скромной учительницей шведского языка и литературы в школе, где я училась, но стала затем известна как автор многих

педагогических трактатов. Особенно прославил ее «Век ребенка», переведенный и на русский язык в начале нынешнего столетия.

Для перевода воспоминаний Софьи Васильевны на шведский язык была приглашена сестра одного шведского писателя, знавшая русский язык. По мере изготовления перевода готовые части прочитывались вслух у Леффлеров, и, к моему большому удовольствию, я тоже была допущена на эти чтения. Рассказ велся на шведском языке не как воспоминания автора, а как повесть об одной русской девочке Тане Раевской. Но я знала, в чем дело, и меня поражали как обстановка в доме моих дедушки и бабушки, так и описание ощущений маленькой Тани. Эта книга очень сблизила меня с моей матерью, я стала больше думать о ней как о много пережившем человеке, а не только как о моей матери, требовавшей от меня исполнения известных обязанностей.

Книга вышла в свет на шведском языке в Стокгольме к рождеству 1889 г. и имела большой успех. Ее читали и большие и малые, и я гораздо больше гордилась успехами моей матери на литературном поприще, чем на научном. Читаемый ею предмет не привлекал меня, и на вопросы взрослых, люблю ли я математику, всегда отвечала, что я похожа на своего отца и к математике совершенно неспособна.

Этот литературный успех был значительной радостью в жизни моей матери, которой успели надоесть узкие горизонты Стокгольма и которая стала стремиться к перемене места деятельности. На Россию она надеяться не могла и стала мечтать о получении кафедры в Париже. Она начала об этом хлопотать уже с самого начала 1889 г., но дело было не так легко устроить, и ей поневоле приходилось оставаться в Стокгольме.

Последнее лето 1890 г. я опять проводила у Лермонтовой, а моя мать на Ривьере и в других местах. В Россию она, повидимому, не приезжала, я помню, что она просила Лермонтову свести меня к фотографу и выслать ей мою карточку, так как ей хотелось видеть, насколько я изменилась. Осенью мы встретились, как всегда, в Стокгольме, но настроение ее было не блестящим. Она очень похудела и постарела и всегда казалась чем-то озабоченной. Затем она уехала на рождественские каникулы на Ривьеру, а оттуда вернулась совсем больная и через несколько дней после приезда умерла от гнойного плеврита.

Вот то немногое, что я сохранила в памяти о жизни моей матери.

Я хочу прибавить еще несколько слов о моем дяде по матери Федоре Васильевиче Корвин-Круковском. Он был значительно

моложе ее и рос физически слабым и избалованным ребенком. Ему перешло по завещанию моего деда имение Палибино, которое он затем, по рассказам других родных, проиграл в карты. Я не знаю, кончил ли он какое-нибудь учебное заведение и что делал в молодости. Личные мои воспоминания о нем начинаются приблизительно с 1890 года, т. е. за год до смерти матери. Я видела его тогда один раз в Петербурге в доме сестры моей бабушки, Софьи Федоровны Шуберт, жившей на 1-ой линии Васильевского острова. Она не была замужем, собственных детей не имела и сосредоточила всю свою привязанность на своем племяннике, которому затем и завещала свой дом в Петербурге. Лицом, и особенно голосом, он очень напоминал мою мать, что я особенно почувствовала, встретив его уже после ее смерти. Затем, когда я только что кончила гимназию (в 1897 г.), мы оба с Александром Онуфриевичем получили приглашение на бракосочетание Федора Васильевича с какой-то неизвестной нам польской дамой и присутствовали на венчании в церкви, но на домашнее торжество не пошли. После этого я долго не видалась с Федором Васильевичем, а затем он мне нанес визит, когда я уже жила в общежитии женского Медицинского института (в 1902 г.), и пригласил меня в ближайшее воскресенье к обеду, желая познакомить с женой и маленькой дочкой. Я пошла и стала изредка навещать его.

После моего переезда в Москву в 1907 г. я уже больше не видела его и ничего не знала о его смерти в 1919 г.

Ф. В. КОРВИН-КРУКОВСКИЙ[1]

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕСТРЕ

Сестра моя, С. В. Ковалевская, родилась 3 января 1850 г. в Москве, где отец наш, в то время генерал-майор, находился на службе по артиллерии и занимал должность начальника московского арсенала. Тут протекли первые детские годы Софы, вплоть до 1855 г., когда отец мой, получив новое служебное назначение, переехал в Калугу. В Калуге семья наша прожила до 1858 г., т. е. до того времени, когда отец, будучи произведен в генерал-лейтенанты, оставил службу и перебрался на жительство в свое имение, село Палибино, Невельского уезда, Витебской губернии.

В эту раннюю эпоху, точно так же как и в некоторых других стадиях жизни Софы, большое влияние на ее развитие имела другая моя сестра, Анюта, родившаяся в 1843 г. и, таким образом, старше ее на семь лет.

Не могу обойти молчанием тот факт, что детские игры обеих сестер довольно существенно отличались от обычных игр других детей их возраста. Так, например, в этих играх очень малое место занимали столь распространенные между детьми игрушки — куклы... Про старшую сестру рассказывают, что, вместо кукол, она гораздо более любила няньчиться с разными домашними животными и, будучи еще совсем маленькой девочкой, наивно высказывала, что когда она будет большая и никто уже не будет в праве делать ей замечания, то всегда будет держать на руках поросеночка. Что же касается до младшей сестры, то она, как кажется, имела просто антипатию к куклам, и в особенности неприятно на нее действовали разбитые куклы. Будучи уже взрослой, она сама рассказывала, что в детстве вид разбитой куклы наводил на нее какой-то непонятный, суеверный страх. Впоследствии нечто подобное она испытывала в присутствии кошек...

Отец мой часто рассказывал следующий анекдот из детства Софы, а впоследствии, когда она уже достигла большой учености, они вместе не раз вспоминали о нем со смехом.

Как-то Софу повезли в театр. Давали оперу «Дон-Жуан». Это был ее первый выезд в театр, и, разумеется, такое зрелище произвело на нее большое впечатление. Несколько дней она все говорила о виденном ею в театре, хотя, очевидно, не могла еще понимать сюжета пьесы. Однако он, повидимому, оставил в ее воображении глубокий след, и она понимала его по-своему, что в скором времени и обнаружилось. Однажды, вернувшись домой от одних знакомых, где она была в гостях вместе с другими детьми ее возраста, Софа в большом оживлении прибегает к отцу и говорит ему: «Знаешь, папа, какой у N мальчик Дон-Жуан! Ему дали хлеба с маслом, и представь себе, он масло съел, а хлеб оставил»...

С обучением Софы не торопились, и хотя девочка приставала к старшим с просьбою научить ее читать разные умные книжки, которые — она видела — с таким интересом поглощает ее старшая сестра, но ей отвечали, что она для этого еще слишком мала; погоди, мол, подрастешь, тогда и примемся за учение. Однако такие ответы мало удовлетворяли пытливый ум девочки. Как видно из дальнейшего, уже тогда она обладала значительной настойчивостью, этого отличительного ее качества, руководившего ею в течение всей жизни и давшего ей возможность достигнуть таких блестящих результатов.

Желание проникнуть в тайну тех непонятных для нее знаков, которые пестрели перед ее глазами на страницах заманчивых книжек, не давало покоя нашей милой крошке. И вот она при всяком удобном случае старается получить в руки номер выписывавшейся у нас тогда газеты «Московские ведомости», в которых ее внимание приковывал большими буквами напечатанный заголовок, и обращалась ко всем, кого только могла поймать, с просьбой сказать ей, что означает такой-то или такой непонятный для нее знак. Узнавши, например, что первая буква есть «м», она по всему листу старалась отыскать подобную же букву и таким образом твердо запечатляла ее в своей памяти. Затем, через несколько времени, когда, например, гувернантка занята уроком с Анютой, Софа опять, бывало, прибежит к ней: «Голубушка, Маргарита Францовна, скажите мне только одно, как называется эта круглая штучка, после «м». Та, чтобы отвязаться от нее, скажет ей, что эта буква «о»; таким образом мало-помалу Софа затвердила всю азбуку. После этого она, опять-таки путем расспросов, дошла до того, что из букв составляются

слоги, стала пробовать разные сочетания букв. В тех случаях, когда это ей не удавалось, она снова обращалась с вопросами, пока, наконец, не достигла того, что из букв стала составлять целые слова.

В один прекрасный день она, радостная, прибегает к отцу, в то время когда он читает газету, и, указывая на заглавие, говорит: «А я, папа, знаю, что здесь написано. Это Мо-сков-ски-е ве-до-мос-ти». Тот улыбнулся и отвечал ей шутя: «Ну, это, Софа, тебе сказали, сама-то слова не умеешь читать».— «Нет, папа, умею. Я и другие слова прочту». И действительно, к великому удивлению, стала по складам составлять любое ей указанное слово.

Только что рассказанный факт был первым случаем проявления вполне самостоятельной умственной деятельности Софы. В дальнейшей ее жизни было еще много не менее замечательных случаев проявления столь же значительного напряжения и самостоятельности мышления. В особенности кажется мне достойным внимания следующий случай, в котором Софа проявила даже более чем самостоятельность — проявила в полном смысле слова творчество.

По соседству с нашим имением ежегодно проводил лето хороший знакомый моего отца, ныне покойный профессор физики в морской академии Николай Никанорович Тыртов. В один из своих к нам приездов он привез моему отцу изданную им книгу «Элементарный курс физики». Этот курс по своему объему подходил к программе морского училища, и хотя в нем выводы делались без помощи высшей математики, но зато встречались некоторые тригонометрические формулы. Книга эта как-то попала в руки Софы и очень ее заинтересовала, хотя многое в ней, по тогдашним ее силам, должно было быть ей непонятным. Через несколько времени, в один из следующих приездов к нам Тыртова, Софа старается завести с ним разговор по поводу его книги. Тот отвечал только из вежливости и, повидимому, неохотно, и даже высказывал мнение, что едва ли возможно вести об этом серьезный разговор, так как для понимания многих мест учебника необходима соответствующая математическая подготовка, а в частности знание прямолинейной тригонометрии, которого он никак не подозревал встретить у деревенской 14-летней барышни. Однако, к его удивлению, Софа сказала ему, что в этом отношении его книга не представляет для нее трудностей.

И действительно, из дальнейшего разговора он мог убедиться, что она имеет совершенно ясное представление о значении

большинства встречавшихся там формул. Но этому удивлению было суждено еще значительно увеличиться, когда он узнал, что Софа вовсе не проходила тригонометрии с учителем. Что же оказалось? При чтении упомянутого учебника Софа, встречаясь с неясными для нее местами, старалась как бы отгадывать смысл непонятных ей формул и по-своему объясняла их значение. По результатам она отгадывала основные зависимости между входившими в решение вопроса величинами и мало-помалу совершенно своеобразно дошла до целого ряда теорем, которые привела в строго последовательную систему, имевшую в сущности предметом плоскую тригонометрию.

Таким образом, она как бы вновь, совершенно самостоятельно, сделала открытие некоторых истин, в то время, конечно, уже давным давно известных и вошедших в элементарное гимназическое преподавание. Другими словами, она, сама того не сознавая, как бы вторично создала целую отрасль науки — тригонометрию. Живи она несколько сот лет раньше и сделай то же самое, этого было бы достаточно для того, чтобы потомство поставило ее наряду с величайшими умами человечества. Но в наше время труд ее, хотя и не имевший непосредственно научного значения, тем не менее обнаруживал в ней дарование, совершенно выходящее из ряда обыкновенных, в особенности, если принять во внимание, что он исходил от 14-летней девочки!

Я тем охотнее сообщаю настоящий случай, что он не вошел до сих пор ни в одну из изданных биографий Софы. Между тем он настолько характерен и замечателен, что я боюсь, как бы некоторые читатели не сочли его преувеличенным. Тем не менее я вполне могу ручаться за его достоверность, так как о нем, с одной стороны, мне рассказывала сама сестра, а с другой, его подтверждали мой отец и покойный Н. Н. Тыртов.

На первых порах своего учения Софа не обнаруживала видимой склонности к какой-нибудь определенной науке. Она проявляла вообще ко всему необыкновенную любознательность и ее одинаково интересовали как математика, так и история и словесность. Казалось даже, как будто ее всего более интересуют естественные науки и в особенности ботаника. Одним из ее любимых занятий было собирать во время прогулок разные травы и растения, а также составлять коллекцию бабочек и жуков [1].

Изучение иностранных языков давалось ей с поразительною легкостью. С самого детства она владела французским и английским языками наравне с родным русским. В этом отношении она является как бы опровержением довольно распространенного

мнения, что врожденные способности к точным наукам идут в разрез с способностями филологическими. Выучить в совершенстве незнакомый для нее язык не представляло для Софы почти никакого труда. Так в первую свою поездку в Швейцарию после нескольких уроков немецкого языка у местного учителя она выучилась ему вполне основательно в самое короткое время, путем практики и чтением книг. Но самый поразительный пример редких филологических способностей, который еще свеж в памяти у всех, ближе знавших Софу, она проявила уже будучи взрослою! Когда ее пригласили в Стокгольм для чтения лекций в тамошнем университете, она ни слова не знала по-шведски. Для нее сделали исключение и разрешили в первый семестр читать по-немецки. По прошествии этого времени она настолько овладела шведским языком, что стала уже свободно читать на нем лекции и даже напечатала на этом языке некоторые свои литературные произведения.

В детстве Софу, как всякую барышню из хорошей дворянской семьи, учили также и рисованию и музыке. Первым она занималась с охотой, и довольно успешно воспроизводила на бумаге разные пейзажи, головки и гипсовые фигуры. Что же касается до музыки, то по странному ли капризу или же в силу закона, что на земле не бывает совершенства, природа, во всем остальном так щедро наделившая ее своими дарами, в этом отношении как бы несколько ее обидела. Софа не обладала хорошим слухом и вообще музыкальными способностями.

По характеру своему Софа была вылитый отец — Василий Васильевич Корвин-Круковский. Свойства же своего ума она заимствовала от своих предков и деда — Шубертов, из которых первый был знаменитым астрономом и вообще выдающимся ученым своей эпохи, а последний — весьма известный русский генерал, столетнюю годовщину рождения которого еще так недавно праздновали наш генеральный штаб и Академия Наук, был по своей разносторонней деятельности и обширному образованию одним из замечательнейших людей своего времени.

Впрочем надо сказать, что в духовной жизни Софы музыка, хотя и косвенным образом, играла некоторую роль. Она действовала на нее не столько своим содержанием, сколько внешнею стороною, и своим ритмом направляла ее мысли в известную сторону, способствовала работе воображения. В годы юности, а затем более зрелого возраста музыка заменяла то, что в пору детства Софа испытывала, играя в мячик, когда, поверяя этому мячику свои сокровенные мысли, она, увлекаемая равномерностью движения, уносилась в мир фантазии. С наступлением

сумерок мама сядет, бывало, за рояль, а Софа ходит взад и вперед по комнате и, не следя собственно за самой музыкой, но убаюкиваемая ее ритмом, дает полную волю своему воображению. Перед ней создаются целые картины, и самые отвлеченные мысли получают осязательный образ. Я убежден, что многие из ее литературных и научных трудов были впервые задуманы именно таким путем.

23-го мая 1891 г., СПб.

Ю. В. ЛЕРМОНТОВА[1]

ВОСПОМИНАНИЯ О СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ

I[2]

Я родилась 21 декабря 1846 г. в Петербурге. Родители мои оба были люди просвещенные, много читали; у обоих были богатые библиотеки. На воспитание и образование своих детей они ничего не жалели. У нас было всегда несколько воспитательниц иностранок и самые лучшие учителя по разным специальностям приезжали нам давать уроки из города. Для этих поездок даже держался особый экипаж и лошади, так как Лефортово очень удалено от центра Москвы.

Воспитание было очень уединенное; сверстников мы видели очень мало. Ни в каком учебном заведении я никогда не была; училась всегда и всему очень охотно. Интерес к наукам вообще и к химии в особенности проявился очень рано. Я сама доставала книги по химии, составляла приборы и производила разные простые опыты. Сначала я желала заниматься медициной; занималась практически гистологией у профессора Московского университета Бабухина. Но к медицинским наукам у меня склонности не было; меня страшил вид ран и страдания больных.

В 1868 г. я и мои две знакомые барышни, дочери генерала Федорова, подали прошения в тогдашнюю земледельческую Петровскую академию о принятии нас в число слушательниц, но, несмотря на сочувствие многих профессоров (Стебута, Фортунатова и др.), это нам не удалось. Тогда я задумала во что бы то ни стало ехать учиться за границу и выбрала своей специальностью химию, которой тогда очень увлекалась. В это же приблизительно время у меня завязалась переписка с моей двоюродной сестрой Анной Михайловной Евреиновой (впоследствии первая женщина юрист). Мы друг друга в детстве совсем не знали,

хотя наши матери были родные сестры. Евреиновы жили постоянно в Петербурге, а мы жили в Москве.

Евреинова, узнав, что у нее есть в Москве двоюродная сестра, стремящаяся, как и она сама, к занятиям науками и поездке за границу, написала мне сочувственное письмо, и мы долгое время были в переписке, не зная друг друга лично. Через нее я письменно познакомилась и с Софьей Васильевной Ковалевской, с которой тоже была в переписке раньше личного знакомства. А. М. Евреинова тоже была очень дружна с С. В. Ковалевской и ее старшей сестрой. Пожелав во чтобы то ни стало лично познакомиться с Ковалевской и Евреиновой, я в 1868 г. уговорила своего отца поехать со мной в Петербург, где у нас много родных, и там состоялось мое личное знакомство как с Ковалевской, так и с Евреиновой.

В этом же году Ковалевская решила ехать с мужем учиться за границу и приезжала в Москву знакомиться с моими родителями и уговорить их отпустить меня с ней [1]. А. М. Евреинову родители ни за что не отпускали и впоследствии, в 70-м году, она бежала за границу. Ковалевской ее миссия удалась, и меня осенью 1869 г. после больших колебаний отпустили с ней за границу.

Тяжело было расстаться с родным гнездом, с отцом и с матерью, которые всегда горячо и любовно относились ко мне и если не отпускали за границу, то не оттого, что были против занятия наукой, а потому, что им казалось дико и страшно отпускать свою дочь одну в такие далекие страны. Но жребий был брошен.

Весной 1869 г. Ковалевская и муж ее Владимир Онуфриевич Ковалевский уехали из Петербурга для поступления в Гейдельбергский университет. Осенью того же года и я отправилась туда. После больших хлопот Ковалевская и я хотя и не были приняты официально в университет, но получили разрешение посещать все, какие пожелаем, лекции наравне со студентами университета.

Я слушала лекции профессоров Бунзена, Кирхгофа и Коппа. Первое полугодие я занималась качественным анализом в частной лаборатории и лишь во второе полугодие была допущена в лабораторию Бунзена, где целый год занималась практическими занятиями: качественными реакциями по методе Бунзена, количественным анализом разных руд и отделением друг от друга редких металлов, спутников платины по специальной методе самого Бунзена.

Жила я в Гейдельберге вместе с Софьей Васильевной Ковалевской. При первом знакомстве в Петербурге мы виделись

очень мало; здесь же при совместной жизни сильно подружились. Ее выдающиеся способности, любовь к математике, необыкновенно симпатичная наружность при большой скромности располагали к ней всех, с кем она встречалась. В ней было прямо что-то обворожительное. Все профессора, у которых она занималась, приходили в восторг от ее способностей; при этом она была очень трудолюбива, могла по целым часам, не отходя от стола, делать вычисления по математике. Ее нравственный облик дополняла глубокая и сложная душевная психика, какой мне никогда впоследствии не удавалось ни в ком встречать. Сначала с нами жил и муж С. В.— Владимир Онуфриевич Ковалевский, но вскоре он уехал в Мюнхен для занятия геологией.

Владимир Онуфриевич был тоже очень интересная и выдающаяся личность. Совместная наша жизнь была настоящим наслаждением: днем слушание лекций и занятия в лаборатории, вечером и в праздники длинные прогулки по чудным окрестностям Гейдельберга.

Осенью 1870 г. к нам присоединилась Анна Михайловна Евреинова, которая бежала из Петербурга от своих родителей, переходила границу без паспорта, пешком, под стрельбу пограничной стражи. Она нашла приют у нас, прожила с нами некоторое время, а затем поехала в Лейпциг для занятий юридическими науками. Сильная и оживленная, она внесла еще больший интерес в нашу несколько замкнутую жизнь.

Отец Анны Михайловны Евреиновой был генерал-адъютант, управляющий Петербургским дворцом. Ее родители ни за что не соглашались отпускать ее учиться за границу, несмотря на то, что по годам она была старше нас. Но странно сказать, лишь только она бесследно исчезла из дому, то родители ее встрепенулись, стали ее везде разыскивать; мать ее, конечно, приехала первым долгом к нам в Гейдельберг, узнала о местопребывании дочери, поехала к ней в Лейпциг, помирилась с ней и даже стала сочувствовать ее занятиям. Два года я проучилась в Гейдельберге, а осенью 1871 г. мы с Софьей Васильевной покинули прелестный Гейдельберг и переселились в Берлин.

Несмотря на горячие рекомендации гейдельбергских профессоров, мы слушательницами в Берлинский университет приняты не были; слушать лекции у каких-либо профессоров нам не было разрешено. Софья Васильевна занималась частным образом математикой у профессора Вейерштрассе, который очень заинтересовался ее блестящими математическими способностями и несколько раз в неделю сам приходил к ней и занимался с ней математикой.

Жизнь наша с Софьей Васильевной в Берлине была очень уединенной и однообразной. Софья Васильевна весь день сидела за письменным столом за математическими выкладками, я же с утра до ночи работала в лаборатории. Владимир Онуфриевич Ковалевский, который тогда занимался в Иенском университете, посещал нас редко. Развлечениями, вроде театра и т. п., мы совсем не пользовались; знакомых у нас совсем не было; единственное утешение составлял профессор Вейерштрасс и его семейство, которые относились к нам горячо и ласково, как к своим детям, делали для нас елки, приглашали нас по вечерам и на обеды. Они жили обособленно, и потому никаких знакомых мы у них не приобрели.

В начале 1874 г. я приготовила свою докторскую диссертацию под заглавием «Zur Kenntnis der Methylen Verbindungen»; затем я уезжала на лето домой приготовляться к докторскому экзамену и осенью того же года поехала в Геттинген держать экзамен. Поездка эта была очень тяжелая: ехать одной в чужой город, к совершенно незнакомым профессорам, первый раз в жизни держать экзамен было очень страшно. Геттинген еще более типичный маленький университетский городок, чем Гейдельберг; по размерам очень небольшой университет играл в нем первенствующую роль; общественной жизни, кроме университетской, казалось, как бы не было; даже движение по улицам было исключительно пешеходное; экипажей совсем не было. Если требовались экипаж и лошадь, надо было их заказывать заранее, и проезд экипажа по улицам составлял целое происшествие.

До экзамена я провела в Геттингене три ужасных недели: происходили приготовления к экзамену как у меня, так и у профессоров. Наконец, настал страшный день: экзаменовали меня все незнакомые профессора. По неорганической химии — профессор Wöhler, тогда уже старик; по органической химии — профессор Hübner, по физике — профессор Listig; по минералогии — не помню кто. Меня очень поразила обстановка экзамена; он происходил вечером; накрытый чайный стол, пирожные, вино. Экзаменовалась я одна; экзамен продолжался два часа; по главному предмету — химии — экзаменовали очень продолжительно и строго; экзамен носил характер colloquium'а — беседы. Особенно строго экзаменовал профессор Hübner; его вопросы касались всех без исключения самых сложных частей органической химии, причем такого рода экзамен должен был быть и ему самому нелегок. Wöhler, как старичок, экзаменовал легче. А по второстепенным предметам экзамен был короткий и легкий. По окончании экзамена все закусили и выпили и объявили мне, что я

удостоена звания доктора химии первой степени, как обозначается у них «cum magna lauda» *.

Профессор Wöhler на память об этом экзамене тут же подарил мне маленький граненый камень минерала титанита, в котором он первый открыл элемент титан. Как я вышла живая после этого экзамена, я и не помню. Недели 2—3 я не могла притти в себя, потеряла сон и аппетит. После экзамена обычай в Геттингене было ездить с визитом ко всем экзаминаторам, что я и проделала. Один из них, профессор физики Listig, у которого была очень милая жена и две дочки, пригласил меня переехать к ним отдохнуть в ожидании напечатания диплома и принятой диссертации. Они окружили меня таким попечением и такой лаской, о которой забыть никогда нельзя. Я прожила у них несколько недель, а затем уехала домой с самыми приятными впечатлениями.

Цель была достигнута; экзамен выдержан успешно; докторский диплом получен. Кажется, надо бы ликовать и испытать чувство удовлетворения, но этого, к сожалению, не было. Несоответствие ли между ожиданием и действительностью или же ничтожность результатов с употребленными для достижения их усилиями, но, должна сказать, что никогда не чувствовала себя так несчастной, как в то время, когда ехала домой с трофеями в саквояже. По дороге в Москву я заехала в Петербург, где Софья Васильевна Ковалевская, получившая весной 1874 г. в Геттингене докторский диплом «honoris causa **, устроилась на житье. Я остановилась, конечно, у ней [1].

Здесь я познакомилась с некоторыми петербургскими химиками. По почину, если не ошибаюсь профессора Менделеева, для меня и для Софьи Васильевны был устроен в квартире Менделеева приветственный вечер с ужином, произносились речи, пили тосты за наше здоровье и преуспевание и вообще приняли нас очень тепло и радушно. Тут я познакомилась с Бутлеровым, Густавсоном и Львовым. Бутлеров приглашал меня работать у него в лаборатории.

Кончилось ученье, началась жизнь. Для меня пошли тяжелые годы. Кончина любимых мною родителей, устройство имущественных дел, собственная тяжелая болезнь,— все это тяжело было перенести. Первый год после возвращения домой я работала в химической лаборатории профессора Марковникова. Сделанная там незначительная работа по органической химии была

---

* С большой похвалой.

** Почета ради (без экзамена).

напечатана в журнале Русского химического общества, если не ошибаюсь, в 1875 г. Затем я год сильно хворала — был тиф с мозговым осложнением [1], после которого я долго не могла оправиться.

В 1878 г. я переехала в Петербург и устроилась жить с Софьей Васильевной Ковалевской. После проведенных отшельнических лет в Берлине Ковалевские жили в Петербурге довольно открыто. Мы много выезжали и много видели людей и делали приемы у себя. В это же время я стала заниматься в лаборатории Бутлерова. Занятия в его маленькой частной лаборатории при Петербургском университете, в обществе его и ассистента его Львова были истинным наслаждением.

Профессор Бутлеров при первой же встрече произвел на меня впечатление выдающегося во всех отношениях человека. Его наружность не поражала особенной симпатичностью, но при всегда сдержанном и ровном отношении он всегда был приятен и доброжелателен со всеми и всегда был готов всякому оказать содействие и дать добрый совет. В лаборатории студенты обращались к нему без всякого стеснения, и он всегда охотно отзывался на все их запросы. В высокой степени образованный, вкусивший западной культуры, все манеры и приемы его были настоящего джентльмена. Ум у него был замечательно ясный и логичный. Он доставил мне возможность в виде исключения слушать его лекции по органической химии, и я была поражена его необыкновенно ясной, медленной дикцией; с его слов прямо можно было успевать записывать то, что он говорил. В лаборатории у него частных личных ассистентов не было; все практические манипуляции по своим работам он производил сам, в противоположность Гофману. Он помогал всем новичкам по самостоятельным химическим работам, ему же никто ни в чем не помогал.

В домашней жизни Бутлеров был тоже очень приятный; я довольно часто бывала у него на обедах и вечерах и пользовалась расположением его очень милой супруги. По предложению Бутлерова, я у него занималась вопросом «о действии третичного иодистого бутила на изобутилен в присутствии металлических окислов». Эта работа была приготовлена к напечатанию в апреле 1878 г. и была, кажется, напечатана в журнале Р. Х. О. в том же году. В виду занятий профессора Эльтекова в Харькове над тем же вопросом работу эту пришлось прекратить.

Из петербургских химиков, кроме Бутлерова, мне больше всех пришлось встречаться с Менделеевым [2]...

Прочих петербургских химиков я редко встречала, мало знала

и ничего про них сказать не могу. Проработав зимы две у Бутлерова, я переехала в Москву, где жили мои родители и где пришлось заняться своими делами по дому и имению. В 1880 г. Бутлеров предлагал мне занять место лаборанта при Высших женских курсах, где он сам читал химию. Но я отклонила это предложение по чисто личным причинам; невозможно было прочно устроиться в Петербурге, да и руководить практическими занятиями не казалось мне особенно интересным. Вернувшись в Москву, я некоторое время опять занималась у профессора Марковникова, где между прочим работала над изысканием способа увеличения выхода антрацена из нефтяного дегтя. Лабораторные опыты как бы дали удовлетворительные результаты; но впоследствии при постановке этих опытов на заводе Рагозиных из Нижнего-Новгорода они не оправдали возложенных на них надежд.

У Марковникова я стала заниматься вяло; занятия не стали удовлетворять меня и в начале 80-х годов я покинула его лабораторию и оставила занятия химией навсегда. Поселилась я в своем имении и стала заниматься сельским хозяйством.

II [1]

Среди всех этих преданных политике женщин и девушек, в большей или меньшей степени истощенных жизнью, она производила совершенно своеобразное впечатление своею детскою наружностью, доставившей ей ласковое прозвище «воробышка». Ей минуло уже восемнадцать лет, но на вид она казалась гораздо моложе. Маленького роста, худенькая, но довольно полная в лице, с коротко обстриженными вьющимися волосами темно-каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными, она представляла собою оригинальную смесь детской наивности с глубокою силою мысли.

Она привлекала к себе сердца всех безыскусственною прелестью, отличавшею ее в этот период ее жизни; и старые, и молодые, и мужчины, и женщины были все увлечены ею. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался всегда необыкновенною простотою с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее в течение всей жизни...

Через несколько дней после моего приезда в Гейдельберг, вернулась из Англии и Софа со своим мужем. Она казалась очень счастливою и как нельзя более довольною своею поездкою. Я нашла ее такою же свежею, такою же розовою и привлекательною, как и при первом нашем знакомстве; только теперь в ее глазах было больше огня и блеска. Она была одушевлена еще большею, чем прежде, энергиею для продолжения своих только что начатых научных занятий. Это серьезное стремление к знанию не мешало ей находить удовольствие и во всевозможных других вещах, даже в самых, повидимому, пустяках.

Я вспоминаю нашу прогулку втроем [1] на другой день после ее возвращения. Мы отправились гулять в окрестностях Гейдельберга, зашли довольно далеко и, очутившись на ровной дороге, пустились вдвоем, Софа и я, бежать в перегонку, точно двое малых детей. Господи боже, сколько веселья и радости в этих воспоминаниях о первом времени нашей университетской жизни!

Софа казалась мне тогда такою счастливою, и притом счастливою на совершенно новый лад!

Тем не менее, когда ей случалось впоследствии говорить о своей молодости, она упоминала о ней с горьким чувством недовольства, как бы считая, что молодость для нее промелькнула совершенно даром. Мне тогда припоминались всегда эти первые месяцы в Гейдельберге, наши восторженные споры о всевозможных предметах, ее поэтические отношения к молодому мужу, который в то время любил ее совершенно идеальною любовью, без малейшей примеси чувственности. Она, повидимому, с такою же нежностью относилась к нему. Обоим им была, повидимому, еще чужда та болезненная низменная страсть, которую называют обыкновенно именем любви.

Когда я вспоминаю все это, мне кажется, что Софа не имела оснований жаловаться: ее молодость была полна самых благородных чувств и стремлений, и рядом с нею, рука об руку, жил человек, нежно, со сдержанною страстью любивший ее. В этот только год я и помню Софу счастливою. Несколько позже, да уже на следующий год, было совсем не то.

Лекции начались тотчас после нашего приезда. Днем мы все время проводили в университете, а вечера свои посвящали также занятиям. Но зато по воскресеньям мы всегда делали большие прогулки в окрестностях Гейдельберга, а иногда ездили и в Мангейм, чтобы побывать в театре. Знакомых у нас было очень мало, и мы только в очень редких случаях наносили визиты некоторым профессорским семьям.

Софа сразу обратила на себя внимание преподавателей своими необыкновенными математическими способностями. Профессор Кенигсбергер, знаменитый химик Кирхгоф, у которого она прошла целый курс практической физики, и все остальные профессора приходили в восторг от своей даровитой слушательницы и рассказывали о ней как о чем-то необыкновенном. Слухи об удивительной русской студентке распространились по всему маленькому городу, так что на улице часто останавливались, чтобы посмотреть на нее.

Однажды, вернувшись домой, она рассказывала мне, смеясь, как одна бедно одетая женщина с ребенком на руках остановилась при виде ее и громко сказала малютке:

— Смотри, смотри, вот та девушка, которая так прилежно ходит в школу.

Софа держалась всегда в стороне от своих профессоров и товарищей; в обращении ее с ними сквозила всегда большая застенчивость и даже смущение. В университет она не входила никогда иначе, как с опущенными глазами, не решаясь остановить на ком-нибудь свой взор. Она разговаривала с товарищами только тогда, когда это было абсолютно необходимо для ее занятий. Это скромное обращение очень нравилось ее немцам-профессорам, которые вообще придавали большое значение скромности у женщины, особенно у такой выдающейся, как Софа, которая вдобавок занималась такою отвлеченною наукою, как математика.

И эта скромность вовсе не была напускною в этот период жизни Софы. Я припоминаю, как, вернувшись однажды из университета домой, она рассказывала мне, что ей во время лекции бросилась в глаза ошибка, которую один из профессоров или студентов сделал в выкладке, написанной им на доске. Бедняга мучился над своею задачею, никак не понимая, в чем собственно кроется ошибка. Софа долго колебалась, наконец, решилась и с сильно бьющимся сердцем встала, подошла к доске и выяснила недоразумение.

Но нашей жизни втроем, такой счастливой и такой содержательной, благодаря Ковалевскому, с живым интересом относившемуся ко всевозможным вопросам, даже к таким, которые не имели никакого отношения к науке, не суждено было продолжаться. Уже в начале зимы к нам приехали сестра Софы и ее подруга Инна [1] — обе гораздо старше нас. Так как помещение наше оказалось недостаточно просторным для приема новых жильцов, то Ковалевский переехал на другую квартиру, уступив приезжим свою комнату.

Софа часто посещала его и проводила у него целые дни; иногда они предпринимали вдвоем без нас большие прогулки. Для них, конечно, общество стольких дам не всегда могло быть приятным, тем более что Анна и ее подруга часто нелюбезно обращались с Ковалевским. У них были на это свои причины; они находили, что, раз брак фиктивен, Ковалевскому не следует придавать своим отношением к Софе слишком интимный характер. Это вмешательство посторонних лиц в жизнь молодых супругов приводило не раз к мелким стычкам и испортило вскоре хорошие отношения, существовавшие между членами нашего маленького кружка.

После целого семестра, проведенного таким образом, Ковалевский решился уехать из Гейдельберга, где ему уже не жилось так хорошо, как прежде. Он отправился в Иену, а потом в Мюнхен и всею душою предался там научным занятиям. Это был очень талантливый, трудолюбивый человек, совершенно беспритязательный в своих привычках и не чувствовавший никогда потребности в развлечениях. Софа говорила часто, что ему «нужно только иметь около себя книгу и стакан чая, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным».

Но в этой особенности его характера было в сущности нечто, оскорблявшее Софу. Она начала ревновать его к его занятиям, так как ей казалось, что они ему вполне заменяют ее и что она при этом отступает на задний план. Мы несколько раз ездили с нею в гости к нему, а между семестрами они совершили вдвоем путешествие, доставившее Софе большое удовольствие.

Но она никак не могла примириться с тем, чтобы жить отдельно от мужа, и начала беспокоить его бесконечными требованиями: она то уверяла, что не может одна без него путешествовать и просила его сопутствовать ей туда, куда она желала ехать, не обращая внимания на то, что он находится в самом разгаре своих занятий; то заставляла его исполнять разного рода поручения и помогать ей в разного рода мелочах, которые он всегда охотно и весьма любезно брал на себя, но которые стесняли его теперь ввиду его усиленных занятий.

Когда Софа много лет спустя разговаривала со мною о своей прошлой жизни, она с наибольшею горечью выражала всегда следующую жалобу: «Никто меня никогда не любил искренно». Когда я возражала ей на это: «Но ведь муж твой любил тебя так горячо!»,— она всегда отвечала: «Он любил меня только тогда, когда я находилась возле него. Но он всегда умел отлично обходиться и без меня».

Она не могла выносить неудачи. Стоило ей задаться какою-

нибудь целью, и она всеми силами стремилась к достижению ее, пуская для этого в ход все имеющиеся под руками средства. Поэтому она всегда достигала того, что хотела, исключая тех случаев, когда на сцену выступало чувство, потому что тогда она, странным образом, теряла совершенно обычную ей проницательность и ясность суждений. Она требовала всегда слишком многого от того, кто любил ее и кого она в свою очередь любила, и всегда как бы силою хотела брать то, что любящий человек охотно дал бы ей и сам, если бы она не завладела этим насильно с страстною настойчивостью.

Она чувствовала всегда непреодолимую потребность в нежности и задушевности, потребность иметь постоянно возле себя человека, который бы всем делился с нею, и в то же время она делала невозможною жизнь для человека, который вступал в такого рода близкие отношения к ней. Она сама была слишком беспокойного нрава, слишком дисгармонична по своей натуре, чтобы на долгое время найти удовлетворение в тихой жизни, полной любви и нежности, о которой она, повидимому, так страстно мечтала. При этом она была слишком личною по своему характеру, чтобы обращать достаточно внимания на стремления и наклонности жившего с нею лица.

Ковалевский отличался также чрезвычайно беспокойным характером; он носился постоянно с новыми планами и идеями. Бог знает, могли ли бы при каких бы то ни было обстоятельствах жизни прожить истинно счастливо вместе эти два существа, так богато одаренные оба?

Наша жизнь в Берлине была еще более однообразною и уединенною, чем в Гейдельберге. Мы жили совершенно одни. Софа целые дни проводила за письменным столом, погруженная в свои бумаги, я до самого вечера занималась в лаборатории. Вечером, пообедавши на скорую руку, мы опять принимались за занятия. Кроме профессора Вейерштрасса, часто посещавшего нас, ни одна живая душа не переходила за порог нашей двери. Софа все время была в самом грустном расположении духа; ничто, повидимому, не радовало ее, ко всему относилась она равнодушно, исключая своих занятий. Посещения ее мужа всегда несколько оживляли ее, хотя радость свидания нередко омрачалась взаимными упреками и недоразумениями [1]. Они и теперь делали вдвоем большие прогулки.

Когда же Софа оставалась одна со мною, она ни за что не хотела выходить из дому, ни для того, чтобы гулять, ни для того, чтобы итти в театр, ни для того, чтобы делать необходимые покупки.

На рождество мы были приглашены к Вейерштрассам, которые специально для нас устраивали елку. Софе необходимо было приобрести новое платье, но она ни за что не соглашалась выйти купить его. Мы чуть не поссорились из-за этого, потому что я не хотела итти одна покупать это платье. (Если бы муж ее был дома, все устроилось бы как нельзя лучше, потому что он всегда заботился о всем необходимом для нее и выбирал ей не только материю на платье, но и фасон.) Наконец, спор наш разрешился тем, что Софа поручила своей хозяйке купить ей материю и заказать платье, а сама все же не двинулась с места.

Ее способность в течение целого ряда часов предаваться самой усиленной умственной работе, ни разу не вставая из-за своего письменного стола, была поистине изумительна. И когда она после того вечером, проведя целый день в такой усиленной работе, отстраняла от себя бумаги и подымалась со стула, она была все еще так сильно погружена в свои мысли, что начинала взад и вперед ходить по комнате быстрыми шагами и, наконец, просто бегать, громко разговаривать сама с собою, а иногда разражаясь хохотом. В такие минуты она казалась совершенно оторванною от действительности; фантазия, повидимому, уносила ее далеко за пределы настоящего. Но она никогда не соглашалась рассказать мне, о чем она думала в это время.

Она очень мало спала по ночам, и сон ее всегда был неспокоен; часто она внезапно просыпалась, пробуждаемая какимнибудь фантастическим сном, и просила меня притти посидеть с нею. Она охотно рассказывала свои сны, которые были всегда очень оригинальны и интересны. Они нередко носили характер видений, которым она приписывала пророческое значение и которые действительно большею частью сбывались [1]. Вообще она отличалась крайне нервным темпераментом. Никогда не была она спокойна, всегда ставила себе для достижения самые сложные цели, и тогда страстно желала достигнуть их. Но, несмотря на это, я никогда не видала ее в таком грустном, подавленном настроении духа, как тогда, когда она достигла предположенной цели.

Действительность, повидимому, никогда не соответствовала тому, что она рисовала себе в своем воображении. Когда она работала, она доставляла окружающим мало удовольствия, так как была всецело погружена в свои занятия и только о них могла и думать; но когда ее видали такою грустною и печальною среди полного успеха, к ней чувствовали невольно глубокое

сострадание. Эти постоянные изменения настроений в ней, эти постоянные переходы от грусти к радости и делали ее такою интересною.

Между тем в целом наша жизнь в Берлине, на дурной квартире, с дурной пищею, среди дурного воздуха, при беспрерывной и очень утомительной работе и при отсутствии какого бы то ни было развлечения была до такой степени безрадостна, что я вспоминала о первом времени пребывания в Гейдельберге, как об утраченном рае. И Софа также, получивши осенью 1874 г. звание доктора, чувствовала такой упадок сил в умственном и физическом отношении, что долгое время спустя после своего возвращения в Россию не могла приняться ни за какую работу.

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ[1]

I[2]

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУГА

Я жил в деревне, после моей вынужденной отставки, готовя новую книгу — «О законе и обычае на Кавказе», как внезапно пришло письмо, заключавшее в себе приглашение приехать в Стокгольм и положить в нем начало преподаванию общественных наук. В письме имелись и некоторые дополнительные подробности. Молодой экономист, по имени Лорэн, страдая от чахотки и предвидя свой близкий конец, оставил по завещанию 200 000 крон в распоряжение им назначенного комитета. Деньги должны были пойти на распространение в широких кругах путем лекций, брошюр и книг сведений по обществоведению, разумея под этим социологию, политическую экономию, сельскохозяйственную экономию, рабочий вопрос, мелкий кредит и пр. и пр. В комитет вошли под председательством ректора Медицинской школы, известного в Швеции врача Кэя, некоторые профессора и писатели обоего пола. В числе их оказались и мои знакомые — писательница Леффлер, с которой я имел случай встретиться в Лондоне, и С. В. Ковалевская — профессор высшей математики в Стокгольмском университете, с которой незадолго перед тем познакомил меня в Париже П. Л. Лавров. Так как я имел в виду вскоре уехать за границу и принятие этого предложения только побуждало меня оставить Россию несколькими месяцами раньше, то я выразил мое согласие, потребовав, однако, нескольких месяцев для подготовки курса. Лекции предстояло мне читать по-немецки или по-французски...

По приезде в Стокгольм я отправился прежде всего на дом к Софье Васильевне. Она сообщила мне, что приглашение меня как лектора состоялось после того, как два иностранных ученых, Мэн и Фюстель де-Куланж, специально спрошенные из Стокгольма, прислали обо мне свои одобрительные отзывы. Рекомен-

дация, данная мне Фюстель де-Куланжем, заслуживает быть отмеченной. Он писал, что в редком вопросе мы одинакового мнения, прибавляя, что так, к сожалению, всегда бывает в вопросах эрудиции. Затем следовали похвалы моей работоспособности и умению отстаивать свои взгляды.

Я был единственным профессором, призванным открыть преподавание по общественным наукам в Стокгольме. Лекции должны были происходить в здании университета, в свою очередь открывшегося только за несколько лет до моего приезда. Университет являлся частным предприятием и призван был восполнить образовательную деятельность двухвековых учреждений того же рода — университетов в Упсале и Лунде. Они приблизительно играют в Швеции ту же роль, что Оксфорд и Кембридж в Англии. Мне не хотелось принять на себя всю ответственность за постановку нового дела, и, так как в завещании Лорэна значилось, что ввиду недостаточной разработки обществоведения в Швеции, он желал бы привлечь к нему ученых из других стран, я посоветовал отложить открытие курсов на время и обратиться во Францию и Германию за лекторами. Мне поручили наметить кандидатов...

Для меня центром интереса была, разумеется, моя знаменитая однофамилица. Я проводил время в ее обществе. Она действительно была женщиной замечательной. Биография ее хорошо известна, так как рассказана ею самой и ее приятельницей Леффлер-Кайянелло, но несколько добавочных штрихов будут не лишними, особенно со стороны лица, которому в ее жизни приписана преувеличенная роль. Мы сошлись по-приятельски потому, что оба были одиноки и на чужбине. Она окружена уважением и даже восторгом, но без сердечной близости, чувствуя себя все время русской женщиной, оторванной от своей обычной среды, живущей русскими интересами, жаждущей всего больше задушевной беседы о том, что делается по ту сторону Балтийского моря. Я, разумеется, не имею никаких данных, чтобы позволить себе суждение о том, что была С. В. в своей специальности. То обстоятельство, что ей присуждена была Академией наук в Париже удвоенная премия за работу по высшей математике, очевидно, само говорит о том, что в этой области она обнаружила и знание и оригинальность.

Диссертация писалась на глазах у меня. Так как ей нужно было спешить с окончанием, а я отнимал у нее немало времени на разговоры, то наш общий приятель, профессор математики Миттаг-Леффлер убедил меня на время уехать в Упсалу, отстоящую всего на несколько часов от Стокгольма. Когда я вернулся

ввиду того, что мемуар был окончен и послан в Париж, я нашел С. В. внезапно состарившейся: так сильно было то умственное напряжение, которое ей пришлось пережить. Она только медленно оправилась от своего переутомления.

С. В. была натурой, как говорят теперь, многогранной. О том, насколько она увлекалась литературным трудом, свидетельствуют изданные мною, после ее смерти, отрывки из почти законченных или только начатых повестей и рассказов. Но она интересовалась и естественными науками, и историей, и обществознанием. Способность быстрого ассимилирования всякого рода мыслей в любой области и затем критического отношения к ходячим теориям, раскрытие недочетов и слабых сторон в тех или других построениях была в ней поистине изумительна. А разве это не доказательность и большого ума и значительной талантливости? Так как в это время я был очень занят вопросами сравнительной этнографии и сравнительной истории права и учреждений, то в наших разговорах мы касались нередко этих тем. С. В., почти ничего не читавшая в этой области, на расстоянии немногих дней, черпая свои сведения нередко из устной передачи, приобрела уже возможность к построению самостоятельных гипотез и критики чужих. При этом ее фантазия увлекала ее далеко за пределы реальности, так далеко, что я однажды позволил себе заметить ей шутя: «Вы с полным правом могли бы повторить слова г-жи Дюдефан: если факты не укладываются в мою схему, тем хуже для фактов». Фантазия, как мне говорили, необходимейшее свойство при занятии высшей математикой.

При позднейших наших встречах в Англии, Франции, Италии, Швейцарии нам приходилось подымать и другие темы, например, исторические. Я одно время много читал по эпохе первой английской революции и зачинавшемуся в то время демократическому движению так называемых уравнителей. С. В. настолько заинтересовалась тою же темой, что одно время непрочь была писать исторический роман из жизни индепендентов.

Мы живо обсуждали с нею всякие вопросы, касающиеся настоящего и будущего России. Она, под влиянием мужа и сестры, вышедшей замуж за Жаклара, одного из участников Коммуны, жила в довольно близком общении с радикалами и социалистами всех стран. Одной из ее приятельниц в Париже была очень талантливая полька, госпожа Янковская, вышедшая впоследствии замуж за эмигранта Мендельсона. У Янковской собирался международный кружок общественных «ликвидаторов». Далеко не разделяя их взглядов, С. В. любила встречаться с людьми,

не отступавшими перед крайними решениями. Это давало тему для самостоятельной работы ее мысли. Назвать ее социалисткой или коммунисткой было бы грешить против истины. Но общество, в котором каждый жил бы своим трудом, высказывая открыто и проводя в жизнь свои мысли, очевидно, удовлетворило бы ее вполне.

Никаких унаследованных предрассудков, религиозных или сословных, она не имела. Вопрос о монархии и республике мало волновал ее. Другой аристократии, кроме ума, знания и таланта, она, разумеется, не признавала. Я не встречал человека более русского по чувствам.

Раннее знакомство с Достоевским, вероятно, не мало содействовало развитию в ней литературного вкуса и любви к русской словесности. Но на ее миросозерцание со своим «всечеловеком» и своей ненавистью ко всему, что он называл материализмом, Достоевский никакого влияния не оказал. Как жена известного палеонтолога и как свояченица знаменитого эмбриолога, как женщина, в ранней молодости близкая кружку Сеченова и воспитанная в поклонении Дарвину, она, разумеется, только со смехом могла относиться к тем грубым нападкам, какими даже такие гениальные писатели, как Достоевский, осыпали не только действительных, но и мнимых материалистов за их безбожие и производство человека от обезьяны.

С. В. в своей жизни пришлось встретить такую теплую симпатию со стороны некоторых величайших представителей отрешенного от всякой теологии научного знания, что она не могла относиться иначе, как с презрением, к тем, кто отрицает в людях нерелигиозных всякие добродетели. Когда она после своего фиктивного брака уехала учиться математике, знаменитый Вейерштрасс, не имея возможности допустить ее на свои лекции, так как в Берлине закрыт был доступ женщинам в университет, стал обучать ее даром у себя на дому. А когда пришло известие о самоубийстве ее мужа и ее материальной необеспеченности, тот же Вейерштрасс предложил ей сделаться его третьей сестрой и навсегда поселиться у него [1]. Не приняв этого предложения и продолжая зарабатывать себе существование лекциями сперва в Гельсингфорсе [2], а затем в Стокгольме, куда рекомендовал ее Вейерштрасс своему ученику Миттаг-Леффлеру, С. В. сохранила до конца жизни благодарную память о человеке, так великодушно и предупредительно отнесшемся к ее трудному материальному положению. Она навещала его не только проездом через Берлин, но и во время его летнего пребывания в горах Гарц.

В молодости С. В. была очень красива и знавший ее в это время Клим[ент] Аркадьевич Тимирязев говорил мне, что за нею очень ухаживали. Но натура умственная по преимуществу, она в это время всецело была поглощена своею специальностью и не давала никакого простора чувствам.

Испытанное ею за границей одиночество заставило ее искать дружбы, и когда представилась возможность частого общения с не менее ее оторванным от русской жизни соотечественником, в ней заговорило также нечто близкое к привязанности. Иногда ей казалось, что это чувство становилось нежностью. Но это нисколько не мешало ей во всякое время уйти в научные занятия и проводить ночи напролет в решении сложных математических задач. Если бы ей суждено было прожить дольше, она, быть может, стала бы уделять больше времени и на литературную работу.

Одно время она мечтала о том, чтобы покинуть Стокгольм и отдаться всецело писательству. Но я сомневаюсь в том, чтобы в этой области она достигла того громкого успеха, какой ей обеспечила ее совершенно исключительная и еще в детстве проявившаяся способность к математике. Да и любила она ее слишком сильно, чтобы навсегда порвать с нею.

Тяжелые роды [1], после которых ее некоторое время отчаивались спасти, положили начало у ней сердечной болезни. Припадки приходили неожиданно. Однажды, поднимаясь из Болье на известную Корниш, живописную дорогу, ведущую горой из Ниццы в Тюрби, она подверглась одному из таких припадков, и я боялся, что не довезу ее живой обратно. Другой раз такой же припадок сделался с нею ночью во время научных занятий. Отдых в южном климате восстанавливал ее силы. Ей крайне тяжело было вернуться в Стокгольм. Но просьба о новой отсрочке не могла быть уважена.

Перед отъездом [2] она мучилась какими-то предчувствиями, и у ней проявились даже ранее не замеченные мною суеверные страхи. Черная кошка перебежала нам дорогу, когда мы шли на вокзал. Она упросила меня проводить ее до Канн, говоря, что один из нас должен умереть. В Каннах она простудилась и простуженной уехала в Париж, где провела несколько дней в обществе тамошних математиков. Простуда ее еще больше увеличилась при переезде через паром в Швецию.

Приехав в Стокгольм, она письменно попросила Миттаг-Леффлера прислать ей доктора. Доктор не определил правильно ее болезни, стал лечить от почечной колики, когда в действительности, как оказалось после вскрытия, она страдала гнойным

плевритом. Миттаг-Леффлер уведомил меня о ее нездоровье. Я в тот же вечер уехал в Стокгольм и в Киле получил телеграмму, извещавшую о ее кончине.

По прибытии в Стокгольм, я нашел ее уже мертвой. На похоронах я был единственным русским и произнес над ней надгробное слово, как о представительнице той, только зарождающейся будущей России, которой суждено быть страною мира, общественной справедливости и широкого умственного и художественного развития [1]. Многие пустились в догадки о причинах внезапной смерти молодой сравнительно женщины, которой в то время интересовалась вся мыслящая Европа. Ее приятельница Леффлер-Кайянелло, жившая в то время в Неаполе и заканчивавшая ее биографию, высказала догадку о том, не покончила ли С. В. свою жизнь самоубийством, ввиду якобы неразделенной любви. Так как подобные слухи охотно принимаются на веру, то на этот счет сложилась подхваченная романистом Бари легенда [2]. Я получил самые точные сведения о всем ходе болезни, как и о результатах вскрытия. Доктор Кэй, присутствовавший на нем, сообщил мне, что у С. В. найден такой порок сердца, который и без болезни должен был вызвать скорый конец. Гнойный плеврит только ускорил этот исход [3].

15 лет, проведенные мною за границей, ушли на литературно-научную работу, прерываемую чтением временных курсов в Оксфорде, Париже, Брюсселе и, наконец, в Чикаго. Я поселился в окрестностях Ниццы, в Болье, устроил там свою библиотеку, завел русского секретаря и почти ежедневно проводил 2—3 часа в диктовке. После двухчасовой прогулки, я принимался за чтение, обедал поздно, ложился спать рано и в общем вел существование человека, отрешившегося от всяких светских обязанностей и поддерживавшего общение с небольшим кружком русских и иностранцев, приезжающих на Ривьеру на зиму.

Под боком, в Виллефранке, лежащей на расстоянии 20 минут от Болье, имеется русская зоологическая станция, устроенная киевским профессором Коротневым. На ней всегда работает несколько русских и заграничных ученых. В числе других эмбриолог Александр Онуфр[иевич] Ковалевский и известный своими «Письмами по физиологии» Карл Фохт, друг Герцена, нередко проводили по месяцам чуть не в ежедневных опытах над морскими животными, которыми так богата Виллафранкская бухта. В Ниццу приезжало также немало русских литераторов и художников.

Плещеев, Мережковский, Боборыкин, Вас. Ив. Немирович-Данченко, Чехов, кн. Сумбатов [Южин], редактор «Русских Ведомостей» В. И. Соболевский, их сотрудник Джаншиев. Но главным центром притяжения русской литературной братии был известный петербургский врач Белоголовый, ассистент Боткина, приехавший лечиться в Ментону, где Боткин скончался уже во время моего пребывания на Ривьере. Все эти лица поддерживали со мною сношения, так что я ежедневно виделся с русскими и имел возможность говорить на родном языке. Приезжали также врачи, художники, русские общественные деятели, кое-какие профессора. Одно время гостил у меня Пав. Гавр. Виноградов, принужденный прервать свою профессорскую карьеру в Москве и занятый подготовлением лекций для Оксфорда. Год спустя, приехал на время навестить меня покинувший преподавание мой покойный друг А. Ив. Чупров. В числе художников, постоянно бывавших у меня, назову академика Якоби и Юрасова, исполнявшего обязанности вице-консула в Ницце. Из иностранцев, кроме Фогта, бывали и даже жили у меня по неделям Вандервельде и Ле-Греф — профессора Брюссельского университета. Я находился в постоянном общении с доктором русской колонии Эльснером и кружком его русских и французских друзей.

Моя первая встреча с Мечниковым в Париже произошла в квартире С. В. Ковалевской. Она остановилась в одних со мною меблированных комнатах на площади Мадлены, на которой ныне подымается памятник знаменитому химику Лавуазье. Наша встреча не отличалась особой теплотой. Мечников заметил, что не счел нужным, подобно мне, ждать, чтобы его выгнали со службы [1]. С. В. вступилась за меня, говоря, что она считает такое поведение более почетным, чем облегчать реакционерам их дело добровольным устранением себя от предстоящих неприятностей. В этот день Мечников был не в духе и к самой Софье Васильевне, за которой, по его словам, он когда-то ухаживал [2], он относился довольно холодно, повидимому, по следующей причине.

В промежуток между нашими двумя встречами Илья Ильич успел сделать главную работу своей жизни. Уехав в Мессину, он проработал в ней целые годы на зоологической станции и, прежде чем опубликовать свое великое открытие, он показал Вирхову, бывшему проездом в Мессине, свои препараты. Вирхов пришел от них в восторг. Мечников оповестил миру свою теорию фагоцитов, т. е. той борьбы белых кровяных шариков с красными, на которой построена вся теория «иммунитета». Под

этим именем вышло впоследствии наиболее полное изложение Мечниковым его доктрины.

Заинтересовавшись ею, С. В. вместе со своей приятельницей Леффлер-Кайянелло, перенесли эту доктрину,— куда бы вы думали,— в текст написанных ими драматических сцен. Балерины, одетые одни в красные, другие в белые костюмы, изображают в них борьбу белых шариков с красными. Вместо того чтобы посмеяться над этим, Мечников отнесся с полным отрицанием к столь эксцентричной затее.

Так как С. В. не была знакома с его второй женой [1], то Илья Ильич пригласил меня и ее притти к нему вечером. Он незадолго перед тем поступил в Пастеровский институт и не успел еще обзавестись постоянной квартирой. Жил он поэтому в меблированных комнатах на бульваре С.-Мишель, снимая почти целый этаж. Помню и номер его дома, № 32-ой, почти на углу улицы Медицинской школы. В нижнем этаже того же дома поселился де-Роберти. Он тоже был в числе гостей. На той же квартире я несколько раз встречался и с Лавровым.

II

ДЕЙСТВЕННЫЙ ФЕМИНИЗМ [2]

1

Мое знакомство с С. В. Ковалевской началось в Стокгольме. Перед этим я только однажды и всего на несколько минут был в ее обществе. Она в то время жила в Париже, в рю Вожирар, и много работала над решением математической задачи, решением, которое окончательно упрочило ее известность в той специальной области, в которой она чувствовала себя дома.

Софья Васильевна произвела на меня впечатление женщины очень нервной (нервной до истеричности). Это было вскоре после воцарения императора Александра III. Я возвращался из двухгодовой командировки в Россию и, не зная о том, что делается на родине, старался раздобыть кой-какие сведения и закидал поэтому С. В. рядом вопросов. Оказалось, однако, что и она уже некоторое время провела вне России. Муж ее, известный палеонтолог В. О. Ковалевский, сделан был профессором Московского университета в мое отсутствие. Софья Васильевна вместе с ним переехала в Москву, провела в ней ряд месяцев, а затем уехала в Гельсингфорс, где стала читать лекции по ма-

тематике при университете [1]. Вскоре за этим приглашена была в Стокгольм своим товарищем по занятию математикой у Вейерштрасса проф. Миттаг-Леффлером. В промежуток между Гельсингфорсом и Стокгольмом С. В. приехала в Париж и занялась темой, поставленной на конкурсе французской Академии наук.

Прошел ряд лет между моей мимолетней встречей с С. В. и более продолжительным знакомством с нею в Стокгольме. В 1887 г. я был отставлен от занимаемой мною кафедры государственного права европейских держав. Уехав в деревню, я в январе получил приглашение от комитета, в состав которого входила и С. В., прибыть в Стокгольм для открытия при университете лекций по общественным наукам. Как я узнал впоследствии, эти лекции должны были оплачиваться доходом от капитала в 200 тысяч кронор, оставленного по завещанию рано умершим экономистом Лореном ряду поименованных им лиц. Они должны были образовать общество для преследования двух целей: распространения социальных знаний в среде широких кругов шведского народа путем публичных лекций и издания легко доступных сочинений по различнейшим вопросам обществоведения. Им надлежало также, ввиду недостатка в преподавателях по общественным наукам, приглашать ученых из-за границы, предоставляя им чтение курсов на французском или немецком языках в случае незнакомства их с шведским. Когда до Стокгольма дошло известие о вынужденном оставлении мною кафедры, в комитете решено было обратиться ко мне с предложением продолжать мою преподавательскую деятельность в Стокгольме. Обращение ко мне сделано было после опроса некоторых ученых в Лондоне и Париже и получения рекомендаций от Г. Мэна и Ф. де-Куланжа.

Предполагая, что С. В. была в числе лиц, принявших участие в моем выборе, я посетил ее в день моего приезда, и в тот же вечер приглашен был к ней для чествования какого-то, если память мне не изменяет, норвежского математика. Собралось человек десять мужчин и женщин, в числе их профессор астрономии Гюльден и профессор математики Миттаг-Леффлер. Из молодых в этот вечер или в ближайшие дни я встретился у С. В. с хорошо известным теперь главою самой многолюдной социалистической партии в шведской палате Брантингом, на которого так энергично нападают в настоящее время немцы. По образованию он был также математик и входил, если не ошибаюсь, в состав комитета лоренского фонда.

У С. В. я встретился и с весьма известной писательницей Эллен Кэй, только что начинавшей тогда свою карьеру. Двух

этих посещений достаточно было, чтобы убедиться, какую роль играет С. В. в профессорских и литературных кругах шведской столицы. Ее славословили, ею восхищались и гордились. Ее самолюбие находило ежедневное удовлетворение в похвалах, расточаемых на ее счет и нередко в ее присутствии. Но достаточно было нескольких встреч, чтобы убедиться, как одиноко чувствовала себя эта женщина на чужбине, как все русское было близко ее сердцу и как она чувствовала себя отрезанной, если не от всего мира, то по крайней мере от России своим, только наполовину добровольным переездом в Стокгольм.

2

В промежуток между нашим свиданием в Париже и Швеции Владимир Онуфриевич умер. С. В. жила с своей дочерью, еще ребенком, но уже посещавшим школу. Она сама занималась с нею русским языком и следила за ее воспитанием.

Но лекциями и уроками нельзя было наполнить всего своего времени. В часы усталости от математики и педагогики С. В. искала людей, которые бы на ее родной речи повели бы с нею разговоры о тех вопросах, которые были близки ей с самой ранней юности и сделались еще более близкими после окончания годов ученичества. Я разумею вопросы молодой России, России, стремящейся к знанию и свободе. Кружок, в котором С. В. познакомилась с своим мужем, был кружок Сеченова. За границей она встречалась в университетах с представителями русского естествознания, с братом своего мужа Александром Онуфриевичем, известным дарвинистом и впоследствии академиком, Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, с Ильей Ильичем Мечниковым. Вся эта молодежь интересовалась вопросами русской общественности и политическим будущим своего отечества. В Петербурге она также жила в мире ученых, писателей и общественных деятелей. Ее муж был в числе тех лиц, которые не только содействовали своими изданиями переводов сочинений Дарвина и дарвинистов нашему знакомству с естественно-научными течениями Запада, но и приняли прямое участие в создании одно время либерального органа, вскоре изменившего своему первоначальному направлению. Я разумею «Новое время». Позднее, устроившись с мужем в Москве, С. В. опять-таки жила русскими общественными и литературными интересами.

И все это внезапно оборвалось со времени ее переезда в Швецию. В Стокгольме до моего приезда она не встретила ни одного русского. Разговоры ей приходилось вести на только

усвояемом ею шведском языке, в котором она делала изумительные успехи, но который все же оставался ей чуждою речью. Лекции в это время она продолжала читать по-немецки [1].

Я пробыл в первый мой приезд в Стокгольме всего несколько недель. До летних вакаций оставалось мало времени. Повидавшись с членами комитета, я убедил их не начинать преподавания социальных наук раньше осени и к этому времени пригласить специалистов из Франции и Германии. Я наметил кандидатами известного Шеффле, который после выхода из числа министров Австрийской империи переселился в Тюбинген и здесь только что обнародовал первые томы своего курса социологии. Для приглашения лектора из Франции я советовал обратиться к известному юристу и академику Р. Даресту, который в свою очередь рекомендовал профессора Боше из Нанси, занявшегося как раз в это время изучением источников древнего шведского права и поэтому охотно принявшего приглашение провесть несколько месяцев в близком общении с шведским государственным архивом и стокгольмской королевской библиотекой.

Шеффле сначала обещал свое сотрудничество, а затем, ввиду возраста и болезни, должен был отказаться от него. Преподавание общественных наук открыто было при Стокгольмском университете таким образом двумя иностранными профессорами: Боше и мною, обоими на французском языке [2].

С. В. не раз показывалась на наших лекциях на правах члена комитета. Она не раз также приглашала обоих лекторов к себе и заботилась о том, что они приняты были в ученую и литературную среду Стокгольма. Ее влияние было настолько значительно, что перед нами всюду открывались двери и нам немудрено было перезнакомиться с руководителями столько же умственной, сколько и политической жизни Швеции. В числе людей, с которыми мне удалось сблизиться таким образом, оказался и известный всему миру Норденшильд, открывший северный путь из Европы в Охотское море, выдающиеся представители скандинавской археологии Гильдебрандт и Монтелиус и местные знаменитости по интерпретации библейских текстов, и естествоиспытатели, и политические деятели, и литераторы. Некоторые из них образовали подобие частной академии, сходившейся попеременно у одного из них. В доме Монтелиуса мне пришлось не только самому делать сообщение по археологии Кавказа, но и присутствовать при том, какое на шведском языке сделано было моей знаменитой однофамилицей. Успех ее был весьма значителен. Ее хвалили не только за оригинальность высказанных ею взглядов, но и за успешную передачу их на шведском языке.

С этого времени С. В. решила перейти и в преподавании на шведский язык.

3

Во второй мой приезд мне пришлось бывать в доме С. В. несравненно чаще прежнего. Летом я встретился с нею в Лондоне, где я проживал в это время вместе с профессором Тамбаровым. Мы устраивали не раз загородные прогулки, проводили свободные от занятий часы в посещении музеев и картинных галлерей, и встретились уже в Стокгольме настоящими друзьями. Чем больше я знакомился с знаменитым профессором математики, тем больше я убеждался в том, что это была исключительная по талантливой разносторонности женщина. Не было такого вопроса в области обществоведения и истории, которым бы она временно не могла увлечься. Мои лекции посвящены были происхождению древнейших семейных и имущественных отношений. С. В. заинтересовалась этими вопросами и охотно заводила беседу о них не только с лектором, но и с посетителями его курса. Я однажды узнал от нее, что лекцией об анимизме моя женская аудитория оказалась недовольной.

В анимизме она желала видеть раннее проявление спиритизма и связанной с ними теософии, которым тогда увлекался Стокгольм и особенно его женская половина, по примеру Лондона и Петрограда.

С. В. представляла редкий в стокгольмском обществе пример ума, совершенно свободного от всяких теологических или метафизических воздействий. Занятия естественными науками и математикой дали положительное направление ее мышлению. Мне не пришлось в моей жизни встретиться с человеком с большей умственной трезвостью, умевшим критически относиться не только ко всякой попытке напустить туману или не довести своей мысли до конца, но и к собственному поведению, раз оно вызываемо было аффектом. Вопреки ее биографам, я позволю себе утверждать, что это была натура жизнерадостная, и что эта жизнерадостность вызывалась в ней способностью интересоваться разнообразнейшими сторонами действительности, как русской, так и заграничной.

Судьбы четвертого сословия [1] были ей особенно дороги. Подобно всем русским эпохи, следовавшей за реформами Александра II, она горячо принимала к сердцу интересы народных масс и той демократической интеллигенции, которая в последние годы царствования Александра II и в правление Александра III с понятной нервностью относилась к внезапной приостановке

либерального движения, в котором само правительство в годы, следовавшие за Крымской войной, немало участвовало.

Не принадлежа ни к какой определенной политической партии, С. В. всецело являлась сторонницей и широкой самодеятельности общества, и социального законодательства [1], и всякого рода просветительных начинаний на пользу народных масс, например народных университетов. Кто читал ее статью об народных университетах в Норвегии, перепечатанную мною в сборнике ее сочинений и в свое время наделавшую немало шуму, тот согласится, что она указала в своей статье на самый рациональный способ проведения в массы тех сведений, в которых они всего более нуждаются. Во время своей поездки в Норвегию она провела некоторое время в Телемархене, северное плоскогорье с некоторыми обширными селами, куда в летнее время съезжаются с разных концов Норвегии и учителя и крестьяне для слушания курсов, сообщающих в систематическом виде не столько гуманитарные, сколько технические знания. Это не отрывочные курсы в 4—6 или более лекций, как те, которые по разнообразнейшим областям человеческой пытливости читаются в летнее время в Оксфорде или в Кембридже под общим заглавием University extension и которые, к сожалению, послужили образцом для народных университетов и в романских странах, начиная с Франции. А это совершенно законченный курс по целым областям знания, заключающий в себе не только теорию, но и практические советы, как применить это знание на деле. Немудрено, если вся сельская округа привлекается такими лекциями и умеет использовать их впоследствии в своей сельскохозяйственной и промышленной жизни.

4

С. В. не была одной из тех натур, которые могли бы всецело посвятить себя практической пропаганде просветительных ли идей, общественных или политических реформ. Для этого она была существом слишком сложным и, как теперь выражаются, многогранным. Умственные запросы, разумеется, брали в ней верх над всеми другими. В Берлине она находила ответ на свои живейшие интересы не только в обществе своего учителя Вейерштрасса, но и в обществе людей, как Гельмгольц и Сименс, сумевший быстро подвинуть вопрос об использовании электрической энергии. В Париже она посещала также охотно дом математика Пуанкаре и принимала у себя академика Эрмита. С Бертело, как и с Ренаном, она встретилась за обедом у матери те-

перешнего русского финансового агента, дом которой открыт был для всей академии [1]. С. В. несомненно следила за успехами физики, химии и естествознания, причем, разумеется, ее интересовала не столько прикладная, сколько теоретическая сторона новых открытий. Но этот интерес к точному знанию не исключал также увлечения литературой и театром. На рождественские каникулы она не раз приезжала на юг Франции, на Ривьеру [2], и здесь, не прекращая занятий математикой, непрочь была испробовать себя в литературе.

Встреча в Париже с оторванными от России великосветскими девушками, из которых одна увлеклась философией, а другая готова была пожертвовать жизнью, чтобы улучшить судьбы политического ссыльного [3], навела ее на мысль написать рассказ «Нигилистка». Это намерение не было доведено до конца. С. В. пробовала, имея в виду условия русской цензуры, написать свой рассказ по-французски. После ее кончины оказались главы, написанные на обоих языках, с пропусками, не особенно, впрочем, значительными. Я принужден был восполнить их немногими вставками, перевести целые главы с французского языка на русский; таким образом получился цельный рассказ, изданный мною за границей и выдержавший затем второе издание, предпринятое г. Эльпидэном даже без опроса наследников.

Сборник других сочинений С. В., составление которого поручено было мне А. О. Ковалевским, заключает в себе не одни только воспоминания, раньше отпечатанные «Русской мыслью» [4], переведенные затем на иностранные языки и приковавшие к себе общее внимание в Европе, но и отрывки из разных начатых С. В. повестей и рассказов. Если она не довела этих беллетристических произведений до конца, то потому, что могла заниматься ими в сравнительно немногие недели своего заграничного отдыха.

Да и живя на юге Франции или в Швейцарии во время каникул, она не раз прерывала свою литературную работу для занятия математикой. А как интенсивно она работала в этой области, можно судить хотя бы по следующему. В перерыве между лекциями я уехал в Упсалу; по возвращении из путешествия, длившегося не более недели, меня поразила физическая перемена, в ней происшедшая; лицо осунулось, глаза впали и сама она заметно похудела. Оказалось, что за эту неделю ей удалось закончить ту математическую работу, которая была удостоена двойной премии Парижской академией.

5

Хотя С. В. всегда была на ногах, но красные пятна на ее лице свидетельствовали о неправильном кровообращении. Однажды во время поездки в горы с нею сделался сердечный припадок. Он повторялся неоднократно. Но никто, повидимому, не подозревал у нее органического порока сердца. Врачи, быть может, знали про это, но хранили профессиональные секреты. После ее смерти от совершенно другой болезни ректор медицинской академии в Стокгольме доктор Кэй сообщил мне, что произведенное вскрытие не оставило сомнения в том, что, и помимо болезни, С. В. оставалось жить недолго. Под влиянием ли болезни или продолжавшегося в Стокгольме одиночества, наконец, и самого успеха первых ее литературных трудов, в особенности «Воспоминаний», которые в переводах и извлечениях обошли разные страны, С. В. в последние годы своей жизни стала серьезно подумывать о том, чтобы переселиться на юг Франции и посвятить себя писательству.

Ее друзья, как Миттаг-Леффлер, Гюльден и я, не зная ее болезни, считали долгом отклонить ее от этой мысли. Положение С. В. как профессора математики было совершенно исключительным. Перенести ее деятельность в Париж оказывалось невозможным. Эрмит и Бертран, беседуя с нею на эту тему, говорили, что устроить ее можно было бы самое большее профессором в женской высшей школе в Севре, в которой кафедру математики занимал известный Дарбу. Дарбу, быть может, и тяготился лекциями, требовавшими его периодического перемещения из Парижа, но в то же время не обнаруживал ни малейшего желания покинуть свою кафедру. В другие университеты женщины ни во Франции, ни в Германии на кафедру еще не допускались. Независимого состояния С. В. не имела. Она нуждалась в постоянном заработке, а уверенности в том, что литература заменит ей жалованье, конечно, не было. Приехав проводить рождественские каникулы на Ривьеру в 1890 г., С. В. попробовала продолжить на этот раз свой отпуск. Но М.-Леффлер написал ей, что это невозможно, так как по причине незамещения какой-то кафедры ей приходилось читать и этот добавочный предмет. С тяжелым чувством уехала С. В. на север. Я проводила ее до Канн.

В Париже она осталась на несколько дней, чтобы повидаться с тамошними математиками. Во время переезда из Дании в Швецию она простудилась и по приезде в Стокгольм слегла, жалуясь на колику. Ее стали лечить от воспаления почек, не

заметив, что колика вызывается гнойным плевритом. Когда болезнь ее усилилась, М.-Леффлер уведомил меня о ней телеграммой. Я в тот же день выехал, но уже в Киле получил известие о ее кончине. Я тем не менее продолжал свой путь и присутствовал на ее похоронах. По просьбе ее друзей, я от имени ее соотечественников сказал на французском языке несколько слов над ее могилой и изобразил ее представительницей той молодой России, которая стремится к свету, свободе и социальной справедливости.

6

С. В. была, действительно, выразительницей этой новой России. Ей принадлежали все ее симпатии. Она интересовалась не только успехами знания и художественного творчества в нашем отечестве, но и ростом просвещения, общественным и политическим прогрессом. В редкие ее поездки в Россию она входила в общение... [1]

В Стокгольме [она] еще интенсивнее чувствовала свое вынужденное удаление от родины. Когда однажды она жаловалась мне на это, я спросил ее: «Да почему вы не попробуете устроиться преподавателем математики хотя бы в русской гимназии?» Оказалось, что попытка в этом направлении была ею сделана, но, по существовавшим тогда правилам, женщина-учительница могла преподавать начальные математические знания только до 4-го класса гимназии. С. В., смеясь, сказала мне, что в сложении и вычитании она не сильна и постоянно ошибается при проверке счетов своей прислуги.

В смысле общественного признания математик Ковалевская, разумеется, не мало выиграла от своего пребывания за границей. День, когда ей дарована была Парижской академией наук удвоенная премия за сочинение по математике, был для нее настоящим триумфом. Я сидел с покойным философом Е. В. де-Роберти в ложе, отведенной ей в зале торжественных собраний французского института, и слышал те громкие приветствия, какими сопровождалось провозглашение непременным секретарем академии ее имени в числе лауреатов института.

Среди литературно-ученых кругов С. В. всегда была желанным гостем. Хозяева гордились ее появлением, и она вскоре становилась центром кружка в любом из салонов Парижа. Словоохотливая, с внешнего вида жизнерадостная, разносторонне образованная, находчивая, она могла поддержать любую беседу. Крайне близорукая, и по тому самому несколько конфузливая,

она иногда к смущению своему узнавала только по окончании разговора, что лицо, с которым она спорила так смело, отстаивая свои взгляды, и скорее нападая, чем защищаясь, принадлежит к числу общепризнанных авторитетов.

Это случилось с нею впервые в доме Льюисов. Жена Льюиса была известная английская писательница Дж. Элиот. Льюисы принимали по воскресеньям, и частым посетителем был у них Спенсер. Однажды в присутствии С. В. поднят был вопрос у Льюисов о том, в какой мере женщина призвана к научной деятельности. С. В. услышала нечто несогласное с ее мнением на этот счет, заметила у говорящего скептическое отношение к женскому творчеству; горячась, она стала возражать с большим успехом и весьма убедительно, несмотря на необходимость говорить чужою речью. Многие поспешили согласиться с нею. Каково же было ее смущение, когда она узнала, что господин, с которым ей пришлось спорить так решительно, чуть не с личными выпадами, не кто другой, как Г. Спенсер, старый друг Дж. Элиот, когда-то в нее влюбленный и аккуратно посещавший ее воскресные собрания. Это было в ранней молодости, когда С. В. только что получила степень доктора математики в Германии и приехала провести несколько месяцев в Лондоне. Я еще в это время не был с нею знаком, и все, сообщаемое мною, я узнал от хозяйки дома, знаменитого автора «Адама Бида» и «Мельницы на Флосе» [1].

Мне пришлось самому присутствовать не раз в Стокгольме на боевых выступлениях С. В. Если бы не особый блеск глаз, то в ровном и уверенном тоне, с которым она вела беседу, никто бы не отметил ее внутреннего волнения. В Стокгольме, впрочем, ей спорить приходилось редко. Она вскоре завоевала себе такое положение, что к ней приходили скорее на поклон, чем для откровенной товарищеской беседы. Спорили с нею больше в Ницце [2], где она попадала в кружок соотечественников, весьма далеких от математики и весьма разделенных в своих взглядах на счет будущности России. Спорили более о том, скоро ли настанет конец реакции и как достигнуть этого, довольствоваться ли в России одной культурной работой или итти в народ и заниматься политической пропагандой.

В кружке, кроме русских, принимал участие и известный друг Герцена, сыгравший такую выдающуюся роль во Франкфурте в 1848 г., Карл Фогт [3]. Зоологическая станция в Виллафранке, под руководством ее устроителя профессора Коротнева, привлекла его из Женевы, где он был первым ректором университета, в Ниццу на зимние месяцы. Он бывал довольно часто у

меня, занимался живописью после завтрака и любил делиться своими впечатлениями от общения с разными русскими деятелями и, в частности, с Герценом. С. В. жила в соседней гостинице и принимала участие в прогулках. Несмотря на частые споры, отношения были приятельские, и С. В., освобожденная временно от преклонения перед ее математическим гением, оживала в обществе русских людей — известного доктора Белоголового, писателя П. Д. Боборыкина и многих случайных посетителей Ниццы, в числе которых было немало и литераторов.

7

Из всех разговоров с С. В. я все более и более убеждался и в силе ее ума, и в большой научной фантазии, и в способности быстро ориентироваться в совершенно чужой ей области, и в разносторонности ее чтений, более направленных впрочем в область точного знания, нежели в область истории и общественных наук, и, наконец, в редкой памяти, которая позволяла ей быстро схватывать то, что многим дается только путем продолжительного изучения. Мне не приходилось часто встречать на своем веку людей, которые умели бы так ясно различать главное от придаточного, так метко направлять удары на самые стропила возводимого противником здания, так проникать в самую глубь вещей и доказывать необоснованность начальных посылок. При этом поражало у нее, как и у многих математиков, не равнодушие, а, наоборот, интерес к общественным вопросам, как и ко всей культурной истории, и какое-то полуироническое отношение к тому, что у людей, занимающихся этими вопросами, нехватает смелости додуматься до конечных решений. Благоразумное ignoramus * в ее глазах было последствием одной умственной скудости, если не отсутствия искренности.

Споры с нею по вопросам, в которых трудно было предполагать с ее стороны достаточную подготовку, тем не менее были весьма полезны, так как указывали на возможность посмотреть на дело с совершенно неожиданных сторон и открыть в тех или других теоретических построениях, казавшихся вполне защищенными, значительные бреши.

Чем только не интересовалась С. В.!! И сравнительной историей культуры, и ростом освободительных идей, и тем, что можно назвать теоретическим обществоведением и теоретической политикой. Все, что носило характер практики, задевало ее в

* Мы не знаем [1].

гораздо слабейшей степени. Этому утверждению с моей стороны до некоторой степени противоречит та наблюдательность, какую она обнаружила, например, в своей статье о норвежских университетах. Но малейшие детали интересовали ее только с точки зрения тех дальнейших выводов, которые могут быть сделаны из них. Синтетическое направление ее мысли заставляло меня сомневаться в том призвании, какое она признавала за собой к писанию повестей и рассказов. Мне казалось, что выставляемые ею типы схематичны, что язык действующих лиц слишком однообразен, что у нее вообще нет тех свойств, которые так счастливо выступают у Тургенева, Толстого и Чехова и которые можно передать словами: способность совершенно отрешиться от самого себя, войти в плоть и кровь изображаемого лица, полюбить его, смотреть на мир его глазами и говорить его языком.

Так как между нами господствовала полная искренность, я не скрывал от С. В. своих сомнений в ее литературном таланте. А с нею повторялось то же, что бывает со многими учеными специалистами, которые особенно чутко относятся к нападкам на ту сторону своей деятельности, в которой они являются дилетантами. Фогт спокойнее относился к теоретическим спорам в области зоологии, в которой он чувствовал себя хозяином, нежели к критике его эскизов, которые, разумеется, хороши были только для любителя. Когда С. В. прислала мне рукопись своих «Воспоминаний» в первой их редакции, и я позволил себе, по ее же желанию, отнестись к ним критически, она, несомненно, обиделась.

Но прошли месяцы, ее воспоминания появились в новой, исправленной редакции, в которой они и преданы были тиснению. Мне кажется, что С. В., если бы ей суждено было прожить и десятки лет дольше, не бросила бы математики и занялась бы беллетристикой только для отдыха. И подтверждение этого я вижу в том, что она очень часто и в каникулярное время на целые недели уходила в область решения того или иного сложного математического вопроса, сидя за ним по ночам, отказываясь от прогулок и ища по возможности одиночества.

Затем наступила необходимая реакция, ей нужно было легкое чтение или приятельский разговор, посещение театров, концертов и даже тех народных гульбищ, какими богата праздная Ницца, особенно в период карнавалов. Ученый математик, премированный в удвоенном размере французской Академией наук, непрочь был пойти с приятелями и «на бой цветов» (bataille de fleurs) [1], и на так называемый «великий редут», т. е. глубоко за ночь затянувшийся костюмированный бал. Шутя, С. В. гово-

рила, что в числе ее отдаленных предков была какая-то цыганка, дух которой воскресал в ней в эти минуты.

Богатая и разносторонняя природа дана была ей в удел, и проживи она дольше, оставленное ею в различных областях человеческого мышления и художественного творчества поставило бы ее в ряд с самыми выдающимися людьми второй половины прошлого столетия [1].

III

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ [2]

Софья Васильевна! Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру, вы всегда были и будете славой нашей родины. Недаром оплакивает вас вся ученая и литературная Россия. Со всех концов обширной империи, из Гельсингфорса и Тифлиса, из Харькова и Саратова, присылаются венки на вашу могилу. Вам не суждено было работать в родной стране, и Швеция приняла вас. Честь этой стране, другу науки! Особенно же честь молодому Стокгольмскому университету! Но, работая по необходимости вдали от родины, вы сохранили свою национальность, вы оставались верной и преданной союзницей юной России, России мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее. От ее имени прощаюсь с вами в последний раз.

ЭЛЛЕН КЭЙ

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ[1]

Как бы мы лично ни смотрели на смерть,— видели в ней тихую пристань, покой для измученных жизнью или покорно подчинялись неизбежному,— единичный случай смерти всегда печально поразит нас своею кажущеюся бесцельностью. Смерть пронесется, как буря в жаркое лето, оставляя за собою след в поломанных деревьях, сбитых плодах и положенной жатвы.

Горестно пораженные стояли близкие друзья и европейский образованный мир у гроба Софьи Васильевны Ковалевской. Известие о ее смерти вызвало отовсюду, куда только проникло, выражения глубочайшего участия, даже из тех мест, где Софии Васильевны лично не знали и не могли подпасть ее влиянию. Она принадлежала к избранным науки; в изящной литературе ее ждала блестящая будущность; она всею душою сочувствовала борющимся за свободу,— все сознавали, что потеря велика. Для друзей, знавших ее близко, знавших ее личные достоинства,— потеря незаменима.

В Стокгольме близкие к Софье Васильевне люди знали, что это перелетная птица, для которой нет у нас своего гнезда, гостья, которой тяжело было чужое дело и которая охотно бы улетела в другие страны. Друзья знали, что рано или поздно им придется с нею расстаться, но вовсе не были подготовлены потерять ее совсем.

Она была скромна, нетребовательна, а между тем ее присутствие составляло все для ее друзей и слушателей,— уходила, становилось пусто.

Эти строки написаны под впечатлением первой скорби, вызванной этой смертью. Они заключают несколько небольших воспоминаний.

Софья Васильевна родилась 3/15 января 1850 г. [1], в прекрасной Витебской губернии, в Палибино, имении ее отца, генерала Корвин-Круковского. В ее жилах текла кровь нескольких национальностей. Софья Васильевна так обыкновенно определяла свое духовное и умственное развитие: «Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина; любовь к математике, музыке и поэзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; личную любовь к свободе от Польши; от цыганки прабабки — любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям; остальное от России».

Это «остальное», собственно русское, выражалось во множестве своеобразностей и неустойчивости характера; а главное — в умственном богатстве, которым за несколько последних десятилетий русский народ возбудил интерес всей Западной Европы к своей литературе. Русская интеллигенция владеет могущественною силою производительности; русские обладают неистощимою способностью усваивать, делать, создавать и давать, многосторонним избытком силы, чего Западная Европа не видала со времен эпохи Возрождения. Этой упорной жизненной энергии и способности созидания составляет странную противоположность восточный фатализм, глубокая тоска у русских: «Дух весел, а сердце печально», как ни у какой другой нации в мире.

Эти национальные особенности у Софьи Васильевны усиливались гениальною силою творчества и женскою способностью страдать. В «Сестрах Раевских» * она дала нам увлекательную картину своего развития: сердце ее неутомимо жаждало ласки, душа — питания. Мы видим, как, при семейных спорах о новейших идеях, сверкают серо-зеленые глазки маленькой «Тани»; видим как в уголку она проглатывает иностранные и русские повременные издания; гуляем с нею в раскошном зеленом лесу и в поэтических воздушных замках; целыми часами стоим с нею, околдованные, перед наклеенными на стене, вместо обоев, листами бумаги, покрытыми дифференциальными и интегральными исчислениями; листы бумаги — ее первое знакомство с наукою, которая впоследствии стала ей близкой.

Мы знаем, что освобождение крестьян ** и последнее польское восстание *** произвели на нее глубокое впечатление.

* «Systrarna Rajevski» — под этим заглавием вышли по-шведски и датски «Воспоминания детства» С. В. Ковалевской, напечатанные в «Вестнике Европы», 1890 г.

** Ср. «Семейство Воронцовых» в Nordisk Tidning» [«Северная газета»].

*** В ее бумагах нашелся рассказ из воспоминаний детства об этом времени.

Незадолго до смерти Софьи Васильевны, русские друзья упрекали ее, что в своих воспоминаниях она относится неуважительно к памяти отца, этого старого генерала-консерватора, который во многих случаях позволял своим дочерям управлять собою; тогда же она начала новую главу — продолжение своих воспоминаний, где думала представить отца под конец жизни более уступчивым и понимающим стремления и образ мыслей своих даровитых дочерей.

Одну, к сожалению, не написанную главу этих воспоминаний Софья Васильевна намеревалась назвать «Как я сделалась математиком».

Около этого времени Софья Васильевна познакомилась с Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, который, чтобы доставить ей свободу, предложил увезти ее. Но домашний доктор узнал об этих планах и предупредил, что отец ее страдает пороком сердца и последствием такого поступка может быть его смерть.

В 1869 г. девятнадцатилетняя молодая женщина поступила в Гейдельбергский университет и после двух лет усиленных там занятий отправилась в Берлин, в университет которого однако женщины не допускались; но талантливая русская возбудила живой интерес знаменитого математика Вейерштрасса, и он в течение четырех лет занимался с нею одной. Вейерштрасс был для нее не только заинтересованным учителем, но и другом, который много лет спустя, когда она осталась вдовою, одинокая, предложил ей жить в его доме как сестре. Софья Васильевна не приняла этого предложения, но чувство благодарности к Вейерштрассу стало еще сильнее, еще глубже. Перед своею болезнью она ездила в Берлин навестить этого друга.

После четырех лет учения, по совету Вейерштрасса, она послала в Геттинген три работы, которые произвели такое впечатление, что автор их без дальнейших испытаний получила звание доктора университета — отличие, выпавшее ей первой за все время существования университета.

Около этого же времени произошла большая перемена в жизни Софьи Васильевны. Чисто товарищеские отношения супругов Ковалевских, наконец, изменились. Осенью 1878 г. родился их первый и единственный ребенок. Цыганская жизнь заменилась общею семейною жизнью в Москве, где Владимир Онуфриевич Ковалевский, известный ученый, получил место профессора палеонтологии; он внезапно скончался в 1883 г. Громадное отцовское наследство его жены пошло на предприятия разного рода, в которых и рассеялось понемногу; при основании газеты «Новое время» деньги Софьи Васильевны также оказали существенную

помощь. Молодая вдова осталась без всяких средств и должна была зарабатывать хлеб для себя и своей дочери [1].

Ее родина, богатая, могущественная, несчастная Россия, ее развитие, ее судьба всегда стояли перед глазами Софьи Васильевны, занимали ее мысли. Ее друг Максим Ковалевский с полным правом мог сказать на ее могиле, что «покойная принадлежала молодой России, ее страданиям, ее свободе». Все успехи Софьи Васильевны были ей дороги только если, она могла поделиться ими со своею обширною родиною. Она вспоминала со слезами о двух случаях похвалы: первый, когда ее выбрали членом-корреспондентом петербургской Академии Наук; второй, когда Ионас Ли [2] в застольной речи выразил глубокую симпатию к маленькой русской девочке «Тане Раевской».

Как и все русские, она обладала замечательною способностью к языкам; в несколько месяцев настолько выучилась по-шведски, что с удовольствием читала беллетристические произведения; а последнее время в несколько недель она научилась по-итальянски.

В Берлине, Лондоне, Париже, да и в Петербурге она принадлежала к кружкам, где господствовала умственная свобода, где никакие предвзятые понятия не мешали многостороннему обсуждению всяких научных, социальных, нравственных и эстетических проблем; к кружкам, в которых можно было жить своею личною жизнью, и никто в нее не вмешивался. Неудивительно, что ей было душно в умственной атмосфере Стокгольма. Она приехала, уверенная, что отсутствие предрассудков, допустившее ее прием в университет, проникло и в общество, но скоро убедилась, что жестоко ошиблась. В вопросе обыденных жизненных отношений она была уступчива, подчинялась всему, что только требовало от нее ее положение как русской, женщины и лектора высшего учебного заведения, но она чувствовала, что все эти отношения стояли вокруг нее оградой, о которую она часто расшибала крылья, едва распущенные в свободном пространстве.

Она, которая ради своего умственного достоинства сохранила русский способ отношения к жизни, после нескольких столкновений чувствовала себя все более несчастной,— обстоятельства стеснили ее индивидуальность, изменившийся случайно образ жизни уменьшил здесь круг ее друзей. Она стала удаляться от нашей застывшей общественной жизни, на которую первое время она действовала, как живительный весенний ветер; удалялась, не из сознания превосходства, как многие думали, а потому, что чувствовала себя там одинокой. В обществе немногих друзей и, посещая иногда театр или музыкальные вечера, она отдыхала от

утомительных занятий. Из всех эстетических удовольствий выше всего она ставила хорошую музыку и потом театр [1]. Ее мнения об исполнении драматического произведения составляли всегда тонкую и едкую критику, в первые годы существования «Нового времени» она вела в этой газете театральную хронику.

Но если случалось, что Софья Васильевна принимала участие в общественной жизни, довольно было незначительной дружеской предупредительности, и она вспыхивала, и каким огнем! Все тогда загоралось вокруг нее! Мысли рвались наружу скорее, чем слова могли их выразить, а между тем слова лились с необычайною легкостью, хотя и на чужом языке! Положительный, пылкий, не громкий голос и выразительные движения замечательно маленьких тонких рук, на которых при малейшем возбуждении надувались жилы и пульс заметно бился, придавали ее словам особое значение [2].

При виде этой маленькой тоненькой фигурки, от близорукости несколько стеснявшейся в большом обществе, с блестящими глазами, между которыми напряженная работа мысли образовала глубокую, как шрам, складку, все ждали интересного разговора. Без малейшего желания учить или первенствовать она делалась всегда центром, вокруг которого собирались заинтересованные слушатели. Своей безыскусственною простотою и сердечностью она делала людей общительными; умела слушать, хотя это ей редко приходилось, охотнее слушала, как она сама говорила, а еще более рассказывала. Ее верное литературное чутье умело подметить в лице, положении, происшествии все выдающееся и замечательное и со свойственными ей силою и искусством оживить виденное небольшим художественным описанием, которое так нас восхищает у ее соотечественников и в ее собственном литературном языке [3].

Приходя в ее маленькую рабочую комнату, нужно было прежде всего очистить себе место, до того комната была заполнена книгами и рукописями, покрытыми разными математическими формулами или мелкими русскими буквами; иногда на каждом шагу попадались рисунки, сделанные карандашом, указывавшие на неразвитой, но несомненный талант. Софья Васильевна встречала так сердечно, что легко было поддаться убеждению, что не мешаешь, и доставить себе удовольствие в течение часа перенестись в будущее столетие или сделать экскурсию в культурные центры Европы. Здесь, в этих четырех стенах, она давала волю своей фантазии, высказывала свое умение все испытать, все видеть и везде взять лучшее. Здесь вы находили истинную свободомыслящую.

В прошлом году, на празднике в честь Стриндберга, кто-то выразил удивление, что госпожа Ковалевская присутствует на празднике: назначение ее профессором в Стокгольмский университет дало Стриндбергу повод к многочисленным, несправедливым нападкам на женщин. Она ответила: «Именно потому что односторонний Стриндберг так несправедливо нападал на меня, я счастлива, что могу выразить свое удивление гениальному Стриндбергу. Мы, женщины, должны учиться у мужчин, а не допускать человеческим слабостям или ошибкам затемнять истинные заслуги» [1].

Она была выдающимся преподавателем; соображалась с индивидуальностью слушателей и таким образом вызывала их способности. Одна молодая девушка из ее учениц после ее смерти написала знаменательные слова: она всегда чувствовала, что госпожа Ковалевская видит ее насквозь, будто стеклянную, но в то же время ей покойно под этим ласковым, уверенным взглядом.

Заученного кокетства в ней не было и следа. Выражавшие удовольствие, что не находят в ней «обычной сухости» математика, давно уже сделавшейся ходячей фразой, получали оживленный ответ: «Настоящая математика — наименее сухая из всех наук; она открывает обширное поле созидающей фантазии и спекулятивным воззрениям; сухость предмета зависит, так сказать, от ветвей, по которым по мировому дереву восходят и спускаются».

Счастливые обстоятельства также способствовали сохранению непосредственной свежести и многостороннего опыта, заметных в обращении Софьи Васильевны. Она много путешествовала, знала пол-Европы, была коротко знакома с величайшими писателями своего времени Тургеневым, Достоевским; была дружна с Джорж Эллиот *; она видела в Джорж Эллиот литературную величину, несравнимую с другими женщинами. Близкое знакомство с литературными знаменитостями соединялось с основательным знанием литературы разных народов. Она читала все выдающееся в старой и новой изящной литературе своего отечества, Германии, Англии и Франции. Новейшую скандинавскую литературу она лучше знала, чем многие шведы.

Понятно, она переутомляла себя. Случалось, что она спала не более четырех или пяти часов в сутки и редко заботилась о

---

* Она собиралась дать много из этой части своего громадного опыта, но не успела. Ее очерки о Джордж Эллиот и Салтыкове (помещенные в стокгольмском «Dagblad») свидетельствуют, что она много могла бы сообщить об умственной жизни своего времени.

своем здоровье. Ее нежный организм выдерживал такое напряжение и сохранял свою свежесть благодаря здоровым привычкам. Она любила ванны, физические упражнения; была весьма умеренна в пище и питье; избегала всяких возбуждающих средств. Даже непременный спутник русских — папироса — редко ею употреблялась; благодаря такой жизни у нее редко расстраивались нервы при самом напряженном труде.

«Нервничание» было ей так же противно, как и мужские привычки. Ее волосы были обрезаны после болезни, на ранних портретах она снята с короткими волосами; она гордилась, когда волосы отросли, и ей удалось уложить темную косу красивым узлом. Она радовалась, если ей удавалось что-нибудь вроде красивой женской работы или изящного туалета, она знала, что не имеет особенной способности к специально «женскому». Но зато в практической области была неисправима и беспечна, как ребенок или художник, но живо интересовалась обыденными мелочами, если они касались ее друзей. Признательная за малейшую помощь или приязнь, охотно следовала всякому доброму совету, охотно, насколько умела, исполняла все мелкие житейские требования, но бывала довольна, если ее от них избавляли. Особенно это относилось к писанию писем, к которым она чувствовала неприязнь, часто встречающуюся у людей, умеющих говорить живо.

Наличие крупных и мелких требований увеличивало трудности жизни, и последнее время перед ее смертью больше, чем когда-либо. Она стремилась заняться большим математическим трудом и колебалась между желанием приняться скорее за него и желанием закончить некоторые из своих многочисленных литературных работ. Она кончила большую повесть (из которой «Nordisk Tidning» напечатал главу), у нее начата была другая подобная же, героем в которой был Чернышевский. Она собралась продолжать свои мемуары, и самый интересный эпизод их должно было составить пребывание ее и сестры ее в Парижской Коммуне 1871 г.

У нее были составлены планы для двух романов, один «Vae victis» (вступление к которому было напечатано в «Norna» в прошлом году) [1], и другой на сюжет из Ривьеры [2]. Было еще несколько набросков о Франции для сборника, частью о всемирной выставке 1889 г., частью другого содержания; из них два («Амур на ярмарке» и «Собаки») очень ее занимали. Наконец, она оставила наброски, которые богатством фантазии и психологическою гениальностью должны были превзойти все ее другие работы: драма, которую давали в Дании («Перед смертью и пос-

ле смерти»), переделана ею и Анной-Шарлоттой Леффлер из пьесы, написанной два года тому назад Анной Васильевной Жаклар [1].

Между сестрами всегда существовали самые задушевные отношения, и старания Софьи Васильевны провести на сцену пьесы m-me Жаклар — одно из многих выражений этой преданности.

Смерть прервала эту жизнь в самый разгар кипучей деятельности, и тем поразительнее смерть, что жизненность была так присуща Софье Васильевне.

Последние годы мысль о смерти ее не покидала, она знала, что страдает болезнью сердца.

Рождество она провела в южной Франции, где в небольшой русской «колонии» чувствовала себя в своем отечестве, что ей между прочим нужно было как писательнице и где умные и симпатичные соотечественники поощряли и поддерживали ее.

Никто не предвидел, что болезнь, воспаление легких, примет такой серьезный оборот; в течение двух следующих суток стеснение в груди увеличилось, должно быть, вследствие скопления гноя в легких. Будь ее сердце здорово, исход можно было бы оттянуть, но спасение, как показало вскрытие, было невозможно. Она предчувствовала, что может не пережить своей болезни, с беспокойством следила за дурными и с удовольствием за хорошими симптомами, но все время была тиха и покойна. Нетребовательная и благодарная за приязнь, какой была в жизни, такой была и на смертном одре,— невыразимая, терпеливая кротость и заботливость об окружающих. Смерть подкрадывалась незаметно для доктора, близких и для самой больной. Она умерла внезапно во вторник утром от паралича сердца, как следствия воспаления легких; последние часы больная была без сознания, и смерть незаметно перенесла ее в то «великое неизвестное», которое так часто занимало ее мысли; на бледном лице уснувшей осталось выражение величия и покоя.

Печальная честь для нашей страны, что замечательная дочь России под нашими соснами нашла покой, который ей всегда казался выше всех даров жизни.

Те, кто по ней горюет, вспомнят, что она всегда так желала умереть — быстро и в цвете жизни и силы. Они вспомнят, что при ее громадной жизненности ее ждали новые столкновения. Они должны были возникнуть из неравных требований науки и литературы, из трудности удовлетворить обе стороны. В то же время у нее подрастала дочь. Софье Васильевне тяжела становилась жизнь в чужой стране, когда писательские стремления тянули ее в отечество.

МАРИЯ ЛЕККЕ

ПРОФЕССОР С. КОВАЛЕВСКАЯ[1]

Стокгольмская Высшая школа в это время была еще молодым учреждением, находилась под постоянным обстрелом критики, была предметом частых обсуждений в прессе. Первое воспоминание о дебатах относительно предполагавшегося назначения Ковалевской связано у меня каким-то образом с представлением о некоей царской особе, которая должна появиться облеченной в горностаевую мантию с короной на голове. Вероятно, это было следствием слышанных мной разговоров, что должна появиться «королева математики», как с иронией, совершенно от меня ускользнувшей, называли будущего профессора в кругах, близких к Высшей школе.

Не было ли в этом случае некоторой боязни конкурента, или, быть может, сказывался антифеминизм; во всяком случае ожидали ее с долей недоброжелательства. Передам вкратце содержание слухов, распространявшихся в университетских кругах.

Профессор Миттаг-Леффлер добился приглашения Ковалевской в Стокгольм для прочтения серии лекций без вознаграждения, так как в таковом она не нуждалась. Но устроенная им для своего друга и протеже предварительная шумиха была так безудержна, что достигала эффекта, противоположного тому, которого он добивался. В стокгольмских газетах появилась коротенькая заметка о том, что некую русскую ожидают здесь в качестве приват-доцента при Высшей школе. Леффлер сейчас же разослал объявление, что дама, о которой идет речь, будет читать лишь для избранных и притом один из наиболее трудных отделов высшей математики.

Женщина и труднейшие части математики — профессорам казалось это странным.

Забили тревогу и жены профессоров. Леффлер, который непрерывно воскурял ожидаемой гостье фимиам, или, как выразился один из воздержавшихся пока от всяких суждений мужчин, окружил ее целым облаком хвастовства, сообщил, что Ковалевская путешествует с компаньонкой и камерфрау. Профессорши всполошились: как им принимать такую знатную даму в своих простеньких квартирах. Особенное же негодование вызвало утверждение Леффлера, что Ковалевская, благодаря своему положению, может не делать им визитов, а лишь отдавать таковые.

Здесь уже за дам вступились их естественные покровители, объявившие, что если Ковалевская не хочет подчиниться обычаям страны и сама сначала побывать у дам, то те к ней тоже с поклоном не пойдут.

В начале учебного 1883 года ожидаемая с таким напряжением ученая незнакомка появилась в Стокгольме. Свое знакомство с обществом она совершила на вечере у Леффлеров, где присутствовали, кроме профессоров Высшей школы с их женами, еще профессора Гюльден, Норденшильд и Линдав Хагебю, а также писательница Анна-Шарлотта Эдгрен-Леффлер и многие другие.

До прибытия Ковалевской хозяин, нервничая, обходил гостей и просил присутствующих быть как можно приветливее с почетной гостьей. После пиршества он, говорят, пробрал одну молодую профессоршу, которая по застенчивости не решалась подойти к предмету торжества. Он уверял, что Ковалевскую пришлось долго ожидать не от того, что она была горда.

Наконец, двери растворились и вошла небольшая оживленная дама в платье из мягкой белой фланели. Она мила, естественна и приятна, такое сложилось у всех суждение, не очень красива, но полна прелести.

Когда затем стало известно, что компаньонка — миф и что камерфрау также осталась в России и что сама ее величество поселилось у двух старых дам, наняв у них одну комнату, лед был окончательно сломлен и равновесие восстановилось. Ковалевская победила тех, кто вначале относился к ней с подозрением, не благодаря фимиаму Леффлера, а своей естественностью и своей высокой интеллигентностью, свободной от всякой кичливости.

Ожидаемая с таким недоверием женщина-математик скоро стала гордостью Высшей школы. Французская Академия присудила ей премию в 5000 франков за работу, написанную на конкурс «о существенном дополнении к теории движения твердого тела». Прибыв в Париж для получения награды, она стала пред-

метом живейших оваций, и президент Академии подчеркнул в своей приветственной речи, что это в первый раз женщина получает высшую награду в математических науках.

Лично мне вспоминается, точно сказочное видение из этого далекого времени, как мой отец в наемном экипаже сопровождает Ковалевскую на придворный бал. Она казалась мне блестящей красавицей с своей темной головкой в локонах, своими близорукими, почти неестественно большими глазами, которые то сверкали, то слегка косили, в своем голубом платье из тафты с воланами, в туфельках того же цвета, как платье.

Когда я приходила после школы на каток, то иногда наблюдала там, как профессор Леффлер катался на коньках вместе с профессором Софьей Васильевной Ковалевской, которую он всюду сопровождал как верный рыцарь. Они напоминали мне одну пару, о которой я читала в каком-то русском романе: его богатая шевелюра выбивалась из-под большой меховой шапки, а она со своими локонами походила на Анну Каренину; на ней была широкая юбка с меховой опушкой и фалдистый жакет, обрамленный тем же мехом. Про них рассказывали, что, ведя все время между собой математические разговоры, они и коньками выписывали математические формулы, но верность этого мне никогда не удалось подсмотреть.

А.-Ш. ЛЕФФЛЕР-ЭДГРЕН

ВОСПОМИНАНИЯ О СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ [1]

Как только я получила известие о неожиданной и внезапной смерти Софьи Ковалевской [2], во мне зародилась мысль о предстоящей мне задаче — продолжать в той или иной форме ее воспоминания детства. Я считала это своею обязанностью по многим причинам, но прежде всего и главным образом потому, что, предвидя свою раннюю смерть, она всегда уверяла, что я переживу ее, и много раз брала с меня слово написать ее биографию.

Благодаря сильно развитой у нее наклонности к самоанализу и самонаблюдению, она любила давать себе отчет в каждой своей мысли, в каждом своем поступке и чувстве; а в течение тех трех-четырех лет, которые мы прожили вместе, почти ежедневно видаясь друг с другом, она любила давать этот отчет и мне, стараясь всегда привести в известную психологическую систему все различные изменения в своем настроении.

Это стремление доводить все свои ощущения под известные рамки принимало у нее нередко такие обширные размеры, что она под влиянием его невольно видоизменяла действительность. Несмотря на всю резкость ее самоанализа, не щадившего ничего на своем пути, она иногда невольно поддавалась естественному стремлению идеализировать себя, видеть себя такою, какою она желала быть. Иногда, напротив, то понятие, какое она во многих отдельных случаях давала о себе, очень разнилось от того, как ее понимали окружающие. Вообще она часто относилась к себе то гораздо мягче, то гораздо строже, чем следовало.

Если бы ей удалось выполнить свое желание — довести до конца свои воспоминания и написать историю всей своей жизни, она наверное изобразила бы себя в них именно такою, какою

рисовала себя, когда вела со мной длинные и многократные разговоры психологического характера.

Так как, к сожалению, сама она лично не имела возможности докончить свои воспоминания, которые, несомненно, представили бы собою одну из самых замечательных автобиографий в европейской литературе, и так как мне выпала на долю обязанность хотя бы в слабых и лишь внешних чертах написать эту биографию, которой она сумела бы придать совершенно самобытное значение по глубокой силе анализа, то я сразу инстинктивно решила, что для выполнения предстоящей мне задачи у меня имеется один только путь: работать, так сказать, под ее непосредственным внушением [1], стараться вновь сливаться жизнью с нею, как я делала это когда-то при ее жизни, сделаться в т о р ы м я, как она меня часто называла, и представлять ее себе по возможности такою, какою она сама рисовала мне себя.

Профессор Вейерштрасс, как он мне сам рассказывал впоследствии, при первом свидании с Софьею, не заметил ни ее молодости, ни того обыкновенно умного и как бы одухотворенного выражения лица, которое с первого взгляда располагало всех в ее пользу. Через неделю она опять пришла к нему и заявила, что уже решила все задачи. Он не поверил ей, но пригласил сесть рядом с ним и начал по пунктам проверять все решения. К его великому удивлению оказалось, что не только все задачи верно решены, но и необыкновенно хорошо и точно обоснованы.

Софья всегда стеснялась неестественностью своих отношений к мужу и один из гейдельбергских профессоров рассказывал, что, когда он однажды встретился у нее с Ковалевским, она представила его под именем своего родственника.

Кроме изнурительной работы, много было и других причин, которые придавали мрачный колорит ее занятиям в Берлине. Больше всего ее тяготили отношения ее к мужу, ложность их взаимного положения, и это тягостное чувство еще более усиливалось, благодаря вмешательству родителей, которые догадались о действительном положении дел между супругами. Они постоянно упрекали Софью за ее поведение относительно мужа и старались устроить между ними сближение, чему она всякий раз упорно сопротивлялась.

Между тем в действительности ее изолированное положение сильно тяготило ее. В ней уже тогда начала проявляться та жажда жизни, которая впоследствии положительно пожирала ее; она в душе не была нисколько похожа на синий чулок, каким она могла показаться тем, кто судил о ней по ее образу жизни; но ее застенчивость, непрактичность, сознание ложности в своих

личных отношениях, боязнь скомпрометировать себя при своем одиноком положении, все это вместе заставляло ее вести ту вполне изолированную жизнь, в которой она впоследствии так горячо раскаивалась, вспоминая о своей молодости.

Благодаря непрактичности обеих подруг [1], материальная обстановка их жизни была самая непривлекательная. Они умудрялись всегда выбирать невозможные квартиры, окружать себя самою дурною прислугою, даже питаться нехорошею пищею. Однажды они попали в руки целой шайки воров, которая систематически грабила их через посредство горничной.

Софья отличалась необыкновенным равнодушием к материальным случайностям жизни, едва замечала, хороша или дурна та пища, которую ей приходилось есть, и вообще так легко относилась к мелким житейским неудачам, что фрейлейн Вейерштрасс рассказывала о ней следующий анекдот: как только она узнала о совершившейся у нее покраже, она прибежала к ним в сильнейшем волнении, чуть не плача от страха. Но не прошло и получаса, как она до такой степени увлеклась интересным разговором, что совершенно забыла о приключившемся с нею несчастье.

Собравшаяся в Палибине семья [2] мало походила на ту, которую сама Софья описывала в своих воспоминаниях детства! Вместо двух молодых девушек, ходивших здесь в былое время и мечтавших об обширном божьем мире, с которым они были совершенно незнакомы, жили теперь под одною и тою же кровлею две уже совсем развитые женщины, испытавшие жизнь, каждая на свой лад. И то, что они пережили, было, конечно, совершенно не похоже на то, о чем они в юности мечтали, но тем не менее жизнь их была достаточно богата содержанием, чтобы дать повод к долгим неумолкаемым беседам в длинные зимние вечера, в обширной гостиной с старинною мебелью, обитою красным дама̀, между тем как самовар кипел на столе, а в засыпанном снегом парке уныло завывали голодные волки. Свет казался им теперь далеко не таким таинственным, каким представлялся прежде, потому что они уже сталкивались с ним и успели разглядеть его.

Анна за это время испытала так много, пережила столько бурных треволнений, что жажда сильных ощущений, томившая ее в юности, была вполне удовлетворена. Она была страстно влюблена в своего мужа, который сидел там рядом с нею в большом красном кресле с усталым и несколько сатирическим выражением лица; она была так страстно и ревниво влюблена в него, что жизнь и без того готовила ей достаточно волнений, чтобы желать чего-нибудь большего в этом роде.

Младшая сестра, напротив того, жила до сих пор исключительно головою, но и ее жажда знания была настолько сильно удовлетворена, что и она чувствовала глубокое переутомление и была совершенно не в силах предаваться каким бы то ни было умственным занятиям. Она все время или читала романы, или играла в карты, или принимала деятельное участие в жизни своих соседей, мало богатой умственными интересами.

Что доставляло Софье наибольшее удовольствие в это время, это перемена, происшедшая в ее отце. Он, подобно Софье, принадлежал к тем людям, которые не перестают итти вперед и развиваться в умственном отношении и изменять сообразно с этим свой характер. Наклонность к деспотизму, составлявшая всегда самую выдающуюся черту его характера, сильно смягчилась под влиянием тяжелых испытаний, которые ему пришлось перенести по милости своих дочерей. Он понял, что никто не имеет права присваивать себе власти над мыслями и чувствами других, даже если эти другие его дети,— чем он так сильно злоупотреблял в былое время. Поэтому он теперь с не свойственною для него терпимостью выслушивал радикальные речи своей дочери-коммунарки, клонившиеся к разрушению всего существующего порядка общества, равно как и материалистические взгляды своей другой дочери — математика.

Это воспоминание принадлежит к числу самых приятных воспоминаний Софьи об ее отце; оно тем сильнее запечатлелось в ее душе, что это была последняя зима его. Разрыв сердца положил внезапно конец его жизни [1].

Неожиданное горе глубоко поразило Софью. Она так тесно сошлась с отцом за последнее время. С его смертью она почувствовала себя страшно одинокою. У Анны был муж, на груди которого она могла выплакать свое горе, но Софья оттолкнула от себя того человека, который мог служить ей истинною опорою и утешением в ее грустном положении. Теперь она как бы сразу прозрела и поняла всю неестественность своих отношений к мужу и все причиняемое этим горе; ее жажда нежности и привязанности взяла перевес над всеми другими чувствами и сомнениями, и среди тиши и уединения родного дома, погруженного в печаль, она сделалась истинною женою своего мужа.

На следующую зиму вся семья переехала в Петербург. Софья сделалась сразу средоточием одного из тех интеллигентных, избранных кружков, горячо преданных умственным интересам, которые составляют особенность русской столицы и редко встречаются в каком-либо другом месте Европы. Тот факт, что истинно просвещенные и свободомыслящие русские превосходят

всех других европейцев многосторонностью, отсутствием предрассудков и широтой взглядов, приводится мною не на основании примера одной только Софьи: это признают все, побывавшие в этих кружках. Они стоят в ряду передовых людей остальной Европы, отличаются необыкновенною способностью схватывать на лету новые идеи, как только они появляются на горизонте, и с почти неслыханною живостью мысли соединяют такой энтузиазм, такую веру в свои идеалы, каких мы не встречали ни у одной из других европейских наций.

В один кружок такого именно рода и попала Софья, сразу завоевавшая себе общее расположение и поклонение. Она находилась в это время в полном расцвете молодости и на нее, после того как она прожила пять лет погруженною исключительно в научные занятия, не зная никаких развлечений, такая радикальная перемена в жизни и обстановке действовала ошеломляющим образом. Ею овладела внезапно страстная жажда наслаждения, все ее блестящие качества выказались в полной силе, и она, очертя голову, бросилась в шумный водоворот светской жизни, с его празднествами, театрами, приемами, публичными лекциями, катаниями на санях и тому подобными удовольствиями.

Так как в том кружке, среди которого она вращалась, преобладали не столько научные, сколько литературные интересы, то она, увлекаясь своею всегдашнею потребностью в умственной симпатии со стороны окружающих ее лиц, также вступила в ряды литераторов. Она писала передовые статьи, стихи, театральные рецензии, не подписывая их своею фамилиею, и даже напечатала целый роман под заглавием «Приват-доцент», эскиз из университетской жизни маленького немецкого городка, встретивший самый благоприятный прием со стороны критики [1].

В особенности теперь, после смерти Софьи, восстает, как живое, во всех мельчайших подробностях, воспоминание о моей первой встрече с нею. Она приехала в Стокгольм пароходом из Финляндии и остановилась в качестве гостьи у моего брата профессора Миттаг-Леффлера. На следующее же утро я отправилась повидаться с нею.

Когда я вошла, Софья стояла в библиотеке у окна и перелистывала какую-то книгу. Прежде чем она успела подойти, мне бросились в глаза ее серьезный, резко обрисованный профиль, густые каштановые волосы, небрежными волнами обрамлявшие ее лицо, тонкая, стройная фигура, отличавшаяся какою-то особенною гибкостью и изяществом, но казавшаяся слишком маленькою сравнительно с большою головою, поражавшею своими монументальными размерами. У нее был большой рот, с полны-

ми, извилистыми свежими губами, очень выразительными, и необыкновенно маленькие, точно детские руки, белые и нежные, с резко выступавшими синими жилками.

Заметив меня, она быстро обернулась и пошла мне навстречу с протянутою рукою. Меня поразил при этом необыкновенный блеск ее глаз. Но в ее обращении заметны были при этом некоторая робость и смущение, какая-то сдержанность, и первый разговор наш вертелся все время вокруг неприятности, приключившейся с нею дорогою: она простудилась на пароходе и схватила сильную зубную боль.

В то время я была занята обдумыванием плана новой драмы «Hur man gar godf» *; ни одной строчки этой драмы не было еще написано, задуманы были только некоторые ее части. Но так велико было уменье Софьи возбуждать умственную деятельность в своих собеседниках, что прежде чем мы успели дойти до квартиры зубного врача, я рассказала ей всю драму с начала до конца, рассказала ей гораздо больше того, чем сколько сама знала до начала нашей прогулки. Это положило основание сильному влиянию, которое она с тех пор оказывала всегда на меня, на все, что я писала и чем занималась.

Ее способность схватывать и понимать мысли других и симпатизировать им была так необыкновенно велика, одобрение ее, когда она что-нибудь хвалила, так горячо, проникнуто пылким энтузиазмом, ее критические замечания, когда ей что-нибудь не нравилось, так метки и верны, что при восприимчивости моей натуры я быстро подпала под ее влияние и не могла ничего писать без ее одобрения. Если то, что я писала, не нравилось ей, я изменяла и изменяла до тех пор, пока оно не заслуживало ее сочувствия [1]; это было как бы зародышем нашей последующей совместной авторской деятельности.

Она не раз уверяла, что я никогда не написала бы драму «Sanna Kvinor» **, если бы она [драма] не появилась еще до ее приезда в Швецию, потому что эта драма вместе с повестью «В борьбе с обществом» были единственные из моих работ, не нравившиеся ей, причем «Sanna Kvinor» возбудила ее антипатию по очень характеристичной для нее причине. Ей ужасно не нравилась борьба, в которую Берта вступает, чтобы сохранить для матери остатки своего состояния. Женщина, отдавшаяся любимому человеку, говорила она, никогда не задумается пожертвовать для него и всем своим состоянием, до последнего гроша.

* «Как делают добро».
** «Настоящая женщина».

Подобного рода критические приемы вытекали, естественно, из ее характера; она была чрезвычайно субъективна в своих суждениях о литературных произведениях. Если одушевлявшие автора мысли и чувства соответствовали ее собственным, она всегда была готова признать за самым посредственным сочинением большие достоинства. Напротив того, если взгляды автора расходились с ее взглядами, она уверяла, что данная книга ничего не стоит.

Несмотря на это свое предубеждение, она высказывала всегда такие свободные взгляды на жизнь, как редко кто из ее наиболее выдающихся современников. В ней не было и следа обыкновенных предрассудков и условных мнений. Ее громадные способности и обширные сведения во всех областях знания заставили ее возвышаться над ограничениями, которые налагаются традиционными мнениями на большинство людей. Для нее ограничение заключалось в ней самой, в ее собственном глубоко индивидуальном характере, в ее столь сильно выраженных антипатиях и симпатиях, которые проявлялись иногда наперекор всякой логике и всяким убеждениям.

В эту первую встречу нам недолго пришлось жить вместе, и особенно дружеские отношения не успели развиться между нами, потому что я месяца через два после ее приезда отправилась в продолжительное путешествие за границу. В мое отсутствие она настолько хорошо изучила шведский язык, что прочитала все мои сочинения.

Вскоре по приезде она начала брать уроки шведского языка, и первые недели ничего другого не делала, как только упражнялась на этом языке с утра до вечера. Брат мой сообщил ей о своем намерении созвать к себе на вечер местных ученых, чтобы познакомить ее с ними. На это она ему ответила: «Подождите недели две, пока я не научусь говорить по-шведски».

Это заявление показалось нам довольно смелым, но она сдержала слово. Через две недели она выучилась с грехом пополам выражаться по-шведски, а через два месяца познакомилась со всей нашей современной беллетристикою и с наслаждением читала саги Фритьофа [1].

Она никогда не стеснялась в выборе слов из богатого запаса их, которым обладала, и считала мелочностью долго задумываться над отысканием правильного выражения. Она говорила всегда очень быстро, всегда умела выразить то, что желала, и придать своему разговору отпечаток своей индивидуальности. Оригинально было то, что, когда она уставала или находилась в дурном расположении духа, она почти не могла найти слов,

между тем как, будучи в хорошем расположении духа, она выражалась всегда необыкновенно легко и красиво. Язык подчинялся ее личному настроению, как и вообще все ее способности.

Когда она вернулась в последнюю осень из Италии после нескольких недель пребывания в ней, в полном восторге от этой страны, то оказалось, что она научилась говорить там по-итальянски, так что могла довольно свободно выражаться на этом языке.

Она часто жаловалась на невозможность говорить по-русски с своими близкими друзьями в Швеции.

— Я не могу,— говорила она,— передать вам по-шведски самых тонких оттенков моих мыслей; я принуждена всегда или довольствоваться первым попавшимся мне на ум словом, или говорить обиняками, и поэтому всякий раз, когда возвращаюсь в Россию, мне кажется, что я вернулась из тюрьмы, где держали связанными взаперти мои лучшие мысли. О, вы не можете представить себе, какое это мучение быть принужденным всегда говорить на чужом мне языке с своими близкими! Это все равно, как если бы вас заставили ходить целый день с маскою на лице.

Не один только экономический вопрос затруднял доставление ей официального положения [1]. Главная суть дела заключалась в том, чтобы одержать верх над консервативным сопротивлением, подымавшимся естественно со всех сторон против назначения женщины на должность профессора университета, чему не было примера ни в одном из существующих европейских университетов. Наконец, 1 июля 1884 г. Миттаг-Леффлер был обрадован возможностью телеграфировать Софье, находившейся в то время в Берлине, что ее назначение профессором в Стокгольмский университет уже состоялось.

Приехавши к ней после моего возвращения, я была поражена, увидев, насколько она помолодела и похорошела. Сначала я подумала, что все это происходит благодаря тому, что она сняла черное траурное платье; черный цвет ей ужасно не шел, и она сама терпеть не могла ходить в черном. Напротив того, светлоголубое платье, в котором я ее застала, замечательно шло к ней; цвет лица ее казался нежнее, а густые, темнокаштановые волосы красивыми локонами обрамляли ее голову.

Но перемена была не в одной только наружности. Я заметила, что грусть, составлявшая обычное выражение ее лица во время первого приезда в Швецию, уступила место блестящей веселости,— другой стороне ее существа, с которою мне при-

шлось познакомиться только теперь. В такие периоды своей жизни она отличалась поразительным остроумием; полусаркастические, полудобродушные выходки градом сыпались вокруг нее, самые смелые парадоксы сменяли один другой с изумительною быстротою, и тот, кто не отличался особенною живостью в ответах, лучше делал, если молчал в таких случаях, потому что она не давала своим собеседникам много времени на возражения.

Ее возбужденное настроение продолжалось в течение всей осени. Она принимала большое участие в жизни общества и представляла всегда центр, вокруг которого оно группировалось. Саркастическая черта, присущая ее характеру, и глубокое презрение, которое она в действительности питала ко всякой умственной посредственности,— она была «умственным аристократом» и большою поклонницею ума — скрывались у нее благодаря прирожденному, как романистке, глубокому сочувствию ко всем жизненным столкновениям, ко всякой жизненной борьбе, даже к самым незначительным. Вследствие этого она всегда с живейшим интересом относилась ко всему, что происходило в кружке ее приятелей, выслушивала с участием рассказы дам о своих хозяйственных заботах, разговоры молодых девушек о нарядах и тому подобные беседы, которые велись в ее присутствии. Поэтому многие говорили о ней: она так проста и скромна, словно школьница, и нисколько не считает себя выше других женщин.

Но, как я уже говорила, это было совершенно неверно; откровенность и любезность, которые она выказывала в своем обращении и которые делали ее такою доступною для всех, были только кажущиеся. На самом деле она отличалась чрезвычайно замкнутым характером, и мало было людей, которых она считала себе равными. Только гибкость, присущая ее характеру и ее уму, желание нравиться всем, равно как и чисто психологический, свойственный писательнице интерес ко всем проявлениям человеческой природы, обусловливали то в высшей степени симпатичное обращение ее со всеми окружающими, которое привлекло к ней все сердца. Она лишь в редких случаях давала чувствовать саркастическое направление своего ума тем, кого считала ниже себя в умственном отношении, зато вволю изливала свои сарказмы на голову тех, кого считала равными себе.

Между тем жизнь в Стокгольме вскоре надоела ей. Прошло лишь немного времени после приезда, и она уже говорила, что знает наперечет всех стокгольмских жителей и начинает

чувствовать потребность в новых умственных стимулах. В том-то и заключалось ее несчастье, что она никак не могла сродниться с жизнью в Стокгольме, не могла освоиться в Стокгольме, как и вообще нигде в целом свете, но нуждалась всегда в новых впечатлениях для своей умственной деятельности, постоянно требовала от жизни драматических событий и утонченных умственных наслаждений. Будничная жизнь с ее серыми сторонами была ей глубоко ненавистна; у нее была цыганская натура, как она сама часто говорила, и все, что подразумевается под словом «мещанские добродетели», было ей не только не симпатично, но просто отвратительно.

Среди массы катающихся на заливе и на королевской дороге около Скеппсгольмена можно было в следующие зимы видеть почти каждый день небольшого роста даму в плотно облегающей меховой кофточке, с близорукими глазами, и руками, спрятанными в муфту. Она осторожно, неуверенными шагами подвигалась вперед на коньках рядом с высоким господином в очках и высокою и тонкою дамою [1], которая также не отличалась особенною уверенностью в движениях. Скользя по льду колеблющимися шагами, они не переставали горячо о чем-то разговаривать, причем кавалер от времени до времени рисовал на льду какие-то математические фигуры — не коньками впрочем, потому что он не был для этого достаточно искусен, а палкою. Тогда маленькая дама останавливалась и внимательно рассматривала их.

Эти два конькобежца возвращались из Высшей школы и, вступив еще в школе в горячий спор по поводу только что прочитанной тем или другим лекции, продолжали его и во время всего пути. Но иногда маленькая дама начинала испускать испуганные крики и умолять своего кавалера не говорить о математике во время катанья на коньках, так как она теряет при этом равновесие.

В другой раз разговор велся в совершенно ином духе: маленькая и высокая дама обменивались своими психологическими наблюдениями и сообщали друг другу планы будущих своих драм и романов. Они спорили также и о том, кто из них наиболее искусен в благородном спорте, занимавшем их в данное время, и как ни были они всегда готовы во всех других отношениях признавать заслуги и достоинства друг друга, в этом одном они решительно отказывались замечать успехи, делаемые каждою из них.

Но тот, кто в эти зимы встречался в обществе с Ковалевской, мог вынести убеждение, что она отличается необыкновен-

ным искусством в катанье на коньках, так что могла бы даже брать призы в состязании с самыми искусными конькобежцами. Она с таким жаром и с таким интересом отзывалась всегда об этом спорте и так гордилась малейшим своим успехом в этом отношении, как никогда не гордилась своими научными работами, несмотря на всемирную известность, которую они ей доставили. Потому-то она никогда не была так довольна собою, как именно тогда, когда вопрос шел о недостижимой для нее вещи, т. е. о такой, к которой у нее не было решительно никаких способностей.

Вышеупомянутая маленькая дама в эти зимы с своею высокою спутницею показывалась также и в манеже, причем следует сказать вообще, что эти две особы были неразлучны и что где была одна, там можно было сейчас же найти и другую. Знаменитая Ковалевская возбуждала всеобщее внимание своим появлением в манеже, но ни одна двенадцатилетняя девочка не стала бы вести себя более детским образом, чем она, во время этих уроков верховой езды.

Страсть к спорту соединялась у нее с полным отсутствием требуемых для этого способностей. Едва садилась она на лошадь, как ее охватывал безумный страх; она теряла всякое самообладание и при малейшем неожиданном движении лошади начинала громко кричать. Каждый раз, являясь в манеж, она требовала, чтобы ей давали самую смирную и спокойную лошадь, и хотя желание это всегда приводилось в исполнение, но затем, в объяснение своей неудачной езды и своего испуга, она говорила всякий раз или что лошадь у нее закапризничала, или что она неожиданно споткнулась, или что ей дали невозможное седло.

Она никак не могла больше пяти минут ездить рысью; как только лошадь ее начинала бежать настоящим образом, она тотчас, задыхаясь от страха, кричала на своем ломаном шведском языке: «пожалуйста, г. штальмейстер, скажите моей лошади: стой!»

С мужскою энергиею и мужским умом и с замечательным в некоторых случаях упорством в характере она соединила и значительную долю женской беспомощности. Она всегда чувствовала потребность в опоре, в друге, который помогал бы ей выпутаться из затруднительных обстоятельств и облегчал бы ей жизнь. И она почти всегда и повсюду находила такого друга, а когда его не оказывалось, она чувствовала себя несчастною, беспомощною и смущенною, точно неопытное дитя.

Она не могла сама купить себе платья, не могла сама смо-

треть за своими вещами, не могла сама найти дороги в городе; проживши столько времени в Стокгольме, она умела находить те только улицы, которые вели в Высшую школу и к ее ближайшим друзьям; не могла сама заботиться ни о своих делах, ни о своем домашнем хозяйстве, ни о своей дочери, почему должна была постоянно оставлять ее на чужих руках; одним словом, она была до такой степени непрактична, что все мелкие заботы жизни казались ей невыносимыми.

На каждой станции железной дороги, на которой ей приходилось останавливаться, стоял всегда кто-нибудь, чтобы встретить ее, приготовить ей комнату, руководить ею, служить ей. И она с такою радостью принимала такого рода услуги, была так счастлива возможностью опереться на другого, стать под его защиту, что иногда ей случалось даже преувеличивать свою беспомощность. Но при всем этом едва ли можно было встретить другую женщину, которая в состоянии была бы меньше нее выносить зависимые к другому отношения.

В следующую зиму элемент чувств начал вновь играть выдающуюся роль в личной жизни Софьи. Она уже не говорила, что каждый человек в отдельности представляет только половину, что в жизни может быть только о д н а л ю б о в ь, которая должна оказать решающее влияние на всю дальнейшую судьбу человека. Теперь она мечтала о таком союзе между двумя людьми, который представлял бы союз двух умов, взаимно поддерживающих друг друга и могущих приносить действительно зрелые плоды только при условии совместной работы. Совместная работа при любовном союзе между мужчиною и женщиною сделалась для нее идеалом жизни, и она только и мечтала о том, как бы встретить человека, который мог бы сделаться ее вторым *я* в этом именно смысле. Убеждение, что она никогда не может встретить его в Швеции, способствовало возникновению у нее нелюбви к этой стране, куда она приехала с такими пылкими надеждами и такими блестящими ожиданиями.

Ей удавалось всегда придумать множество примеров, доказывавших, какое сильное мучение представляет почти для всех глубоких натур чувство одиночества и как ужасно тяготит оно, точно проклятие, тех людей, которые всю жизнь мечтали, как о высшем счастье, о слиянии душою и сердцем с другим лицом, и никогда не достигали этого счастья.

Мне особенно живо представляется весна 1886 г. Весна была всегда тяжелым временем для Софьи: царствующее в природе брожение, рост всего существующего, которые она сама так

мастерски описала сначала в «Vae victis», а потом в «Вере Воронцовой», производили на нее всегда глубокое впечатление, делали ее нервною, беспокойною, нетерпеливою, полною горячих стремлений к другой жизни, не похожей на ту, которую ей приходилось вести. В особенности сильно действовали на ее нервы светлые северные ночи, которые я, напротив того, любила.

— Это вечное солнечное сияние,— говорила она,— как бы дает массу обещаний, но ни одного из них не выполняет: земля остается такою же холодною, как и была, развитие идет назад так же успешно, как и вперед, и лето мерещится где-то вдали, точно мираж, которого никогда не удастся достигнуть.

Тотчас по окончании семестра она выехала из Стокгольма «по прекрасной, короткой и спокойной дороге» [1], ведущей из Мальме в Париж.

Она осталась в Париже и поехала в Христианию в последний день заседаний съезда естествоиспытателей [2]. Я уже давно привыкла к резким переменам в ее настроении, но на этот раз контраст между ее теперешними взглядами на жизнь и теми, которые она высказывала в прошлом году и в особенности в последнюю весну в Стокгольме, был просто поразителен. Она провела несколько недель в Париже в обществе Пуанкаре и других математиков, и в разговоре с ними ей впервые пришла в голову мысль о работе, возвысившей в такой сильной степени ее репутацию и доставившей ей высшую награду парижской Академии наук. И теперь, по ее мнению, не было ничего на свете выше науки, для нее только и стоило жить; все другое — личное счастье, любовь, восхищение природою, мир фантазий, все это пустяки; искание научной жизни составляло само по себе высшую и самую прекрасную цель жизни, а обмен мыслей с людьми, равными ей в умственном отношении, преследующими одинаковые цели,— высшее из всех наслаждений.

Радость творчества вновь овладела ею, начался опять блестящий период в ее жизни, когда она отличалась особенно красотою и остроумием и блистала жизненною радостью.

Она прибыла в Христианию ночью после трех дней морского путешествия из Гавра. Во время переезда она сильно страдала от морской болезни, которая, не переставая, мучила ее. Но когда она была в хорошем расположении духа, усталости для нее не существовало, и после немногих часов сна она на другое же утро приняла участие в загородной поездке и в празднестве, которое длилось далеко за полночь.

Много тостов было произнесено в этот день в честь ее, и

все самые выдающиеся лица толпились вокруг нее, и она, как всегда в этих случаях, была так любезна, приветлива, скромна и беспритязательна, что очень понравилась всем. Затем мы отправились с нею путешествовать на несколько дней, проехали через Телемаркен и посетили высшую народную школу, которою Софья сильно заинтересовалась и к которой отнеслась с самою горячею симпатиею. Это посещение дало первый толчок для статьи о высших народных школах в Скандинавии, которую она затем написала для одного русского журнала.

Из Сильяна мы отправились пешком на горы. Это было первое восхождение Софьи на горы; она была очень смела, быстро и неутомимо взлезала на крутизны, любовалась красотою природы. Веселая, полная жизни и радости, она приходила в смущение только тогда, когда вблизи какой-нибудь сырни показывалась корова или когда нам приходилось переходить по куче камней, которые, выскальзывая из-под ног, с грохотом скатывались вниз. Тогда она испускала разного рода детские крики, сильно забавлявшие наше общество.

У нее было много любви и понимания природы в том смысле, что на ее воображение и чувство сильно действовали поэзия природы, красота данного ландшафта или данного освещения. Но так как она была чрезвычайно близорука и из женского кокетства не носила очков, чувствуя отвращение к этому традиционному внешнему признаку синего чулка, то от нее совершенно ускользали подробности ландшафта, и она никогда не могла разобрать, какое дерево стоит перед нею, какая трава растет у нее под ногами, как построены дома и т. д.

Если она, несмотря на это, в некоторых своих работах, как, например, в поименованных уже нами описаниях весны, передала с необыкновенною силою и яркостью колорита не только впечатление, производимое природою, так сказать, на ее душу, но и дала точное описание ее чисто материальной стороны, то это обусловливалось не столько ее личными наблюдениями, сколько ее обширными теоретическими познаниями. Она много потратила времени на изучение естественной истории, много помогала мужу при переводе «Жизни птиц» Брема, изучала совместно с ним палеонтологию и много вращалась в обществе самых выдающихся естествоиспытателей своего времени.

Но ее нельзя было назвать тонким наблюдателем, когда вопрос шел об обыденных явлениях природы, потому что все детали от нее ускользали и потому у нее не было никакого точного определенного понятия о красоте. Самый бледный, обыкновенный ландшафт казался ей красивым, когда она была

в хорошем расположении духа и, наоборот, она проходила совершенно равнодушно мимо самых чудных видов, относилась невнимательно к самым красивым линиям и краскам, если была дурно настроена. То же можно сказать относительно ее суждений о внешности людей: у нее не было никакого точного понятия о чистоте линий и гармонии, о пропорциональности, о красках и других объективных определениях красоты. Тех людей, которые внушали ей симпатию или обладали нравившимися ей внешними свойствами, она называла красивыми, других же некрасивыми. Блондинок и блондинов она охотно признавала красивыми, но редко удостаивала этого названия брюнетов.

В связи с этим приходится упомянуть и об одном недостатке, весьма оригинальном у такой богато одаренной женщины, а именно о полном отсутствии у нее любви к искусству. Проживши столько лет в Париже и так часто приезжая в этот город, она ни разу не посетила Лувра; ни картины, ни скульптурные, ни архитектурные произведения никогда не останавливали на себе ее внимания, а к украшению комнат, к убранству их, ко всякого рода изящным отраслям промышленности она высказывала вообще глубокое равнодушие.

Она очень увлекалась красотою норвежской природы и находила чрезвычайно симпатичными норвежцев, с которыми нам приходилось по дороге встречаться. Мы намеревались продолжать путешествие в экипаже через весь Телемаркен по дороге над Гауклифиелль, чтобы затем спуститься у западного берега и по пути навестить Александра Кьелланда в Иедерене. Но, несмотря на то, что она много лет мечтала об этом путешествии по Норвегии, что все в этом путешествии улыбалось ей и что она очень желала познакомиться с Александром Кьелландом, в ней совершенно неожиданно заговорил новый голос с такою страшною силою, что она не была в состоянии противостоять ему.

И вот среди дороги, в то время когда мы находились на одном из длинных внутренних озер, которые глубоко вдаются в Телемаркен, она внезапно решилась вернуться обратно в Христианию и Швецию, чтобы в тиши деревенской жизни предаваться своим занятиям. Она оставила меня одну и пересела на другой пароход, который перевез ее чрез Скиен в Христианию.

Я не могла ни отговаривать ее, ни порицать; я знала по собственному опыту, что когда дух творчества овладевает нами, мы должны, во что бы то ни стало, повиноваться его призыву; все остальное, как бы оно ни было дорого нам в другое время,

отступает на задний план, оставляет нас глубоко равнодушными к себе, кажется нам совершенно незначительным; делаешься слепым и глухим ко всему окружающему и прислушиваешься только ко внутреннему голосу, который раздается в нас сильнее шума водопада в горах или урагана в море.

Но для меня это было, конечно, большим разочарованием. Я, впрочем, поехала дальше с случайно подвернувшимся мне на дороге спутником, посетила Кьелланда, затем вернулась в Остландет и приняла участие в празднестве, которое давалось в Сагатунской высшей народной школе и, конечно, доставило бы Софье не меньшее удовольствие, чем мне, если бы она была свободна в своих действиях.

Много раз наблюдала я эту черту в ней. Иногда она принимала самое живое участие в каком-нибудь интересном разговоре во время какой-либо прогулки или на вечере, была, повидимому, совершенно увлечена окружающим, как вдруг взор ее устремлялся в одну точку, лицо делалось рассеянным, она замолкала, отвечала невпопад на задаваемые вопросы. Тогда она тотчас прощалась, и никакие убеждения, никакие предыдущие обещания, ничто не могло заставить ее остаться: она стремилась домой, чтобы сесть за работу.

Мы решили прожить вместе остаток лета в Иемтланде, где Софья поселилась с семьею моего брата. Но едва я успела приехать, как Софью вызвали телеграммою в Россию по случаю нового припадка болезни ее сестры.

Вернувшись в сентябре, она привезла с собою и свою маленькую восьмилетнюю дочку и впервые поселилась в своей собственной квартире в Стокгольме. Ей надоело жить в пансионе. Конечно, она была необыкновенно равнодушна ко всякого рода комфорту и удобствам, равнодушна к тому, что ей приходилось пить и есть, и к окружающей ее обстановке; но в ней всегда сильна была потребность к независимости, ей хотелось распоряжаться по-своему своим временем, что не всегда возможно было при тех многочисленных стеснениях, которым подвергаешься, когда живешь у других. Поэтому она обратилась к своим друзьям с просьбою помочь ей отыскать квартиру и женщину, которая заведывала бы ее хозяйством и присматривала бы вместе с тем и за ее дочкою. Она купила часть необходимой мебели, а остальную выписала из России. Но все же устроилась так, что ее квартира носила отпечаток чего-то временного, случайного; казалось, что хозяева каждую минуту собираются выехать из нее.

Когда она была в хорошем расположении духа, на нее нахо-

дили иногда минуты увлечения рукодельями; тогда она забавлялась тем, что украшала свои небольшие комнаты собственными работами.

Не успела она привести в порядок свою столь оригинально устроенную квартиру, как ее вновь вызвали в Россию к больной сестре, и она среди зимы уехала морем до Гельсингфорса, а затем железною дорогою до Петербурга. Жизнь ее сестры висела на волоске. В такого рода случаях Софья не испытывала никогда страха и не отступала ни перед какими препятствиями. Горячо любя сестру, она всегда готова была на всевозможные жертвы для нее.

Свою маленькую дочку в течение тех двух месяцев, которые провела в отсутствии, она оставила на моем попечении.

В течение долгих дней и ночей, которые ей пришлось провести у постели больной сестры, много мыслей и фантазий роилось у нее в голове. И тогда-то именно возникла у нее идея о разнице между тем «как оно было» и тем «как оно могло быть» [1]. Она вспоминала, с какими чудными мечтами они, обе сестры, вступали в жизнь, молодые, красивые, богато одаренные, и как мало дала им жизнь в действительности сравнительно с тем, что они рисовали себе в своем воображении. Правда, жизнь обеих прошла бурно, была богата разного рода событиями, но в глубине сердца и у той и у другой скрывалось горькое чувство сожаления о разбитых надеждах.

А как иначе могла бы сложиться жизнь их обеих, если бы они не сделали нескольких крупных ошибок!

Из этих мечтаний и рассуждений возникла идея написать два параллельных романа, в которых судьба и развитие одних и тех же людей должны были изображаться с двух противоположных сторон. Их нужно было представить в ранней юности, когда вся будущность еще впереди, затем описать все дальнейшее развитие их жизни до известного поворотного пункта в ней. Один из романов должен был показать, к каким последствиям привел сделанный ими выбор, а другой, в противоположность первому, что случилось бы, если бы они пошли по другой дороге.

«Кому не приходилось в жизни раскаиваться в важном, необдуманном шаге,— рассуждала Софья,— и кто не раз желал начать жизнь сызнова!» И этим желаниям, этим мечтам она хотела придать действительную жизнь в образе романа, если бы только обладала необходимыми для этого способностями! Но таких способностей, по ее мнению, у нее не было, и поэтому, когда она вернулась в Стокгольм, увлеченная своею идеею, она

старалась всеми силами убедить меня написать его совместно с нею.

Я в то время находилась в самом разгаре работы, занятая сочинением нового романа под заглавием «Вокруг брака».

Но тут явилась Софья с своею идеею, и так велико было ее влияние на меня, так громадна сила убеждения, что она тотчас заставила меня отказаться от собственного своего детища для того, чтобы усыновить ее. Из нескольких писем, отправленных мною около этого времени одному общему другу, видно, какой живой энтузиазм к этой работе овладел нами обеими.

Вот что я писала 2 февраля: «Теперь я занята сочинением нового романа «Вокруг брака». Я до такой степени увлекаюсь им, что весь внешний мир, который не стоит в той или иной связи с моей работою, не существует для меня... И вот среди всего этого мною внезапно овладела другая идея. Соне и мне пришла в голову положительно гениальная мысль. Мы собираемся написать большую драму, разбивающуюся на два представления и состоящую из десяти актов. То-есть, идея собственно ее, я же должна обработать ее, сочинить пьесу и написать реплики. Мне кажется, что идея положительно гениальна и в высшей степени оригинальна. Одна часть драмы описывает, как оно было, а другая, как оно могло быть. В первом все делаются несчастными, как оно и бывает большею частью в жизни, где люди всячески мешают счастью друг друга вместо того, чтобы способствовать ему. В другом описываются те же люди, только при совершенно других обстоятельствах: они помогают друг другу, живут друг для друга, образуют небольшое идеальное общество и чувствуют себя все счастливыми. Никому не говорите об этом ни слова. Правду сказать, я об идее Сони не знаю ничего больше того, что передала вам сейчас; мы вчера впервые заговорили об этом, а утром она должна рассказать мне подробно весь свой план так, чтобы я решила, годится ли он для драматической обработки. И теперь я вижу уже себя и Соню совместно работающими над гигантским произведением, которое осчастливит весь настоящий мир, а, быть может, и будущий. Мы совершенно одинаково безумствуем обе. Если бы нам удалась эта работа, мы примирились бы со всем, что у нас было неприятного в жизни. Софья забыла бы, что Швеция самая возмутительная филистерская страна в мире, и перестала бы жаловаться, что она здесь тратит даром свои лучшие годы, а я забыла бы все, о чем я постоянно думаю...»

10 февраля я писала следующее: «Софья невыразимо счастлива этим новым оборотом в своей жизни; она говорит, что

только теперь понимает, каким образом мужчина заново влюбляется в мать своего ребенка — потому что я, конечно, представляю собою мать, так как на мне лежит обязанность произвести на свет ребенка,— и она так исполнена любви и преданности ко мне, что мое сердце радуется при одном виде ее блестящих, сияющих радостью глаз, обращенных на меня. Мы так весело проводим вместе время, как я думаю ни одни подруги в целом свете, потому что мы представляем собою первый пример в литературе двух женщин-сотрудниц... Я ни разу еще не увлекалась так быстро какою-нибудь идеею, как теперь. Как только Софья сообщила мне свой план, я пришла от него в восторг. Да, это был точно взрыв восторга. В четверг, 3-го, она рассказала мне свой план, но план, который был обработан в виде длинного романа в русской среде».

21 февраля я писала следующее: «Самое приятное в этой работе то, что я, как вы, вероятно, заметили, сама так сильно восхищаюсь ею. Это происходит, я думаю, главным образом потому, что идея принадлежит Софье, так как я, конечно, убеждена, что ей гораздо скорее, чем мне, могут приходить в голову гениальные идеи... Вы интересуетесь знать, какая доля участия Ковалевской в этой работе? Она, правда, не написала ни одной реплики, но она обдумала не только весь основной план драмы, но и содержание каждого акта в отдельности; кроме того, она доставила мне массу психологических данных для обработки характеров. Каждый день мы прочитываем вместе все, что я написала; она делает свои замечания и подает советы, придумывает что-нибудь новое».

3-го марта мы впервые прочитали громко наше произведение кружку близких друзей. До этого времени наша радость и наше восторженное отношение к своей работе все усиливались. Я не помню, чтобы я когда-нибудь видела ее такою счастливою, буквально сияющею от счастия, как в это время. На нее находили такие припадки жизненной радости, что она должна была уходить в лес, чтобы выкричать там свою радость под открытым небом. Мы ежедневно делали продолжительные прогулки в лесу Лилль-Янс, прилегавшем к нашему кварталу, и здесь она, как ребенок, прыгала с камня на камень, пробиралась через кусты, бросалась мне на шею, танцовала и громко кричала, что жизнь невыразимо хороша, а будущее восхитительно и полно самых чудных обещаний.

Она возлагала самые блестящие и невероятные надежды на будущее нашей драмы. Ее с триумфом встретят во всех европейских столицах; такое новое оригинальное произведение не

может не показаться настоящим откровением в нашей литературе; эта драма «Как оно могло быть» — мечта, которая рисуется перед мысленными взорами всех, представленная со всею объективностью сцены,— должна была непременно увлечь за собою всех. А само содержание, апофеоз любви, как единственной существенной цели жизни и, наконец, картина будущего идеального общества, где все живут для всех, а двое любящих людей — друг для друга, на всем этом лежал отпечаток ее сокровенных мыслей и чувств.

После громогласного чтения нашей пьесы, она вступила в новую фазу развития. До сих пор мы ее больше рассматривали с точки зрения того «Как оно могло быть», чем «Как оно было». Теперь все ее недостатки и недомолвки, неизбежные при такой быстрой, лихорадочной работе, резко бросились нам в глаза, и мы принялись за переделки.

Софья все это время не могла никак думать о своей большой математической работе, несмотря на то, что срок для подачи работы на премию Бордена был уже назначен, и ей оставалось так мало времени, что она должна была изо всех сил спешить. Миттаг-Леффлер, который чувствовал себя всегда как бы ответственным за Софью и считал, что приобретение этой премии представляет большое значение, приходил в полное отчаяние всякий раз, когда, навещая ее, заставал в гостиной с вышиванием в руках. Она получила настоящую страсть к вышиванию.

Подобно романтической героине Ингеборге, которая вплетала в скатерть подвиги своего милого, Софья вшивала в канву помощью иглы, шерсти и шелка драму, которую она не в силах была написать сама пером и чернилами. Пока иголка механически то опускалась, то поднималась, ее ум и воображение неустанно работали, и сцена за сценою с удивительною ясностью восставали перед ее мысленными очами. Одновременно с этим и я трудилась над тем же при помощи своего пера, и, когда затем оказывалось, что иголка и перо приходили к одному и тому же результату, наша обоюдная радость не знала границ и, конечно, перевешивала те небольшие размолвки, которые происходили иногда между нами, когда наша фантазия увлекала нас в разные стороны. Но после таких столкновений мне приходилось всякий раз проводить свои вечера не за писанием, а за исправлением написанного, и наша работа в это время переживала немало такого рода кризисов.

Следующая маленькая записка, присланная мне Софьею в ответ на какое-то мое сообщение, характеризует немного наши

тогдашние ощущения: «Бедное дитя мое! Как часто приходится ему бороться между жизнью и смертью! Что же такое случилось опять? Нашло ли на тебя вдохновение, или, напротив того, ты оказываешься бессильною? Я, право, начинаю думать, что все это написано тобою исключительно из злости, чтобы заставить меня дурно читать сегодня. Как могу я вообще думать о своих лекциях, когда я знаю, что наше бедное маленькое дитятко переживает сегодня такой страшный кризис? Нет, знаешь ли, приятно, право, хоть раз чувствовать себя отцом; знаешь по крайней мере, что приходится терпеть несчастным мужчинам от злых женщин. Как бы я желала встретиться с Стриндбергом, чтобы пожать ему руку!»

Затем я пишу в письме от 1 апреля: «Я попробовала произвести маленькое изменение в самом ходе работы, запретив Софье, к ее великому отчаянию, вход в мою комнату, пока я напишу в полном одиночестве всю первую пьесу. Дело в том, что, когда я писала первую, страшно мешала мне и расстраивала меня постоянная совместная работа. Я утрачивала личную связь с своими героями, которая у меня всегда так сильна, и не могла составить себе общей картины их внутренней жизни. Эта потребность в полном общении с своими героями, без которой мне трудно работать, подавлялась сильным влиянием на меня Софьи: моя личность исчезла в ее...

Софья — Алиса в «Борьбе за счастье», которая ничего не может создать, обнять душою, если у нее не с кем делить свои мысли и ощущения... В лице Алисы Софья хотела изобразить самое себя, и некоторые реплики этой драмы до такой степени ярко характеризуют ее, как будто были цитированы из ее собственных уст. В большой сцене между Гиальмаром (1-я драма, 3-е действие, сцена 2-я) она хотела выразить свою собственную жгучую жажду нежности, жажду глубокой, цельной любви, заставляющей два существа жить душа в душу в полном значении этого слова, хотела описать то чувство глубокого отчаяния, которое охватывало ее от сознания собственного одиночества, и то недоверие к себе, к своей способности привлечь и приковать сердце любимого человека, которое овладевало ею всякий раз, когда она замечала, что ее любят не так, как бы ей этого хотелось.

Алиса говорит:

— Я так привыкла, чтобы всех любили больше, чем меня. В школе говорили, что я самая способная, но я знала всегда, что судьба зло подшутила надо мною, одаривши меня такими способностями, как бы для того, чтобы я лучше чувствовала,

чем бы могла сделаться для другого, если бы кто-нибудь действительно захотел полюбить меня... Я желала немногого; я хотела только, чтобы никто не стоял между нами, не был ближе тебе, чем я, одного только я желала всю свою жизнь — быть первою для другого человека... Дай мне только хоть раз показать тебе, какою я могу быть, если меня искренно любят... Бедняжка Алиса не так ничтожна, как кажется... Посмотри хорошенько на меня. Хороша ли я? Да, когда меня любят, я хороша, но только тогда, когда меня любят. Добра ли я? Да, когда меня любят, я воплощенная доброта. Эгоистка ли я? О, нет, я не эгоистка, я могу совсем отрешиться от себя, слиться всеми мыслями с другим.

Таким трогательным, умоляющим образом могла прославленная, знаменитая Ковалевская просить о любви, которая никогда не доставалась ей на долю. Она никогда не была первою, единственною для другого человека, как страстно ни желала этого, и несмотря на все внешние преимущества, обеспечивавшие ей, повидимому, возможность побеждать и приковывать сердца.

А желание Алисы разделить труды Карла, принять участие в его деятельности, ее негодование, когда он под давлением излишней деликатности отдаляется от нее, ее резкое, не знающее никаких компромиссов требование отбросить в сторону все сомнения, все колебания и остаться верным голосу своего сердца, ее страстное воззвание к его любви,— во все это Софья вложила свою собственную душу, здесь вся она целиком.

А когда Алиса во второй драме резко разрывает со всем своим прошлым, отказывается от богатства и от положения в обществе, чтобы жить в бедности с Карлом и совместно с ним работать над его открытием,— здесь мы опять видим Софью, видим, какою она сама представляла себя, какою мечтала быть в том случае, если бы ей встретилось в действительной жизни так пылко желаемое ею счастье, и если бы ей предоставлено было сделать тот или иной выбор. И я не сомневаюсь, что, напиши она сама сцены, изображающие счастье Алисы и Карла, они получили бы гораздо более теплый и личный колорит.

Со свойственною ей потребностью объяснять все явления жизни научным образом, она изобрела целую научную теорию, которую желала положить в основание параллельной драмы. Она написала набросок статьи, которую намеревалась предпослать драме в виде объяснения, но статья эта осталась неоконченною. Несмотря на свой отрывочный характер, она, вероятно, прочтется с интересом, как и все, вышедшее из-под ее пера [1].

Мы предполагали провести это лето вдвоем. Новая автор-

ская фирма Корвин-Леффлер собиралась отправиться вместе в Берлин и Париж, чтобы завязать побольше литературных и театральных знакомств, которые могли бы нам пригодиться потом, когда наше произведение будет окончено и начнет свое триумфальное шествие по свету. Но всем этим надеждам суждено было рассеяться одной за другой. Наше путешествие было уже назначено на средину мая, мы так сильно радовались новым интересам и надеждам, открывавшимся перед нами, когда опять грустные вести из России разрушили все наши планы. Жизнь сестры Софьи находилась в опасности, а муж должен был оставить ее, чтобы вернуться в Париж. Ничего другого не оставалось делать: Софья должна была предпринять печальное путешествие к одру болезни сестры и отказаться от всякой мысли о том, чтобы доставить себе летом какие-либо удовольствия или освежить себя после усиленной зимней работы.

Все ее письма в это лето показывают, в каком подавленном настроении она находилась.

«Моя сестра находится в том же положении, что и зимою. Она страшно страдает, ужасно дурно выглядит и не имеет сил двинуться с места. Тем не менее я убеждена, что не всякая еще надежда на ее выздоровление утрачена. Она ужасно обрадовалась моему приезду и постоянно повторяет, что наверное умерла бы, если бы я отказалась теперь приехать к ней... Я в таком подавленном настроении духа, что не хочу больше и писать. Единственное, что доставляет мне еще отраду, это мысль о нашей феерии и о „Vae victis"».

Это новый намек на две новые совместные работы, задуманные нами. Мысль о феерии пришла мне; она должна была называться «Когда не будет больше смерти». Как только я изложила Софье свою идею, она так горячо ухватилась за нее, начала таким блестящим образом развивать ее и так сильно переработала в своей фантазии, что получила на нее такие же авторские права, как и я. Vae victis была ее идеею: она хотела создать большую повесть, содержание которой было бы в высшей степени характеристично для нее, но считала себя не в силах написать ее самостоятельно, без помощи.

В другом, более позднем письме, она говорит следующее: «Ты так добра, что уверяешь меня, будто я много значу в твоей жизни, а между тем у тебя так много есть других привязанностей, ты настолько богаче меня! Подумай же, как много ты значишь для меня, когда я так одинока и так бедна любящими и преданными мне людьми».

Съехавшись вновь осенью, мы принялись опять за оконча-

тельную переработку нашей двойной драмы. Но радость, которую мы испытывали прежде при работе, энтузиазм, иллюзии уже успели рассеяться, и эта последняя обработка отличалась чисто механическим характером. Уже в ноябре мы приступили к печатанию драмы, которую одновременно с тем представили на рассмотрение драматического театра. Чтение корректур заняло весь остаток осени. К рождеству наше произведение вышло, было разнесено в пух и прав Вирсеном и „St. Dagblad" и вскоре после того мы получили от театральной дирекции отказ.

Мы обе были теперь довольно равнодушны к этой уже оконченной работе. Мы совершенно походили друг на друга в том отношении, что любили обе «не рожденных еще детей», и строили уже планы других работ, которые должны были оказаться гораздо более удачными, чем эта. Разница между нами заключалась только в том, что Софья попрежнему страстно увлекалась мыслью о совместной работе, между тем как мое увлечение ею уже успело пройти, хотя я не смела заговорить об этом с Софьею. И кто знает, не эта ли потребность, все более и более возраставшая в глубине моей души, потребность в умственной и душевной самостоятельности, желание вернуть себе свободное распоряжение своим *я*, своими мыслями и чувствами, не она ли способствовала бессознательно тому, что я решилась, наконец, предпринять в ту же зиму путешествие по Италии?

Мысль об этом путешествии давно уже занимала меня, но Софья всегда противилась этому, считая мой отъезд изменою нашей дружбе. Но эта дружба, которая, с одной стороны, была самым дорогим для меня чувством, самым дорогим личным счастьем, какое до того времени доставалось мне на долю, начала тяготить меня слишком большими требованиями, предъявляемыми ею ко мне. Я говорю это здесь, чтобы уяснить смысл и значение дальнейших трагических обстоятельств в жизни Софьи. При своей идеалистической натуре она требовала такой цельности чувств, какую жизнь дает только в весьма редких случаях, такого полного слияния двух душ, которого ей не удалось осуществить на деле ни в дружбе, ни позже — в любви.

Ее любовь отличалась тираническим характером; она не допускала, чтобы любимое ею существо имело какие-либо чувства, мысли, желания, направленные не на нее. Она хотела так всецело обладать любимым человеком, что лишала его совершенно возможности жить собственною индивидуальною жизнью, и, если такого рода требования едва ли могут быть осуществлены при любовных отношениях, в особенности в том случае, когда оба любящие являются высокоразвитыми личностями, тем менее

это, конечно, возможно при дружеских отношениях, так как в основе их лежит всегда полная индивидуальная свобода обеих сторон.

В этой черте характера Софьи лежит, быть может, и объяснение того, почему материнские чувства не могли удовлетворить присущего ее сердцу стремления к нежности и любви. Дитя не любит, оно дает себя любить; дитя не входит в интересы другого лица; оно берет, а не дает; а Софья, напротив того, чувствовала потребность в дающей любви. Этим я, впрочем, вовсе не хочу сказать, что она сама больше хотела брать, чем давать, в своих отношениях к тем, кого любила. Напротив того, она очень много давала, самым теплым, симпатичным образом относилась к любимым ею лицам, оказывала им всевозможное внимание, доказывала, чем только могла, свою дружбу к ним, всем готова была жертвовать для них. Но она требовала, чтобы и ей отвечали тем же, чтобы ее встречали на полупути; она желала быть уверенною в том, что и она имеет для любимого существа то же значение, какое это существо имело для нее.

Не одни только литературные неудачи постигли Софью в эту осень; ей пришлось испытать тяжелую, горькую утрату. Сестра, к одру болезни которой она столько раз спешила по морю и суше, жертвуя всеми своими планами и желаниями, с единственною мыслью, как бы не опоздать, как бы поспеть к ее последним минутам, была осенью перевезена в Париж, где ей должны были сделать операцию.

Софья читала лекции в Высшей школе и не располагала свободным временем, но, если бы ей написали о возможной опасности, она, конечно, не посмотрела бы ни на что, а поехала бы к сестре, хотя бы ей пришлось вследствие этого лишиться своего положения и куска насущного хлеба. Но ее уверили, что операция самая ничтожная и что существует надежда на полное выздоровление. Она уже получила известие о счастливом исходе операции и предавалась самым радужным надеждам, когда ей внезапно принесли телеграмму с извещением о смерти сестры. В том состоянии слабости, в каком находилась она после операции, у нее неожиданно развилось воспаление легких, и она погибла, не будучи в силах вынести болезни.

Софья, как видно из описания жизни сестер Раевских, очень любила эту сестру, и к горю, которое она чувствовала по поводу ее смерти, по поводу того, что ей не удалось отдать ей последний долг любви, несмотря на все жертвы, принесенные ею для этой цели, присоединилось теперь и горькое чувство сожаления о несчастной судьбе когда-то столь блестящей Анюты,

окруженной всеобщим поклонением. Истощенная тяжелою, хронической болезнью, много лет ее мучившею, разочарованная во всех своих надеждах на жизнь, стесненная в своем развитии, как писательница,— она, увы, после всех этих страданий не нашла никакого облегчения, а только неизбежную, неумолимую смерть, унесшую ее во цвете лет.

А для такой постоянно рефлектирующей натуры, какова была натура Софьи, всякое страдание увеличивалось еще, благодаря тому, что она обобщала его. Несчастье, постигшее ее или кого-либо из тех, кого она любила, обращалось в несчастье для всего человечества, и, страдая, она мучилась всякий раз не только своим горем, но и горем всех.

При этом ее огорчала также мысль, что со смертью сестры исчезла последняя связь, соединяющая ее с родительским домом, с детством.

«Никто больше не будет вспоминать обо мне, как о маленькой Соне,— говорила она;— для всех вас я — Ковалевская, знаменитая ученая женщина и т. д. Ни для кого больше я не могу быть застенчивою, сдержанною, жмущеюся ко всем маленькою Сонею».

При том необыкновенном самообладании, которое было свойственно ей, и при замечательном уменье скрывать свои чувства, она попрежнему показывалась повсюду в обществе и не носила даже обычного траура: сестра ее, как и она сама, питала решительное отвращение к черному цвету, и Софье казалось нелепым таким образом выказывать свое горе по ней. Но скрываемая ею в глубине сердца печаль, та раздвоенность, которую она испытывала, выказывалась в чрезвычайной нервности: она могла расплакаться из-за всякого пустяка, например если кто наступал ей на ногу или обрывал ей платье; в то же время при самом ничтожном противодействии ее желаниям она могла разразиться самыми гневными, вспыльчивыми словами. Когда ей случалось, по ее всегдашнему обыкновению, анализировать себя, она говорила: «Глубокое горе, которое я стараюсь всячески подавить и сдержать в себе, вечно прорывается наружу в виде мелочной раздражительности. Вообще в жизни существует стремление разменивать все на мелочи, не допускать, чтобы в глубине души хранилось какое-либо великое, нераздельное чувство».

В январе 1888 г. я уехала, и мы не виделись до сентября 1889 г. Не прошло и полных двух лет со времени нашей разлуки, но в жизни нас обеих произошла за это время большая перемена, и мы встретились совершенно другими людьми сравнительно с тем, какими расстались. Мы не могли больше жить

душа в душу, как прежде, потому что каждая из нас была слишком занята своею личною драмою и не хотела открывать другой всю правду относительно переживаемой ею борьбы. Так как я намерена в этой биографии рассказать о Софье только то, что она сама передавала мне о себе, и держаться такого же образа действия и при повествовании о последних годах ее жизни, то эта часть моего рассказа выйдет более смутною и неопределенною, чем мои первые сообщения о ней, именно потому, что она не давала мне больше заглядывать в свою душу так, как прежде.

Вскоре после моего отъезда она познакомилась с человеком, который, по ее словам, был самым даровитым из всех людей, когда-либо встреченных ею в жизни [1]. При первом свидании она почувствовала к нему сильнейшую симпатию и восхищение, которые мало-помалу перешли в страстную любовь. С своей стороны, и он стал вскоре ее горячим поклонником и даже просил сделаться его женою. Но ей казалось, что его влечет к ней скорее преклонение перед ее умом и талантами, чем любовь, и она, понятно, отказалась вступить в брак с ним, а стала употреблять все усилия, чтобы внушить ему такую же сильную и глубокую любовь к себе, какую она сама чувствовала к нему. Эта борьба представляет всю историю ее жизни в течение этих последних двух лет. Она мучила его и себя своими требованиями, устраивала ему страшные сцены ревности, они много раз совершенно расходились в сильном взаимном озлоблении, снова встречались, примирялись и вновь резко рвали все отношения [2].

В ее письмах ко мне от этого времени сообщается чрезвычайно мало о ее внутренней жизни. Она была чрезвычайно скрытною во всем, что касалось сокровенной жизни ее сердца, в особенности когда дело шло о ее сердечных горестях и страданиях [3]. Ее можно было вовлечь в задушевную, интимную беседу только при личном свидании; поэтому я только по возвращении в Швецию узнала то, что произошло с нею во время моего отсутствия. Приведу, впрочем, некоторые места из ее писем ко мне за это время, наиболее характеристические для этого периода ее жизни.

Вот что она пишет мне в январе 1888 г., вскоре после моего отъезда: «Эта история с Е. (намек на одно событие, происшедшее в кружке ее знакомых в Стокгольме) навела меня на мысль приняться вновь за моего первенца «Приват-доцент», как только я освобожусь от своих теперешних занятий. Я уверена, что стоит мне только серьезно обработать этот сюжет, и я создам нечто восхитительное. Я, право, горжусь тем, что уже в такие

молодые годы так хорошо понимала некоторые стороны человеческой жизни. Когда я начинаю анализировать чувства Е. к Г., мне кажется, что я в самом деле чрезвычайно удачно описала отношения между моим приват-доцентом и его профессором».

А несколько времени спустя она пишет мне: «От души благодарю тебя за письмо из Дрездена. Я всегда так рада, когда получаю от тебя хотя бы одну строчку. Но тем не менее письмо твое в целом произвело на меня очень грустное впечатление. Да что тут поделаешь! Такова уже жизнь. Всегда получаешь не то, что делаешь, и не то, что считаешь необходимым для себя: все,— только не это. Какой-либо другой человек должен получить то счастье, которое я всегда желала себе и о котором всегда мечтала. Должно быть, плохо подаются блюда в «le grand festin de la vie» *, потому что все гости берут точно через покрывало порции, предназначенные не для них, а для других. Во всяком случае Н [1]., как мне кажется, получил именно ту порцию, которую он сам делал. Он так увлечен своим путешествием в Гренландию, что нет ничего, что могло бы в его глазах сравниться с этим. Поэтому советую тебе лучше отказаться от своего остроумного проекта написать ему, потому что, если бы он даже узнал, он не отказался бы от поездки к духам великих мертвых людей, которые, как рассказывают лапландские саги, покоятся на ледяных полях Гренландии. Я, с своей стороны, работаю очень много (над сочинением на премию), хотя без особенной охоты или энтузиазма».

В следующем письме встречается первый намек на наступивший в ее жизни кризис. Письмо не датировано, но написано, повидимому, в марте того же года. Она уже познакомилась с человеком, который должен был оказать такое сильное влияние на всю ее последующую жизнь [2].

Ничего не вышло из наших планов провести лето вместе. Софья встретилась с своим новым русским другом в Лондоне в конце мая, а затем поехала с ним путешествовать по Гарцу и навестила Вейерштрасса.

В сентябре она вернулась в Стокгольм и во время последующих осенних месяцев жила в состоянии постоянного напряжения, которое на долгое время разрушило ее здоровье. Этот год (1888) доставил ей много счастья, упрочил ее репутацию и ее славу, но вместе с тем принес и много горя и печали, которые, с наступлением нового года, должны были обрушиться на нее.

Когда она, на рождество того же года, в торжественном засе-

* На великом жизненном пиру.

дании французской Академии наук, в присутствии многих из знаменитейших деятелей науки того времени, лично принимала Борденскую премию, которая представляла собою не только высшее научное отличие, когда-либо выпадавшее на долю женщин, но в то же время и одно из самых больших отличий, какие могут доставаться научным деятелям,— с нею был и тот человек, в обществе которого она находила полное удовлетворение всему, чего жаждала ее душа и к чему стремилось ее сердце. Она обладала в настоящую минуту всем, что считала когда-либо необходимым для полноты счастья: ее ум, ее дарования были признаны высшим судилищем мира, а та страстная потребность в любви и преданности, которая таилась в глубине ее души, нашла достойную для себя цель.

Но она была похожа на ту принцессу в сказке, которую добрые феи при рождении наделили всеми возможными дарами, но которой эти дары не принесли никакой пользы, потому что действие их было почти совершенно нейтрализовано завистливою феею, преподнесшею последней несчастный дар. Правда, она в течение своей жизни получила все, чего желала, но всегда не в подходящее время и при таких обстоятельствах, которые отравляли ей ее счастье.

В самом разгаре работы над сочинением на премию, которое сделалось для нее теперь вопросом чести, так как все ее друзья-математики знали, что она трудится над ним, произошел тот новый поворот в ее жизни, которого она так давно желала. В последние месяцы перед отсылкою своей работы в академию она жила в состоянии странного раздвоения, колеблясь между двумя стремлениями, с одинаковою силою говорившими в ней и увлекавшими ее в две противоположные стороны: в ней боролись одновременно женщина и научный деятель. Физически она ужасно истощала себя непосильною работою по ночам. Нравственно она постоянно мучилась внутренним разладом между стремлением окончить во что бы то ни стало возложенную на себя задачу и стремлением отдаться всецело новому могучему чувству, овладевшему ею...

Софья бесконечно мучилась сознанием, что ее работа становится постоянно между нею и тем человеком, которому должны были бы безраздельно принадлежать все ее мысли. Хотя они об этом никогда не говорили, но она замечала охлаждение в нем при виде того, что именно в то время, когда самая сильная взаимная симпатия влекла их неудержимо друг к другу, она предавалась так страстно погоне за славою и отличиями, причем та слава, к которой она стремилась, была не из тех, которые счи-

таются достойными женщин в глазах мужчин. Нетрудно было возникнуть подозрению, что ею в данном случае руководит только тщеславие.

Певица или актриса, осыпаемые венками, могут легко найти доступ к сердцу мужчины, благодаря именно своим триумфам — привожу собственные рассуждения Софьи — то же самое может сделать и прекрасная женщина, красота которой возбуждает восторги в гостиной. Но женщина, преданная науке, трудящаяся до красноты глаз и до морщин на лбу над сочинением на премию,— что может представить она привлекательного для мужчины? Чем может она возбудить его фантазию?

И она с горечью повторяла себе, что поступает неблагоразумно, отказываясь жертвовать своим тщеславием и своим честолюбием для приобретения того, что для нее представляло во всяком случае гораздо больше значения, чем все успехи в мире. Но тем не менее она не могла сделать этого, потому что отступать теперь значило признаться громко в своей несостоятельности; сила обстоятельств и особенности ее собственной природы влекли ее неудержимо вперед к цели, которую она поставила раньше перед собою. Если бы она несколько месяцев тому назад знала, как дорого будет стоить ей откладывание этой работы на последнюю минуту, она, конечно, ни за что не согласилась бы тратить свое драгоценное время на «Борьбу за счастье», которая настолько затруднила ей теперешнюю борьбу за свое личное счастье, сделав ее гораздо более тяжелою, чем какою она могла быть при других обстоятельствах.

Наконец, она приехала в Париж, чтобы получить свою премию. Она была героинею дня, переходила постоянно с одного празднества на другое, выслушивала заздравные тосты и отвечала на них, принимала и делала с утра до ночи визиты и не могла почти ни одной минуты в день посвятить человеку, который приехал сюда специально за тем, чтобы присутствовать на ее торжестве. Таким образом для нее оказались отравленными как счастье любви, так и торжество честолюбия, из которых каждое само по себе должно было доставить ей столько радости.

Все было испорчено, благодаря ее несчастной судьбе, предопределившей, что она получит от жизни все, чего себе когда-либо желала, но всегда при таких обстоятельствах, что счастье обращалось для нее в несчастье, или, согласно ее объяснению, быть может, также вследствие дуализма, присущего ее природе, который заставлял ее постоянно испытывать разлад между своими чувствами и мыслями, между желанием отдаться всецело любимому лицу и таким же сильным желанием сохранить неприкос-

новенною свою самостоятельность,— тем вечным дуализмом, который неизбежно должен возникнуть в жизни всякой женщины, одаренной производительными способностями, когда любовь покажет над ней свою силу.

К этому присоединялось еще осложнение, вытекавшее непосредственно из характера Софьи. Ее любовь была всегда ревнивою и деспотическою, она требовала от того, кого любила, такой преданности, такого полного слияния с собою, какое только в крайне редких случаях было возможно для такой сильно выраженной индивидуальности, для такого даровитого человека, каким был тот, кого она любила. Но, с другой стороны, и она сама не могла никак решиться сделать полный перелом в своей жизни, отказаться от своей деятельности, от своего положения — это было то требование, которое он предъявлял к ней, — и примириться с мыслью быть только его женою.

Ввиду невозможности согласить эти противоположные требования любовь их потерпела полное крушение.

В середине сентября Софья вернулась в Стокгольм, и мы увидались с нею после почти двухлетней разлуки. Я нашла ее сильно изменившейся. Прежнее блестящее остроумие и шутливость почти совершенно покинули ее, маленькая морщинка на лбу углубилась, лицо получило мрачное, рассеянное выражение, а глаза утратили тот необыкновенный блеск, который составлял главную красоту их. Они казались теперь усталыми, а сильная близорукость, заставлявшая их немного косить, была теперь гораздо более заметна, чем прежде. С обычным ей самообладанием она умела скрывать в обществе посторонних свое грустное настроение и казалась совершенно такою же, как прежде. Она уверяла меня, что нередко, когда она бывала в самом неприятном расположении духа, ей случалось слышать замечания: сегодня Ковалевская необыкновенно весела и сияет.

Но для нас, стоявших так близко к ней, перемена была просто поразительна. Она совершенно потеряла всякую любовь к обществу, не только к обществу посторонних ей лиц, но и к нашему. Только одна работа доставляла ей удовольствие, только в одной отчаянной, форсированной работе находила она успокоение.

Она вновь принялась за свои лекции, но делала это под влиянием чувства долга, без всякого интереса. Только в литературных работах искала она отвлечение от мучивших ее мыслей, отчасти потому, что еще не успела настоящим образом поправиться после перенесенного ею переутомления и не находила в себе достаточно сил, чтобы засесть опять за научную работу.

Она прежде всего принялась за окончательную переработку введения к «Vae victis», которое она дала перевести с русской рукописи и затем напечатала по-шведски.

Это — поэтическое описание борьбы природы при пробуждении ее к новой жизни весною, после продолжительного зимнего сна. Но здесь не поется хвала весне, как то бывает во всех описаниях весны; напротив того, здесь воспевается спокойная, безмятежная зима, между тем как весна изображается в виде грубой, чувственной силы, которая возбуждает массу надежд, но ни одной из них не осуществляет.

Роман должен был отчасти представить внутреннюю жизнь Софьи. Мало женщин пользовалось таким почетом и такими успехами, как она, тем не менее в этом романе она намеревалась воспевать не победителей, а побежденных. Потому что сама она, несмотря на все свои успехи в жизни, считала себя побежденною в борьбе за счастье, и все ее симпатии были всегда на стороне тех, кто погибал, никогда — на стороне тех, кто побеждал. Это глубокое сочувствие к чужому страданию составляло у нее наиболее характеристическую черту, но это не было христианское милосердное сочувствие к страданию; нет, она в буквальном смысле слова сама страдала за других, принимала так близко к сердцу их страдания, как будто это были ее собственные, и относилась к ним не с видом превосходства, которое старается утешить, а с отчаянием по поводу жестокой судьбы. Она часто говорила, что в православном вероисповедании, в котором она была воспитана и к которому всю жизнь относилась с самым глубоким чувством, ее больше всего привлекает сочувствие к страданию, в гораздо большей степени преобладающее в этом исповедании, чем во всех других. А в литературе ей больше всего нравились те писатели, у которых было сильнее всего выражено это чувство, составляющее наиболее выдающуюся черту русской литературы.

Около этого времени она окончила и свои воспоминания детства. Фрекен Гедберд занялась переводом их на шведский язык с рукописи, и по вечерам мы читали их в семейном кружке, главу за главою, по мере того как они переводились. Несмотря на грустное настроение, в котором мы обе, я и Софья, находились, эта осень оказалась для нас обеих очень содержательною, благодаря необыкновенному рвению к работе, обнаруженному нами, хотя на этот раз мы работали отдельно друг от друга. В течение этих осенних месяцев — октябрь, ноябрь — я написала не менее пяти новых повестей, которые, по мере того как я их сочиняла, прочитывались в нашем семейном кружке поочередно с работами

Софьи. Мы радовались обе работам друг друга, ездили к издателю и устроили так, что обе книги вышли вместе, а именно мой сборник повестей «Из жизни» и «Сестры Раевские» Софьи. Это был как бы отблеск нашей прежней совместной работы.

Софья намеревалась издать свои воспоминания детства под видом автобиографии, как она и сделала впоследствии по-русски, но как только мы прослушали первую главу, мы отсоветовали ей делать это. Мы находили, что в нашем маленьком обществе могли найти неприличным со стороны еще молодой женщины, если бы она прямо, без всяких прикрас, начала повествовать всему обществу об интимной жизни своей семьи. Несколько глав было уже переведено, а все сочинение написано по-русски, когда было сделано предложение заменить местоимение *я* словом Т а н я. Никаких других возражений или замечаний нам не пришлось сделать; мы могли только удивляться и восхищаться художественным талантом, обнаруженным Софьею в этом произведении.

Пока обе наши книги печатались, мы принялись за новую совместную работу. Во время последней поездки в Россию Софья нашла в одном ящике своей сестры рукопись драмы, написанной ею несколько лет тому назад и встреченной самым горячим одобрением со стороны нескольких выдающихся литературных критиков России. Но она не была еще окончательно обработана для театра. Содержание драмы, многие действительно талантливо написанные сцены, великолепно обрисованные характеры и оригинальное, глубоко грустное настроение, которым была проникнута вся пьеса, носили такой сильно выраженный, чисто русский колорит, что, как только Софья прочла мне в вольном переводе эту драму, я заявила, что ее стоит переработать для шведской сцены. Софья горячо желала, в особенности теперь, после смерти сестры, выпустить в свет какое-нибудь ее произведение. Ей было ужасно больно при мысли, что богатые дарования сестры были стеснены в своем развитии, и она находила некоторое утешение в том, чтобы хотя после ее смерти создать ей блестящую репутацию.

Поэтому мы засели обе за работу, изучили сцену за сценою, акт за актом с начала до конца, и согласились относительно того, что̀ нужно было изменить в пьесе. Софья составила на русском языке план переработки драмы и сама написала почти весь первый акт — это был первый ее опыт сочинения драматических диалогов,— а затем продиктовала мне на своем ломаном шведском языке остальные акты, которые я исправляла, по мере того как писала.

Но нам, повидимому, не могла удаться совместная работа никакого рода. Мы прочли новую драму, после долгих размышлений получившую, наконец, тяжеловесное заглавие «До смерти и после смерти», маленькому кружку литературных и артистических друзей, собравшихся у Софьи в ее красной гостиной, но в произнесенном ими над пьесою приговоре не было ничего поощрительного. Они нашли драму слишком однообразно мрачною по колориту и думали, что она не может иметь большого успеха на сцене. Я же, напротив того, держусь совершенно противоположного мнения: я думаю, что и эта пьеса и «Борьба за счастье» будут когда-нибудь иметь успех, и убеждена, что первая из них произведет потрясающее впечатление.

Во все время нашей работы нас занимал один личный вопрос: как ни старались мы отодвигать его на задний план, а нам приходилось, наконец, принять то или иное решение. Ни Софья, ни я не были в таком настроении духа, чтобы проводить дома рождественские праздники. Мы по разным причинам рвались обе из Стокгольма и, наконец, решились привести в исполнение свой давнишний план совместного путешествия, который нам никак не удавался до сих пор. После долгих переговоров относительно того, куда именно отправиться, мы нашли наиболее удобным поехать в Париж, так как нам обеим было легче всего войти в литературные и театральные кружки и погрузиться в их интересы, чем мы намеревались заглушить мучившие нас обеих мысли.

И вот в начале декабря мы вместе выехали в Париж. Но как не похоже было это путешествие на ту совместную поездку, которую мы рисовали в своем воображении несколько лет тому назад! Теперь ни одна из нас не ждала себе от нее никаких особенных удовольствий. Путешествие должно было послужить нам вместо морфия: оно должно было помочь нам заглушить мысли о личных заботах и огорчениях. Грустные сидели мы в купэ и глядели друг на друга, чувствуя, каждая за себя, как собственная печаль возрастает от огорчения, написанного на лице визави. Мы провели несколько дней в Копенгагене и посетили тамошних своих друзей и знакомых.

Все удивлялись сильной перемене, происшедшей в наружности Софьи: она страшно похудела, лицо ее покрылось морщинами, щеки ввалились; при этом она сильно кашляла. Кашель этот она схватила в Стокгольме во время царившей там эпидемии инфлуэнцы и так мало береглась при этом, что нельзя было не удивляться тому, как она не слегла в постель.

Как ужасно грустен был наш приезд в Париж, тот самый

приезд, который мы столько раз рисовали себе в самых радужных красках! Мы со станции отправились прямо к Нильсонам за получением своих писем, которых ждали с таким нетерпением. Мы действительно получили их, но принесенные ими известия заставили нас глубоко задуматься.

Мы провели несколько чрезвычайно тревожных и беспокойных недель в этом Париже, который всего год тому назад осыпал Софью изъявлениями своего удивления и уважения, а теперь как будто совершенно забыл о ее существовании.

Мы посетили всех ее и моих друзей, сделали несколько новых знакомств, мы находились с утра до ночи в непрестанном движении, но не в качестве туристов, потому что я за все это время не получила никакого понятия ни о Париже, ни о его достопримечательностях и даже не посетила Эйфелевой башни: весь наш искусственным образом возбуждаемый интерес сосредоточился теперь на людях и театрах, и мы старались по возможности изучать их. Мы точно вертелись постоянно в водовороте, стараясь всеми силами оживить в себе исчезнувший у нас интерес к литературе. Круг наших знакомых представлял пестрое и весьма интересное смешение национальностей и типов.

Средоточием этого маленького кружка была одна из самых интимных подруг Софьи, женщина, которою Софья несказанно восхищалась и которая сильно импонировала ей [1]. С завистью, смешанною с удивлением — характеристическая ее черта,— Софья находила у этой подруги именно те качества, которыми всегда желала больше всего обладать: красоту, редкую грацию, необыкновенное искусство одеваться (каждый раз, когда Софья приезжала в Париж, она заставляла свою подругу выбирать ей платья, но они никогда не имели на ней такого красивого и изящного вида, как на прекрасной польке), уменье составлять около себя избранный кружок поклонников, готовых итти в огонь и воду за малейшую ее улыбку. Меньше всего Софья восхищалась тем, что больше всего ценилось другими у г-жи Я.— ее умом и мужеством. Ум, не обладавший творческою силою, никогда не производил на Софью большого впечатления; что же касается до мужества, т. е. мужества нравственного, то Софья считала, что и она сама в достаточной степени обладает им.

Жизнь, которую вела теперь г-жа Я., после пережитых ею бурь, представлялась Софье идеалом счастья. Вышедшая недавно замуж за молодого человека, боготворившего ее, окруженная друзьями, преклонявшимися перед нею и понимавшими ее, обладавшая собственным прекрасным домом, открытым для всех ее друзей и единомышленников, проживавшая в таком великом ум-

ственном центре, как Париж, и в то же время всецело преданная делу, которое она считала своею миссиею и в которое глубоко верила,— она казалась Софье самою счастливою из всех известных ей женщин.

Она уехала из Парижа, чтобы встретиться с человеком, от которого зависела теперь ее дальнейшая судьба. А я отправилась в тот же вечер в Рим.

При расставании Софья осыпала меня самыми пылкими уверениями в вечной дружбе и самыми убедительными просьбами не забывать этого времени, всегда помнить о нем и в будущем сообщать друг другу обо всех могущих произойти в нашей жизни переменах. Она говорила, что, благодаря тяжелому времени, пережитому ею теперь в Париже, она чувствовала себя гораздо более связанною со мною, чем когда-либо прежде, и обещала написать мне тотчас после встречи с своим другом; я также обещала известить ее обо всем, что случится со мной в Риме. Через несколько дней я действительно получила от нее короткое письмо, но в нем не было и следа радости, горевшей в ней таким ярким пламенем при отъезде и наполнявшей ее такими радужными надеждами.

У меня, к сожалению, не сохранилось это письмо, но вот вкратце его содержание: «Я вижу, что я и он — мы никогда не поймем друг друга. Поэтому я возвращаюсь в Стокгольм к своим занятиям. Только в одной работе могу я теперь найти утешение».

О своих отношениях к М. она сказала мне только одно [1]: она решила никогда больше не выходить замуж; она не желает поступать так, как поступает большинство женщин, которые при первой возможности выйти замуж забрасывают все свои прежние занятия и забывают о том, что они считали раньше своим призванием. Она ни за что не оставит своего места в Стокгольме, пока не получит другого, лучшего, или не приобретет такого положения в литературном мире, которое давало бы ей возможность жить своими литературными заработками. Она не скрыла, впрочем, от меня своего намерения встретиться этим летом с М. и отправиться с ним путешествовать: это самый приятный друг и товарищ, говорила она.

Несколько месяцев спустя мы опять встретились в Стокгольме, куда она приехала в сентябре к началу лекций. Ее искусственная веселость совершенно исчезла, она была очень грустная, печальная и казалась чем-то сильно обеспокоенною, попрежнему ни за что не хотела дать мне заглянуть в свою душу. Она тщательно избегала всякой возможности остаться со мною наедине и вообще выказывала большое равнодушие ко всем нам, несмотря на то, что считала нас до сих пор своими самыми близкими

друзьями. Она, очевидно, всею душою стремилась в другое место, признавая время своего пребывания в Стокгольме временем изгнания и высчитывая постоянно, сколько дней оставалось до рождественских вакансий, когда она собиралась опять уехать за границу. Она находилась, повидимому, в самом отчаянном положении, как бы между двух огней: с одной стороны, она не могла жить с М., а с другой — не могла жить без него; она утратила всякую точку опоры в жизни и была похожа на вырванное из почвы растение, которое нигде не может укорениться и потому вянет.

Последний раз виделась я с Софьею в один из первых дней декабря 1890 г. Она приехала в Диурсгольм, чтобы проститься с нами перед своим отъездом в Ниццу. Никто из нас не предчувствовал, что это наше прощание будет последним. Мы сговорились съехаться в Генуе тотчас после рождества и потому самым мимолетным образом простились друг с другом.

Но это свидание не состоялось по случаю ошибки в адресе на телеграмме, которую мы должны были получить еще до нашего отъезда в Италию. Между тем, как Софья и ее спутник ожидали нас в Генуе, мы проехали через этот город, не имея понятия о том, что они находятся там.

На новый год, который мы собирались провести вместе, она отправилась со своим другом на прекрасное мраморное кладбище в Генуе. Ее лицо вдруг затуманилось, и она вскричала, охваченная тяжелым предчувствием: «Один из нас не переживет этого года, так как мы провели новый год на кладбище».

Несколько недель спустя она отправилась обратно в Стокгольм. Это путешествие, которому суждено было быть последним в ее жизни, оказалось не только самым мучительным из всех сделанных ею в жизни путешествий, но и самым неприятным с внешней стороны.

С сердцем, измученным горечью разлуки, с сознанием, что эти постоянные терзания просто убивают ее, сидела она печальная в купэ железной дороги в холодные морозные зимние дни, представлявшие такой разительный контраст с только что оставленным ею мягким воздухом, насыщенным благоуханием. Этот контраст между пламенным солнечным сиянием у берегов Средиземного моря и северным холодом получил теперь для нее как бы символическое значение, и она начала ненавидеть холод и мрак так же сильно, как любила солнечный свет и запах цветов.

Путешествие ее и в других отношениях было необыкновенно мучительно. По странной иронии судьбы, ей пришлось ехать совсем не по тому пути, по которому она обыкновенно ездила из

Берлина, где остановилась на несколько дней. В Копенгагене царила в то время сильнейшая эпидемия оспы, а она питала такой панический страх к этой болезни, что не решилась провести ночи в Копенгагене, а поехала в объезд через острова. В пути ей пришлось постоянно менять поезда в отвратительную погоду, она схватила сильную простуду. В Фредериции, куда она приехала поздно ночью, в бурю, под проливным дождем, она не могла взять носильщика за неимением мелкой датской монеты, а принуждена была тащить сама свой багаж, измокшая, утомленная, и настолько ослабевшая, что еле держалась на ногах.

Приехав на шестой день в Стокгольм, 4 февраля утром, она почувствовала себя нездоровою. Тем не менее она проработала весь четверг и прочитала лекцию в пятницу, 6-го. Она всегда отличалась большою выносливостью и никогда не пропускала лекций, если была в состоянии держаться на ногах. Вечером она отправилась на ужин в обсерваторию [1]. Но здесь ее начало знобить, и она вышла одна на улицу, не будучи в силах дольше оставаться в обществе. К несчастью, она не нашла извозчика и села в дилижанс; но при всегдашней непрактичности и незнании Стокгольма, она села не туда, куда следовало, и ей поэтому пришлось сделать большой объезд. Одинокая, беспомощная, с смертельною тоскою в сердце, сидела она в дилижансе, дрожа от лихорадки в холодную ночь, раздумывая о своей злосчастной судьбе.

В этот же день утром она говорила моему брату, ректору Высшей школы, о своем желании получить во что бы то ни стало отпуск на апрель, чтобы уехать путешествовать. Всякий раз, когда она в отчаянии возвращалась домой, она находила единственное утешение в том, чтобы строить планы новых поездок. А в промежутки между этими поездками она старалась заглушить свою смертельную тоску и беспокойство усиленною работою. У нее было много планов новых сочинений в голове как в области математики, так и в области литературы, и она с интересом рассказывала о них. Моему брату она развивала план новой математической работы, которая, по его словам, должна была иметь больше значения, чем все созданное ею до сих пор. Эллен Кэй, которая часто виделась с нею в последние дни, она рассказывала содержание многих своих новых повестей, которые у нее были уже почти совсем разработаны в голове. Одна из них, уже начатая, должна была заключать в себе характеристику ее отца, другая, на треть уже оконченная, составляла как бы продолжение «Веры Воронцовой».

Как ни часто прежде Софья призывала смерть, теперь она вовсе не желала умирать.

Но ее болезнь имела такой быстрый исход и носила такой тяжелый характер, что у нее не могло быть времени думать в последние минуты о том, что так часто рисовалось в ее воображении. Единственные слова, указывавшие на предчувствие близкого конца, были произнесены ею утром, 9-го, за двадцать часов до смерти: «Я ни за что не выскочу из этой болезни!», а вечером того же дня: «Мне кажется, что со мною должна произойти какая-то перемена».

Друзья, окружавшие ее постель в немногие дни болезни, не могли достаточно нахвалиться ее добротою, кротостью и терпением: она так много заботилась о других, так боялась обеспокоить окружающих, выражала такую сердечную благодарность за малейшую оказанную ей услугу!

Коротка или продолжительна жизнь, вопрос второстепенный; вся суть в том, насколько она богата содержанием — для себя и для других. А при такой точке зрения жизнь Софьи представляется гораздо длиннее жизни большинства людей. Она жила ускоренною жизнью, пила полною чашею из источника счастья и из источника горя, насыщала свой ум у источника знаний, поднималась на все высоты, на какие может возносить фантазия, и щедро наделяла и других богатством своих знаний, своего опыта, своей фантазии и своих чувств.

Она всегда действовала на окружающих возбуждающим образом, будила в них мысли и чувства,— способность, составляющая отличительную черту талантливых людей, если только они не живут обособленною, эгоистическою жизнью. Ни один человек, вступавший в частые сношения с нею, не мог устоять против ее влияния, не мог не подчиниться увлекательному действию этого живого, искрящегося ума и этого горячего чувства, согревавших своими теплыми лучами всех, кто пользовался ее обществом. Ум ее именно потому оказывал такое плодотворное действие, что она всею целью своей жизни в умственном отношении ставила общность интересов с другими лицами и отличалась полным отсутствием эгоизма. И если в ее мечтаниях, предчувствиях и надеждах примешивалось всегда много фантазии и предрассудков, то в них замечалась, несомненно, и необыкновенная прозорливость.

Когда она в разговоре с вами устремляла на вас свои большие близорукие блестящие глаза, светящиеся умом, казалось всегда, что она проникает в самые сокровенные тайники вашей души. Как часто случалось ей после одного только вскользь брошенного взгляда срывать маску, под которою иные всю свою

жизнь скрывают перед другими, менее проницательными людьми свое настоящее лицо, и как часто открывала она как бы инстинктивно тайные побуждения, скрытые не только для посторонних, но и для тех людей, у которых она их находила.

Ее художественный талант отличался такою же замечательною прозорливостью. Одного отдельного слова, одного, повидимому, совершенно незначительного эпизода, встреченного ею в жизни, было иногда достаточно для того, чтобы открыть ей связь между причиною и следствием и осветить перед нею историю всей жизни. Она во всем искала связи, связи в мире мыслей, связи между событиями жизни, да она пробовала даже отыскивать связь между законами мышления и явлениями жизни, и сознание, что она не может ни видеть, ни понимать чего-либо иначе, как урывками, всегда возбуждало в ней чувство неудовлетворения. Поэтому она часто предавалась мечтам о другой, высшей жизни.

Редко чья смерть вызывала в такой сильной степени всеобщее участие, как смерть Софьи. Почти из всех стран цивилизованного мира, со всех концов его стекались в Высшую школу телеграммы с выражением соболезнования и сочувствия. Начиная от глубоко консервативной петербургской Академии, избравшей ее именно в этом году своим членом-корреспондентом, и кончая учениками воскресных школ в Тифлисе и учительницами народных школ в Харькове, все спешили отдать честь ее памяти. Русские женщины решили поставить памятник на ее могиле в Стокгольме, целые повозки цветов покрывали могильную насыпь на стокгольмском кладбище, скрывавшую ее останки, а все газеты и журналы напечатали статьи в память удивительной женщины, принесшей бо̀льшую честь своему полу, чем кто-либо другой [1].

Ф. ЛЕФФЛЕР

НА СМЕРТЬ С. КОВАЛЕВСКОЙ[1]

Душа из пламени и дум!
Пристал ли твой корабль воздушный
К стране, куда парил твой ум,
Призыву истины послушный?
В тот звездный мир так часто ты
На крыльях мысли улетала,
Когда, уйдя в свои мечты,
О мирозданье размышляла;
Когда, в вечерней тишине,
В глубь неба взор твой погружался
И в темносиней вышине
Кольцом Сатурна любовался
В тех сферах — числа, функций ряд,
Иному следуя порядку,
Тебе, быть может, разрешат
Бессмертья вечную загадку...
Ты преломленье световых
Лучей на призме наблюдала:
Какими т а м ты видишь их,
У родника их и начала?
Со светлой звездной высоты,
С участьем в просветленном взоре,
Ты смотришь в бездну темноты
На землю, на земное горе.
И здесь, порою, он видал,
Как в этот мрак, над всем царящий,
Лился, играя, сквозь кристалл
Свет, от любви происходящий.

Душа из пламени и дум!
В часы надежд и просветленья
Одну любовь считал твой ум
Надежным якорем спасенья.
Прощай! Тебя мы свято чтим,
Твой прах в могиле оставляя:
Пусть шведская земля над ним
Лежит легко, не подавляя...
Прощай! Со славою твоей
Ты, навсегда расставшись с нами,
Жить будешь в памяти людей
С другими славными умами,
Покуда чудный звездный свет
С небес на землю будет литься
И в сонме блещущих планет
Кольцо Сатурна не затмится...

КОММЕНТАРИИ*

К «ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТСТВА»

7 (1). Софья Васильевна Ковалевская родилась 3 января** 1850 г. в Москве, где отец ее, артиллерийский генерал В. В. Корвин-Круковский, занимал должность начальника арсенала.

Василий Васильевич Корвин-Круковский родился около 1800 г., умер в 1875 г. В 1858 г. В. В. Корвин-Круковский вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта и поселился в своем большом имении Палибино, Невельского уезда, Витебской губернии. Был губернским предводителем дворянства. Политические взгляды его были умеренно-консервативные. В семье проявлял себя типичным представителем дореформенного, крепостнического дворянства. Артиллерист по специальности, он был хорошо образован, знал и любил математику, вел знакомство с людьми науки и литературы. В доме Корвин-Круковских бывал профессор математики в артиллерийской академии П. Л. Лавров, гениальный хирург Н. И. Пирогов, талантливый художник Ф. А. Моллер, профессор арабской словесности и журналист О. И. Сенковский. Их имена встречаются в «Дневнике» Е. Ф. Корвин-Круковской, частично опубликованном в моей книге «Сестры Корвин-Круковские». Под конец жизни Василий Васильевич примирился с демократическим направлением своих дочерей Анюты и Софы.

Мать С. В. Ковалевской, Елизавета Федоровна, родилась около 1820 г., умерла в 1879 г. Она была дочерью Федора Федоровича Шуберта (1789—1865) почетного члена Академии Наук, основателя корпуса военных топографов, генерала-от-инфантерии, автора многих ученых трудов. Участвовал в войнах 1806—1814 гг. против Наполеона; тяжело ранен под Прейсиш-Эйлау. Согласно послужному списку, в кампании 1812 г. при отступлении нашей армии был в ариергарде, при преследовании неприятеля — в авангарде. Был при взятии Парижа. После разгрома восстания декабристов энергично защищал участника тайного общества В. Д. Вольховского, товарища Пушкина по Лицею.

Отец Федора Федоровича Шуберта действительный член Академии Наук, известный астроном и математик Федор Иванович Шуберт (1758—

---

* Первая цифра указывает страницу, к которой относится примечание; вторая, в скобках,— соответствующую ей цифру в комментируемом тексте.

** Даты в примечаниях, относящихся к периоду до 1918 г.— по старому стилю; исключения отмечаются.

1825), был одним из крупнейших представителей науки своего времени. В переписке с ним состояли самые выдающиеся ученые, подчеркивавшие значение его научных трудов в области астрономии. П.-С. Лаплас выражал желание, чтобы 3-томный Курс теоретической астрономии» Ф. И. Шуберта (СПб., 1798) был переведен на французский язык. Когда Шуберт издал этот труд в расширенном виде по-французски (СПб., 1822, три тома), то С.-Д. Пуассон благодарил Федора Ивановича от имени французских математиков и астрономов. В 1948 г. профессор Н. И. Идельсон отмечал по поводу опубликованных в сборнике АН СССР «Научное наследство» писем Лапласа, Гаусса, Пуассона, Деламбра, Лакруа и других ученых к Ф. И. Шуберту: «В этих письмах оживает перед нами целая эпоха замечательного расцвета физико-математических наук». В опубликованных письмах к Ф. И. Шуберту «отражаются либо общие проблемы, стоявшие тогда перед наукой, в частности перед астрономией и геодезией, либо вопросы большого принципиального значения, либо некоторые штрихи, любопытные для истории науки в России». Перепиской Ф. И. Шуберта с величайшими западноевропейскими учеными «утверждались роль и значение нашей Академии в развитии астрономической культуры на рубеже XIX столетия».

7 (2). «Воспоминания детства» печатаются в основном по тексту «Литературных сочинений» С. В. Ковалевской, изданных в 1893 г. Текст сверен с черновыми рукописями Софьи Васильевны, хранящимися в Архиве Академии Наук СССР, и с публикацией, появившейся при жизни автора в «Вестнике Европы». О новой главе «Воспоминаний», о других дополнениях и поправках — в примечаниях, дальше. О том, как были написаны «Воспоминания», см. примеч. 1 к стр. 307.

10 (1). Незадолго до отставки В. В. Корвин-Круковский был переведен на службу в Калугу.

10 (2). Анна Васильевна Корвин-Круковская родилась в 1843 г. В 1869 г. выехала в Париж. Здесь вышла замуж за участника I Интернационала Виктора Жаклара; о нем — ряд упоминаний в переписке Маркса и Энгельса. Вместе с мужем Анна Васильевна принимала участие в Парижской Коммуне.

18 (1). В архиве С. В. Ковалевской сохранилась рукопись повести «Воровка» с подзаголовком «Из воспоминаний детства» (33 стр.). В основу повести положен приведенный дальше рассказ о домашней швее Корвин-Круковских и девочке Феклуше. В настоящем издании этому рассказу придано заглавие рукописной повести.

31 (1). Заголовок принадлежит редактору настоящего издания.

32 (1). Гувернер этот, Иосиф Игнатьевич Малевич, был раньше воспитателем сыновей мелкопоместного дворянина Витебской губернии И. Е. Семевского; отсюда перешел в семью одного из братьев В. В. Корвин-Круковского, а затем переехал в Палибино. Поддерживал дружеские отношения со своим воспитанником М. И. Семевским и, по настоянию последнего, написал для «Русской старины» воспоминания о своем пребывании в семье Корвин-Круковских, о детских годах Софьи Васильевны и ее сестры.

38 (1). Образцы стихотворного творчества С. В. Ковалевской на стр. 317 и сл.

44 (1). Е. Ф. Корвин-Круковская очень «обижалась» на отношение к ней мужа, особенно в первые годы их совместной жизни. Горькие сетования на поведение В. В. Корвин-Круковского заполняют почти все страницы дневника Елизаветы Федоровны с января 1843 г. (тотчас после замужества) по 1851 г. Приведу из них несколько небольших выдержек. «Итак я замужем. Будущее мое полно надежд... Я имею очаровательного

мужа» (21 января 1843 г.). «Нет на земле полного, беспрерывного счастья. Одного дня достаточно, чтобы убедиться в этом. Вчера утром я была веселой, оживленной, цветущей, мое сердце прыгало от радости и надежд. А сегодня... Всю ночь я проплакала... У меня появилась робость, доселе чуждая мне» (24 февраля). «Мой муж не позволяет мне принимать участие в жизни света, к которому я принадлежу... Он тверд и я не могу переубедить его. Я совершенно лишена всякого общества» (29 сентября 1845 г.). «День нашей свадьбы. Муж в клубе, где поют цыгане» (17 января 1846 г.). Сентябрьские записи 1847 г. стереотипны: «Я дома, мой муж в клубе», объединены общей репликой: «печальные времена». Однообразие стереотипных записей за 1848 и следующие годы: «Я дома — печальные времена», или записей, отмечающих дни, лишенные событий,— перемежается пометками о посещении родных и прекратилось вместе с «Дневником» осенью 1851 г. Обширные выписки из «Дневника» Елизаветы Федоровны — в моей книге «Сестры Корвин-Круковские».

46 (1). Бер, Поль (1833—1886)— французский физиолог; из его трудов ко времени деревенской жизни Корвин-Круковских вышли «О прививке животных» (1863) и «О живучести животной ткани» (1866).

47 (1). Гельмгольц, Герман (1821—1894) — немецкий естествоиспытатель, физиолог и физик.

Бернар, Клод (1813—1878) — французский физиолог; доказывал зависимость жизненных явлений от материальных причин; его «Лекции по физиологии и патологии нервной системы» (1858) переведены на русский язык в 1866 г.

52 (1). О дяде П. В. Корвин-Круковском говорится также в «Автобиографическом рассказе». С. В. Ковалевской (стр. 139 и сл.). В архиве С. В. Ковалевской сохранилось его письмо к ней от 5 января 1867 г.; здесь дядя называет ее своей сердечной, ненаглядной: «Как бы я счастлив был, если бы мог теперь взглянуть на тебя».

53 (1). Об этих литографированных лекциях и о занятиях С. В. Ковалевской математикой — в «Автобиографическом рассказе» (стр. 140 и сл.).

53 (2). Александр Николаевич Страннолюбский (1839—1903) — преподаватель математики в общих и специальных учебных заведениях. Пользовался большой популярностью в петербургских кружках радикальной молодежи 60—70-х годов. Много работал в области развития женского образования, преподавал на Аларчинских женских курсах, представлявших собой зародыш женского университета. Был сторонником преподавания без принуждения и наград. Ввел в школе обучение ремеслам, экскурсии на заводы и фабрики для ознакомления учащихся с производством. Одна из его учениц, А. П. Прибылева-Корба, пишет, что Страннолюбский «сделал очень много для поднятия уровня знаний у женщин; обучая математике, он вместе с тем умел развивать логическое мышление в своих ученицах». Он говорил им: «Будьте всегда логичны, и вы будете непобедимы». О нем статья В. Е. Прудникова в «Сборнике памяти С. В. Ковалевской» (1951 г.).

54 (1). Дядя С. В. Ковалевской Федор Федорович Шуберт родился в 1831 г., умер в 1877 г. бездетным.

61 (1). Печатается в переводе Софьи Владимировны Ковалевской из шведского издания «Сестер Раевских» (1889, гл. 7, стр. 100 и сл.). Заголовок принадлежит редакции. В переводе имена шведской повести: Раевские и Таня заменены подлинными именами русского текста «Воспоминаний детства»: Корвин-Круковские и Софа. Другие имена и названия в шведском издании соответствуют русскому (Анюта, Илья, Палибино).

72 (1). См. письма С. В. Ковалевской к сестре за VIII—IX 1868 г.

72 (2). Польское восстание возникло в начале 1863 г. и было жестоко подавлено М. Н. Муравьевым-вешателем (1796—1866).

В Дневнике Е. Ф. Корвин-Круковской записано: «1863. Апрель. 16. Наша бедная Витебская губерния... принесла в жертву несколько несчастных повстанцев... 1864. Июня 23. Какой трудный год прошел; сколько бедствий нам угрожало, сколько разочарований, сколько для меня именно неисполненных желаний. Теперь мы живем, как кажется, спокойно и счастливо. Жизнь богатого помещика в хорошем имении, окруженная милыми детьми; чего бы кажется нужно еще для довольства земного? А на деле выходит не так. На душе у каждого своя горькая дума, отравляющая это материальное счастье».

74 (1). «Анюта скучает, желает чего-то неведомого, этих, ей неизвестных, наслаждений жизни; я, смотря на нее, хотя не одобряю ее взгляды на жизнь, но понимаю мечтания и стремления юности, которые мне так дорого достались». (Из Дневника Е. Ф. Корвин-Круковской за 23 июня 1864 г.)

75 (1). К описываемому времени относится встреча Анны Васильевны с Михаилом Ивановичем Семевским (1837—1892), тогда отставным бедным офицером, автором нескольких исторических очерков. Впоследствии он был издателем исторического журнала «Русская старина» (основан в 1870 г., прекратился в 1918 г.). Когда гувернер И. И. Малевич перешел воспитателем в семью В. В. Корвин-Круковского, М. И. Семевский приезжал к нему в Палибино. Малевич решил устроить брак Семевского с Анной Васильевной, которая также увлекалась молодым историком. Этому браку воспротивился В. В. Корвин-Круковский, главным образом из-за бедности жениха.

М. И. Семевский оставил воспоминания о своих посещениях Палибина в 1863 г. Писались они спустя 30 лет, когда герой девичьего романа Анны Васильевны был в высоком чине тайного советника, занимал видные должности в столице. Любопытны в его рассказе отдельные штрихи для характеристики обстановки, в которой этот роман развивался, в которой росли сестры Корвин-Круковские и складывалось их будущее. Эти воспоминания записаны в связи с поездкой их автора в бывшее имение Корвин-Круковских Палибино. «Шесть верст за станцией Сеньково, у самой большой дороги, на холме, в тенистой рощице, подымается каменная часовенька, здесь опочивают останки ген.-лейтенанта В. В. Корвин-Круковского и его жены Елизаветы Федоровны, внучки некогда известного астронома Шуберта. Сухой по внешним своим формам, несколько надутый генеральством, старик Корвин-Круковский лег в могилу, как бы не якшаясь с обыкновенными смертными, не на общем кладбище, а, как видите, особняком,— это отец двух замечательных русских женщин — Анны Васильевны Жаклар и Софии Васильевны Ковалевской. Живо воскресают пред нами воспоминания зимы 1862 (декабрь — январь) — 1863 г. Мы подъезжаем к барскому дому, выстроенному во вкусе барских домов 1830—1840-х годов, с башней, широкими крыльями флигелей; дом этими крыльями как бы принимает гостя в свои объятия. Входим, множество прислуги, дом полон всего, как чаша. Отец, мать, бойкий хорошенький мальчик-сын, гувернер, англичанка-гувернантка, прехорошенькая одиннадцати-двенадцатилетняя девочка — это Софочка, резвушка, знаменитый впоследствии магистр изящных искусств, доктор философии, профессор высшей математики; старшая ее сестра, в то время лет 17 или 18, стройная прекрасная блондинка, с синими, иногда как бы зелеными, глазами и дивною волнистою косою... Мамаша этих барышень полненькая, сама приветливая дамочка, не могущая забыть, что она была

когда-то хорошенькая,— это хозяйка-генеральша; и, наконец, сухой чопорный генерал... вы его так и видите за пасьянсом, vis-à-vis с гувернером его детей... Проходит один лишь день, и оживленная беседа в области литературы со старшей барышней восхищает нас: невольно дивишься, как под сенью деревенского дома, в глуши, в течение нескольких лет почти безвыездной жизни взросла такая прекрасная девушка; она вся дышит возвышенными идеалами жизни; чего-чего только она не перечитала на трех, четырех языках; какое близкое знакомство с историей, какая бойкость суждений в области философии и истории; и все это проявляется в таких простых, очаровательных формах; и вас не гнетет вся эта начитанность, вся эта вдумчивость в прочитанное и изученное. А тут же, в обширном зале, раздается звонкий смех Софочки; резвушка, хорошенькая девочка, встряхивая роскошными кудрями каштановых волос, бегает с мячиком, подбегает к сестре, обнимает ее, целует и снова несется по комнатам. Прелестные дни, очаровательные дни». Много записей о возникавших в доме Корвин-Круковских драмах вследствие отрицательного отношения генерала к сватовству М. И. Семевского — в дневнике Елизаветы Федоровны за 1863 г.

76 (1). Из сказки Перро «Синяя борода». В переводе И. С. Тургенева (изд. 1908 г., стр. 15) это место читается так: «Сестра моя Анна, взойди на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья? — Я вижу, солнце яснеет и зеленеет трава. Я вижу, к нам приближается большое облако пыли». Вскоре приехали братья и освободили Анну.

78 (1). Здесь изложены сцены из романа английского писателя Э.-Д. Бульвер-Литтона (1803—1873) «Эдит — лебединая шея». На ту же тему есть стихотворение Генриха Гейне «Поле битвы при Гастингсе» (Избранные стихотворения, перевод А. Блока и Е. Книпович. М., 1930, стр. 109 и сл.).

80 (1). «Подражание Иисусу» — произведение начала XV в., приписываемое монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471). Основной тон книги — аскетизм, которым сестры Корвин-Круковские увлекались в середине 60-х годов. Об этом много в письмах С. В. Ковалевской за 1868 г.

82 (1). Заголовок принадлежит редактору настоящего издания.

83 (1). В последних двух абзацах изложены мысли мужа С. В. Корвин-Круковской, гениального палеонтолога В. О. Ковалевского, высказанные в его классических трудах: «Остеология анхитерия...» (Киев, 1873). «Остеология... ископаемых копытных» (М., 1875) и др. Главные его труды переизданы в 1948 г. Академией Наук СССР в серии «Классики науки». Кроме того, Академия издает полное собрание сочинений В. О. Ковалевского в трех томах; т. I вышел в свет в 1950 г.

83 (2). См. письма С. В. Ковалевской к сестре Анне Васильевне, В. О. Ковалевскому, Ю. В. Лермонтовой за 1868—1870 гг.

84 (1). Известная в истории русского общественного движения Знаменская коммуна (в Петербурге, на Знаменской улице) основана писателем-демократом В. А. Слепцовым (1836—1878). Никаких ужасов, распространявшихся реакционным дворянством, там не было, но члены коммуны действительно вели все хозяйство личным трудом. Подробности о коммуне — в «Записках» Е. И. Жуковской (стр. 154 и сл.). Рассказывают о коммуне А. Я. Панаева (стр. 357 и сл.), А. М. Скабичевский (стр. 226 и сл.).

86 (1). Журнал «Русский вестник» основан М. Н. Катковым в 1856 г. в Москве. Там печатались «Отцы и дети» Тургенева, обличительные «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова, говорилось о либеральных реформах. После падения крепостного права, а особенно в связи с польским восстанием 1863 г., Катков перешел на сторону политической реакции.

«Эпоха» — журнал Ф. М. Достоевского, выходивший в Петербурге с 1863 г. вместо закрытого правительством по недоразумению журнала «Время» (с 1861 г.). Оба были «самобытно-почвеннического», по замыслу редакторов, а на деле — националистически-консервативного направления. Здесь в 1864 г. напечатаны две повести А. В. Корвин-Круковской (см. стр. 66 и сл.).

«Современник» — журнал, основанный в 1836 г. в Петербурге А. С. Пушкиным. С 1847 г. журналом руководил Некрасов, привлекший к участию в нем Белинского, Герцена, Гончарова. С 1854 г. под руководством Н. Г. Чернышевского, а позднее — его же совместно с Н. А. Добролюбовым журнал стал органом революционной демократии. В 1866 г. журнал закрыт царским правительством.

«Русское слово» — журнал, выходивший с 1859 г. в Петербурге; орган радикальной разночинной интеллигенции, выразитель «нигилистических идей» 60-х годов; издавался при участии Д. И. Писарева, В. А. Зайцева, Г. Е. Благосветлова, Н. В. Шелгунова, А. П. Щапова и др.; закрыт в 1866 г. правительством за «развращающее влияние на молодежь».

«Колокол» — журнал, издававшийся А. И. Герценом в Лондоне и Женеве с 1857 по 1868 год. Журнал переправлялся в Россию нелегально. На его страницах Герцен призывал к борьбе против крепостничества и самодержавия. В. И. Ленин отмечал: «Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12).

«Колокол» пользовался огромной популярностью в широких кругах русского общества и имел большое значение в деле воспитания революционно-демократической русской интеллигенции того времени.

87 (1). См. письма С. В. Корвин-Круковской к В. О. Ковалевскому от 25 июля и 1 августа 1868 г.

93 (1). Имеющийся в архиве С. В. Ковалевской черновой набросок этого «письма Достоевского», относящегося к середине августа 1864 г., показывает, что к концу 80-х годов оно сохранилось в ее памяти вовсе не «слово в слово». Опуская много отдельных слов, замененных при окончательной отделке «письма», и перестановок частей фраз, отмечу в дальнейшем в прямых скобках в тексте и в настоящих примечаниях наиболее существенные отличия черновика от печатного текста.

93 (2). В рукописи всей этой фразы нет.

93 (3). В рукописи: «обаяние неподдельного чувства... истинной веры в жизнь».

93 (4). Вместо «в будущем же», в рукописи: «в одном из ближайших». В действительности рассказ А. В. Корвин-Круковской «Сон» напечатан именно «в ближайшем» номере «Эпохи» — № 8, за август 1864 г.

94 (1). В рукописи, вместо последних четырех слов: «каковы обстоятельства вашей жизни».

94 (2). Вместо последней фразы, в рукописи: «Все это важно мне знать, чтобы составить себе понятие о вас и о вашем таланте».

94 (3). А. В. Корвин-Круковская писала Достоевскому в пору наивысшего обострения его личных обстоятельств. Незадолго до того (15 апреля 1864 г.) умерла его первая жена Марья Дмитриевна (Исаева). Сам он переживал в это время свой трагический роман с А. П. Сусловой, тогда незавершенный и долго еще волновавший его. Дела «Эпохи» были очень печальны. На руках Федора Михайловича, вдобавок ко всему, была семья его брата М. М. Достоевского, умершего в первой половине июля 1864 г. Писатель изнемогал под гнетом всех обрушившихся на него бед, осложнен-

ным постоянным безденежьем. В это время, когда все стало вокруг Достоевского холодно и пустынно, он получил от Анны Васильевны письмо и рассказ «Сон». Достоевский заинтересовался рассказом и напечатал его в ближайшем номере журнала. Автору немедленно перевели гонорар, хотя тяжелое материальное положение журнала и чрезвычайно запутанные собственные денежные дела заставляли Достоевского расплачиваться с другими сотрудниками почти всегда с запозданием. Между редактором «Эпохи» и автором «Сна» завязалась тайная переписка через палибинскую экономку Корвин-Круковских и петербургскую подругу Анны Васильевны, дочь петергофского дворцового коменданта А. М. Евреинову.

95 (1). В рукописи после этого (не зачеркнуто): «случайно попавшей в наше захолустье, в наш медвежий или генеральский уголок, как мы прозвали наш уезд, так как в нем медведи и старые генералы в отставке составляли выдающуюся черту».

95 (2). После этого в рукописи (не зачеркнуто): «Женщина-писательница была для моего бедного отца олицетворением всякой мерзости. Он относился к ним с наивным ужасом и негодованием и считал каждую из них способной на все нехорошее. Я невольно вспоминала его, когда прочла у Некрасова в характеристике одного из его героев:

Он страстно осуждал Жорж Занд
за то, что носит панталоны.

Эти строки — из стихотворения «Прекрасная партия» (1857 г.); правильное чтение: «И строго осуждал Жорж Занд, что носит панталоны».

95 (3). Ростопчина, Евдокия Петровна, рожденная Сушкова (1811—1858),— поэтесса. Пушкин, Жуковский, Лермонтов ценили ее изящный по форме, звучный стих. Белинский, признавая «поэтическую прелесть» стиха и «высокий талант» Р., отмечал пустоту ее поэзии, ее служение «богу салонов». Нашумело ее стихотворение «Насильственный брак» (1845 г.), где изображены отношения русского царизма к Польше — угнетенной жене грозного деспота. Под конец своей поэтической деятельности Ростопчина писала в реакционном духе.

97 (1). «Ванька» — легковой извозчик.

97 (2). Из стихотворения Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало» (1862 г.), напечатанного в «Современнике» (№ 1 за 1862 г.). Слово «боюсь» в первой и третьей строках взято здесь из других строк (Соч., т. VI, стр. 271).

97 (3). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «Таково было содержание первой повести моей сестры; но главное достоинство ее заключалось совсем не в фабуле, а в той жизненности, в той реальности, с которой она сумела передать порывы своей героини. Она пережила их, расхаживая в... Особенно хорошо удались ей тоже картины счастья перед Лидией. Она сама так часто рисовала себе эти картины; она так жаждала этого счастья, так верила в его возможность». Излагая по памяти содержание первой повести Анны Васильевны через 25 лет после ее напечатания, Ковалевская несколько спутала ее со второй повестью своей сестры (см. следующее примечание).

97 (4). Вторая повесть А. В. Корвин-Круковской, «Послушник», обширнее первой по объему. Достоевский высказал Анне Васильевне свое мнение о второй повести в большом письме от 14 декабря 1864 г. при посылке гонорара: «Милостивая государыня Анна Сергеевна! Я вам пишу: А н н а С е р г е е в н а, а наверное не знаю. И потому будьте так добры, уведомьте меня, правильно ли пишу или нет. Посылаю вам 181 р. (сто

восемьдесят один рубль) за вашу повесть «Послушник», которая напечатана в «Эпохе» в 9-м (сентябрьском) № под названием «Михаил». Название «Послушник» было не то, чтоб запрещено, а забраковано духовной цензурой. Эту повесть дух[овная] ценз[ура] первоначально запрещала, и потому я должен был согласиться на многие вымарки и исправления. Некоторые из этих исправлений и по моему личному убеждению были нужны... При этом прибавлю, что величайшее умение писателя — это уметь вычеркивать. Кто умеет и кто в силах с в о е вычеркивать, тот далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное — не повторять уже сказанного или и без того всем понятного... Повесть ваша («Михаил») всем близким к редакции людям и постоянным нашим сотрудникам очень понравилась... «Сон» же — не всем. Мое мнение вы знаете. Вам не только можно, но д о л ж н о смотреть на свои способности с е р ь е з н о. Вы — поэт. Это уж одно много стоит... Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное».

Вторая повесть Корвин-Круковской напечатана в следующей же книге журнала после первого рассказа: ею открывается сентябрьский номер «Эпохи». Так поступали тогда очень редко даже с произведениями знаменитых писателей.

97 (5). О свиданиях С. В. Ковалевской с Достоевским «несколько лет спустя» — в 1876—1877 гг.— см. дальше, стр. 247 и сл. В рукописи после отмеченного текста зачеркнуто: «Когда много лет спустя Достоевский принес нам... мы тогда часто виделись».

98 (1). В рукописи зачеркнуто: «Весь дом полон гостями, которые рады всякому случаю посплетничать, сочинить какую-нибудь историю про палибинских барышень».

101 (1). В архиве Достоевского в Пушкинском Доме при Академии Наук СССР (Институт русской литературы) сохранилось письмо к нему В. В. Корвин-Круковского от 14 января 1866 г., из которого видно, что отец Анюты так и не познакомился с писателем и не изменил своего презрительного отношения к «журналисту и бывшему каторжнику», однако разрешил дочери встречаться с Достоевским в Петербурге под наблюдением матери. Письмо В. В. Корвин-Круковского — в Приложениях.

102 (1). В рукописи после этих слов — незачеркнутая заключительная фраза: «Но я боюсь вспомнить о ней; вспомнишь — потом не кончишь».

103 (1). В рукописи заголовок: «Мое знакомство с Федор Михайловичем Достоевским».

103 (2). См. это петербургское письмо от 28 февраля 1865 г. в Приложениях.

105 (1). К этому месту «Воспоминаний детства» относится сохранившийся в рукописи С. В. Ковалевской, на 17 листах, рассказ о Достоевском, не включенный ни в текст «Вестника Европы», ни в отдельное издание 1893 г. Рукопись — в архиве Академии Наук СССР, в бумагах М. М. Ковалевского (см. дальше, стр. 124 и сл.).

106 (1). В рукописи: «мифическим».

106 (2). В «Материалах» О. Ф. Миллера возникновение эпилепсии отнесено к досибирскому периоду жизни Достоевского — под влиянием известия об убийстве его отца крепостными крестьянами. До Сибири припадки случались редко. Усилились и участились они под тяжелым влиянием каторги. Рассказ о происхождении болезни вследствие наказания Достоевского на каторге розгами отвергался им самим и многими другими.

107 (1). В рукописи после этого — не зачеркнуто: «и, вероятно, таки и взаправду видел и испытал все, что описывает».

108 (1). Рассказ об изнасиловании десятилетней девочки использован Достоевским в девятой главе романа «Бесы» и не был известен в печати до революции. Опубликован в «Былом» в 1922 г. Во вступительном очерке В. Л. Комарович дал обстоятельный разбор легенды, связанной с этой главой: по слухам и различным намекам в литературе, этот рассказ будто бы отражает факт из личной жизни Достоевского. В. Л. Комарович опровергает этот вымысел.

109 (1). Эти строки относятся к известному русскому военному писателю и военному министру 60—70-х годов Д. А. Милютину. Он сам, а особенно его жена и две дочери часто бывали у С. В. Ковалевской в Петербурге во второй половине 70-х годов.

110 (1). В рукописи, вместо слов «дальний родственник...», было: «дальний родственник — полковник генерального штаба», и приписано над строкой: «Андрей Иванович Косич — не для печати». В дальнейшем, в окончательном тексте, все места, относящиеся к Косичу, изменены таким же образом, и объект ревности Достоевского превращен в «немчика». Сделано это для того, чтобы отвести внимание читателя от Косича, который в 1890 г., когда впервые печатались «Воспоминания», был популярен как один из либеральных администраторов.

110 (2). Андрей Иванович Косич родился в 1833 г. Происходил из дворян Черниговской губернии. В 1860 г. окончил Академию генерального штаба. Участвовал в Крымской войне, в войне 1877—1878 гг. С 1881 г.— начальник штаба Киевского округа. С 1887 г.— саратовский губернатор. С 1891 г.— командир 4-го армейского корпуса, с 1895 г.— помощник командующего войсками Киевского округа, с 1901 г.— командующий войсками Казанского округа. В 1905 г. назначен членом Государственного совета. Назывался кандидатом в «конституционное» министерство С. Ю. Витте. Часто выступал в печати с очерками публицистического и мемуарного характера.

В. Г. Короленко записал в Дневнике под 15 апреля 1893 г. рассказ о жестоком «усмирении» при Косиче саратовских крестьян, позволивших себе оспаривать права помещика князя Щербатова на получение с них арендных денег за их, крестьянскую, землю («Дневник», т. I, Полтава, 1925, стр. 261 и сл.). См. также замечание В. И. Ленина в книге. «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?» о речах «знаменитых российских помпадуров, каких-нибудь Барановых или Косичей!» (Соч., т. 1, стр. 245).

С Софьей Васильевной А. И. Косич поддерживал родственные отношения до самой ее смерти.

110 (3). После этого в рукописи было: «часто приезжал к нам в деревню и ухаживал за сестрой, но тоже в меру, не торопясь».

111 (1). В рукописи после этих слов — не зачеркнуто: «которые называют себя христианами».

111 (2). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «на этого редкого зверя — русского писателя, говорящего такие несуразные вещи».

112 (1). В рукописи этот абзац начинался иначе: «На следующий день он, однако, опять явился к нам».

112 (2). В рукописи после этих слов — не зачеркнуто: «Она поняла, что имеет над ним власть, и стала ею злоупотреблять».

112 (3). Вместо этой фразы в рукописи было: «Если при его приходе она была занята каким-нибудь делом, например шила, то, поздоровавшись с Федором Михайловичем, продолжала работать, хотя и видела, что это злит его необычайно. Достоевский становился пасмурнее осенней ночи, но не уходил, а садился в угол и дулся».

112 (4). В рукописи было: «Отчего вы сегодня такая? — Устала, не в духе,— отвечает сестра».

113 (1). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «И это развитая девушка, это русская писательница! — негодует Федор Михайлович.— Быть писательницей не значит записаться в монахини,— резонно замечает сестра».

118 (1). С. В. Корвин-Круковской было в это время 15 лет.

121 (1). Знакомство Ф. М. Достоевского с А. В. Корвин-Круковской и сватовство к ней составляют значительный эпизод в его жизни, хотя, вопреки его заявлению (в передаче С. В. Ковалевской), любовь к Анне Васильевне не захватила все его существо. Через полтора года после встречи с Анной Васильевной он рассказал об этом сватовстве своей стенографистке А. Г. Сниткиной, вскоре ставшей его женой. В «Воспоминаниях», написанных по современным дневникам и стенографическим заметкам, А. Г. Достоевская так передает рассказ мужа о том, почему не завершился его роман с Корвин-Круковской: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива». Сохранились письма А. В. Корвин-Круковской к А. Г. Достоевской (см. в Приложениях).

122 (1). После встреч и бесед с Анной Васильевной в 1865 г. Достоевский продолжал переписываться с ней, делился личными переживаниями, сообщал планы литературных замыслов, собирался даже приехать в Палибино. Однако в имение Корвин-Круковских не поехал. Не установлено также, виделся ли он с Анной Васильевной зимою 1865/66 г., но сохранилось письмо М. И. Семевского к Ф. М. Достоевскому от 27 февраля 1866 г. с извещением о приезде в Петербург Е. Ф. Корвин-Круковской с дочерьми. До нас дошло также письмо к Достоевскому от А. М. Евреиновой из Петергофа, помеченное 24 ноября, без года. А. Г. Достоевская правильно уточнила дату, приписав год — 1865 г. Евреинова посылала письмо с «верной прислугой». «Научившись уважать» Достоевского от Анны Васильевны, которая с нетерпением ждет его ответа, Евреинова просит его «доверить» ей «хотя несколько слов, которые завтра же отправятся радовать нашу славную Анну Васильевну». При этом подруга Корвин-Круковской заверяет, что письмо, посланное через нее, не будет прочитано посторонними.

Неизвестны письма Анны Васильевны к Достоевскому за это время, хотя он сам с сожалением сообщал в мае 1868 г. А. Н. Майкову о том, что к нему в Женеву не дошло «чрезвычайно важное» письмо его «прежней знакомой» А. В. Корвин-Круковской.

Встречи Достоевского с Анной Васильевной возобновились и были часты в 70-х годах, когда она жила в Петербурге со своим мужем. Отражение этих встреч — в письмах Достоевского к жене, в воспоминаниях последней, в письмах Анны Васильевны к нему и его жене. А. Г. Достоевская свидетельствует о дружеских и частых встречах Федора Михайловича с А. В. Жаклар: «Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда, лет шесть спустя после свадьбы, я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренно полюбили друг друга.

Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми; но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким больным и раздражительным человеком, каким часто, вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович. К тому же она тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять много внимания семье... Лето [1878 г.] началось для нас очень приятно: в Руссу приехала на сезон А. В. Жаклар-Корвин с семьей, которую мы оба очень любили. Муж почти каждый день, возвращаясь с прогулки, заходил побеседовать с этой умной и доброй женщиной, имевшей значение в его жизни».

В ленинградском архиве Достоевского сохранилось относящееся к 1879 году письмо к нему Анны Васильевны, которое приводится в Приложениях (стр. 341 и сл.).

А. Г. Достоевская после смерти мужа оказала значительную услугу Анне Васильевне. В связи с покушением на Александра III (1 марта 1887 г.) царские жандармы решили выслать Жаклара из России как радикального журналиста, имеющего связи с русскими подпольными организациями. Известие об этом едва не убило больную Анну Васильевну, которую муж должен был взять с собою в Париж. В два дня собрать тяжело больную женщину было невозможно, и А. Г. Достоевская просила К. П. Победоносцева устроить высылаемому коммунару отсрочку. Департамент полиции дал Жаклару отсрочку в 10 дней. В архиве Достоевских сохранилась французская записка Жаклара к Анне Григорьевне с благодарностью за ее хлопоты.

В своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская говорит о самом Жакларе мельком. В небольшой заметке, найденной мною в ее архиве, есть интересное замечание о Жакларе, характеризующее также отношение Достоевских к бывшему коммунару: «Федор Михайлович и я были очень дружны с Анной Васильевной, хотя совсем не любили ее несколько фатоватого и «либерального» мужа... Не симпатизируя нисколько самому Жаклару, но исключительно сочувствуя положению его больной жены, я решила оказать ей дружескую услугу и тотчас поехала к К. П. Победоносцеву».

124 (1). О происхождении этого рассказа см. примеч. 1 к стр. 105. Кроме личных воспоминаний по рассказам самого Достоевского, Софья Васильевна, несомненно, пользовалась при написании этой главы появившимися до 1889 г. в печати воспоминаниями Федора Михайловича, его «Дневником писателя», соответственными местами его беллетристических произведений, воспоминаниями А. П. Милюкова и других лиц о Достоевском.

В несколько сокращенном виде этот рассказ входит составной частью в напечатанную при жизни Ковалевской по-шведски переделку «Воспоминаний детства» — «Из русской жизни — Сестры Раевские» (Стокгольм, 1889), где имена всех действующих лиц, в том числе и Достоевского, сохранены, кроме имен и фамилии членов семьи Корвин-Круковских; имена последних слегка видоизменены, а фамилия заменена фамилией «Раевские». Наиболее существенные поправки и зачеркнутые в рукописи места указаны здесь или в тексте — в прямых скобках; мелкие разночтения не отмечаются.

124 (2). Вся фраза зачеркнута.

124 (3). После этого: «причуда» и зачеркнуто.

124 (4). Было написано: «понятием», зачеркнуто и продолжено как в тексте.

124 (5). Начиналась эта фраза так: «Около 1825 г.», но зачеркнуто. В комментируемом месте, после слова «такого», было еще: «полного» и зачеркнуто.

124 (6). В рукописи: «1836 г.».

124 (7). После этого было еще: «в виде пышных цветков».

125 (1). Дальше было: «такому фанатическому поклоннику» (зачеркнуто).

125 (2). Осип Иванович Сенковский (1800—1858) — профессор восточных языков в Петербургском университете, журналист. Писал в редактируемой им «Библиотеке для чтения» (1834—1856) по всем вопросам знания и во всех родах литературы. Особенно был известен под одним из многочисленных псевдонимов: «Барон Брамбеус». Беспринципнейший и пошлейший шут в литературе, Сенковский умел угождать вкусам мелкого мещанства и лакейства («никогда никаких идей, пишите весело, давайте только то, что общественный желудок переварит, от идей у него завалы, особенно от либеральных»).

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — ходульно-патриотический романист и драматург, враг литературного реализма, пользовавшийся защитой III отделения от прогрессивной критики.

125 (3). Хороший знаток восточных языков и литературы, которые он с 1829 г. преподавал в Петербургском университете, Сенковский в молодости путешествовал по Азии и Африке, хорошо знал их быт и историю, но свои экзотические романы и повести наполнял главным образом беззастенчивым заимствованием у европейских писателей. Из Петербурга Сенковский выезжал часто.

126 (1). Свои многочисленные пошлые похождения Сенковский разглашал сам, заявляя, что они служат ему отдыхом от напряженной журнальной работы.

126 (2). Журнал «Библиотека для чтения» был хорошо поставлен в коммерческом отношении, так как пользовался поддержкой правительства. В 30—40-х годах XIX в. это — самое распространенное издание. Имел до 7000 подписчиков — цифра небывалая для того времени; отсюда непомерное преувеличение в передаче Ковалевской.

126 (3). Несмотря на отрицательное отношение к Некрасову, как своему политическому противнику, Достоевский всю жизнь признавал его большой поэтический талант и ставил его наряду с Пушкиным. Много таких высказываний в «Дневнике писателя». В 1845 г. Достоевский написал вместе с Некрасовым шуточную повесть «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (Соч., т. I, стр. 215 и сл.; см. примечание там же, стр. 295).

126 (4). Хорошо знавший Некрасова еще в 40-х годах, Достоевский не мог говорить о деньгах, данных поэту его отцом; сама Ковалевская могла знать из обширной литературы о Некрасове, что он в молодости бедствовал. «Современник» перешел к Некрасову в 1847 г.

127 (1). Вся фраза зачеркнута.

127 (2). И. С. Тургенев уже в 1843 г. выпустил отдельной книжкой поэму «Параша», Л. Н. Толстой появился впервые в печати в 1852 г., М. Е. Салтыков — в 1847 г., А. Н. Островский — в 1847 г.

127 (3). «Бедные люди» Достоевского появились в январе 1846 г. в «Петербургском сборнике» Некрасова.

128 (1). После этого было: «как рассказывал мне потом Григорович» (зачеркнуто).

128 (2). В рассказе о «Бедных людях» и Белинском С. В. Ковалевская почти дословно повторяет рассказ Достоевского об этом в «Дневнике писателя» за январь 1877 г. (глава 2, § 4). В «Дневнике» только нет фразы о «грязном, дешевом разгуле», а говорится о чтении с приятелем «Мертвых душ»

128 (3). Слово «мне» зачеркнуто в рукописи.

128 (4). Снова почти буквально повторение текста «Дневника писателя».

128 (5). И. С. Тургенев выступил в печати с первым прозаическим произведением — повестью «Андрей Колосов» в 1844 г.; одновременно с «Бедными людьми» Достоевского в «Петербургском сборнике» напечатана повесть Тургенева «Три портрета»; в «следующем» (1847) году напечатаны: в «Современнике» — «Хорь и Калиныч», в «Отечественных записках» — «Бреттер». И. А. Гончаров напечатал первое свое произведение — повесть «Обыкновенная история» в февральской книге «Современника» за 1847 г. А. И. Герцен печатался с 1836 г.; в 1847 г. был выпущен приложением к № 1 «Современника» его роман «Кто виноват?», печатавшийся в «Отечественных записках» с 1845 г.

Для характеристики литературно-критических взглядов Софьи Васильевны большое значение имеет ее статья о писательской деятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина. Очерк этот был при жизни Ковалевской напечатан в шведском журнале. Пыталась она напечатать статью о Салтыкове во французском журнале; переговоры об этом вела Ольга Герцен-Моно. Но редактор журнала заявил, что «слишком много написано в последнее время о русских авторах». В русских изданиях очерк не мог появиться вследствие цензурного запрета; опубликован в переводе с французской рукописи Софьи Васильевны («Литературное наследство», вып. 13—14, 1934, стр. 545 и сл.; ср. в сб. «Памяти С. В. Ковалевской» 1951 г., стр. 56 и сл.).

Хотела также Софья Васильевна писать о Л. Н. Толстом, знакомила зарубежных читателей с Добролюбовым и другими представителями русской литературы через шведских и других переводчиков.

129 (1). После этого было еще в рукописи: «в политической жизни России» (зачеркнуто).

129 (2). Весь абзац в рукописи зачеркнут.

129 (3). Отдельные кружки, из которых сложилось тайное общество петрашевцев, возникли в середине 40-х годов XIX в. Главный деятель их, по имени которого названо общество,— Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821—1866). Достоевский примкнул к обществу осенью 1848 г., хотя был знаком с Петрашевским и посещал его еще за три года до раскрытия организации. Военный суд приговорил Достоевского за участие в кружках Петрашевского, «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева — лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Генерал-аудиториат (высшая инстанция) предлагал лишить Достоевского «всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет». Николай I заменил приговор следующей резолюцией: «на 4 года, а потом рядовым». Но «милости» генерал-аудиториата и царя были объявлены Достоевскому и его товарищам только на эшафоте. После того как пред ними была полностью проделана жуткая процедура приготовления к смертной казни, вплоть до увещания священника «покаяться» перед смертью, была разыграна комедия «помилования» с прискакавшим от имени царя фельдъегерем и т. п. Упоминаемое в приговоре письмо Белинского — знаменитое письмо к Гоголю по поводу его

реакционной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Подробности — в книге Н. Ф. Бельчикова о Достоевском.

129 (4). После этого в рукописи — подробный, много раз в литературе повторявшийся и у самого Достоевского встречающийся рассказ об аресте петрашевцев и суде над ними. Опускаю здесь то, что в изложении С. В. Ковалевской не дает ни одного дополнительного штриха к литературным источникам. Дальше, о сцене казни, изложено у Ковалевской в соответствии с «Материалами» О. Ф. Миллера.

130 (1). Товарищ — С. Ф. Дуров.

130 (2). Это было арестантское платье для осужденных.

130 (3). Товарищ — Н. А. Момбелли.

130 (4). Это П. Г. Шапошников.

130 (5). Рассказ о солнечных лучах сходен с изложением переживаний ожидающего смертной казни через расстрел в романе Достоевского «Идиот» (т. I, ч. 2, гл. 5, рассказ князя Мышкина Аглае Епанчиной).

130 (6). На этом рассказ о сцене казни в рукописи С. В. Ковалевской обрывается.

131 (1). В рукописях С. В. Ковалевской, в архиве Академии Наук СССР, сохранился на двух листках набросок (по-русски) к автобиографической повести «Сестры Раевские», написанной по-шведски. В этой повести Ковалевская использовала почти дословно свои «Воспоминания детства», изменив личные местоимения, придав сестре, матери и другим членам семьи Корвин-Круковских имена Раевских (Таня, Аня, Елена) и соответственно отредактировав текст. В упомянутом наброске — не включенный автором в «Воспоминания» любопытный рассказ Тани Раевской (Софьи Ковалевской) о ее детской влюбленности в Достоевского, который в повести назван своей настоящей фамилией. Рассказ начинается с половины фразы о переживаниях 14-летней девочки, влюбленной в 44-летнего писателя, и дополняет соответственный текст «Воспоминаний детства». Заголовок принадлежит редактору настоящего издания.

131 (2). Весь следующий текст до конца абзаца зачеркнут.

131 (3). После этого в рукописи еще: «каждое его слово, каждая наудачу брошенная им мысль принимали в ее глазах особенное значение, старалась понять тайный» (зачеркнуто).

131 (4). «Переживала мыс» зачеркнуто, и на этом рассказ обрывается.

К «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМ ОЧЕРКАМ»

135 (1). Представлено С. В. Ковалевской в Геттингенский университет в июне 1874 г., при диссертации на степень доктора философии (по математическому факультету). Написано по-латыни. Напечатано Г. Миттаг-Лефлером в его статье «Вейерштрасс и Софья Ковалевская», стр. 147 и сл.

135 (2). В официальных документах, в сообщениях родных и друзей С. В. Ковалевской, во всех биографических очерках, напечатанных после ее смерти, дата ее рождения: 3 (15) января 1850 г.

135 (3). Об отношении гейдельбергских профессоров к вопросу о допущении С. В. Ковалевской в университет см. ее письмо к Ю. В. Лермонтовой от 16 (28) апреля 1869 г.

136 (1). К. Вейерштрасс и сам писал геттингенскому математику Л. Фуксу, что Ковалевской следует присудить ученую степень без защиты диссертации. В письме от 27 июня 1874 г. он заявляет, что Ковалевская сильна в различных отделах математики и несомненно сделает в науке нечто

существенное. Он сам допустил бы каждую из представленных ею работ в качестве диссертации. А так как Ковалевская представляет несколько работ, то Вейерштрасс считает справедливым, чтобы ей была присуждена степень без личной защиты. Вейерштрасс уверяет, что имел мало учеников, которых можно было бы сравнить с Ковалевской по способности к восприятию и к собственному суждению.

В письме от 3 июля Вейерштрасс касается сообщения из Геттингена о том, что в факультете возникло сомнение по вопросу о присуждении Ковалевской ученой степени. Факультет встретил затруднение в том, что Ковалевская не занимает никакой официальной должности и даже не домогается таковой. Вейерштрасс напоминает, что Геттингенский университет присуждал ученые степени иностранцам при таких же условиях. Что касается заочного присуждения, то Вейерштрасс просит об этом не потому, что у Ковалевской недостает знаний. В этом отношении она сильна, как редко бывает силен кандидат. Но Ковалевская до сих пор вела замкнутый образ жизни. Вследствие этого она застенчива и не может свободно говорить с чужими. К этому присоединяется необыкновенная умственная подвижность ее. Мысли ее текут быстро, слова не могут поспеть за ними, особенно на чужом языке. Вейерштрасс уверяет, что нет никаких причин подвергать Ковалевскую экзамену, но он горячо желает, чтобы она получила степень. В письме от 21 июля Вейерштрасс передает факультету просьбу Ковалевской: если факультет откажет в заочном присуждении степени, то пусть объяснит этот отказ не тем, что она женщина, а невозможностью присудить степень без экзамена. Быть может, Ковалевская преодолеет застенчивость и явится в университет для испытания. Но Вейерштрасс все-таки горячо просит освободить Ковалевскую от экзамена. При ее молодости и нежном сложении возбуждение от экзамена может вредно отразиться на ней. Факультет должен согласиться, что студент, самостоятельно занимающийся исследованиями, подобными тем, которые выполнила Ковалевская, представляет собою нечто необычайное.

136 (2). Печатается по тексту, опубликованному в книге А.-Ш. Леффлер о Ковалевской (стр. 125—127).

136 (3). Такие же мотивы выставляет Вейерштрасс в упомянутом выше письме от 3 июля.

137 (1). Записано С. В. Ковалевской в «Альбом» М. И. Семевского. Напечатано в «Русской старине» за 1891 г. (№ 9, стр. 640 и сл.).

138 (1). Из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая».

138 (2). Печатается по тексту журнала «Русская старина» (1891, № 11, стр. 450—463). Представляет собою стенографическую запись рассказа С. В. Ковалевской в мае 1890 г. в редакции названного журнала. Просмотрено и подготовлено к печати братом Софьи Васильевны Ф. В. Корвин-Круковским.

139 (1). О дяде Корвин-Круковском см. в главе 5 «Воспоминаний детства».

141 (1). В «Воспоминаниях детства» учитель не назван. Здесь его фамилия упомянута, несомненно, под влиянием редактора «Русской старины» М. И. Семевского — ученика и друга Малевича.

142 (1). И. И. Малевич напечатал при жизни С. В. Ковалевской «Воспоминания» о своей ученице. Прочитав в комментируемом рассказе строки, отмеченные настоящим примечанием, Малевич прислал Семевскому обширное и сердитое разъяснение, оставшееся ненапечатанным. Приведу из рукописи несколько отрывков, интересных для биографии Ковалевской. «В 1887 г.

я возобновил переписку с С. В. по случаю принятого ею предложения Стокгольмского университета и вскоре получил любезное письмо с изъявлением искренней благодарности за девятилетнее мое преподавание, проложившее ей дорогу к высшим знаниям. В следующем, 1888 г., когда С. В. за научный подвиг получила высшую награду от Парижской академии наук, я был так обрадован, что решился написать воспоминания о ее учебных трудах в течение девяти лет в последующем времени до получения ею высшей ученой степени, с целью сохранить материал для биографии и ознакомить наше общество с женщиною-феноменом. Поздравляя ее с великим научным успехом, я сообщил, что пишу «Воспоминания» о моих педагогических трудах с нею, которые ты желаешь поместить на страницах «Рус[ской] старины». Это, повидимому, ее как будто встревожило. Она писала мне из Парижа, что боится быть в печати, а потому убедительно просит: нельзя ли прислать мою рукопись для сличения с ее собственными «Воспоминаниями», которые она пишет по просьбе некоторых своих друзей; что же касается портрета ее для моих «Воспоминаний», то немедленно вышлет, теперь же посылает решение ею вопроса о движении твердого тела вокруг неподвижной точки, напечатанное в журнале «Acta mathematica». А потому я послал в Париж четыре тетради воспоминаний с представлением полного права сделать не только какие-либо поправки, но и выпускать хоть целые страницы, если они ей не нравятся.

В сентябре месяце, на возвратном пути в Швецию, С. В. уведомила меня в большом письме из Берлина, что хотя она прочитала с большим интересом мои «Воспоминания», но, желая, по моему дозволению, выпустить некоторые места, она, возвратившись в Стокгольм, прочтет еще раз с большим вниманием и тогда отошлет мою рукопись со своим портретом. Только в октябре я получил мои «Воспоминания» с письмом, в котором С. В. просит при переписке набело исключить места, взятые в скобки, и поместить несколько небольших прибавок, написанных ею на полях. Исключено: характеристика гувернантки-англичанки; вредное влияние воспитания на развитие и направление характера С. В., что и она сама сознавала; чудовищные музыкальные уроки при сильном стучании палочкой по фортепьяно и страшном крике, раздававшемся по всему дому, и др. Выпущено также несколько мест, где говорится о характере старшей сестры С. В.; исключен период времени, в котором С. В. бросила ученые занятия; зачеркнуто несколько страниц, на которых описывается довольно подробно необдуманное предприятие Ковалевского, доведшее его до полного разорения...

Приступаю к обзору тех мест напечатанного рассказа Софьи Васильевны, где она говорит обо мне...».

Затем следует пространная полемика с С. В. Ковалевской по поводу ее рассказа о положительном влиянии дяди П. В. Корвин-Круковского на ее математическое развитие и уверения, что именно Малевичу обязана Ковалевская своими успехами в высшей математике, а не Страннолюбскому.

142 (2). Паскаль, Блэз (1623—1662) — французский математик, физик, философ; в детстве самостоятельно решал задачи основателя геометрии Эвклида.

143 (1). Абель, Нильс-Генрих (1802—1829) — норвежский математик; его работы — из области эллиптических функций.

Якоби, Карл-Густав (1804—1851) — немецкий математик; его работы — из области эллиптических функций.

144 (1). Письма Вейерштрасса к С. В. Ковалевской за 1871—1890 гг. опубликованы Г. Миттаг-Леффлером в названной выше статье. Письма Софьи Васильевны Вейерштрасс сжег после ее смерти.

144 (2). См. письма С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому от 14 ноября 1875 г. и за апрель — май 1877 г.

145 (1). Только в советское время изданы в переводе на русский язык следующие ученые труды С. В. Ковалевской: 1) Задача о вращении твердого тела около неподвижной точки; 2) Об одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющих вращение твердого тела около неподвижной точки (перевод с французского П. Я. Полубариновой-Кочиной) — в книге «Движение твердого тела» (1940 г.); 3) К теории уравнений в частных производных; 4) О приведении некоторого класса абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам; 5) О преломлении света в кристаллических средах; 6) О распространении света в кристаллической среде; 7) Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна; 8) Мемуар об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела; 9) Об одной теореме г. Брунса (вместе с № 1 и 2, в переводах П. Я. Кочиной, Л. А. Телешевой, Ц. О. Левиной) — в книге «Научные работы» (1948 г.) со статьями П. Я. Кочиной о научной деятельности Ковалевской и другими материалами к ее биографии.

148 (1). Эйлер, Леонард (1707—1783), знаменитый математик, действительный член Российской Академии наук.

Лагранж, Жозеф (1736—1813) — французский математик; во время революции конца XVIII в. участвовал в выработке метрической системы.

Пуассон, Симон (1781 — ?) — французский математик.

149 (1). См. в Воспоминаниях М. М. Ковалевского (стр. 403).

К «ВОСПОМИНАНИЯМ О ДЖОРЖЕ ЭЛЛИОТЕ»

150 (1). Очерк опубликован в 1886 г. («Русская мысль», № 6, стр. 93—108), включен в издание 1893 г. Был напечатан по-шведски (см. в Воспоминаниях Эллен Кэй, стр. 413). Воспоминания об Эллиот Софья Васильевна начала писать осенью 1883 г. (см. стр. 270).

Джорж Эллиот — литературный псевдоним известной английской писательницы Марии-Анны Эванс (1819—1880), автора многих романов.

150 (2). Здесь в тексте сноска, а в ней — английское название книги Ю.-В. Кросса о Джорже Эллиоте (1885 г.).

150 (3). Таухниц — немецкая фирма, издававшая в переводах все выдающиеся произведения мировой литературы, в том числе русской, художественной и научной.

151 (1). В. Ролстон (1828—1889) — писатель, фольклорист, переводил на английский язык произведения русской народной словесности и художественной литературы. Был близким приятелем В. О. Ковалевского с 1861 г. Был знаком с Софьей Васильевной.

152 (1). В Лондоне С. В. Ковалевская была вместе с мужем в октябре 1869 г.

152 (2). Джорж Эллиот записала в «Дневник» под 5 октября: «В воскресенье я принимала визит одной интересной русской парочки — господина и госпожу Ковалевских: она — премилое существо, чрезвычайно привлекательное и скромное в речи и обращении, изучает в Гейдельберге математику... а он — симпатичный и умный человек... специалист по геологии».

154 (1). Д.-Г. Льюис (1817—1878) (у Ковалевской — Люис), английский писатель. Его «Физиология обыденной жизни» издана в русском переводе в 1861—1862 гг. Был знаком с В. О. Ковалевским, который издал в

1865 г. его «Историю философии от начала ее в Греции до настоящих времен. Древняя история философии» (816 + 30 стр.).

155 (1). В списке работ Льюиса: биография Гете, жизнь Робеспьера, об Аристотеле, о драматургии, об испанской драме и т. п.

163 (1). Не семь, а одиннадцать лет.

К «ОТРЫВКУ ИЗ РОМАНА, ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РИВЬЕРЕ»

168 (1). Содержание настоящего очерка — автобиографическое. Рассказ опубликован в «Литературных сочинениях» Софьи Васильевны (1893 г.), подготовленных к печати М. М. Ковалевским, который является главным героем «Отрывка». В его бумагах и сохранился черновой автограф рассказа (Архив Академии Наук, ф. 103, тетрадь в 22 страницы). По этой рукописи отмечены в дальнейшем наиболее существенные разночтения с печатным текстом. В автографе — много зачеркнутых мест, но в окончательной редакции имеются дополнения.

Главный герой очерка Михаил Михайлович Званцев назван в черновике несколько раз Брянцевым. Биографические подробности, описание внешности героя — точная характеристика Максима Максимовича Ковалевского.

171 (1). Международный путеводитель.

172 (1). Здесь в рукописи еще: «Она встречалась с ним в прошлом году всего раз или два в Петербурге» (зачеркнуто).

172 (2). Ср. это описание с характеристикой М. М. Ковалевского в мартовском письме Софьи Васильевны к А.-Ш. Леффлер за 1888 г.

173 (1). Здесь в рукописи еще: «Но 1 марта положило конец этим надеждам» (зачеркнуто). Имеется в виду покушение 1 марта 1887 г. А. И. Ульянова и его товарищей на Александра III.

173 (2). Максим Максимович Ковалевский родился в Харькове 28 августа (8 сентября) 1851 г. в семье богатого помещика.

Гимназический курс М. М. Ковалевский окончил с золотой медалью. В 1868 г. Ковалевский поступил на юридический факультет Харьковского университета, где особенно интересовался лекциями профессора Д. И. Каченовского по международному праву и по истории государственных учреждений. В 1873 г. Ковалевский окончил университет со степенью кандидата прав и оставлен был при кафедре государственного права для подготовки к профессуре. Еще студентом он вошел в образовавшийся там кружок магистранта физики Я. И. Ковальского. Жена Ковальского, известная впоследствии революционерка, руководила широко распространенными кружками учащейся и трудовой молодежи, где читали лекции ее муж и другие университетские преподаватели. Сама Ковальская писала в 1925 г. о том периоде: «У меня организовался мужской кружок, занимавшийся общественными вопросами. Он не был еще революционным, но был радикального направления. В этот кружок между прочим входил молодым студентом М. М. Ковалевский. Рядом с этим кружком я организовала исключительно женский, интересовавшийся социализмом. М. М. Ковалевский, владевший хорошо французским языком, имевший доступ в университетскую библиотеку, помогал мне извлечением из французских источников составлять рефераты о Фурье, Сен-Симоне, Оуэне и др[угих] утопистах» («Автобиография», стр. 192; ее «Воспоминания», стр. 90).

Участие Ковалевского в общественно-революционных кружках продолжалось недолго; он вскоре выехал для продолжения образования за границу. В Лондоне он познакомился с Карлом Марксом, а затем и с Фридрихом

Энгельсом. Оба они часто встречались с Максимом Максимовичем; имя его упоминается в их переписке. Сам он напечатал интересные воспоминания о Марксе. В 1877 г. Ковалевский представил в Харьковский университет сочинение по вопросам конституционного права на соискание ученой степени магистра, но там отказались допустить его к защите по соображениям полицейским. Ковалевский переехал в Москву, где получил степень магистра (1877) и доктора (1880). С 1877 г. он — профессор государственного права и сравнительной истории права в Московском университете. Его лекции по конституционному праву привлекали студентов всех факультетов. Популярность М. М. Ковалевского вызвала недовольство министерских заправил, и он был устранен от преподавания.

М. М. Ковалевский выехал за границу, читал лекции в университетах Англии, Франции, Швеции, на Балканах, устроил в Париже Русскую вольную школу общественных наук.

В разгар его славы с ним встретилась в Стокгольме Софья Васильевна и влюбилась в него. Со своей стороны, он вскоре стал ее горячим поклонником и предлагал ей сделаться его женою, но требовал при этом, чтобы С. В. отказалась от профессуры. Конечно, она не могла подчиниться такому требованию. Кроме того, отношения С. В. и М. М. были очень осложнены разными другими обстоятельствами. Это отражено в «Дневнике» Софьи Васильевны, в ее письмах к М. В. Мендельсон и к А.-Ш. Леффлер. Все же на лето 1891 г. была назначена свадьба Ковалевских, но Софья Васильевна не дожила до этого срока. В конце 1890 г. она приехала к М. М. на виллу Болье, возле Ниццы; новый 1891 г. они встретили в Генуе. Возвращаясь в Стокгольм, С. В. дорогой простудилась, заболела воспалением легких и умерла 29 января (10 февраля).

М. М. Ковалевский много раз выступал с речами о Софье Васильевне, писал о ней в различных статьях, оставил воспоминания. Сохранилось два письма М. М. Ковалевского в связи с его работой по редактированию собрания литературных произведений Софьи Васильевны. Выдвигая в одном из этих писем проект присоединения к этому «собранию» ряда статей о Ковалевской, в том числе и его собственных воспоминаний о ней, М. М. заявлял: «Признаюсь, меня очень затрудняет писать о С. В. В наших отношениях было много такого, что трудно понять людям посторонним. Говорить и недоговаривать — задача не легкая».

Племянник М. М. Ковалевского Е. П. Ковалевский писал в 1916 г.: «Через шесть месяцев после увольнения М. М. из Московского университета его приглашают, по инициативе Софьи Васильевны Ковалевской, прочесть в Стокгольме ряд лекций, посвященных происхождению семьи и собственности. Пребывание в Стокгольме закрепило и углубило его отношения к С. В., вначале только дружеские, а позднее чуть не приведшие к браку. Этот союз не состоялся, и вряд ли он даже мог быть особенно счастлив: слишком самобытны и крупны были обе личности. Однако теплота отношения М. М. к этой замечательной женщине сохранилась и пережила ее на 25 лет... Письма ее к М. М., многочисленные и интересные, были им сохранены до конца жизни и переданы мне, как душеприказчику... Переписка интимного характера, конечно, пока не подлежит опубликованию».

Упоминаемые в приведенном отрывке лекции М. М. Ковалевского составили его известное исследование на тему о происхождении семьи и собственности. Этот труд высоко ценил Фр. Энгельс. Он издавался несколько раз на русском и других языках. Новейшее издание — в 1939 г. В бумагах М. М. Ковалевского (Архив Академии Наук) сохранилось письмо к нему С. В. Ковалевской от середины мая 1889 г. Здесь — сообщение о его стокгольмских лекциях (см. стр. 303).

Что касается писем Софьи Васильевны к М. М. Ковалевскому «интимного характера», то, как сообщил в 1947 г. П. Е. Ковалевский, они оставались во время первой мировой войны в квартире его отца и до настоящего времени не найдены.

После революции 1905 г. М. М. Ковалевский вернулся на родину, участвовал в политической жизни страны в рядах право-либеральных реакционных групп. Был членом Государственной думы от Харькова (1906 г.) и членом Государственного совета (с 1907 г.) от высшей школы. В. И. Ленин неоднократно отмечал реакционную роль М. М. Ковалевского в Государственном совете. Раскрывая сущность национал-либералов как «партии» настоящей капиталистической буржуазии, В. И. Ленин назвал Ковалевского среди других идеологов национал-либералов «давным-давно стоящих уже одной ногой в реакционном лагере» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 412).

В 1914 г. М. М. Ковалевский был избран действительным членом Академии Наук. М. М. Ковалевский умер 23 марта 1916 г., похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

173 (3). «История регресса» — измененное название сочинения М. М. Ковалевского, у которого до 1890 г. были три книги по истории английской конституции.

173 (4). В рукописи было еще: «сенатора» (зачеркнуто).

174 (1). В рукописи вместо «Яновская» — всюду: «Янковская» — фамилия известной польской революционерки, приятельницы С. В. Ковалевской. См. дальше письма Софьи Васильевны к Янковской-Мендельсон.

174 (2). Ср. с письмом С. В. Ковалевской к сестре за сентябрь 1868 г.

К «ДНЕВНИКАМ»

177 (1). Извлечения из «Дневников» С. В. Ковалевской печатаются с подлинников: взяты из записных книжек-календарей, миниатюрного формата, в кожаных переплетах с золотым обрезом. Каждый день календаря занимает страницу, на верху которой напечатаны по-французски название месяца и дня (по новому стилю). Исписаны в календарях не все листки; многие записи — карандашом. Есть математические выкладки, много записей хозяйственно-бытового характера, списки книг, необходимых для научных занятий, и т. п. Сокращенные в записях слова дополнены без скобки. Даты (нов. ст.) и названия дней даны в переводе

177 (2). Записано в Париже Л. И. Рагозин — один из заправил нефтяной компании в Москве. О каком процессе писала С. В.— неясно.

177 (3). Патенты на технические изобретения. Дальше — адреса московских профессоров и журналистов, с которыми С. В. Ковалевская переписывалась по научным и литературным вопросам.

178 (1). В названном издании Парижской академии наук напечатана статья С. В. Ковалевской «О распространении света в кристаллической среде» (1884, т. 98, стр. 356—357).

178 (2). 3 февраля Софья Васильевна писала А. О. Ковалевскому: «В настоящую минуту я уже прочитала две лекции, и кажется — порядочно. В первый раз я, разумеется, ужасно трусила. Одну минуту мне вдруг показалось, что у меня подкашиваются ноги и что я не в силах выговорить больше ни единого слова. Но, странное дело, никто из присутствующих даже не заметил этого, и многие говорили мне потом, что даже удивлялись моему спокойствию. Аудитория моя довольно многочисленная: правильных слушателей у меня 19, но, разумеется, на первые лекции пришло много постороннего народу, в особенности много профессоров. Что-то из всего этого

выйдет? С виду кажется, будто все относятся ко мне хорошо и доброжелательно, но назначат ли мне на будущий год жалованье, в чем, разумеется, состоит теперь главный вопрос для меня,— этого я еще не знаю» (см. еще в тексте письма за 1884 год).

178 (3). Эдгрен, Анна-Шарлотта, рожденная Леффлер (1849—1892), сестра профессора математики, почетного члена нашей Академии Наук Г. Миттаг-Леффлера (1846—1927), ученика Вейерштрасса. А.-Ш. Эдгрен — шведская писательница и драматург; ее произведения переводились на русский язык; оставила ценные воспоминания о Софье Васильевне (см. стр. 419 и сл.).

178 (4). Вероятно, от Н. П. Карбасникова; у него на складе были остатки изданий В. О. Ковалевского.

180 (1). Все такие записи — результат тоски по родине, обиды за невозможность приложить свои знания на пользу России; об этом много в письмах С. В. Ковалевской.

180 (2). Это сын одного из совладельцев нефтяной фирмы. В. И. Рагозина. Тогда же Софья Васильевна писала А. О. Ковалевскому: «Старший сын Рагозина, 18-летний Леля (отличный мальчик), отравился... В газетах об этом не сообщали. П е р в о е слово отца было: «Скажите, что это он нечаянно».

180 (3). Деньги от сестры А. В. Жаклар,— из доходов с дома в Петербурге, построенного В. О. Ковалевским и находившегося в управлении В. Жаклара.

180 (4). Многотомное сочинение А. Брэма «Жизнь животных», несколько раз издававшееся В. О. Ковалевским при жизни и выпущенное после его смерти при участии Софьи Васильевны.

181 (1). Василий Григорьевич Имшенецкий (1832—1892) — ординарный академик с 1879 г., основатель Математического общества в Петербурге.

181 (2). Андрей Андреевич Марков (1856—1922) был избран адъюнктом Академии Наук по чистой математике в декабре 1886 г., экстраординарным академиком — в марте 1890 г. (ординарный — с 1896 г.). Отношение Маркова к научной деятельности Ковалевской отражено в его заявлениях и письмах к членам Математического общества при Московском университете. Некоторые из них напечатаны в протоколах Общества. Там же напечатано несколько писем других математиков по поводу заявлений Маркова. Все эти документы оглашались в заседаниях от 17 и 28 марта, 21 апреля, 20 октября, 17 ноября 1892 г., 16 февраля. 20 апреля 1893 г. («Математический сборник», т. 16, вып. 4, стр. 834 сл., 842 сл.; т. 17, вып. 1—4, стр. 383 сл.). В дальнейших протоколах — сообщения Г. Г. Аппельрота, проф. Ф. А. Слудского и других на тему мемуара С. В. Ковалевской

В «Приложении» к Полному собранию трудов С. В. Ковалевской член-корр. АН СССР П. Я. Полубаринова-Кочина в связи со статьями Софьи Васильевны «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки» и «Мемуар об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела» сообщает о возражении А. А. Маркова на указанные работы Ковалевской: «Из переписки его с Ляпуновым, хранящейся в архиве Академии Наук, видно, что он сомневался в том, что данная Ковалевской система показателей является единственно возможной. Далее, по поводу определителя, который вычисляет Ковалевская в статье «Об одном свойстве...», А. А. Марков говорил, что там нужно исследовать и случай кратных корней. Г. Г. Аппельрот предпринял исследование показателей (не удовлетворившее Маркова) и указанного определителя, причем здесь был действительно обнаружен пропущенный С. В. Ковалевской случай. Исследование П. А. Некра-

сова показало, однако, что общий интеграл в этом случае является многозначным. Сомнения А. А. Маркова, выраженные приведенными, а также некоторыми другими его замечаниями, в единственности случая С. В. Ковалевской были устранены А. М. Ляпуновым, давшим строгое доказательство теоремы С. В. Ковалевской и притом обобщившим ее на случай любых однозначных общих интегралов» («Научные работы», 1948, стр. 285).

Названная здесь статья С. В. Ковалевской — «Об одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющей вращение твердого тела около неподвижной точки» (издание 1948 г., стр. 221 и сл.).

Ляпунов Александр Михайлович (1857—1919), знаменитый русский математик, академик (с 1901 г.). О нем: статьи академиков А. Н. Крылова (в изд. 1945 г.) и В. И. Смирнова.

181 (3). Александр Николаевич Пыпин (1833—1904), либерально-буржуазный историк русского общественного движения в XIX в., исследователь русской литературы, академик с 1898 г.; двоюродный брат Н. Г. Чернышевского; редактор «Вестника Европы», где печатались «Воспоминания детства» С. В. Ковалевской.

182 (1). См. дальше об участии гениального русского математика Пафнутия Львовича Чебышева (1821—1894) в избрании Софьи Васильевны членом-корреспондентом нашей Академии Наук, а также неизданные письма П. Л. Чебышева к С. В. Ковалевской (стр. 349 и сл.). В письмах Софьи Васильевны за 1881 г. и сл.— о ее научных занятиях, профессуре и т. п.

182 (2). Встреча — с М. М. Ковалевским. Эта встреча была решена во время пребывания Софьи Васильевны на вилле М. М. Ковалевского в Болье, близ Ниццы, в феврале. Перед отъездом туда она писала Ю. В. Лермонтовой из Стокгольма: «Дорогая Юлюша! Уезжаю сегодня на юг Франции, но на радость или на горе, не знаю сама, вернее, на последнее. Прощай, мой дружок. Твоя Софа» (фотокопия письма от 8 февраля 1890 г. в Московском отделении Архива АН СССР, разр. IV, оп. 1, № 154).

К «ВСТРЕЧАМ С В. С. ГОНЧАРОВОЙ»

183 (1). В настоящем очерке даны извлечения автобиографического содержания из романа С. В. Ковалевской «Нигилистка». Роман был опубликован в 1892 г. в Женеве с предисловием М. М. Ковалевского, но без его подписи (112 стр., ц. 2 фр., Вольная русская типография). В таком же виде два раза переиздан М. К. Элпидиным (128 стр., Каруж — Женева, 1895 и 1899 гг.). В России выпущен П. В. Кохманским с разрешения дочери С. В. Ковалевской Софьи Владимировны в 1906 г. (Москва, 127 стр., ц. 60 коп.) с пометкой на обложке: «Литературный гонорар пожертвован насл[едницей] автора в пользу амнистированных политических заключенных». Последнее русское издание — в Харькове («Пролетарий», 1928, 157 стр., ц. 75 коп.), с предисловием М. М. Клевенского. Были издания на шведском, французском, немецком, польском и чешском языках. Русскому изданию 1906 г. посвящена в газете «Страна» (1906, 3 сент., № 151), издававшейся М. М. Ковалевским, статья академика Н. А. Котляровского, который отмечал автобиографичность романа и литературные достоинства его. О цензурной истории «Нигилистки» см. стр. 534 и сл.

В предисловии к изданию 1892 г. М. М. Ковалевский писал: «В бумагах Софьи Ковалевской нашлись две разновременных редакции печатаемого

романа. Ни та, ни другая не отличаются полнотой и законченностью. Некоторые главы написаны по-шведски. Они прочитаны были автором в литературном обществе в Стокгольме. Имея в виду цензурные стеснения, Софья Васильевна решилась издать свой роман на одном из иностранных языков. Друзьям покойной удалось установить один общий текст из двух оставленных редакций. Несомненно, что многое подверглось бы исправлению и дополнению при пересмотре рукописи и в корректурах, если бы смерть не застигла Софью Васильевну в самый расцвет ее литературной деятельности... Ушедши в науку, Софья Васильевна не потеряла связи с русской действительностью. Не состоя сама в рядах какой-либо политической партии, она тем не менее не относилась безучастно к самоотверженному служению общественным задачам».

Героиня романа — Вера Сергеевна Гончарова, племянница жены А. С. Пушкина Н. Н. Пушкиной-Гончаровой, дочь ее брата Сергея, родилась в 1850 г. Софья Васильевна была с ней хорошо знакома. В романе она названа графиней Верой Баранцевой, в черновой рукописи иногда — Верой Воронцовой. Имя Гончаровой встречается в переписке Софьи Васильевны.

183 (2). С. В. Ковалевская напечатала несколько статей о театре в газете «Новое время», которая в 1876 г. велась при ближайшем участии В. О. Ковалевского. Софье Васильевне, повидимому, принадлежат статьи за подписью С. К. в номерах газеты за 1876 год: 260 от 17 ноября — о бенефисе Е. И. Левкеевой; 287 от 14 декабря — о бенефисе Л. Л. Леонидова; 292 от 19 декабря — о бенефисе И. Ф. Горбунова.

187 (1). Васильцев — герой романа «Нигилистка», участник революционного движения; жил близ имения Баранцевых, давал Вере читать соответственную литературу.

188 (1). Мысли С. В. Ковалевской об участии в революционном и социалистическом движении высказаны в письмах к Г. Фольмару.

190 (1). Речь идет о процессе 193-х, разбиравшемся в сенате с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г., но подготовленном арестами, начавшимися задолго до процесса.

191 (1). Неудачное покушение Д. В. Каракозова на Александра II было 4 апреля 1866 г. Н. Г. Чернышевский был арестован в июле 1862 г.; после провокационного, недоказанного обвинения сослан в Сибирь летом 1864 г.

195 (1). К процессу 193-х было привлечено много женщин. В их числе было несколько, принимавших впоследствии виднейшее участие в революционном движении.

195 (2). Студент-медик Павленков (в романе) — привлеченный к делу 193-х, студент Медико-хирургической академии пропагандист И. Я. Павловский (род. в 1852 г.), который позднее скатился в реакционное болото и был одним из ближайших сотрудников суворинского «Нового времени» в период его самого подлого, продажного направления. Из всех обвиняемых по процессу 193-х Ковалевская избрала в герои своей «Нигилистки» Павловского только потому, что Гончарова именно с ним связала свою судьбу.

196 (1). По художественному замыслу Ковалевской прокурор громит Павленкова как ненавистного ему представителя революционного движения, Софья Васильевна изображает Павленкова в романе достойным высокой жертвы со стороны революционно настроенной Веры Баранцевой (Гончаровой в нашем отрывке). Следует иметь в виду, что, хотя героический образ Павленкова в романе Ковалевской и не соответствует нравственному облику И. Я. Павловского — подлинного героя романа В. С. Гончаровой, но этот образ отражает сочувственное отношение Софьи Васильевны к участникам революционного движения. В романе «Нигилистка», во всем его содержа-

нии, в его замысле и литературно-художественном оформлении выявлено мировоззрение С. В. Ковалевской, изложены ее взгляды на революционную борьбу, как на самоотверженное, подвижническое служение делу освобождения родины от помещичье-дворянского самовластия.

198 (1). В действительности было иначе. Павловскому было по делу 193-х зачтено в наказание предварительное заключение; потом он был сослан в Архангельскую губернию за участие в демонстрации после оправдания Веры Засулич и вскоре бежал за границу.

202 (1). В романе Вера добивается свидания с Павленковым и разрешения венчаться с ним через своего родственника, видного сановника. В действительности, свидание Гончаровой с Павловским устроено было при содействии Ковалевской (см. ее письмо к Ф. М. Достоевскому за 1876 г., стр. 247). Никакого венчания в тюрьме не было, Павловский после бегства из Сибири разыскал Гончарову в Париже и стал ее мужем.

17—29 июля 1881 г. Софья Васильевна писала В. О. Ковалевскому из Берлина, что собирается по своим математическим делам в Париж. Намерена быть у дочери А. И. Герцена Ольги Моно, ученицы Владимира Онуфриевича в начале 60-х годов, у других его знакомых. Сообщает: «Кого я непременно отыщу в Париже, так это милую Гончарову, которая по газетам недавно выдержала блестящий экзамен на доктора медицины» (из семейного архива). Н. А. Островская приводит в своих воспоминаниях рассказ И. С. Тургенева о Гончаровой: «Она в Париже училась медицине и блестящим образом выдержала экзамен... Парижские студенты ей овацию сделали... Она не красавица, даже и не хорошенькая, но лицо правильное, несколько строгое, хорошее и недюжинное» (стр. 88).

Ковалевская разыскала Гончарову и нашла ее в ужасном положении. Своей приятельнице М. В. Мендельсон-Янковской она рассказала, что участь героини ее «Нигилистки» была плачевной. «С трудом я узнала в ней ту,— говорила Софья Васильевна,— два года назад красивую, молодую девушку: черты лица, изборожденные горем, покрасневшие глаза, мертвенная бледность лица изменили ее до неузнаваемости. Рыдая, она раскрыла передо мной печальную истину своей жизни: герой ее мечтаний стал обыкновенным домашним тираном, эгоистом, не заботящимся ни о жене, ни о ребенке и расточающим до последнего гроша деньги, которые присылали дочери ее родители; тогда как он проводил время в клубах и театрах, она терпела нужду, и часто у нее не было денег на хлеб для детей». Ковалевская навещала В. С. Гончарову и убедилась, что истина была еще печальнее, чем рассказывала сама Вера Сергеевна.

К «ПИСЬМАМ»

205 (1). До нас дошло несколько сот писем С. В. Ковалевской к ее родным, друзьям и знакомым. Многие письма хранятся в государственных и частных собраниях; некоторые напечатаны в различное время, большинство не опубликовано. О принципе отбора писем для настоящего издания сказано в Предисловии.

205 (2). Письмо к двоюродной сестре С. В. Ковалевской со стороны матери, Софье Аделунг,— первое из дошедших до нас писем Софьи Васильевны. Послано в Петербург из Швейцарии, куда В. В. Корвин-Круковский ещё осенью 1866 г. отослал семью для того, чтобы оградить старшую дочь от близости к Ф. М. Достоевскому. Опубликовано в «Воспоминаниях» С. Аделунг об С. В. Ковалевской. Здесь печатается в переводе с немец-

кого. Письмо имеет значение как свидетельство раннего интереса С. В. Ковалевской к естественным наукам.

206 (1). Это — первое из дошедших до нас писем Софьи Васильевны к В. О. Ковалевскому. Печатается с подлинника, из семейного архива, переданного в московское отделение Архива АН СССР.

Владимир Онуфриевич Ковалевский (1842—1883) — сын мелкопоместного дворянина Двинского уезда Витебской губернии. В 1861 г. блестяще окончил училище правоведения. Увлекся естествознанием. За 5—6 лет издал около 50 книг из этой области науки, в том числе капитальные сочинения Дарвина, Ляйэлля, Фогта, Брэма и других. Сблизился с радикальными и революционными кружками, оказывал им значительные услуги. В 1861—1862 гг. жил у Герцена в Лондоне. Участвовал в польском национально-освободительном восстании 1863 г. (см. в Приложениях его письмо об этом. стр. 329). В 1866 г. участвовал в итальянской национально-освободительной войне под предводительством Гарибальди (см: Литературные справки).

В 1868 г. В. О. Ковалевский женился фиктивным браком на С. В. Корвин-Круковской, чтобы освободить ее от юридического подчинения отцу и дать ей возможность учиться в высшей школе. Уехал с нею в 1869 г. за границу. Занявшись специально зоологией ископаемых позвоночных, создал в течение двух-трех лет несколько классических работ, послуживших основой научной сравнительной палеонтологии. Дарвин считал его работы важнейшей опорой своей эволюционной теории. Знаменитейшие представители науки всего культурного мира в области палеонтологии признают Вл. Ковалевского своим гениальным учителем.

По различным, трагически для В. О. Ковалевского сложившимся обстоятельствам, обусловленным буржуазно-помещичьим строем дореволюционной России, он не имел возможности по возвращении из-за границы в 1874 г. занять кафедру в отечественном высшем учебном заведении. Вынужденный заниматься издательскими, строительными и другими промышленными делами (см. письма С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому), В. О. Ковалевский отошел от научной работы. Избрание его в 1881 г. на кафедру геологии в Московском университете не спасло положения. Потеряв душевное равновесие, он под влиянием морального угнетения потерял волю к борьбе за свои научные интересы и в апреле 1883 г. покончил самоубийством.

206 (2). В среду 24 июля В. О. Ковалевский писал Софье Васильевне из своей деревни Шустянка, Витебской губернии: «Я выеду в Петербург сегодня вечером и в четверг в 12 часов буду там,— мне ведь еще предстоят на этой неделе визиты всем моим будущим родственникам, а в понедельник я поеду в Петергоф для исполнения ваших общих поручений Жанне.. В Петербурге, конечно, первым моим делом будет производство по вашему поручению смотра и отобрания более годных экземпляров для приготовления консервов; посмотрим, каково-то удастся этот новый продукт». Приведенный отрывок дает представление о цели знакомства Софьи Васильевны с В. О. Ковалевским. При его содействии младшая дочь Корвин-Круковского решила сама получить университетское образование и помочь старшей сестре освободиться из палибинского заключения.

Приезжая зимою в Петербург, Анна Васильевна познакомилась с девушками, получившими возможность учиться или добивавшимися этой возможности благодаря фиктивному браку с молодыми людьми, сочувствовавшими их стремлению освободиться от домостроевского уклада. Обвенчавшись, девица получала от мужа отдельный паспорт и разрешение поступить в русский университет или поехать для учения за границу. Но кандидаты

в фиктивные мужья были разночинцы или обедневшие дворяне, и 25-летняя Анюта боялась даже просить у отца разрешения на брак с таким человеком. 18-летняя Софа взялась устроить дело. Когда М. А. Бокова-Сеченова познакомила сестер Корвин-Круковских с В. О. Ковалевским, предполагалось, что он будет просить у генерала Корвин-Круковского руки его старшей дочери. Надо было ввести Владимира Онуфриевича в дом Шубертов для официального знакомства с семьей Корвин-Круковских. А это можно было устроить только через лиц, занимавших в обществе положение, которое не вызывало бы подозрения у предводителя дворянства Витебской губернии. О своих поисках в этом направлении Владимир Онуфриевич сообщал в мае Софье Васильевне: «Дело устраивается не так легко, как казалось вначале, т. е. дело нашего официального знакомства. Н. А. О. пригласил меня быть у него в воскресенье, но так как сам он в этот день играет где-то на домашнем театре, то мне едва ли можно быть. С другой стороны, у Языковых тоже воскресенье — приемный день, и она едва ли может отлучиться; впрочем, я думаю, что заставлю ее отложить прием на субботу и ехать к Ольхиным; может быть, и сам приеду с ней. Все это я могу сказать вам наверное только в субботу утром, и потому очень бы хорошо было, если б нам можно увидеться так же, как виделись в середу. Впрочем, если это представляет хоть тень неудобства или опасности, то пожалуйста не приезжайте, и мы сообщимся письменно». Н. А. О.— Ольхин, приятель А. И. Языкова. Оба принадлежали к видным петербургским дворянским семьям. «Неудобства или опасность» свидания, как «в середу», объясняется тем, что сестры Корвин-Круковские встречались с В. О. Ковалевским в церкви, где их могли бы увидеть родственники.

Официальное знакомство наладилось, но Владимир Онуфриевич решил свататься не к Анюте, а к Софе. «Право,— заявлял ей Ковалевский в том же письме,— знакомство с вами заставляет меня верить в сродство душ, до такой степени быстро, скоро и истинно успели мы сойтись и, с моей стороны по крайней мере, подружиться. Последние два года я от одиночества да и по другим обстоятельствам сделался таким скорпионом и нелюдимым, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собою, представляются мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего. Право, рассуждая самым холодным образом, без детских увлечений, можно сказать почти положительно, что Софья Васильевна будет превосходным доктором или ученым по какой-нибудь отрасли естественных наук; далее весьма вероятно, что Анна Васильевна будет талантливым писателем, что Надежда Прокофьевна и Марья Александровна будут отличными докторами, что Ив. М. Сеченов всегда останется (для одних) или сделается (для других) нашим общим и лучшим другом, что я, ваш покорный слуга, положу все силы на процветание нашего союза; и сами представьте себе, какие блестящие условия для счастья, сколько хорошей и дельной работы в будущем.

Вы видите, таким образом, что я сливаю не только свои, но и интересы упомянутых личностей с вашими, и я полагаю, что именно такой союз обеспечивает нам хорошее будущее. Вам поэтому следует смотреть теперь на меня не как на человека, оказывающего вам услугу, а как на товарища, который сообща с вами стремится к одной цели, т. е. я вам нужен столько же, сколько и вы мне; следовательно, и третировать меня следует соответственно и поручать все, что вздумаете, не опасаясь затруднять; я работаю тут столько же для вас, как и для себя лично. Прощайте; если можно, то

увидимся в субботу. Я даже придумал исход для Анны Васильевны, если бы наша свадьба не освободила ее; кажется, все наши расчеты составлены верно, не надо только торопиться, чтобы не испортить дела; а это будет слишком тяжелый удар, если все счастье, которое так несомненно, рушилось бы от неосторожности; впрочем с течением времени и с характером мы все-таки добьемся своего, даже если бы и встретились препятствия».

Упоминаемые здесь: Надежда Прокофьевна — Суслова, первая русская женщина-врач, Марья Александровна — Бокова-Сеченова, жена знаменитого физиолога И. М. Сеченова (1829—1905), поборника женского образования. О Сусловой и Сеченовой — дальше. Они и устроили знакомство В. О. Ковалевского с сестрами Корвин-Круковскими и помогали им осуществить свой план. Знакомство Ковалевского с генералом состоялось, и Владимир Онуфриевич был объявлен женихом Софы.

206 (3). Упомянутая здесь в письме к В. О. Ковалевскому от 25 июля Жанна — Анна Михайловна Евреинова (1844—1919), первая русская женщина, получившая ученую степень доктора прав; принимала близкое участие в «освобождении» сестер Корвин-Круковских. Она была дочерью генерала, управлявшего городом дворцового ведомства — Павловском. С молодых лет ей стали, как она заявляла впоследствии, «невыносимы балы, выезды и наряды»; «не хотела быть дамой гостиных», «попала в кружок передовых людей», стала читать книги по естествознанию и праву, «увлекалась Бентамом»; только потому, что при дворе надо было знать немецкий язык, отец разрешил пригласить учителя немецкого языка, но Евреинова уговорила его «подменить немецкий язык древними; изучала их по ночам, после выездов и балов, при свече, под страхом быть пойманной». В 1866 г. просила отца отпустить ее за границу учиться в университете; отец обещал отпустить через три года. В 1869 г. возобновила просьбу. «Гнев отца не имел границ», и он сказал, что «лучше увидит дочь в гробу, чем в университете» (см. В. Лествицын; Ариан — на 1905 год, стр. 376 и сл.; Пименова, стр. 142, Гаршин, стр. 365 и сл.).

206 (4). «Хорошие люди» на условном языке сестер Корвин-Круковских и всего их кружка — кандидаты в фиктивные мужья для девушек, желающих освободиться от гнета буржуазной семьи и получить возможность учиться в университете; фиктивные женихи назывались также «консервами»; в этом смысле «консервы» упоминаются в приведенном выше отрывке из письма В. О. Ковалевского от 24 июля.

206 (5). Хороший брат, добрый брат — так звала С. В. Ковалевская своего мужа в период их фиктивного брака.

206 (6). Мария Александровна — Обручева (1839—1929), дочь генерала. Под влиянием социалистических идей, распространявшихся Н. Г. Чернышевским в «Современнике», стремилась к образованию и независимости. Желая освободиться от тяжелой опеки семьи, вышла замуж фиктивным браком за медика П. И. Бокова (1835—1915). Он происходил из крестьян, примыкал к радикальным и революционным кружкам 60-х годов, был другом Н. Г. Чернышевского, разделял его идеи об освобождении женщины от рабской подчиненности мужу. Скоро брак Боковых превратился в фактический. С 1859 г. М. А. Бокова посещала университетские лекции, а позднее вместе с Н. П. Сусловой лекции в Медико-хирургической академии, в том числе лекции И. М. Сеченова. Бокова и Сеченов увлеклись друг другом. Произошло сближение. Это не нарушило, однако, дружеских отношений между Боковым и Сеченовым и между Боковым и Марией Александровной. Они жили вместе, сообща принимали гостей, сообща устраивали вечера.

Сохранилась визитная карточка Бокова с такой надписью: «П. И. Боков и И. М. Сеченов приглашают Чернышевского и Александра Николаевича Пыпина по случаю окончания экзаменов Марии Александровны». Записка относится к 1861—1862 гг.

В конце 60-х годов Сеченовы разъехались с Боковым, который в свою очередь нашел новую семью и переехал в Москву. Мария Александровна и Сеченов вели отдельную жизнь. Боков сохранил с ними дружеские отношения и продолжал в 70-х годах заботиться об удобствах своей бывшей жены. Когда царское правительство удалило женщин из Медико-хирургической академии, М. А. Бокова уехала доучиваться в Швейцарию. В Цюрихе она получила диплом врача и защитила весной 1871 г. докторскую диссертацию. Затем работала в Вене и в Лондоне. Вернулась в Россию в середине 70-х годов; работала по своей специальности окулиста, переезжая из города в город вместе с Сеченовым. Отношения Сеченовых и Бокова были отражены Чернышевским в романе «Что делать?» Здесь выведены: «Мария Александровна — под именем Веры Павловны, Сеченов — под фамилией Кирсанова, Боков — под фамилией Лопухова.

Мария Александровна еще долго носила фамилию первого мужа; лишь в конце 80-х годов ей удалось получить официальный развод (попытки делались еще в 1872 г.— см. сб. «Звенья», III—IV, стр. 888 и сл.) и оформить свой брак с Сеченовым. В письме от 15/27 сентября 1888 г. Софья Васильевна запрашивала из Стокгольма Ю. В. Лермонтову: «Правда ли, что Сеченов и Мария Александровна обвенчались церковным браком?» К этому времени относится рассказ В. А. Пыпиной из ее воспоминаний о Сеченовых: «Когда он [И. М. Сеченов] заезжал в Петербург и был у нас, он вдруг отвел маму в сторону и сказал: «Вам я хотел сказать: мы с Марией Александровной женились» (Богданович, стр. 431 и сл.). М. А. Сеченова пережила всех своих друзей-современников и умерла в Москве 90 лет от роду. В завещании писала: «Прошу похоронить меня без церковных обрядов, как можно проще и дешевле... подле моего мужа».

Иван Михайлович Сеченов (1829—1905) — гениальный русский физиолог. Сеченов появился на кафедре в эпоху развития в русском обществе интереса к естествознанию. Своими чтениями в высшей школе и в публичных собраниях он усилил этот интерес, а содержанием лекций дал мощный толчок развитию в России материалистических идей. Особенно ярко сказалась эта роль Сеченова после напечатания в 1863 г. его труда «Рефлексы головного мозга», в котором изложены выводы всей его предшествующей работы (последнее издание, под ред. X. С. Коштоянца, М., 1942). Правительство и его реакционные лакеи поняли революционизирующее значение сеченовских идей, преследовали автора и его книги. Из других работ Сеченова интересен основанный на многочисленных исследованиях и опытах «Очерк рабочих движений человека», который является единственным научным руководством в этой области и для нашего времени. Незадолго до смерти, в самом начале XX в., Сеченов стал преподавателем на Пречистенских курсах для рабочих в Москве и писал о своих слушателях: «Сильное впечатление получилось от аудитории, слушавшей с какой-то жадностью... речь своего профессора, подкреплявшуюся на каждом шагу опытом. Еще бо́льшим уважением я проникся к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции, по окончании вечерних работ на фабрике, из-за Бутырской заставы; многие учатся иностранным языкам, некоторые даже английскому» («Автобиографические записки», стр. 175 и сл.).

206 (7). Без просмотра писем отцом.

206 (8). П. Тк.— Петр Никитич Ткачев (1844—1886). Вместе с С. Г. Нечаевым принимал участие в организации революционного движения в Петербурге и других городах. Ткачев подвергался арестам, сидел в крепости; по Нечаевскому делу осужден в тюрьму; в 1873 г. эмигрировал. А. М. Евреинова писала 15 ноября 1868 г. в Москву Ю. В. Лермонтовой: «Вы пишете мне про статью Ткачева. Действительно, эта статья того самого, которого я знаю, и всякий раз, что бываю в Петербурге у сестер, всегда урываюсь и к нему. У него могу я встретить людей, которые бы охотно оказали услугу освободить нас. Личность эта далеко не обыкновенная, но хорошая и глубоко сочувствующая женскому делу. Крайний радикал по убеждениям, и вообще мы сходимся, очень сходимся во многом, касающемся дела. Познакомилась я с ним именно вследствие названной вами статьи. По прочтении ее в книжках «Дела» я нашла должным заявить ему полное и искреннее сочувствие, как женщина, борцом за которую он так выказал себя. На это письмо получила я от него славное письмо... очень просил устроить знакомство с ним... Надеюсь, что это будет небесполезно для нас... С нетерпением ожидаю я появления в печати одной его переводной работы «Рабочий вопрос».

Интересовавшая сестер Корвин-Круковских статья Ткачева — «Люди будущего и герои мещанства» — написана по поводу романов Ф. Шпильгагена «Один в поле не воин», Дж. Эллиот «Феликс Гольт — радикал», Ж. Занд «Леди Меркем», А. Лео «Возмутительный брак», в которых «затрагиваются интересы современной жизни» и которые «рисуют... не только современного человека таким, к а к и м о н е с т ь, н о к а к и м о н д о л ж е н б ы т ь по понятиям мыслящего меньшинства» («Дело», 1868, 4 и 5; Соч., т. I, стр. 173 и сл.). Переводная работа Ткачева — книга Бехера «Рабочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению»; за эту статью он был привлечен к суду.

207 (1). «Крошка Дорит» — роман Ч. Диккенса.

207 (2). Баденские и штуттгардтские окрестности — условное название для теток С. В. — сестер ее матери, живших в окрестностях Петербурга. В. О. Ковалевский писал Софье Васильевне 31 июля 1868 г.: «Вот уже целая вечность, как мы расстались, мой милый чудный друг, и я опять начинаю считать дни, которые остались до нового свидания; впрочем у меня очень мало времени предаваться этому полуарифметическому и полусантиментальному занятию, так как дела и хлопоты поглощают все время... Прежде всего я принялся в городе за отыскивание квартиры... Комнаты у нас страсть какие высокие и светлые до крайности; вообще внутренность квартиры крайне веселая, несмотря на некоторые внешние неудобства... В Павловске я был в пятницу и обошелся очень удовлетворительно без изучения Штутгардтского и Баденского видов и вообще провел хороший вечер, нимало не скучая; не могу, однако, ручаться за то же самое относительно моих собеседников. В Царском был, но не застал бразильских тетушек дома».

207 (3). Печатается с подлинника, из семейного архива, переданного в московское отделение Архива Академии Наук СССР.

208 (1). Александр Онуфриевич Ковалевский (1840—1901) — старший брат В. О. Ковалевского. В 1859 г. поступил на естественное отделение Петербургского университета. С 1861 г. работал самостоятельно в области зоологии беспозвоночных. В 1864—1866 гг. опубликовал несколько классических работ, положивших начало научной, сравнительной эмбриологии. Дарвин с интересом следил за его работами, писал, что исследования А. О. Ковалевского дают возможность установить возникновение мира позвоночных, включая происхождение человека. С 1868 г. А. О. Ковалевский был после-

довательно профессором в Казанском, Киевском, Одесском, Петербургском университетах. С 1890 г.— действительный член Академии Наук. Продолжая исследования, создал много работ крупного научного значения. Был избран почетным членом всех отечественных и многих зарубежных ученых обществ, университетов и академий.

В. О. Ковалевский писал брату в августе: «Я ведь желал тебя видеть на свадьбе не из одного сентиментализма, а воспользоваться тобою, как орудием ускорения; эта цель достигнута и свадьба назначена на 11 сентября; значит, ты принес ожидаемую от тебя пользу».

208 (2). Речь идет о двухтомном труде Ч. Дарвина «Прирученные животные и возделанные растения», вышедшем в Англии в 1868 г. и одновременно изданном В. О. Ковалевским в русском переводе.

208 (3). В «мрачное отчаяние» В. О. Ковалевский впадал вследствие плохого состояния его издательских дел с финансовой стороны. Он издавал книги исключительно в целях пропаганды идей материализма и в письмах к брату постоянно жаловался на свои денежные затруднения.

210 (1). Надежда Прокофьевна Суслова (1843—1918) — дочь крепостного крестьянина графов Шереметевых, у которых он позже был главноуправляющим. Человек значительного развития и большой начитанности, он дал детям высшее образование. В начале 60-х годов Суслова была допущена Сеченовым и Грубером в Медико-хирургическую академию, откуда удалена в 1864 г.; поехала в Швейцарию, где в 1867 г. окончила Цюрихский университет со степенью доктора медицины.

Суслова участвовала в радикальных петербургских кружках 60-х годов и с 1865 г. состояла под надзором полиции «за открытое сочувствие нигилизму и за сношения с неблагонадежными лицами»; за участие в Интернационале и сношения с эмигрантами ей был в 1873 г. воспрещен въезд в Россию, но вскоре запрещение было отменено. Напечатала: в «Современнике» 1864 г.— «Рассказ в письмах» (№ 8) и «Чудная» (№ 9), в «Вестнике Европы» 1900 г. (№ 6) — «Из недавнего прошлого».

Как первая женщина-врач Суслова имела огромное влияние на стремление русских женщин 70-х годов к медицинскому образованию как средству служения народу. В. Н. Фигнер пишет в своих воспоминаниях: «Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получила в Цюрихе диплом доктора... Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее... И золотая нить протянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше — к народу, к родине и человеку».

Брат Сусловой, Василий Прокофьевич, был судебным следователем и сам привлекался в середине 60-х годов к следствию за прикосновенность к революционным организациям. Сестра ее Аполлинария (1840—1918), нигилистка, была под надзором полиции. Кончила жизнь в политическом отношении позорно: после первой революции участвовала в погромных организациях.

210 (2). Печатается с подлинника.

210 (3). 31 июля В. О. Ковалевский сообщал Софье Васильевне из Петербурга: «Комнаты у нас страсть какие высокие и светлые до крайности... в квартире $5^1/_2$ или шесть комнат, план которых прилагаю» (начерчен план).

210 (4). «Сестер» — Анны Васильевны и А. М. Евреиновой.

211 (1). Дальше — приписка А. В. Корвин-Круковской.

211 (2). На конверте рукою Софьи Васильевны: «В С.-Петербург. Ертелев переулок. Дом Ремерса. Его высокородию Владимиру Ануфриевичу Ковалевскому». Почтовые штемпеля: «Невель, 9 августа 1868». «С.-Петербург, 11 августа 1868».

211 (3). Печатается с подлинника.

212 (1). См. следующее письмо — к матери. Брат, здесь и дальше — В. О. Ковалевский.

214 (1). Троих: Софьи Васильевны, Анны Васильевны, А. М. Евреиновой.

215 (1). Печатается с подлинника.

215 (2). Печатается с подлинника. В дате у С. В. Ковалевской ошибка (см. снимок с автографа на стр. 216); исправлено по содержанию.

215 (3). Зная мещанскую косность немецких профессоров, И. М. Сеченов сомневался, допустят ли С. В. Ковалевскую к слушанию лекций в Гейдельберге.

215 (4). «Доктора» — условное название кандидатов в фиктивные мужья.

217 (1). После этого еще: «на всякий случай» (зачеркнуто).

217 (2). В. О. Ковалевский писал Софье Васильевне: «По зрелом размышлении я пришел к заключению, что нужно быть очень осторожным в выборе шафера, потому что его придется впоследствии везти с нами в карете до Витебска».

218 (1). Печатается с подлинника, обращено также к Евреиновой.

218 (2). Печатается с подлинника.

219 (1). Печатается с подлинника.

222 (1). Печатается с подлинника. Это последнее письмо Софьи Васильевны перед свадьбой.

222 (2). Брак И. М. Сеченова с М. А. Боковой не был оформлен официально, и великий физиолог считался холостым; сестры Корвин-Круковские рассчитывали, что он «освободит» Анну Васильевну, женившись на ней фиктивно.

223 (1). В рукописи после этого: «гораздо», зачеркнуто и продолжено, как в тексте. Брат — «их»: В. О. Ковалевский находился в близких, дружественных отношениях с И. М. Сеченовым и всем его кругом с 1864 г.; Сеченов, его жена и друзья принимали участие в издательских делах В. О. Ковалевского, переводили для него книги по естествознанию, редактировали их, писали вступительные статьи.

223 (2). Печатается с подлинника. Обращено также к А. М. Евреиновой, которая гостила в Палибине.

225 (1). Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895) — известный врач, общественный деятель, близкий друг Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и других писателей. Сын сибирского купца, учился у ссыльных декабристов, о которых оставил ценные воспоминания. Познакомился в 1861 г. с А. И. Герценом и стал корреспондировать в «Колокол»; был одним из редакторов радикальной газеты «Общее дело», издававшейся в 1877—1890 гг. в Женеве. Свадьба С. В. и В. О. Ковалевских состоялась 15 сентября 1868 г.

226 (1). См. примеч. 4 к стр. 215.

226 (2). Шуточное замечание о магометанстве В. О. Ковалевского — сожаление о невозможности для него, по законам православной церкви, иметь несколько жен: тогда он мог бы посредством второго фиктивного брака «освободить» и Анну Васильевну.

226 (3). Дальше — приписка В. О. Ковалевского. В ней — о переводе книги для его издательства.

227 (1). Фогт, Карл (1817—1895), зоолог; работал также в области геологии и палеонтологии; один из представителей вульгарного материализма. Участвовал в революции 1848 г. Не разобранное при первой публикации

этого письма слово «Яун», может быть, означает фамилию немецкого педагога и администратора, реакционера Фридриха Яна (Jahn, 1778—1852); о нем — в Дневниках и письмах Н. И. Тургенева, т. III, п. 1921, стр. 202 и 480. К. Фогт вынужден был уйти из Гиссенского университета (в Гессене) в 1837 г

227 (2). Печатается с подлинника; обращено также к А. М. Евреиновой.

227 (3) Т. е. М. А. Бокова не согласна на формальный, фиктивный брак И. М. Сеченова с Анной Васильевной для освобождения ее из палибинского плена.

228 (1). Федя — брат Корвин-Круковских.

229 (1). «Надежда» на Мечникова — в смысле его фиктивного брака с А. В. Корвин-Круковской. Но в это время И. И. Мечников уже решил жениться на Людмиле Васильевне Федорович. Брак состоялся в январе 1869 г.

Илья Ильич Мечников (1845—1916), знаменитый русский биолог, основавший вместе с А. О. Ковалевским сравнительную эмбриологию. Кроме специальных исследований в различных областях биологии И. И. Мечников напечатал много работ по философии естествознания вообще и по истории дарвинизма в частности. Эти труды создали автору огромную популярность во всем культурном мире, но в царской России они подвергались цензурным ограничениям. В советское время произведения Мечникова — исследовательские и общефилософские труды — издаются отдельными книгами и полным собранием сочинений. После Октябрьской революции в нашей стране издано также много книг о жизни и деятельности знаменитого ученого.

229 (2). И. Р. Тарханов рассказывал в своей речи о Сеченове: «Помнится мне, как сердечно приветствовал он в своей лаборатории талантливого совсем юного математика — известную Софью Ковалевскую, еще до ее отъезда за границу видя в ней крупную научную силу, и открыл двери своей лаборатории для ее занятий» (стр. 71).

230 (1). См. дальше приписку (на отдельном листке) В. О. Ковалевского.

230 (2). После этого было еще: «только что» (зачеркнуто).

230 (3). Дальше — приписка В. О. Ковалевского.

231 (1). Было: «П. Н. Ткачев», зачеркнуто и написаны три буквы. Об одном из кандидатов в фиктивные мужья для Корвин-Круковской, принадлежащем к типу женихов, неприемлемых для ее отца, рассказывает Л. Ф. Пантелеев. Это был его товарищ по университету — Иван Рождественский, сын священника, участник петербургского студенческого революционного движения 1861 г.; за это сидел в крепости и выслан из столицы. Вскоре вернулся в Петербург и принимал участие в деятельности радикально-демократических кружков. Типичный демократ-нигилист, Рождественский был, по словам Пантелеева, добрый малый, готовый на товарищескую услугу. Был горячим поклонником эмансипации женщин. Дошел до него слух, что «есть в Петербурге барышня, дочь генерала Круковского, которой очень бы хотелось уехать за границу для получения высшего образования... но... отец и слушать об этом не хочет». «Значит ей надо выйти замуж, конечно фиктивным образом и мы должны помочь ей в этом деле»,— решил Рождественский и смело направился к генералу. Когда он объяснил В. В. Корвин-Круковскому о цели своего прихода, тот осведомился о социальном положении жениха. Рождественский с апломбом отвечал: «Занимаюсь свободной педагогией». Тогда генерал поблагодарил Рождественского за честь, которую он делал своим предложением, категорически заявил, что его дочь

Софья Васильевна, еще слишком молода и ей рано выходить замуж».

231 (2). Печатается с подлинника.

233 (1). Разбойник — А. М. Евреинова.

233 (2). Федор Никифорович Шведов (1841—1905), учился в Петербургском университете; в 1861 г. просидел вместе с революционно настроенными студентами два месяца в Петропавловской крепости. Потом вел себя чрезвычайно почтительно к начальству, получал большие чины и награды. Благонадежный чиновник, он был в 1895 г. назначен ректором Новороссийского университета.

233 (3). Слово «дорогого» в письме зачеркнуто.

233 (4). А. О. Ковалевский был в Петербурге проездом из Италии в Казань. Жена его — Татьяна Кирилловна, рожденная Семенова. Их дочь — Ольга.

233 (5). После этого было: «приятное» (зачеркнуто).

233 (6). В подлинном было еще: «объясняется тем, что он» (зачеркнуто) и слово «прощается» надписано над зачеркнутым.

234 (1). Бурые — нигилисты-демократы, преимущественно из разночинной интеллигенции; в противоположность им «нигилисты» из помещичьей среды назывались «салонными», или «дворянскими».

234 (2). Дальше — приписка В. О. Ковалевского.

234 (3). План ходить на лекции переодетой в мужское платье.

234 (4). В следующем, очень обширном, письме к сестре (от 26—27 сентября) Софья Васильевна снова пишет о нежелании М. А. Боковой помочь освободить Анюту посредством фиктивной женитьбы на ней И. М. Сеченова. Но Софа очень любит и уважает их обоих. Сеченов «очень хороший,— пишет она,— и ко мне очень мил, т. е. не только позволил слушать свои лекции и заниматься с 1 октября в своей частной лаборатории, но обещал сверх того помогать мне и объявил мне, что если меня выгонят, то он откажется от практических занятий со студентами, которые не обязательны для профессора».

Про Владимира Онуфриевича она сообщает, что он «такой же милый, хороший и настоящий брат, каким он всегда был для нас. С ним можно сойтись вполне, и действительно для меня теперь немыслимо отделить его от нас». Но собой Софья Васильевна недовольна: «Милая Анюта, ты не поверишь, как я боюсь избаловаться и расслабнуть. На занятия мои и на тебя полагаю я всю мою надежду сохранить прежнюю чистоту и крепость. Аскетизм мне решительно не дается и, чем больше я мечтаю о нем, тем привольнее и отраднее расстилается моя жизнь, тем больше попадает на мою долю счастья и баловства».

Такого же приблизительно содержания большое письмо к сестре от 29 сентября. Здесь — о свидании с А. О. Ковалевским и его женой. «Сам Александр Онуфриевич мне о ч е н ь нравится. Я, разумеется, еще не хорошо успела узнать его, но лицо у него и все манеры до крайности симпатичны; научные теории его вполне мне нравятся, и мы согласились с ним, что, когда я достаточно успею в математике, он поручит мне их дальнейшую разработку, и мы будем работать вместе. Из всех моих новых знакомых он мне нравится почти больше всех». В этом и во всех следующих письмах за 1868 год — подробности о научных занятиях по всем отраслям естествознания.

В письме от 28—29 декабря — о Сеченове: «Представь себе, Сеченов по пятницам битых три часа занимается нами, т. е. переделывает все опыты, показанные на лекциях, объясняет, толкует и поучает нас. Ведь это ужасно мило с его стороны, тем более, что он делает это просто так, как сделал бы

для каждого желающего учиться, а не потому, что знаком со мной; я даже не вижу его, за исключением этих лекций».

В том же письме — ценное заявление Софьи Васильевны о своем научном призвании: «Я учусь довольно много, но занимаюсь почти совершенно теми же предметами, как и в Палибине, т. е. главное математикой. Знаешь ли, несравненная Анюта, я почти решила, что не стану слушать курс медицины, а прямо поступлю на физико-математический факультет. Неправда ли это будет лучше? Я теперь сама убедилась, что у меня не лежит сердце ни к медицине, ни к практической деятельности. Я только тогда и счастлива, когда погружена в мои созерцания; и если я теперь, мои лучшие годы, не займусь исключительно моим любимым занятием, то, может быть, упущу время, которое потом никогда не могу буду вознаградить. Я убедилась, что энциклопедии не годятся, и что одной моей жизни едва ли хватит на то, что я могу сделать на выбранной мною дороге».

234 (5). Печатается с подлинника. Адресатка — Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846—1919) двоюродная сестра А. М. Евреиновой, близкая родственница великого поэта М. Ю. Лермонтова, одна из многочисленных дворянских девушек, увлекавшихся во второй половине 60-х годов XIX в. изучением естественных наук. Добившись при значительном содействии кружка Корвин-Круковских разрешения родителей на поездку за границу, училась химии, получила в 1874 г. степень доктора, работала некоторое время в Петербурге у знаменитого химика А. М. Бутлерова. В семейном архиве Ковалевских сохранилось письмо А. М. Бутлерова к Ю. В. Лермонтовой (см. в «Приложениях»).

235 (1). Обе части письма от 18 марта печатаются с подлинников. Вторая часть — официальная — написана так, чтобы Лермонтова могла показать ее родителям. В одном из предшествующих писем, от 3 февраля, Софья Васильевна внушает Лермонтовой бодрость: «Мне кажется, что мужество и решимость ваши начинают сдавать... В этом трудном деле вам может помочь только чрезвычайно сильная воля... Надо действовать неутомимо».

236 (1). Причина студенческой истории в Медико-хирургической академии отнюдь не была ничтожной, как казалось С. В. Ковалевской. История эта связана с общестуденческим движением 1868—1869 гг., представлявшим собою первое организованное выступление русского студенчества после движения 1861 г.

А. И. Герцен в письме к сыну от 17 апреля 1869 г. объяснял значение этого выступления: «Студенческая история очень важна... Студенты требуют... прав... Говорят, лучше пойдут в Сибирь и крепость, чем уступить... Часть их будет исключена, несколько погибнут, но борьба, всякая историческая борьба и вырабатывание идет этим путем» (Соч., т. 21, стр. 367).

237 (1). Печатается с подлинника. Это первое известие от С. В. и В. О. Ковалевских после их отъезда за границу. 1 (13) апреля 1869 г. С. В. Ковалевская писала брату мужа, А. О. Ковалевскому: «Как вы и предсказывали, Александр Онуфриевич, мы остались в Петербурге дольше, чем думали, да и теперь еще дела Володи издательские так запутаны, что только с грехом пополам ему удастся выехать послезавтра, 3 апреля. Эти последние дни он совсем заметался, и пришлось ему расплачиваться за много старых грехов; он, конечно, совсем повесил голову и целый день только охает. Выезжаем мы послезавтра... Я поеду с сестрою в Гейдельберг, Владимир Онуфриевич останется в Вене. Сестра едет с нами, но вскоре оставит нас и отправится в Париж». В приписке В. О. Ковалевского — жалоба на плохой оборот издательских дел: «Дела очень дурны, т. е. дол-

гов около 20 тыс., и хотя изданий есть тысяч на сто, но это так проблематично, что страх, а долги весьма реальны».

238 (1). В. О. Ковалевский писал брату 8 (20) июня 1869 г. о филистерстве и фарисействе ученых немцев. Сообщая подробности переговоров о допущении Софьи Васильевны в университет, он пишет, что в этом много помогло научное имя Александра Онуфриевича, работы которого высоко ценились в Западной Европе. Там же он пишет про слухи об С. В. Ковалевской и о своих научных занятиях: «Про Софу в здешних газетах пишут разный вздор, и все здешние профессора, а особенно доценты, сплетничают отчаянно; сплетни все сходятся в один источник — к С. Ламанскому, который и приносит время от времени целый ворох их. Занятия мои пошли недурно, интерес уже является, затем вырастет еще больше; жаль только, что петербургские дела меня смущают, все душа не на месте». Про «петербургские дела» в том же письме: «Дела мои оставлены на попечении Евдокимова, и нельзя сказать, чтобы они были в блестящем положении,— плохи; я решил ничего не брать на прожитье, может, перебьюсь как-нибудь небольшими подачками из деревни и на будущий год от тебя стяну хоть 250 р., но, может, обойдусь и без этого».

238 (2). Знаменитый русский ученый К. А. Тимирязев рассказывает, как он «сидел на одной университетской скамье с русской женщиной, вскоре заставившей о себе говорить всю Европу, С. В. Ковалевской. Это было не у себя дома, а в далеком, чужом Гейдельберге,— двери русских университетов закрылись перед русской женщиной. Припоминаются хотя в общем корректные, но несколько глупо-недоумевающие физиономии немецких буршей, так резко отличавшиеся от энтузиазма и уважения, с которыми мы когда-то встречали своих первых университетских товарок» (Соч., т. IX, стр. 29 и сл.).

238 (3). К. А. Тимирязев пишет о том же времени: «Химическая лаборатория вмещала не более 60 человек, но зато в ней целый день, за вычетом двух часов на обед, безвыходно находился сам Бунзен, переходивший от практиканта к практиканту или занимавшийся с преуспевающими в двух крошечных комнатках, посвященных его специальности — газовому и спектральному анализу» (т. IX, стр. 120).

239 (1). Печатается с подлинника.

239 (2). «Необдуманный поступок» А. М. Евреиновой заключается в том, что при содействии друзей В. О. Ковалевского она 10 ноября 1869 г. «перешла границу дорогою контрабандистов, не без риска для жизни».

239 (3). В Гейдельберге Евреиновой не позволили учиться. В Лейпциге профессора тоже не хотели допустить ее в университет, за нее «заступился саксонский король Иоанн I, в присутствии которого Евреинова блестяще сдала экзамены» в 1873 г. Объездила с научной целью Францию, Англию, Италию, разные славянские страны, изучала обычное право южных славян по документам в монастырях Адриатического побережья. Завершив учение, Евреинова стала ревностной поборницей женского равноправия; выступала с докладом в России, Европе и Америке; печатала статьи на юридические темы — преимущественно в связи с вопросами женского равноправия. После закрытия «Отечественных записок» Евреинова издавала (с 1885 по 1889 г.), при материальном содействии А. В. Сабашниковой «Северный вестник», куда привлекла Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, Гл. И. Успенского и др. (см. примеч. 3 к стр. 206).

239 (4). Ю. В. Лермонтову не пустили в Гейдельбергский университет. Проректор Копп сообщил ей 21 октября 1869 г.: «Согласно решению приемной комиссии, как и в предыдущем случае с госпожей Ковалевской, вам не может быть разрешено посещение лекций; в настоящее время предо-

ставляется всецело на усмотрение отдельных преподавателей, в каких случаях они найдут возможным разрешить вам посещение отдельных лекций, поскольку это не может вызвать осложнений» (неизданное письмо в семейном архиве Ковалевских; перевод с немецкого). Лермонтова училась химии в Берлине частным образом.

240 (1). В письме от середины февраля 1870 г. Софья Васильевна жаловалась Ковалевскому, что родители не высылают ей денег и она сильно нуждается.

Но все препятствия были преодолены беззаветной преданностью науке и упорством в достижении намеченной цели. Софья Васильевна получила диплом. Осенью 1874 г. она вернулась с Владимиром Онуфриевичем на родину. Пожили некоторое время в Петербурге, где Ковалевский налаживал свои издательские дела, совсем расстроившиеся в его отсутствие. Вскоре к ним присоединилась Ю. В. Лермонтова, получившая диплом в Геттингене.

240 (2). Печатается с подлинника.

241 (1). Вскоре после этого Софья Васильевна поехала в Палибино. Туда же приехала Анна Васильевна с Жакларом и маленьким сыном Юрием. Генерал Корвин-Круковский примирился с дочерьми, признал их мужей, скрепя сердце.

241 (2). Печатается с подлинника.

242 (1). Полковница — Анна Васильевна; ее муж — В. Жаклар командовал воинской частью в Парижской Коммуне (см. в «Приложениях» письма А. В. Жаклар). «Наука не легка» Жаклару, который учился русскому языку.

242 (2). Юный математик — Ф. В. Корвин-Круковский.

242 (3). Осенью 1875 г. Софья Васильевна приехала в Петербург. Свою жизнь в это время она описала в повествовании о В. С. Гончаровой.

242 (4). Не имея возможности в условиях царской России приложить свои научные знания к делу, Софья Васильевна увлеклась издательскими предприятиями Владимира Онуфриевича, участвовала вместе с ним в газетной работе. Разделяла его мечты о приобретении богатства для возможности заниматься наукой независимо от чиновников министерства просвещения. Посвященное этому письмо печатается с подлинника.

246 (1). В приписке Владимира Онуфриевича речь идет о переводе книги Ч. Ляйэлля «Руководство к геологии...», изданной Ковалевским в двух томах (т. I — в 1867 г., т. II — в 1878 г.). Том I перевел профессор геологии в Новороссийском университете Н. А. Головкинский (1834—1897). Том II перевел В. О. Ковалевский.

246 (2). Печатается с подлинника. Софья Васильевна выехала в Москву к тяжело больной Лермонтовой. За несколько дней до этого у нее был шведский математик Г. Миттаг-Леффлер, имевший поручение от общего их учителя Вейерштрасса убедить Ковалевскую заняться исключительно математикой. В письме к своему приятелю от 10 февраля 1876 г. из Петербурга Миттаг-Леффлер сообщал: «Больше всего меня интересовало в Петербурге знакомство с Ковалевской. Сегодня я провел у нее несколько часов. Как женщина, она очаровательна. Она красива и когда говорит, то ее лицо освещается таким выражением женской доброты и высшего ума, что это действует прямо ослепляюще. Ее обращение просто и естественно, без всякого следа педантизма или притворства. Она во всех отношениях вполне светская женщина. Как ученую, ее характеризует необыкновенная ясность и точность выражений. Ясной становится также глубина ее познаний, и я вполне понимаю, почему Вейерштрасс считает ее наиболее одаренной из своих учеников».

247 (1). Сверху на письме пометка В. О. Ковалевского: «получено в

четверг 26 февраля». На конверте адрес: «Владимиру Онуфриевичу Ковалевскому С.-Петербург. Вас. о-в. На углу 4-й линии и Малого проспекта, д. Лихонина». Почтовые штемпеля: «Москва 25. II. 1876». «С.-Петербург 26. II. 1876».

247 (2). Все письма С. В. Ковалевской к Ф. М. Достоевскому печатаются с подлинников из архива А. Г. Достоевской в Рукописном отделе Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Письма не датированы, но А. Г. Достоевская отметила на листке, в который они вложены: «Все письма без обозначения года и числа — 1876—1878 годов, когда Ковалевская жила в Петербурге». На одном письме имеется пометка Анны Григорьевны, уясняющая дату. По содержанию эти пять писем относятся к 1876—1877 гг. По датам писем Достоевского за эти два года к разным лицам видно, что в 1876 г. он был: в Петербурге — с января по июнь, в Старой Руссе — во второй половине июня, в Берлине и Эмсе — с 7 июля по 6 августа, в Старой Руссе — с 21 августа, в Петербурге — с 29 августа до конца года; в 1877 г.: в Петербурге — с начала года по 19 мая, в Малом Приколе (Курской губернии) — в июне, в Петербурге — с конца июня до конца года. Все письма Ковалевской пересылались в Петербурге с нарочным. Приведенные справки о местонахождении Достоевского в 1876—1877 гг. несколько уточняют даты писем С. В. Ковалевской к нему. На первом письме пометка рукою А. Г. Достоевской: «1876».

247 (3). См. очерк «Встречи с Гончаровой».

247 (4). Анатолий Федорович Кони (1844—1927) был председателем петербургского окружного суда во время разбора дела Веры Засулич (31 марта 1878 г.), обвинявшейся в покушении на петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова (24 января 1878 г.). Он должен был помочь Гончаровой добиться разрешения на свидание с Павловским. Достоевский был знаком с А. Ф. Кони с 1873 г., когда последний оказал знаменитому писателю услугу в связи с его литературно-судебным делом.

247 (5). Анна Григорьевна — жена Ф. М. Достоевского.

248 (1). В литературе о Достоевском я не нашел сведений о замысле романа «Мечтатель». Исследователь творчества Достоевского Л. П. Гроссман сообщил мне по поводу комментируемого письма: «Некоторые из указаний Софьи Ковалевской в ее письме, а именно: «роман о «Мечтателе», «желание разбогатеть во что бы то ни стало», «выслеживать способ для этого», «мысль о богатстве отступает на второй план» (перед новым более смелым замыслом) — все это довольно близко ассоциируется с «Подростком» (мечты стать Ротшильдом и пр.). Но «Подросток» писался в 1874—1875 гг., после же 1876 г., единственный роман Достоевского — «Карамазовы».

248 (2). Упоминание «адских часов» Томаса позволяет уточнить дату письма. В «Новом времени» за вторую половину марта и за апрель 1876 г. есть объявление о том, что в музее И. Б. Гасснера в Пассаже показывается адская часовая машина убийцы Томаса. Демонстрация этого музейного экспоната вызвана была историей, происшедшей 11 декабря 1875 г. в порту гор. Бремергафен (Германия) и рассказанной в тогдашних газетах. Согласно передаче «Нового времени», американец Томас устроил начиненную динамитом адскую машину, которая должна была в определенный момент в открытом море взорвать пароход с застрахованным в большую сумму грузом Томаса. Последний надеялся разбогатеть на страховой премии за свой груз. Но Томас плохо рассчитал завод машины, взорвавшейся в его руках на набережной, когда он собирался взойти на пароход. При этом вместе с Томасом погибло много посторонних людей.

Академик Е. В. Тарле сообщает другую версию. В письме ко мне по поводу одной из моих работ о Ковалевской, где упоминается история Томаса, Е. В. Тарле заявляет: «Преступник Томас не был убит взрывом своей «адской машины» и вообще все это произошло иначе. Томас сидел с капитаном грузового парохода (в Бремергафене), и они пили грог в капитанской каюте, когда с набережной, по которой рабочие проносили на пароход тюки с хлопком, застрахованные Томасом, раздался грохот: поскользнулся и упал рабочий, который как раз нес тот тюк, где был взрывчатый материал и часовой механизм. Капитан тотчас пошел на набережную, а когда вернулся, то увидел уже мертвого, застрелившегося в каюте Томаса (сразу понявшего, что его замысел не выгорел). Кроме рабочего, упавшего с тюком, никто не пострадал. Вот как было дело. Пишу по памяти, но безусловно это было так. Очень характерно, что, как вы пишите, сам Достоевский заинтересовался историей с Томасом. Сюжет — для него!» (письмо от 10 апреля 1949 г.).

«Вся Европа была тогда потрясена загадочными катастрофами, которые стоили многих жизней» (Фигнер, I, 114).

249 (1). Письмо датируется приблизительно годом смерти двух старых теток матери С. В. Ковалевской, дочерей академика Ф. И. Шуберта — Фредерики Федоровны (род. в 1794 г., ум. 20 февраля 1876 г.) и Вильгельмины Федоровны (род. в 1792 г., ум. 8 февраля 1877 г.).

249 (2). Печатается с подлинника.

250 (1). Брат М. А. Сеченовой — Владимир Александрович Обручев (1836—1912), один из близких друзей Н. Г. Чернышевского, участник революционных организаций 60-х годов; писал в «Современнике»; арестован в 1861 г. за распространение прокламаций «Великорусс», осужден в каторгу на пять лет и на вечное поселение в Сибири. Обряд гражданской казни был совершен над ним в конце мая 1862 г., в разгар петербургских пожаров, которые провокационными слухами из правительственных кругов приписывались студентам и революционерам. Поэтому собравшаяся на месте обряда толпа, подстрекаемая агентами полиции, требовала повешения Обручева и даже пыталась совершить над ним самосуд. В. А. Обручев был в каторжных работах на Александровском винокуренном и Петровском железоделательном заводах, потом на поселении в Сибири. В 1872 г. выехал в Оренбургскую губернию, через год в Уфу, еще через год получил разрешение жить всюду в России, кроме столиц. В 1876 г. В. А. Обручеву вернули чин поручика, его приняли на государственную службу — в морское ведомство.

Тогда Обручев снова стал, под псевдонимом, писать в «Отечественных записках» и в «Вестнике Европы». В письме говорится о войне с Турцией 1877—1878 гг.

250 (2). Из посланных Софьей Васильевной при этом письме изданий ее мужа в библиотеке Достоевского сохранились почти все книги, выпущенные В. О. Ковалевским в 1876—1877 гг. в серии «Древних классиков для русских читателей» (Гомер, Аристофан, Виргилий и др.), а также «Литературные воспоминания» И. И. Панаева (1876 г.).

250 (3). Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — редактор и издатель газеты «Новое время», в которой работали в 1876 г. С. В. и В. О. Ковалевские. Вокруг обновленной в 1876 г. захудалой газетки «Новое время», призванной бороться с оппортунистическим, угодничающим правительству, подкупленным «Голосом», объединились тогда лучшие силы петербургской журналистики. В газете печатались также в 1876—1877 гг. Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков, Ф. Ф. Эрисман, И. С. Тургенев,

С. А. Венгеров и многие другие. Писала там на театральные и научные темы и С. В. Ковалевская. Всю черновую организационную работу взвалили на Ковалевского, который устроил для газеты типографию, работал в качестве фактического редактора, был ночным выпускающим, писал безыменные передовые статьи, репортерскую хронику и научно-популярные фельетоны за своей подписью. «Новое время» стало самой популярной из всех тогдашних русских либеральных газет; тираж газеты увеличивался со дня на день. Приспособляясь к интересам мелкопоместного дворянства и торгово-промышленного класса, Суворин стал менять направление своего издания, и вскоре из прогрессивного органа печати «Новое время» стало реакционной газетой. Все прогрессивные писатели с негодованием покинули газету, где стали господствовать Подхалимовы, где защита самодержавия и политического мракобесия стала главным делом.

251 (1). «Анна Каренина» Л. Н. Толстого печаталась в «Русском вестнике» несколько лет: 1875 г., № 1—4; 1876 г., № 1—4 и 12; 1877 г., № 1—4. Восторженный отзыв С. В. Ковалевской об этом романе Н. Н. Страхов передал Л. Н. Толстому в письме от 21 апреля 1877 г.

251 (2). Фельетоны за подписью IV об «Анне Карениной» печатались в газете «Голос», в № 13 (от 13 января), 41 (10 февраля), 69 (10 марта), 95 (7 апреля) и 104 (26 мая). Последняя статья больше всего могла интересовать Достоевского. В ней автор говорит, что по силе психического проникновения может сравниться с Толстым только Достоевский, у которого, однако, не в пример эпическому описанию Толстого, встречаются болезненные ноты. В той же статье приводится отзыв об «Анне Карениной» газеты «Северный вестник», где сравниваются художественные дарования Толстого и Тургенева и восхваляется второй. И это могло интересовать Достоевского, который ревниво следил за необыкновенным успехом «Анны Карениной» у читателей и критиков.

251 (3). Печатается с подлинника. Цифра «16» в рукописи переделана из «11». Повидимому, письмо начато 11 января и закончено 16-го.

251 (4). А. О. Ковалевский приезжал в Петербург в декабре 1879 г. на шестой съезд естествоиспытателей.

На этом съезде С. В. Ковалевская сделала, по предложению академика П. Л. Чебышева, доклад о приведении абелевских функций (П о г о ж е в, стр. 209). Доклад Софьи Васильевны, вызвавший одобрение крупнейших русских математиков, послужил началом ее возвращения к научной деятельности. «Стоит только коснуться мне математики, я опять забуду все на свете» (Л и т в и н о в а, стр. 48).

252 (1). Слово «тысяч» — лишнее.

253 (1). Печатается с подлинника.

253 (2). Возвращение Ковалевских к усиленному прожектерству вызвано приглашением Владимира Онуфриевича в «нефтяное товарищество» В. И. Рагозина в качестве технического директора. Эта служба совсем оторвала В. О. Ковалевского от научной деятельности и довела его до трагической кончины. См. дальше — письма за 1883 год.

253 (3). В. О. Ковалевский избран был в штатные доценты Московского университета по кафедре геологии и палеонтологии в декабре 1880 г. единогласно в факультете (16 голосами) и совете (39 голосами). 3 января 1881 г. попечитель округа утвердил избрание. В связи с этим возникла переписка между Московским и Петербургским университетами.

В июне 1881 г. петербургский ректор известил московского, что В. О. Ковалевский состоял с 27 июня 1878 г. хранителем зоологического кабинета Петербургского университета без жалованья и числился на службе

до последнего времени, не прося об увольнении. В пересланном из Петербурга в Москву аттестате (от департамента герольдии от 4 июля 1863 г. за № 1719) сказано, что В. О. Ковалевский — православный, из дворян, у родителей в Витебской губернии 150 душ временно обязанных крестьян; окончил полный курс училища правоведения; 17 мая 1861 г. определен на службу в департамент герольдии Сената, был в отпуску за границей с 30 июля 1861 г. на 4 месяца, по болезни, в срок не явился; 26 марта 1862 г. уволен от службы по болезни за невозможностью продлить просимый им отпуск по болезни на два года. На дипломе полицейские отметки о прописке В. О. Ковалевского: «8 июля 1876 г.— 6 линия Васильевского острова (Петербург), д. № 15; 8 июля 1877 г.— там же; 13 декабря 1877 г.— Большой пр., д. 43; 1880 г., 23 сентября (в Москве) — Петровские линии, д. 497; 10 марта 1881 г.— там же; 24 апреля 1881 г.— там же; 23 марта 1881 г. в Петербурге проездом, по М. Морской [ныне ул. Гоголя], д. № 18, кв. № 35» (дело архива Совета Московского университета, № 471 за 1880 г.).

253 (4). А. И. Бабухин (1835—1891), профессор гистологии и эмбриологии в Московском университете.

В. Ф. Снегирев (1847—1916), основоположник русской гинекологии; его классические труды переведены на западноевропейские языки.

253 (5). Н. В. Бугаев (1837—1903), профессор математики в Московском университете.

254 (1). Фуфа — дочь Ковалевских Софья Владимировна. Марья Дмитриевна — няня Фуфы.

254 (2). Печатается с подлинника, из семейного архива; по содержанию тесно связано с предыдущим письмом.

254 (3). А. Ю. Давидов (1823—1885), профессор математики в Московском университете. Н. С. Тихонравов (1832—1893), профессор истории русской литературы, академик (с 1890 г.).

254 (4). А. А. Сабуров (1837—1916), в 60-х годах был одним из прогрессивных деятелей судебной реформы. В апреле 1880 г. заменил на посту министра просвещения жестокого реакционера Д. А. Толстого, уволен после воцарения Александра III.

255 (1). См. примеч. 4 к стр. 251. Работа С. В. Ковалевской «О приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам» опубликована в печати в 1884 г.; включена в издание 1948 г. (стр. 51 и сл.).

256 (1). Печатается с подлинника из собрания А. Г. Достоевской (см. примеч. 2 к стр. 247).

256 (2). На конверте: «Ее высокородию Анне Григорьевне Достоевской. С.-Петербург. Угол Ямской и Кузнечного пер., д. № 2-5, кв. 10». Почтовые штемпеля: «Москва, 3 февр. 1881». «Петербург, 4 февраля 1881».

256 (3). Печатается в переводе по тексту воспоминаний адресатки.

257 (1). Все письма естествоиспытателей — из собрания В. О. Ковалевского, который познакомился с ними в годы своего учения за рубежом (1869—1874) и поддерживал отношения по возвращении в Россию.

258 (1). Печатается по тексту, опубликованному П. Я. Полубариновой-Кочиной (изд. 1950 г., стр. 20). Это ответ на письмо Миттаг-Леффлера от 23 мая 1881 г. Он сообщал Ковалевской: «Все мои университетские друзья знают о Вашем исключительном таланте, так что нет сомнений, что Вы были бы приглашены сюда» (см. у П. Я. Полубариновой-Кочиной, сб. «Памяти С. В. Ковалевской», 1951 г.).

Г. Миттаг-Леффлер присутствовал на шестом съезде естествоиспытателей в Петербурге и тогда же завел с Софьей Васильевной разговор о занятии ею кафедры в Гельсингфорсском университете или в стокгольмской Высшей школе. В ноябрьском письме (1881 г.) Софья Васильевна спрашивала В. О. Ковалевского: «А что ты скажешь о Гельсингфорсе? принимать ли приглашение или нет. Скучно постоянно жить одной, а честь между тем большая».

258 (2). Печатается по тексту книги Е. Ф. Литвиновой (стр. 54 и сл.).

259 (1). Это же письмо, с некоторыми незначительными разночтениями — в книге А.-Ш. Леффлер-Эдгрен о Ковалевской (стр. 152 и сл.) и в отрывках — в другом переводе у П. Я. Кочиной (изд. 1950 г., стр. 20 и сл.). В письме от 21 ноября Софья Васильевна сообщает Миттаг-Леффлеру: «появление женщины в звании доцента на университетской кафедре представляет настолько серьезный шаг, который может иметь такие серьезные последствия для цели, которой я главным образом хочу служить, что я не имею права решиться на него, прежде чем своими чисто научными трудами не докажу, на что я способна» (там же, стр. 22).

259 (2). Печатается с подлинника.

259 (3). Семенково — подмосковное имение Ю. В. Лермонтовой.

260 (1). О. К.— О. А. Новикова (1840—1921), рожденная Киреева; жила постоянно в Лондоне в качестве неофициального дипломатического агента царского правительства. Печатала книги и статьи политического содержания за подписью «О. К.». В 1909 г. была издана в Англии и тогда же в Петербурге, в русском переводе, книга: «Депутат от России. Воспоминания и переписка О. А. Новиковой». Русское издание выпущено также в 1915 г. В рецензии на эту книгу академик Е. В. Тарле отметил, что Новикова — интересная и недюжинная женщина («ГМ», 1915, № 10, стр. 300 и сл.). Политическая роль Новиковой освещена в докторской диссертации члена-корр. АН СССР М. П. Алексеева: «Очерки из истории англо-русских литературных отношений» (см. «Тезисы диссертации», 1937). О Новиковой — много в переписке и воспоминаниях русских политических деятелей и писателей.

260 (2). В. Гладстон (1809—1898), английский политический деятель.

261 (1). В архиве А. Ф. Кони в Институте АН СССР (Пушкинский дом) имеется 11 неизданных писем к нему О. А. Новиковой. Из них видно, что в июле 1881 г. Кони выехал из Петербурга за границу и оказался в одном купе с Новиковой. Таким образом они и познакомились. Кони ехал в Киссинген, она в Мариенбад. На первом из писем Новиковой к Кони, от 21 июля, имеется карандашная пометка рукой Кони: «1881. Первое знакомство в пути». Таким образом они доехали до Эйдкунена (граница), откуда Новикова из-за каких-то непорядков в своем паспорте вынуждена была вернуться обратно в Вержболово, Кони поехал дальше в Киссинген. Затем Новикова после остановки в Вержболове добралась до Мариенбада, откуда и писала ему (первое письмо еще из Вержболова). Что касается «расположения», которое Кони питал к Новиковой, то в ее письмах имеются такие фразы. В первом письме, из Вержболова, она пишет: «До какой степени мне досадно было на богов, помешавших мне продолжать путь с вами. Так было хорошо беседовать с вами, как со старым другом, снисходительно смотревшим на все мои недостатки». В другом письме, уже из Мариенбада, она пишет, что в Вержболове «уже потому было плохо, что попала не по своей воле и даже на зло сильному желанию ехать далее с вами».

В письме от 9 августа из Мариенбада, перечисляя Кони своих знакомых, с которыми она встречается в Мариенбаде, Новикова сообщает о Софье

Васильевне: «M-me Ковалевская мило детски улыбается, но я ожидала в ней больше содержания, чем нахожу» (сообщение Л. С. Утевского).

261 (2). Адресат неизвестен; печатается в отрывках, опубликованных П. Я. Полубариновой-Кочиной (сб. «Памяти С. В. Ковалевской», 1951.)

261 (3). Софья Васильевна «занялась этой задачей, но сначала ее попытки оказались бесплодными» (там же). Дальше, в прямых скобках, вписано для связи текста.

261 (4). Ковалевская продолжала исследование и добилась победы: получился ее знаменитый труд о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.

262 (1). Печатается с подлинника.

262 (2). Дочь А. И. Герцена, Ольга Александровна (1850—?) была замужем за историком Г. Моно (1844—1912); в начале 60-х годов В. О. Ковалевский был (в Лондоне) ее учителем.

262 (3). Ближайшие два письма печатаются по тексту книги Кампфмейера о Фольмаре (Мюнхен, 1930). В этой книге письма С. В. приведены в извлечениях с подлинников, находившихся тогда с другими бумагами Фольмара в берлинском архиве германской социал-демократической партии. Для настоящего издания пришлось перевести два из опубликованных Кампфмейером отрывков.

Фон-Фольмар, Георг (1850—1922) — лидер правого крыла германской социал-демократии. К концу 90-х годов выступал в речах и брошюрах с ревизией учения Маркса — Энгельса, задолго до Эд. Бернштейна, и подвергся резкой критике со стороны вождей революционного пролетарского движения и теоретиков научного марксизма.

В. И. Ленин много раз выставлял Фольмара образцом вреднейшего оппортуниста (см. Сочинения за 1900—1912 гг.). В пору, к которой относятся письма Ковалевского к Фольмару, он пользовался еще репутацией стойкого революционного деятеля. После смерти С. В. Ковалевской напечатал о ней статью.

262 (4). Имеется в виду Интернационал.

263 (1). К этому времени относятся два письма К. Вейерштрасса к Софье Васильевне, характеризующие ее взаимоотношения с В. О. Ковалевским (см. «Приложения»).

263 (2). О пребывании С. В. Ковалевской в Париже во время Коммуны — в письмах А. В. Жаклар (см. «Приложения»).

263 (3). Дорогой друг — польская революционерка. М. В. Мендельсон-Залесская; см. дальше — письма к ней.

264 (1). Печатается с подлинника. На листке обычного почтового формата отпечатана фиолетовой краской буква «S».

264 (2). Было: «конце», зачеркнуто и надписано: «начале».

265 (1). После этого: «из моего жалованья» (зачеркнуто).

265 (2). Было еще: — «как теперь» (зачеркнуто).

265 (3). См. примеч. 3 к стр. 262.

265 (4). Миттаг-Леффлером.

266 (1). Тогда же Софья Васильевна писала А. О. Ковалевскому: «Я работаю теперь ужасно много, решительно целый день. Работа моя, видимо, подвигается к концу. Осенью я во всяком случае вернусь в Россию и прежде всего постараюсь, не смогу ли достать себе правильную литературную работу в одном из толстых журналов, вроде того, как делает Виктор для «Дела», зарабатывающий своими хрониками от 150 до 200 рублей в месяц. Если мне это удастся, я буду очень счастлива и поеду в Штокгольм или вернусь в милый Париж. Если же это не удастся, то придется

искать места в России, хотя этот последний исход будет для меня почти столь же приятен, как петля на шею» (письмо от 28 февраля, из семейного архива).

Упоминаемый здесь Виктор — Жаклар. «Дело» — петербургский журнал радикального направления, где Жаклар помещал политические обозрения с декабря 1879 г. до мая 1884 г. Такие же статьи он печатал в другом радикальном журнале «Слово» с декабря 1879 г. по февраль 1881 г. Сотрудничество Жаклара в обоих журналах прекратилось ввиду их закрытия правительством за «вредное» направление. В литературной работе помогала Жаклару его жена Анна Васильевна, подвергая статьи стилистической обработке; вместе с женой он составил также хрестоматию для русских, изучающих французскую литературу (два тома, СПб., 1878).

266 (2). Печатается с подлинника.

267 (1). Местность под Парижем.

267 (2). За время, прошедшее от письма к Фольмару (№ 42) до письма к сестре (№ 43) произошла страшная драма в семье Ковалевских — трагически оборвалась жизнь Владимира Онуфриевича (см. примеч. 1 к стр. 205, а также письмо Ю. В. Лермонтовой от 17 апреля 1883 г. и А. О. Ковалевского от 10 июня 1883 г.— в «Приложениях»).

267 (3). Печатается по тексту книги Е. Ф. Литвиновой (стр. 57 и сл.).

В Одессе в это время происходил VII съезд естествоиспытателей и врачей. Софью Васильевну единогласно избрали председательницей математической секции. На одном заседании она сделала доклад на тему «Об интегрировании дифференциальных уравнений с частными производными, определяющими преломление света в прозрачной кристаллической среде» (напечатано под сокращенным заглавием в издании 1948 г., стр. 136 и сл.). Присутствовавший на этом заседании великий русский ученый Н. Е. Жуковский дал в обзоре трудов Софьи Васильевны высокую оценку ее сообщению о преломлении света. Такую же оценку названная работа получила и от других выдающихся специалистов.

268 (1). Однако вскоре по приезде в Стокгольм Софья Васильевна убедилась, что Швеция ей родины не заменит. См. ее отзывы о фарисействе шведского общества в письмах к С. А. Юрьеву (стр. 272) и Терезе Гюльден (стр. 283). Даже после своего триумфа в Стокгольме, после того, как шведские газеты называли Софью Васильевну принцессой науки, она писала одному знакомому математику: «Я, конечно, очень счастлива, что мне предстоит такая прекрасная деятельность в Стокгольме, там имеются люди, которые ко мне очень хорошо относились и оказали мне, за короткое время моего пребывания там, много любезностей, но тем не менее я чувствую себя там совсем чужою» (3 июля 1884 г.).

268 (2). Это письмо приведено также, с некоторыми различиями, в книге А.-Ш. Леффлер-Эдгрен (стр. 154 и сл.). Там после отмеченной фразы — еще: «и пока не буду надеяться произвести на своих слушателей хорошее впечатление».

268 (3). Дальнейшего текста у Литвиновой нет; даю его по тексту А.-Ш. Леффлер-Эдгрен (стр. 155 и сл.).

268 (4). Печатается с подлинника.

269 (1). Предсмертные письма В. О. Ковалевского к брату от 1 февраля, 13 и 19 марта и 15 апреля 1883 г. опубликованы мною в сб. «Научное наследство» (т. I, 1948, стр. 385 и сл.).

269 (2). В письме, предшествовавшем настоящему, Софья Васильевна сообщала А. О. Ковалевскому: «После разговора с Леонидом Ивановичем [Рагозиным] я сама начинаю думать, что друзья В. О., адвокаты Танеев и

Языков, значительно преувеличивали ответственность, могущую пасть на В. О., и этим, может быть, и погубили его. Ведь его ни разу не вызывал судебный следователь по этому делу, тогда как других директоров уже не раз таскали, а они между тем и ухом не ведут».

270 (1). А. П. Павлов (1854—1929), крупный русский геолог и палеонтолог, академик (с 1916 г.).

270 (2). Сергей Андреевич Юрьев (1821—1888), известный литературный деятель, историк театрального искусства и драмы. В 1880 г. основал литературно-политический журнал «Русская мысль», который редактировал до марта 1885 г. Статьи под приведенным здесь заглавием, или подходящим к нему, не удалось найти в названном журнале за 1884 и следующие годы. Нет такой рукописи в архивных материалах. Не упоминается такая статья ни в одном списке произведений С. В. Ковалевской. См. следующее письмо.

271 (1). Печатается с подлинника из собрания ЦГЛА (ф. 636, № 275, л. 1—3). Дата проставлена условно, в соответствии с содержанием предыдущего письма.

271 (2). Описка: Юрьева звали Сергей Андреевич.

271 (3). См. предыдущее письмо.

272 (1). В рукописи после этого: «начнутся мои» (зачеркнуто).

272 (2). Слово «интеллигентное» — над строкой.

272 (3). Было: «в Штокгольме и Упсале» исправлено по написанному.

272 (4). После этого было: «в Штокгольме осно» (зачеркнуто и текст продолжен).

272 (5). Зачеркнуто слово, не поддающееся прочтению.

272 (6). После этого было: «мущий с» (зачеркнуто).

272 (7). Слово «писателей» надписано над зачеркнутым «литераторов».

272 (8). Это слово — над строкой.

272 (9). Надписано над зачеркнутым словом «еще».

272 (10). Конечно, речь идет о Г. Ибсене.

273 (1). Слово «время» — над строкой.

273 (2). После этого Софья Васильевна написала: «Юрий», зачеркнула и продолжала текст.

273 (3). Из произведений С. В. Ковалевской, соответствующих по теме упоминаемой здесь статье, наиболее подходят к ней два очерка: «В больнице La Charité, гипнотический сеанс у доктора Люиса, члена Медицинской академии» («Русские ведомости», 1888, № 297 от 28 октября) и «В больнице La Salpêtrière. Клиническая лекция доктора Шарко» (там же, № 301 от 1 ноября). Обе подписаны: «Софья Нирон», под второй — дата: «Париж, 1888, 21 июля».

273(4). Мария Викентьевна Мендельсон (1850—1909). С юных лет вступила в революционную организацию, в которой продолжала работать и после выхода замуж за помещика Янковского. Арестованная в 1881 г. в Варшаве, бежала за границу, где была арестована и посажена в прусскую тюрьму. По освобождении жила в Париже. Принимала участие в деятельности революционной эмиграции, была одной из руководительниц польского революционного движения. В Париже познакомилась с Ковалевской, с которой навсегда сохранила близкие, дружеские отношения. После смерти Янковского вышла замуж за Стан. Мендельсона. Много раз приезжала в Россию по революционным делам с чужими паспортами (их устраивала для нее и Софья Васильевна), рискуя попасть в руки царских жандармов. Эллен Кэй пишет, что «Ковалевская высоко ценила нравственный облик этой польской революционерки». М. В. Мендельсон переводила пьесы А. Н. Ос-

тровского на французский язык. О ней и ее муже — в переписке Маркса — Энгельса (Соч., т. XXVIII, по указателю).

Письма Софьи Васильевны к Марии Мендельсон-Янковской печатались много раз на русском, немецком и польском языках.

273 (5). Это первое из дошедших до нас писем Софьи Васильевны к Мендельсон.

273 (6). Речь идет о польском революционном движении.

273 (7). «Рассвет» — польская социалистическая газета, основанная Мендельсоном и выходившая в Лондоне. Германское правительство, действительно, выдало Мендельсона России, но он подкупил жандармов и бежал с границы. Впоследствии вернулся в Россию и примкнул к лагерю консерваторов.

275 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива.

276 (1). Печатается по тексту журнала «Минувшие годы» (1908, № 3), где опубликовано без указания источника. Дата установлена по содержанию и по другим письмам. Лавров, Петр Лаврович (1823—1900) — профессор математики в военных школах. В 1866 г., в связи с жестокой реакцией после выстрела Каракозова, был арестован, сослан в Вологодскую губернию; в 1870 г. бежал за границу, жил эмигрантом, преимущественно в Париже; сблизился с передовыми кругами международной демократии; участвовал в I Интернационале, в Парижской Коммуне; был в дружеских отношениях с Марксом и Энгельсом (см. Маркс — Энгельс, Соч., т. XXIV и сл. по указателям). С. В. Ковалевская познакомилась с Лавровым в начале 80-х годов в Париже. После смерти Ковалевской Лавров сделал в Париже доклад, посвященный ее памяти, в котором говорится главным образом о великой силе знания и о стремлении русской женщины к образованию.

277 (1). А.-Р. Норденшильд (1832—1901), натуралист-путешественник. Родился в Гельсингфорсе, где его отец Н.-Г. Норденшильд был профессором минералогии. Н.-Г. Норденшильд известен научными экспедициями в Сибирь и на Урал. А.-Р. Норденшильд совершил несколько научных экспедиций на Шпицберген и вдоль берегов Сибири. Описания экспедиций А.-Р. Норденшильда изданы несколько раз на русском языке. См. у Д. И. Менделеева, «Научное наследство», I, стр. 172.

277 (2). Словом «нигилизм» С. В. Ковалевская, как и многие ее сверстники, определяет социально-революционное движение вообще.

277 (3). Александр III разрешил вернуть Н. Г. Чернышевского из Сибири по докладу министра внутренних дел 27 мая 1883 г. Из Вилюйска Н. Г. выехал в конце августа, прибыл на место новой ссылки — в Астрахань — в конце октября.

278 (1). Варвара Николаевна Никитина-Жандр (1842—1884) — участница революционного движения; писала во французских изданиях по литературным и социальным вопросам.

Владимир Владимирович Луцкий (1854—1900-е годы), морской офицер, участник революционных организаций с 1874 г. Подвергался арестам и заключениям, в 1881 г. выехал за границу, где остался эмигрантом. Летом 1883 г. известный революционер-марксист Д. Благоев встретил Луцкого в Татар-Пазарджике (южная Болгария), где он служил чиновником. Луцкий был и чернорабочим и инженером, занимался революционной пропагандой. В 1890 г. он был обманом завлечен в русское посольство в Константинополе, арестован, доставлен на русский пароход, отправлен через Одессу (16 декабря 1890 г.) в Петербург и выслан в юго-восточные губернии.

278 (2). См. примеч. 4 к стр. 273.

278 (3). Сохранилось несколько таких календариков с поденными записями Софьи Васильевны (см. примеч. 1 к стр. 177).

278 (4). Рыжеволосый приятель — Семен Рафаилович Дикштейн (1858—1884), участник польского революционного движения. Окончив 19 лет Варшавский университет, проявил выдающиеся дарования в области естественных наук; переводил на польский язык сочинения Дарвина; написал в Париже докторскую диссертацию по зоологии, встреченную в ученых кругах с большими похвалами и надеждами. Еще в университете примкнул к революционному движению, придерживаясь анархистских взглядов. Вскоре, под влиянием знакомства с сочинениями Маркса — Энгельса, сделался сторонником научного марксизма; написал переведенную на многие языки, в том числе и на русский, популярную брошюру «Кто чем живет», имевшую большое значение для пропаганды идей социализма и классовой борьбы. Арестованный в 1878 г. в Варшаве, скрылся за границу, продолжая революционную работу вместе с научной. С Ковалевской познакомился в Париже. 24 июня (6 июля) 1884 г. покончил самоубийством в Швейцарии (гор. Берн). Получив известие об этом, Софья Васильевна писала Марии Мендельсон: «Что толкнуло бедного Дикштейна на такой шаг? Читала ли ты «Радость жизни» Зола? Помнишь ли восклицание того бедного, пораженного подагрой старца, жизнь которого была не более как длительной агонией,— восклицание, вырвавшееся у него при вести о самоубийстве его старой служанки: «Каким глупым нужно быть для того, чтобы покончить с собой!»

278 (5). Соглашение между Центральным комитетом польской «социалистической революционной партии» «Пролетариат» и Исполнительным комитетом партии «Народная воля» о совместной деятельности для борьбы с царским самодержавием было заключено в феврале — марте 1884 г. («Былое» 1906 г., № 4, стр. 194 и сл., № 7, стр. 282 и сл.).

279 (1). Людвиг Варынский (1856—1889), один из руководителей польского социалистического движения; в 1878 г. эмигрировал; работал в революционных организациях Австрии и Швейцарии, вел борьбу с социал-патриотами. В 1882 г. тайно вернулся в Польшу; арестован в Варшаве 16/28 сентября 1883 г., приговорен в 1885 г. к 16-летней каторге; умер в Шлиссельбургской крепости.

279 (2). Ковалевская имеет в виду задуманный ею труд о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки, который она действительно опубликовала через пять лет после этого письма и который доставил ей место в ряду самых выдающихся математиков.

280 (1). «Голубой птицей», по словам Мендельсон, она и Ковалевская условились называть в своей переписке сердечные дела. Сова — символ учености, мудрости, птица богини мудрости у древних греков и римлян — Минервы или Афины-Паллады. Так как последняя, согласно древнему мифу, родилась прямо из головы Юпитера, то ее не волновали сердечные страсти.

280 (2). Вскоре после этого Софья Васильевна писала А. О. Ковалевскому: «Относительно статей по поводу Владимира Онуфриевича я же хотела писать вам. Это ужасный собственно позор, что за границей не было ни одного хорошего некролога. Его приятель Фрас, геолог в Штутгарте, только на-днях, случайно узнал о его смерти! Он спрашивал у меня письменно несколько подробностей о Владимире Онуфриевиче, которые я и сообщила ему, так как он собирается написать о нем» (февральское письмо за 1884 г., в семейном архиве). Упомянутый здесь О. Фраас (1824—1897), германский палеонтолог. В литературе о В. О. Ковалевском статья Фрааса не упоминается.

281 (1). Печатается с подлинника.

281 (2). Весною 1884 г. Пулковская обсерватория командировала в Стокгольм астронома, геодезиста и топографа В. В. Витковского (1856—?). Рассказав в своих воспоминаниях об исполнении поручения к Гюльдену, русский ученый пишет: «Оставалось посетить Софью Васильевну Ковалевскую, знаменитого русского математика. Она лишь с осени 1883 г. начала читать лекции в Стокгольмском университете, жила весьма скромно... приняла меня чрезвычайно ласково, угостила чаем по-русски и пригласила на следующий день в университет прослушать ее лекцию... На вечер мы были приглашены к Гюльдену... У него застали С. В. Ковалевскую... Очень занимательна была Ковалевская, рассказавшая любопытные подробности о своем пребывании в германском университете и знакомстве со знаменитым математиком Вейерштрассом.

Следующий день прошел более поучительно. Уже утром я со Ждановым побывал в университете на лекции Ковалевской... Застали 15 слушателей. Через несколько минут вошла Ковалевская, одетая в черное бархатное платье, короткое и без всяких украшений, а за нею — профессор Миттаг-Леффлер. Быстро подойдя к доске, Ковалевская вооружилась мелом и начала свою лекцию очень просто и задушевно — о принципе Дирихле. Она говорила по-немецки, но как я вскоре узнал, это было лишь в первый год. Потом она настолько изучила местный язык, что в следующие годы вела лекции и даже прекрасно писала по-шведски. Во время чтения лекторша все время смотрела на доску, и мы могли видеть только ее спину. Постороннему зрителю это несколько странно, но студентам, усердно записывающим содержание, это, конечно, не важно... По истечении назначенного часа лекторша поспешно вышла из аудитории, не удостоив нас даже поклоном, а за нею следом побежал и Миттаг... Все это произвело на меня чарующее впечатление, и я подивился, что может сделать бойкая русская женщина» (вып. 2, стр. 122 и сл.).

282 (1). Печатается в переводе Софьи Владимировны Ковалевской с немецкого подлинника, опубликованного в статье Е. Симон-Экардт (стр. 251 и сл.). Адресатка — жена директора шведской астрономической обсерватории Г. Гюльдена (1842—1896), учившегося астрономии в нашей Пулковской обсерватории, бывшего с 1882 г. членом-корреспондентом нашей Академии наук.

Письмо, помимо всего прочего, характерно вынужденным объяснением Софьи Васильевны по поводу того, что «будет говорить» шведская буржуазия о жизни Ковалевской в Стокгольме без своей дочери. О том же Ковалевская писала А.-Ш. Леффлер 3 июня 1884 г. (книга Леффлер, стр. 168 и сл.).

285 (1). Адресат — немецкий математик; фамилия не известна. Возможно, что это — Ганземан, упоминаемый в «Дневнике» за 1890 г. (стр. 182). 20 писем Софьи Васильевны к нему опубликованы в статье М. Бунзен о Ковалевской; отсюда, в переводе с немецкого, настоящее письмо. Несколько писем Ковалевской к тому же адресату — в книге Леффлер. Бунзен называет его «господин X.», Леффлер «господин В.»; обе говорят о взаимном увлечении С. В. и этого математика. Мария Бунзен приводит две записочки Софьи Васильевны к тому же математику: «21 января 1885, 2-3 часа дня. Легкомыслие победило. Остаюсь здесь до 28. После отъезда моих друзей, приблизительно в четверть четвертого, приду к вам, чтобы усовершенствовать свое образование. Ваш легкомысленный друг С. К.». «21 января 1885, 7-8 час. вечера. Прежний рассудок все же одержал верх. После долгого размышления я решила все уже уехать завтра в 3,36. Мне очень жаль, но что поделаешь. С наилучшим приветом С. К.».

286 (1). Печатается с подлинника.

286 (2). Имеется в виду дом в Петербурге (см. стр. 288).

286 (3). На конверте «Russland. Odessa. E[го] п[ревосходительству] Александру Онуфриевичу Ковалевскому. Одесса. Разумовская, д[ом] Ковалевского».

287 (1). Печатается с подлинника. Зедер-Телье — местность под Стокгольмом.

287 (2). Тереза Гюльден дожила до преклонного возраста.

287 (3). Вскоре после этого Софья Васильевна писала друзьям из Стокгольма: «Я устроилась здесь уютно, в красивом доме, окруженном небольшим садом и находящемся на расстоянии нескольких шагов от леса. Леффлеры живут совсем поблизости, так что мы видимся по нескольку раз в день. Удалось мне, к счастью, нанять очень хорошую и преданную экономку, она сняла с меня все хозяйственные заботы и много способствует моему хорошему самочувствию». Здесь же Ковалевская сообщает: «Мои лекции доставляют мне, конечно, много хлопот. Я всеми силами стараюсь читать хорошо и ясно; иногда это мне удается и тогда я бываю очень счастлива; иногда же дело идет не так гладко; я замечаю, что мне не удалось заинтересовать своих слушателей и представить им все в ясном свете,— это меня очень огорчает».

287 (4). На конверте: «Russland. St. Petersbourg. E[e] В[ысокородию] Анне Васильевне Корвин-Жаклар. Вас[ильевский] о[стро]в, 6-я линия, д[ом] 15, рядом с Ларинской гимназией». Почтовые штемпеля: «Стокгольм, 19 августа 1884»; «С.-Петербург, 12 августа 1884».

288 (1). Печатается с подлинника, хранящегося в Центральном государственном архиве внутренней политики, культуры и быта. Фонд Правительствующего сената, собрание автографов.

Сергей Иванович Ламанский (1841—1901), физик. Приятель В. О. Ковалевского, он был неравнодушен к Софье Васильевне в пору их фиктивного брака и остался на всю жизнь ее преданным другом; занимался ее материальными делами, впрочем, довольно неудачно вследствие своей непрактичности.

288 (2). Речь идет о доходах с дома в Петербурге; о плохом управлении этим имуществом брата Софьи Васильевны Ф. В. Корвин-Круковского и его личных долгах; об арендаторше бань; о деньгах за издания В. О. Ковалевского, находившихся на складе у Н. П. Карбасникова.

288 (3). Гравюры из семейного собрания Корвин-Круковских и Шубертов.

289 (1). Из других писем Софьи Васильевны к С. И. Ламанскому видно, что она пыталась продать Суворину свое право на издание многотомной книги А. Брэма «Жизнь животных», выпускавшейся В. О. Ковалевским еще в конце 60-х годов. Суворин соглашался взять издание за очень низкую цену.

289 (2). Личные дела С. И. Ламанского не ладились во всех отношениях — научно-служебном, семейном, материальном. Через год после этого письма Софья Васильевна сообщала Марии Мендельсон о Ламанском: «Это очень порядочный человек. Он занимается специльно физикой, был назначен профессором в Варшаву. Но, так как он не хотел преследовать руссификаторских целей (чего от него ожидали), он предпочел подать в отставку. С тех пор он не мог, очевидно, получить кафедры ни при одном из русских университетов».

289 (3). В предыдущем письме Софья Васильевна сообщала Марии Мендельсон: «От Парижа до Гавра я ехала в обществе какой-то монахини

и какой-то мамаши; они все время говорили об устройстве судьбы мамашиной дочки. Монахиня играла здесь роль «свахи» и горячо рекомендовала какого-то молодого человека, который, правда, не знал предлагаемой ему невесты, но у него было желание попасть в их семью. Это была любопытная бытовая картинка. Особенно монахиня представляла собой неоцененный тип... Эти постоянные поездки, однако, печальны! Сердце еле успеет горячо и искренне привязаться к кому-нибудь, как снова наступает момент разлуки. Ты очень счастлива, дорогая Мария, что тебя окружают вполне преданные тебе друзья, друзья, никогда не покидающие тебя, и с которыми тебя связывает столько общих интересов! Что касается меня, то я чувствую, что старею после каждой разлуки. Такая уж я бедная, вечный жид-скиталец! А еще утверждают, что математика требует спокойствия и равновесия!»

Ковалевская ездила тогда в Норвегию на конгресс натуралистов. «Вчерашний день был очень утомителен, хотя и очень приятен,— писала она 13 июля 1885 г. Марии Мендельсон.— Я была предметом больших оваций. Меня выбрали председательницей математической секции. Во время официального обеда профессор Биеркес произнес длинный спич в честь меня, все же участники, главным образом студенты из Христиании, аплодировали так, что стены дрожали».

Около этого времени Миттаг-Леффлер выдвинул кандидатуру С. В. Ковалевской на открывшееся место академика Шведской Академии наук. Софья Васильевна писала ему по этому поводу 25 июня: «Видение красивого мундира академика постоянно проходит теперь перед моими глазами, и вы можете не сомневаться, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помочь вам достать его мне... Я шучу, милый друг, но вы не можете себе представить, насколько я тронута каждым новым доказательством интереса и дружбы, которые я получаю от вас». В письме от 15 июля Софья Васильевна просила Леффлера прекратить хлопоты о доставлении ей звания академика в Швеции, чтобы не вызвать зависти и недоброжелательства к ней со стороны буржуазии.

289 (4). Через несколько лет С. В. Ковалевская написала (в мае 1890 г.) статью на эту тему под названием: «Три дня в крестьянском университете в Швеции», напечатанную в «Северном вестнике» (1890, № 11) и включенную в собрание «Литературных сочинений».

289 (5). Людвиг Янович (1858—1902) учился в Московской сельскохозяйственной академии; принимал участие в студенческом движении; в 1881 г. был на социалистическом конгрессе в Хуре; вернулся в Польшу и вскоре перешел на нелегальное положение; участвовал в партии «Пролетариат». При аресте в 1884 г. в Варшаве оказал вооруженное сопротивление, осужден в каторгу на 16 лет, заключен в Шлиссельбург. В 1896 г. сослан в Средне-Колымск, оттуда писал в зарубежные издания. Под гнётом зверского отношения царской полиции к пленным революционерам застрелился. В предсмертном письме к товарищам «от души» желал им «увидеть красное знамя на Зимнем дворце». О Яновиче — у В. Н. Фигнер (т. II, по указателю).

290 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива.

290 (2). «Не» вписано над строкой.

292 (1). Возможно, что речь идет о статье «На рубеже знания» — см. примеч. 2 к стр. 270.

292 (2). См. примеч. 1 к стр. 285.

293 (1). Еще в июне 1885 г. Софья Васильевна писала Миттаг-Леффлеру, уехавшему из Стокгольма, что ей предлагают читать лекции по

механике вместо заболевшего профессора Гольмгрена (А.-Ш. Леффлер, изд. 1893 г., стр. 189 и сл.).

293 (2). Фольмар сообщил Ковалевской, что Мария Мендельсон решила поехать по революционным делам в Россию с чужим паспортом.

294 (1). Софья Илларионовна Бардина (1853—1883), училась в Цюрихе; когда царское правительство в 1873 г. запретило русским женщинам учиться за границей, причем возвело на них гнусную клевету и угрожало им преследованиями, Бардина доучивалась полулегально в Париже и Женеве. В 1874 г. вернулась в Москву и под чужой фамилией поступила на фабрику, где вела пропаганду среди рабочих, участвовала в революционных организациях. Арестована в 1875 г.; в 1876 г. на процессе 50-ти произнесла яркую речь, в которой говорила о неминуемом торжестве революции, за деятелями которой — сила идей; речь эта служила материалом для пропаганды; Бардина была осуждена в каторгу на 9 лет, сослана в Сибирь. Бежала в 1880 г. за границу, жила в Женеве, где покончила самоубийством вследствие тяжелой болезни.

294 (2). Подобно всем другим письмам Софьи Васильевны к А.-Ш. Леффлер-Эдгрен, печатается по тексту книги последней о Ковалевской; написано по-шведски. Сестра профессора Г. Миттаг-Леффлера Анна-Шарлотта, шведская писательница; ее книга о Ковалевской переведена на русский и многие другие европейские языки (см. примеч. 1 к стр. 505).

294 (3). Астроном, академик Ф. И. Шуберт — прадед Ковалевской с материнской стороны.

294 (4). Математику X. Софья Васильевна писала 22 февраля 1886 г.: «Развлечениями я, собственно, пользовалась очень мало, за исключением большого придворного бала, где мне нужно было присутствовать; после него мне пришлось очень много читать о себе во всех газетах... В катании на коньках я сделала успехи».

295 (1). Из «области серьезной жизни» Софья Васильевна писала в это время Марии Мендельсон: «В моей официальной жизни все в порядке и как следует, но признаюсь тебе, что мои личные дела страшно расстроились и оставили большую пустоту в моей жизни. Мое маленькое «я» — требовательное и самовольное — часто бунтовалось в продолжение последних месяцев и не хотело подчиниться рассуждению о ничтожности и непродолжительности личного счастья — не хотело подчиниться. От всего этого у меня остался большой осадок апатии и безразличия по отношению к себе... Я вполне разделяю твое восхищение Парижем; там хорошо жить, но не приезжать на несколько недель. Как я была бы счастлива, если бы могла найти там такое поле деятельности, как здесь, в Стокгольме! Но нечего и думать об этом! Французы не так скоро примут женщину-профессора, хотя я ни от кого не слышала столько комплиментов по поводу моего назначения, как именно от французских математиков. Они считают, что это хорошо за границей, но не у них, дома» (письмо от 13 июня 1886 г., в изд. 1911 г., стр. 77 и сл.).

296 (1). Печатается по тексту Е. Симон-Экардт (стр. 253), в переводе Софьи Владимировны Ковалевской.

297 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива.

297 (2). Тетя Ани — А. В. Жаклар. См. в «Приложениях» ее письмо к С. И. Ламанскому.

297 (3). Об источнике. см. примеч. 2 к стр. 205.

298 (1). См. об этом рассказ А.-Ш. Леффлер в ее «Воспоминаниях о Софье Ковалевской» (стр. 435 и сл.).

298 (2). Драма ставилась несколько раз в России, в Москве у Корша, в 1894 г. и позже. У Корша пьеса Ковалевской ставилась, как вспоминает Т. Л. Щепкина-Куперник, «с огромным успехом; пьеса эта, затронувшая впервые на русской сцене рабочий вопрос, произвела сильное впечатление». По словам А.-Ш. Леффлер, в героине драмы Алисе Ковалевская «хотела изобразить самое себя, и некоторые реплики этой драмы до такой степени ярко характеризуют ее, как будто были цитированы из ее собственных уст». См. дальше «Предисловие к драме» (стр. 324 и сл.).

298 (3). Имеются в виду «Воспоминания о Джорже Эллиоте» (см. примеч. 1 к стр. 150).

299 (1). Печатается по тексту книги Лффлер о Ковалевской (стр. 257).

299 (2). Незадолго до этого Ковалевская познакомилась с знаменитым норвежским исследователем полярных стран и ученым зоологом Фритьофом Нансеном (1861—1930) и сильно заинтересовалась им. Они произвели, по словам Леффлер, «друг на друга сильное впечатление и говорили оба, что если бы между ними ничего не стояло, эта сильная симпатия, при благоприятных условиях для развития, могла бы оказать решающее влияние на всю их последующую жизнь». У Нансена была невеста. Софья Васильевна встретила уже тогда М. М. Ковалевского, человека, который, по ее словам, в передаче Леффлер, был самым даровитым из всех людей, когда-либо встреченных ею в жизни. Про Нансена Софья Васильевна в другой раз писала Леффлер, что «на великом жизненном пиру» норвежский исследователь «получил именно ту порцию, которую он сам желал».

299 (3). Свой отважный, чрезвычайно плодотворный в научном отношении лыжный переход через ледяное плато Гренландии, от восточного берега ее до западного, Нансен начал в августе 1888 г. и вернулся в Норвегию в июне 1889 г.

299 (4). Печатается впервые по фотокопии из семейного архива. Над обращением к адресату — рукою С. В. Ковалевской: «Штурегатан 56,4 лестница» (по-шведски).

300 (1). По тексту книги Леффлер (стр. 258 и сл.).

300 (2). Это ироническое замечание в ответ на сообщение Леффлер, считавшей Ковалевскую влюбленной в Нансена, что последний уже помолвлен с другой девицей.

300 (3). М. М. Ковалевский (см. примеч. 2 к стр. 173).

300 (4). В конце мая 1888 г. Софья Васильевна встретилась с М. М. Ковалевским в Лондоне, откуда они отправились в путешествие по Германии и другим странам.

302 (1). В 1888 г. праздновалось 800-летие Болонского университета. Юбилей привлек внимание всего ученого мира.

303 (1). Печатается по тексту, опубликованному В. Е. Прудниковым; см. письма П. Л. Чебышева к Софье Васильевне («Приложения»).

303 (2). См. письмо П. Л. Чебышева от 20 октября 1888 г. к Софье Васильевне.

303 (3). На конкурс было представлено 15 работ. Комиссия Академии признала, что сочинение под девизом «Говори, что знаешь; делай, что обязан; будь, чему быть» является «замечательным трудом, который содержит открытие нового случая»; что «автор не удовольствовался прибавлением результата еще бо́льшего интереса к тем, которые перешли к нам по этому предмету от Эйлера и Лагранжа»; что он «сделал из своего открытия углубленное исследование с применением всех возможностей современной теории функций»; что способ автора решить задачу с применением «тета-функций

с двумя самостоятельными переменными позволяет дать полное решение в самой точной и наиболее изящной форме». Ввиду этого комиссия предложила присудить автору полную премию, увеличив ее с трех до пяти тысяч франков. По вскрытии конверта с девизом оказалось, что автор премированной работы — Софья Ковалевская. 24 декабря 1888 г. состоялось торжественное, чрезвычайно многолюдное заседание Парижской Академии наук с участием С. В. Ковалевской, которой после ряда хвалебных речей вручили премию (см. рассказ М. М. Ковалевского в его воспоминаниях о Софье Васильевне). О зарождении идеи этого труда см. в письме Ковалевской от 21 ноября 1881 г. (стр. 261).

Спустя год после этого триумфа шведская Академия наук присудила Ковалевской за новую работу на ту же тему премию в 1500 крон.

303 (4). Ковалевская приводит сокращенное название журнала французской Академии, в котором печатались исследования иностранных ученых. В т. 31 этого издания за 1890 г. (стр. 1—62) напечатан «Мемуар об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела вокруг неподвижной точки, когда интегрирование производится с помощью ультраэллиптических функций времени». Исследование это напечатано также в журнале шведской Академии «Acta mathematica». См. в русском издании «Научных работ» С. В. Ковалевской (1948 г., стр. 311 и сл.).

304 (1). Во время работы над темой о вращении твердого тела Софья Васильевна писала своим друзьям: «Моя голова так теперь полна математикой, что я не могу ни думать, ни говорить о чем-нибудь другом... Самое худшее — это то, что я так устала, так изнемогла, что я сижу и размышляю в течение целых часов о какой-нибудь простой вещи, которую я при других обстоятельствах легко могла бы решить в полчаса».

304 (2). Печатается с подлинника из собрания М. М. Ковалевского (Архив АН СССР, ф. 103). Опубликовано в предисловии к статье Софьи Васильевны о Салтыкове (см. примеч. 5 к стр. 128). М. М. Ковалевский состоял в давних дружеских отношениях с М. Е. Салтыковым. В 1885 г. он принимал близкое участие в издании Собрания сочинений Салтыкова.

304 (3). Речь идет о лекциях, прочитанных М. М. Ковалевским в Стокгольмском университете (см. примеч. 2 к стр. 173; ср. в воспоминаниях М. М. Ковалевского о Софье Васильевне, стр. 388 и сл.). Первое издание лекций (1890 г.) имеет на титульном листе посвящение С. В. Ковалевской.

304 (4). Софья Васильевна была «преисполнена негодования» на русских либералов, испугавшихся даже участия в посылке венка на гроб М. Е. Салтыкова.

Е. В. Де-Роберти (1843—1915), буржуазный социолог, сотрудник М. М. Ковалевского по устройству Русской высшей школы в Париже, участник земского умеренно конституционного движения.

Наш старый друг — П. Л. Лавров.

305 (1). А. П. Боголюбов (1824—1896), лейтенант флота, потом ученик Академии художеств, маринист. Внук А. Н. Радищева, он создал Радищевский музей в Саратове. С 70-х годов жил большей частью в Париже, основал там Общество взаимопомощи русских художников.

А. Е. Коцебу (1815—1889), один из лучших русских художников-баталистов.

305 (2). Г. Н. Вырубов (1843—1913), химик, философ-позитивист и публицист, друг Ковалевского.

По окончании Александровского (Пушкинского) лицея увлекся под влиянием идей 60-х годов естествознанием, имел степень магистра естествен-

ных наук, был врачом. С 1867 г. поселился в Париже; во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. участвовал в обороне Парижа в рядах национальной гвардии, а при Коммуне — в качестве врача военных лазаретов. Был близок с А. И. Герценом в последние годы его жизни, а после его смерти был в качестве душеприказчика первым издателем полного 10-томного собрания его сочинений (Женева и др., 1875—1879). Политических воззрений придерживался очень умеренных, характер имел сухой и замкнутый; еще Герцен писал о Вырубове, что он «доктринерством съел свое сердце»; в 1889 г. Вырубов, с разрешения царского правительства, натурализовался во Франции, продолжая поддерживать отношения со своей родиной. Оставил интересные воспоминания. О нем — у К. А. Тимирязева (Соч. т. IX, по указателю).

305 (3). Вскоре после этого Софья Васильевна приняла участие в Женском конгрессе, состоявшемся в Париже. В корреспонденции Е. Г. Бартеневой о конгрессе сообщается, что «делегаткой от русских женщин была госпожа Ковалевская, профессор математики в Стокгольме».

305 (4). Это и следующее письмо печатаются по тексту, опубликованному Е. Кусковой («Русские ведомости», 1916, № 23 от 29 января). О Косиче см. примеч. 1 и 2 к стр. 110.

305 (5). Речь идет о выдвинутом А. И. Косичем проекте возвращения Софьи Васильевны в Россию в качестве члена Академии Наук. Как человек, занимающий видное положение в высшей администрации, Косич обратился с письмом от 11 сентября 1889 г. к президенту Академии Наук великому князю Константину Константиновичу (поэту К. Р.). Он просил президента содействовать возвращению Софьи Васильевны в Россию в качестве члена Академии. При этом генерал напомнил великому князю изречение Наполеона, что «всякое государство должно дорожить возвращением выдающихся людей более, нежели завоеванием богатого города». Великий князь поручил непременному секретарю Академии К. С. Веселовскому заняться этим делом. Веселовский сообщил Косичу, что для Ковалевской, при всем общепризнанном ее научном авторитете, все же нет места в России (см. фарисейское письмо Веселовского от 11 октября 1889 г.— «Приложения»). Но Софья Васильевна имела горячих сторонников в лице таких русских ученых, как П. Л. Чебышев, Н. Е. Жуковский, А. Г. Столетов и др. Академические математики поспешили загладить поступок президента (см. «Приложения», стр. 354 и сл.). 24 октября 1889 г. Физико-математическое отделение Академии решило баллотировать С. В. Ковалевскую в члены-корреспонденты. Баллотировка состоялась 7 ноября. С. В. Ковалевская получила 14 белых и 3 черных шара. Решено было представить результаты на утверждение Общего собрания. Но еще до этого избрания, 4 ноября, непременный секретарь Академии академик К. С. Веселовский «довел до сведения Общего собрания, что в одно из Отделений Академии было внесено представление об избрании в число членов-корреспондентов Академии русской женщины, приобревшей себе своими трудами громкую известность в ученом свете не только в России, но и за границею. Имея в виду, что до сих пор еще не было примера избрания в члены-корреспонденты лиц женского пола и что избрание таких лиц по одному какому-либо разряду наук установило бы собою пример, на основании которого могли бы быть предлагаемы такие лица и по другим разрядам наук, Отделение признало, что вопрос о допущении таких избраний затрагивает интересы всех трех Отделений и по сим соображениям положило общий вопрос о допущении лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты представить на разрешение Общего собрания конференции. По обсуждении этого предмета и произведенной затем баллотировке шарами общий вопрос

о допущении лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты разрешен в утвердительном смысле 20-ю утвердительными шарами против 6-ти отрицательных» (Протокол — общего собрания от 4 ноября 1889 г.). П. Л. Чебышев телеграммой сообщил Софье Васильевне, что избрание состоялось (см. в «Приложениях»). Ковалевская в свою очередь известила об этой телеграмме А. И. Косича (см. следующее письмо).

Незадолго до этого письма Софья Васильевна получила от французского министра народного образования сообщение, что ей присуждена офицерская степень этого министерства — высшая награда за научные заслуги.

306 (1). Дело об утверждении С. В. Ковалевской в звании члена-корреспондента было передано в Общее собрание Академии Наук. В заседании 2 декабря Общее собрание утвердило избрание Ковалевской, постановило провозгласить об этом в торжественном публичном заседании Академии Наук 29 декабря и послать новому сочлену диплом. Получив это извещение, Софья Васильевна послала Академии, через К. С. Веселовского, благодарность (см. ее письмо от 11 февраля 1890 г.).

306 (2). Печатается с подлинника, из семейного архива.

306 (3). С. В. Ковалевская писала в конце 1890 г. Миттаг-Леффлеру, который был тогда в Петербурге и виделся с математиками из Академии Наук: «Судя по тому, что Вы мне пишете, кажется, что еще не всякая надежда потеряна на то, что я буду когда-нибудь выбрана членом академии» (см. у П. Я. Полубариновой-Кочиной, сб. «Памяти С. В. Ковалевской», 1951).

Меньше чем через год Академия лишилась своего члена-корреспондента. В протоколе заседания Физико-математического отделения от 30 января 1891 г. записано: «Доведено до сведения Отделения об утрате, понесенной Академией в лице ее члена-корреспондента по разряду математических наук, профессора Стокгольмского университета Софьи Васильевны Ковалевской, скончавшейся 29 сего месяца в Стокгольме». Вслед за тем от Академии Наук была послана в Стокгольм следующая телеграмма: «Ректору университета Миттаг-Леффлер. Академия Наук искренне оплакивает невозвратимую утрату своего знаменитого корреспондента. Августейший президент благодарит вас за сообщение. Вице-президент Грот».

В Общем собрании Академии Наук 29 декабря 1891 г. было сообщено: «Со списка членов-корреспондентов исчез ряд лиц, прославившихся в летописях европейской науки: 1. по разряду математическому — Софья Васильевна Ковалевская (вдова талантливого палеонтолога, покойного профессора Вл. Он. Ковалевского), скончавшаяся в Стокгольме 29 января 1891 г. в возрасте 40 лет. Софья Васильевна, известная в публике главным образом своими интересными литературными воспоминаниями о Ф. М. Достоевском, была одною из немногих русских женщин, достигших трудом и дарованиями веского авторитета на математическом поприще. Ее исследования о движении твердого тела доставили ей премию Парижской Академии и профессорскую кафедру в Стокгольме. Дальнейшие работы широко распахнули перед нею двери в нашу Академию» («Записки Академии Наук», т. 68 за 1892 г., стр. 3).

307 (1). Печатается с подлинника из собрания АН СССР (Архив АН СССР, ф. 2, оп. 1, № 1, л. 57).

307 (2). Печатается с подлинника из семейного архива.

307 (3). 20 марта 1890 г. по ст. стилю совпадало с 1 апреля нов. ст.

308 (1). «Воспоминания детства» С. В. Ковалевской напечатаны в «Вестнике Европы» за 1890 г. (№ 7 и 8). Еще в 1889 г. Софья Васильевна сообщала в письме к друзьям, как зародились «Воспоминания детства»: «Во время моего пребывания в Ницце я рассказала Максиму Ковалевскому и еще

одному бывшему там русскому, профессору Иванюкову, много эпизодов из своего детства, которые они нашли очень интересными и горячо предложили мне написать и опубликовать их. Этим я занята в течение последнего месяца. Я только что закончила большой рассказ о своем детстве, воспоминания о моей сестре, о Достоевском и т. д... Поскольку я была увлечена воспоминаниями, я написала также небольшой рассказ по-французски о польском восстании: он не может быть опубликован в России». См. письмо Софьи Васильевны к А. Н. Пыпину от 17 (29) сентября.

308 (2). Печатается с подлинника.

308 (3). М. М. Ковалевский.

308 (4). Написано на печатном бланке гостиницы Клей в Бонне.

309 (1). Печатается с подлинника.

309 (2). Печатается с подлинника из семейного архива.

310 (1). Печатается с подлинника из собрания А. Н. Пыпина в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (в Ленинграде).

310 (2). В том же собрании — еще пять писем Софьи Васильевны к Пыпину, начиная с февраля и кончая августом 1890 г.— все по поводу «Воспоминаний детства».

311 (1). Речь идет о новом литературном произведении Софьи Васильевны (см. примеч. 2 к стр. 311).

311 (2). В печати эта повесть Софьи Васильевны не появлялась; в литературе о ней ничего неизвестно; в рукописях не найдено даже черновиков, относящихся к этой теме. Ковалевская была знакома с сыновьями Чернышевского. В своих «Воспоминаниях» Мендельсон сообщает, что Софья Васильевна рассказывала ей, как она убеждала старшего сына великого писателя, Александра Николаевича, посвятить себя изучению математики.

312 (1). Процесс в Париже — по обвинению польского революционера Ст. Ал. Подлевского (1856—1891) в убийстве отставного генерала Селиверстова. Последний был помощником шефа жандармов; выйдя в отставку, жил частным лицом в Париже. Здесь, в гостинице, его застрелил в 1890 г. Подлевский. Революционеры считали, что он имеет отношение к провокации жандармского агента Ландезена, устроившего в Париже мастерскую для выделки бомб и погубившего в связи с этим нескольких русских эмигрантов. Мендельсон-Залесская была привлечена к процессу Подлевского: подозревали ее участие в этом покушении. Вместе с мужем она была после процесса выслана из Парижа и поселилась в Лондоне.

312 (2). С. В. Ковалевская получила отдельные оттиски своих «Воспоминаний» из № 7 и 8 «Вестника Европы» за 1890 г.

312 (3). К сообщенному в предшествующем тексте и в примечаниях к нему о болезни Анны Васильевны добавлю следующее. В декабре 1886 г. С. В. Ковалевская писала Марии Мендельсон из Петербурга: «Мне так необходимо теперь немного радости, такие грустные дни провожу я теперь у постели бедной Анюты. Состояние ее ухудшается со дня на день. Она страдает невыразимо. По целым дням и ночам она стонет, и тогда ее не интересует ничего, кроме ее страданий. Таково в настоящее время почти постоянное ее состояние. Тогда и я начинаю желать какой-нибудь развязки, лишь бы скорее прошло». Почти так же писала она А.-Ш. Леффлер: «Моя сестра страшно больна... Трудно представить что-нибудь ужаснее, мучительнее, отвратительнее этой болезни. Она страдает невероятно, не может ни спать, ни дышать». Когда же в состоянии Анны Васильевны наступало некоторое улучшение, Ковалевская вспоминала, «чем сестра была раньше», и «чувствовала величину грозящей потери»: «Зачем же она жила и столько страдала?»

Вскоре Анну Васильевну перевезли в Париж и поместили в больницу. 12 сентября 1887 г. ей была сделана вторичная операция — вырезана киста яичника. Сестре сообщили в Стокгольм, что больная поправляется. Но ослабленная Анна Васильевна простудилась, заболела воспалением легких и 29 сентября (11 октября 1887 г.) умерла. С. В. Ковалевская писала 2 ноября тетке Аделунг: «Смерть Анюты была для меня страшным ударом, тем более что мы после операции стали немного надеяться... Бедная Анюта мертва, и ничто не может вернуть ее к жизни... Со смертью сестры порвана последняя нить, связывавшая меня с моим детством». И тогда же говорила А.-Ш. Леффлер-Кайянелло: «Ни для кого больше я не могу быть застенчивою, сдержанною, жмущеюся ко всем маленькою Сонею».

Жаклар женился вторично значительно позже (в 1894 г.). В архиве Ковалевских сохранился французский пригласительный билет: «Господин доктор Виктор Жаклар и девица Евгения Депре имеют честь сообщить об их браке. Париж, 12 июля 1894 г. Улица Лепик, 55, улица Лафайета, 11». По одним сведениям, В. Жаклар умер в 1903 г., по другим — в 1906 г.

312 (4). О пребывании Ковалевской в Петербурге см. ее дневник за май 1890 г. О каком ее выступлении идет речь — не установлено.

313 (1). Печатается с подлинника из собрания Института литературы АН СССР (Пушкинский Дом; архив журнала «Северный вестник», л. 142 и сл.). Адресат — секретарь названного журнала.

313 (2). После этого было: «три» (зачеркнуто).

313 (3). После этого: «относительно» (зачеркнуто).

314 (1). Флексер, Аким Львович, писавший под псевдонимом А. Волынский (1863—1928).

314 (2). Печатается по тексту, опубликованному в некрологе С. В. Ковалевской в «Харьковских губернских ведомостях» за 1891 г. (№ 30 от 1 февраля). Об этом письме А. С. Шабельская сообщала историку В. И. Семевскому (1848—1916), убеждая его написать биографию Ковалевской, гордости России, и говоря о ее уме, симпатичном облике, верности принципам (письмо от 30 января 1891 г. в архиве В. И. Семевского, в библиотеке б. Комакадемии). Адресатка — А. С. Монтвид (1845 — ?), писавшая под псевдонимом Шабельская. Письмо перепечатывалось тогда же в различных статьях о Софье Васильевне.

315 (1). См. примеч. 1 к стр. 313.

315 (2). Речь идет о статье «Три дня в крестьянском университете в Швеции» («Северный вестник», 1890, № 11).

315 (3). А. Л. Волынский напечатал о «Воспоминаниях детства» статью в «Северном вестнике» («Литературные заметки», № 10 за 1890 г., стр. 156 и сл.). «Яркие, выпуклые свойства «Воспоминаний детства» г-жи Ковалевской — сила воображения, творческий размах, всесторонний анализ. Г-жа Ковалевская истинное литературное дарование. По силе беллетристического таланта наша знаменитая соотечественница, без сомнения, должна занять одно из самых видных мест среди русских писательниц. Насколько нам известно, «Воспоминания детства» — первое в таком роде произведение г-жи Ковалевской, но справедливость требует признать, что в этом первом произведении есть уже все признаки настоящей литературной силы, сразу ставшей на хорошую и надежную дорогу. Мы остановимся только на двух главах «Воспоминаний». В одной из них говорится о памятном времени шестидесятых и семидесятых годов, в другой — о Достоевском... Г-жа Ковалевская вспоминает шестидесятые и семидесятые годы с объективностью человека, прошедшего хорошую, научно-философскую школу. Отмечаемая нами глава в «Воспоминаниях детства» интересна и в том отношении, что в ней впервые рельефно выступает сестра г-жи Ковалевской, Анна Крюков-

ская, играющая главную роль во всей последней части интересного беллетристического мемуара».

315 (4). Дальше было: «которую я позволила себе скопировать у нашего бывшего министра просвещения» (зачеркнуто).

315 (5). Вся фраза в прямых скобках зачеркнута Софьей Васильевной. Имеется еще письмо к Глинскому в собрании Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Собрание писем русских литераторов, № 283) такого же, в общем, содержания.

315 (6). Об адресате см. примеч. 1 к стр. 285.

315 (7). Софье Васильевне не пришлось быть в Берлине в 1891 г.

316 (1). Это последнее из всех дошедших до нас писем С. В. Ковалевской. Печатается в переводе Софьи Владимировны Ковалевской по тексту, опубликованному у П. Я. Полубариновой-Кочиной (сб. «Памяти С. В. Ковалевской», 1951 г.). Написано на визитной карточке Софьи Васильевны. Там же приписка Миттаг-Леффлера: «Последнее письмо. Я тотчас же послал за врачом, приехал сам сейчас же после своей лекции. Инфлюэнца. Легкие».

Через три дня после этой записки, 10 февраля (29 января) 1891 г., Софья Васильевна Ковалевская скончалась. Тереза Гюльден рассказывает, что последние слова Софьи Васильевны были: «Слишком много счастья». О предсмертной болезни Софьи Васильевны см. в «Воспоминаниях» М. М. Ковалевского (стр. 392 и сл.).

Вот как описывал корреспондент одной петербургской газеты могилу знаменитой русской женщины в Стокгольме: «На Новом кладбище, на скате зеленого [Линдгагенского] холма, лежит Софья Ковалевская. Основой памятника — могучая поднявшаяся волна. Она не цельного камня, а скреплена из многих обломков слоистого серого гранита, что дает издали в сумерки чудесную иллюзию. Широкий, византийского рисунка крест из черного мрамора венчает гребень волны. У подножья креста на отдельной, тоже черного мрамора, доске написано вязью: «Профессору математики С. В. Ковалевской, род. 3.I.1850—29.I.1891 г. Ее русские друзья и почитатели». Два больших венка в футлярах прислонены к памятнику от русского женского взаимно-благотворительного общества и от комитета общества для доставления средств Высшим женским курсам. А повыше роскошных искусственных венков, у самого подножья креста, приютился, бог весть кем принесенный, совсем простой маленький глиняный горшок с кустиком Иван-да-Марья. Чем-то трогательным и умилительным повеяло на меня от этого скромного дара... «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но невольно душою радуешься за Ковалевскую, что вид, открывающийся с ее могилы, какими-то неуловимыми чертами напоминает родной пейзаж. У спуска с холма пересекаются далеко идущие две дороги. Дальше волнуется лиственный перелесок... липы, молодые березки. Виднеются сбоку зеленые и желтые квадраты хлебов. Кое-где выдвигаются крестьянские постройки. А там, совсем на горизонте, синеет бахромчатая полоска дремучего бора».

Документы и материалы к истории постановки памятника на могиле С. В. Ковалевской — в ГЦЛА (ф. 473, № 25, 30—36—48).

К СТИХОТВОРЕНИЯМ

317 (1). Опубликовано академиком Я. К. Гротом в «Вестнике Европы» (1892, № 2. стр. 832 и сл.). Грот получил стихотворение от Миттаг-Леффлеров. Автограф первых 4 страниц окончательной редакции этого стихотворения воспроизведен (фототипией) в шведском сборнике «Автографы и портреты знаменитых людей», серия II, тетрадь 6 (Стокгольм, июнь 1891 г.:

см. стр. 319). В том же сборнике воспроизведен (на 4 страницах) автограф французского прозаического перевода всех 15 строф этого стихотворения. Перевод сделан Софьей Васильевной для Франца Леффлера, который интересовался поэтическим творчеством Ковалевской и написал в 1891 г. стихотворение, посвященное ее памяти (см. стр. 459 и сл.).

Французский перевод своего стихотворения Софья Васильевна послала Леффлеру при письме на шведском языке (автограф письма воспроизведен в названном сборнике). Здесь это письмо печатается в переводе Софьи Владимировны Ковалевской: «Дорогой г. Фритц. Вы вчера просили у меня какой-нибудь образчик моих юношеских поэтических проб. Вчера вечером я попыталась восстановить в своей памяти и перевести на французский язык одну из них, которую я лучше всего помню. Я не могу отрицать, что в этом отрывке есть нечто лично пережитое. Было бы приятно, если бы захотели перевести этот кусочек на шведский язык... Преданная Вам Соня».

В семейном архиве Ковалевских сохранился черновой русский автограф всего стихотворения. Воспроизведенная здесь первая страница этого автографа (стр. 318), показывает, как упорно трудилась С. В. Ковалевская над обработкой своего стихотворения. Некоторые разночтения чернового автографа приводятся в настоящих примечаниях.

317 (2). В черновом: «Случалось ли вам безучастно».

317 (3). В черновике: «Песнь пронеслася навсегда».

317 (4). В черновике: «Его на память приводил»; «Его невольно все твердил».

320 (1). В черновике: «И жизнь вновь буднично пойдет».

320 (2). Вместо последних двух строк, в черновике: «И без привета, без участья, Друг с другом рядом мы пойдем, И без тоски без сожаленья Друг другу».

320 (3). Вместо «звучит», в черновике: «живет».

320 (4). В черновике эта строфа читается так: «Но вот настал тот миг желанный, Вернулся он! и что ж, увы, На месте друга гость нежданный». В этих строках — еще зачеркивания.

320 (5). Черновик заканчивается так: «Не жалко прежнего страданья, Как жаль утраченной мечты».

320 (6). Кроме французского текста предыдущего стихотворения, написанного Софьей Васильевной для Ф. Леффлера, в семейном архиве сохранился автограф другого французского прозаического текста, по содержанию сходного со стихотворением «Пришлось ли Вам». Ввиду автобиографичности этого текста, он приводится здесь в переводе Софьи Владимировны Ковалевской.

321 (1). Стихотворение опубликовано в виде автографа Софьей Владимировной Ковалевской в журнале «Женское дело» (1899, № 2, стр. 3—4).

322 (1). В автографе вместо этой строки было: «Чем раз познав ее, от ней отступиться».

322 (2). В автографе было: «Нежели правду на ложь променять». Имеются и другие, мелкие, поправки.

322 (3). Печатается с подлинника, в семейном архиве.

323 (1). См. примеч. 1 к стр. 138.

К «ПРЕДИСЛОВИЮ К ДРАМЕ»

324 (1). Эта автобиографическая статья печатается по тексту, опубликованному в книге Леффлер о Ковалевской с подлинной рукописи Софьи Васильевны (изд. 1893 г., стр. 230 и сл.). Предполагалось, что статья

будет помещена в качестве предисловия к драме Леффлер и Ковалевской «Борьба за счастье». Прислала ее Софья Васильевна при следующем письме: «Дорогая Карлотта, помочь тут уже больше нечем: написать лучше я не в состоянии. Если ты можешь связать эти отрывочные мысли, то и прекрасно. Если же ты будешь не в силах справиться с этим, то пусть книга выходит и без объяснительной статьи. Можно будет и позже выступить с объяснениями, когда драма наша вызовет нападки. Твоя Соня».

А.-Ш. Леффлер приводит из «замечательно меткой характеристики» Софьи Васильевны отзыв известного театрального деятеля, писателя Германа Банга о драме «Борьба за счастье». «Я люблю эту необыкновенную драму, которая с математическою точностью доказывает всемогущую силу любви, доказывает, что только она, и одна она, составляет все в жизни, что только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть. Она одна дает возможность развиваться и сделаться сильным и могучим. Только благодаря ей можно неуклонно идти вперед, исполняя свой долг» (стр. 229).

Упомянутая характеристика Софьи Васильевны отсутствует в книге А.-Ш. Леффлер. Она имеется в письме Г. Банга к П. Нансену от 2 апреля 1885 г. Привожу ее в переводе Софьи Владимировны Ковалевской: «Самые приятные люди собираются вокруг г-жи Едгрен; здесь как бы кусочек Европы в стране варваров. В особенности интересна г-жа Ковалевская; она профессор математики, и со всей своей алгеброй, все же, настоящая дама. Она смеется, как ребенок, улыбается, как зрелая и умная женщина, и обладает волшебным искусством сначала высказать свою мысль наполовину, затем помолчать, и этим молчанием досказать все. На лице ее происходит такая быстрая смена света и теней, оно то краснеет, то бледнеет, я почти не встречал раньше ничего подобного. Она ведет разговор на французском языке, свободно изъясняясь на нем, и сопровождает свою речь быстрой жестикуляцией. Это могло бы действовать утомительно, если бы не было очаровательно; она похожа при этом на кошечку. Слушая одновременно ее и Анну-Шарлотту, испытываешь своеобразное ощущение. Размеренные слова Анны-Шарлотты, произнесенные холодным тоном, разрезают как бы ножом блестящее кружево речи Ковалевской» (П. Нансен, стр. 57 и сл.).

326 (1). Значение пьесы «Борьба за счастье», как материала для личной биографии Софьи Васильевны, выяснено в воспоминаниях А.-Ш. Леффлер (стр. 436 и сл.).

К «ПРИЛОЖЕНИЯМ»

329 (1). Помещаемые в первой группе «Приложений» письма расположены в хронологическом порядке. Открываются они неизданным письмом В. О. Ковалевского к А. И. Герцену. О значении этого письма для биографии гениального русского палеонтолога см. в Предисловии.

Письмо извлечено из заграничного архива А. И. Герцена и Н. П. Огарева, находящегося в настоящее время в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства СССР (ф. 5770, оп. 1, № 87). Письмо — на восьми страницах обычного почтового формата. Хранящиеся в том же собрании два письма В. О. Ковалевского к А. И. Герцену (от 14 сентября и 2 октября 1866 г.) и письмо его к М. А. Бакунину (от 14 сентября 1866 г.) связаны с историей революционного движения первой половины 60-х годов XIX в. Они непосредственно относятся к личной жизненной драме гениального ученого, будут опубликованы, вместе с письмом Герцена, в специальном исследовании, выясняющем обстоятельства трагической гибели В. О. Ковалевского.

329 (2). Это письмо до нас не дошло, Павел Иванович Якоби (1840—1910), врач, участник революционного движения начала 60-х годов, политический эмигрант; в 90-х годах вернулся с разрешения правительства на родину, работал в области научной и практической медицины. В 60-х годах был близким приятелем А. О. и В. О. Ковалевских. В семейном архиве Ковалевских — несколько писем Якоби к А. О. Ковалевскому, у которого он спрашивал советов и просил указать литературу в связи со своими научными работами. В переписке В. О. Ковалевского с братом (конца 60-х годов) — много упоминаний о Якоби. Последний женился в эмиграции на сестре известного критика В. А. Зайцева (1842—1882) Варваре Александровне. До выезда за границу В. А. Зайцева пыталась освободиться от родительского гнета посредством фиктивного брака с В. О. Ковалевским. По невыясненным причинам этот брак не состоялся, и Зайцева считала себя очень обиженной. В результате — размолвка между П. И. Якоби и В. О. Ковалевским, отразившаяся также на взаимоотношениях Ковалевского с его давнишним приятелем В. А. Зайцевым.

330 (1). Имеются в виду воскресные приемы у Герцена в Лондоне; на этих приемах бывало очень много людей, непричастных к революционному движению, и, конечно, для Якоби было рискованно появиться среди них.

330 (2). Последние семь слов вписаны над строкой.

330 (3). Имеются в виду либеральные дворяне; ср. с таким же отзывом С. В. Ковалевской в майском письме 1889 г. (стр. 303).

330 (4). Имеется в виду вакханалия ложнопатриотических реакционных восторгов всех врагов освободительного движения по поводу зверской расправы генерала М. Н. Муравьева (1796—1866) с польскими повстанцами.

Упоминаемый в письме В. О. Ковалевского, редактор реакционной газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков (1818—1887) был в молодости близок кружку Герцена — Белинского. После Крымской войны он выступал в печати как прогрессивный журналист; в самом начале польского национально-освободительного движения (1861 г.) переметнулся в лагерь контрреволюции; в 1863 г. восхвалял деятельность М. Н. Муравьева-вешателя. Об этом — в различных документах, а также в книге С. Неведенского (жандармского публициста С. С. Татищева) «Катков и его время» (П., 1888, гл. III).

330 (5). «В крепости сидят» — участники студенческого движения 1861 г.

К. А. Ген (1840 — ?), один из руководителей движения. Арестован 26 сентября 1861 г., выпущен из Петропавловской крепости в декабре. При этом исключен из университета и выслан под надзор полиции в Петрозаводск (у Ковалевского — описка: Петрозаводств). За самовольную отлучку из Петрозаводска и неповиновение распоряжениям губернатора выслан в 1863 г. в Царевосанчурск, заштатный городок Яранского уезда Вятской губернии.

Е. П. Михаэлис (1841—1913), главный руководитель студенческого движения. Известный писатель-демократ Н. В. Шелгунов пишет о нем в своих «Воспоминаниях» как об одном из талантливейших молодых людей 60-х годов. Студент-естественник 3-го курса, Михаэлис подавал большие надежды в научном отношении. Арестованный вместе с Геном, он был в 1863 г. выслан в Тару. Товарищ по университету А. О. Ковалевского, он при содействии Александра Онуфриевича продолжал в Сибири научную работу, весьма слабую по результатам вследствие условий его жизни. Сестра Михаэлиса, Мария Петровна, была в 1862 г. невестой В. О. Ковалевского, брак не состоялся по невыясненным причинам.

331 (1). У Ковалевского — описка: жену Н. П. Огарева звали Наталия Алексеевна (1829—1913).

331 (2). Подлинное в собрании Ф. М. Достоевского в ПД.

331 (3). Печатается с подлинника из собрания Ф. М. Достоевского в ПД.

332 (1). Ср. с рассказом С. В. Ковалевской (стр. 93 и сл.).

332 (2). После этого — одно слово, не поддающееся прочтению.

332 (3). Т. е. «оба мы — старики».

332 (4). Ср. с рассказом С. В. Ковалевской об отношении ее отца к Ф. М. Достоевскому как «бывшему каторжнику» (стр. 103).

333 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива; адресовано также А. М. Евреиновой.

А. В. Корвин-Круковская уехала из Гейдельберга осенью 1869 г. в Париж, куда стремилась давно. «Анюта поедет во Францию,— писала А. М. Евреинова еще до отъезда Ковалевских из России,— познакомиться и исследовать социальное движение, где в настоящее время появилось много хороших личностей, и движение там всего сильнее, так что поездка ее будет не бесполезна».

333 (2). Труп — troupes — войска. В Париж С. В. и В. О. Ковалевские собирались по своим научным делам. Франко-прусская война была объявлена 19 июля 1870 г. В. О. Ковалевский писал брату 20 июля: «Драка начнется, повидимому, около Форбаха» (город в Лотарингии, в 9 км к югу от Саарбрюкена, занят пруссаками 7 августа).

333 (3). Вас — А. М. Евреинову и ее сестру Ольгу.

333 (4). Ольга — О. С. Левашева (1837—?) участница революционного движения 60-х годов. О ней — у П. А. Кропоткина (стр. 171).

333 (5). Н. И. Утина, урожденная Корсини, участница радикальных кружков 60-х годов. В 1880 г. вернулась с мужем, Н. И. Утиным в Россию. Печатала повести и романы из эмигрантской жизни.

334 (1). Малов, Бенуа (1841—1893) — французский рабочий, левый прудонист, близкий к идеям коммунизма; один из руководителей парижской секции I Интернационала; был приговорен (5 июля 1870 г.) к годичной тюрьме. Один из главных деятелей Парижской Коммуны, после разгрома которой скрылся в Швейцарию. Позднее стал вождем поссибилистов — умеренной партии во французском социалистическом движении.

334 (2). Жаклар Виктор (1843—1906?) — уроженец лотарингского города Меца, из крестьянской семьи. В 1863 г. переехал в Париж и поступил в Высшую медицинскую школу. Студентом увлекся Огюстом Бланки. В конце октября 1865 г. Жаклар участвовал в конгрессе студентов всех европейских университетов в Льеже; исключен за это из университета. 21 января 1866 г. участвовал в манифестации студентов-бланкистов; приговорен к тюремному заключению. По выходе из тюрьмы занимался агитацией среди рабочих. Анна Васильевна посещала вместе с Жакларом рабочие собрания, участвовала в заседаниях революционных кружков. Привлеченный к процессу 18 июля 1870 г. по обвинению большой группы революционеров в заговоре против Наполеона III, Жаклар был осужден к ссылке, но сумел скрыться вместе с Анной Васильевной в Швейцарию. О Жакларе-революционере — в переписке Маркса — Энгельса (т. XXIV и XXVI, по указателям).

334 (3). Бумаги — Анна Васильевна просила, чтобы отец выслал ей документы, необходимые для оформления ее брака с Жакларом, «чтобы прекратить» ее «неловкое положение» (из летнего письма за 1870 г., в семейном архиве). См. еще в письме от 12 августа.

334 (4). Анна Васильевна уехала в Париж тайком от родителей. Письма в Палибино посылала через Софью Васильевну, с которой она будто бы и не разлучалась.

335 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива.

335 (2). Орлеанисты — сторонники. Орлеанов, боковой линии Бурбонской династии.

335 (3). 12 сентября 1870 г. Энгельс писал Марксу: «...Если в Париже можно было бы что-либо сделать, то следовало бы помешать выступлению рабочих *до* заключения мира... Каков бы ни был мир, его надо заключить прежде, чем рабочие смогут что-либо сделать... Сражаться с пруссаками ради буржуазии было бы безумием. Каково бы ни было правительство, которое заключит мир, оно уже по одному этому окажется недолговечным, а возвратившаяся из плена армия будет не так уже опасна во внутренних конфликтах. После заключения мира все шансы будут больше, чем когда-либо, на стороне рабочих». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, Госполитиздат, 1948, стр. 249—250).

337. (1). См. примеч. 1 к стр. 335.

338 (1). После падения Наполеона Жаклары поехали в Париж через Лион, где при них была провозглашена республика. Виктор Жаклар выступал там на собраниях, был выбран народным комиссаром для сношений с Комитетом общественного спасения, наконец, в качестве члена делегации от Лиона к правительству национальной обороны отправился в Париж и остался там.

Анна Васильевна целиком вошла в политическую жизнь осажденного города. 25 сентября 1870 г. В. О. Ковалевский писал брату, что собирается с женой переехать из Лондона в Париж, так как Софье Васильевне хочется поработать с французскими математиками: «Мы в большом беспокойстве потому, что нет вестей от Анюты; муж ее — делегат Красной Лионской республики; из Парижа вестей нет, а из прусского лагеря — депеши, что в Париже сильная перестрелка и канонада неизвестно между кем». В следующем письме В. О. Ковалевского к брату читаем: «Анюта между тем в Париже, и мы очень тревожимся за ее целость и со страхом ждем приезда осадной артиллерии к Парижу; посмотрим, будут ли бомбы хватать до бульваров». Сообщая в начале 1871 г. брату планы своих научных занятий, В. О. Ковалевский писал: «В моих решениях вопрос о Париже занимает очень важное место, так как необходимо дожидаться сдачи его, чтобы ехать выручать Анюту; там мы проживем неделю или дней 10, и осмотреть собрание вымерших позвоночных можно и в этот срок, по крайней мере настолько, чтобы после описания приводить на память уже виденное собственными глазами». И в другом письме: «Нам обоим предстоит еще поездка в Париж; ведь Анюта с своим мужем до сих пор осаждена там; ведь его могли ранить и, пожалуй, убить, и пока Париж в осаде, она получает казенную порцию; после сдачи же в первое время надо будет тотчас помочь ей; мы поэтому должны при первом симптоме, что Трошю желает сдаться, ехать в прусскую главную квартиру и ждать; родные, вероятно, помогут нам тоже. Париж, кажется, продержится еще до 15 февраля; из Парижа Софа и Анюта поедут к родным, а я буду ждать твоего приезда и приеду в Неаполь».

В письме от 30 января, из Берлина, снова о предстоящем отъезде Анюты из Парижа, именно в связи с избранием правительства Коммуны: «В Париже опять идет свалка, и мы очень сомневаемся, не придется ли нам еще катить туда, хотя я думаю, что нет. Коммуна выбрана. и мы ждем Анюту сюда, чтобы вместе с Софою ехать весною в Россию». Но Анна Васильевна из Парижа не выехала. Она делила с мужем опасности осады и голод, а также труды по Коммуне, провозглашенной 22 марта 1871 г.

В нескольких обширных письмах к брату о своих научных планах и занятиях В. О. Ковалевский сообщал подробности о пребывании вместе с женой в Париже при Коммуне. Здесь приводится из этих писем то, что характеризует взгляды В. О. Ковалевского на тогдашние политические события, так как несомненно, что Софья Васильевна разделяла эти взгляды.

«Подошли раздирательные вести из Парижа; что там делается — просто страсть; июньские дни [во время революции 1848 г.] — игрушка в сравнении с нынешними гуртовыми убийствами и расстреливаниями; очень многие из наших хороших знакомых убиты и расстреляны; об Анюте и муже ее мы не имеем никакой вести и очень боимся за него; хоть он и вышел за две недели до конца службы, но все-таки, если его поймают, то могут приговорить к смерти или ссылке.

Возможно, что мы бы опять поехали, но вход в Париж закрыт положительно для всех. Мы уехали 12 числа, а 22 Париж был взят; я-то упирался и не хотел ехать, но казалось, что город продержится еще два месяца и что версальцы не смогши взять его, примирятся; это заставило Софу настаивать на том, чтобы вернуться в Германию и начать работать. Оно может и хорошо, что уехали, но ее мучит раскаяние, что может быть могли бы спасти Жаклара и скрыть его или выправить из Парижа; погибших под развалинами, говорят, гибель: Тюльери, все набережные по Hôtel de ville [ратуша], он сам, министерства, вся Rue Royale (между Madeleine и Конкордией) сожжены и разрушены в конец; все это в честь порядка. Лучшие и энергичные люди расстреливались на всех углах, солдаты, ожесточенные пожарами, не давали пощады никому.

По моему инсургентов нельзя винить в том, что они жгли общие здания; я бы сделал то же в виду смерти или ссылки; конечно, лучше взорвать дом, в котором меня режут, чем отдать его на спокойное пользование моим палачам» (из письма от 28 мая 1871 г.).

Через две недели В. О. Ковалевский сообщал брату из Парижа: «Жили мы в Германии смирно, вдруг пришло известие о взятии Парижа; стали беспокоиться; затем письмо от Анюты, что все благополучно и что они оба, т. е. она с мужем, успели скрыться; вдруг через день письмо, что он взят и что ему предстоит, если не расстреляние, то ссылка; конечно, в тот же день мы поехали в Париж и приехали очень кстати, так как уже на дороге прочитали в газетах, что и Анюта тоже арестована; последнее, к счастью, оказалось пока несправедливым, хотя полиция охотилась за нею и взяла Андрэ Лео (известную писательницу); в этом положении Анюта, конечно, не могла быть полезной, и потому мы ее как можно скорее выпроводили вон из Парижа, а сами остались здесь хлопотать об нем.

Я вчера был в Версали, где он содержится, хотя не мог получить свидания, но сегодня получил; сомнения нет ни малейшего, что он будет сослан; куда? неизвестно; вероятно, в Новую Каледонию.

Положение теперь вот каково: Анюта, конечно, последует за ним, но так как его повезут вместе с другими ссыльными на транспортных судах вокруг мыса Доброй Надежды, то Анюте надо будет ехать одной, что, я думаю, невозможно.

Софа рвется ехать с нею, что, я думаю, нелепо, потому что это помешает ей кончить свои математические занятия и выдержать экзамен, а это, вероятно, может случиться через шесть или восемь месяцев. Очевидно, Саша, сила обстоятельств говорит, что сопровождать Анюту через Суэц, Цейлон и Мельбурн придется мне; кроме того, так как я человек свободный, то мне придется поселиться с ними в Новой Каледонии, а Софа,

выдержавши экзамен в Берлине, приедет к нам туда [в письме — географические чертежи упоминаемых здесь мест].

Видишь ли, дорогой друг мой, какой странный оборот приняли дела; но иначе, рассудя строго, поступить невозможно. Софа и Анюта стали мне совсем родными, так что разлучиться с ними мне будет невозможно...

Еще один важный вопрос: через шесть или 8 месяцев Софа хочет присоединиться к нам; если тебе доставят деньги на проезд, согласишься ли ты привезти ее в Новую Каледонию? Напиши обо всем этом обстоятельно.

Суд еще не начался и, по всей вероятности, раньше пяти месяцев или 4-х нам не придется уезжать; значит, мы можем очень обстоятельно списаться по этому предмету...

Прощай, дорогой друг мой, видишь ли в какие дела мы впутались» (из письма от 11 июня 1871 г.).

Дополнительные подробности о пребывании Софии Васильевны в революционном городе — в письме В. О. Ковалевского к брату от 9 августа 1871 г. из Парижа: «Ты знаешь, что мы с 5 апреля до 12 мая жили очень хорошо под Коммуною в Париже, а затем по настоянию Софы, думая, что Париж продержится еще два месяца, уехали в Берлин. Между тем 21 числа Париж был продан [сдан немцам контрреволюционным правительством Тьера] и муж Анюты, который был при Коммуне начальником легиона, захвачен; мы тотчас же по получении этого известия прикатили сюда, т. к. и Анюте грозил арест, отправили ее вон, а сами остались хлопотать о Жакларе (ее муже). К 1-му июля приехали с тою же целью родные из Питера [В. В. и Е. Ф. Корвин-Круковские] и мы живем теперь здесь вчетвером и кое-что успели сделать для облегчения его участи. Рассказов у меня есть для тебя десять томов».

Анна Васильевна, кроме всего изложенного выше, подвергалась еще опасности от специальных преследований агентов царского правительства. Секретарь русского посольства в Париже Обрезков писал управляющему III Отделением графу П. А. Шувалову про Анну Васильевну, как про «мегеру», «достойную супругу некоего Жаклара, отмеченного среди начальников-коммунаров своей кровавой натурой»; она была «замешана в насилиях Коммуны, в арестах и последних неистовствах сопротивления». Тот же Обрезков, по поводу слуха об аресте Анны Васильевны, сообщает, что она «несколько дней спустя после ареста ее мужа перевезена в Версаль, где эта вполне подходящая друг другу пара ждет своей участи; она, вероятно, найдет утешение в своем близком вдовстве в Новой Каледонии, пенитенциарную колонию которой предназначено заселить петрольщицами», т. е. поджигательницами, как буржуазное республиканское правительство называло коммунарок.

Приезд генерала Корвин-Круковского, который был лично знаком с Тьером, облегчил положение Жаклара.

В обширном письме от 9 октября 1871 г. из Франкфурта Ковалевский сообщает брату об удавшемся бегстве Жаклара, говорит о своих денежных делах, подробно развивает свои научные планы: «В прошлое воскресенье мужу Анюты удалось бежать из тюрьмы, из Версаля; мы его быстро снарядили и выпроводили вон, а затем и сами уехали... Софа с родными поехала в Берлин, а я должен вернуться доканчивать работу в Париж».

338 (2). См. примеч. 1 к стр. 335.

338 (3). Жаклару удалось бежать из Парижа с паспортом Владимира Онуфриевича. Анна Васильевна выжидала в Гейдельберге результатов соединенных усилий всей семьи. Кузина Корвин-Круковских Софья Аделунг рассказывает, что мать ее в это время видала Анюту, которая была «так

измучена физически и морально, что целых восемь суток находилась в тяжелом сне; пробуждалась она только для принятия пищи и тотчас снова засыпала». Вскоре Жаклар с женой переселились в Швейцарию. В 1874 г. они приехали в Палибино. Анна Васильевна продолжала писать (см. ее письмо к А. Г. Достоевской). В журнале «Северный вестник» напечатаны две ее повести.

338 (4). О взаимоотношениях Софьи Васильевны и Владимира Онуфриевича.

339 (1). Опубликовано в газете «Новое время», как письмо к редактору, в период ее прогрессивного направления (№ 141, стр. 2).

339 (2). В следующих номерах газеты — сообщения о поступивших пожертвованиях.

340 (1). Подлинник в архиве А. Г. Достоевской в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве. На бумажной обложке, в которой находится письмо, рукою А. Г. Достоевской: «Жаклар-Корвин Анна Васильевна, писательница, б. невеста Фед. Мих. Достоевского».

340 (2). «Хрестоматия» — руководство по французскому языку для воспитанниц средних и старших классов женских учебных заведений, составленное В. Жакларом при содействии Анны Васильевны (два тома, СПб., 1877—1878).

340 (3). Достоевские жили в районе Невского, у Николаевского вокзала; Жаклары — на Васильевском острове.

341 (1). Путешествие Достоевского в Москву — по своим литературно-издательским делам.

341 (2). На конверте: «Ее Высокоблагородию Анне Григорьевне Достоевской. В Старую Руссу. Новгородская губерния». Почтовые штемпеля: «Петербург, 30 сентября 1878».

341 (3). Печатается как заключительный документ к истории знакомства Ф. М. Достоевского с А. В. Корвин-Круковской и сватовства к ней. Подлинное в бумагах Ф. М. Достоевского в ПД.

341 (4) А. П. Философова (1837—1912) — прогрессивная общественная деятельница. Заседание у нее могло быть по вопросу об устройстве Высших женских курсов, Общества помощи нуждающимся женщинам, Общества дешевых квартир и т. п.

342 (1). Не выяснено, о каком конгрессе идет речь. В сборнике «Памяти Философовой» (П. 1912, два тома) к этому времени относится письмо Достоевского к Философовой, в котором упоминается о предстоящей поездке Федора Михайловича в Эмс для лечения. Сама Философова вынуждена была выехать осенью 1879 г. за границу, так как царская полиция считала ее деятельность «вредной». Философову не арестовывали только потому, что ее муж занимал высокую должность в военно-судебном ведомстве.

342 (2). Делегатский билет.

342 (3). Письмо гениального русского химика, академика А. М. Бутлерова (1828—1886) публикуется с подлинника, из семейного архива Ковалевских, переданного в московское отделение Архива АН СССР. Написано на печатном бланке большого почтового формата: «Химическая лаборатория императорского С.-Петербургского университета. Отделение органической химии. С.-Петербург».

Помимо всего прочего, письмо ценно как документ, свидетельствующий о настойчивом желании великого ученого привлечь женщин к преподаванию в высшей школе.

343 (1). Сестра Лермонтовой — София. О хозяйстве Ю. В. Лермонтовой находим несколько строк в письме В. О. Ковалевского к брату от 1 ок-

тября 1880 г.: «Будь, Саша, добр, сходи к нашему агенту Бухтееву [по нефтяной компании Рагозина] и спроси его от меня, нет ли в Одессе потребности во французских сырах в роде Бри и Невшателя. Юлия Всеволодовна фабрикует их в большом количестве и в Москве трудно сбыть их. Между тем мы слышали, что сыры эти хорошо продаются в Киеве и Одессе; если узнаешь что-нибудь, черкни словечко Юлии Всеволодовне Лермонтовой, Самотечно-Садовая, собственный дом» (из семейного архива).

343 (2). См. рассказ Ю. В. Лермонтовой о Бутлерове в ее воспоминаниях о Софье Васильевне (стр. 379 и сл.).

343 (3). Публикуется по автографу в собрании писательницы Е. С. Некрасовой (1847—1905), опубликовавшей много материалов к биографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Подлинное в РО (шифр: «Некр. XV-4 № 9). Письмо на печатном бланке: «Московский университет. Геологический кабинет». К письму приложена биографическая справка Некрасовой о Ковалевском. Письмо ценно как свидетельство дружеских отношений Владимира Онуфриевича с детьми Герцена.

343 (4). Печатается в переводе Софьи Владимировны Ковалевской с французской публикации Г. Миттаг-Леффлера в его статье о С. В. Ковалевской и Вейерштрассе.

344 (1). См. предыдущее примечание.

345 (1). Печатается с подлинника из семейного архива Ковалевских.

346 (1). Частный дом, полицейская часть. Подробности о смерти В. О. Ковалевского и его похоронах — в моих книгах «Сестры Корвин-Круковские» и «Семья Ковалевских».

346 (2). Печатается с подлинника, из семейного архива.

346 (3). Дальше — о подготовительной работе по созыву в Одессе съезда естествоиспытателей.

347 (1). См. примеч. 2 к стр. 346.

348 (1). На конверте: «Одесса Его Высокоблагородию Александру Онуфриевичу Ковалевскому. Разумовская улица. 7». Почтовые штемпеля: «Москва 7 июня 1883». «Одесса 11 июня 1883»

348 (2). Опубликовано в 1887 г. в журнале «Acta mathematica» (т. IX, стр. 182 и сл.); включено в Собрание сочинений П. Л. Чебышева (т. II, 1907, стр. 733 и сл.) и в Полное собрание сочинений П. Л. Чебышева (т. III, 1948, стр. 226 и сл.). Представляет собою вступительную заметку к напечатанной в названных изданиях статье П. Л. Чебышева «О суммах, составленных из коэффициентов ряда с положительными членами. Письмо, адресованное г-же Софье Ковалевской». До этого в «Acta mathematica» (т. IX, 1886, стр. 35—56) была напечатана во французском переводе С. В. Ковалевской статья П. Л. Чебышева «О представлении предельных величин интегралов посредством интегральных вычетов» (в Сочинениях: т. II, 1907, стр. 421—440; т. III, 1948, стр. 172 и сл.). По поводу статьи, адресованной в виде письма к Софье Васильевне (20 сентября 1886 г.), академик Н. Я. Сонин сделал в Академии Наук 14 декабря 1894 г. доклад, напечатанный под заглавием «Заметка по поводу письма П. Л. Чебышева к С. В. Ковалевской» в «Известиях» Академии (№ 1, 1895, стр. 1 и сл.).

348 (3). Дальше — статья «О суммах...»

349 (1). Печатается по фотокопии с подлинного письма С. В. Ковалевской, находящейся в московском отделении Архива АН СССР (л. 35 и сл.). В том же собрании — другие письма П. Л. Чебышева к Софье Васильевне (отмечаются только листы).

349 (2). Имеется в виду съезд естествоиспытателей 1879 г. (см. примеч. 3 к стр. 266). Софья Васильевна 2-я — дочь С. В. и В. О. Ковалевских — Софья Владимировна (род. 5 октября 1878 г.).

349 (3). См. примеч. 1 к стр. 349 (л. 47).
349 (4). См. примеч. 2 стр. 348 («О суммах» и т. д.).
350 (1). См. предыдущее письмо.
350 (2). Печатается с подлинника, из семейного архива Ковалевских. Писано под диктовку Анны Васильевны ее 13-летним сыном Юрием.
350 (3). Деньги из доходов с дома на Васильевском острове.
351 (1). Фраза о сожженной бумаге и подпись — рукою Анны Васильевны.
351 (2). См. примеч. 1 к стр. 349.
351 (3). См. письмо П. Л. Чебышева от 20 сентября 1886 г.
351 (4). Фамилия переводчика — Лион (В. Е. Прудников, стр. 74). Статья напечатана в шведском журнале (т. XII, 1889, стр. 287 и сл.).
351 (5). См. примеч. 1 к стр. 349 (л. 39 и сл.).
351 (6). См. октябрьское письмо Софьи Васильевны к А. И. Косичу за 1889 г. (стр. 305).
352 (1). См. письмо К. С. Веселовского от 11 октября 1889 г.
352 (2). См. следующий документ.
352 (3). Печатается с подлинной записки П. Л. Чебышева, хранящейся в ленинградском Архиве АН СССР (ф. 2, оп. 1, 1889 г., № 7, л. 2 и 3). Повидимому, составлена для непременного секретаря Академии Наук К. С. Веселовского, который нанес на рукопись Чебышева поправки, отмеченные здесь в дальнейших примечаниях. Записку Чебышева со своими поправками Веселовский представил президенту Академии Наук, как материал для ответа А. И. Косичу (см. письмо Веселовского от 11 октября).
352 (4). Веселовский исправил: «по математике».
352 (5). Последние два слова вставлены Веселовским.
352 (6). Все набранное здесь курсивом вписано рукой Веселовского.
352 (7). Это слово вписано Веселовским.
352 (8). Веселовский зачеркнул слово «русский» в начале этой фразы и приписал после слова «статьи»; «на русском языке». Упоминается в тексте журнал «Школа математики. чистой и прикладной», 1885, № 1, стр. 61 и сл.
353 (1). Веселовский зачеркнул слова: «говорится о почете» и вписал: «сказано в означенном письме» (т. е. в письме А. И. Косича к президенту Академии Наук).
353 (2). Все набранное курсивом подчеркнуто самим Чебышевым; является цитатой из письма Косича к президенту Академии.
353 (3). Высших женских курсов в Петербурге.
353 (4). Среди фотокопий в собрании С. В. Ковалевской в московском отделении Архива АН СССР имеется такая записка: «Чебышев поручил мне передать тебе, милая Софа, от [его имени?] прилагаемую диссертацию на степень доктора. Это поручение сделано во время защиты этой диссертации. Помни, что для тебя это будет интересно. во-первых, потому, что, сколько я понял из твоего письма, предмет твоей диссертации — абелевские функции и, во-вторых, по отношению к работе Вейерштрасса. Напиши, однако же, пообстоятельнее, в каком же, наконец, положении твоя диссертация. 28 апреля (10 мая) 1874 г.». Установить, чья это записка, не удалось; может быть, В. В. Корвин-Круковского.
353 (5). Печатается с подлинника из семейного архива Ковалевских.
353 (6). Имеются в виду чувства финнов к официальной, царской, России.
354 (1). Печатается с подлинника (Архив АН СССР, фонд 2, опись I, 1875 г., № 10, л. 16). Было прочитано в заседании Физико-математического отделения 25 октября.

354 (2). Печатается в переводе, опубликованном в 1916 г. Е. Д. Кузковой (там же — французский текст).

354 (3). Печатается с подлинника, из семейного архива.

354 (4). Вторая премия за работу о вращении твердого тела — от Шведской академии (см. примеч. 3 к стр. 302).

354 (5). А. О. Ковалевский был избран членом-корреспондентом Академии Наук в 1883 г., действительным членом Академии — 24 марта 1890 г. «Немецкой» А. О. Ковалевский называет Академию вследствие того, что среди академиков было тогда много прибалтийских немцев. Пользуясь покровительством придворных немецких кругов, они не давали возможности избрать в действительные члены Академии гениальных русских ученых Д. И. Менделеева, И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, А. Г. Столетова и других.

355 (1). Вера Александровна Ковалевская (1870—1928) — по мужу Чистович. Лидия Александровна Ковалевская (1873—1943) — по мужу Шевякова. Владимир Александрович Ковалевский (1872—1914), ученый химик, преподаватель Политехнического института; перечень его работ в некрологе, написанном академиком Н. Д. Зелинским («Известия Политехнического института»).

355 (2). Как профессор Новороссийского университета (в Одессе), А. О. Ковалевский возглавлял на юге России борьбу с вредителем виноградных садов — филоксерой. «Я залез в дело осмотра виноградников в виду филоксеры и у меня с этим очень много возни» (письмо к И. И. Мечникову от 29 мая 1883 г., в Музее им. И. И. Мечникова).

355 (3). Избранный в 1890 г. действительным членом Академии, А. О. Ковалевский переехал с семьей в Петербург и еще три года продолжал читать там лекции в университете для получения права на профессорскую пенсию.

355 (4). Печатается в переводе, опубликованном В. Е. Прудниковым. К. Эрмит (1822—1901) — французский математик. Познакомившись с Софьей Васильевной, он писал Вейерштрассу, что поражен обширностью познаний и глубиной ума Ковалевской (Литвинова, 1, стр. 56).

356 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива Ковалевских.

356 (2). См. предыдущее примечание.

357 (1). См. предыдущее примечание.

357 (2). В письме от 6 марта А. О. Ковалевский возвращается к вопросу об удочерении и заявляет Лермонтовой: «Вы можете быть вполне уверены, что ни на один серьезный шаг я не решусь, не посоветовавшись с вами и не переговорив с вами самым подробным образом. Я уверен, что могу даже обещать, что ни на что серьезное не решусь без вашего согласия. Относительно Максима Максимовича мне бы не хотелось его обидеть резкостью и отстранять от Фуфы искреннего друга Софьи Васильевны, доказавшего, мне кажется, и на деле свою к ней привязанность. Удочерение это состояться не может без нашего согласия». 12 марта А. О. Ковалевский писал Ю. В. Лермонтовой: «Пересылаю вам письмо Максима Максимовича; из него вы убедитесь, какие благородные намерения были у Максима Максимовича, и порадуетесь, что столь пугавшее вас усыновление не состоялось» (неизданные письма в семейном архиве Ковалевских).

358 (1). Печатается с подлинника, из семейного архива С. В. Ковалевской.

358 (2). Изданные при участии М. М. Ковалевского «Литературные сочинения» Софьи Васильевны вышли в свет лишь в 1893 г. вследствие цензурных затруднений (см. стр. 535 и сл.). Материалы для биографии

С. В. Ковалевской в эту книгу не включены. Воспоминания Ф. В. Корвин-Круковского и Ю. В. Лермонтовой включены в настоящий сборник (стр. 369 и сл., 375 и сл.).

358 (3). См. дальше — воспоминания М. М. Ковалевского (стр. 388 и сл.). и А.-Ш. Леффлер-Эдгрен (стр. 419 и сл.).

358 (4). См. примеч. 1 к стр. 358.

358 (5). Перевод — воспоминаний Софьи Васильевны о польском восстании. В издание 1893 г. не вошли.

359 (1). О романе С. В. Ковалевской «Нигилистка» см. примеч. 1 к стр. 183.

359 (2). Одно стихотворение напечатано в книге 1893 г. (см. здесь стр. 317).

359 (3). О составе книги 1893 г. см. стр. 536.

359 (4). Печатается с подлинника из архива Софьи Владимировны Ковалевской.

359 (5). Дорога, которую «выбирает». С. Вл. Ковалевская — научная работа.

359 (6). Гревс, Иван Михайлович (1860—193?) — профессор всеобщей истории.

359 (7). На конверте (по-французски): «Господину Александру Ковалевскому. Императорская Академия в Петербурге. Для Софии Ковалевской». Почтовые штемпеля: французский стерт; «С.-Петербург 15 января 1900».

360 (1). Печатается (с небольшими сокращениями) по авторской рукописи; прочитано Софьей Владимировной Ковалевской в январе 1950 г. на собрании по поводу 100-летия со дня рождения ее матери.

364 (1). См. воспоминания М. Лекке (стр. 416 и сл.).

369 (1). Печатается с сокращениями по тексту, опубликованному в РС (1891, № 9, стр. 624—636). В письме к редактору журнала Ф. В. Корвин-Круковский заявлял: «Будучи слишком на пять лет моложе сестры, я, само собою разумеется, не мог сохранить личных воспоминаний о первых годах ее жизни, а также не мог относиться сознательно к проявлениям ее духовной жизни в периоды детства и первой юности. Затем, когда мне минуло 11 лет, меня повезли в Петербург и отдали в гимназию. Вскоре за этим сестра вышла замуж и уехала за границу, откуда вернулась обратно в Россию уже тогда, когда я поступал в университет. Таким образом, и об этом, самом интересном периоде ее жизни у меня не имеется личных наблюдений и воспоминаний. Более близкое мое общение с сестрой, да и то с большими перерывами, началось с момента возвращения ее из-за границы, т. е. в то время, когда она была не только взрослой, но умственно и нравственно совсем уже созревшею... По более здравом обсуждении, мне стала приходить в голову мысль, что при описании жизни людей замечательных, выдающихся своей умственной или общественной деятельностью, имеют значение не одни только крупные факты, а нередко случается, что какая-нибудь мелочь, могущая показаться с первого взгляда совершенно пустою, получает, в связи с другими явлениями, существенный интерес для биографа... Попытаюсь собрать в памяти те немногие, разрозненные впечатления, которые остались у меня о Софе как из личных наблюдений, так и главнейше, по рассказам старших родных и близких знакомых».

О Федоре Васильевиче Корвин-Круковском см. Воспоминания Софьи Владимировны Ковалевской (стр. 367 и сл.).

372 (1). Ср. с письмом Софьи Васильевны к С. Аделунг от 2 марта 1867 г.

375 (1). Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846—1919) — одна из тех

многочисленных «дворянских нигилисток», которые, подобно сестрам Корвин-Круковским, стремилась в 60-х годах XIX в. к получению высшего образования. Лермонтовой посчастливилось иметь своей руководительницей в этом деле Софью Васильевну Ковалевскую. Зато Лермонтова и стала на всю жизнь самой верной подругой Софьи Васильевны, которой она была предана бескорыстно и самоотверженно.

375 (2). Первая часть «Воспоминаний» Лермонтовой печатается по ее рукописи из семейного архива Ковалевских.

376 (1). См. письма С. В. Ковалевской к Ю. В. Лермонтовой за 1869 г.

379 (1). См. письмо С. В. Ковалевской к Е. А. Лермонтовой за 1874 г.

380 (1). См. письма С. В. Ковалевской к мужу и матери за 1876 г.

380 (2). Когда Ю. Лермонтова еще работала в области химии, она перевела для французского журнала «Revue Scientifique» статью Менделеева «Происхождение нефти» (1877, № 18 от 3 ноября). Великий ученый так упоминает об этой статье в «Списке» своих сочинений: «Переводила Лермонтова... Это — лучшее из моих изложений этого предмета» («Литературное наследство», I. стр. 96 и сл.).

381 (1). Эта часть «Воспоминаний» Ю. В. Лермонтовой содержит ценные фактические сообщения о Софье Васильевне. Написано для А.-Ш. Леффлер, которая использовала это — буквально, цитатами — в своей книге о Ковалевской. По тексту этой книги (стр. 97 и сл.) они печатаются в настоящем сборнике. Многие факты в этих воспоминаниях подтверждаются неизданной перепиской С. В. и В. О. Ковалевских.

382 (1). Втроем: Софья Васильевна, Лермонтова и В. О. Ковалевский.

383 (1). Так как «Воспоминания» Лермонтовой печатались в книге Леффлер при жизни Евреиновой, то последней было придано в книге имя «Инна».

385 (1). В семейном архиве Ковалевских сохранилось несколько писем Софьи Васильевны к Владимиру Онуфриевичу, в которых отражены эти недоразумения.

386 (1). Об этих сновидениях — много в письмах Софьи Васильевны к Марии Мендельсон.

388 (1). Об М. М. Ковалевском см. примеч. 2 к стр. 173.

388 (2). Комментируемый отрывок извлечен из неизданных Воспоминаний М. М. Ковалевского, текст которых поступил в московское отделение Архива АН СССР в 1948 г. Заголовок дан редакцией.

391 (1). Вейерштрасс не был женат; с ним вместе жили две незамужние сестры.

391 (2). Относительно лекций Софьи Васильевны в Гельсингфорсе у Ковалевского — ошибка памяти. Намерение Миттаг-Леффлера пригласить ее в Гельсингфорсский университет не осуществилось. М. М. Ковалевский писал настоящие воспоминания в Карлсбаде, где находился в плену у австрийцев во время первой мировой войны, и не имел возможности пользоваться литературными источниками.

392 (1). В письмах В. О. Ковалевского к брату за октябрь 1878 г.— упоминания о тяжелой болезни Софьи Васильевны после рождения дочери.

392 (2). Отъезд в декабре 1890 г. из Болье, где была вилла М. М. Ковалевского.

393 (1). Речь М. М. Ковалевского — дальше (стр. 407).

393 (2). Возможно, что имеется в виду роман Арвед Барин «Расплата за славу» (1894 г.). В биографической литературе о Софье Васильевне имеются определенные указания о том, что на июнь 1891 г. была назначена ее свадьба с М. М. Ковалевским. Академик Д. Н. Анучин писал об этом в статьях об М. М. Ковалевском и И. И. Мечникове.

393 (3). В одной из стокгольмских газет сообщалось: «Вскрытие тела, совершенное профессором Кей... Мозг покойной оказался в высшей степени развитым и богатым извилинами, что и можно было предвидеть, судя по ее высокой интеллигенции» («Новое время», 1891, № 5374, от 13 февраля).

394 (1). И. И. Мечников ушел из Новороссийского университета (в Одессе) в 1882 г. вследствие преследования его общей и университетской администрацией на политической почве. Кроме прямой борьбы за независимость высшей школы, Мечников, как видно из протоколов заседаний совета университета, вел настойчивую борьбу с реакционной профессорской группой, противодействуя ее стремлению протащить на кафедры своих политических сторонников — в большинстве бездарных ученых. Но после 1 марта 1881 г. прогрессивная группа терпела поражение за поражением, и Мечникову пришлось подать в отставку. Подробности в сб. «Борьба за науку» (1931 г.) и в «Воспоминаниях» Мечникова.

394 (2). И. И. Мечников писал о своем знакомстве с Софьей Васильевной в «Этюдах оптимизма» (стр. 200 и сл.). Его рассказ Л. Н. Толстому (в 1909 г.) о Ковалевской — у А. Б. Гольденвейзера (т. I, стр. 265 и сл.).

395 (1). В первый раз И. И. Мечников женился в 1868 г. на Л. В. Федорович, которая умерла в 1873 г. Вторично Мечников женился в 1875 г. на О. Н. Белокопытовой (см. книгу О. Н. Мечниковой, изд. 1926 г.).

395 (2). Настоящий очерк был напечатан М. М. Ковалевским в газете «Биржевые ведомости» (1 и 2 марта 1916 г.) и представляет собою изложение его речей на собраниях в Петрограде 29 января 1916 г. по поводу 25-летия со дня смерти Софьи Васильевны. Текстом своих «Воспоминаний» 1914 г. Ковалевский не мог пользоваться в 1916 г., так как при возвращении на родину из плена вынужден был оставить все свои бумаги за границей.

396 (1). См. примеч. 2 к стр. 391.

398 (1). Софья Васильевна читала свои лекции по-шведски уже в 1885 г.

398 (2). О своих чтениях в Стокгольме М. М. Ковалевский писал тогда своему другу, академику В. Ф. Миллеру, что на первой лекции у него было 230 слушателей. Ему аплодировали, а в газетах — «самые благоприятные отзывы» (Собрание писем М. М. Ковалевского за 1878—1894 гг. в Государственном литературном музее № 2097-116, переданное в ГЦЛА). Среди других писем к академику Миллеру (их всего — 20) имеются интересные материалы к биографии М. М. Ковалевского. Упоминает он о кончине Софьи Васильевны в письме к жене академика Е. Н. Янжул (там же, № 3496-17).

399 (1). Так назывался тогда в либеральной печати рабочий класс. Первое сословие — дворянство, второе — купечество, третье — крестьянство.

400 (1). См. письма Софьи Васильевны к Фольмару (стр. 262 и сл.).

401 (1). Финансовым агентом России во Франции был в 1916 г. А. Г. Рафалович.

401 (2). На Ривьере, близ Ниццы, была вилла М. М. Ковалевского — Болье.

401 (3). Имеется в виду история В. С. Гончаровой (см. стр. 183 и сл.).

401 (4). «Воспоминания детства» были первоначально напечатаны в «Вестнике Европы» (1890, № 7 и 8).

403 (1). Здесь пропущено несколько слов вследствие выпадения одной строки газетного набора. Возможно, по смыслу остального текста, что в отсутствующей строке говорилось о свиданиях Софьи Васильевны с русскими революционерами и выпадение строки вызвано цензурными соображениями. В следующем абзаце, повидимому, отсутствуют слова: «По возвращении в».

404 (1). В рассказе о Спенсере — не совсем точное, по памяти, изложение воспоминаний С. В. Ковалевской о Джордже Эллиот (см. стр. 160 и сл.).

404 (2). На вилле Болье, где С. В. Ковалевская встречалась с русскими учеными и писателями.

404 (3). К. Фогт был в 1848 г. видным деятелем германского революционного парламента во Франкфурте; был приговорен к смерти. В дальнейшем его роль в политическом движении была реакционной. Об антиморальной стороне деятельности Фогта в начале 50-х годов — у К. Маркса, в книге «Господин Фогт» (1860 г.).

405 (1). Обычная отговорка либералов, боящихся практических выводов из теоретических социально-политических рассуждений.

406 (1). В 1890 г. Софья Васильевна писала дочери: «Я была на маслянице в Ницце (это на юге Франции) и там было очень красиво. Мы смотрели из окна, и мимо нас проходили замаскированные люди и проезжали колесницы странного вида. Перед нами стояли целые корзины цветов, и мы кидали в проезжающих букеты, точно бомбы, и они отвечали нам тем же. Я так жалела, что тебя не было со мною. Когда ты вырастешь, мы опять поедем в Ниццу на карнавал» (из семейного архива).

407 (1). Как указано в примеч. 2 к стр. 395, этот очерк представляет собою изложение речей М. М. Ковалевского на собраниях по поводу 25-летия со дня кончины Софьи Васильевны. В газетном отчете об этих собраниях — несколько дополнительных штрихов к очерку. «С. В. мечтала о рабочем законодательстве и о политической свободе в России. Она сердцем болела за наступавшую в то время в России реакцию. Это был в полном смысле трезвый ум, воспитанный не только на математике, но и на естественных науках, живший высшими интересами всей Европы. Но это не мешало тому, что ее все время тянуло в Россию. В 1888 г. она окончательно решила уехать в Россию. Но в скором времени она заболела и быстро умерла» («Русские ведомости», 1916, 30 января). М. М. Ковалевский упоминал о Софье Васильевне в различных своих статьях при ее жизни и после смерти. Таковы его статьи: «Стокгольмский университет» («Русские ведомости», 1888, № 294 от 25 октября); «Университетская жизнь в Швеции» (там же, № 305 от 5 ноября); «Дим. Андр. Дриль» («Вестник Европы», 1910, № 12, стр. 427 и сл.; здесь также об А. О. и В. О. Ковалевских).

407 (2). Печатается по тексту, опубликованному в газетах и журналах 1891 г. — в некрологах С. В. Ковалевской. Из воспоминаний русских друзей Софьи Васильевны имеется еще небольшая рукопись С. И. Ламанского, поступившая в Государственный литературный музей в составе фонда писательницы Е. П. Летковой (№ 232—39) и переданная затем в ЦГЛА. Здесь, на четырех листках,— рассказ о годах учения Ковалевской в Гейдельберге, где она жила вместе с Ю. В. Лермонтовой, А. М. Евреиновой и Н. А. Армфельдт (1850? — 1887). Рассказано также о занятиях с Вейерштрассом, о стремлении Софьи Васильевны в Россию, которую она «любила и желала быть ей полезной». После смерти С. В. Ковалевской С. И. Ламанский писал Ю. В. Лермонтовой: «Тяжело помириться с этой утратой. Трудно встретить вторую женщину, в которой было такое счастливое сочетание глубокого ума с талантом, веселостью и живостью характера» (письмо от 5 февраля 1891 г., из семейного архива Ковалевских).

408 (1). Очерк известной шведской писательницы Эллен Кэй основан на близком личном знакомстве и дружбе автора с Софьей Васильевной. Наряду с этим на очерке отразилось влияние «Воспоминаний детства» в их беллетризированном варианте (роман «Сестры Раевские»). Напечатанный тотчас после смерти С. В. Ковалевской в нескольких скандинавских изданиях, очерк Эллен Кэй послужил основой для многих тогдашних зарубежных ста-

Профессор П. А. Некрасов подчеркивает патриотизм С. В. Ковалевской, ее любовь к родине, интерес к ее научным деятелям и развитию русской науки. В этом Ковалевская проявляла «энергичную настойчивость».

Русский народ всегда гордился Ковалевской. Отечественные ученые широко распространяли сведения о деятельности замечательной русской женщины. К 25-летию кончины Софьи Васильевны известный русский математик профессор А. В. Васильев писал: «Ковалевская, несомненно, оставила неизгладимый след в двух областях, занимающих весьма важное место в общей системе математических наук. Эти две области — во-первых, интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов, и, во-вторых, вопрос о движении твердого тела около неподвижной точки».

Коснувшись рассуждений скептиков, «склонных преувеличивать влияние Вейерштрасса и его участие в мемуарах ученицы», профессор Васильев ссылается на письма самого Вейерштрасса. Эти письма представляют «особенный интерес, как признание учителем талантливости и самостоятельности Ковалевской. В одном из писем 1874 г. Вейерштрасс пишет: «Твое замечание об уравнениях с частными производными много объяснило мне в этом вопросе и служило мне побуждением к очень интересным исследованиям. Я желаю, чтобы в будущем моя дорогая ученица этим путем вознаграждала своего учителя и друга».

Работы Софьи Васильевны «по интегрированию системы дифференциальных уравнений с частными производными с помощью степенных строк,— как подчеркивает профессор А. В. Васильев,— распространяют метод, данный Вейерштрассом и примененный им в лекциях к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Но случай, рассмотренный Ковалевскою, значительно общее и труднее, и значение теоремы, доказанной Ковалевскою, характеризуется отношением к ней Пуанкаре в его классической работе о задаче трех тел». Профессор Васильев имеет здесь в виду следующие слова знаменитого французского математика: «Г-жа Ковалевская значительно упростила метод доказательства Коши и дала теоремам окончательную форму» («Acta», т. XIII, стр. 26).

В московском «Математическом сборнике» и научных изданиях ученых обществ в Петербурге, Киеве, Харькове, Париже, Неаполе, Нью-Йорке и других городах напечатано много десятков работ на тему о движении твердого тела вокруг неподвижной точки. В них отмечено большое значение исследования С. В. Ковалевской. Среди этих работ — труды таких математиков, как Н. Е. Жуковский (четыре мемуара с 1895 по 1904 г.), В. А. Стеклов, С. А. Чаплыгин (четыре мемуара с 1897 по 1903 г.), А. М. Ляпунов, статьи известных французских, итальянских и других ученых.

Советские ученые продолжают развивать идеи С. В. Ковалевской в научно-практическом отношении. В связи с 50-летием присуждения Ковалевской премии за ее «знаменитый мемуар» («Вестник АН СССР», 1941, № 4, стр. 116 и сл.) Отделение технических наук АН СССР выпустило в 1940 г. «Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской — Движение твердого тела вокруг неподвижной точки» (см. «Список»). В этом сборнике, кроме знаменитых мемуаров Ковалевской, помещены две статьи. Первая принадлежит Г. Г. Аппельроту, который свыше полувека пропагандировал идеи Ковалевской, написал на ее тему несколько книг и много статей. В данной статье — «Не вполне симметричные тяжелые гироскопы» — автор излагает «главнейшие достижения по теории их движения за последние 50 лет». Он излагает приемы, «с помощью которых талантливая исследовательница открыла свой случай», и указывает, что эти приемы могут быть полезны и «в других физически или технически интересных вопросах». В приложении

к статье автор дал список 48 работ русских и зарубежных ученых на тему Ковалевской.

Вторая статья принадлежит члену-корреспонденту АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной, которая перевела для сборника с французского оба знаменитых мемуара Ковалевской. В своей статье автор напоминает, что исследованиями русских ученых, в том числе А. М. Ляпунова, подтверждена верность сформулированной Ковалевской теоремы и доказана возможность более широкой формулировки ее. «Мемуар Ковалевской внес ряд новых блестящих страниц в историю задачи о вращении твердого тела... Работа Ковалевской дала толчок к ряду исследований, относящихся к отысканию частных решений общей задачи, а также частных решений случая Ковалевской».

В предисловии к сборнику проф. Н. И. Мерцалов напоминает, что задача о вращении была решена Эйлером и Лагранжем «лишь в двух частных случаях». «Как известно,— пишет автор предисловия,— случай Лагранжа получил широкое применение в практике: гироскопами Лагранжа теперь ведутся большие морские суда». Поставив вопрос о том, может ли иметь практическое применение гироскоп Ковалевской, проф. Мерцалов пишет: «Отвечать теперь на этот вопрос еще рано... Однако именно непериодичность в движении этого гироскопа как раз может оказаться выгодным фактором в деле применения его: в практике имеется ряд случаев, когда именно такая непериодичность требуется, и, может быть, через некоторое время практика потребует указаний возможности применения и гироскопа Ковалевской. К этому нужно готовиться, а готовиться — значит всемерно распространять изучение случая Ковалевской».

В 1948 г. изданы все научные труды С. В. Ковалевской в серии АН СССР «Классики науки», под редакцией, с комментариями и статьями члена-корр. АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной, с портретами и другими иллюстрациями. П. Я. Полубаринова-Кочина подробно рассматривает и характеризует научную деятельность Софьи Васильевны, приводит отзывы русских и зарубежных ученых об огромном значении научного наследства Ковалевской, о самостоятельности ее творчества, имеющего влияние на исследования последующих поколений математиков. В сборнике приведена обширная библиография, в том числе список 68 работ отечественных и зарубежных ученых на темы С. В. Ковалевской (стр. 305 и сл.). Включены также в книгу письма К. Вейерштрасса о научных работах Софьи Васильевны, выдержки из статей различных ученых и вся статья великого русского математика А. М. Ляпунова, в которой он доказывает обобщенную теорему С. В. Ковалевской (стр. 286 и сл.).

5—11 января 1949 г. в Ленинграде состоялась сессия АН СССР, посвященная истории отечественной науки. В заседании 6 января член-корр. АН СССР П. Я. Полубаринова-Кочина сделала сообщение «К истории задачи о вращении твердого тела» и подчеркнула, что работой С. В. Ковалевской «вписана блестящая страница в историю механики прошлого века».

13 января 1950 г. состоялось в Академии Наук СССР торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения С. В. Ковалевской. Во вступительной речи президент АН СССР академик С. И. Вавилов говорил:

«Научный вклад, внесенный в науку Ковалевской за ее недолгую жизнь, необычайно полноценен и многозначителен. Ее фундаментальное исследование по вращению твердого тела послужило основой для дальнейшего развития важнейших вопросов механики в нашей стране и во всем мире. Ее тонкие исследования по теории дифференциальных уравнений и по некоторым вопросам математической физики и теоретической астрономии сохраняют

свое значение и на сегодня. В истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта... Ковалевская была не только математиком. Она проявила себя как писательница — автор романов, драматических произведений и рассказов — и как публицист. Она не замыкалась в узкую математическую специальность и глубоко понимала свой гражданский долг перед страной, перед народом... Ковалевская... глубоко понимала и ценила свою связь с родной страной, с родным народом. Выдающееся значение научного творчества Ковалевской высоко оценивалось всей передовой русской интеллигенцией. Выражением этого было исключительное событие для старой дореволюционной России — избрание Ковалевской членом-корреспондентом Академии Наук в 1889 г. Для этого Академии пришлось ломать устав, решать сначала принципиальный вопрос о допущении лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты... Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда широко открыла двери высшего научного учреждения страны для женщин, и нет сомнения, что с каждым годом число женщин-ученых, работающих в советской Академии, в Академии Сталинской эпохи, на самых ответственных постах будет возрастать. Огромные творческие научные силы русской женщины были впервые раскрыты перед всем миром С. В. Ковалевской».

Затем член-корр. АН СССР П. Я. Полубаринова-Кочина сделала доклад о жизни и научной деятельности С. В. Ковалевской, а доктор исторических наук М. В. Нечкина выступила с докладом «Общественная и литературная деятельность С. В. Ковалевской». В докладе указано, что Софья Васильевна была «верной и преданной союзницей молодой России, идущей вперед, к новой жизни. Она, несомненно, способствовала движению своей родины вперед, обогащению русской культуры. Софья Ковалевская навсегда останется славой нашей родины, которую она так горячо любила».

В газетах и различных изданиях АН СССР 100-летие рождения Софьи Васильевны ознаменовано рядом статей.

АРХИВНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПРАВКИ

В список источников, использованных при составлении настоящего сборника, включены, кроме названных в примечаниях, документы и материалы, связанные в том или ином отношении с научной и личной биографией Софьи Васильевны, Александра Онуфриевича, Владимира Онуфриевича Ковалевских и Максима Максимовича Ковалевского.

1. Рукописные фонды

Рукописи С. В., А. О., В. О. Ковалевских, М. М. Ковалевского и А. В. Жаклар. Семейная переписка в собрании Софьи Владимировны Ковалевской.

Письма и другие документы: Архив АН СССР в Москве: фонд С. В. Ковалевской (автографы и фотокопии), фонд М. М. Ковалевского (автографы и машинописные копии), фонд А. П. Богданова, № 446 (автографы).

Архив АН СССР в Ленинграде: ф. 768 — С. В. Ковалевской, ф. 103— М. М. Ковалевского (автографы), ф. 139—Ф. Ф. Шуберта, ф. 300 — семьи Ковалевских (разряд IV — автографы), ф. 320— Н. А. Умова, ф. 257— А. М. Ляпунова.

Архив внутренней политики, культуры и быта, фонд Правительствующего сената — собрание автографов (С. В. Ковалевской и др.).

Центральный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР — Заграничный архив А. И. Герцена и Н. П. Огарева, ф. 5770, оп. 1, № 87: письма В. О. Ковалевского к А. И. Герцену и М. А. Бакунину (автографы).

Центральный государственный литературный архив в Москве (ЦГЛА) — автографы: фонд Ф. М. Достоевского, фонд Е. П. Летковой (из собрания Литературного музея, № 473), фонд С. А. Юрьева (№ 636), фонд В. Ф. Миллера (из собрания Литературного музея № 2097/116), фонд И. И. Янжула (из Литературного музея, № 3496/17).

Музей И. И. Мечникова при Бактериологическом институте им. Л. А. Тарасевича в Москве: письма А. О. и В. О. Ковалевских, М. М. Ковалевского, И. И. Мечникова, И. М. Сеченова (автографы).

Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде — автографы: фонд Ф. М. Достоевского (письма А. В. Жаклар и др.), фонд М. И. Семевского (неизданные воспоминания И. И. Малевича об С. В. Ковалевской).

Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве — автографы: фонд А. Г. Достоевской, фонд Е. С. Некрасовой, фонд Н. С. Тихонравова, фонд В. А. Гольцева (РО).

Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде: фонд И. В. Помяловского — автографы (письма А. О. Ковалевского).

Воспоминания академика С. Ф. Ольденбурга и проф. И. М. Гревса об А. В. и В. В. Жакларах — автографы (в собрании С. Я. Штрайха).

2. Архивные дела

Архив АН СССР в Ленинграде: об избрании С. В. Ковалевской в Академию Наук (ф. 1, оп. 1, № 187; ф. 2, оп. 1, № 10), об избрании А. О. Ковалевского в Академию Наук (ф. 2, оп. 1, № 6).

Ленинградское отделение Центрального исторического архива: фонд Департамента народного просвещения, д. № 180372 и другие — о научных командировках А. О. Ковалевского, об избрании его профессором в Казани, Киеве и Одессе, об избрании его в Академию Наук, об учреждении биологической станции в Севастополе. Дело № 7456 и другие, ф. 14,— о магистерском экзамене В. О. Ковалевского в Петербургском университете и назначении его там на службу.

Дела Совета Московского университета: № 471 за 1880 г.— об избрании В. О. Ковалевского на кафедру геологии и палеонтологии, № 159 за 1883 г.— о смерти В. О. Ковалевского (с автографами С. В. Ковалевской) — в Архиве Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Центральный архив революции в Ленинграде: дело III отделения за 1865 г. и сл. о дозволении В. О. Ковалевскому издавать журнал «Летописец»; дело III отделения за 1876 г. о разрешении В. О. Ковалевскому содержать типографию (для газеты «Новое время»).

Комитет иностранной цензуры, дело № 48 за 1892 г. в Ленинградском отделении Центрального исторического архива (ЛОЦИА) — о шведском издании книги С. В. Ковалевской «Вера Воронцова», где помещен роман «Нигилистка», воспоминания о польском восстании и статья о М. Е. Салтыкове; того же комитета дело № 13 за 1896 г. (ЛОЦИА) — о немецком издании «Нигилистки» С. В. Ковалевской; того же комитета, дело № 33 за 1908 г. (ЛОЦИА) — о чешском издании «Нигилистки», того же комитета, дело № 4387 за 1915 г. (ЛОЦИА) — о немецком издании «Нигилистки».

3. Печатные источники

Маркс К. и Энгельс Ф. *1.* Соч., т. XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX (о Жакларе, М. М. Ковалевском — по указателю). *2.* Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. 1947. *3.* Архив Маркса — Энгельса, т. I (VI), 1932 (стр. 28 — о Жакларе).

Энгельс Ф. *1.* Диалектика природы. Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б), 1948. *2.* Происхождение семьи, частной собственности и государства в связи с исследованиями Л. Г. Моргана. М., 1945.

Ковалевская С. В. *1.* Научные работы. Редакция и комментарии члена-корр. АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной. Изд. АН СССР, серия «Классики науки», 368 стр., М.— Л., 1948 (все ученые труды Софьи Васильевны). *2.* Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Сб., посвященный памяти С. В. Ковалевской. Изд. АН СССР, 1940 (здесь — две главные работы Софьи Васильевны о движении твердого тела). *3.* Литературные сочинения. 320 стр., П., 1893 (см. в Примечаниях, стр. 536).

4. Воспоминания детства и автобиографические очерки. Редакция и комментарии С. Я. Штрайха. 225 стр. М.— Л., 1945. 5. Нигилистка, роман. Харьков, 1928. 6. Борьба за счастье, драма (совместно с А.-Ш. Леффлер). Киев, 1892. 7. В больнице Шаритэ и Салпетриер. «Русские ведомости», 1888, № 297 и 301 (см. примеч. 3 к стр. 273). 8. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сборник «Литературное наследство», вып. 13—14 (стр. 545 и сл.; публикация и комментарии С. Я. Штрайха). 9. Статьи на театральные и научные темы — в газ. «Новое время» 1876 г. (см. примеч. 2 к стр. 183).

Ковалевский В. О. 1. Палеонтология лошадей. Ред. и примечания действ. члена Академии наук Груз. ССР Л. Ш. Давиташвили и Л. К. Габуния. М., 1948. Серия «Классики науки». Изд. АН СССР. 2. Собр. научных трудов (в трех томах). Ред. и комментарии действ. члена АН Груз. ССР Л. Ш. Давиташвили. Изд. АН СССР, т. 1, 1950 (биография В. О. Ковалевского, его геологические работы, письма — главным образом научного содержания). 3. Переписка с братом (общебиографического и научного содержания) за 1868—1883 гг. Ред. и комментарии С. Я. Штрайха. («Научное наследство», изд. АН СССР, т. I, стр. 219 и сл.). 4. В отряде Гарибальди. «СПб. ведомости», 1866, № 196—206, с 20 по 30 июля. 5. Заметка о моем магистерском экзамене. Киев, 1874, 40 стр. То же — в Сочинениях, т. I, 1950, стр. 283 и сл.

Ковалевская-Чистович В. А. Ал. Он. Ковалевский (воспоминания дочери). «Природа», 1926, № 7—8, стр. 5 и сл.

Ковалевская-Шевякова Л. А. Воспоминания об отце и И. И. Мечникове (в собрании С. Я. Штрайха).

Корвин-Круковская А. В. (Жаклар). 1. Сон, повесть. «Эпоха», 1864, № 8, стр. 1—24 (подписано: Ю. О-в). 2. Михаил, повесть. «Эпоха», 1864, № 9, стр. 1—58 (подписано: Ю. О-в). 3. Записки спирита, повесть. «Северный вестник», 1886, № 7, стр. 1—67. 4. Фельдшерица (повесть). «Северный вестник», 1887, № 3, стр. 89—115. 5. История маленькой Гризи. «Семейные вечера», 1870, № 6—10. 6. Воспоминания о Парижской Коммуне (о рукописи Анны Васильевны — в «Историческом вестнике», 1888, № 1, стр. 259 и сл.; рукопись до нас не дошла).

Ковалевский М. М. 1. Действенный феминизм (С. В. Ковалевская), «Биржевые ведомости», 1916, от 1 и 2 марта. 2. Речь об С. В. Ковалевской. «Русские ведомости», 1916 от 29 и 30 января. 3. Мое научное и литературное скитальчество. «Русская мысль», 1895, № 1. 4. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века. Личные воспоминания. «Вестник Европы», 1910, № 5. 5. Автобиография. «Материалы для Биографического словаря действительных членов Академии Наук». Часть II, стр. 311 и сл. П., 1917. 6. Две жизни (о Марксе и Спенсере) «Вестник Европы», 1909, № 6 и 7. 7. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. Перевод с франц. С. П. Моравского. Ред. и предисловие проф. М. О. Косвена. М., 1939. 8. За рубежом. Из переписки Герцена, Лаврова и Тургенева. «Вестник Европы», 1914, № 3.

Ковалевские (Les Kovalevsky). Plaquette offerte à m-r E. P. Kovalevsky à l'occasion de son jubilé scientifique. 1889—1939 (Памятка, поднесенная Е. П. Ковалевскому по случаю его 50-летнего юбилея). 21 стр., 4°, литография. Биографические справки о 19 Ковалевских: Александр Онуфриевич — стр. 7 и сл., Максим Максимович — стр. 11 и сл., Владимир Александрович — стр. 16, Владимир Онуфриевич — стр. 16 и сл., Софья Васильевна — стр. 18 и сл. Кроме 19 биографических справок об ученых и государственных деятелях, в сборнике перечислены еще 30 других представителей рода Ковалевских.

Аделунг С. (Adelung Sophie). Jugenderinnerungen an Sophie Kovalewsky. «Deutsche Rundschau», Bd. 89, 1896, December, SS. 394—425 (с письмами С. В. Ковалевской).

Андреевский С. А. *1.* С. В. Ковалевская, очерк. «Новости и биржевая газета», 1891, № 102 от 12 апреля. *2.* То же (с небольшими изменениями). «Биржевые ведомости», 1916, № 15352 от 29 января.

Анучин Д. Н. *1.* В. О. Ковалевский. Некролог. «Русские ведомости», 1883, № 111 от 24 апреля. *2.* В. О. Ковалевский. Биографический очерк. Сборник «Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1884 г.» М., 1884, стр. 266 и сл. (есть об участии В. О. в польском восстании); то же в его книге «О людях русской науки и культуры». 1950, стр. 273 и сл. *3.* То же (с сокращениями). «Биографический словарь профессоров Петербургского университета», т. I, СПб., 1896, стр. 324 и сл. *4.* В старые годы. По поводу 100-летия рождения А. И. Герцена. «Русские ведомости», 1912, № 73 от 29 марта (воспоминания о Герцене, В. О. Ковалевском). *5.* К биографии И. И. Мечникова. «Русские ведомости», 1916, от 5 июля (об. С. В. Ковалевской). *6.* Памяти М. М. Ковалевского. «Этнографическое обозрение», 1916, кн. 109—110, № 1—2

Аппельрот Г. Г. *1.* Простейшие случаи движения тяжелого несимметричного гироскопа С. В. Ковалевской. Часть I, М., 1910, 73 стр. *2.* То же, часть II, М., 1911, 4 + 83 стр. *3.* Не вполне симметричные тяжелые гироскопы. В кн.: «Движение твердого тела вокруг неподвижной точки» (1940, стр. 61—155); там же — перечень других статей о работе С. В. Ковалевской.

Ариан П. Н. Первый женский календарь: на 1900 г. (С. В. Ковалевская), на 1901 г. (Н. П. Суслова), на 1905 г. (А. М. Евреинова), на 1908 г. (Н. П. Суслова).

Арвед (Arvède Barine). Rançon de la gloire (Расплата за славу). Revue de deux Mondes, 1894. Mai, стр. 348—382.

«Архив Академии Наук СССР» — обозрение архивных материалов (т. I), под ред. Г. А. Князева, при участии Л. Б. Модзалевского, Лнгр., 1933 (по указателю — о всех Ковалевских).

«Архив Академии Наук СССР» — обозрение архивных материалов, т. III, под ред. Г. А. Князева, П. Н. Корявова и Г. П. Блока. М.— Л., 1950 (по указателю — о всех Ковалевских).

А. С.— Памяти С. В. Ковалевской. «Женское образование». 1891, № 2, стр. 213 и сл.

Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896 (стр. 167 и сл.— о В. О. Ковалевском).

Бартенева Е. Г. Женский конгресс. «Новости», 1889, № 193 от 16 июля.

Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. АН СССР, М.— Л., 1936.

Боборыкин П. Д. За полвека («Мои воспоминания»). Ред. Б. П. Козьмина. М.— Л., «Земля и фабрика», 1929 (об С. В. и В. О. Ковалевских — по указателю).

Богданов А. П. *1.* (О научных трудах В. О. Ковалевского). «Изв. Об-ва любит. естествозн., антроп. и этногр. при Моск. ун-те», т. 54. Труды зоологического отделения, т. II; Летопись зоологических трудов общества в первое 25-летие, т. I. М., 1888. То же, т. 59 (т. VII), М., 1890, стр. 483—499. *2.* (О научной деятельности А. О. Ковалевского). Летопись и т. д.,

т. 59 (т. VII), стр. 18—35, 153, 241—253, 511—533. То же в т. 54 (II), стр. 41 и сл., 47 и сл., 56 и сл.

Богданович Т. А. Любовь людей 60-х годов. Л., 1929.

Борисяк А. А. *1*. В. О. Ковалевский. Его жизнь и научные труды. Л., Изд. АН СССР, 1928, 133 стр. *2*. W. Kowalevsky. Sein Leben und sein Werk. «Palaeobiologica», вып. *3*, тетр. *3*. Вена и Лейпциг, 1930, стр. 131—256. *3*. Вл. Он. Ковалевский. «Природа», 1918, № 1, стр. 28 и сл. *4*. Основатель новой палеонтологии В. О. Ковалевский. «Правда», 1937, № 84 от 26 марта. *5*. Вл. Ковалевский и его наследие. «Природа», 1942. № 7—8, стр. 124 и сл.

Борьба за науку в царской России (неизданные письма А. О. и В. О. Ковалевских, И. М. Сеченова, И. И. Мечникова). Предисловие Н. А. Семашко. Ред. С. Я. Штрайха. М.— Л., Гос. соц.-экон. изд., 1931.

Брандес Г. Собр. соч. Перевод М. В. Лучицкой. 2-е испр. и дополнен. изд., т. I. Киев, 1902, стр. 241—242, статья «Софья Ковалевская» (по поводу книги «Сестры Раевские», изд. 1888 г.). Там же — статья «А.-Ш. Леффлер» (стр. 245—249) по поводу ее книги об С. В. Ковалевской, изд. 1892 г. Там же — статья «Эллен Кэй» по поводу книги Э. Кэй об А.-Ш. Леффлер (стр. 255 и сл.— об С. В. Ковалевской).

Б. Брюллов. Встреча с Ф. М. Достоевским. «Начала», № 2, П., 1922 (стр. 274 и сл. об С. В. и В. О. Ковалевских).

Бунзен (Bunsen M.). Sonja Kowalevsky. Eine biographische Skizze. «Westermanns Illustrierte deutsche Monatshefte», 1897, № 82, май, стр. 218—232 (с письмами С. В. Ковалевской). Ср. «Русские ведомости», 1897, № 147 от 30 мая.

Бурдина М. И. В борьбе за русскую науку. Рекомендательный указатель, вып. 1, М., 1949 (стр. 40 и сл.— об С. В. Ковалевской).

«А. М. Бутлеров. 1828—1928». Сборник Изд. АН СССР, Л., 1929.

Бухгольц (Buchholz M.). Sonja Kowalevsky. «Frauenberuf» («Призвание женщины»). 1891, № 6, стр. 97 и сл.

Б[ыков] П. В. С. В. Ковалевская. «Нива», 1891, № 8, стр. 186 и сл.

Бьеркнес (Bjerknes C.-A.). Fru Kowalevski og hendes Fortjenster of Videnskaps-Selskabetz Möder *i*, 1891, Христиания, стр. 7—20.

Варто. С. В. Ковалевская (К 25-летию кончины). «День», 1916, № 28 от 29 января.

Васильев А. В. *1*. Памяти С. В. Ковалевской. Газ. «Речь», 1916, № 28 от 29 января. *2*. Роль Вейерштрасса в современном развитии математики. Казань, 1885, 18 стр. То же в сборнике «Математические науки в их настоящем и прошедшем». Изд. В. В. Бобынина. 1885, № 10, стр. 225 и сл.; № 11, стр. 257 и сл. *3*. П. Л. Лавров — историк и философ математики. В кн. «П. Л. Лавров. Сборник статей». П., 1922 (об С. В. Ковалевской — стр. 373). *4*. Речь об С. В. Ковалевской 29 января 1916 г.— изложение в «Русских ведомостях» от 30 января.

Вейерштрасс К. *1*. Briefe an Paul du-Bois-Reimond. «Acta mathematica», т. 39, 1923 (стр. 204 и сл., 223—об. С. Ковалевской). *2*. Briefe an L. Fuchs. Там же, стр. 246—256, раньше в Jahresbericht der Deutsch. Mathem. Vereinigung, 1909, т. 18, № 2, стр. 89—99. То же в русском переводе в кн.: «С. В. Ковалевская. Научные работы», 1948, стр. 343—352.

Венгеров С. А. *1*. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Историко-литературный сборник, т. VI, СПб., 1904, *2*. Источники словаря русских писателей, т. III, П., 1914.

Венгерова З. (Wenguerov Zéneide). La femme russe (С. В. Ковалевская). «Revue des revues», 1897, № 18, стр. 489—499. Отсюда — в «Петербургских ведомостях», 1897, № 245 от 8 сентября.

Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. Перевод А. П. и П. С. Юшкевич. Изд. 2-е, М.— Л., ОНТИ, 1935.

Витковский В. В.— Пережитое. Вып. I—III. Л., 1927—1930.

Волынский А. Л. Литературные заметки. «Северный вестник», 1890, № 10, стр. 156 и сл.; 1891, № 3, стр. 147 и сл.

Воронцов-Вельяминов Б. А. Вселенная. М.— Л., 1947.

Вырубов Г. Н. *1.* Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров). «Вестник Европы», 1913, № 1 и 2 (об А. О. Ковалевском, № 2, стр. 45 и сл.). *2.* Военные воспоминания. 1 и 4 сентября [1870 г.] и защита Парижа. «Вестник Европы», 1911, № 1 и 2 (здесь и о войне 1877 г.).

Гансон (Hanson L. M.) Six modern women (Шесть современных женщин). Boston, 1896.

Гаршин В. М. Соч., т. III. Ред. Ю. Г. Оксмана. М., 1934 (по указателю — об А. М. Евреиновой).

Гастфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811—1817 гг., т. 1. СПб., 1912 (об Ф. Ф. Шуберте — по указателю).

Гаусс К. Письма Н. И. Фуссу. «Архив истории науки и техники», вып. 3, М.— Л., 1934 (стр. 226—об Ф. И. Шуберте).

Г. Г.— С. В. Ковалевская. Некролог. «Русские ведомости», 1891, № 32 от 2 февраля.

Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем, т. I — XXII, 1820—1870 гг., Лит. изд. отд. Наркомпроса, 1919—1925 гг. (об В. О. Ковалевском — по указателю).

Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России. М.— Л., Гостехиздат, 1946 (стр. 143—154 — об С. В. Ковалевской).

Голубев В. В. *1.* Работы С. В. Ковалевской о движении твердого тела вокруг неподвижной точки. «Прикладная математика и техника», 1950, т. XIV, вып. 5, стр. 236 и сл. *2.* Н. Е. Жуковский и современная техническая аэродинамика. «Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции». Изд. АН СССР, ч. II, 1947.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. I. М., 1922.

Давиташвили Л. Ш. *1.* В. О. Ковалевский. Биография. Изд. АН СССР, М.— Л., 1946, 419 стр. *2.* То же, 2-е изд. АН СССР, 1951, *3.* Развитие идей и методов в палеонтологии после Дарвина. Изд. АН СССР, М.— Л., 1940 (гл. 6 и 33 — об В. О. Ковалевском). *4.* История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней. Изд. АН СССР, М.— Л., 1948 (гл. 7—9, 43 — об В. О. Ковалевском и по указателю). *5.* О значении научных трудов В. О. Ковалевского. Сб. «Научное наследство». Ред. акад. С. И. Вавилова и др. Изд. АН СССР, т. I, 1948, стр. 189 и сл. *6.* В. О. Ковалевский как геолог. Сб. «Вопросы истории отечественной науки». Ред. акад. С. И. Вавилова и др. Изд. АН СССР, 1949, стр. 394 и сл. 7. Основные тенденции в русской палеонтологии. Там же, стр. 424 и сл.

Давыдов К. Н. *1.* А. О. Ковалевский и его роль в создании сравнительной эмбриологии. «Природа», 1916, № 4 и 5—6. Курс эмбриологии беспозвоночных. Киев, 1914 (по всей книге).

«Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской». Изд. АН СССР. М.— Л., 1940,

186 стр. Содержание: Проф. Н. И. Мерцалов — Предисловие. М. Мерцалова — Софья Васильевна Ковалевская, биографический очерк. С. В. Ковалевская — Задача и т. д. (см. выше). Г. Г. Аппельрот (см. выше). П. Я. Полубаринова-Кочина (см. ниже). Два портрета Ковалевской, чертежи.

Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. Ред. П. И. Лебедева-Полянского, т. VI. Стихотворения и проч. Ред. Б. П. Козьмина. М., 1939.

Догель В. А. *1.* А. О. Ковалевский. Изд. АН СССР, 1945, 154 стр. *2.* Эмбриологические работы А. О. Ковалевского в 60—80-х годах XIX в. Сб. «Научное наследство», т. I, 1948, стр. 206 и сл.

Доклады (Comptes rendus). Séance publique annuelle du lundi 24 décembre 1888. Доклады [Парижской академии]. Годичное публичное собрание, понедельник 24 декабря 1888 г. (стр. 1035 и сл.) — о присуждении С. В. Ковалевской премии Бордена. То же, заседание 16 февраля 1891 г.— о смерти Софьи Васильевны.

Домбровская Е. А. Ник. Ег. Жуковский. Воспоминания и материалы к биографии. М.— Л., 1939 (стр. 82 и сл.— об С. В. Ковалевской).

Достоевская А. Г. *1.* Воспоминания. Ред. Л. П. Гроссмана. М.— Л., Гос. изд., 1925. *2.* Дневник. Ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1923.

Достоевский Ф. М. *1.* Письма. Ред. А. С. Долинина. Т. I и II. М.— Л., 1928—1930. *2.* Письма к жене. Ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1926. *3.* «Достоевский», сб. I и II. Ред. А. С. Долинина, 1922—1925.

Дю-Буа-Раймон (Du-Bois-Reymond). О присуждении С. В. Ковалевской премии Бордена (перевод статьи из берлинской газеты у Н. П. Ариан в Первом женском календаре на 1900 г.).

Жуковский Н. Е. *1.* О трудах С. В. Ковалевской по прикладной математике. В сб. «С. В. Ковалевская», М., 1891, стр. 13—31; То же в Полн. собр. соч. Жуковского, т. IX, стр. 299—310. *2.* Геометрическая интерпретация рассмотренного С. В. Ковалевской случая движения тяжелого твеодого тела около неподвижной точки (1896 г.). Соч., т. I, М.— Л., 1937, стр. 384—427 (здесь ссылки на статьи других ученых по поводу мемуара Ковалевской; на стр. 428 перечень четырех сообщений Жуковского на ту же тему — в 1892, 1894, 1895, 1904 гг.; на стр. 429—432 изложение статьи Жуковского на английском языке). *3.* Механика в Московском университете за последнее 50-летие. Соч., т. IX, стр. 203 и сл.— личные воспоминания о Ковалевской, оценка ее математических работ; ср. там же, стр. 184.

Заболотный Д. К. Академик А. О. Ковалевский. «Природа», 1926, № 7—8, стр. 19 и сл.

Зайцев В. А. [Пасквиль на В. О. Ковалевского]. «Общее дело». Женева, 1879, № 20, стр. 9 и сл.

Заленский В. В. *1.* Некролог А. О. Ковалевского. ИАН, 1901, т. XV, № 5, декабрь, стр. 91 и сл. *2.* О научной деятельности А. О. Ковалевского. «Дневник XI съезда естествоиспытателей и врачей в декабре 1901 г.». СПб., 1902, 10 стр. *3.* Список сочинений академика А. О. Ковалевского. ИАН, 1905, т. XXII, № 1, январь, стр. 1 и сл. *4.* Эмбриология и эволюция. «Природа», 1915, № 5, стр. 665 и сл.

Затворницкий Н. М. Память о членах военного совета. 1902, (стр. 203 и сл.— об Ф. Ф. Шуберте, с портретом).

«Знакомые». Альбом М. И. Семевского, 1867—1888, СПб., 1888, стр. 78 (А. В. Жаклар).

Ивановский Н. П. История Военно-медицинской академии за 120 лет. П., 1898.

Идельсон Н. И. Вводная статья к письмам Лапласа, Гаусса и других к Ф. И. Шуберту. Сб. «Научное наследство». Ред. акад. С. И. Вавилова и др. Т. I, изд. АН СССР, М.— Л., 1948.

Каган В. Ф. *1.* К. Вейерштрасс. «Энциклопедический словарь бр. Гранат», изд. 7-е, т. 8, стр. 110 и сл. *2.* То же. «Большая советская энциклопедия», т. 9, стр. 180 и сл. *3.* Рецензия на книгу: «С. В. Ковалевская — Воспоминания детства» (изд. 1945 г.). «Советская книга», 1946, № 8—9, стр. 88 и сл.

Кампфмейер (Kampfmeyer P.). Georg von Vollmar. München, 1930 (с письмами С. В. Ковалевской).

Карлгрен (Karlgren A.) Sonja Kowalevsky. «Svenska Dagbladet», 1936 от 24 мая, стр. 1 и 10 (статья написана по поводу вышедшей в 1935 г. книги «советского писателя С. Штрайха, который придал личности Ковалевской человеческие черты, типичные для ее времени» (вторая статья об этой книге «появится в ближайшем номере журнала»).

Кельсиев В. И. Исповедь. «Литературное наследство», вып. 41—42, 1941, А. И. Герцен. Т. II (о В. О. Ковалевском в Лондоне в 1862 г.— стр. 303 и сл., 418 и сл.).

Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. Перевод А. Лопшица и др. М., 1937.

Князев Г. А. О рукописном наследстве Софьи Васильевны Ковалевской. ВАН, 1944, № 6, стр. 96 и сл.

«Ковалевская С.» (Kovalevsky S.). «Astronomy and Astrophysics», 1892, № 11, стр. 281—286.

Ковальская Е. Н. *1.* Автобиография. «Энциклопедический словарь бр. Гранат», т. 40, вып. 5—6. М., 1926. *2.* Воспоминания. «Каторга и ссылка», 1924, № 10.

Колтоновская Е. А. *1.* Женские силуэты. Писательницы и артистки. СПб., 1912 (С. В. Ковалевская — стр. 3 и сл.). *2.* Большая душа. Газ. «Речь», 1916, № 28 от 29 января.

Кольбин Г. Основатель новой палеонтологии. «Огонек», 1949, № 33, стр. 21 и сл.

Комарович В. Л. Неизданная глава романа «Бесы». «Былое», 1922, № 18.

Корвин-Круковский Ф. В. Воспоминания. «Русская старина», 1891, № 9, стр. 623 и сл.

Космодемьянский А. А. Очерки по истории теоретической механики в России. «Уч. зап. Моск. гос. ун-та». Механика. Т. II, вып. 132. М., 1948 (стр. 244 и сл.— об С. В. Ковалевской).

Котляревский Н. А. *1.* О романе «Нигилистка». «Страна», 1906, № 151 от 3 сентября. *2.* «Н. Котляревский. Сборник его памяти», 1925 (стр. 40 — об С. Ковалевской).

Кронекер (Kronecker L.) Sophie von Kowalevsky. «Crelle's journal», 1891, т. 108 (стр. 88; см. Симон-Экардт).

Кропоткин П. А. Записки революционера. Л., 1933.

Крылов А. Н. Мои воспоминания. Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. Изд. АН СССР, М.— Л., 1945.

Кузнецов Б. Г. *1.* Очерки истории русской науки. М.— Л. Изд-во АН СССР, 1940 (об С. В., В. О. и А. О. Ковалевских — стр. 139 и сл.). *2.* Из прошлого русской науки. «Новый мир», 1938, № 8, стр. 179 и сл.

Кускова Е. Д. *1.* Софья Васильевна Ковалевская, «Русские ведомости», 1916 от 29 января (с письмами С. В. Ковалевской). *2.* С. В. Ковалевская и ее время. «Голос минувшего», 1916, № 2—4 (с письмами С. В. Ковалевской).

Кэй (Key Ellen). *1.* Sonja Kovalevsky. «Kvinden og Samfundet», 1891, № *3*, стр. 41—56. *2.* То же. «Tidskrift Dagny», 1891, № 3, стр. 1—17. *3.* То же. «Festskrift», 1895, стр. 54—60. См. еще в настоящем сборнике (стр. 490 и сл.).
Лавис и Рамбо. История XIX века. М., 1930, т. VI (стр. 80—об С. В. Ковалевской), т. VIII (стр. 84 — то же).
Лавров П. Л. *1.* Русская развитая женщина. В память С. В. Ковалевской (прочитано на собрании 6 апреля 1891 г. в Париже). Женева, 16 стр. (1891). *2.* Соч., т. I, Л.— М., 1934 (по указателю — о Жакларе). *3.* О переводе А. О. Ковалевским книги Дарвина «О выражении ощущений у человека и животных». «Знание», 1873, т. X, № 1, стр. 1—26 (подписано: П. М-в).
Лазарев П. П. Очерки истории русской науки. Изд. АН СССР, 1950 (стр. 63 — об С. В. Ковалевской).
Лафарг П. Письмо Марксу от 1. VIII 1871. Сборник «Письма деятелей I Интернационала в дни Коммуны 1871 г.» М., 1933 (о Жакларах).
Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Роль фантазии в научном творчестве. Сб. «Творчество». П., 1923 (стр. 42 и сл.— об В. О. Ковалевском).
Лейбензон Л. С. Ник. Ег. Жуковский. К 100-летию со дня рождения. Изд. АН СССР, М.— Л., 1947 (стр. 122 и сл.— об С. В. Ковалевской).
Лекке (Leche Mia). Vera för äldrars värld («Мир наших родителей»). Stockholm, 1934.
Лермонтова Ю. В. Воспоминания об С. В. Ковалевской.
Лествицын В. Отъезд А. М. Евреиновой (с ее автобиографическим сообщением). «Ярославские губернские ведомости», № 74 от 18 сентября 1880 г.
Леффлер-Кайянелло [Эдгрен] А.-Ш. Софья Ковалевская (Что я пережила с нею и что она сама рассказывала мне о себе). Перевод М. В. Лучицкой. СПб., 1893.
Леффлер Фр. На смерть С. В. Ковалевской.
Линдер (Linder Gurli) *1.* Sallskapsliv i Stokholm under 1880 och 1890-talen (Общественная жизнь Стокгольма в 1880—1890 гг.). Стокгольм, 1918, 174 стр. (о Ковалевской среди стокгольмской интеллигенции — по указателю). *2.* Sonja Kowalevski. «Idun», 1891, № 7 (165) от 13 февраля, стр. 52 и сл. *3.* Sonja Kovalevsky. «Ord och bild», 1930 (стр. 347—364).
Литвинова Е. Ф. *1.* С. В. Ковалевская, ее жизнь и научная деятельность. П., 1893. *2.* Из времени моего студенчества. Знакомство с С. В. Ковалевской. «Женское дело», 1899, № 4, стр. 34 и сл. (подписано: Е. Ель).
Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России в 1890—1901, т. IV, СПб., 1901.
Ляпунов А. М. *1.* Об одном свойстве дифференциальных уравнений задачи о движении тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку. «Сообщ. Харьк. математ. об-ва», 1894, 2-я серия. т. IV, № 3, стр. 123 и сл. *2.* Несколько слов относительно статьи Г. Г. Аппельрота по поводу § 1 мемуара С. В. Ковалевской. Там же, 1895, т. IV, № 5 и 6, стр. 292 и сл.
«Максим Ковалевский. 1851—1916». Сборник статей. П., 1918 (статьи П. Г. Виноградова, Е. П. Ковалевского, А. Ф. Кони и др.; стр. 31 и сл.).
Малевич И. И. Воспоминания. «Русская старина». 1890, № 12, стр. 615 и сл.
Мануйлов В. А. М. К. Цебрикова. «Звезда», 1935, № 6 (стр. 195 и сл.— об С. В. Ковалевской и А. В. Жаклар).

Маргольм (Marholm Laura). Das Buch der Frauen. Paris — Leipzig, 1895, 5 Aufl., 1899 (стр. 149 и сл.— об С. В. Ковалевской).

Математический сборник, издаваемый Московским математическим обществом, тт. XVI—XXI, М., 1891 и сл. (статьи о работе С. В. Ковалевской о движении твердого тела).

Менделеев Д. И. Литературное наследство, т. I, Л., 1939.

Мендельсон (Mendelsonowa Marya). Wspomnenia o Zofii Kowalewskiej. Kraków. 1911, 127 стр. (с письмами С. В. Ковалевской).

Мендельсон — Залесская М. Воспоминания о Софье Ковалевской. «Современный мир», 1912, № 2, стр. 134 и сл. (с письмами С. В. Ковалевской).

Метелкин А. И. Рецензия на книгу «С. В. Ковалевская — Воспоминания детства..., изд. 1945 г.». «Природа», 1946, № 6, стр. 95 и сл.

Мечников И. И. *1.* Этюды оптимизма. Изд. 4-е, М., 1917, стр. 200 и сл. *2.* Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей. Ред. и прим. А. Е. Гайсиновича. М., изд. АН СССР, 1946.

Мечникова О. Н. *1.* Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М.— Л., 1926. *2.* Дружба между А. О. Ковалевским и Ил. Ил. Мечниковым. «Природа», 1926, № 7—8, стр. 31 и сл.

Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского. Сб. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб., 1883.

Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890 (о Достоевском).

Миттаг-Леффлер (Mittag-Leffler G.). *1.* Sophie Kovalevsky. Notice biographique (Софья Ковалевская, биографическая заметка). «Acta mathematica», t. 16, 1892—1893, стр. 385—392. *2.* Weierstrasse et Sonja Kovalevsky. «Acta mathematica», t. 39, 1923, стр. 133—198 (с письмами С. В. Ковалевской). *3.* Речь на могиле. «Новое время», 1891, № 5374 от 13 февраля.

Михайлов А. А. Очерк по истории астрономических наук. Сб. «Физико-математические науки» в серии «Очерки по истории Академии Наук». Изд. АН СССР, 1945 (стр. 63 — о заслугах Ф. И. Шуберта в развитии русской астрономии).

Михалевич Всев. С. В. Ковалевская. «Волжский вестник», 1899, № 40; отсюда — в «Новостях», 1899, № 47 от 16 февраля.

Молчанов Г. Ф. Софья Васильевна Ковалевская. «Наука и жизнь», 1950, № 1, стр. 42.

Нансен (Nansen P.) Herman Bang. Wanderjähre in seinen Briefen an Peter Nansen. Wien, 1924 (П. Нансен. Герман Банг. Годы скитаний, в его письмах к П. Нансену; о Софье Васильевне — стр. 57 и сл.).

«Научное наследство». Естеств.-научная сеоия, т. I. Ред. С. И. Вавилова, А. М. Деборина и др. Изд. АН СССР. М.— Л., 1948 (об С. В., В. О. и А. О. Ковалевских, о Ф. И. Шуберте).

Некрасов А. И. С. В. Ковалевская. «Энциклопедический словарь бр. Гранат», т. 24, стр. 389 и сл.

Некрасов Н. А. Соч., т. I. Стихотворения (ч. 1). Ред. К. Чуковского. М.— Л., 1930.

Некрасов П. А. О трудах С. В. Ковалевской по чистой математике. В сб. «С. В. Ковалевская», М., 1891, стр. 35—55 (его другие статьи — в Списке при «Сборнике памяти Ковалевской», 1940).

Нечкина М. В. Общественная и литературная деятельность С. В. Ковалевской (доклад в АН СССР 13 января 1950 г.). Вестн. АН СССР, 1950, № 3, стр. 41 и сл.

Нечкина М. В. Общественная и литературная деятельность С. В. Ковалевской. Сб. «Памяти С. В. Ковалевской», 1951.

Оболенский Л. Е. Ковалевская и Башкирцева. Страничка из женской жизни высшего типа. «Книжки Недели», 1893, № 2, стр. 148 и сл.

Образцов В. Н. Женщины-ученые в России. «Огонек», 1946, № 9 (об С. В. Ковалевской и А. М. Евреиновой).

Огарев Н. П. Письма А. И. Герцену. «Литературное наследство», вып. 39—40. Герцен, т. I, М., 1941 (стр. 453 и сл.— об В. О. Ковалевском).

Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. Л., 1929 (о В. О. Ковалевском — по указателю).

Ольденбург С. Ф. Отчет о присуждении премии почетного члена Академии Наук Ф. И. Шуберта. ИАН, 1905, т. XXII, № 2, стр. 1 и сл. Ср. «Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрона», т. I, СПб., 1890, стр. 267.

Омелянский В. Л. Развитие естествознания в России в последнюю четверть века. «История России в XIX в.» Изд. бр. Гранат, т. IX, вып. 34 (стр. 124 и сл.— об С. В. Ковалевской, стр. 133 и сл.— об А. О. Ковалевском).

Орлов В. (ред.) — Сб. «Рассказы о русском первенстве». М., 1950. (по указателю — об С. В. и А. О. Ковалевских).

Островская Н. А. Воспоминания об И. С. Тургеневе. «Тургеневский сборник». Под ред. Н. К. Пиксанова. П., 1915.

Панаева-Головачева А. Я. Воспоминания. Ред., статья и комментарии К. Чуковского. М., 1948.

Пантелеев Л. Ф. *1.* Памяти С. В. Ковалевской. «Речь», 1916, № 28 от 29 января. *2.* Из жизни С. В. Ковалевской. «Биржевые ведомости», 1916, от 29 января. *3.* Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 1934 (об С. В. Ковалевской и Жакларах — по указателю).

Первый Интернационал в дни Парижской Коммуны. Госполитиздат, 1942 (о Жакларах — по указателю).

Первый съезд русских естествоиспытателей в Петербурге в декабре 1867 — январе 1868 г. СПб., 1868 (о В. О. Ковалевском — стр. 2).

Пикар Э. О развитии за последние сто лет некоторых основных теорий математического анализа. Перевод С. Н. Бернштейна. Харьков, 1912 (стр. 38 — о Софье Васильевне).

Поворинская В. С. В. Ковалевская. «Родник», 1900, № 6, стр. 607 и сл.

Погожев А. В. 25-летие естественно-научных съездов в России, 1861—1886, М., 1887.

Покровский К. Д. Женщины-астрономы и их работы. П., 1897, 19 стр. (то же, «Историч. вестн.», 1897, № 6, стр. 775 и 779).

Покровский П. М. *1.* Карл Вейерштрасс. Одесса, 1897. *2.* Памяти К. Вейерштрасса. Киев, 1898 (об С. В. Ковалевской — стр. 65 и сл.).

Полубаринова-Кочина П. Я. *1.* Об однозначных решениях и алгебраических интегралах задачи о вращении тяжелого твердого тела около неподвижной точки. Сб. «Движение твердого тела...», 1940, стр. 157 и сл. *2.* Софья Васильевна Ковалевская. В кн.: «С. В. Ковалевская — Научные работы», 1948, стр. 313 и сл. *3.* С. В. Ковалевская. Сб. «Люди русской науки», т. I, М.— Л., 1948, стр. 164 и сл. *4.* К истории задачи о вращении твердого тела. ИАН, ОТН, 1949, № 5, стр. 626 и сл.; то же в сборнике «Вопросы истории отечественной науки» (доклад 6 января 1949 г.). Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 187 и сл. *5.* Научные работы С. В. Ковалевской. К 100-летию со дня рождения. «Прикладная математика

и техника», 1950, т. XIV, вып. 3, стр. 229 и сл. 6. Жизнь и научная деятельность С. В. Ковалевской (доклад в АН СССР 13 января 1950 г.). ВАН, 1950, № 3, стр. 38 и сл. 7. Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской. К 100-летию со дня рождения. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950. 8. «Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской». Сб. «Памяти С. В. Ковалевской». 1951.

Поссе К. А. Пафнутий Львович Чебышев, «Критико-биогр. словарь русских писателей и ученых» С. А. Венгерова, т. VI, стр. 1—23, СПб., 1904.

Прилукер (Prelooker J.). Sofia Kovalevskaya. The Russian mary, Sommerville, Лондон.

Протоколы заседаний совета Новороссийского университета за 1873—1874 гг. (о магистерском экзамене В. О. Ковалевского). «Зап. Новоросс. ун-та», т. XIII, Одесса, 1874.

Протоколы Парижской Коммуны, т. I, 28 марта — 30 апреля 1871 г. М., 1933 (по указателю — о Жакларе).

Протоколы VII съезда русских естествоиспытателей и врачей с 18 по 28 августа 1883 г. Одесса, 1883.

Прудников В. Е. С. В. Ковалевская и П. Л. Чебышев. К 100-летию со дня рождения С. В. Ковалевской. «Природа», 1950, № 4, стр. 72 и сл. То же в сб. «Памяти С. В. Ковалевской». 1951.

[Пыпин А. Н.] Рецензия на книгу: «С. Ковалевская — Литературные сочинения» (изд. 1893 г.). «Вестник Европы», 1893, № 2, стр. 889 и сл. (подпись: А. В.).

Радовский М. И. 1. Рецензия на книгу «С. В. Ковалевская — Воспоминания детства» (изд. 1945 г.). «Наука и жизнь», 1946, № 2—3, стр. 44 и сл. 2. Рецензия на книгу «С. Я. Штрайх — Семья Ковалевских» (изд. 1948 г.). «Природа», 1950, № 4, стр. 93 и сл.

Ребиер (Rebière A.). Les Femmes dans la science (Женщины в науке). 2-me édition. Paris. 1897 (об С. В. Ковалевской — стр. 159 и сл.).

Ребиндер М. Г. Об одном способе получения четвертого алгебраического интеграла дифференциальных уравнений движения тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки в случае С. В. Ковалевской. «Протоколы общества естествоиспытателей при Юрьевском университете», 1930, т. XVIII, вып. 2—3, стр. 27 и сл.

Ренстрем. С. В. Ковалевская, женщина-профессор. «Русская старина», 1891, № 9, стр. 637 и сл. Перевод статьи из норвежской газеты «Nordstjernen» («Северная звезда»), 1886, № 35, стр. 273 и сл.

Ретциус (Retzius G.). Das Gehirn des Mathematikers Sonja Kovalevsky. St., 1900 (мозг С. В. Ковалевской).

Речи и протоколы VI съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге с 20 по 30 декабря 1879 г. СПб., 1880.

Руссьян Ц. К. С. В. Ковалевская (к 25-летию со дня смерти). «Сообщ. Харьк. математ. об-ва», т. XV, вып. 2, стр. 161 и сл.

Салтыков М. Е. Полн. собр. соч., т. XVIII и XIX, М., 1938 (о М. М. Ковалевском — по указателю).

Сборник памяти С. В. Ковалевской. Под ред. члена-корр. АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной. Изд. АН СССР, М. 1951. Содержание: 1. С. И. Вавилов. Софья Васильевна Ковалевская. 2. П. Я. Полубаринова-Кочина. Жизнь и научная деятельность С. В. Ковалевской. 3. М. В. Нечкина. Общественная и литературная деятельность С. В. Ковалевской. 4. В. Е. Прудников. С. В. Ковалевская и П. Л. Чебышев. 5. В. Е. Прудников. А. Н. Страннолюбский — педагог и математик. 6. Т. Л. Щепкина-Куперник. О первом представлении драмы

С. Ковалевской «Борьба за счастье». 7. С. В. Ковалевская. Воспоминания о Софье Васильевне Ковалевской. Иллюстрации.

Сборник памяти А. П. Философовой, т. I и II. П., 1915.

Сватиков С. Г. *1.* Русские студенты в Гейдельберге. «Новый журнал для всех», 1912, № 12 (стр. 73 — о В. О. Ковалевском). *2.* Опальная профессура 80-х годов. «Голос минувшего», 1917, № 2 (стр. 35 и сл. — об М. М. Ковалевском).

Семевский В. И. Автобиография. «Голос минувшего», 1917, № 9—10 (стр. 9 — об С. В. Ковалевской).

Семевский М. И. Поездка по России. «Русская старина», 1890, № 12, стр. 713 и сл.

Сеченов И. М. *1.* Автобиографические записки. М., 1907. *2.* То же, ред. и предисловие Х. С. Коштоянца. М.—Л., 1945 (об С. В. и В. О. Ковалевских — стр. 120 и сл.).

Симон-Экардт (Simon-Eckardt H.). Sophie Kovalevsky. «Jahrb. f. Kult. u. Gesch. d. Slaven», Bd. I, II и III, 1930, стр. 239—254 (с письмами Ковалевской, с отзывом Кронекера о большом научном значении математических работ Ковалевской).

Синцов И. Ф. Несколько слов по поводу брошюры В. О. Ковалевского «Заметка...» (1874 г.). Одесса, 1874.

Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. Ред. Б. П. Козьмина. М.—Л., «Земля и фабрика», 1928.

Слетова В. Выдающийся математик (С. В. Ковалевская). «Советская женщина», 1946, № 2, стр. 55 и сл.

Слешинский И. В. К. Вейерштрасс. Некролог. «Вестник опытной физики и элементарной математики», 1897 (стр. 61 — об С. В. Ковалевской).

Смирнов В. И. *1.* Очерк жизни А. М. Ляпунова. *2.* Обзор научного творчества А. М. Ляпунова. «Прикладная математика и механика», т. XII, 1948, вып. 5, стр. 469 и сл. То же в книге: «А. М. Ляпунов — Избранные труды». Изд. АН СССР, 1948, ред. В. И. Смирнова, комментарии С. Н. Бернштейна и др. То же в сборнике «Вопросы истории отечественной науки», 1949, стр. 100 и сл. *3.* Русская математика XIX и XX веков. «Природа», 1945, № 3.

Смит (Smith Edg.). The Rise of Science in Russia. «Nature», 1941, № 3752 от 27 сентября (стр. 357 и сл. — об С. В. Ковалевской).

Сонин Н. Я. Заметка по поводу письма П. Л. Чебышева к С. В. Ковалевской. «Изв. АН СССР», т. II, 1895, № 1, стр. 18 и сл.

Сотрудники «Русских ведомостей. 1863—1913» (био-библиографический справочник). М., 1913 (об С. В. и М. М. Ковалевских).

Стебницкий И. И. Речь о заслугах почетного члена Академии наук генерала-от-инфантерии Ф. Ф. Шуберта в память 100-летия со дня его рождения. 12 мая 1889 г. П., 1889, 14 стр.

Столетов А. Г. *1.* С. В. Ковалевская, биографический очерк. В сб. «С. В. Ковалевская», М., 1891, стр. 7—16; то же в Сочинениях Столетова, т. II, М., 1941, стр. 259—266; то же — в «Избранных сочинениях», 1950, стр. 590 и сл. *2.* Русская женщина-математик С. В. Ковалевская. «Наука и жизнь», 1891, № 23, май, стр. 353—356.

Сто семьдесят пять лет первого Московского государственного медицинского института. М.—Л., 1940.

Суворин А. С. Странная смерть. Самоубийство В. О. Ковалевского. «Новое время», 1883, № 2565 от 21 апреля.

Сыромятников С. Н. (Сигма). Драма знаменитой женщины, «Новое время», 1895, 21 апреля.

Таннери П. Исторический очерк развития естествознания в Европе (1300—1900). Перевод под ред. и с предисловием С. Ф. Васильева. Со статьей К. А. Тимирязева «Основные черты истории развития биологии в XIX ст.». М.— Л., 1934.

Тарасов Д. А. Профессор С. В. Ковалевская. «Русские ведомости», 1901, от 30 января.

Тарханов И. Р. Речь о Сеченове 8 декабря 1905 г. «Труды общества русских врачей в Петербурге за 1909—1910 гг.». П., 1910 (стр. 71— об С. В. Ковалевской).

Тимирязев К. А. Соч., М., 1939, тт. VII, VIII, IX (по указателям — о всех Ковалевских).

Тихомандрицкий М. Карл Вейерштрасс. «Сообщ. Харьк. математ. об-ва», 1897, VI, стр. 35 и сл.

Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-полит. темы в 7 томах. Ред. Б. П. Козьмина. Т. I, М., Гос. соц.-экон. изд., 1932.

Толстой Л. Н. Переписка с Н. Н. Страховым. 1870—1894. Ред. Б. Л. Модзалевского, СПб., 1914 (по указателю — об С. В. Ковалевской).

Тургенев И. С. Соч., т. XII. Ред. Ю. Г. Оксмана. Л.— М., 1933.

Фигнер В. Н. Полн. собр. соч., т. I. М., 1932.

Филиппова Е. С. В. Ковалевская. «Детский отдых», 1893. № 1, стр. 78 и сл.

Фольмар (Volmar G.). S. Kovalevsky. «Die Neue Zeit». Stuttgardt, 1891, t. I, № 26.

Хапгуд (Hapgood F.) (об С. В. Ковалевской). «The Century illustr. monthly», 1895, август.

Хвостов В. Война и женский вопрос. «Русские ведомости», 1916 от 9 марта.

Хедберг (Hedberg Tor.). Sonja Kovalevsky (биографический очерк, оттиск 1891 г., стр. 71—79).

Хоферс (Hofers Klara). Роман об С. В. Ковалевской (упоминается у Симон-Экардт, стр. 239).

Царская дипломатия и Парижская Коммуна. М., 1933 (стр. 4, 70 и др.— о Жакларах).

Циолковский К. Э. Моя жизнь и работа. Сб. «К. Э. Циолковский». М., 1939 (об С. В. Ковалевской — стр. 34). То же в газетах: «Правда», 1935 от 20 сентября, «Известия», 1935 от 20 сентября.

Чебышев П. Л. *1.* О представлении предельных величин интегралов посредством интегральных вычетов. Перевод с русского (из «Записок Академии Наук», 1885, т. 51, № 4) на французский язык С. В. Ковалевской. «Acta mathematica», т. 9, 1887, стр. 35—56. *2.* О суммах, составленных из коэффициентов рядов с положительными членами. Письмо к С. В. Ковалевской от 20 сентября 1886 г. Перевод с русского С. В. Ковалевской. «Acta mathematica», т. IX. См. прим. 2 к стр. 348.

Черский Л.— С. В. Ковалевская. Детские годы знаменитых людей. Т. II, 1914, 38 стр.

Чехов А. П. Письма, т. III, М., 1915 (об С. В. Ковалевской — стр. 182 и сл.), т. V (об С. В. и М. М. Ковалевских — по указателю).

Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. СПб., 1901 (стр. 109 и сл.— о В. О. Ковалевском).

Шимкевич В. М. *1.* А. О. Ковалевский и его труды. Из «Дневника XI съезда русских естествоиспытателей и врачей в декабре 1901 г.». СПб., 1902, 8 стр. *2.* А. О. Ковалевский. Некролог. «Образование», 1901, № 11, стр. 107 и сл.

Штакеншнейдер Е. А. Дневники и записки. 1854—1886. М.— Л., 1934 (об С. В. и В. О. Ковалевских, А. М. Евреиновой, Е. П. Михаэлисе и др.— по указателю).

Штрайх С. Я. *1.* Сестры Корвин-Круковские. Изд. «Мир». М., 1933, 340 стр. *2.* То же. Изд. 2-е. М., 1934. *3.* С. Ковалевская. Изд. «Жизнь замечательных людей», М., 1935, 237 стр. *4.* Русская нигилистка в Парижской Коммуне. Изд. «Огонек», М., 1935, 48 стр. *5.* Семья Ковалевских. Изд. «Советский писатель». М., 1948, 391 стр. *6.* Русская нигилистка в Парижской Коммуне. «Молодая гвардия», 1931, № 5—6, стр. 114 и сл. *7.* Достоевский и сестры Корвин-Круковские. «Красная новь», 1931, № 7, стр. 144 и сл. *8.* Героиня романа «Что делать?» в ее письмах (М. А. Сеченова и В. О. Ковалевский). Сборник «Звенья», 1934, вып. 3—4, стр. 588 и сл. *9.* С. В. Ковалевская о М. Е. Салтыкове. «Литературное наследство», 1934, вып. 13—14, стр. 543 и сл. *10.* Из истории борьбы за науку в царской России. «Книжные новости», 1938, № 12, стр. 37 и сл. *11.* Софья Ковалевская. «Литературное обозрение», 1940, № 2, стр. 53 и сл. *12.* Из переписки братьев Ковалевских. К 100-летию со дня рождения А. О. Ковалевского. «Советская наука», 1940, № 7, стр. 99 и сл. *13.* Русская писательница в Парижской Коммуне. «Литературное обозрение», 1940, № 8, стр. 60 и сл. *14.* Гениальный русский палеонтолог Владимир Ковалевский. «Наука и жизнь», 1942, № 10, стр. 39 и сл. *15.* Гениальный русский палеонтолог В. О. Ковалевский. «Успехи современной биологии», 1943, т. XVI, вып. 1, стр. 87 и сл. *16.* Гениальный русский ученый В. О. Ковалевский. «Новый мир», 1943, № 1, стр. 118 и сл. *17.* Новое из биографии А. О. Ковалевского. «Успехи современной биологии», 1945, т. XX, вып. 1, стр. 61 и сл.

Шуберт С. Ф. Объявление о смерти А. В. Жаклар. «Новое время», 1887, № 4165 от 3 октября. Некролог А. В., там же, № 4167 от 5 октября.

Эфрос Н. Е.— С. В. Ковалевская-драматург. «Русские ведомости», 1916 г. от 2 февраля.

Юшкевич А. П. Выдающийся математик Софья Ковалевская. «Новый мир», 1949, № 4, стр. 304 и сл.

Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц. Вып. III, СПб., 1886 (стр. 37 и сл.— о В. О. Ковалевском). Вып. XI, СПб., 1909 (стр. 70 и сл.— об С. В. Ковалевской).

Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1901 гг. Вып. 1, СПб., 1910.

Ясинский И. И. Роман моей жизни. М.— Л., 1926 (по указателю — о Жакларе).

Биографические очерки, справки об С. В. Ковалевской в газетах и других изданиях: *1.* «Всемирная иллюстрация», 1884, № 804 от 2 июня, стр. 470 и сл. *2.* «Illustrated Tidning», 1884, № 32 (русский перевод в журнале «Школа математики», 1885, № 1, стр 61 и сл.); *3.* «Книжки Недели», 1892, № 10, стр. 202 и сл.; № 11, стр. 200 и сл. *4.* «Русская жизнь», 1893, № 67. *5.* «Орловский вестник», 1896, № 248. *6.* «Волынь», 1897, № 161.

Некрологи и сообщения о похоронах в скандинавских и других изданиях за 1891 год: «Aftonbladet», № 33 от 10 февраля; «Dagens Nyheter» от 11 февраля; «Hemlandsvännen», № 8 от 26 февраля (здесь и стихи Ф. Леффлера). «Kvinden of Samfundet». № 3, стр. 25 и сл.; «Stockholms Dagblad» от 15 февраля; «Frau», июль; «Leopoldina» (Halle), т. 27, № 5—6, стр. 59 и сл.

В русских изданиях: «Новое время», № 5360 от 30 января, № 5361 от 31 января, № 5368 от 7 февраля, № 5374 от 13 февраля (в передовой

статье и в корреспонденции из Стокгольма); «Русские ведомости», № 47 от 17 февраля; «Книжки Недели», № 7, стр. 117—124; «Русская мысль», № 2, стр. 258; «Вестник Европы», № 3, стр. 466; «Харьковские губернские ведомости», № 30 от 1 февраля (здесь — письмо С. В. Ковалевской к А. С. Шабельской); «Смоленский вестник», № 14; «Новости», № 101; «Московские ведомости», № 35; «Каспий», № 33; «Казанский биржевой листок», № 34; «Волжский вестник», № 92; «Московская иллюстрированная газета», № 21 от 1 февраля; «Исторический вестник», № 3.

О памятнике на могиле С. В. Ковалевской: «Русские ведомости», 1896, № 278 от 8 октября; № 285 от 15 октября; «Новое время», 1896, № 7408 от 11 октября, 1900, № от 15 сентября.

Некоторые другие статьи и заметки — в справочных изданиях: С. А. Венгеров — Источники словаря..., т. III; П. Я. Кочина — при «Научных трудах», изд. 1948 г., стр. 357 и сл.; Г. Г. Аппельрот — в сборнике «Движение твердого тела...», изд. 1940 г., стр. 154 и сл. Статьи в энциклопедических словарях и других справочных изданиях.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

В Указатель включены имена упоминаемых в книге лиц, связанных с жизнью и научной деятельностью членов семьи Ковалевских, а также названия произведений, относящихся к их жизни и деятельности. Имена, упоминаемые в тексте неправильно, даны в Указателе в точном начертании.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ. ОТРЫВКИ

ПИСЬМА. СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *И. В. Латышев*. Технический редактор *Е. Н. Симкина*

*

РИСО АН СССР № 4599. Т-03861. Издат. № 3086. Тип. заказ № 1080.
Подп. к печ. 30/VI 1951 г. Формат бумаги $60 \times 94^1/_{16}$. Печ. л. 36.
Бум. л. 18. Уч.-издат. 38,25. Тираж 10000.
Цена в перепл. 25 руб.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10